

Борис Житков

ВИКТОР ВАВИЧ

роман



четвертая проза



четвертая проза

ВИКТОР ВАВИЧ

роман

Борис Житков

издательство независимая газета

Борис Житков

ВИКТОР ВАВИЧ

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

Борис Житков
ВИКТОР ВАВИЧ
ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

четвертая проза

Серия «Четвертая проза»

Борис Житков

ВИКТОР ВАВИЧ

Роман

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО

НЕЗАВИСИМАЯ

ГАЗЕТА

84(2Рос=Рус)6-44
Ж74

Художник Андрей Бондаренко

В оформлении суперобложки использована картина
П. Филонова «Ломовые» (1925)

Житков Борис

Ж74 Виктор Вавич: Роман/Предисл. М. Поздняева; Послесл. А. Арьева. — М.: Издательство Независимая Газета, 1999. — 624 с. — (Серия «Четвертая проза»).

Роман «Виктор Вавич» Борис Степанович Житков (1882–1938) считал книгой своей жизни. Работа над ней продолжалась больше пяти лет. При жизни писателя публиковались лишь отдельные части его «энциклопедии русской жизни» времен первой русской революции. В этом сочинении легко узнаваем любимый нами с детства Житков — остроумный, точный и цепкий в деталях, свободный и лаконичный в языке; вместе с тем перед нами книга неизвестного мастера, следующего традициям европейского авантюрного и русского психологического романа. Тираж полного издания «Виктора Вавича» был пущен под нож осенью 1941 года, после разгромной внутренней рецензии А. Фадеева. Экземпляр, по которому — спустя 60 лет после смерти автора — наконец издается одна из лучших русских книг XX века, был сохранен другом Житкова, исследователем его творчества Лидией Корнеевной Чуковской.

Ее памяти посвящается это издание.

84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-86712-059-7





Уже написан «Вавич»

Предисловие — жанр очень странный. Нет никакой твоей заслуги, что ты прочел раньше тех, кому предисловие адресовано. Нет у тебя и никакого права говорить: «О, вы еще не знаете, что за книга вам попала в руки!» Так говорить западло — тем паче после тех, кому она попала в руки лет на сорок раньше. Правда, люди тогда говорили о ней вполголоса. Говорили — на прогулке в подмосковном лесу, при случайной встрече на бульваре. За чаем. Говорили — как будто о факте бытовом, житейском, а не литературном. Дескать, прочел на днях роман Житкова — представьте, гениальный...

В точности как Баратынский — Жуковскому, разбирая рукописи Пушкина: «Он был мыслитель, кто бы мог подумать!..»

Вот, стало быть: ни слова о Житкове. Лишь вкратце — о шестидесятилетних мытарствах книги: со дня кончины автора до дня, когда она попала нам с вами в руки.

Помню, как впервые услышал слово «Вавич». Дело было в 88-м. Я позвонил по телефону Лидии Корнеевне Чуковской — попросил у нее рукопись документальной повести об отце, по совету Берестова. В тот романтический период я сотрудничал с издательством Детского Фонда. Публикации не случилось,

увы. По чьей вине? Скажем так: не по моей... С извинениями вернул рукопись автору — тогда мне и задан был вопрос:

— Почему бы не издать «Вавича»?

Помню, как впервые прочитал вот это:

«Посыльный нес письмо, держа его двумя пальцами, и девушке показалось, что он поймал бабочку...»

И это:

«Городовой снял шапку, и на морозе она дымилась у него на ладони, как горшок с кашей...»

И это:

«Снег стучал по козырьку фуражки, как стучат кончиками пальцев по оконному стеклу...»

Житков написал однажды рассказ о мальчике, ловившем человечков, которые прятались, по его подозрению, в трюмах игрушечного парусника. Человечков не поймал, только парусник сломал, и жизнь потускнела.

Это притча о невозможности понять, как «устроен» шедевр.

Борис Пастернак, уже создав «Живаго», назвал «Вавича» лучшей книгой о русской революции. Но что такое — лучшая книга? Ведь не только самая правдивая, но и лучше всех прочих написанная.

Правда, не высказанная с большевистской прямотой, но отраженная на козырьке фуражки, не подвергается редактуре.

Такую книгу можно только уничтожить.

История с «Вавичем» повторила историю с «Путешествием из Петербурга в Москву» — спустя полтора века — с той существенной разницей, что Радищев за «Путешествие» расплатился десятью годами Сибири, а Житков тихо скончался в 38-м, в своей постели.

В 1941-м «Вавич» вышел в «Советском писателе» — стараниями друзей покойного, в первую очередь Лидии Чуковской. Тираж лежал на типографском складе. Сигнальный экземпляр — на столе Фадеева. За ним оставалось последнее слово. В его собрание сочинений включена рецензия, датированная серединой ноября.

Фадеев читал «Вавича» в Москве, в перерывах между налетами германских самолетов. Уже была позади летняя эвакуа-

ция, осенняя паника, в Елабуге удавилась Цветаева, поутихли слухи о гуляющих по столице диверсантах, выпал снег, прошел праздничный парад, Сталин стоял на Мавзолее в шапке с завязанными на подбородке ушами, как носили в Туруханском крае, в кинохронике вождя показали в фуражке: более правдоподобно.

Фадеев просился на фронт. Его не пустили: он принадлежал к руководящему составу. Капитан сходит последним с тонущего корабля. Что корабль запросто может утонуть — мало кто сомневался. Вот в какие дни Фадеев написал документ, заслуживающий того, чтобы здесь его привести целиком.

«Эта книга, написанная очень талантливым человеком, изобилующая рядом прекрасных психологических наблюдений и картин предреволюционного быта, страдает двумя крупнейшими недостатками, которые мешают ей увидеть свет, особенно в наши дни:

1. Ее основной персонаж, Виктор Вавич, жизнеописание которого сильно окрашивает всю книгу, — глупый карьерист и жалкая и страшная душонка, а это, в соединении с описанием полицейских управлений, охранки, предательства, делает всю книгу очень не импонирующей переживаемым нами событиям. Такая книга просто не полезна в наши дни.

2. У автора нет ясной позиции в отношении к партиям дореволюционного подполья. Социал-демократии он не понимает, эсерствующих и анархиствующих — идеализирует».

Книгу пустили под нож, весь тираж. Нет, не весь. Один экземпляр попал в «Ленинку», еще один выкрала из типографии Лидия Корнеевна.

Ксерокопию с него в конце 80-х носил я по разным издательствам. Вдохновляясь поначалу, господа издатели, как будто сговорясь, возвращали мне «Вавича»: книга написана очень талантливым человеком... но не полезна в наши дни.

Полезны были диссиденты, эмигранты, Сталин в ушанке, школы для дураков... короче, не импонировал Житков переживаемым нами событиям.

И «Вавич» сгорел вторично в топке гласности.

Мы тогда шутили: «Что будем делать, когда все это кончится?» — «Перечитывать журналы».

Очень многое тогда не смогли прочесть как следует — времени ж не было, — предпочитая Андрею Платонову, Юрию Домбровскому, Борису Ямпольскому, да и Варламу Шаламову, Евгении Гинзбург, Абраму Терцу — «Московские новости» с «Огоньком».

Теперь вот пришло время.

Дождался и многострадальный «Вавич». Увлекательное и печальное повествование о том, как просто стать подлецом из высших побуждений, как беззащитно и драгоценно любовное письмо, зажатое двумя пальцами, точно пойманная бабочка.

Книга последнего великого писателя, открываемого нами в XX веке.

Все-таки лучше, чем никогда.

Михаил Поздняев

КНИГА ПЕРВАЯ

Прикладка

СОЛНЕЧНЫЙ день валил через город. В полдень разомлели пустые улицы.

У Вавичей во дворе шевельнет ветер солому и бросит — лень поднять. Щенок положил морду в лапы и скулит от скуки. Дрыгнет ногой, поднимет пыль. Лень ей лететь, лень садиться, и висит она в воздухе сонным золотом, жмурится на солнце.

И так тихо было у Вавичей, что слышно было в доме, как жуют в конюшне лошади — как машина: «храм-храм».

И вдруг, поскрипывая крыльцом и сапогами, молодцевато сошел во двор молодой Вавич. Вольнопер второго разряда. С маленькими усиками, с мягонькими, черненькими. Затянулся ремешком: для кого, в пустом дворе? Ботфорты начищены, не казенные — свои, и не франтовские — умеренные. Вкрадчивые ботфорты. Не казенные, а цукнуть нельзя. Он легко, как тросточку, держал наперевес винтовку. Образцово вычищена. Утки всполошились, заковыляли в угол, с досады крякали. А Виктор Вавич от палисадника к забору с левой ноги стал печатать учебным шагом:

— Ать-два!

Когда он печатал, лицо у него делалось лихим и преданным. Как будто начальство смотрело, а он нравился.

— Двадцать девять, тридцать!

Виктор стал перед забором. Тут он достал из кармана аккуратно сложенную бумажку. Мишень. Офицерскую мишень —

с кругами и черным центром. Растянул кнопками на заборе и повернулся кругом. Ловко шлепнул голенище о голенище. Отчетливо:

— Хляп! — Постоял, прислушивался и снова: — Хляп!

Старик кашлянул в окне. Виктору стало неловко. Спит же он всегда в это время.

Виктор подтянул голенище и ворчливо сказал:

— Хлопают, прямо стыдно, — и вольным шагом пошел к палисаднику.

Старик Вавич стоял в окне в расстегнутой старой землемерской тужурке поверх ночной рубахи. Он толстыми пальцами сворачивал толстую папиросу, как будто лишний палец вертел в руках, посматривал на сына, подглядывая из-под бровей.

Виктор остановился и снова дернул голенище — зло, как щенка за ухо.

— А, черт, удружил тоже... сапожник и есть.

Мазнул глазом по окну. Отец уже повернулся спиной и зашаркал туфлями в столовую. Закурил, задымил и вместе с дымом пыхнул из усов:

— Голенищами!

— Нищие? — обрадовалась Таинька. — Музыканты пришли?

Таинька захрустела крахмальным ситцем и высунула в дверь беленькую головку, с веснушками, с вострым носиком.

— Голенищами! Голенищами аплодирует лоботряс-то наш. Не мешай, — сказал старик, когда дочь сунулась к окну, — пусть его!

А самому где-то внутри, как будто в желудке, тепло стало от того, что все же хоть дурак сын, а красивый. Красивый, упругий.

Но старик вслух корил себя за эти чувства:

— Мы в это время в землемерном читали... этого... как его? Еще поется про него. — И мотив вспомнил: — «Выпьем мы за того». Да и пили. Идейно пили. А не: «ать-два». Дурак!

Виктор с опаской исподлобья глянул на окна. Никого. Потоптался, поправил фуражку. Вдруг нахмурился, сказал:

— А черт с вами! — И снова отсчитал тридцать шагов — от мишени к дому. Он стоял, держа винтовку к ноге. Раз! — и Виктор ловко отставил левую ногу и взял наизготовку.

— Отставить! — шепнул себе Виктор. И броском, коротко и мягко, взял «к ноге». Хлопнули голенища. Хотел оглянуться. — А плевать! Я дело делаю. Каждый свое дело делает. Ать! — И винтовка сама метко влетела под мышку и замерла. Виктор

взял на прицел. Он видел себя со стороны. Эх, вольнопер! Картина! Чувствовал, как лихо сидит на нем бескозырка, прильнул к винтовке. Он пока еще не видел мишени, не глядел на мушку, глядел на молодчину-вольнопера.

Что-то заскребло за забором, и одна за другой показались две стриженых головы: мальчишки впились в Вавича и так и замерли, не дожевали скороспелку, — полон рот набит кислой грушей.

«Кэ-эк пальнет», — думали оба.

Но Вавич не пальнул. Он прикладывался, щелкая курком, резким кивком поднимал голову от приклада и брал наизготовку. Теперь он прикладывался, целился аккуратно, затаив дыхание, и твердил в уме: «как стакан воды». Бережно подводил мушку под мишень. Он замирал. Затаивали дух и мальчишки.

Цок! — щелкал курок, и все трое вздыхали.

Вольноопределяющиеся допущены к офицерской стрельбе. Вавич всех обстреляет. Шпаков-перворазрядников.

«Гимназеи!» — подумал он про перворазрядников. И еще тверже вдавил в плечо приклад.

Потом — значок за отличную стрельбу. Он даже чувствовал, как он твердо топорщится у него на груди. Бронзовый. Мишень такая же и две винтовки накрест.

Обстрелял офицеров. Офицерам неловко. Они жмут ему руку и конфузятся от злости и зависти. А он — как будто ничего. Навытяжку, каблуки прижаты.

«Молодчага! — Рррад стараться!»

Герой, а стоит как в строю. От этого всем еще злее станет.

Картина!

Обиды

ВИКТОР Вавич не любил лета. Летом он всегда в обиде. Летом приезжают студенты. Особенно — путейцы в белых кителях: китель офицерский и горчичники на плечах. С вензелями: подумаешь, свиты его величества стрекулисты. (Технологи — те повахлачистей.) А уж эти со штрипочками! И барышни нарочно с ними громко разговаривают и по сторонам глазами обмахивают, — приятно, что смотрят. И нарочно громко про артистов или о профессорах:

— Да, я знаю! Кузьмин-Караваев. Я читала. Бесподобно!

А студент бочком, бочком и ножками шаркает по панели.

Ну эти бы, черт с ними. Но вот те барышни, которые зимой танцевали с Виктором, — и какие они записочки по летучей почте посылали (Виктор все записочки прятал в жестяной коробочке и перечитывал), — эти самые зимние барышни теперь ходили с юнкерами и наспех, испуганно, кивали Виктору, когда он им козырял. Юнкера принимали честь каждый со своим вывертом, особенно кавалеристы. Вавич каждый раз давал себе зарок:

«Выйду в офицеры, без пропуска буду цукать канальев. Этаким вот козлом козырнет мне, а я: «Гэ-асподин юнкер, пожалуйте сюда». И этак пальчиком поманю. Вредненько так».

И Виктор делал пальчиком. «Так вот будет, что барышня стоит, в сторону отворачивается, а я его, а я его: «Что это вы этим жестом изобразить хотели? Курбет-кавалер!» Он краснеет, а я: «Паатрудитесь локоть выше!»

Правда, студенты и юнкера болтались не больше месяца, но Вавич уж знал: взбаламутили девчонок до самого Рождества.

Виктор злился и, чтоб скрыть досаду, всегда принимал деловой вид, когда приезжал из лагерей в город. Как будто завтра в поход, а у него последние сборы и важные поручения.

«Вы тут прыгайте, а у меня дело», — и озабоченно шагал по главной улице.

Шагал Вавич к тюрьме и, чем ближе подходил, тем больше наддавал ходу, вольней шевелил плечами, его раззуживало, и все тело улыбалось. Улыбалось неудержимо, и он широко прыгал через маленькие камешки.

У калитки смотрителева сада он наспех сбивал платочком пыль с ботфортов.

Смотритель Сорокин был вдов и жил с двадцатилетней дочерью Груней.

Смотритель

ПЕТР Саввич Сорокин был плотный человек с круглой, как шар, стриженой головой. Издали глянуть — сивые моржовые усы и черные брови. Глаз не видно, далеко ушли и смотрят как из-под крыши. Форменный сюртук лежал на нем плотно, как будто надет на голое тело, как на военных памятниках. Он ни-

когда не снимал шашки; обедал с шашкой; он носил ее, не замечая, как носят часы или браслет.

Вавич никогда не хотел показать, что бегает он каждый отпуск к Сорокиным для Груни. Поэтому, когда он застал одного Петра Саввича в столовой, он не спросил ни слова про Груню. Шаркнул и поклонился одной головой — по-военному. Сели. Старик молчал и гладил ладонью скатерть. Сначала возле себя, а потом шире и дальше. Вавич не знал, что сказать, и спросил наконец:

— Разрешите курить?

Петр Саввич остановил руку и примерился глазами на Вавича: это, чтоб узнать, — шутит или дело говорит. И не тотчас ответил:

— Ну да, курите.

И он снова пошел рукавом по скатерти.

Смотритель Сорокин знал только два разговора: серьезный и смешной. Когда разговор он считал серьезным, то смотрел внимательно и с опаской: как бы не забыть, если что важное, а больше испытывал, нет ли подвоха. Недоверчивый взгляд. С непривычки иной арестант пойдет нести, и правду даже говорит, а глянет Сорокину в глаза — и вдруг на полуслове запнулся и растаял. А Сорокин молчит и жмет глазами — оттуда, из-под стрехи бровей. Арестант корежится, стоять не может и уйти не смеет. Тут Сорокин твердо знал: на службе разговор серьезный всегда. За столом он не знал, какой разговор, и не сразу решал, к смешному дело или по-серьезному. Но уже когда вполне уверится, что по-смешному, то сразу весь морщился в улыбку и неожиданно из хмурой физиономии выглядывал веселый дурак. Он тогда уж безраздельно верил, что все смешно, и хохотал кишками и всем нутром, до слез, до поту. И когда уж опять шло серьезное, он все хохотал.

Ему толковали:

— Тифом! Тифом брюшным.

А он отмахивается:

— Брюшным... Ой, не могу! Вот сказал... Брю-шным!

И хлопал себя по животу. Его снова бил смех, как будто хотелось нахохотаться за весь строгий месяц.

А теперь он сидел за столом и недоверчиво и строго тыкал Вавича глазами. Вавич долго закуривал, чтоб растянуть время. Старик оглянулся, а Вавич пружинисто вскочил и бросился за пепельницей. Сел аккуратненько. Думал: «что б сказать?» — и

не мог придумать. Вдруг старик откинулся на спинку стула, и Вавич дернулся, — показалось, что смотритель хочет что-то сказать. Виктор предупредительно наклонился.

Смотритель ткнул глазами.

— Нет, нет. Я ничего. Курите, — помолчал, вздохнул и прибавил: — молодой человек.

Груня не шла, и Вавич подумал: «А что, как ее дома нет?» Надо начинать. И начал:

— Ну как у вас, Петр Саввич, все спокойно?

— У нас? — переспросил старик и недоверчиво глянул — к чему это он спрашивает. — Нет, у нас никаких происшествий не случалось, — и стал перебирать бахромку скатерти, глядя в колени. — Бежать вот только затеяли двое, — глухо вздохнул смотритель.

— Кто же такие? — с оживлением спросил Виктор, как взорвался. Уставился почтительно на Петра Саввича.

— Дураки, — сказал смотритель. Оперся виском на шашку и стал глядеть в окно.

— Подкоп? — попробовал Виктор.

— Нет, пролом. Ломали образцово, могу сказать. И все же засыпались.

— Теперь взыскание?

Смотритель глянул на Вавича. Вавич опустил глаза. Стал старательно стряхивать пепел. И вдруг старик рявкнул громко, как сорвавшись:

— Надавали по мордам — и в карцер. А что судить их? Я дуракам не злодей.

В это время на заднем крыльце стукнули шаги. Виктор узнал их: «дома, дома!» Старался всячески запрятать радость. Но покраснел. Он слышал, как за ним легко стукали Грунины туфли, и Виктор спиной видел, как движется Груня. Вот она брякает умывальником. Теперь, должно быть, руки утирает. Вот она идет к двери. И только когда она шагнула за порог, Виктор встал.

Груня

ГРУНЯ была большая, крупная и казалась еще толще от широкого открытого капота. Она несла с собой свою погоду, как будто вокруг нее на сажень шла какая-то парная теплота, и теплота эта сейчас же укутала Вавича. Груня улыбалась широко и

довольно, как будто она только что поела вкусного и спешила всем рассказать.

— Удрали? — смеялась Груня, протягивая полную руку. Рука была свежая, чуть сырая.

— Ей-богу, в отпуск.

— Без билета! Вот честное слово! Врете? — И она глянула так весело Виктору в глаза, что ему захотелось соврать и сказать, что без отпуска.

— Собирай, собирай на стол, Аграфена, — буркнул старик.

Груня повернулась к двери.

— Разрешите вам помочь? — И Вавич щелкнул каблуками. Он не мог остаться, он боялся выйти из этой теплой атмосферы, что была вокруг Груни, как бывает страшно вылезти из-под одеяла на холодный пол. В кухне Груня нагрузила его тарелками.

Она считала: Раз! — и смеялась Вавичу: Два! — и опять смеялась.

Перед обедом смотритель встал и шагнул к образу. Поправил портупею. Он стоял перед образом, как перед начальством, и громким шепотом читал молитву, слегка перевирая.

— Очи всех на тя, Господи, уповают, — читал смотритель, — а ты даеши им пищу, — и за этим послышалось: «А я делаю свое дело. Потому что нужно».

Груня и Виктор стояли у своих стульев. Груня смотрела, как дымят щи, а Виктор почтительно крестился вслед за смотрителем.

Когда смотритель обедал, он садился спиной к окнам, спиной к тюрьме, чтоб эти полчаса не смотреть на кирпичный корпус с решетками. Он всегда смотрел: смотрел на окно, на тюремный двор. И говорил про себя: «Смотритель — и должен, значит, смотреть. Вот и смотрю».

Только за обедом он отворачивался от окон, но чувствовал (он всегда это чувствовал), как там за спиной распирает арестантская тоска тюремные стенки, жмет на кирпич, как вода на плотину. И ему казалось, что он сейчас за обедом, пока что, спиной подпирает тюремные стены.

Груня подала первую тарелку отцу.

Смотритель налил из расписного графинчика себе и Вавичу.

Виктор каждый раз не знал: пить или нет?

«Выпьешь — подумает: если с этих пор рюмками, так потом бутылками». Не пить — боялся бабой показаться.

Смотритель каждый раз удивленно спрашивал:

— Не уважаете? — И опрокидывал свою рюмку. Вавич торопливо хватал свою и впопыхах забывал закусывать.

Смотритель ел наспех, как на вокзале, и толстыми ломтями уминал хлеб, низко наклоняясь к тарелке.

Груня ела весело, как будто она только того и ждала целый день — этой тарелки щей. Улыбалась щам и, как радостный подарок, стряхивала всем сметаны столовой ложкой.

— Ой, люблю сметану, — говорила Груня и говорила, как про подругу.

И Вавич думал, улыбаясь: «А хорошо любить сметану!» И любил сметану душевно. Вавич чувствовал поблизости, здесь, на столе, Грунин открытый локоть, и его обдавало жаркой жизнью, что разлита была во всем широком Грунином теле. И он щурился как на солнце, с истомой потягивал плечами под белой гимнастеркой.

После второй рюмки Петр Саввич скомандовал Груне:

— Убери!

Смотритель боялся водки, и Груня каждый раз опускала глаза, когда прятала графин в буфет.

Палец

ЧАЙ пил Петр Саввич уже сидя на диване, лицом к окнам. За чаем он еще позволял себе не смотреть, а только посматривать. И ему хотелось продлить обеденный отдых и навести разговор на смешное. Он громко потянул чай с блюдечка, обсосал усы и весело обернулся к Вавичу:

— Скоро в генералы?

Вавич обиделся. Замутилось внутри. «Что это? смеется?» Виктор покраснел и буркнул:

— Да я не собираюсь... даже... по военной.

Но Петр Саввич уж пошел по-смешному:

— По духовной? Аль прямо в монахи?

И смотритель сморщился, приготовился хохотать, натужился животом.

Груня фыркнула.

Вавич не выдержал. Встал. Потом сел. И снова встал, вытянулся. Старик, застыв, ждал и дивился: «Что такое? Почему не вышло?»

Но Виктор до поту покраснел:

— Господин... Петр Саввич... — сказал Виктор. Сорвался, глотнул и снова начал: — Господин...

Груня заботливо смотрела на него, разинув глаза.

Вавич обдернул гимнастерку.

— При чем тут... смеяться?

— Сядьте, сядьте, — шептала Груня.

Но у Виктора были уже слезы на глазах.

— Если я не стремлюсь по военной, так это не значит... не вовсе значит, что я... шалопай!

У смотрителя сразу ушли глаза под крышку, опять нависли усы и брови.

— Извините, — сказал глухо, животом, смотритель. — Я не обидеть. А напротив даже... Почему? — почтенно. Я ведь слышал, — изволили говорить: в юнкерское. А если так, я даже рад. Ей-богу, ей-богу!

— Сядьте, — сказала Груня громко.

Вавич стоял.

— На стул! — сказала Груня и дернула Виктора за рукав. Он оглянулся на Груню. Томительным жаром пахнуло на Виктора. Он сел. Ему хотелось плакать. Он смотрел в скатерть, напрягся, не дышал, чтоб не всхлипнуть.

Петр Саввич пересел на диван ближе к Виктору и начал глухим шепотом:

— Я, простите, сомневался. Какая же это дорога? Верно ведь? Три года в юнкерском. — Смотритель загнул большой палец. Толстый, солдатский. — А потом под-пра-пор-щиком, в солдатской шинели, на восемнадцать рублей, года этак три? А?

Груня подсела, налегла пухлой грудью на стол и смотрела испуганно то на отца, то на Вавича.

И Вавич сразу понял всем нутром, что все, все кончено. Кончено с погонами, с офицерской кокардой. Потому что старик обрадовался, что по штатской. И Виктор обвис. Как будто внутри повисло и хлябает что-то холодное, мокрое.

— Если вы таких мнений, молодой человек, господин Вавич, — и смотритель положил руку Виктору на рукав (он так и не разгибал большой палец, как будто дело еще не кончено и рано разгибать), — если вы уж таких мнений, то я готов даже содействовать... по полицейской, например.

Вавич, весь красный, смотрел вниз и коротко и часто дышал, как кролик.

— Вот потолкуем, — говорил глухим баском смотритель. И вдруг вскочил: — Куда! Куда! — заорал он, глядя в окно. Вскочил, обтянул портупею, толкнул форточку и загремел на весь двор: — Куда, канальи, мусор валите? А, дьяволы! — Он схватил фуражку и выбежал на двор.

Виктор поднялся.

— Я пойду, — хотел сказать Виктор. Не вышло. Но Груня поняла.

— Зачем? Зачем? — Груня смотрела на него испуганными глазами.

— Пора, время, — и Вавич взглянул на часы. Хотел сказать, который час. Но смотрел и не мог понять, что показывают стрелки.

— А чай? — И Груня опустила ему руку на плечо. Первый раз. Вавич сел. Отхлебнул с краешка глоток чаю, и ему вдруг так обидно стало именно от чаю, как будто его, маленького, отпаивают сахарной водой. Горько стало, и слезы начали нажимать снизу. Вавич взялся за шапку и машинально несколько раз пожал Грунину ручку. По дороге к калитке он внезапно еще два раза попрощался.

Он вышел от смотрителя почти бегом, он бил землю ногами. Задними улицами пробрался на лагерную дорогу. Шел, глядел в землю и все видел широкий, мужицкий палец смотрителя: как он его пригнул. Пригнул!

На другой день Вавич заявил ротному, что в офицерской призовой стрельбе он участвовать не будет.

А себе Вавич дал зарок: не ходить к Сорокиным.

Он был один в палатке.

— Не буду! Не буду! Не буду! — сказал Вавич и каждый раз топал ногой в землю. Вколачивал, чтоб не ходить.

Флейта

ЛЕГ красный луч на старинную колокольню — и как заснул, прислонился. И стоит легким духом над городом летний вечер, заждался.

Таинька у окна сидела и на руках подрубливала носовые платочки. Ждала, чтоб перестал петь мороженщик, а то не слышно флейты. Это через два дома играет флейта. Переливается, как вода; трелями, руладами. Забежит на верхи и там бьется

тонким крылом, трепещет. У Таиньки дух закатывается и становится иголка в пальцах. Сбежала флейта вниз... «Ах!» — переведет дух Таинька. Она не знала, не видела этого флейтиста. Ждала иной раз у окна, не пройдет ли кто с длинной штукой под мышкой. Он ведь в театр играть ходит. Таинька не знала, что флейта разбирается по кускам, и этот черный еврейчик с коротким футлярчиком и есть флейтист, что заливается на всю улицу из открытых окон. Футлярчик маленький. Таинька думала, что это готовальня. У папы такая, с циркулями.

Таинька думала, что он высокий, с задумчивыми глазами, с длинными волосами. Наверно, он ее заметил и знает, и хочет, может быть, познакомиться, но случая нет. А он скромный. А теперь нарочно для нее играет, чтоб она поняла. Почему он не переоденется уличным музыкантом и не придет к ним во двор? Стал бы перед окнами и заиграл. Таинька сейчас бы его узнала.

Флейта круто замурлыкала на низких нотах, побежала вверх, не добежала и тихими, томительными вздохами стала подступать к концу. Капнула, капнула светлой каплей. И вот зажурчала трель. Шире понеслась вниз серебряной россыпью. Таинька наклонила головку. Отец стоял среди комнаты и вместе с флейтой бережно выдыхал дым.

— Даст же Господь жидам... тем — евреям — талант!

А флейта уж расходилась, не унять, как сорвалась, все жарче, все быстрей.

— А он... еврей? — спросила Таинька как могла проще.

— Ну да! Разве не видала — маленький, черненький? Израильсон или Израилевич, черт его знает.

Всеволод Иванович вдруг увидел, что криво болтается карнизик на этажерке. Стал прилаживать. Прижал ладонью. Карнизик повис и качнулся. А Всеволод Иванович снова, еще, еще, чтоб как-нибудь пристал. Фу ты! Опять повис.

— Надо же, черт возьми, собраться! — заворчал и зашлепал вон.

«Это ничего, что еврейчик, — подумала Таинька. — Бедный еврей, черные печальные глаза. И что маленький — ничего. Только лучше пусть Израильсон, а не Израилевич. — И ей вспомнился Закон Божий и батюшка, и как проходили про Израиля. — Он, кажется, весь волосатый был? Нет, это Исав!» И Таинька очень обрадовалась, что Исав.

Флейта замолкла. Таинька все ждала. В голове грустным кружевом висел последний мотив. Таинька собрала платочки, пе-

решла шить в столовую, к окну. Шила, все поглядывала напротив на забор, на черемухи. Должен ведь пройти.

Вошел отец с молоточком в стариковской руке.

— Глаза проглядишь, — сказал Всеволод Иваныч.

Таинька покраснела: «Откуда он знает?»

— Не шей, говорю, впотьмах, — ворчал Всеволод Иваныч.

Он обвел стены глазами.

— Ни одного гвоздя в этом доме. Сто раз ведь говорил. — И он пошлепал дальше. Таинька слышала, как он упустил молоток и захлопал на воробьев. Зашипел в палисаднике:

— Киш-шу-шу! Анафемы.

Потух закат, и стал на улице свет без теней. Таиньке казалось — сейчас этот свет ветром выдует из улицы, и ничего не будет видно. И как пройдет — тоже. Шаги застукали по місткам. «По нашей стороне!» — и Таинька нагнулась к иголке. Мороженщик, вихляя тазом, нес на голове свою кадушку. Опустила глазки. А когда шаги поровнялись, глянула.

Таинька сморщилась. Недовольно глянула на мужика. А в это время торопливые шаги, неровные, сбивчивые, затопали вдоль забора. Таинька не успела стереть с лица гримасу, а «маленький, черненький» прошагал мимо. Как-то все забирал вперед одной ногой. Таинька заметила котелок, который вздрагивал на упругих курчавых волосах.

«Как у нас в диване», — подумала Таинька про волосы. Но сейчас же решила, что это очень хорошо: ни у кого таких нет, только у него. Она хорошо приметила и крутой нос и черные короткие усы, торчком, как зубная щетка.

«Израиль!» — мысленно провожала Таинька флейтиста и все хотела связать переливы флейты с черным Израилем.

«А может быть, не он? Не этот?» — подумала Таинька и обрадовалась.

Но сейчас же схватилась и вдвое крепче полюбила Израиля за то, что усомнилась, что будто обрадовалась.

Король треф

БЫЛА уже ночь, когда, наконец, перестала стонать старуха. Забылась, глядя полуоткрытыми глазами на зеленый глазок лампадки. Грустно смотрел Спаситель из киота и руку поднял, как будто не благословляет, а дает знак: тише! Таинька выкралась

из спальни. Осторожно тикали часы в столовой, — как на цыпочках, шло время. Лампа пригорюнилась кривым колпаком, и тускло шевелилось мутное пятно в самоваре.

Таинька села и глянула в черное окно, в ночной двор. Куда-то катит ночь за окном, — и вздохнула всей грудью. Наконец одна. Она пощупала в складках юбки. Оглянулась и осторожно достала из кармана колоду карт.

На дворе было так темно и тихо, что казалось — не открыто окно, а занавешено темнотой.

Кто же он? Треф, конечно, треф. Таинька смотрела на простоватого старика в короне, и хоть он вовсе не был похож на колючего черного Израиля, но Таинька знала: это он. Она глядела на него, как на дорогой портрет. Хотелось поцеловать. Таинька еще раз оглянулась вокруг, заботливо смахнула крошки и бережно положила короля на скатерть. Он лежал таинственно и неприступно и смотрел не на нее — вбок. Таинька стасовала, путались пальцы, корявились старые карты. В лопатках повело дрожью, когда Таинька снимала левой рукой, к себе. Дама червей легла слева. Спокойная, грудастая. Таинька первый раз глянула на нее как на живую. Лицо карты смотрело насмешливо, и, казалось, чуть дышит грудь в узком корсаже. Прошли все девятки, шестерки. Дама треф легла в ногах. Нахальная, довольная. Кто ж это такая? Таинька вглядывалась пристально, хотела узнать.

Короли, валеты.

Они обступили Израиля в короне, и король бубен уверенно и весело глядел в профиль. Власть неумолимая, власть ихняя, карточная, сковала Израиля. И Таинька заметалась глазами, искала друзей, кто бы глянул на нее из этого карточного двора, такой, кого можно умолить. Валет треф напряженно держал топор и ждал. Серьезный. И справедливый. На него одного и надеялась Таинька. Карты дышали и жили, густые десятки переливались в глазах у Таиньки.

Собака зачесалась под окном, зазвенела цепью. Таинька вздрогнула. И следом за тем, как светлая нить, протянулся звук. Чистый, ясный. Флейта медленно, вкрадчиво, ступень за ступенью, поднимала куда-то по лестнице. По хрустальной лестнице. И все стало вдруг как прозрачным, как нарисованным на стекле тихими красками. Они идут куда-то с Израилем. Таинька — принцесса. Израиль ведет по хрустальной лестнице — и таинственно, и сладко. Таинька дышала вместе с

флейтой, ей хотелось прильнуть к звуку, вжаться щекой и закрыть глаза. А флейта вела все выше; вот поворот, Израиль мягко ведет ее за руку, с уважением и грацией, как королеву. И она переступает в такт по хрустальным ступеням. От счастья она делается такая хорошая: наивная, красивая и самоотверженная. Она никогда не знала, что может умереть так желанно, так торжественно, и пусть алая, блестящая кровь капает по хрустальным ступеням под музыку, до конца, пока не замрет звук.

Таинька подошла к окну, шагнула на стул, на подоконник. Легко босой ногой ступила на террасу. Она шла в такт, в темноте, по деревянной знакомой лесенке и глубоко дышала. Она не слышала, как брякнула задвижкой и вышла на улицу. Чуть шелестели черемухи напротив. Флейтист стоял в своем мезонине, в темноте, и, зажмурив глаза, дышал в свою флейту. От тепла ночи разомлело в груди, и он сам не знал, что играл. Бродил по звукам и все искал. Искал, чтоб закатилась совсем душа, — и пусть выйдет дух с последним вздохом. Он не мог бросить флейты, и уж опять ему казалось, что сама флейта играет, а он только думает. А может быть, и не играет флейта, а это он только дышит, и ходят звуки, как во сне.

Таинька оперлась о забор, как раз о калитку, звякнула скобка, и за забором испуганно и оголтело залился щенок. Мотив оборвался. Флейтист высунулся в окно и сверху крикнул:

— Цыть на тебе! Там есть кто? Слушайте! Что вы хотели?

Таинька во всю прыть зашлепала прочь босыми ногами.

— Нет! В самом деле! — крикнул флейтист.

Наденька

ПО НАГРЕТОМУ каменному тротуару, в другом, в каменном городе, мимо жарких домов, шел со службы Андрей Степанович Тиктин. Потел в серой крылатке, липли толстые пальцы к кожаному портфелю, а вокруг — как будто и сверху — сверлил, дробил воздух дребезг дрожек по гранитной мостовой. Будто жаркий мелкий щебень суматохой гремел в воздухе и не давал думать, собрать, стянуть в узел главную мысль.

Андрей Степанович даже забыл: какую это именно мысль? Он остановился около витрины, чтобы вспомнить мысль, и увидал в пыльном стекле свое красное лицо, белую бороду.

Насупил брови — лицо стало умным, но дребезг и душный гомон взвились над головой, и он забыл, зачем стал у колбасной.

«Дома, дома вспомню!» И Андрей Степанович понес насупленные брови домой — старался удержать мысль. И сразу в прохладной лестнице все в голове стало по местам.

Андрей Степанович остановился на минуту.

— Так, совершенно верно, — сказал он вслух. — Надя! — И стал подниматься, и все казалось, что мысль слагается, за ступенькой ступенька, и что, когда поднимется он к дверям, все решится. Решится и спокойно выяснится, что надо сказать Наде — относительно курсов.

«Привести доводы и вместе спокойно взвесить», — и как только подумал это Тиктин, так вдруг почувствовал всю дочку у себя на коленях, Надюшку, — вот уже замлело колено, и не хочется тревожить, — так мило переворачивает пальчиками страницы; на столе под лампой — «Жизнь европейских народов», и так греет своим тельцем, и с таким толком, в двенадцать лет, рассказывает и задает вопросы. И уж Анна Григорьевна зовет спать, а Наденька искоса глянет, чтоб он сказал матери, и Тиктин говорит:

— Attendez, je vous en prie!*

И так хочется расцеловать эти ручки, маленькие — как живые игрушки. Сейчас ей двадцать два. И только вчера, первый раз, Наденька ничего не ответила отцу, только глянула прищурясь — каким-то чужим лицом — и молча стала есть суп. А он говорил просто о причинах... чего это причинах? — да, голода в России. Тиктин дошел, вставил в узкую щелку плоский ключ и хотел, чтоб пройти незамеченным в кабинет, — в кабинете ждет мать... Надо прямо и, главное, просто взглянуть, то есть так-таки в глаза ей взглянуть, — потому что если не будет ясности, то, значит, закрепить вчерашнее. Просто — этого Тиктин сейчас не мог еще, а принять вчерашнее — сразу навсегда спрыгивала с колен та теплая девочка, и он боялся, что сейчас, скоро отлетит насиженная теплота.

Андрей Степанович, не торопясь, переодевался и думал: «Дурак я, надо было просто, сейчас же и спросить без всяких, — это что за мина? Просто, как девчонку, — и он смело вышел к обеду, — говорить просто, а если что — прямо тут же остановиться и сказать...» Но Наденькин стул стоял пустой.

* Подождите, пожалуйста! *(фр.)*

Не было и сына Саньки. Андрей Степанович через стол поглядел на жену.

— Эти где? — и кивнул по сторонам на пустые приборы.

— Откуда ж мне знать? — вздохнула Анна Григорьевна. Тиктин глянул еще раз, и вдруг показалось, что жена знает про Надю и даже как будто в заговоре: бабьи тайны. Молча доел тарелку супа и спросил раздраженно:

— Роман? — И сам знал, что именно романа-то никакого не было, не бывало это с Наденькой до сих пор. И знал, что этим тревожится Анна Григорьевна. — Роман, что ли?

Анна Григорьевна возмущенно взглянула, Тиктин досадливо сдвинул брови.

— Чай пришлешь в кабинет! — и кинул на стул салфетку.

«Кажется, глупо вышло», — досадовал Тиктин в кабинете. Полистал «Вопросы философии и психологии», новый номер. Но глаза не поддевали букв, и строчки не поднимались со страниц живым смыслом. Андрей Степанович кусал кончик деревянного ножа и не разрезывал книги.

Юноша степенный

«НУ А ЕСЛИ роман, так почему же делать брезгливые физиономии?» — думала Анна Григорьевна. Это она думала обиженными словами, почти вслух... А сама знала, что Андрей Степаныч умилился бы и потек, если б узнал, что Наденька действительно выходит замуж. И даже знала Анна Григорьевна, каким бы праздником ходил Андрей Степаныч и как бы подбирал тяжелые ученые остроты и боялся бы быть сентиментальным. Только жених должен быть хоть бы приват-доцент, пенсне, шкаф с книжками, труды, умная улыбка, высокий лоб. Андрей Степаныч беседовал бы и примерял на нем свою образованность.

«Если б, если б то роман...» — и Анна Григорьевна снова задумалась о Наденьке.

Она теперь неустанно о ней думала. Она сама не знала, что все время занята ею. Она перебирала свои думы, как монах четки, и замыкала круг.

«Нет, какая-то не такая», — думала Анна Григорьевна. Не такая — это значило: не такая, как она была, Анна Григорьевна. У ней как-то все само выходило. Все — от чего был смех.

Призывный смех. Анна Григорьевна вспомнила, как она сама раз услышала свой смех. И тогда подумала: «Какой у меня смех сегодня!» Потом одна в комнате попробовала, опять вышло — какой-то внутренний, зовущий смех, как сигнал радостный, как у молодой лошади в поле. Это выходило само, без ее воли, и от этого трепетали мужчины, старались острить, показать себя лицом. А когда срывались, то конфузились перед ней... И ей, Анне Григорьевне, это ничего не стоило. Что-то звонкое билось в ней тогда, и она знала, что всякому хочется задеть, чтоб именно от него зазвучало это звонкое, веселое.

Она вспомнила санки, Каменноостровский, студента-технолога. Как было сладко и жутко, и она знала тогда, что это от нее так жутко, так захватывает дух. Она сама не понимала, как это делается, что вот они оба не знают, куда приедут на этой вейке за «рисать копек». Анна Григорьевна что-то обещала, какую-то даль и подвиг, и верила — вздыхала от веры, — что будет подвиг. Обещала недомолвленными словами, улыбалась в себя, и все это делалось само, несло ее куда-то, ей только надо было отдаться этому лёту.

Фонари, бойкий бег, потряхивают бубенцы — все было для нее: и пьяный вейка, и обмерзшие сторожа, — это чтоб смешно с ними перекликался и спрашивал спичек студент. А на Елагином тихо, бело, мягко и неизвестно. С неба снег кто-то сыплет и торжественно украшает искрами широкий мех на Аничкином воротнике. А внутри билось что-то теплое, дорогое и главное. И студент жмется и держится за Анну Григорьевну и бережет, как жизнь, это дорогое и главное. Аничка взглядывает студенту в глаза, молча и пристально — само так взглядывается. Студент плотней и теплей жмется к Аничкиной шубке.

А разве только это? Разве не говорили об умном? Анна Григорьевна вспомнила, как тот же студент на вечеринке у подруги заспорил, разошелся, говорил, что Гегель — дурак. Анна Григорьевна заступилась, а он крикнул:

— Значит, и вам та же цена!

И все рассмеялись. И студент, и Анна Григорьевна. А потом Анну Григорьевну долго называли Гегелем. Было весело, все двигалось, неслось куда-то, в этом потоке неслась Анна Григорьевна. И все делалось само и так, как хорошо и как надо.

А Наденька... Наденька как будто под берегом, как будто зацепилась за кусты да кокоры, и Анне Григорьевне до слез больно было за дочь, хотелось отцепить ее и толкнуть туда, на сере-

дину, на стрежу, где все весело поется и вертится. Или уж жизнь стала другая?

Ей хотелось подойти и объяснить Наденьке, как надо. Сесть рядом и толком рассказать. Она раз даже встала и пошла к Наденьке в комнату. Но подошла, глянула на Наденьку с книжкой и спросила упавшим голосом:

— Ты все свои платки собрала? Ведь завтра стирка.

И вышло так горько, что Наденька даже удивленно вскинулась от книжки.

«Нет, — думала Анна Григорьевна, — ничем, ничем не вылечишь». Ей казалось, как будто калекой родилась дочь, и теперь только жалеть — одно ее материнское дело. И эти книги, что подбирал ей порой Андрей Степаныч, горько повернулись в душе у старухи. Вон они ровными стопками стоят на столе. Никогда их не смотрела Анна Григорьевна. С мокрыми глазами прошла она в свою спальню. Некому ей было рассказать свое горе.

Чревато

И ВОТ с того самого обеда, когда Наденька прищурилась на отца и ничего не ответила, Андрей Степаныч горько обиделся. Но Анна Григорьевна встревожилась, всполохнулась. Пугливая радость забегала в Анне Григорьевне. «Да неужели, неужели, — втихомолку от самой себя думала старуха, — ведь не та Наденька, не та стала. Тайна какая-то. Неужели, неужели победила? И ходит, как с короной. Кто, кто оценил ее Наденьку? Кто влюблен? Только почему все по-злому как-то? Гордо, да не весело. Ну да ведь и заждалась же!»

И Анна Григорьевна не спрашивала, дышать боялась на Наденьку, чтоб не сдуло как-нибудь этого, как ей показалось, победного. Ожила старуха, важней стала садиться, чай разливать и с Андреем Степанычем совсем стала малословна, как будто у ней с Наденькой своя женская, серьезная и важная тайна завелась.

Спросит Андрей Степаныч за чаем:

— Не знаешь, Анна Григорьевна, не приносили июньское «Русское богатство»?

Анна Григорьевна отмахивается головой.

— Ах, не знаю, право, не знаю. Может быть, и приносили. — А потом обернется к Наденьке и скажет другим голосом: — Ты

видала, Надя, там приходили мерить, у тебя там на диване оставили?

Андрей Степаныч вычитывал новость из газеты: политическую, грузную, замысловатую новость. Вслух прочитывал нарочитым, напористым голосом. Прочтет и многозначительно глянет на дочь, на жену: что, мол, скажете, каково?

Наденька только тряхнет головой в его сторону и завертит ложечкой в стакане.

Наденька знает, что надо только улыбаться на эти тревоги: Клейгельс или Трепов? Такие вот, как отец, сидят, как раки под кокорой, и мастито усами поводят. «Покраснеют только, когда их сварят в котле революции». Наденька запомнила: это один студент говорил.

Анна Григорьевна молча взглянет на мужа и подумает: «Никогда он ничего не понимал и такой же нечуткий, как и все мужчины. И Наденькин, наверно, такой».

Андрей Степаныч сделал паузу, ждал реплик. Анна Григорьевна глянула на него упорно, даже вызывающе, отвернулась и покрыла чайник накидкой в виде петушка.

Андрей Степаныч недоумевающе глянул, даже снял пенсне. Потом снова приладил его на нос и вполголоса пробасил в газету:

— Нет, а мне кажется это очень и очень того... значительным и даже... сказал бы: чреватым!.. очень даже.

Потом совсем обиделся и уперся в газету, читал «Письма из Парижа» и важно хмурился. Письма — глупые белендрясы одни, никогда их не читал Тиктин, теперь назло стал читать. Ничего не понимал, все думал: «Почему вдруг такая обструкция?» Но до расспросов не унизился. Хоть и больно было.

Валя

НАДЕНЬКА, не раздеваясь, прошла к себе в комнату. Прошла, не глядя по сторонам, но никого не встретила. Она повернула ключ, положила на пол твердый пакет в газете и сморщилась, замахала в воздухе ручкой, — больно нарезала пальцы веревка.

Наденька жадно и благоговейно присела над пакетом — вся покраснела, запыхалась.

Первый раз сегодня ее называли прямо «товарищ Валя», первый раз ей дали «дело». Сохранить у себя эти листки. Журнал

на тонкой заграничной бумаге. И он говорил — имени его она не знала — глухо, вполголоса:

— Товарищи рисковали... перевезли через границу... теперь это здесь. Не провалите.

Наденька трепала узелок тугой бечевки и мысленно совалась во все углы квартиры. И куда ни сунь — ей казалось, как будто эта тонкая серая бумага будет светить через комод, через стенки шкафа, сквозь подушки дивана. Она оглядывала комнату и в нижнюю часть трюмо увидела себя на корточках на полу — из красного лица смотрели широкие синие глаза. Трюмо было старое, бабушкино, в старомодной ореховой раме. Такие же испуганные глаза вспомнила Наденька — свои же, когда она, лежа на диване против зеркала, представляла себя умершей.

И все встало в голове. Вмиг, ясно и тайно, как оно было.

Наденьке двенадцать лет. Все ушли из дому. Наденька обошла квартиру: не остался ли кто? Днем не страшно одной: наоборот, хорошо. Никто не видит. Можно делать самое тайное. Наденька выгнала кота из комнаты — не надо, чтоб и кот видел, — заперла дверь. Посмотрела в трюмо. Трюмо старое, бабушкино. Оно темное, пыльное. Пыль как-то изнутри — не стирается.

Наденька спешила, чтоб кто-нибудь не помешал, не спугнул. Руки дрожали и дыхание срывалось, когда она укладывала белую подушку на диван. Потом кружевную накидку. Рвала ленточку в тощей косичке, чтоб скорей распустить волосы. Она расстегнула воротничок и загнула треугольным декольте. Легла на диван, примерилась. Расправила на подушке волосы, чтоб они легли умилительными локонами. Закрыла глаза и, прищурясь, глянула в зеркало.

«Такая прелестная, и умерла — так скажут, — думала Наденька. — Войдут в комнату на цыпочках и благоговейно станут над диваном».

«Не шумите!.. Как мы раньше не замечали, что она...»

Наденька сделала самое трогательное, самое милое лицо. Но тут она вскочила, вспомнила про розу в столовой в вазочке. Она засунула мокрый, колючий корешок за декольте — мертвым ведь не больно. Посмотрела в зеркало. Ей захотелось поставить рядом пальму. Она присела, обхватила тоненькими руками тяжелый горшок, прижала к груди — роза больно колола. Это поддавало ей силы. Она спешила и вздрагивала, как человек, который первый раз крадет. Она поставила пальму в головах дивана и легла с помятой розой.

Теперь было совсем хорошо. Наденька повернулась чуть в профиль — так красивее — и замерла.

«Тише! Она как спит».

Уже будто целая толпа в комнате. Все смотрят. И Катя, подруга, тут. Катька завидует, что все любуются на Наденьку. Наденька гордо вздохнула. Теперь она закаменела, не шевелилась. Совсем закрыла глаза. Она чувствовала на себе сотни глаз. Взгляды щекотали щеки. Она подставляла свое лицо, как под солнце. Прерывисто вздыхала. Разгорелась, раскраснелась. Она вытянулась, сколько могла, на диване.

«Наденька, голубушка! Милая! — это уже говорит мама. — Красавица моя!»

Наденьке и гордо, и жалостно. Слезы мочат ресницы. Наденька не раскрывает глаз. Застыла. Теперь уже она не знает, что такое говорят. Говорят такое хорошее, что нельзя уже словами выдумать, и так много, что она не поспевает думать. Вся комната этим наполняется. Еще больше, больше! У Наденьки спирает дыхание. Еще, еще!

Звонок.

Наденька испуганно вскакивает.

Подушка, роза, пальма! Конечно, сперва пальму. Ничего, что криво. Только на третий звонок Наденька спросила через дверь:

— Кто там?

Матрена:

— Конечно, боязно, барышня, открывать. Подумать: одни в квартире. Даже вон раскраснелись как!

В этом зеркале, как раз за подзеркальным столиком — он чуть отошел, — была щель между стеклами — узкая, туда по одному, как в щелку почтового ящика, можно перебросать эти листики; один за другим. Наденька встала и осмотрела дырку.

Апельсины

АНДРЕЙ Степаныч помнил в своей жизни случай: глупый случай. Даже не случай, а так — разговор. Он еще студентом, на домашней вечеринке, взял с тарелки апельсин и очень удачно шаркнул ногой и на трех пальцах преподнес апельсин высокой курсистке. И вдруг, как только курсистка с улыбкой потянулась к апельсину, какой-то гость — лохматый, в грязной рубахе под пиджаком, — залаял из спутанной бороды:

— Да! Да! Как вы... как мы смеем здесь апельсины есть, когда там, там, — и затряс сухим пальцем в окно, — там народ умирает с голоду... С го-ло-ду! — крикнул, как глухому, в самое ухо Андрею Степанычу. И блестящие глаза. И кривые очки прыгают на носу.

На минуту все вокруг смолкли. Андрей Степаныч повернулся к очкастому, все так же наклонясь и с апельсином на трех пальцах, и сказал:

— Возьмите этот апельсин и накормите, пожалуйста, Уфимскую губернию.

Очкастый не взял апельсина, но и курсистка не взяла, и Андрей Степаныч положил апельсин обратно в тарелку. С тех пор Тиктин заставлял себя есть апельсины: он чувствовал, что избегал их. И всегда именно при виде апельсинов Тиктин отмахивался от этой мысли.

Он твердил себе:

— Лечение социальных зол личным аскетизмом — толстовство и равно умыванию рук. Пилатова добродетель.

Этот апельсин никогда не выходил из головы Тиктина, и время от времени он подновлял аргументы. И вечером, в постели, после умных гостей, Андрей Степаныч налаживал мысли. Многое, многое шумно и умно говорило против апельсина, но где-то из-под полу скребли голодные ногти. И все мысли против апельсина всплывали и становились на смотр.

Вечером в постели Андрей Степаныч опускал на пол газету, закладывал под голову руки и смотрел в карниз потолка. Теперь он председательствовал и формулировал мысли, что получил за день. Мысли были с углами, иногда витиеватые, и не приходились друг к другу. Андрей Степаныч вдумывался, формулировал заново и притирал мысли одна к другой. Он ворочал ими, прикладывал, как большие каменные плиты, пока, наконец, мысли не складывались в плотный паркет.

Андрей Степаныч еще раз проверял, нет ли прорех — строго, пристально, — тогда он решительно тушил свет и поворачивался боком. Он подкладывал по-детски свою толстую ладошку под щеку, и голова, как вырвавшийся школьник, несла Андрея Степаныча к веселым глупостям. Он представлял, что он едет в уютной лодочке. Внутри все обито бархатом, и лодочка сама идет — такая уж там машинка какая-нибудь. Идет лодочка по тихой реке, и едет Андрей Степаныч к чему-то счастливому. А сам он — хорошенький мальчик. И все ему рады, и он сам себе рад. Андрей

Степаныч никогда не доезжал до счастливого места, засыпал по дороге, подвернув под щеку густую седоватую бороду.

Наденька услышала голоса из кабинета — много густых мужских голосов и один ненавистный, медлительный, носовой, требующий внимания. Она прошла в столовую, чтоб лучше слышать, и долго выбирала стакан в буфете — и ненавистный голос цедил слова:

— Да, с крестьянской точки зрения, мы все бездельники, тунеядцы. А я, как судья, даже вовсе вредный человек — от меня исходят арестантские роты...

И бас Андрея Степаныча:

— Но мы-то, мы за все это ведь отвечаем? Или не отвечаем? Вот вы ответьте-ка мне.

Наденька перестала бренчать стаканами.

— Перед чем? — не спеша, в нос произнес судья. — Перед культурой или перед народом?

— Перед самим собой! — рявкнул Андрей Степаныч, и слышно было, как зло хлопнул ладонью по столу.

Секунду было тихо, и Наденька притаилась со стаканом в руке.

— Что ж это — самообложение? — насмешливо прогнусавил голос.

И вдруг роем, густо, быстро забубнили голоса, Надя слышала, как отодвинулось кресло, как шагнул отец, и стала наливать из графина воду. До нее долетели лишь обрывки фраз:

— Римляне, значит? Укрепление рабства?

— Результат? результат? результат? — старался перекричать голоса бас отца, настойчивый, встревоженный. И во всех голосах звенела труба тревоги.

— Что же? Кто же? — слышала Надя хриплый больной голос. — Сидеть, сложа руки, ждать?

У Нади билось сердце: «теперь, теперь резануть правдой и этому судье в лицо», и дыхание спиралось в груди; там, в кабинете, все те люди, те большие, взрослые — гости, приятели отца — их уважать и бояться привыкла Наденька — и она откладывала минуту. Она осторожно вошла в кабинет. Лампа под низким абажуром освещала дымный низ комнаты — ковер, брюки, ножки кресел. Наденька присела на подлокотник дивана — ее лица, она знала, не видно было в темноте.

Надя мысленно, наспех, внутренним голосом, репетировала, что она скажет, — скажет три или пять слов, короткую фра-

зу, сбреет, срежет небрежным тоном, но в точку, с уничтожающим смыслом, повернется и уйдет, а они, пораженные, недоумевающие, останутся с открытыми ртами. И она слушала гул голосов, искала минуты, задыхаясь от волнения.

— Когда, вы говорите, поздно будет? Когда? — крикнул Андрей Степаныч.

Все на секунду смолкли. Не видно было, к кому обращался Андрей Степаныч. И вот из угла ровный, небрежный, ненавистный Наденьке голос методически начал:

— Я так понял, что тут боятся, что будет поздно, когда народ пойдет прямо на бездельников, то есть на культуру, насколько я понимаю.

— Да, — сказал в тишину Андрей Степаныч, — тогда — пугачевщина!

Мутная тишина заклубилась в гостиной.

— Вы боитесь пугачевщины, то есть попросту народа...

Наденька сама испугалась своего голоса: не ее голос, но твердый. Андрей Степаныч вскинулся в ее сторону, в тревоге, в испуге. Все головы повернулись и замерли: Наденька не видела, но знала, что на нее смотрят. На мгновение Наденька подумала: «Так и кончить и не идти дальше». Страшно стало. Но голос сам заговорил:

— ...Народа, масс, пролетариата, которому нечего терять и не за что бояться. Против него направлены штыки и пули...

Наденька уж видела, что не выходит иронически, — другой голос говорит, не так, как думала.

— ...А народ идет к вооруженному восстанию, рабочие организуются в свою рабочую партию, и кто ее боится, тот связан с буржуазией и царским бюрократизмом и нагайками.

Наденька почувствовала, что голос кончился и осталось одно частое, прерывистое дыхание, и в тишине это дыхание слышно, и вот теперь она может заплакать, а не гордо повернуться. Она чувствовала, как стучит кровь в лице. Наденька разжала руки, прихватила юбку, будто боялась зацепиться, и крутым поворотом рванулась к двери. Она шла по столовой, опустив голову, со слезами на глазах.

— Наденька, что случилось? — остановила ее Анна Григорьевна в коридоре. Но Наденька быстрыми шагами прошла в свою комнату, в темноту, и ткнулась в подушку.

Анна Григорьевна засеменила в кабинет — разведать, что случилось, кто обидел Наденьку.

После Наденькиной речи в кабинете стало на минуту как будто пусто. На минуту каждый почувствовал, что он один в комнате.

Кто-то щелкнул портсигаром, раскупорил тишину. Постучал бойко папироской о крышку.

— Та-ак-с... — протянул Андрей Степаныч и наклонил свою большую голову, развел бороду на грудь.

— Так-таки-так, — сказал медик и зашагал по ковру, пружиня колени.

Анна Григорьевна тихо стояла в дверях и ничего не могла понять, на всякий случай она улыбалась.

— Заводской митинг, — произнес судья и шумно пустил дым.

Андрей Степаныч думал, как резюмировать, но как-то не выходило.

— Идемте чай пить, — сказала ласково с порога Анна Григорьевна.

Все сразу поднялись. Гости жмурились на яркую скатерть, на блестящий самовар.

— А здорово ваша дочь нас сейчас отчитала, — сказал судья Анне Григорьевне и льстиво улыбнулся.

А Наденька все слышала в ушах свой голос и не знала, что вышло. Но что-то вышло, и вышло такое, что нет возврата. Куда возврата? Наденька не знала, где она прежде была. Ей было теперь все равно.

Ветер

ВИКТОР боялся первую неделю ходить в город, — чтоб не потянуло к Сорокиным. Валялся на койке, шатался меж палаток. В субботу пять раз чистил и подмазывал сапоги. К вечеру еще раз побрился. Трудно давалось время. Мечтал: «Хорошо бы заболеть. Лежал бы в госпитале. Уж там, как в тюрьме. Или вот проштрафился — и без отпуска. Возьму — испорчу ротное учение, загоню свой взвод так, что... что прямо под арест... Из-за нее».

Вавичу понравилось: под арест из-за нее! И пусть она не узнает никогда... То есть пусть узнает, только чтоб не он сказал. А он еще будет ругаться, что выдали.

Утром Виктор подумал:

«Могу же я навестить больную мать? У человека мать больна».

— Смешно, ей-богу, — сказал Вавич вслух.

Еще раз обшаркал щеткой ботфорты, проверил ладонью подбородок — чисто ли побрит, — и зашагал к дежурному за увольнительной запиской.

Дорогой Вавич то вдруг поддавал ходу, то вдруг спохватывался и шел размеренной походкой, в уме прибавлял: «честного пехотинца».

Честным пехотинцем он шагал торжественно и грустно — это пехота идет умирать: «надо уметь умирать» — это Вавич читал где-то. Честным пехотинцем он дошагал до Московской заставы и тут наддал. Он насильно свернул к себе на Авраамовскую, на углу скомандовал в уме: «напра-во!» и повернул, как на ученье. Он шел с трудом, как против ветра. Ветер дул туда — к тюрьме. И Виктор шел, наклонясь вперед, твердо ставя каждую ногу на панель.

На крыльце его встретила Таинька.

— Спит, спит, только вот заснула, — сказала Таинька шепотком.

— Ну, я не войду, не войду, — ответил скороговоркой Виктор, — ничего, ничего, я после, — как будто Таинька не пускала его в дом.

Виктор повернул и теперь пошел по ветру, упираясь ногами, чтоб не бежать.

Было рано, еще не отошла в церквах обедня, и Вавич знал, что смотритель теперь в тюремной церкви стоит впереди серой арестантской толпы и аккуратно крестится на иконостас. А Груня дома.

«Нет, не пойду, слово дал».

И опять размеренно зашагал честным пехотинцем. Виктор ввел себя в городской сад, повернул себя в ворота, как рулем поворачивают пароход.

Няньки с ребятами сидели в ряд на скамейке, лущили подсолнухи. Сзади шарами вздувались разноцветные юбки «сборами». Дети разбрелись по дорожкам. Няньки на минуту бросили подсолнухи и, щурясь на солнце, проводили глазами бравого солдата. Ай и солдат! И сейчас же решили: из господ.

Вавич прошел в самый конец сада и сел на скамью. Встал через минуту и решил походить. Но ноги несли к выходу. Виктор снова усадил себя на скамейку.

Он решил: «Можно ведь сидеть и думать. Бывает же, что сидят и думают, думают до вечера. А вечером поздно уж идти туда. И тогда пойдешь домой».

Виктор наморщил лоб, чтоб думать. Но ничего не думалось.

«Не знаю, о чем, вот беда», — пожалел Виктор.

И вдруг он увидел на дорожке новобранца своего взвода. Солдат осторожно пробирался туда, где горели на солнце цветные юбки.

Виктор вскочил.

— Гарпенко! — крикнул Вавич.

Солдат вздрогнул, оглянулся. А Виктор уж манил его вредным манером.

— Поди, поди сюда, молодец.

Солдат подошел и взял под козырек.

Простым солдатам запрещалось ходить в городской сад.

— Ты как сюда попал? — спросил Виктор. — Стань как следует. Стоять не умеешь.

Солдат вспотел, покраснел и, видно, готовился ко всякому.

— Виноват, господин взводный, — сказал шепотом Гарпенко.

А Виктор смотрел и думал, что теперь сделать?

И вдруг Виктор сунулся в карман, достал оттуда сложенную мишень, оборвал четвертушку. Быстро написал на скамейке несколько слов огрызком карандаша.

— Вот, слушай. Отправляйся с этой запиской в тюрьму.

— Простите, господин барин, за что? — зашептал новобранец. Он готов был заплакать.

Няньки поднялись со скамьи, стали на дорожке и смотрели, что делает барин с солдатом.

Строгость.

— Опусти руку, — сказал Вавич. — Взводный тебе приказывает. Поди, дурак, в тюрьму и передай эту записку дочке смотрителевой...

Солдат передохнул.

— И никого не спрашивай. Я тебе гривенник дам.

— Слушаю, господин барин, — гаркнул солдат и хотел повернуть.

— Стой! — И Виктор подробно рассказал Гарпенко, как пройти к Груне. — Живо!

Солдат рванул из сада. А Вавич ушел в другую аллею от нянек.

Он теперь загадал: «Если встречу первого офицера штабс-капитана, значит, Гарпенко передаст записку... А вдруг он прямо ее, записку-то, самому смотрителю? Дурак — новобранец. Непременно и сунет Петру Саввичу. Вот скандал!»

И Вавич хотел бежать вдогонку солдату. На извозчика! И сейчас же успокаивал себя:

«Все равно: я решил не ходить. Пусть будет что угодно».

И стал шепотом молиться:

«Дай, Бог, дай, Бог, дай, Господи, дай ты, Господи, Иисусе Христе. Миленький Господи, дай, чтоб вышло».

Бабочка

ГРУНЯ прилаживала чистое полотенце на образ. Отошла глянуть, не криво ли.

И вдруг в окно увидала, как солдат идет от калитки. Солдат держит левую руку вперед, и между пальцами бьется записка, будто солдат поймал бабочку и несет Груне. Груня побежала навстречу. И Гарпенко и Груня через силу дышали, и оба улыбались.

Пока Груня читала корявый почерк, Гарпенко уж брякнул калиткой. Тогда Груня схватилась:

— Солдатик! Солдат! Сюда, вернись. В городском?

Солдат кивнул головой.

Груня высыпала ему все медяки, всю сдачу базарную. Всунула ему в кулак и зажала. Солдат брать боялся.

Потом Груня еще раз перечла записку:

«В тишине в саду думаю о вас.

Ваш Виктор».

Груня только и поняла «в саду» и «Виктор». У солдата узнала, в каком саду. Но одно она чувствовала, что надо идти — и сейчас же. Груня вышвыривала бережно сложенные чулки из комода, наспех проглядывала беленькую блузку — не порвано ль где. Груня знала, что он страдает и что скорей, скорей надо. Она быстро оделась, схватила свой розовый зонтик. Она неровно дышала, раскрыв рот с сухими губами.

По дороге разбудила извозчика и, не рядясь, поехала к саду. Извозчик еле тряс по городским булыжникам, помахивал веревочным кнутом, задумчиво приговаривал:

— Рублик стоит. Вот те Христос, рублик стоит.

— Гони, гони! — толкала Груня извозчика.

У сада Груня соскочила, сунула два двугривенных в шершавую руку, не глядя.

— Эх, мать честная, — покачал головой извозчик. И крикнул вслед: — Подождать прикажете?

Только вступив в сад, Груня вспомнила — открыла зонтик.

Розовым звонким шаром вспыхнул зонтик на солнце.

Вавич сразу увидал через кусты розовый свет, поправился, поддернулся и не знал, идти ли навстречу, боялся, что побежит. От напряжения он закаменел и стоял с кривой улыбкой.

Груня шла, работая локтями, как будто разгребала воздух, и в такт работал в воздухе розовый гриб. Был полдень. Звонили колокола, и Вавич смотрел, как ныряла Груня из солнца в тень. Она спешила, как на помощь, как будто Вавич ушибся и стонет на дорожке.

Виктор ничего не мог сказать, когда здоровался: совсем задеревенел.

Груне хотелось закрыть его зонтиком и увести совсем куда-нибудь далеко, посадить к себе на колени, взять на руки.

— Вот хорошо-то, — говорила, запыхавшись, Груня, — вот я как поспела-то.

Виктор молчал, все слова, что он выдумал, пока ждал, перегорели, засохли и не выходили из горла.

Груня ждала, знала, что отойдет, сейчас отойдет, отмокнет, и вела его дальше в глубь сада.

— А солдатик-то записочку, как бабочку за крылышки, — говорила Груня.

В дороге

ГРУНЯ усадила Вавича на скамейку. Дорожка здесь расширялась, и кусты пыльной сирени отгораживали комнату. Сзади за кустами, за решеткой сада, мальчишки стукали пуговками, спорили и ругались. Но ни Вавич, ни Груня их не слыхали. Груня сидела рядом с Виктором, незаметно прикрыв его сзади зонтиком. Она чувствовала, как он отходил, оттаивал.

— Я ведь обед так и бросила! — сказала Груня, глядя в землю. — Сгорит, другой сварим.

У Виктора дрогнуло внутри: понял, что это они сварят — он и Груня. Обожгло, и чуточку страшно.

Груня замолчала. Они сидели совсем близко, и оба слышали, как шумит какой-то поток в голове. Не мысли, а шум. Как будто они едут, катят по дороге. И дороги их сходятся все ближе и ближе. Они не могли прервать это течение, и теперь оно поднесло их так близко, что Вавичу казалось, будто он уж слышит, как у Груни шумит. Уж теперь не рядом едут, а вместе.

Тут Груня глубоко, облегченно вздохнула. Глянула Виктору в напряженные глаза. А он смотрел, как смотрят на дорогу, когда несет вниз с горы. Груня отвела взгляд и спросила:

— Хорошо? — и вдруг испугалась, покраснела и прибавила: — Летом?

У Вавича вдруг глаза стали с мокрым блеском, он замигал и сказал тихо:

— Особенно... особенно... Аграфена Петровна, — и жаром ему залило грудь. — Вовсе никогда не думал...

Он смотрел на Груню во все глаза. Под зонтиком Груня розовая, и кофточка на ней розовая, как лепесток, и золотая тонкая цепочка на шее, и убегает в треугольный вырез на груди. Ухватиться захотелось Виктору, врасти — вот станет хорошо и крепко житься! Вот так тянул он из березы мальчишкой весенний сок: припадет губами — не оторвать.

— А я думала... — сказала Груня и оборвалась, улыбнулась тягуче. Вавич понял: думала, что уж не любит. В это время вышла из-за кустов девочка, красная, напруженная. Она неровно ковыляла голыми ножками в носочках. Сзади на веревке боком ехал по песку ватный зайчик.

Груня вдруг встала, зонтик полетел назад... Груня присела к ребенку, обхватила его полными горячими руками, прижала и принялась целовать, без памяти, до слез. Она запыхалась, душила ребенка и не замечала, что он плачет.

Виктор смотрел широкими глазами, слезы вдруг навернулись, он поднял руку и со всей силы стукнул кулаком по скамейке.

Груня оглянулась, глянула мутными глазами на Вавича. Нянька вразвалку побежала к ребенку, с детскими граблями в руках, с куклой под мышкой.

Вавич встал, подал Груне зонтик. Рука чуть дрожала.

На главной аллее Вавич радостно и метко стал во фронт отставному интенданту. Не надо было — подарил старика.

Раскат

БЫЛ жаркий, душный вечер. Казалось, что черный воздух налит густой теплотой.

У смотрителя Сорокина за столом сидел Вавич в чистой белой рубахе, в новеньких погонах. С тонким шнурком по кра-

ям. Груня обшивала. Смотритель сидел на хозяйском месте. Он откинулся назад, поставив меж колен шашку, и ревностно слушал, как говорил пристав.

Пристав был высокий, с длинной красной шеей. Пристав был из гвардейских офицеров, и смотритель уважал: Санкт-Петербургской столичной полиции — это Сорокин видел, как будто на казенном бланке строгими буквами.

Вавич знал, что пристав ушел из полка со скандалом, и привык думать про него: из битых поручиков. Но теперь Вавич смотрел, как осанисто вытирал пристав салфеткой крашеные усы и потом форсисто кидал салфетку на колени, — смотрел с робостью.

— Позвольте, позвольте, дорогой мой Виктор Викентьич, — если не ошибаюсь.

— Всеволодыч, — поправила Груня.

Смотритель ткнул Груню глазом. Груня потупилась и налила приставу из графинчика.

— Позвольте, дорогой мой, — говорил пристав, — вот вы военный. Я, знаете ли, сам был военным. Вы говорите — родину защищать...

Виктор ничего еще не говорил, но растерянно кивнул приставу.

— Так извините, — пристав опрокинул рюмку и ткнул вилкой в грибки, — извините. А полиция, что делает полиция? Что, по-вашему, делает полиция? — Пристав бросил салфетку, уперся в колени.

Виктор мигал, глядя в глаза приставу.

— Полиция всегда на посту! Полиция всегда в деле. Полиция беспрерывно в бою. Извольте — я! — Пристав встал, указывая рукой на грудь. — Вот сию минуту. Крик на улице, — и я там. — И он округло показал в окно. — Не рассуждая, не спрашивая. А когда вы воевали последний раз? — Пристав сощурился и повернул ухо к Вавичу.

Вавич беззвучно шевелил губами.

— Четверть века тому назад-с! — Пристав снова сел, громыхнул стулом. Груня долила рюмку.

Пристав пил и краснел, краснел лицом и затылком. Крутой бритый подбородок блестел от пота, как лакированный.

— Спокойно ночью спите, бай-бай? Почему? Спустили шторы и баста? А вот не видно вам за окном, — он покивал большим пальцем себе за плечо, — там, на мостовой! в трес-

кучий морроз, да-с! — стоит там городовой. Да, да, которого вы фараоном дразните, — пристав зло ковырнул Вавича глазами, — стоит всю ночь, борода к башлыку примерзла! А зашел этот городовой и тяпнул рюмку у стойки, — все орут — взятка. А ну, тронь вас кто в темной улице — так уж орете благим матом: городовой! Яблоко на базаре стянут — городовой! Лошадь упала — городовой! Чего ж это вы не кричите: фараон! — позвольте спросить?

Пристав уставился на Вавича, насупил брови. Вавич краснел.

— Я вас спрашиваю, почему ж вы не кричите?

Смотритель тоже глядел на Виктора, запрокинув голову. Твердо смотрел, как на подсудимого. Груня поспела с графином на выручку, тайком глянула на Виктора.

— Да, конечно, есть, что не сознают... — заговорил нетвердо Виктор и зажег дымившуюся папиросу.

— Не сознают? А орут — взятка, взятка! — Пристав встал. — Кто кричит-то? — Пристав так сощурился, что Виктору стало жутко. — Студенты? А вышел в инженеры ваш студент и рванул с подрядчика, что небу жарко. Разоряли подрядчиков вдрызг, — орал пристав. — А землемеры? Что? Так, по ошибке, целины прирезывали, да? Бросьте! А в Государственном совете? — хрипло тужился пристав. Смотритель дернулся на стуле. — Да, да! — кричал пристав уж на смотрителя. — При проведении дорог: города, го-ро-да целые обходили! Губернии! А если городовой замерз на посту... Это хорошо рассуждать в теплых креслах. Получается: свинья под дубом, да. Вот вы снимите-ка на один день полицию. Что день: на час. И посмотрите-ка, что выйдет... Взвоете-с!

Все молча смотрели в пол. Пристав сел.

— По-моему, — сказала вдруг Груня, — кто не любит полиции...

— Воры, воры, — смею вас уверить, воры больше всего не любят, — перебил пристав.

Груня пододвинула икру.

— Ведь, извольте видеть, — весело заговорил пристав, намазывая икру, — ведь чем общество образованней, я сказал бы выше, тем оно больше уважает блюстителя законного порядка. В Англии возьмите: полисмен — первый человек. А тамошний околоточный, квартальный обыкновенный — в лучшем обществе. И оклад, конечно, приличный: фунтами.

— Фунтами? — удивился Сорокин.

Пристав вспотел, волосы бобриком теперь слиплись и острыми рожками стояли на темени. За окнами задыхалась ночь. Копилась гроза. Все чуяли, как за спиной стоит черная тишина.

Груня молча собирала расстроенные, расковыренные закуски. Смотритель утирал лоб платком с синей каемкой.

Вавич все еще с опаской взглядывал на пристава.

Груня принесла из кухни длинное блюдо с заливным судаком.

— Кушайте, — шепотом сказал смотритель и кивнул на судака. Но все недвижно сидели, рассеянно думали.

И вдруг дальний раскат бойко прокатил по небу.

Все встрепенулись — будто подкатил к воротам, кого ждали, веселый и радостный.

— Спаси и помилуй, — перекрестился смотритель, но перекрестился весело.

— Ну-с, за преданную порядку молодежь, — сказал пристав и, переняв графин из Груниных рук, сам налил Вавичу. — Приветный подарок.

Вавич улыбался. Груня счастливо глядела на Виктора.

— Приступаем, приступаем, — командовал смотритель и махал пятерней в воздухе.

Вальс

САНЬКА Тиктин любил балы. Санька был танцор и на балы приходил франтом. Сюртук он шил у лучшего портного и «на все деньги». Воротник был не синий, как у всех студентов, а голубой, и сюртук весь чуть длинноватый. Санька танцевал без устали, с упоением, но танцевал в такт, строго. Он не замечал, что делал ногами, как не замечает оратор своих жестов. И в танце Санька невольно проявлял и порыв, и почтительность, интимную веселость и брезгливую сдержанность.

Каждый раз, когда Санька собирался на бал, он собирался трепетно. Казалось, что должно что-то случиться, радостное и решительное, и он волновался, когда распихивал по карманам чистые носовые платки.

Балы начинались всегда концертным отделением с длинными антрактами — ждали артистов. Они надували, опаздывали. Санька взволнованно томился в коридорах, на лестнице и не переставая курил. А из залы глухо слышно было, как бережно, не спеша, подавал баритон последние ноты.

Хлопают. Кажется, на бис собирается.

И вдруг задвигались стулья, и распахнулся зал радостным, трепетным шумом. И Санька слышал в этом шуме и девичьем щебете то самое ожидание, что бросалось ему в грудь и заставляло широко дышать.

Служители в долгополых мундирах с галунами выпихивали из зала стулья и покрикивали через рокот толпы: «Поберегитесь, по-берегитесь!»

Барышни в бальных платьях выбегали из уборной и наспех, тайком оглядывались, не просыпалась ли на грудь пудра. Пробегали, изящно семеня ножками, в зал, искали мамаш. Все готовились — сейчас начнется то настоящее, для чего съехались, к чему готовились, как к смотру, как к турниру.

Кавалеры натягивали белые перчатки. Солдаты с трубами деловито усаживались на хорах.

Санька вошел в зал. Огромный четырехугольник паркета шевелился по берегам розовой, белой, голубой кисеей.

Высокий потолок весь утыкан электрическими лампами в квадратах дубовых полированных балок. Еще чист был воздух, прозрачно и ярко виднелись вверху лампы. Это было утро бала.

Санька был в числе распорядителей. Розетка на груди давала ему право, не представляясь, приглашать любую даму. Он обводил взглядом далекие берега паркета.

Студент-дирижер махнул белой рукой в воздухе, и в зал, как дуновением в открытое окно, поплыла музыка. Вкрадчиво замурлыкали трубы, и вальс ровными волнами стал качаться в зале. И Саньке казалось, что под змеистый мотив закачался весь зал, все заполнил вальс, что этим мотивом все думают, все живут.

Бальная барышня Варя — из тех, что ездят на балы без мамаш, улыбалась ему издалека. Санька шел к ней, ступая тонкими подошвами по скользкому полу. Ему казалось, что весь кисейный берег шатается в такт вальсу. Покачивается и знакомая барышня. Но Санька не дошел до бальной барышни. Он заметил, что дирижер уж открыл бал и скользил с короткой полной дамой, почтительно над ней согнувшись. Вот еще пошли три пары, и Санька знал, что сейчас встрепенется весь зал и пойдет толчея, давка. А Саньке хотелось хоть один тур проплыть по свободному чистому кругу.

Барышня, почти девочка, белокурая, сидит, смотрит в туфли. Санька остановился и шаркнул барышне. Она встала, все

еще не поднимая глаз, и положила Саньке на плечо руку. Осторожно белую перчатку на зеленый сюртук. Санька взял темп, и барышня легко пошла.

Чуть сбивчиво она ходила вокруг своего кавалера. Это не была пара: это двое танцевали рядом. Санька плотнее обхватил зыбкую талию, привлек ближе. Он сильно и верно поворачивал свою даму, и они оба больше и больше входили в мотив, вертясь, теряли пространство, как будто в путь, в долгий и сладостный путь понес свою барышню Санька. Он чувствовал, как доверчивей опирается на плечо рука в белой перчатке, как будто он переводил ее через опасный брод. Талия мягче и вольней легла на его руку, — она доверялась после первого знакомства.

Музыканты играли второе колено, и вальс энергично, ударами грянул: трубами, звоном. Санька круче, с порывом стал поворачивать свою даму, а она, слегка закинув голову, отдалась порыву.

Полуоткрытыми глазами, туманными, пьяными, глянула она на Саньку.

Теперь они были одни в зале — Санька не видел взволнованных берегов, не видел, как уж весь зал поднялся и закружился. Санька наклонился к своей даме, волосы слегка щекотали его щеку. Он не видел, а чувствовал, как налетали соседние пары, и ловко уворачивал от толчков свою даму, подставляя спину. Она теперь была его — он ближе ее прижал, и она покорно отдалась.

Они шли уже второй тур. Она теперь совсем открыла глаза, и Санька заметил, что она внимательно на него взглянула, как будто сейчас только увидала его, какой он. Они ровно, не замечая своих движений, работали ногами, как будто ехали на четвероногом экипаже, близко обнявшись. Они привыкли друг к другу — спокойно и верно, как будто прожито полжизни. Попробовал снова привлечь ее, он ускорил движение, и она поддалась, — как поддаются привычке, воспоминанию. Санька поглядел вокруг — далеко ли ее место, где она рядом с мамашей оставила веер на стуле.

Надо было кончать весь этот роман в два тура, и он мерил глазами расстояние. Теперь было все равно, пусть даже заговорит, и, чтоб скоротать время, неловкое, скучное время (как с толстой дамой на извозчике), Санька спросил:

— Почему вы серег не носите? Вам бы так шло.

При первом звуке его голоса она насторожилась, но, выслушав вопрос, отвернулась в сторону, ища свое место.

— Merci! — сказала она и, слегка пошатываясь от кружения, села на свой стул. На Санькин поклон закивала мамаша тройным подбородком: переливались жирные складки.

«Не то, — думал Санька, лавируя к дверям. — То должно пронзить: пронзить сладко и смертельно».

Алешка

САНЬКА хотел еще затянуться два раза и бросить папиросу. В это время на площадку лестницы вышел молодой человек в штатском сюртуке, с рукой на черной перевязи, с прыщавым лицом.

— А, Тиктин! Пляшете на радость самарским голодающим? — Он сощурил глазки и скривил толстые губы.

Санька злобно глянул, швырнул в угол папиросу, шагнул к двери.

— Нет, почему же? — продолжал молодой человек и сделал сразу серьезное и умное лицо. — Просто приятно. Я смотрел: с барышнями... И они плечиками так вот. — И он показал, как поворачивают плечиками, и снова сощурил глазки.

— Ну и ладно, — сказал Санька, — какого вы черта, Башкин...

Санька хотел придумать что-нибудь едкое. Не находил и злился. А Башкин заговорил нарочито громко, обиженным бабьим голосом:

— Я сам танцую: отчего же? Это даже гигиенично! Ей-богу! У меня вот только рука, — и он мотнул рукой вперед.

Санька видел, что Башкину очень хочется, чтобы его спросили про руку, и нарочито не спрашивал.

В это время вальс замедлился и оборвался. Стала слышней толпа. Захлопали двери. На лестницу стали выходить кавалеры, красные, потные, обмахиваясь платками, закуривали.

Башкин оперся о балюстраду, неестественно, неуклюже: все вы тут франты, а я вот какой, нарочито такой, и вот с рукой. К нему подходили, он здоровался левой рукой.

— Что это с вами?

И Санька слышал, как Башкин рассказывал случай: бойко, литературно.

Случай состоял в том, что Башкин вовсе не ухаживал за дамой за одной... Ну, и муж чего-то приревновал. Муж толстый,

выписывает «Ниву» и играет в шахматы... Почему ж не играть в шахматы? Башкин совсем не против того. Все люди, которые выписывают «Ниву», непременно играют в шашки или в шахматы...

Его не дослушивали, и подходили другие. Санька слышал, как случай разрастался. За дамой ухаживал не Башкин, а другой, такого же роста и тоже рука на перевязи... То есть у этого господина теперь тоже рука на перевязи. Только не правая, а левая. И перевязь коричневая. Даже скорей желтоватая.

Он оглянулся на Саньку и наскоро сделал хитрое лицо, даже чуть подмигнул.

В это время оркестр из зала грянул pas de quatre, и толпа стала тискаться к двери.

— Это я нарочно. Ей-богу, интересно, как кто реагирует. Я потом записываю. У меня уже целая статистика. Заходите как-нибудь... Нет, на самом деле! — И он опять сделал умное лицо. — Идите, идите вперед, мне с рукой нельзя. Вот спасибо, вы меня защищаете! Какой вы хороший! Нет, приходите, мы все это обсудим! — пел Башкин над Санькиным ухом.

В это время кто-то сильно потянул Саньку за рукав. Он оглянулся.

Подгорный Алешка, естественник, на полголовы выше толпы, тискался к нему и кивал:

— Есть к тебе два слова.

Алешка Подгорный был сыном уездного исправника, и Санька знал его за удалого парня. В химической лаборатории Алешка делал фейерверки, с треском, с взрывом, смешил товарищей и пугал служителя. И Санька ждал: какую шалость затеял на балу Подгорный.

В широком коридоре Подгорный взял Саньку под руку.

— Дело такое, Тиктин, что я вот здесь, а у меня дома архангелы. Чего ты? Ей-богу, обыск. Я уже чуял, а мне сюда передали. Сидят там теперь, ждут.

— Ну? — спросил Санька с тревогой.

— Так вот, нельзя к тебе на ночь? Нырнуть? Отсюда не проследят, когда кучей народ повалит. А? Ты как?

Башкин озабоченно пронесся мимо них по коридору. Он левой рукой придерживал правую. На ходу он обернулся, закивал приятельски:

— Так мы с вами потолкуем. — Он совался в двери и опять летел дальше.

— А если нельзя, — говорил Подгорный, — так ни черта, я до утра прошляюсь где-нибудь.

— Ерунда, валяй к нам, — сказал Санька.

— Ну, так я буду в буфете.

Алешка двинул вперед. Санька смотрел сзади на его широкую спину, на толстый загривок и походку. Твердая, молодцеватая, — так хозяева по своей земле ходят.

Санька машинально выделывал па и думал о Подгорном. Папа — исправник, а у сына — обыск...

По морде

САНЬКА два раза бегал вниз, в буфет. Алешка сидел за столиком и пил из стакана красное вино. Две пустые бутылки стояли возле него.

Бал подходил к концу. Саньке пришлось уже два раза спроваживать пьяных вниз. В буфете студенты-грузины в черкесках плясали лезгинку. Они легко и мелко семенили на месте кавказскими ноговицами. Визжала зурна.

— Судороги нижних конечностей, — пьяно орал студент-медик.

Но дамы стояли кольцом вокруг танцующих, хлопали в такт перчатками, полуоткрыв жаркие рты. А когда грузин вынул кинжал, все громко ахнули. Грузин броском вонзил кинжал в пол. Кинжал стал, трясясь, а танцор вихлял ногами возле самого лезвия.

— Ай, ай, — вскрикивали дамы. И сильней колотил бубен.

Алешка протиснулся к Саньке.

— Идем, черт с ними, пора. — От него пахло вином.

В вестибюле в давке метались руки с номерками на веревках, все орали наперебой. Кавалеры геройски протискивали охапки ротонд и пальто своим дамам. Кому-то обменили калоши, и он орал обиженно:

— Безобразие, господа!

— Самая что ни на есть пора, — сказал Алешка. И врезался в толпу к вешалкам. Он разгребал толпу руками, как будто лез в густой кустарник.

На улице было прохладно и сыро. Санька шел в расстегнутой шинели и глубоко дышал ночным воздухом. Потный сюртук лип к спине.

— Выйдем, где потише, — шепнул Подгорный. — Видней будет, если шпик уцепился.

Они перешли улицу, свернули в переулок. Шаги, сзади шаги. Торопливые, юркие.

— Станем, пусть пройдет, — сказал Алешка.

Человек нагонял.

— Нет, не шпик, — шепнул Подгорный.

Но Санька уже узнал. Башкин хлябал враскидку широкими шагами. Повязки не было, и пальто было надетó в рукава, руки в карманах.

— Я хотел с вами пройтись. Я люблю ходить ночью. Вообще, мы, русские, любим ходить ночью. Правда ведь? Что же вы меня не знакомите?

— Здравствуйте! — И Алешка протянул руку. Он задержал руку Башкина в своей и внимательно его разглядывал в темноте.

— Башкин Семен, — заговорил бабьим голосом Башкин, — клиент компании «Зингер»: купил жене машинку в рассрочку.

— Ну, пошли, — недовольно сказал Санька.

— Вы замечаете, как я теперь свободно действую этой рукой? — говорил Башкин на весь переулок, как перед толпой. И он стал нелепо махать и выворачивать руку в воздухе. И вдруг обернулся к Подгорному: — Скажите, вы в детстве не любили тайком перелистывать акушерские книги?

— Давай закурим, — сказал Алешка и остановился.

Башкин прошел вперед и ждал в трех шагах.

Чиркая спички, Алешка говорил хриплым голосом:

— Слушай, я ему по морде дам. Можно?

— Брось, — шептал Санька, — он, ей-богу, ничего. Я скажу, он уйдет.

— Ну ладно, — сказал Алешка громко.

— Я слышал, что вы сказали, — сказал Башкин, когда они поровнялись. Голос у него был серьезный, с дружеской ноткой и совсем другой: искренний голос. — Я слышал, вы мне хотели по морде дать. Правда ведь? Правда, я слышал.

— Да, хотел, — сказал Алешка и взглянул на Башкина. Башкин пристально, проникновенно глядел ему в глаза.

— Ну, от вас пахнет вином. Но вы же не пьяны? Нисколько?

— Нисколечко, — сказал Алешка и улыбнулся.

Он гулко шагал по тротуару. Башкин не в лад тараторил калошами рядом.

— Мне даже кажется, что вы добрый человек. Нет, нет, это совсем не комплимент. Меня всегда интересует, как могут люди — для меня это совершенно непостижимо — ну вот, как глотать стекло, — непонятно, как можно ударить человека по физиономии. Скажите, вы бы действительно ударили меня по щеке? — И он сам приложил к лицу свой кулак в перчатке. — Нет, меня серьезно это очень интересует. Я вот раз смотрел, как городовой бил пьяного по лицу, усаживая на извозчика. Так он это так, как подушку, когда не влезает в чемодан. А у вас как?

Башкин шел, слегка повернувшись боком к Алешке, и все внимательно смотрел ему в глаза.

— Ведь вы хотели ударить не с тем же, чтобы потом раскаиваться? Конечно, конечно, нет. Значит, чувствовали за собой право.

— Вы хотите сказать: какое я имею...

— Нет, я не это. А вот я на самом деле завидую людям, которые имеют право судить и карать. Как будто он пророк и знает истину. Ведь вы даже нисколько не сомневались, что хорошо сделаете, когда дадите мне по морде. Нет, серьезно. И я вот себя утешаю, что это у таких людей не от высшего, а от...

— Ограниченности, — подсказал Алешка задумчиво.

— Ну да, ну да, — заспешил Башкин.

— Нам направо, — сказал Санька.

— Слушайте, — сказал Башкин и протянул руку Подгорному, — нам непременно надо увидаться. Мне очень это важно. — Он пожимал и тряс Алешкину руку. — Прощай, брат, — вдруг на ты обратился он к Саньке и, не подав ему руки, свернул за угол.

Выпить бы

— СЛУШАЙ, что это за... черт его знает, — спросил Алешка и остановился.

— А вот, видал? Ну, и всегда, и каждый раз так. И кто он, тоже черт его знает. Пришел на бал, руку завязал. Чтоб все спрашивали. Завтра хромать, наверно, начнет. И древнееврейский язык выучил тоже, по-моему, для того же.

— Он же русский, — удивился Алешка.

— Ну да... И вот руки не подал.

— Это он за морду на тебе сорвал.

— А черт его знает. Бросим. — И Санька отшвырнул папиросу и застегнулся.

Они устало плелись по мокрому тротуару. Молчали.

Вдруг Алешка спросил:

— А у тебя как с дворником? Еще не впустит, гляди.

— У меня ключ от парадной. Ты знаешь, я вот все думаю, что это каждый раз так... ждешь, ждешь, все больше, больше... я про бал говорю... вот, вот что-то должно быть, самое, самое. И кажется даже — все ближе, все растет. И вдруг — марш. Конец. Так, ни с чем... Готово.

— А ты чего же хотел? — Алешка весело обернулся.

-- Понимаешь, я все думаю, что и жизнь так. Черт его знает — задыхаешься, ловишь и, главное, ждешь, что за жизнь твою что-то будет. Небеса, одним словом, разверзнутся. И вот-вот даже будет казаться: сейчас, еще полвершка. И ты в суете, все раздуваешь, чтоб огонь держать. И вдруг — марш. Так с открытым ртом и помрешь. Обман какой-то. У тебя такого не бывает?

— Не-ет, — протянул задумчиво Алешка, — я другого жду, случая, что ли. Как сказать?..

— Встречи? — спросил Санька и сразу наддал ходу.

— Нет-нет! Как бы его, к дьяволу, просто объяснить. Ну, представь себе, что у тебя револьвер в кармане. И там один патрон — на всю жизнь. И выстрелить ты можешь, когда хочешь. И это уж раз — и наповал.

— Ну так что?

— А вот и все. И тогда уж весь сгоришь. Чтоб вся кровь полохнула — и за самое главное, за дорогое. И тогда должно все ярким пламенем озариться, и все узнается... само... И только знать бы — когда и не пропустить, и чтоб дотерпеть.

— Гм. Все-таки ты ждешь, значит? — сказал Санька не сразу.

— Идем, брат, идем, — сказал Алешка и быстро зашагал. — Выпить бы сейчас, эх...

— Выпить бы, это верно; здорово.

Они подходили к дому, и Санька шарил по карманам ключ. Алешка оглядывал по сторонам: чисто — никого.

Паучки

У САНЬКИ в комнате Алешка сейчас же подошел к окну.

— Во двор? В чужой? И, конечно, замазано. Жаль.

— А что? — спросил Санька и сейчас же понял. — Можно открыть.

Алешка повернул шпингалет, уперся в подоконник коленом и потянул. Свежая замазка жирными червяками закапала, зашлепала на подоконник.

Рама дрогнула стеклами и отошла.

Алешка спокойно, методично открыл вторую, заботливо сгреб с подоконника сор и далеко зашвырнул на чужой двор.

— Второй этаж, — говорил Алешка. — Это здорово. На карниз, на карнизе повисну, тут и шума не будет. — Он осмотрел двор и затворил окно.

Саньке нравились эти приготовления: не игрушечные, не зря.

— Я думаю, не придут сюда, — сказал Санька.

— Да, навряд, — сказал весело Алешка. — А все же на случай. — Он снял шинель, положил на кровать, расстегнул сюртук. Из-за пояса брюк торчала плоская револьверная ручка.

Саньку интересовало, почему это Алешка с револьвером и что за обыск, но он не спрашивал. Казалось, что выйдет, будто мальчик спрашивает у взрослого, у дяденьки. А потом и неловко: приютил и будто требует за это признания.

Санька на цыпочках выкрался из комнаты, где-то грохнул в темноте стулом. Алешка сидел за письменным столом и задумчиво стукал карандашом по кляксам на зеленом сукне.

Санька вернулся с бутылкой мадеры, со стаканами. Они налили и молча чокнулись.

Алешка все глядел в пол, напряженно приподняв брови. Саньке казалось, что он слышит, как Алешка громко думает, но он не мог разобрать — что.

— Прямо не могу, — наконец сказал Алешка, будто про себя, и помотал головой.

Санька молчал, боялся спугнуть и прихлебывал крепкое вино из стакана.

— Сволочи... — сказал Алешка. — Потому что человек ничего сделать не может... Каблуком в рожу... в зубы...

— Кому? — тихо спросил Санька, как будто боялся разбудить.

— Да кому хочешь! — Алешка откинулся назад, хлебнул полстакана. — Хоть нас с тобой, коли понадобится. Да. И все сидят и ждут очереди. Пока не его — молчит, а как попадет — кричит.

Алешка с сердцем допил стакан. Санька осторожно подлил. Подгорный хмелел.

— Понимаешь, — говорил он, глядя Саньке в самые зрачки пристально, как будто держался за него взглядом, чтобы не кач-

нуться, не соскользнуть с мысли. — Понимаешь, ты любишь женщину, женился, просто от счастья женился, и вот дети. Твои, от твоего счастья, — доливай, все равно, — и дети эти на фабрике, на табачной, в семь, в восемь лет. Я сам таких видел. Они белые совсем, глаза большие, разъедены, красные, и ручками тоненькими, как паучки, работают. И они у тебя на глазах сдохнут, как щенята, и ты вот башку себе о кирпич разбей... Ты бы что делал? А? — спросил Алешка.

Спросил так, будто сейчас надо делать, и сию вот минуту нужен ответ. Он ждал, остановил недопитый стакан в руке.

Санька не знал, что сказать, смотрел в глаза Алешке. Трудно было смотреть, но потому отвести глаза считал Санька позором.

— Всех бы в клочья разорвал, — сказал Алешка. Нахмурил брови.

Санька в ответ тоже насупился и теперь отвел глаза и сердито глядел в пол.

— А теперь в участке сапогами рожу в котлету, и будут за руки держать и бить по морде чем попало. В раж войдут, сволочи, — им морды судорогой от удовольствия сводит. Всласть.

Саньке показалось, будто укорил его в чем-то Подгорный. И неприятно было, что не сказал сразу, что бы он сделал. Санька вспомнил все умные разговоры в кабинете у Андрея Степаныча и попробовал сказать.

— Не сразу это... Рост общественности... Организация, пропаганда среди... — почувствовал, что не то говорит, и осекся.

— Да нет, — громко, почти криком, перебил Алешка, — да ты вот представь, что тебя вот только за эти ворота заведут, — и он тыкал, как долбил в воздух, пальцем, — и там будут тебя корежить, — ты что? Да брось! Ты будешь думать: чего они, сволочи, те, что на воле, смотрят, ждут, не выручают. Ты нас всех клясть будешь, как мразь, как трусов, как рвань последнюю. И будешь думать: «Ух, когда б я на воле был, я б глаза вытаращил, зверем бы кинулся...». А все вот, как твой Башкин, смотрят и про подушку думают... или... второго пришествия ждут. Я б его туда кинул, городовым в лапы...

Алешка перевел дух и вдруг конфузливо улыбнулся. Схватился и опрокинул пустой стакан в рот.

Санька смотрел на него и думал: «А отец исправник».

Алешка поймал Санькин взгляд и понял.

— Отец тоже сволочь хорошая, все равно... Ну, черт со всем, давай спать. Я раздеваться не буду.

Ручка

АЛЕШКА спал на диване навзничь, свесив руку на пол. Санька подставил стул и бережно уложил грузную руку.

— Очень, очень может быть, — пробормотал во сне Алешка. И улыбнулся со вкусом. Подгорный спал, отдавшись, доверившись сну, как спят в полдень в тени под деревом косари.

«С толком спит», — подумал Санька.

Где-то далеко звучала еще в голове бальная музыка, ударяла настойчивым темпом, топала. Алешка, Башкин. Главное, Башкин. Башкин не выходил из головы, и все представлялось, как там, в переулке, он нелепо выворачивал, вертел рукой, как будто старался вывихнуть, и тут же где-то поссорились дети с большими красными глазами — голые, как в бане, и на деревянной лавке. Дети тоже выворачивали тонкими белыми ручонками и шевелили пальчиками. И все смотрели снизу вверх удивленными глазами. А отец разбивает голову о кирпич тут же рядом и все разбить не может. А дети не видят и неустанно шевелят пальчиками.

Санька дернулся на стуле, стряхнул сон. В столовой спокойным басом часы пробили шесть. Санька закурил, глянул на Алешку: на белой рубахе резким квадратом чернела револьверная ручка. Санька представил, как Алешка крепко в руке сожмет эту ручку и будет тыкать, тыкать пулями, как он давеча тыкал пальцем в воздух остервенелой рукой. Вот наступают, толпой наваливают черные шинели, а он... И Санька представлял себе, как Алешка один стоит, и спирало дух, дышал часто. Вот схватят, топчут каблуками... У Саньки руки дергались, расширялись глаза, сжимались зубы. Потом отходило. Теперь он уже видел, что не Алешку, а его, Саньку, обступили, и уже морды у городовых сводит судорогой, сейчас в зубы... держат за руки... Санька поводил плечами, отмахивался головой. И прошипел вслух:

— Сволочи!

Санька встал. Ему хотелось вытянуть у Алешки из-за пояса браунинг и хоть подержать, зажать в руке черную рукоятку. Он сдавил в руке холодное стеклянное пресс-папье, сдавил так, что полосы остались на руке.

Далеко в кухне осторожно щелкнула дверь: Марфа с базара. Санька перевел забившийся дух и зашагал по ковру.

Зубы

БАШКИН шлепал по лужам без разбора, спешил скорей отойти от приятелей. Ему нравилось, как он здорово кончил, и теперь боялся, чтоб не крикнули чего вдогонку. Он завернул за первый же угол.

Люди с правами его злили — за собой он не чувствовал этих прав. Он сбавил ход и сказал вслух:

— Обыкновенное туполюбие. Раздутая в чванство бездарность. Без-дар-ность, — крикнул Башкин громко, на всю улицу. — Цельная натура, — злился Башкин, — баран с крепким лбом, который долбит встречных, заборы, фонарные столбы, — для таких все удивительно ясно!

Башкин думал словами, как будто он произносил речь перед толпой и хотел доказать этой толпе, что цельные натуры — это идиоты, в том числе этот здоровый дылда, что собирался ему дать по морде. И пусть, пожалуйста, не хвастает своей цельностью. Цельней осла все равно не будут.

— Идиоты, форменные идиоты, — говорил Башкин вслух.

Он старался говорить спокойно и веско. Примерил баском и завернул кругло «о».

— Идиоты! о-оты!

Через минуту Башкин уже думал, что этот студент не посмел бы и думать дать в морду, если бы он, Башкин, был бы атлет. Мускулы шарами, как арбузы, в рукавах перекатываются. Надо заниматься гимнастикой.

Башкин остановился и выкинул руки в стороны, как делал это на гимнастике в училище.

— Раз-два. Вперед, в стороны... Завтра куплю гири и начну.

Он снова пошел, размеренно и широко шагая. Он чувствовал, что устал от бессонной ночи. «Нет, не надо гирь, — думал Башкин, — просто: говорить всем, что он занимается гимнастикой и выжимает два пуда».

У ворот он нащупал в кармане гривенник и коротко ткнул в звонок. Пришлось ткнуть еще и еще.

«Обозлится дворник, обозлится, — думал Башкин. — Но мог же я в самом деле быть занят ночью важным делом. Мог дежурить у больного: до дворников ли? Тоже, скажите». И вслух сказал:

— Скажите, пожалуйста.

Башкин поднял голову и выпятил грудь. Во дворе резко хлопнула дверь и зашаркали тяжелые сапоги.

Башкин видел сквозь глазок в ворота, как шел дворник в белье, накинув на голову рваный тулуп.

Башкин ткнул гривенник в ладонь дворнику.

— Скажите, правда у вас болят зубы?

— Эк ты, черт проклятый, — ворчал дворник, тужился повернуть ключ.

— Мне почему-то кажется, что у вас болят зубы, — говорил Башкин, удаляясь от дворника. — Это ужасно мучительно, — говорил Башкин и вступил в черную дыру лестницы.

Сзади шаркали тяжелые сапоги по камням.

Альбом

БАШКИН жил у вдовы-чиновницы, у пыльной старухи. Старуха никогда не раскрывала окон, вечно толклась в своей комнате и перекладывала старые платья из сундука в комод, из комода в старый дорожный баул, шуршала бумагой. Пыль мутным туманом расползалась по душной квартире. Махоркой, нафталином и грустным запахом старых вещей тянуло из сырого коридора. Казалось, старуха каждый день готовилась к отъезду. К вечеру уставала, и, когда Башкин спрашивал самовар, с трудом переводила дух и всегда отвечала:

— Да повремените... нельзя же все бросить, — и снова пихала слежалое старье в сундук.

Три замка было в дверях у старухи и три хитрых ключа было у Башкина.

У себя, в узкой грязненькой комнате, Башкин зажег свет и присел к письменному столу. Он осторожно вытянул ящик стола, пощупал внутри рукой и вынул конверт. На конверте крупным почерком было написано:

«Отобрано у Коли, 27/II».

Башкин спустил штору, оглянулся на дверь и бережно достал из конверта открытку. Это была фотография голой женщины: на ней были только кавалерийские ботфорты с шпорами и задорное кепи поверх прически. Она улыбалась, длинная папироска торчала во рту.

Башкин взял со стола большую лупу и стал разглядывать открытку, отодвигая и приближая.

Он приоткрыл толстые губы и прерывисто, мелко дышал.

Он рассматривал фотографии одну за другой; лупа подрагивала в руке.

Эти открытки он выписал по объявлению: «Альбом красавиц — парижский жанр», выписал «до востребования», на чужое имя. На конверте он написал, что отобрано у Коли.

«А вдруг попаду в больницу и будет здесь кто-нибудь рыться? Или обыск?»

Коля был ученик Башкина. Да мало ли их, Коль всяких, Башкин знал, что ему говорить в случае чего.

Что-то стукнуло за стеной, заворочалась старуха. Башкин быстро сгреб открытки и смахнул в ящик. Прислушался. Сердце беспокойно билось.

«Да что такое? — думал Башкин. — Чего я в самом деле? Наверно, у этих, у маститых, у старика Тиктина, например, порыться — и не такие еще картинки найдешь. Ходят «воплощенной укоризной», светлые личности, а сами, наверно, тишком, по ночам, не то еще... Скажи, каким пророком смотрит».

Башкин вызывающе, нагло глянул на портрет, что на двух кнопках висел над кроватью.

«Для лакеев нет великих людей, — шептал Башкин, — потому... потому что только они-то одни их и знают по-настоящему. И великим людям это очень досадно. Чрез-вы-чай-но».

Башкин порывисто полез в стол и вытащил оттуда тетрадь. Сюда он записывал мысли. Он написал:

«Великим людям досадно, что лакеи их отлично знают».

«Досадно» подчеркнул два раза.

Башкин собрал открытки и стал аккуратно всовывать в конверт. Он их часто пересматривал и теперь только заметил, что одна из красавиц была похожа на знакомую учительницу рукоделия. Башкину стало неловко, что она голая. Он теперь думал об учительнице: что она стареет, что отжила свой бабий век, что она пудрится дешевой пудрой и сама делает воротнички. Ему представилось, как она по утрам торгуется с зеркалом, как ей больно, что ничем не вернешь красоты, а на эти остатки никто не позарится. Разве из жалости. Он знал, как она пытается утешить себя, что она зато труженица. И ему так захотелось, чтобы учительнице было хорошо, а не горько, что слезы показались у Башкина на глазах. Он почувствовал, как теплая капля покатилась по щеке. И сейчас же отвернулся к зеркалу, стараясь удержать выражение лица. Выражение было грустное, доброе.

«Нет, я все-таки хороший человек», — подумал Башкин и стал раздеваться.

На дворе уж светало. Мутно светало, через силу.

Стружка

ФИЛИПП Васильев был токарь по металлу. Неплохой токарь — три с полтиной зря не дадут. Мастер говорил про него:

— Даром, что молодой, а большой интерес к работе имеет.

Васильев знал, что мастер его хвалит, и хотелось, непременно хотелось, чтоб самому услышать, чтоб мастер в глаза признал его, Васильева, лучшим токарем в заводе.

Мастер был усатый, мрачный, тяжелый, многосемейный человек. На слова был скуп. Ходил по мастерской, жевал губами, руки за спину, и все поглядывал. Спиной мастеровые его взгляды чуяли, не оглядывались, а только ниже наклонялись к работе.

Сдает мастеровой работу, Игнатыч обведет глазом, как будто рукой обгладит, а на мастерового и не глядит, пожует губами и буркнет: «Ладно». Мастеровой дух переведет. А уж если глянет на мастерового, то так, что только б на ногах устоять, — как будто крикнет на весь завод: «дурак ты и скотина», — уж мастеровой хватает вещь, уволочь бы куда и самому бы с глаз.

Вот этого-то Игнатыча и хотел Васильев разорить на похвалу.

Все знали, что Игнатыч — любитель церковного пения и сам поет в хоре в Петропавловской церкви. А после обедни иногда заходит. И больше в ресторан «Слон». Васильев всю неделю старался. Все точил своими резцами, которые берег и прятал. Точил как на выставку. И везло. Везло потому, что у Васильева был «талант в руке», всем естеством чувствовал размер. Он быстро, грубой стружкой, обдирал работу, не подходил, а подбегал к размеру вплотную.

Шлепали ремни в мастерской, по соседству в монтаже звонко тявкали молотки. Филипп ничего не слыхал. Звуки были привычные, и он был над своим станком в тишине и один. Равномерно журчали слева шестерни перебора. Оставались доли миллиметра, оставалась последняя стружка и начисто пройти с мыльной водой. Васильев, не глядя, толкнул над головой деревянный рычаг, перевел ремень на холостой шкив. Замолча-

ли шестерни, и для Филиппа настала глухая тишина. Он вытянул свой ящик, черный от черного масла, как от черного пота, и достал оттуда заветный резец. Он, прищурясь, осмотрел лезвие, блестящее, заправленное, и стал устанавливать его, нахмурясь, напряженно.

Он устанавливал резец, почти не дыша, шепотом поругиваясь. Вот, вот оно! Он затаивал дыхание, как стрелок перед спуском. Готово! Васильев, уж больше не глядя, затянул ключом гайки, накрепко, насмерть. Теперь пойдет тонкая, как бумажная лента, стальная стружка и под ней блестящая поверхность, глянцевитая, как шлифованная, и это должен быть размер. Но если перебрал? Тогда весь блеск и торжество позором навалятся на Филиппа, и ему... нет, уж ему-то не простят! Больно уж он хлесткий. Затюкают и год поминать будут.

Васильев ткнул рычаг над головой, и осторожно зашептал перебор.

Стружка широкой упругой лентой пошла от резца, завернулась в блестящую трубку и поползла со станка. Васильев пристально глядел, глаз не спускал с работы, как будто нужно было присматривать за стружкой, — теперь все шло уж без его воли, как бильярдный шар после удара.

Васильев волновался, потому что он всегда работал с риском, он ходил у самых пределов.

Васильев не видел, как проходили мимо товарищи, как подмигивали, глядя на напряженное лицо Васильева, — ишь, старается! — на грузную фигуру Игнатыча с руками за спину; Филипп издали учуял, учуял боком глаза, — Игнатыч глянул искоса и буркнул:

— Что, уж второй?

И Васильеву было лестно, а он только кивнул головой, будто ему это впривычку, сейчас, видишь, занят, валит дальше.

«То-то огонь-парень!»

Васильев смерил. Он мерил с трепетом, как игрок открывает карту.

«Чок в чок! Что и надо!»

Филипп весело вздохнул, сделал беззаботный вид и глянул на соседей.

«То-то дураки-ковырялы».

И ему хотелось, чтобы сам Игнатыч ему в лицо прямо сказал, что он молодец, аккуратист и первый в заводе токарь.

«Слон»

В ВОСКРЕСЕНЬЕ Васильев пересчитал еще раз получку. Три с полтиной он туго завязал в узел в платок, в красный, с белой каймой; остальные деньги — закопал в табак на дно коробки. Надел чистую рубаху, однобортную тужурку с раковинками вместо пуговиц. Оглядел ноги в новых ботинках.

— Всегда, сволочи, шов скривят. Работа называется, — поворчал, нагнулся и подавил пальцем кривой шов.

Васильев жил в комнате у вдовой сестры.

— Аннушка, ты прибери и не зажигай ты, Бога ради, лампадку эту, шут с ней. Дух от нее, что в кухне.

Васильев стеснялся, что, если придет кто из товарищей и вдруг лампадка — сейчас скажет с усмешкой:

— Религиозный? Крепко Бога боишься?

И придется извиняться, что сестра, мол; что с бабой поделаешь! Тогда Васильев ругался в «богов с боженятами» и поглядывал на товарищей.

Филипп обтер рукавом свою фуражку с прямым козырьком, подул на донышко и приладил поверх прически. Во Второй Слободской чуть поскрипывал новыми подошвами и свернул к церкви Петра и Павла.

Солнце стояло высоко, было тихо, празднично, и смирно грелась на солнце пустая улица. Петропавловская церковь была нарядная, улыбчатая внутри церковь. Голубой с золотом иконостас и наивные цветные стекла в окнах. От них чистые цветные пятна ложились на белые женские платки, и ладан переливал разноцветным облаком, торжественным и задумчивым.

Васильев быстро оглянулся, не видит ли кто, и юрко шмыгнул на паперть. Солнце косило из окон цветными полосами, и блестели праздничные тугие прически, платки, а где-то впереди колыхались над толпой перья на шляпе. Чинно и строго стояла толпа, все ждали херувимскую. Строгое молчание затаилось. Чуть слышно регент дал тон, и свежим дыханием вошел в церковь тихий аккорд.

Люди перевели затаившийся дух, закрестились руки.

Васильев старался уловить в хоре голос Игнатыча — это он, должно быть, басом выводит: «о-о». Но хор пел вольней и вольней, и Филипп уж не старался высмотреть Игнатычев голос, слушал, смотрел на свечи, на радостный иконостас, на лампад-

ки, как слезы. Филипп даже чуть было не перекрестился за соседом. Поднял уж руку, да спохватился и поправил прическу. И он стал в уме отговаривать себя от Бога.

«Какой есть Бог? — думал Филипп. Крепко подумал, даже озлился. — Если б был Бог, так стал бы он смотреть на безобразия, что по всей земле творятся. Человек безвинно погибает, а ему хоть бы что. Все может, а ничего не делает. Давно такому Богу пора расчет дать. — И Филипп с усмешкой поглядел на сосредоточенные лица соседей. — Поставил свечку в две копейки и думает себе два рубля вымолить. Держи, брат, карман!»

Хор смолк, и только одна басовая нота густо висела в воздухе. Филипп узнал: «Игнатыч орудует».

Нота была точная, круглая, ровная.

Обедня отошла, и толпа двинулась вперед, где с амвона протягивал седенький священник крест. Хор гремел победно.

Филипп не сводил глаз с маленькой дверцы, что вела с хоров на паперть. Повалили певчие. Вот и Игнатыч в полупальто и вышитой рубахе. Он что-то говорил регенту, маленькому, щупленькому, с козлиной бороденкой; они, видимо, спорили. Они выходили деловито, не крестясь, и Филипп слышал, как регент кричал Игнатычу:

— Да я-то тут при чем? Дьякон режет, занесло его, дисканты рвутся, а вы свое да свое...

Они долго стояли без шапок на ступеньках церкви, и толпа прихожан обмывала грузную фигуру Игнатыча и отрывала, сбивала регента. Его уносило потоком, Игнатыч удерживал за рукав.

Наконец они надели шапки и пошли рядышком к воротам ограды.

Васильев, не спеша, обошел их. Поровнялся и отмахнул фуражкой.

— Петру Игнатычу мое почтение, — и когда Игнатыч взглянул, добавил, чтоб закрепить: — С праздником.

— Ага, здорово, — сказал Игнатыч и удивленно глянул на Филиппа, — ты чего же?

— А послушать.

— Да и лоб-то не грех перекрестить, пожалуй.

Тут уж Филипп неопределенно мыкнул и прошел вперед.

Он долго покупал семечки у торговки и видел, как мастер с регентом прошли, и прошли не иначе, как в «Слон».

Шли они медленно, резонились о чем-то по хоровой части, Игнатыч напирал и сбивал регента с панели.

Васильев обогнал их, чтоб первому прийти в «Слон», чтоб не подумали, что увязался.

Ресторан «Слон» размещался в двух этажах. Внизу были стойка, машины, столы с рваной клеенкой. Парно, душно, хрипел орган, надрывались голоса, брякала посуда. Тут было дешево и всегда пьяно. Но верх был тихий.

Там была у стены особая музыка — ее заводили за пятак, и она играла задумчиво, мелодично, как будто капает вода в звонкую чашу. Это был большой игральный ящик, какие бывают в детских шарманках. Столы здесь были со скатертями, с бумажными пальмами, на стенах картины в розовой кисее от мух.

Когда Филипп поднялся наверх, там было еще пусто. В конце зала у столика с тарелками сидел половой и заботливо вырезал перочинным ножом кукиш на деревянной палке. Из-под пола едва доносился гул машины и гомон голосов.

Васильев степенно уселся за столик, огляделся и постучал человеку.

— Сей минут, — крикнул человек, привстал и что-то наспех доковыривал ножиком. Стряхнул с фартука стружки и раскидистой походкой с трактирным достоинством пошел к Васильеву.

— Заведи-ка машину, — сказал Филипп.

— Музыку, — назидательно поправил половой. — Пятачок стоит, известно-с? А что поставить?

Он мазнул рукой по соседнему столику и шлепнул грязным листком под нос Филиппу.

— Прейскурант — по номерам можно.

— Пятый, что ли, номер вали, — приказал наугад Васильев, — и бутылку Калинкина.

Официант завел, и грустно закапала ария из «Травиаты».

Снизу вдруг ярко громыхнула машина, рванул густой рев голосов, хлопнула дверь: регент с Игнатычем поднимались, все еще споря.

Игнатыч увидел Филиппа, мотнул в его сторону головой и шутливо пробурчал:

— Что ты панихиду такую заказал? Надо было второй поставить.

«Клюнуло», — подумал Филипп. Игнатыч угощал регента. Но регент, видно, спешил, и мастер наспех подливал пиво в недопитый стакан. Регент поминутно чокался и глядел на часы.

Филипп спросил полдюжины и две воблы — он рисковал: мастер мог уйти с регентом.

Но регент снялся один. Он суетливо дергал часы из чесучевой жилетки и приговаривал:

— Так в среду на спевочку, не опаздывайте, в среду, значит, вечерком, на спевочку. Покорно благодарю. — Он засеменил к выходу и дрябло застукал по ступенькам.

— Жена у него с характером, — подшутил вдогонку Игнатыч и подмигнул половому.

— Бывают женщины, — громко сказал Филипп от своего столика и обернулся к Игнатычу.

— А ты женатый? — спросил Игнатыч. Он все еще улыбался — таким его не видел Филипп в заводе никогда.

— Холостой, слава Богу, — сказал Васильев.

— Видать, вишь огородился. — И Игнатыч кивнул на полдюжину, что строем стояла у Филиппа на столике.

— А подмогите, Петр Игнатыч, — сказал Васильев, привстал и выдвинул второй стул.

— Ну, уж не обидеть... разве одну. Получи! — Игнатыч кинул трешку половому и, переваливаясь, засопел через зал. — Так холостой, говоришь? — сказал Игнатыч, масляно улыбаясь. — Ухажер, значит? — и лукаво сощурился.

— Я и по этой части справный.

— А по какой же ты еще справный? — Игнатыч отхлебнул пива и все приятного ждал, улыбался.

— А по своей, по токарной, по мастеровой. — И глянул в глаза Игнатычу, так свободно глянул, немного с вызовом.

И сейчас же стерлась улыбка с Игнатыча, опять он посерел, как в мастерской.

«Поспешил, поспешил, — думал с испугом Филипп, — перебрал, запорол все дело».

Игнатыч посмотрел на воблу, допил стакан, стукнул донышком об стол:

— Ты что ж это, на прибавку, что ли, набиваешься? Так, брат, оно не делается! — и повернулся на стуле к половому: — Что ты сдачи-то, ай заснул?

Игнатыч встал и пошел навстречу официанту. Филипп смотрел ему в спину. Народ уже начал прибывать. И в бильярдной метко щелкали шары.

«И верно говорят — все они сволочи, мастера эти, — думал Филипп. — Человек перервись тут, а он об одном думает, кабы кто прибавку... Да на чертовой она мне матери!»

Музыка трогательными тонкими звоночками кончала свой номер.

— Запорол! Перебрал, — сказал Филипп и больно стукнул кулаком о край стола. Звонко охнули с испугу бутылки.

Баба

— ПОДАВАТЬ, что ли? — крикнула Аннушка. Филипп хлопнул дверью.

— С обедом она своим! — Наступил в потемках на калошу и швырнул ногой, так что в конце коридора шмякнула в дверь. И повалился на койку, в чем был.

Аннушка вошла босиком, стала у накрытого стола.

— Обедать-то будешь?

— К чертям с твоими обедами! — из-под фуражки огрызнулся Васильев.

Аннушка обиженной рукой стала собирать тарелки, загребла их охапкой — все сразу и боком вышла в двери.

— Вот уж верно: паразиты трудящихся масс... — шептал Филипп это про мастеров, заодно и на Аннушку немного. В глазах все стояла толстая спина Игнатыча, как он от стола повалил к выходу. — Из нашего ж брата, а за пятьдесят целковых лишних он уж пес хозяйский. Что фараон — одна цена. Всем вам будет... Всем, всем, голубчики, — сказал Филипп. Кинул фуражку на стол и закурил.

Когда стало темнеть, Филипп накинул пальто, снял с гвоздя черную прошлогоднюю шляпу и пошел со двора. У ворот сидела на лавке Аннушка, грызла подсолнухи, болтала ногой и вбок глядела.

Филипп сказал:

— К вечеру достань большой самовар, взогрей: у меня гости будут.

Аннушка не повернулась, а чуть подняла голову в небо.

— Поняла? — сказал Филипп и зашагал прочь.

Филипп шел в город, в городе горели уж на улицах газовые фонари, и Московская улица поднималась вверх, светилась двойным рядом. А над городом дышало туманное зарево от освещенных улиц. Гулянье только начиналось, и молодые парнишки попарно шли следом за подружками, и начинался раз-

говор, через голову, бочком, смешками, словечками. Хозяйки сидели за воротами, смотрели на парочки, смеялись, раскачивались.

Филипп деловым шагом резал дальше и дальше, туда, в город.

В городе стихал уже грохот пролеток. Угомонилась деловая езда. На остановке с бою брали вагон загородной конки. Веселые барышни в дешевых шляпках и ухари-конторщики в шляпах набекрень пирожком, с лакированными тросточками. Они так были похожи друг на друга, что Филипп подумал: «Как они не путают своих писарей, хохотушки-то эти?»

Кучер нахлестывал лошадей. Обвешанный людьми, живая куча-вагон двинулся. Толпа не попавших махала зонтиками уезжавшим. Народу прибыло. В эту-то гущу и вмешался Филипп. Он закурил и стал под навесом станции.

Второй вагон ушел с криком и гомоном.

— Здорово! — К Филиппу подошел молодой человек в кепке, в пиджаке поверх черной рубашки. — Давно?

— Вот второй вагон, — Филипп бросил окурок.

Они вышли из толпы и не спеша пошли по тротуару.

— Дмитрий уехал, — вполголоса сказал человек в кепке, — полет надо было сделать. К вам нынче другого пришлют. Есть одна товарищ.

— Баба, значит? — Филипп даже назад откинулся. — Это, знаешь, Фома, дело слабое.

— Брось — слабое. Другая, знаешь ты, баба... А не пойдет дело, переменим. Ребята-то сойдутся ли?

— Это уж будь покоен. Это у меня во! А за ней-то, за бабой, чисто? — Филипп глянул на Фому, переждал чуть. — А то у меня, знаешь, аккуратность чтоб — за первый долг. Ведь семь месяцев работаем, — наклонился Филипп к самому уху, — и хоть бы того — тень какая. То-то, брат. — И Филипп тряхнул вверх головой.

— Направо идем, — сказал Фома, — она в скверике ждет, вроде свиданье. Здорово образованная.

В скверике было полутемно. Тихие деревья отдыхали и, казалось, смотрели вверх, в небо. В темноте на скамейках густо чернели люди, по песку шаркали ноги, и липкое гудение голосов, громкого шепота, плавно понизу, а вверху пристально горели крупные звезды.

Фомка шел по дорожке, вдоль круто подстриженных кустов, и вглядывался в людей на скамейках.

3—3207

Вдруг он стал. Стиснутая соседями, на скамейке сидела женщина в кружевной косынке на голове.

— А здрасьте! — весело сказал Фома и потряс кепкой в воздухе. — Не пройдете ли с нами для воздуху?

Наденька встала.

— Будьте знакомы.

Наденька протянула руку Филиппу.

Филипп спешил вывести бабу на свет, к фонарям, чтоб поскорей глянуть, что она такое.

— Не идите так скоро, — сказала Наденька.

Голос сразу понравился Филиппу. Мягкий и настойчивый. Филипп сбавил шаг. Молодой человек в кепке отстал и растаял в народе.

Пустырь

ВЫШЛИ на улицы. Из окон кофеен выпирал на улицу свет, меледили тенями прохожие. Что ни фонарь — Филипп взглядывал на Наденьку.

«Что-то будто постная какая-то», — думал Филипп. Наденьке от взглядов было неловко, и она смотрела то под ноги, то поворачивала головку в сторону, и все не знала, как ей быть: деловито-строго, как учительнице, или приветливо, по-товарищески. Филипп ждал, Наденька все молчала. Уже прошло то время, когда надо начинать разговор, и оба поняли, что разговора не будет. Наденька шла и все вертела головой.

«Гордится», — подумал Филипп. Яркий свет от витрин упал на Наденьку, осветил ее, с ног до головы обдал. Филипп увидал, что Наденька покраснела, что пышут Наденькины щеки.

И Васильев сразу понял:

«Это она меня стесняется». И спросил участливо:

— Вы в наши края первый раз, можно сказать?

— Да, тут я не была, — сказала Наденька, не поворачиваясь.

Сказала так, как будто она бывала уж в других местах и по таким делам. Ей не хотелось, чтоб знали, что она в первый раз.

— А у нас на Слободке хорошо, все свои ребята живут, заводские. Только народ малосознательный, — сказал Филипп солидно. — Темный, можно сказать, вполне народ.

Наденька молча кивнула головой и вспомнила, куда она положила бумажку с цифрами.

«Главное — цифры, — думала Наденька, — цифры всего убедительней».

— А про что вы им нынче будете говорить? — спросил Филипп. Филипп чувствовал себя как антрепренер, который ведет гастролера, и спрашивал программу. Он не особенно надеялся на Наденьку.

— Я наметила о косвенных налогах и вообще о налоговой системе русского правительства. О том, что налоги, главным образом... Нам направо?

Улицы уже кончились, и далеко остался позади последний фонарь. Перед Наденькой была темнота, и вверху звезды мигали и щурились.

— Вот этим пустырем и пройдем, — сказал глухо Филипп. — Это я для проверки: не увязался ли кто? Гороховая личность, знаете? Тут темно, он побоится нас потерять и будет нагонять, а мы и услышим.

Васильев шагнул в темноту, вперед. Наденьке было жутко. Одной с этим незнакомым. Черт ведь его знает.

— Вы смело за мной, на слух, по шагам, — сказал из темноты голос.

Наденька встряхнулась, пошла. Пошла широкими шагами по каким-то мягким кочкам. Они молча прошли шагов сто. Васильев стал. Наденька остановилась тоже. Заколотилось сердце — что он сейчас будет делать? «Какая я дура, что пошла сюда», — подумала Наденька.

Наденьке показалось, что рабочий прилег, может быть, крадется. Наденька прыгнула в сторону.

— Да тише, — досадливо шепнул Филипп. — Ну, нет его, чисто за нами, — сказал он громко. — Теперь можно говорить. Идемте. — Он опять пошел вперед. Наденька перевела дух. — Это насчет налогов, конечно, следует объяснить, какая тут хитрость подведена. А только это, товарищ, уж тем, что дошли до чего. А этим ребятам надо полегче, что поближе, про свое. Сказать бы про тех, что управляют вот ими, то есть нами, сказать, рабочими.

— О роли либеральной интеллигенции? — спросила Наденька, она все еще тяжело дышала.

— Да нет! — с досадой сказал Филипп. — Этого они тоже не понимают. А вот про мастеров хотя бы. Мастеров! Знаете? Такая сволочь, извините, бывает. Это ж самые гады и есть для рабочего человека. Самое что не может быть хуже.

Филипп шел впереди. Он не видел Наденьки и еле слышал ее шаги — мелкие, сбивчивые, и говорить было в темноте легко, вольно, как одному.

— Поставят вот такое чучело над тобой, накинут ему полсотни рублей, и ходит он по мастерской, глаза выпуча. А чуть что — гляди, либо сбавит, либо прямо за ворота и шабаш. Разъелся, что паук.

Наденька, спотыкаясь, семенила сзади, по мягким кочкам. Она боялась потерять в темноте Филиппа.

— А налоги — это что? — слышала она голос впереди. — Это уж когда человек войдет... налоги там... локаут и все такое... А надо начинать что ближе, со сволочи этой... Поразъедались. Как боров... и руки за спину...

— У меня намечено, — говорила Наденька, запыхавшись. Филипп зло и быстро шагал вперед. — У меня на сегодня... а если успею, то я скажу и о.... о той роли... которую...

Наденька всю неделю готовила материал по косвенным налогам. Бумажка, где выписаны какие-то миллионы, была у нее запрятана в юбке, а про мастеров Наденька не знала, ничего не знала. И почему это он распоряжается?

— Баба! — сказал шепотом Филипп, с сердцем сказал и оглянулся в темноте на Наденьку.

Пустырь кончался, и впереди стали видны светлые оконца слободских домов.

Усмешка судьбе

ВИКТОР сидел в гостях у пристава. Семья пристава была на даче, и квартира захолостела: пыль и неурядица легли на всю обстановку.

В кабинете на подоконнике стояли тарелки с объедками от обеда. На письменном столе на газете пухлой горкой лежал табак. Пристав в расстегнутом кителе ходил по грязному ковру и поминутно скручивал папироски. Вавич сидел на кожаном диване и слушал пристава.

— Что главное? — спрашивал пристав. — Вот скажите мне: что главное? — Пристав затянулся, остановился перед Вавичем, расставив ноги. Левая рука за подтяжкой. Пустил дым в потолок. — Не знаете? Главное — вид. Вид — главное. — Пристав зашагал. — Полиция — это лицо города. Ну, въезжаете вы

в город. Что вам в глаза бросается? Городовой. Если вот этакая замухрышка закорючкой такой стоит, — пристав скрючился и скривил старческую гримасу, — ну, что? Город это? Сразу и решаете — мразь, а не город. Тетюши! А вот стоит молодец этакий, — пристав выпрямился, — аккуратно одет, амуниция, — пристав провел рукой с плеча по животу, — этак орлом глядит. Ого! Вы подумаете, наверно, наверно, подумаете: ого-го! Да возьмите любой снимок. Кто стоит впереди? Ну, вид города, какого хотите? — Городовой! Граждане могут быть какие хотите, это случайные зеваки. Ну а если на первом плане какой-нибудь золоторотец с обмызганной селедкой на правом боку — это уж извините, извините меня.

Пристав замахал руками и отвернулся, как будто Вавич собирался спорить.

— Ну хорошо. Вот вы околоточный надзиратель. Стоите дежурным на углу. Как вы будете стоять? Встаньте, встаньте, покажите. Бросьте папироску, — и пристав дернул Вавича за рукав.

Вавич встал. Встал по-солдатски.

— Ну и глупо! — Пристав фыркнул и махнул рукой. — Вот, глядите!

Пристав стал, отставя вперед левую ногу, чуть подняв вверх подбородок, правую руку зацепил большим пальцем за пояс брюк, левой рукой он как будто придерживал ножны невидимой шашки.

Постоял так минуту.

— Вот надзиратель! — сказал пристав. Он отшагнул и указал на место, где только что стоял надзирателем. — Вот-с: картина! Ну, станьте.

Виктору было до слез неловко принимать позу, но он все же встал. Не свободно, но так, как стоял пристав.

— Взгляд, взгляд надо! Готовность и усмешка судьбе. И, батенька, одеваться, — продолжал пристав, когда красный Вавич сел на место, — одевайтесь с иголочки, с ниточки, и чтоб на вас ни пылинки, ни пятнышка. Дадут вам самый завалящий околоток, Ямскую слободку какую-нибудь, — и там вы франт. Ботфорты носите — глянц, кавалерийский корнет. Начальство проездом глянет и, будьте покойны, скажет: да такому квартальному тут не место.

Пристав затеребил табак на столе, стал курить папиросу.

— Кителя — как снег, как мелом натерты. Фуражку три месяца проносил — вон к черту. Помните, что вы — лицо города!

Приезд или встреча. Кого в наряд? Самого нарядного. А у вас и фигура. У вас есть фигура.

Вавичу теперь самому захотелось встать, отставить ногу, палец за кушак и усмешку судьбе изобразить.

— И вот запомните, что я вам скажу, молодой человек: два главные свойства, два качества — решительность и галантность!

Пристав резко повернулся на каблуках и подошел к окну.

Виктор робко пыхтел папиросой. Вдруг пристав подошел вплотную к Виктору, наклонился и свирепо нахмурил брови. И, махая указательным пальцем перед самым носом Вавича, пристав прохрипел:

— Только надо знать, когда пустить одно и когда применить другое. Божже вас упаси перепутать! Божжже вас упаси, — махал пристав пальцем.

Вавич не решился попятиться.

— Так-с, — сказал пристав облегченно, — а теперь покурим.

— Да, да, — говорил Виктор, — вот только кончатся лагери, и я в запас.

— И отлично, и поезжайте. В своем городе — неудобно. Связи старые, это может стеснять при исполнении обязанностей. Всякое, знаете, может быть.

— Вы писали уже? — спросил Вавич.

— Это уж не беспокойтесь, это уж все будет сделано. Коли я сказал — место за вами.

— А все-таки: чиновники? полицейские — чиновники? — вдруг спросил Виктор.

— М-да! Конечно. Чины здесь гражданские, — раздумчиво ответил пристав.

В это время тяжелые сапоги затопали у порога.

— Кто? — гаркнул пристав.

— Гольцов, ваше высокородие!

— Чего принесло? — пристав сунулся к двери.

— Игнатов вроде горит.

— Какой Игнатов? В каком роде? — встревожился пристав.

— У москательщика Игнатова вроде пожар.

— Так и ждал, давно ждал. Ишь ведь, и погоду выбрал. Вели подавать, еду. — Пристав стал торопливо застегивать китель. Городовой просовывал под погон портупею. — Простите! Вот изволите видеть. Всегда на посту. Поцелуйте ручку Аграфене Петровне! Живей, дурак, шапку, — крикнул пристав городовому.

Виктор вскочил.

— Честь имею, — козырнул в дверях пристав.

У крыльца городовой подсаживал пристава в пролетку, и Виктор слышал, как он рявкнул в ответ:

— Так точно! Страховой на даче-с.

Дождь

ТАИНЬКА шла в аптеку — кончились мамины капли. Был грустный, тихий вечер — осень вступала на небо. Ровным потолком стояли облака, и падали редкие капли, как задумчивые слезы. Таинька спешила поспеть до дождя и все же шла в дальнюю аптеку: посмотреть на народ. Тумба с афишами стояла на углу главной улицы. Деревянная, вся отвалилась назад, стояла, как баба в заплатах, выпятив вперед пузо.

Таинька глянула. Свежая афиша на желтой бумаге:

Концерт

Бенефис оркестра драматической труппы.

Таинька остановилась. Что-то стукало внутри.

Капельмейстер Дначек — рояль... сюита и что-то по-французски. Скрипка... вот, вот. Флейта — И. Израильсон, Шопен...

Дождь темными пятнами ударял по бумаге, а Таинька все старалась разобрать французские буквы. В Дворянском собрании, в среду. Таинька побежала в аптеку, не слышала, как дождь мочил ее, капал на открытую голову и свежей струей холодил темя.

Побежала назад и снова стала у тумбы, — бумага совсем почернела, вымокла, но Таинька увидала: И. Израильсон — флейта.

У Таиньки было спрятано два рубля, и Виктор еще брал у нее полтора. Таинька посмотрела в комод, на месте ли деньги. Таинька забегала дома, захлопотала около больной, стала пыль вытирать, цветы полила два раза, как будто гости сейчас, сейчас приедут, а у ней не готово.

Таинька самовар в кухне ставила проворной, торопливой рукой.

Вошел Виктор — мокрый, грязь на сапогах, и рубаха облипла, обрисовала, как голый. Стал обтирать сапоги, спиной к Таиньке.

— Даешь честное слово? — звонко сказала Таинька, словно решилась на что. Виктор голову назад выворотил.

— Секрет? Не скажу, ей-богу. У тебя секреты, точно поповна какая.

— Нет, а сделаешь? Дай честное слово.

— Ты говори — что, а то опять, как тот раз...

— Тебе ничего не стоит, говори: честное слово.

— Ну, расчестное. — Виктор бросил в угол тряпку и стал, растопыря грязные руки, перед сестрой.

— Я тебе дам два рубля, — Таинька оглянулась на дверь, — и ты у меня рубль брал.

Виктор кивнул головой.

— Ну, вот. Купи мне билет... на концерт... на все деньги, в самый первый ряд.

— А, вот что! — Виктор махнул рукой и забренчал в углу умывальником. — Вот приедешь ко мне, — говорил Виктор, не глядя на Таиньку, — так... так... того... хоть каждый день в театр.

— Ты чего это?

— А чего? Ничего: поступаю чиновником. Не здесь, конечно, не в наших Тетюшах этих.

— Говори, — сказала Таинька, — врешь. — Она махала самоварной трубой, и дым шел прямо в кухню. — Нет, а сделаешь, сделаешь, Витя? Только в самый первый.

В это время вошел старик.

— Дура, что ж ты — тараканов выкуривать? Самовара тут поставить не умеют... в этом доме.

Он вырвал у Таиньки трубу и стал старательно рассматривать, какой стороной надеть. Таинька выхватила и влепила трубу на место. Виктор пошел переодеваться.

Он слышал, как бурчал отец, выходя из кухни:

— Да врет он тебе. Глупости. Какой там — чиновником... чино-о-овником!

Помпеи

К ЧАЮ Виктор вышел в белоснежной рубахе, туго стянутой в талии. Тугие складки чуть петушком торчали сзади. Мокрые волосы лежали липким пробором. Лицо у Виктора было строгое, даже немного надменное.

Старик сидел в креслах и в ожидании своего большого стакана старательно размазывал масло по ломтику хлеба. Таинька из-за самовара поглядывала на Виктора быстрыми глазами.

— Нет, нет, — вдруг поднял руку Виктор, — сахару не клади, я сам положу.

Таинька удивилась, осторожно передала стакан.

— Благодарсте, — сказал церемонно Виктор.

Виктор положил кусок, другой, — всегда пил с двумя, — а третий, морщась, стал ломать пополам.

Таинька смотрела, посмотрел и Всеволод Иваныч.

Старик отхлебнул чаю, обжегся и вдруг глянул на Виктора.

— Ты про каких там чиновников Тайке болтал?

— Ни про каких, — сказал размеренно Виктор, глядя в чай. — Ни про каких не про чиновников, а просто выхожу в запас и поступаю на службу, — и тут Виктор с вызовом глянул на отца.

Таинька притаилась за самоваром и глядела на брата.

— На какую службу? — спросил старик. — Кем же тебя берут?

— Чиновником, — небрежно бросил Виктор и повернулся к сестре: — Что, лимона у нас никогда не бывает?

— Можно сбегать, — сказала Таинька шепотом.

— Каким же тебя чиновником? Ты ж солдат — и больше ничего. Солдафон!

— Чиновником внутренних дел. — Вавич старался сказать это как можно рассеяннее.

— Почтальоном вот разве, — и старик стал дуть в чай. — Так ты прямо и говори: иду, мол, в почтальоны, потому что больше никуда меня, дурака, не берут.

— Отлично, — сказал Виктор и наклонился, нахмурясь, — только я говорю, что в чиновники.

— Ну, в какие, в какие? — крикнул старик.

— В полицейские чиновники...

— Фиу! — старик засвистел и, глядя из-под бровей в упор на Виктора, сказал четко: — В крючки, значит?

Таинька нагнулась к блюдечку.

У Виктора дрогнула губа. Он поднял брови и сразу их нахмурил, как хлопнул.

— Крючки, крючки? — заговорил Виктор, заговорил громко, решительно. — Фараоны, может быть? Говорите: фараоны? А чуть что в переулке, — городовой! Ай-ай-ай! Да? А ну, снимите полицию на одну минуту — вас перережут всех!

Виктор встал.

— За занавеской сидеть всякий умеет. А что человек мерзнет всю ночь под окнами, так это — крючки? Взятки, скажете? Да? А в Государственном совете? — спешил, кричал Виктор.

Таинька плотней притянула дверь в спальню больной.

— Кузьмин-Караваев? — кричал Виктор. — А вышел в инженеры ваш Кузьмин-Краснобаев и тяпнул с подрядчика. Да! Первый сорт, подумаешь. А землемеры? По ошибке? Да? Ладно! Это выходит под дубом вековым сидеть и рассуждать... в креслах.

Виктор зло глянул на отца.

— В Англии, например, городовой — жалованье фунтами и первый человек. А если у нас человек для общей пользы мерзнет на углу и в трактире хватил рюмочку согреться, так это уж Содом и Помпея!

— Дура ты! Пом-пея! — сказал старик. — Дура, а говоришь, как прохвост.

Старик повернулся в кресле боком к столу.

— Да, — кричал Виктор, — а вашего хлеба я есть не желаю. Не желаю. Не невеста я.

— Какая же ты невеста? Ты — болван, — спокойно отрезал старик.

— Ну и ладно. Пускай болван.

Виктор вышел в двери.

Тихо стало в комнате. Таинька поднялась и заглянула в самовар.

— Иди, скажи, — мотнул старик головой, — откуда это набрался? Помпея!

Последний номер

ТАИНЬКА теребила Виктора — все требовала билет. Таинька ночью в постели не спала, все горела: мысли горели, и во рту сухо становилось. Она думала про концерт, про Израиля. Она сидит в первом ряду, смотрит прямо на него — вот он вышел... Таинька видела только черные вздутые вверх спутанные волосы и усы черной щеткой, а надето на нем что-то необыкновенное — золото, красное и синее, как на картах. Только все новое, блестящее. Он берет флейту, и все замирают. Сзади замирает весь зал. Он играет все сильней и мучительней и все больше и больше поворачивается к ней, к Таиньке. Совсем повернулся — и ей, ей играет Израиль. Сзади все затаили вздох, а он прямо повернулся к ней, полузакрыл глаза и томит звуками — и ей, ей одной играет. Она знает, что ей одной, а никто больше этого не знает: только она и Израиль. И Таинька на

него пристально смотрит. Она впереди, прямо перед Израилем. Израиль вдруг поднимает чуть-чуть глаза и взглядывает на нее... Тут у Таиньки замирал дух, и все начиналось снова, опять сначала.

Виктор принес билет. Он был второго ряда и за два рубля. Таинька гневно, со слезами, глянула на брата. Но Виктор сейчас же сказал, что первого не продают.

— Там начальство, чины полиции и губернаторы всякие.

«Нет, во втором даже лучше, — он заметит... Он ее всюду заметит». Таинька положила синенькую бумажку в кошелечек и сунула под подушку.

Эту ночь ей жарче мечталось: она сжимала под подушкой свой кошелечек.

Только в среду Таинька вспомнила: что же она наденет и как же одна пойдет в концерт?

У Таиньки было всего одно выходное платье — коричневое с бархатной отделкой. Она поставила утюг, пробовала разгладить, но руки спешили, сбивались, и ничего не выходило.

Она заглаживала новые складки, какие-то косые, вбок. Прыскала, чуть не сожгла платья. Бросила наконец. Пусть, как будет.

— Ты сходила бы к Мироновичам, — сказал Всеволод Иваныч, — и вот письмо отнесла бы. Только уж брось все и сейчас ступай.

Было семь часов, и в восемь начинался в Дворянском собрании бенефисный концерт оркестра с сольными номерами.

Таинька ничего не сказала: закусила губу и опустила голову. Отец положил конверт на гладильную доску и постучал толстым пальцем.

— Вот кладу, смотри. Потом не ищи по всему дому.

Отец вышел. Таинька проворно скинула свое ситцевое платье и вскочила в коричневое, бросила доску с утюгом, зажала в руке кошелек с синей бумажкой, схватила конверт и выбежала во двор.

Никого еще не было в обтрепанном стареньком вестибюле Дворянского собрания. Только околоточный сидел на плешивом красном диване и курил, глядя в пол.

Таинька выбежала на улицу, она ушла в тень и ходила взад и вперед по пустой панели: от фонаря к фонарю. Письмо к Мироновичам топорщилось в кармане юбки. Но Таинька не шла к Мироновичам, она ходила вдоль стены собрания, считала, сколько раз она пройдет туда и назад.

«Сто», — решила Таинька. Она прошла спокойно два раза и ускорила шаги. Сбоку слышно было, как начали подкатывать экипажи, и городовой что-то кричал. Таинька наспех, не доходя до фонарей, металась по тротуару. Красная, запыхавшаяся, как после бега, Таинька вошла в вестибюль, в говор, в бормотание толпы. Щеки у Таи горели, она разрумянилась и не узнала себя в большое зеркало, в котором вертелась, отражалась толпа. Но она обратила внимание на эту девочку, красную, взволнованную и как будто бы в чужом, в тяжелом платье. Только отойдя от зеркала, Тая догадалась, что это была она. Контролер оторвал купон и многозначительно сказал:

— Второй ряд.

— Мне все равно, — проговорила Тая, и поток людей втолкнул ее в зал.

Служитель в вицмундире с почерневшими галунами указал место — второй ряд был почти пуст. Таиньке было неловко — вот такая, как была в зеркале, одна на виду. Она не оборачивалась, сжалась и крепко схватилась руками за сиденье стула. Сзади гудела толпа, и Таинька слышала, как ближе и ближе подходит шум, как будто сзади накатывало море. Когда сбоку сел какой-то толстый господин и стал вертеться с биноклем, Таинька немного успокоилась. «Пусть подумают, что я его дочь».

На эстраде стояли пюпитры, и сзади у стенки прислонились контрабасы лицом друг к другу, как сторожа-приятели. Черненький человечек расставлял ноты по пюпитрам.

Таинька не глядела, она взглянула только тогда, когда вдруг все захлопали и на эстраду вышли музыканты. Высокий блондин в пенсне вышел вперед и поклонился, важно, чинно, как профессор.

Теперь гул толпы смешался с криком настраиваемых скрипок. Таинька вздрогнула — ветерком порхнул пассаж флейты. Она глядела теперь, подавшись вперед, и не видела его: густой строй скрипачей закрывал флейтистов.

Все примолкло. Капельмейстер округло поднял палочку и замер. Таинька повернулась, чтоб удобнее сесть, и стул громко пискнул под ней на весь зал.

«Боже мой, — подумала Таинька, — все слышали, и он, и как ему досадно и стыдно за меня».

Дирижер тряхнул головой и махнул палочкой. Ярко метнулись первые аккорды Руслановской увертюры.

Тая смотрела на дирижера, и ей казалось, что он из воздуха высекает эти звуки, а скрипачи только нелепо машут руками, чтоб не отстать.

Таиньке показалось, будто сразу настежь распахнулись широкие ворота, а там другой мир и все красивые, статные люди, которых она видала на картинке. Они заходили, задвигались, закрасовались, и вот течет все взмахом, плавным лётом, и вдруг грусть задумчивая проплыла с улыбкой, и в ту же минуту ее подхватила живая нота и, гордо выступая, обняла и понесла...

Последний аккорд, и как будто треснул зал от хлопков. Полицмейстер в первом ряду, полуоборотясь, глядел на зал.

Таиньке казалось, что все это только подготовка, и как хорошо, как сладко ждать Израиля. Она забыла, что она на виду, что она красная, что коричневое платье одно во всем зале.

Таинька благодарно хлопала всем солистам: они товарищи Израиля, и они все добрые, и они готовят ему дорогу.

И вот черный Израиль, громко стукая высокими каблуками, вошел на эстраду.

На нем был короткий сюртук, галстук кривым крестом съехал набок. Таинька то опускала глаза, то взглядывала на Израиля. Дыхание почти стало у Таи, она редко и коротко переводила дух.

Флейтист поднял флейту. Манжеты вылезли из коротких рукавов. Он стоял в профиль, перед пюпитром, и казалось, что он придерживает флейту крючковатым носом.

В зале в углу гудели голоса. Флейтист отнял от губ инструмент и, нахмурив брови, глянул в угол.

Говор притих, и только густой вздох пролетел по залу.

Рояль начал. И вдруг веселые, игривые ноты порхнули по зале, как будто тут над ним, над черным флейтистом, запорхали две светлых бабочки, запорхали в танце, сбиваясь и отлетая, и вот страстно забились, замерли с трелью. Флейтист выдержал фермато, зал вздохнул, и мазурка понеслась дальше, едва задевая воздух.

Израиль брызнул последним арпеджио. Зал секунду молчал, и вдруг вой, неистовый вой поднялся сзади Таи. Она боялась, что эти люди бросятся на Израиля, она испуганно глянула назад. Мелькали руки, кто-то в задних рядах стал на стул и, приладив рупором руки, орал.

Полицмейстер встал и, придерживая рукой спинку кресла, повернулся к залу. Полицмейстер поднял руку, новым

взрывом ответила толпа. Полицмейстер снисходительно улыбался.

Израиль поднял флейту, и шум осекся. И сразу не верилось в тишину.

Израиль опустил глаза и, немного покачиваясь, начал, и в воздухе — казалось, из стен зала — родился звук; нельзя было определить, когда он настал, казалось, он всегда был тут в зале: Израиль осторожно притянул его и закачал.

Таинькин сосед закрыл глаза, подпер биноклем толстую щеку и качался в такт мелодии.

Теперь еще больше бесились там, в задних рядах, и полицмейстер, сделав строгое отеческое лицо, пошел по проходу к дверям. Таинька узнала мелодию — это то, что играл Израиль там, в мезонине, для нее. Таинька, сама того не замечая, встала и хлопала, вытянув вперед свои детские руки.

Израиль кланялся. Он странно дергал головой, как будто хотел освободить шею из высокого воротничка.

В конце зала уж слышны были надорванные крики, назревал скандал.

Израиль вдруг перестал кланяться и замахал флейтой на публику, замахал, как палкой на гусей. Шум стих.

У дверей кто-то сдавленно крикнул:

— Не имеете пра...

Израиль стоял лицом к публике. Израиль положил руки на флейту. Все замерли.

— Это-таки будет последний номер, — сказал флейтист на весь зал. И сейчас же махнул головой пианисту.

Он начал, опустив глаза, но вот стал поднимать, и Таинька увидала черные, совсем черные, блестящие глаза. Флейтист смотрел на нее, на Таиньку. Тая не шевелилась, замерла, прижав обеими руками к груди носовой платок, не мигая, смотрела она Израилю в глаза и видела: флейтист играет ей, прямо ей, Таиньке. Флейта говорит — и такое, чему она всегда верила, и то самое.

И когда снова стали хлопать, Таинька все еще не могла оторвать рук от груди, а Израиль кланялся ей, выпрямляя шею. Он повернулся и пошел с эстрады. И только тогда Таинька заметила, что она стоит, поняла, что она одна во всем зале стояла, пока играл флейтист «последний номер».

Она хотела бежать, она покраснела так, что стучало в висках, и слезы застилали глаза. Но все уже поднялись и заслонили дорогу: был антракт после первого отделения.

Таинька протискалась к двери, она была уверена, что на нее все смотрят, и не глядела по сторонам, быстро пробежала улицами домой.

— Передала письмо? — спросил старик в темноте.

— Да, да, — крикнула Таинька. Она бросилась в кровать и закрыла голову подушкой.

В пустой комнате

СОВСЕМ уж стемнело на дворе, а Всеволод Иваныч не зажигал огня — все стоял и смотрел в окно. Ветер шел вдоль улицы, дождь, осенний, провальный дождь, полосами посек стекло. И над черным, мокрым забором отмахивалась от ветра голыми ветками черемуха: горестно, безнадежно.

«Неужто поедет?» — мутились мысли у старика.

— Так-таки возьмет и поедет? — прошептал Всеволод Иваныч.

И он представил себе Виктора в полицейской фуражке, с шашкой на боку, взгляд хмурый, тычет в грудь каких-то чуек: «Осади, осади».

«Не может быть», — мотал головой старик, а сам знал, что может, может. И будет. Ему сперва казалось, что это так же нелепо, как если б Виктор стал вдруг лошадью или Тая солдатом с усами.

«Откуда они выводятся, квартальные? Где-то зарождаются и потом выползают. Попы из поповичей, из семинарии; доктора из студентов, а квартальные?.. Но не от Вавичей же. Как будто бы вдруг кошка родила петуха... Пойти к нему, еще сказать?» Всеволод Иваныч отклонился от окна, чтоб пойти, но сейчас же опять нагнулся ближе к стеклу. Все слова, кажется, сказал. Где же оно, такое слово, главное слово, чтоб оно перевесило эту уверенность, что будет, будет он околоточным?

«Обещать проклясть! — вдруг схватился Всеволод Иваныч. И сейчас же весь опустился. — Это уж как мальчик, это из книжек, из театра». И он вспомнил, как актер поднимал руки и тряс ими, точно обжегся. Хрипел, выпуча глаза: «Прррокли-инна-аю!» И настоящего слова не находилось. Он чувствовал Виктора, как он там, у себя в комнате, лежит на койке и читает, нахмурясь. Он видел сына, как будто не было этих двух стенок между ними, а были они оба в одной комнате.

Всеволод Иваныч смотрел сквозь рябые стекла на размокшую в грязь, в слякоть улицу, уже черную от ночи.

«Что сказать? Это я от гордости, что ли, ищу слов, — подумал Всеволод Иваныч, и вдруг защекотало в переносице, заходила грудь. — Ничего, никакого слова не надо искать, пойду прямо, заплачу, скажу: Витя, Витя! Неужели не поймет он?» И он не стал удерживать рыдания и поспешными шагами понес скорей рыдания к Вите. Он толкнул дверь, зашлепал туфлями, жалкими ему казались свои шаги, и он хотел этого... Рывком распахнул дверь к Виктору. Темно.

— Витя! Витя! — рвануло из груди у старика. Он хотел броситься к сыну. — Витя! — И он сделал в темноте шаг вперед, где была койка.

Все было тихо. Он был в пустой комнате. Он хотел повернуть назад и вдруг упал на постель Виктора. Он не умел плакать, и его душило, он задыхался и давился слезами. Ему так вдруг стало жалко себя, что он вдавил голову в подушку, поджал коленки и заплакал, во всю волю, как плакал мальчиком из-за обиды.

«И Тайка не приходит», — подумал Всеволод Иваныч про дочь, как про старшую сестру, и стало еще обиднее.

Грудь все дергалась, но слезы пошли ровнее, и Всеволод Иваныч крепче прижимался к мокрой подушке.

— А! А! — застонала в своей спальне старуха. Всеволод Иваныч вскочил, прислушался. Он тихо, с туфлями в руках, прокрался к жениной двери. Старуха ровно дышала, закрыв глаза.

«Во сне это, во сне», — подумал Всеволод Иваныч. Постоял, не шевелясь, минуту и прошел в свою комнату.

«Хорошо, что никто не слышал», — думал он у себя в кресле. Грудь еще вздрагивала, и он осторожно сморкался, чтоб не разбудить больную.

Пес вопросительно тявкнул басом, и через минуту — Таины шаги. Вот топчется в кухне.

Всеволод Иваныч заперся на ключ и зажег свет.

Он сидел и курил, тупо глядя в темноту под стол.

Было три часа ночи. Лампа мигала и потрескивала в дымной комнате.

Всеволод Иваныч подвинул вдруг кресло к самому столу, и на большом листе, одном, какой нашел, стал писать, поминутно тыкая в высохшие чернила.

«Витя милый, — писал Всеволод Иваныч круглым, разбросанным почерком, — Витя милый, опомнись и приди в ум. Ты

хочешь стать презренным человеком на всю жизнь. Ты будешь оплеван, дорогой ты мой, и никакой слезой этого не смоешь. Пойми, родной, на что ты идешь. Не мучай ты совести своей, не перекричишь ты ее никакими твоими Помпеями. Очнись ты. Если хочется быть честным, так не в квартальных это пробовать. Ты кричишь: «Надо, надо». Кому-нибудь да надо. От воров. Так нам-то это с тобой не надо. Мы не крадем, не убийствуем. А мерзавцев — пусть другие мерзавцы за шиворот тягают, а не мы. Пусть их. Не для тебя это, Витя мой. Не трудно мне, с радостью моею буду тебя холить, живи с нами. Выучишься еще чему-нибудь. Да я сам тебя научу. Служи где-нибудь потихоньку. Смотри, и Таинька плачет. Опомнись, Витенька. Не марай ты себя навеки. Я помру скоро, мне недолго терпеть, а я об тебе. Не езжай, Витя, милый ты мой, оставайся с нами. А не хочешь, разводи что-нибудь. Вот травы, говорят, лекарственные, или вот кроликов, может быть. Вы бы с Таинькой. Не могу, Витя! не могу я так. А то хочешь, я дом продам, и ты что-нибудь устроишь. Мы с Таинькой на все согласны. Не уходи, милый мой.

Твой отец Вс. Вавич» —

расчеркнулся по привычке и набрызгал пером.

Всеволод Иваныч заклеил конверт, вздохнул и при тухнущей лампе, еле разбирая буквы, написал:

«Виктору».

Положил перо. Но снова клюнул в чернильницу и приписал:

«Всеволодовичу Вавичу».

Хотелось еще украсить и укрепить конверт. Он уже почти вслепую приписал внизу:

«От В. Вавича».

Осторожно повернул ключ в дверях, прокрался в носках по скрипучим ночным половицам к сыну в комнату и положил на середину стола.

Вприкуску

НАДЕНЬКА раньше, когда произносила слово «рабочие», всегда делала после этого слова легкую паузу, как бы вздох. И рабочие ей по всем разговорам и книжкам представлялись вроде тех, которые бывали на барельефах немецких художников — с умными, сосредоточенными, напряженными лицами, все по

пояс голые, с тачками. Или с молотом на плече и гордой осанкой, с заграничным лицом. Она никак не могла думать, что те водопроводчики, которые чинили трубы в кухне, и есть рабочие. А если б ей и сказали это, она подумала бы: «Да, но не настоящие».

Ей представлялось, что она стоит перед ними, — они все сидят на скамьях рядами и с воспаленной надеждой глядят на нее. А она говорит, говорит, и лица загораются больше и больше, она как героиня, как Жанна д'Арк, и потом... она ведет их... она идет с ними в бой на баррикады, на «святой и правый бой».

Или вот еще: ее арестовывают, она дает всем уйти, она остается, пусть ее хватают — она отдает себя. И вот она в цепях, но она смотрит «гордо и смело». И ей хотелось, чтоб ее арестовали. Ее допрашивают, а она, подняв голову, отвечает:

«Да. Я это делала и буду делать, что бы вы со мной ни творили и чем бы ни грозили».

И они испуганно смотрят на нее, смущенные и раздавленные, с уважением, с затаенным восторгом. Она чувствовала наедине, в мечтах, восхищенные взгляды, как тогда, девочкой, когда умирала перед бабушкиным трюмо.

И теперь, когда она собиралась первый раз идти на кружок, Наденька надела белый воротничок, белые отвороченные рукавчики. Пусть арестовывают, это будет оттенять ее: девушка и жандармы.

Когда она шла по пустырю за Васильевым, она забыла эти приготовления: она думала, как начать.

— Вы примечайте, как пройти, — сказал Наденьке Васильев, они шли по Второй Слободской. — А как вас называть надо?

— Валя.

Васильев шел теперь рядом, как кавалер, и распахнул перед Наденькой калитку.

На дворе Аннушка возилась с самоваром, и красными зубами светилась над землей решетка.

— Шевели, шевели, — буркнул Филипп сестре.

В сенях слышно было, как кто-то подбирал на мандолине вальс, а молодой голос говорил:

— Не туда. Дай, дурак, я сейчас.

— О, уже собрались, — сказал Филипп. — Прямо, все прямо, — он обогнал Наденьку и открыл дверь к себе.

В комнате было накурено дешевым табаком. Двое парнишек на кровати у Васильева вырывали друг у друга мандолину и хо-

хотали. За столом сидел пожилой рабочий и внимательно рассматривал старый номер «Нивы». Двое других курили, клетчатая бумажка с шашками лежала перед ними на столе.

Все оглянулись на двери, на Наденьку.

— Вот, знакомьтесь, — сказал весело Филипп. — А что, Кузьма не будет? — И он наклонился к пожилому рабочему, зашептал. Парнишки бережно положили мандолину на комод, притихли. И через минуту оба фыркнули. Глянули на Филиппа и отвернулись друг от друга — их распирал смех.

Игроки сгребли шашки и уставились на Наденьку. Один из них, веснушчатый и рыжий, стал корявыми пальцами наспех застегивать ворот рубахи, мигая на Наденьку, как спросонья.

Пожилой слабо и ласково улыбался, все кланяясь, сидя на стуле.

Наденька скинула свой маскарадный полусалоп, сбросила с головы черную мещанскую косынку. И по привычке поискала глазами зеркало. И вот в коричневом шерстяном платье, с этими белыми манжетами, она вдруг предстала барышней. Филипп искоса ударил глазом. Примерился, но стряхнулся и сказал:

— Стало быть, Кузьмы ждать не будем. А это, товарищи, будет товарищ Валя, заместо Петра. А просто сказать, у нас поминки моего деда — мертвого, а барышня у нас — дрова он у них колол, — и вот уважить покойника.

Филипп прищурил глаза и улыбался во все стороны.

— Присаживайтесь! — сказал Филипп. Все как-то враз грохнули стульями, хотя места было много.

Наденька села, Филипп выскочил в двери, и слышно было, как он кричал во дворе:

— Ковыряйся ты скорей, христа-ради. Тя-мно! Дуре и днем потемки.

— О чем же мы сегодня будем беседовать? — сказала Наденька и перевела дух.

Все наклонились ближе. Скрипнули кроватью и парнишки.

— Я думаю рассказать вам о том, как правительство собирает с народа деньги, каким хитрым способом...

«Не очень ли глупо я говорю?» — подумала Наденька. Нахмурилась и покраснела.

— Да, да, — ободрительно сказал пожилой.

— Вот вы курите, например.

Рыжий хмуро глянул на Наденьку, потом на форточку.

— Нет, не то что дым, а вы покупаете табак...

В это время в двери влетел Филипп.

— Это про что, про что? — спросил он, запыхавшись.

— Да стой, тут уж есть речь, — отмахнул рукой пожилой.

— Или вот спички, — продолжала Наденька. — Вот дайте коробку спичек.

— А вот, пожалуйте, — молодой парнишка вскочил и совал коробочку из-за Наденькиной спины.

Наденька показывала на бандероль — парнишки встали и все смотрели, будто не видали раньше этой привычной наклейки на коробке.

— Так, так. Вот и скажи ты! — ободрял Наденьку пожилой.

Наденька говорила про керосин, про сахар.

— А мы вприкуску, — сказал в стол рыжий рабочий, — с нас не заработаешь.

На кровати хихикнули. Филипп оглянулся назад — ишь, мол, щенки. А потом, наклонясь к столу, чтоб видеть через Наденьку рыжего, Филипп сразу горячо заговорил, будто копил спор до времени:

— А это разве дело? А? А в деревне и вовсе без сахару, так, палец пососал — и ладно. Так это что? Это справедливо? Тебе объясняет товарищ, что это дерут с людей...

— Нет, — сказала Наденька, — вот в этом-то и дело. Пусть даже очень мало едят сахара, каждый, каждый. Но их сотня миллионов, миллионов, а такого количества не съесть богатым, пусть они...

— Пускай зубы себе проедят на этом сахаре, — помогал Филипп, — пусть себе в ноздрю пихают, коли в глотку не лезет.

— Все равно... — продолжала Наденька.

В это время на кровати послышалось бормотание. Филипп досадливо обернулся — опять?

— Вам что-нибудь не ясно? — сказала Наденька. — Вы спрашивайте, пожалуйста.

— Да так, он тут с глупостями.

— Что? Пожалуйста, — настаивала Наденька и совсем повернулась к молодым.

— Да не к делу вовсе, — говорил парнишка, что совал давеча спички. — Так, глупости.

Другой смотрел в пол, свесив вихры на лоб.

— Вы говорите! — Наденька ждала.

— Да говори, что там, — сказал Филипп.

Парнишка бросил голову вверх:

— Да вот говорит: спроси ее, пусть скажет, есть Бог или нет?

— Во тебе богов цельный угол, — и Филипп протянул пятерню к божнице, — выбирай себе любого, волоки домой хоть в мешке.

— Об этом мы поговорим, — сказала Наденька.

В это время все обратили внимание: из коридора кричал женский голос.

— Что ж, говорю, самовар-то возьмете? Кипит, говорю, самосильно.

Оба парнишки пружиной дернулись с кровати и бросились весело в коридор.

Филипп принес посуду и баранки.

Когда рыжий стал щипать на мелкие кусочки сахар, сосед, смеясь, сказал на весь стол:

— Ты что это, уж в гроб казну загнать хочешь?

Наденька не знала: пить ей вприкуску или положить кусок в чашку.

Филипп ложечкой плюхнул Наденьке большой кусок, расплескал на блюдечко.

На цепочке

МИМО Наденьки просунулась рука, и молодой парнишка, ухмыляясь, сказал:

— Нам бы сюда пару бубликов и того... косвенного бы баночку.

Все рассмеялись. Что-то сразу раскупорилось, и все не в лад заговорили. Наденьке эти разговоры казались аплодисментами. Она скромно и важно прихлебывала чай.

— Да, чай не чай, — говорил рыжий, наклоняясь к блюдцу, — а очищенную потребляем, — он подул в блюдечко, — и даже, сказать, здорово.

— А вот дал казне заработок, зато тебе квартира бесплатная, с казенным замком.

— А в перевыручку тебе еще в загривок всыпят, — пустил с кровати паренек.

— Да что, товарищи, обижаться на фараонов, да по пьяному делу, — сказал Филипп, сказал громко и повернулся боком к столу. Он размахивал руками, чуть не задевая Наденьку. — Фараон и есть фараон! Что он тебе — дядя крестный? А вот когда

сам-то с нашего же брата и тут тебе под носом гадит, так это что же выходит?

Все смотрели на Филиппа.

— А что, — продолжал громко Филипп. — Возьми мастера. Да недалеко ходить, нашего хотя бы. Это тебе не косвенный, а прямо можно сказать — заноза и паразит трудящего человека.

— Да что ты «мастер, мастер», — сказал пожилой; он откинулся на стуле и прямо глянул на Филиппа. Он перестал улыбаться. — Мастер, ты говоришь. Это уж его дело такое. Убери ты этого мастера, пойдет, знаешь... да что говорить...

— Что говорить? — кричал Филипп. — А то, что зачем из человека кровь пить? Дом он себе построит из наших копеек-то?

— Копейки не ему, — сказал рыжий; он сосал с блюдечка стакан за стаканом.

— Да я тебе скажу, — начал снова пожилой, — ты, Филька, брось. Тебя мастером поставить, так не похуже Игнатыча шило бы из тебя вышло. Это уж небеспременно.

— Да мне это не надо вовсе, мастерство это. Я и не тянусь. Больно надобно, — обиделся Филипп.

— Оно там надобно тебе, ай нет, а вот я тебе скажу: ты был в солдатах? — И старик подался вперед. — Был — говори, нет? Вот и оно. А там знаешь как? Солдат солдатом, как и все, кряхтит да жмется, а нашили ему лычко — одно! — вот тебе и начальство, — тебе же в морду сапоги тычет: чисти ему! А вчера сам взводному шаркал, аж потел. Да.

— Я говорю, — начал громко Филипп и глянул на Наденьку: что, мол, она?

— Говоришь ты, — сказал старик и нагнулся к чаю.

— Нет! — сказала Наденька; она чувствовала, что непременно надо сказать, и не один Филипп ждет. Ей хотелось поддержать Филиппа. — Нет! Товарищ Филипп, мне кажется, отчасти прав.

— Наш литейный мастер, — сказал рыжий, — так, ничего, на него нельзя обижаться. — Рыжий потихоньку расстегивал воротник.

— Дело не в том, какой попался человек. А вот товарищ Филипп даже не хочет стать мастером.

Филипп закивал поспешно головой.

— Потому что само положение мастера, очевидно, таково, что.. оно уж вырабатывает определенный тип.

— Вот именно — тип! — подхватил Филипп. — Самая сволочь вырабатывается.

— Какой бы человек ни был, но...

— Хоть самый рассвятой, — махал руками Филипп. Он встал и стал шагать по комнате — два шага туда, два обратно.

— Он должен смотреть, чтоб хозяйская копейка...— говорила уже смелее Наденька.

— Рубли дерет! — Филипп остановился над Наденькой, над ее головой ходили его руки. — Рубли, стерва, вымолачивает из человека, из своего же брата. И на людей, ирод, не глядит: боится, чтоб прибавку не спросил кто.

— Человек, который идет в мастера, — продолжала Наденька, — конечно, знает, на что идет. Он выходит из своего класса сознательно.

— И уж ни черта больше не сознает, — подговаривал Филипп на ходу.

— Он, конечно, является уж отщепенцем. Есть профессии, которые вполне определяют, — говорила Наденька; она разгоралась. — Есть такие профессии, товарищи...

Наденька встала, держась за спинку своего стула. Все на нее глядели. Глядел и Филипп горячими глазами.

— Есть профессии, которые сразу же определяют отношение человека ко всему обществу. В старой Германии палач...

— Вот именно что палач, форменно палач, — и Филипп хлопнул ладошами.

— Палач... даже кружка у него была своя, на цепи, в пивном погребе... чтоб никто из нее случайно не выпил, и с ним никто не говорил.

— И говорить с ними, сволочами, нечего. Какой может быть с ними разговор? Ты ему одно, а он все...

— На цепи, сказываете? — Рыжий литейщик впился глазами в Наденьку.

Все загудели.

В это время дверь приотворилась, и в комнату тихонько втиснулся человек в серой тужурке и в русских сапогах. На вид лет сорока. Он молча остановился у двери, оглядывая собрание. Филипп не сразу его заметил. Но, взглянув, он вдруг метнулся:

— А, Кузьма Егорыч!

— Ну, ну, продолжайте.

Но все стихли. Самовар пел задумчивую ноту, как ни в чем не бывало.

Филипп вполголоса шептался у двери с Кузьмою.

— А, про косвенные налоги, — расслышала за спиной Наденька.

— Уж кончили, можно сказать... Да, да, вместо Петра...

И они вышли в коридор.

Лай собачий

НАДЕНЬКА чинно встала. Она уже натянула один рукав своего салопа, как вскочил в комнату Филипп и бросился помогать. Лицо у него было красное, он улыбался, он признательно суетился, отыскивая Наденькину косынку. Два раза переложил из руки в руку и подал.

Он кивнул товарищам:

— Я — проводить, а вы потом выкатывайся по одному.

Наденька пошла деловой походкой, как будто ей еще в два места надо поспеть. Филипп шел рядом, наклоняясь и поворачиваясь к Наденьке. Теперь они шли прямо по Второй Слободской.

— Вот я вам говорил, товарищ, — наклонялся Филипп, — что про мастеров, вот оно, видали? Я вам говорю, я уж знаю. Здорово мы с вами как, а?

— Да, — сказала Наденька сухо. — Но я думаю...

— Насчет спичек думаете? Это тоже здорово. Я ведь знаю. Я уж видал. А то я, сказать, боялся, уж не сердитесь, женщина — думал, по-нашему сказать, извините, — баба. Пойдет, думаю: в тысяча шестьсот сорок тридцатом году в Америке, у черта на хвосте... А теперь я знаю: побей меня Господь, они сидят там и говорят: вот Филька бабу привел — это да. Верно вам говорю.

Наденька глянула на Филиппа.

— Свернемте, здесь тише.

Они вошли в пустой переулок. Сквозь закрытые ставни кой-где светлыми кантами виднелся свет.

Филипп легонько взял Наденьку за локоть.

— Идите серединой, а то вдруг собака.

— А вы учились где-нибудь? — спросила Наденька. Спросила участливым, ласковым голосом.

— Какое же ученье? Все сам, знаете. Вот сейчас хожу... — И Васильев рассказал, как он ходит в тот самый университет, который устроил знакомый Тиктиных старичок. — Астроно-

мию, как земля получилась. А то, знаете, что же, не про Адама же с Евой — раз, два — и кружева.

В это время из темноты, со сдавленным воем, пулей понесся пес — черным пятном на серой дороге.

Филипп быстро рукой отодвинул Наденьку и сунулся на собаку.

— А, ты, стерва! — Филипп нагнулся за камнем. Собака осадила, проехала в пыли на четырех лапах, повернула и, отскочив на два шага, стала бешено лаять. Филипп шарил на земле камень.

— Не пугайтесь, — кричал он через лай Наденьке, — я ее сейчас.

Со всех дворов тревожным лаем всполошились собаки.

Филипп нашарил большой булыжник и, размахнувшись, бросил: слышно было, как об твердое ляпнул камень, и собака отчаянно завизжала. Во дворах на минуту лай примолк и снова рванул с новой силой.

— Ах, зачем же так, — сказала Наденька.

В это время звякнула щеколда, и грубый мужской голос из темноты заорал на весь переулок:

— Ты что же это, сукин ты сын, озоруешь? Морду тебе набить надо.

— Тебя б с собакой твоей на цепь посадить. Проходу нет, — кричал Филипп с улицы.

Белое пятно отделилось от черного забора — человек шагал, глухо ступая по пыли.

— Давно вам рыла не били, — сказал он, подойдя на шаг к Васильеву, — шляетесь с девками тута.

Наденька плохо слышала среди собачьего лая, она только видела, как Филипп весь махнулся вбок и хрястнула затрещина и следом другой, глухой удар. Белая рубаха свалилась в пыль.

— Пошли, пошли теперя, — сказал Васильев, запыхавшись. Он взял Наденьку под руку, крепко, как никто раньше не брал, он почти поднимал ее сбоку, и она толчками скакала рядом с его широкими шагами.

— А-а! — хрипел сзади плачущий голос, и камень полетел и прокатился в стороне.

Филипп дернулся, оглянулся. Остановил шаг.

— Идемте, идемте, — шептала, запыхавшись, Наденька.

— Камнями еще, сволочь... — шипел Филипп. — Совершенно же несознательный народ, — сказал Филипп, когда они свернули в освещенную улицу. — Дикари и туземцы, можно назвать.

Они входили в город. Филипп отпустил Наденькину руку, и немного стало жалко. Он шел рядом, глядя под ноги.

— А вы не пробовали заниматься сами? — спросила Наденька. Спросила уважительно и бережно.

— Один коллега начал со мной по-русски...

«Коллега, коллега, — думала наспех Наденька. — Ага, студент! Хорошо и смешно».

— ...дошли до уменьшительных, ласкательных, и ему не стало времени. Так оно и... — говорил Филипп в землю.

— Да, без руководства трудно, — сказала Наденька. — Мы как-нибудь об этом....

Наденька уж подходила к дому, где она у подруги переодевалась.

Наденька остановилась.

— Ну, большое вам спасибо, — сказал Филипп и крепко тряс Наденькину ручку. Наденьке было больно и приятно, что ее ручка тонула в плотной, горячей Филипповой ладони.

Как на доске

АНДРЕЙ Степанович собирался на службу. Он чистил в передней свою серую фетровую шляпу мягкой щеткой. Чистил внимательно — в полях, в закоулках. В гостиной горничная Дуня бесшумно возила щеткой по глянцевому паркету. Дуня бросилась на звонок. Башкин стоял на пороге со свертком под мышкой и, улыбаясь, кланялся Андрею Степановичу. Раскачивался, улыбался и не входил. Андрей Степанович сделал официальное лицо.

— Прошу! Пожалуйста! — и пригласительно махнул округло щеткой в воздухе.

Башкин вступил.

— Я на минутку, можно? — Башкин все кланялся и улыбался уж несколько иронически.

— Сделайте одолжение, — сказал Тиктин, взявшись за щетку.

Наденька удивилась: кто так рано? Башкин уже кланялся в дверях столовой. Анна Григорьевна кивала ему с конца стола. Башкин разбрасывал широко ноги, изгибался и все-таки задевал стулья. Он приготовил руку и нес ее высоко, чтоб подать Анне Григорьевне. Он сел рядом с Наденькой, сел на кончик

стула, плотно сжал свои острые колени, уложил на них пакет и начал, слегка покачиваясь:

— Вы помните, меня просили, — он глядел на Наденьку проникновенными глазами и говорил грустным, интимным голосом, — вы просили меня...

Анна Григорьевна насторожилась — так говорят о покинутых девочках и больных старушках.

— Уже месяца два, я думаю, тому назад. Вы просили, чтоб я достал вам немецкое издание Ницше, — продолжал Башкин тем же голосом, — так вот, мне удалось достать вам... вот здесь она, эта книга, — Башкин положил на стол завернутый в газету томик.

— Можно вам чаю? — спросила Анна Григорьевна и взялась за чайник.

— Нет, благодарю вас, я не пью чаю, — говорил Башкин неторопливо и наклоняясь в такт слов.

— Можно кофе, если хотите, — Анна Григорьевна потянулась к звонку.

— Нет... благодарю вас... я и кофе не пью.

— Что же вы пьете? — спросила Наденька.

— Я... ничего не пью, — тихо и размеренно сказал Башкин. Он глядел в глаза Наденьке углубленным взглядом. — Я... ничего не пью... до вечера, до шести часов.

В это время незнакомые шаги застучали в коридоре — тяжело и плотно. Алешка Подгорный вошел в столовую, следом за ним протиснулся Санька.

— А! — закричал Башкин. — Вот я рад! — Он вскочил и, нелепо раскорячась, шагнул к Подгорному. Размахнулся ухарски рукой и шлепнул с размаху в ладонь Алешке.

Алешка держал Башкина за руку, кланялся дамам.

— Садитесь, садитесь, — суетился Башкин. — Вот, господа, — уличным голосом закричал Башкин и выпятил свою узкую грудь, — известный естествоиспытатель и атлет, знает по имени-отчеству всех козявок, поднимает на плечах живого быка! — Башкин вытянул руку вбок жестом балаганщика.

Алешка сел. Башкин плюхнулся на стул рядом, вытянул локоть на стол, сморщил скатерть. Наденька поддержала молочник. Башкин подпер голову, запустил лихо пятерню в волосы, повернулся к Алешке.

— Слушайте, вы, должно быть. из лесов каких-нибудь, из дремучих? — Башкин свободной рукой обвел в воздухе шар. —

А? Я угадал? Правда ведь? Расскажите нам про леса дремучие, где звери могучие, — декламировал Башкин.

— Слушайте, черт вас дери, уберите свои ноги, — сказал Санька, споткнувшись.

Анна Григорьевна укоризненно глянула на сына.

— Да нет, — ворчал Санька, — две ноги, а всюду спотыкаешься, как сороконожка какая...

Башкин дрыгнул ногой, но остался в раскидистой позе.

— Простите, ваше имя-отчество, — наклонилась Анна Григорьевна.

— Баш-кин! — закричал Башкин. — Просто — Семен Башкин. — И он опять уставился на Алешку.

— Вы чего орете? — огрызнулся Санька. — Вы не в пивной, черт бы вас совсем драл.

Анна Григорьевна и Наденька смотрели во все глаза на Башкина.

— Ну, ну, расскажите, — бойко теребил Башкин за плечо Алешку.

— Да стойте, я чай разолью, — усмехнулся Подгорный.

— Ну, рассказывайте, или я пойду, — крикнул Башкин. — Не можете? Прилип язык? — Башкин вскочил, громыхнул стулом. — Всем поклон, — сказал Башкин в дверях, кивнул головой вполоборота и зашагал в коридор.

— Слушай, он же обиделся. — Анна Григорьевна глянула на сына, встала, бросила салфетку на стул и заспешила вслед Башкину.

Башкин, надев пальто в один рукав, спешил к двери. Он видел Анну Григорьевну, но выскочил. Хлопнул французский замок. Анна Григорьевна, вздохнув, пошла назад. Но стук в дверь ее остановил. Она открыла. Башкин, глядя в пол, сказал:

— Я, кажется, забыл что-то, — и стал шарить на подзеркальнике.

Анна Григорьевна пристально на него глядела. Они встретились глазами в зеркале, и Анна Григорьевна увидала в глазах Башкина слезы.

— Милый... не обижайтесь, пожалуйста, на нас, мой сын бывает груб. Это ничего, пожалуйста, приходите... я рада, господин Башкин. Это же пустяки. Ах, да. Вы что же забыли? — Анна Григорьевна осматривалась по сторонам.

— Забыл проститься с вами, — сдавленным голосом сказал Башкин и, поймав руку Анны Григорьевны, долго и крепко жал к губам.

С красным лицом Анна Григорьевна пошла к столу.

Башкин быстро, через три ступеньки сбежал с лестницы, внутри клубилось, и Башкин не знал еще, хорошо ли вышло все там, и он шагал во всю мочь, почти бежал. Он задыхался и вдруг встал, встал неожиданно, как вкопанный, на тротуаре. Сзади с разбегу толкнул его прохожий. Башкин поклонился; сложившись вдвое:

— Извините, Бога ради, простите. Я вас толкнул.

И тут только Башкин заметил, что светит солнце с неба вдоль улицы и что деловая улица не шумит, а как-то весело мурлыкает, и вон по той стороне какая-то девочка бежит вприпрыжку с пакетом. Держит перед носом: должно быть, послали в лавочку. Девочка остановилась. Она смотрела, как мальчик катал другого на сломанном детском велосипеде. Башкин зашагал через улицу, он сбил шапку чуть на затылок и улыбался.

— А ну, дай-ка! — И Башкин взял велосипед за ручку. Он прокатил велосипед по тряскому тротуару. Седок подпрыгивал и решал: плакать или это ничего. Другой догонял, он зло смотрел на Башкина.

Башкин выпрямился и спросил, запыхавшись:

— Тебя как звать?

— Это мой велосипед, — сказал мальчик и взялся за ручку.

Башкин засмеялся. Мальчишка спихнул с сиденья товарища и поволок велосипед в сторону. Велосипед забренчал по камням. Башкин все стоял и насильно улыбался. Мальчишка обернулся и высунул язык. Башкин оглянулся. С той стороны улицы смотрел на него человек, смотрел без улыбки, лениво. Он отвернулся и не торопясь пошел прочь. Человек в полупальто и фуражке — как будто разносчик без дела.

«Противно, что видели», — думал Башкин. Но снова он услыхал, как мурлыкает улица на солнце, встряхнулся и веселыми ногами пошел, толкаясь, по тротуару.

Вспомнил, как было у Тиктиных, и сбавил ходу.

— Нет, нет, — шептал Башкин, — могло же этого не быть, ничего... никаких Тиктиных. Все можно заново. Стереть... — и Башкин провел в воздухе рукой, — как с доски.

Он вспомнил, как говорил француз в гимназии: «Effacez ça!»* — и ученики стирали с классной доски.

«По-новому, по-новому начну», — думал Башкин. Он не знал еще, как — и весело шагал вперед.

* Сотрите это! *(фр.)*

Он остановился около книжной витрины и стал разглядывать книги. Хотелось купить что-нибудь новое и серьезное.

«Опыт исследования органов внешних чувств речной миноги» — читал Башкин и глядел на мелькавшие в зеркальном стекле отражения прохожих.

Опять человек в полупальто. Башкин почувствовал, будто что-то жмет между лопатками. Он поерзал спиной и оглянулся.

Человек стоял против колонны с афишами: он глядел на Башкина и тотчас перевел глаза на афишу.

С. и С.

БАШКИН колебался между двумя чувствами: «Все сволочи и мальчишки тоже. Тина и паутина. Плевать, плевать», — губы отвисали тогда на скучном лице. — «Или по-новому. Бодро, бойко, весело, с искрой», — и Башкин улыбался и шагал скорей.

У него было три урока в этот день.

Один урок он дал скучно и плевательно. Но два другие прошли бойко. Ласково и весело вышло с Колей.

Дома Башкин шутил со старухой. А вечером сел писать «Мысли». Очень хотелось утвердиться по-новому. Он надеялся, что удастся выработать тезисы. Тезисы, по которым жить. Он достал пакет с открытками и решил уничтожить.

«Уничтожу! Сожгу! Прогляжу напоследки один раз — и в печку! Ах, чепуха какая», — думал весело Башкин и положил красавиц на письменный стол сбоку.

Он вынул тетрадь и задумался с пером в руке. Поставил цифру 1. Это тезис первый.

«Не врать! Не врать! Первое — это не врать».

Но написать: «не врать» Башкин не решился, — а вдруг кто увидит? И поставил:

«1. Н.В.».

«Я пойму, — думал Башкин, — а больше никому знать не надо... Второе! Что второе? Спокойствие и смелость!» — решил Башкин. И он с радостью поставил:

«2. С. и С.».

Ему казалось, что вот пришла судьба и дала ему белый лист: что тут напишешь, то и твое. И ему казалось странным, как он

раньше не додумался, — это так просто. И он жадно думал, чего бы еще пожелать.

Был уж второй час ночи. В окна стучал дождь, и от этого в комнате казалось уютней. Башкин прилег на кровать и думал, уткнув перо в угол рта.

Резкий звонок в коридоре. Башкин вздрогнул. Привскочил на постели. Звонок рванул еще раз. Заохала старуха за стенкой. Башкин вышел в коридор. Он часто дышал. Руки слегка тряслись.

— Спросите, спросите — кто, не отпирайте, — старуха высунула нос в двери.

— Кто там? — напряженным горлом спросил Башкин.

— Телеграмма Фоминой, — ответил голос.

— Вам телеграмма, — сказал Башкин старухе.

— Господи-светы! Познь какую.

Башкин открыл.

Два городовых и околоточный быстро протиснулись в двери. Заспанный дворник хмуро глядел на Башкина. Запахло мокрым сукном.

— Вы это будете господин Башкин? — спросил околоточный, надвигаясь на Башкина рябым, серым лицом.

Башкин растерянно отступал к своей двери. Околоточный оглянулся на дворника.

Дворник закивал головой.

— Эта, эта ихняя комната, — скучным голосом сказал дворник. Облокотился плечом о косяк и достал коричневый тряпичный кисет.

— Вы что же? Посмотреть? — сдавленно сказал Башкин и попробовал улыбнуться. Перо слегка подрагивало в его руке.

— А вот по распоряжению Охранного отделения обыск, — сказал хмурым, усталым голосом квартальный. Достал платок и обтер мокрые усы. — Садитесь! — И он указал на край кровати. — Стань здесь! — Околоточный ткнул городовому пальцем. Городовой тяжело шагнул и стал рядом с кроватью.

Старуха, придерживая на груди кофту, совала издали нос.

— Ничего, ничего, — сказал околоточный, — пусть оденется, протокол подпишет. — Околоточный тяжело упал на стул и сдвинул шапку на затылок. Он, пыхтя, потянул ящик стола.

— Тут есть не мое... — сказал Башкин и дернулся с кровати.

Городовой протянул толстый, как бревно, черный рукав шинели.

— На месте сидите.

— Это все разберут... там, — скучно и важно мямлил околоточный, перелистывая «Мысли» Башкина. — Тэ-экс... — и отложил в сторону. — Оружия нет? — спросил квартальный, не поворачиваясь.

— Какое, какое? — спросил Башкин. — Ножик у меня есть, — и Башкин торопливо вынул из кармана перочинный ножик и на дрожащей ладони протянул околоточному.

— ...револьвер или... бомбы, — говорил околоточный, разглядывая открытки красавиц. — Женским полом интересуетесь?

Городовой хихикнул.

— Где у вас переписка? — вдруг повернулся околоточный к Башкину, повернулся резко, зло. — Письма, письма где?

И сейчас же обратился к городовому в дверях:

— Вынь, что в комоде. Какие бумаги — сюда, — и хлопнул по столу. — Лампу, скажи, пусть даст.

Башкин слышал, как старуха зашлепала к себе в комнату. Она вернулась с лампой, совала ее городовому, услужливо, хлопотливо.

— Колпак можете снять, так светлей, — и глянула зло на Башкина. — А вот он кто, — громко шептала старуха, — вот он сказался-то когда...

Башкин заерзал на кровати.

— В чем вы меня подозреваете? Почему вы ищете? — вдруг заговорил он громко, лающим голосом. — Я не крал. Пожалуйста, я вам все покажу. Господин надзиратель! Давайте я вам покажу — это гораздо ведь проще.

— Сидите на месте, — едва слышно буркнул квартальный.

В это время резким рывком открылась входная дверь, мелодично зазвенели шпоры. Жандармский ротмистр ткнул зазевавшегося дворника. Околоточный вскочил навстречу и поправил фуражку.

— Ну что? — спросил ротмистр.

— Изымаю, — быстро сказал надзиратель и отшагнул от стола.

Ротмистр, слегка согнувшись, огляделся. Повилял фалдами шинели.

— Это вы — Башкин?

Башкин встал.

— Да, да, я Башкин, только я не понимаю, ничего не понимаю, — Башкин сделал веселое лицо, — зачем-то перемяли мне белье, только из стирки... сегодня... то есть третьего дня...

— Ага, — сказал, не слушая, ротмистр. — Вы, господин Башкин, одевайтесь, мы вас задержим. А тут не беспокойтесь, — все это у вас будет цело.

— Свезешь!

— Слушаю, — сказал городовой.

Он держал пальто и помогал Башкину попадать в рукава.

— Ей-богу, я ничего... ничего не понимаю, — говорил Башкин и деланно улыбался.

Ротмистр перебрасывал книги.

Голые люди

АННА Григорьевна вернулась к столу красная, ушла лицом в себя, села и чужими рассеянными глазами мигала на Саньку, на Наденьку.

Все помолчали минуту.

— Все-таки нахал, как ты хочешь, — сказал Санька, ни к кому не обращаясь. Так, через стол. И отхлебнул чаю. Никто не ответил. Вдруг Анна Григорьевна проснулась.

— Нет, нет, — заговорила она и еще пуще покраснела, — он, наверно, перенес что-нибудь, что-нибудь ужасное... или судьбу чувствует.

— Роковой... подумаешь, — сказал Санька с полным ртом.

— Не форси, не люблю, — сказала Анна Григорьевна.

Наденька молча перелистывала Ницше, прищурив глаза.

— Простите, что это у вас? — спросил Подгорный. Он глядел, как Наденька переворачивала странички.

— Ницше, немецкий... — и сейчас же уставилась прищуренными глазами на Алешку. — Скажите... мне вот интересно, — сказала Наденька, — если б вам задали вопрос, дети, скажем... Как авторитету... спросили бы: есть Бог? Нет, или лучше так: верите ли вы в Бога или нет?..

Санька глядел на Подгорного с улыбкой, с надеждой, готов был радоваться. Он не знал, что скажет Алешка — да или нет, но уж наперед верил, что здорово.

Наденька, вся сощурясь, глядела пристально на Алешку. Анна Григорьевна осторожно поставила стакан, чтоб не брякнуть.

— Должно быть, верю, — сказал Алешка, улыбнулся и сейчас же нахмурился, — потому что злюсь на него и ругаю каждый день раз по сту.

4—3207

— Ну, а если б спросили: есть он?

— Спрашивали меня: членораздельно ответить не могу.

— Гм, так, — сказала Наденька. — Тогда лучше не отвечайте. — И опять принялась за странички.

— Конечно, в Бога с бородой, верхом на облаке... — начал Алешка. Он слегка покраснел.

— Это я знаю, — сказала небрежно Наденька, — вы уж ответили.

— Это она констатирует и формулирует, — сказал Санька. Он тоже прищурил глаза и показал, как Наденька держит головку.

— Отрежь мне хлеба, — сказала Наденька.

— Тебе побуржуазней или пролетарский кусок? — Санька взял нож и насмешливо глядел на Наденьку.

— Пошло!

— Скажите, какой соций у нас завелся. Святыни задели.

— Отрежь хлеба, я прошу же, — сказала Наденька строго.

— Это что, уж диктатура приспела? Да?

— Дурак.

— Мы-то все дураки. А я тебе говорю, что посели вас всех на Робинзонов остров, первое, что построите, — участок. Да, да, и еще красный флаг поверх поставите. Режу, режу, не злись.

Санька протянул кусок хлеба.

— Скажите, вы в самом деле социалистка? — спросил Алешка, спросил серьезно и уважительно. Наденька на секунду взглянула на него. Алешка мягко и сочувственно глядел на Наденьку.

— Да, я придерживаюсь взглядов Маркса, — бросила Наденька.

— Скучная история.

Анна Григорьевна вздохнула и прошла в кухню.

— Слушай, Надька, — заговорил весело Санька, — ты расскажи нам этот марксизм. Нет, попросту. Ну, представь себе, что земля первозданная, целина, леса, бурелом всякий. А люди все голые — с начала начнем, — так нагишом и сидят на земле. Все рядышком. Ну, кто здоровей, тот сейчас...

— Возьми, пожалуйста, и прочти и не будешь вздор городить. Надо приучиться марксистски мыслить прежде всего.

— Я понимаю еще — логически выучиться мыслить, а как-нибудь там — технологически, или филологически, или марксологически — это уж ересь.

И Санька глянул на Подгорного: правда, мол? Поддержи.

Но Алешка обернулся к Саньке и серьезно вполголоса сказал:

— Это тебе не арифметика. Ты бывал влюблен? Так знаешь, что все тогда по-иному кажется. Что было плохо, то стало дорого...

— Ну, вы здесь влюбляйтесь, — сказала Наденька, — а мне пора... — Она встала и, заложив палец в книгу, пошла к себе в комнату.

Весы

САНЬКА Тиктин сидел в весовой комнате университетской лаборатории. По стенам — столы. Вделаны на крепких кронштейнах, на них химические весы в стеклянных шкафчиках. Санька был один, было тихо и чисто. Весы напряженно, строго смотрели из-за стекла. Но это чужие весы, на них весят другие. Свои весы Санька знал и любил. Они ждали его. И когда Санька осторожно поднял шторку стекла и пустил весы качаться, весы приветливо заработали: а ну, давай. Медленно, спокойно заходила стрелка по графленой пластинке. И в Саньку вошло веселое спокойствие. Он осторожно клал пинцетом золоченые гирьки разновеса, весы ожили и старались. В этой комнате нельзя было курить, была блестящая пустая чистота, и здесь говорили шепотом и осторожно ходили. Санька уважал и любил весы. Он кончал анализ — три недели работы, три недели Санька фильтровал, сушил, нагревал, и это последнее определение он подсчитает, и должно выйти сто процентов. Но Санька подсчитал наперед и теперь подкладывал гирьки, с опаской поглядывал, — не вышло бы больше, больше ста процентов. Немного меньше — не беда. Санька менял гирьки, — весы отвечали: то правей, то левей ходила стрелка. Теперь оставалось последнее: сажать на коромысло весов тонкую проволочку, осторожно, рычажком. Эту проводочную вилку Санька аккуратно пересаживал по делениям коромысла. Вот-вот уже в обе стороны ровно отходит стрелка. Через закрытую шторку Санька следил за стрелкой. Он просчитал вес. Да, выходило сто два процента. Санька остановил весы.

Снова просчитал гири — сто два процента. Санька напрягся нутром, но теми же спокойными движениями опять пустил весы. Как медленный маятник, поползла стрелка влево и уста-

ло поплыла вправо. Весы как будто нахмурились. Они смотрели вбок, но не могли показать иначе.

Санька разгрузил весы. Аккуратно, напряженной рукой уложил разновес в бархатные гнезда коробки и ушел, не обернувшись на весы. Весы тоже не глядели на Саньку: некстати, правда, — уж не взыщите. Тиктин ушел вдаль по коридору и на подоконнике зло, поминутно слюня карандаш, стал заново вычислять.

— Шестью семь ведь сорок два, — шептал Санька, — сорок два. Два пишу, — и обводил пятый раз двойку, с силой вдавливал карандаш, — итого сто два и три десятых процента. Вот сволочь какая! — И Санька снова на чистой странице начинал счет сначала. Цифры выходили те же. Санька не досчитал, свернул тетрадь, сунул в карман. Навстречу семенил короткими ножками старик-профессор. Санька виновато и недружелюбно ему поклонился. А такой приветливый старичок. На лестнице Саньку остановил однокурсник. Студент этот был в пенсне, высокий; на угловатой голове идеальной плоскостью стояли ежиком волосы. Как будто сверху еще что-то было, но это отпилили пилой ровно, гладко. Студент зацепил палец за борт тужурки, тужурка была застегнута на все пуговицы.

— Вам не встречалось в цейтшрифтах чего-нибудь о работах Иогансена по кобальтиакам? — Студент очень умным взглядом смотрел на Саньку.

Санька знал, что студент нарочно так громко спрашивает Саньку об этих глухих частностях, нарочно солидно, на всю лестницу, и знал, что студенту хочется, чтоб и Санька сделал умное лицо и важно промямлил бы что-нибудь, как будто вспоминая. Можно было бы и врать, лишь бы слышали кругом те, что сновали по лестнице. На них студент недовольно косился — сквозь пенсне.

— Толкутся тут.

Саньке было противно. Скажите, приват-доцент какой! Но все это было где-то и шло стороной, а в глазах мельтешили цифры, карандашные записи.

И вдруг Санька крикнул ему в наморщенные брови:

— А из двенадцати семь? Семь из двенадцати? Пять, а вовсе не шесть.

И Санька опрометью бросился прочь.

Ну, теперь другое же дело: девяносто девять и шесть! Санька помнил, что не положил пинцета в коробочку с разновесом. Он

побежал в весовую. Укоризненно глянули весы. Санька истово запрятал пинцет, поставил коробочку. В дверях он повернул назад и поправил коробочку. Санька гордо посмотрел на позеленевшие пуговки своей тужурки: эти зеленые от сероводорода пуговки говорили, что он химик. Саньке захотелось пойти к старичку, к профессору. «Свинство какое, — думал Санька, — тряхнул я ему головой, как бука какая. Приду и спрошу... ну, что-нибудь по делу. Можно ли титровать? Нет, не титровать, а что-нибудь». Санька почти бежал по паркетному коридору в конец, к профессорской лаборатории.

Старик в холщовом халате стоял перед стеклянным вытяжным шкафом. Пробирки и колбочки в аккуратном порядке стояли на столике, покрытом фильтровальной бумагой. Чистая, чинная посуда важно поблескивала. В воздухе стоял тонкий невнятный химический запах.

Санька влетел и стал на пороге.

Старик что-то кипятил в шкафу и, не отрываясь, приветливо закивал Саньке. Санька краснел и улыбался, он придерживал еще ручку двери:

— Скажите, Василий Васильевич... из двенадцати... то есть... девяносто девять и шесть хорошо?

— Если процентов, — смеялся профессор, глядя в шкаф, — то...

Но Санька, до ушей красный, уж дернул ручку.

Шинель он надевал, насвистывая, и все улыбался и, краснея, вспомнил старика.

«Но, черт возьми, дело сделано, — и Санька чувствовал, что можно побаловать себя. — Чего бы? Закатиться куда-нибудь. Заслужил».

Именинником вышел Санька на мелкий дождик, на слякоть. Прохожие шли, глядя под ноги, злой походкой, как в изгнание. Санька скакал через лужи, нарочно выбирал большие.

Кафешантанный зал горел огнями, зеркалами. Огни играли на графинчиках, бокалах, ножах, на мельхиоровых мисках, в ушах, на запонках, на лысинах, на офицерских погонах. Море светлых зайчиков зарябило у Саньки в глазах. И дух стеснился от удовольствия, от ожидания. Он был в тужурке с зелеными пуговицами; она сейчас была ему дорога, как гусару простреленная фуражка.

Алешка Подгорный все в том же сюртуке: он не был еще дома, он вторую неделю «нырял» — ночевал по чужим квартирам.

Чистый столик, старательно оттопырилась по углам крахмальная скатерть. Алешка с высокого роста сразу нацелился и стал протискиваться среди публики. Гомон и звяканье посуды и какой-то возбужденный гул стояли над головами людей. Этот гул вошел в Саньку, и, когда оркестр грянул с треском и звоном марш, что-то защемило глубоко у Саньки в груди, больной и сладкой нотой запело. И поверх звона и барабанного треска плавал голос скрипки. Женский, просящий.

— Забубенная музыка, — сказал Алешка и навалился на стол, подпер руками голову, — под такую, верно, музыку и пропил папаша-то мой казенные деньги.

Официант пробирался мимо, балансировал, как жонглер, блестящим подносом с бутылками, мисками, бокалами; в другой руке между пальцев он сжимал графинчик и с полдюжины рюмок. Он извивался между стульев и вихлял, раскачивал поднос с посудой как будто только для того, чтобы похвастать искусством.

Санька на ходу заказал ему майонез и графинчик водки, и лакей кивнул головой в ответ и вертнул подносом.

Санька налил из потного графинчика себе и Алешке, и вдруг стало радостно и уютно, будто это их дом, и в этом доме они поедут куда-то и что-то там по дороге увидят.

— Понимаешь, — говорил Санька, — считаю — сто два и три. Что за черт, думаю?

Алешка задумчиво кивал головой и улыбался музыке.

— Да что я, весить не умею? — продолжал Санька. Он не спеша рассказывал: — Раз, два, десять раз считаю — сто два и три! — и Санька сиял. Ему хотелось рассказывать приятное, и он видел, что сквозь музыку слушает Алешка эти сто два и три и ласково и грустно улыбается.

Музыка грянула последний аккорд, и стали слышны голоса и нестройный крик, каким говорят, чтоб перекричать оркестр. Сбоку у занавеса высунулась доска с цифрой. Четыре. Санька глянул в программку:

«4. La belle Эмилия, звезда Берлина и Мюнхена».

Капельмейстер сверкнул в воздухе белой манжетой, и труба заиграла военный сигнал — с места резанула медным голосом, как веселый приказ. Все повернулись к сцене. Оркестр лихо подхватил сигнал и бодро запрыгал мотив кавалерийской рыси — весело, избочась.

Занавес рывком дернулся вверх, и, вихляясь под музыку, вышла из-за кулис высокая немка. Она слегка поворачивалась

на каждом шагу. Толстые ноги обтянуты белыми рейтузами, на лакированных ботфортах огромные шпоры. Пунцовая венгерка с желтыми шнурками шаром выпячивалась на груди. Уланка заломлена набекрень, в глазу блестел монокль, хлыстиком la belle Эмилия размахивала в такт музыке.

Немка щелкнула шпорами и взяла под козырек. Она улыбалась толстой, накрашенной физиономией — самодовольно и задорно.

Санька слышал отдельные иностранные выкрики под веселый мотив. Вдруг музыка сделала паузу. Эмилия пригнула колени и закричала всем своим испитым голосом:

— Kaval-ler-r-ri-ist!

Дзяв! — лязгнули тарелки. И оркестр понес дальше, а Эмилия маршировала по сцене, поводя тазом под музыку.

И снова выкрики, пауза, — и:

— Kaval-ler-r-ri-ist!

Дзяв!

Рядом за столиком сидели двое. Военный чиновник с узкими погонами и красным воротником прихлебывал маленькими глоточками вино, мигал и глядел на сцену, будто что-то считал или примеривал. И его серое лицо с серой бородкой торчало над ярким воротником, как будто не от него голова, а с другого. Его сосед, толстый, с мясистой угреватой рожей, обгладывал куриные кости, обсасывал, и толстые, мясистые губы обхватывали, присасывались, как красные щупальцы. На золотом перстне блестящей бородавкой топорщился топаз. Черными мокрыми глазами толстяк то зыркал на сцену, то щурился куда-то в проход. Вдруг он закивал головой, помахал в воздухе салфеткой и, наскоро скусив хрящик, вытер жирные губы. Санька глянул, куда кивал толстяк.

Худенькая женщина, в черном обтянутом платье, меленькими шажками шла между столов и спин, — она придерживала подол платья и щепетильно пронизывалась в толчее, никого не задевая. Тонкий султан на шляпе грациозно раскачивался, тростинкой гнулась и маленькая женщина. Толстый господин еще раз вытер красные губы и схватил ее руку. Она смеялась мелким смехом, вздрагивала худенькими плечами; толстый сдирал с ее маленькой узкой руки перчатку, сдирал жадно, как будто раздевал и спешил. А она смеялась смешком и пожималась, как на холоду. Толстый наполовину содрал перчатку и впился, всосался губами в ладонь, — и Саньке стало страшно, вспом-

нились куриные косточки. Чиновник все так же прихлебывал из стакана, подняв брови, будто стараясь что-то вспомнить.

Но в это время оркестр заиграл вальс, на сцене уже торчала из кулисы доска: «№ 2». И Санька прочел Алешке: «Зинина-Мирская, известная русская каскадная певица». И вот, в открытом платье с блестками, в юбке тюльпаном — в обычном костюме шансонетки, который носят, как форму, вышла не в такт музыке бледная женщина: она была набелена, и яркий румянец горел на щеке, как рана. Но зал загремел, затопал ей навстречу. Оркестр на минуту стал.

— Мирская, «Машинку»! — орал кто-то. — «Ма-шин-ку-у»!

Мирская, высоко поднимая голые локти, поправила лямки декольте и злобно глянула черными глазами на публику. Она была высокого роста и ловко сложена. Она стояла просто, и казалось — сейчас начнет ругаться, и вдруг улыбнулась, улыбнулась глупо, беззаботно и счастливо, — видно было, что она была пьяна. Она была в том хмелю, когда видят только суть вещей и не видят предметов.

Капельмейстер махнул палочкой, осторожно, вкрадчиво скрипки запели вальс, и Мирская, раскачиваясь в такт, запела — запела на всю залу глубоким, грудным голосом; она вздыхала, переводила дух, она ходила, приплясывая, по сцене, и от этого было грустней, — она в пьяном забвении останавливалась, и снова ее толкала музыка вперед. Она подходила все ближе и ближе к рампе, и Санька не мог отвести глаз от ее ярко освещенных ног в розовых блестящих чулках.

«Пусть цветы мои, — пела Мирская, — нежный аромат, о любви моей вам твердят».

И Саньке вдруг так захотелось, чтоб именно его она любила и так грустно, истомно ему пела эта вот женщина, на которую все смотрят сейчас, а она ни на кого, и ходит, как у себя в комнате. Алешка грустными глазами смотрел на сцену и резко опрокинул над рюмкой пустой графинчик.

Вдруг что-то хлопнуло: Мирская ткнула ногой, разбила лампочку в рампе. Она оборвала пенье и смотрела, подняв брови, себе под ноги. Потом нахмурилась, плюнула и пошла за кулисы.

Зал аплодировал, выл, где-то уронили посуду, и она зазвенела — два официанта заботливо ныряли там около столика.

Но занавес уже упал, оркестр играл другое, — его едва было слышно сквозь шум, — шел № 8.

Француженка, одетая желтой Коломбиной, с наивным лицом пела неприличные двусмыслицы, мило коверкая русские слова.

Санька с Алешкой спросили сосисок и второй графин. Они оба уж не могли его дождаться. Особенно Санька — он уже ехал, нужно было дальше, скорей и скорей. И скорость была в графине.

Саньке хотелось приютить тоненькую женщину, что сидела за соседним столом, вырвать ее от толстого, и хотелось томительной и отчаянной любви Мирской; мечталось, чтоб она прижалась к нему щекой, обхватила больно за шею и покачивала в такт вальсу, и тогда все, все готов отдать Санька, и все трын-трава, и пусть сейчас отовсюду напирает самое жуткое, а ему будет все равно, и пусть умрут так.

У Коломбины были такие изящные тонкие ручки, она так ими по-детски вертела, что Санька думал: «Хорошо, чтоб такая прыгала в комнате, а когда кто придет — убирать в шкаф, и никто знать не будет, а он будет чувствовать, что она там сидит, а как уйдут, он ее выпустит, и она снова запрыгает».

Массивная дама в огромной шляпе с длинным страусовым пером ломилась среди столиков. Санька едва узнал la belle Эмилию.

И вдруг все оглянулись назад, — Алешка подтолкнул Саньку:

— Гляди — Мирская!

Мирская шла в атласном пунцовом платье, окном белел квадрат декольте, на щеках уж не было румянца, черные брови, крашеные губы и алая роза в черных волосах. Пристальные глаза смотрели вперед, она не видела, как ей подставляли стулья у столиков. Санька смотрел во все глаза. И вдруг Мирская повернулась к нему и уперлась черным пьяным взглядом. Не останавливаясь, свернула она к студентам, взяла стул от соседнего столика и села рядом с Санькой. Алешка посторонился, Санька смотрел, не говоря ни слова.

— Не бойся, — сказала Мирская и стукнула костяным веером по столу, — не разорю: спроси мне пива... больше ничего. — И сама крикнула на весь зал: — Григорий! Дай сюда пива.

— Ты хлопай этому, — ткнула Мирская Алешку, — он хороший человек. — На сцене жонглер ловил зажженные лампы.

— Какую сволочь стали подавать, — сказала Мирская, отхлебнув пива, — попробуй. — И она протянула Саньке бокал, намеченный с краю красной губной помадой.

Санька отхлебнул вместе с помадой — ему думалось: «ее помада».

— Брось! — крикнула Мирская и ударила Саньку по руке, — бокал упал и разлился на скатерть. — Черт с ним, другой спросим, — говорила Мирская. — Чего вы, дураки, одни сидели? А? Меня ждали? Да?

— Ждал, — сказал Санька.

Мирская пьяно покачала головой. Она силилась разглядеть Саньку сквозь муть хмеля.

Алешка пристально глядел на соседний столик. Маленькая женщина не смеялась, она сидела надувшись и глядела в сторону, запрокинув назад голову; толстяк сидел уже спиной к Саньке; он ворочался, толкал Мирскую; он наваливался сверху на худенькую девицу и что-то говорил ей в ухо, а она отмахивалась сложенной перчаткой, как от овода, от осы.

— Брось! — сказала Мирская и толкнула толстого. — Как тебя зовут? — обратилась она к Саньке. — Саня, спроси сифон зельтерской. Скорей!

Санька застучал ножом. В зале официанты метались с посудой, дым от папирос затуманил воздух, общий гул рычал уж напряженной, пьяной нотой, уже все катилось, ехало полным ходом и звенело на ходу.

Мирская выхватила сифон из рук официанта и, обернувшись на стуле, ударила шипящей струей в жирный затылок соседу.

Толстый вскочил, закрывая руками шею, отскочила девица, чиновник попятился на стуле.

— Сволочь! — орала истерическим голосом Мирская. Чиновник мигал — не знал, смеяться или кричать. — Тоже сволочь! — крикнула Мирская и пустила струю чиновнику в лицо. — Сволочи, сволочи! — кричала Мирская.

Люди поднимались с мест, смотрели на скандал, радостно, с ожиданием. Официанты спешили, пробивались меж столов.

Алешка встал и схватил Мирскую за руку. Она как будто обрадовалась борьбе — подвывала, вырывала руку с сифоном, и вода фыркала и брызгала в соседей.

— Уймите пьяную бабу, что за игрушки! — рявкнул солидный бас. Где-то хлопали в ладоши. Мирская выронила сифон и повалилась на стул.

Официант что-то серьезно шептал ей в ухо. Мирская отмахивалась и болтала брильянтовыми сережками.

— В отдельный кабинет, господа студенты; неудобно так, знаете... — назидал официант.

— Позвольте, это ж безобразие, — офицер подступал к Саньке. — Па-аслуш-те. Вы отвечаете за вашу даму. Отввечаете? — Он был пьян и красными выпученными глазами смотрел на Саньку, моргая бровями.

— Мне нельзя в скандал лезть, понимаешь? — шепнул Алешка на ухо Саньке.

Вдруг Мирская поднялась со стула.

— Офицюрус, молчи! Молчи, Ленька! Оставь! Знаешь? — и она закачала пальцем в воздухе. — Идем ко мне! — Она взяла Саньку под руку. И, заметив задержку, самую неуловимую заминку (Санька потом долго это вспоминал), Мирская крикнула: — Ну, проводи, что ли, — она дернула Саньку вперед. Они под руку пошли через зал. Офицер попятился к своему столу. Алешка остался расплачиваться по счету.

— Ты не студент, ты дурак, — говорила Мирская в самое ухо Саньке, жарко дышала ртом, — и офицюрус дурак, а те... те сволочи... Сволочи! — крикнула Мирская так, что соседи оглянулись.

Мирская жила тут же в гостинице, и тут в вестибюле ждала ее компаньонка, в ковровой шали, со злым напудренным лицом, с мушкой на щеке. Мирская остановилась в полутемном вестибюле, положила обе руки Саньке на плечи. Она раскачивала его и смотрела ему прямо в глаза пьяными, пристальными зрачками.

Санька насильно улыбался, он не знал, что делать со своим лицом, и все больше и больше робел, но глядел, не отрываясь, как входил, пробивался в него взгляд пьяной женщины, а Мирская рвалась глазами дальше, до дна. И Санька вдруг почувствовал, как укол, — дошла, и в тот же момент Мирская сильно толкнула его, так что он едва не опрокинулся назад.

— Иди!

Компаньонка зло резанула глазами по Саньке и повела хозяйку по ковру лестницы.

Мозуоли

САНЬКА выбежал из вестибюля — красный, ужаленный. Спешил скорей к Алешке. Официант сгружал посуду на поднос. Алешка поднялся навстречу Саньке.

— Идем, идем, — говорил Алешка, — или лучше я один пойду. Тут ведь шпиков тоже насажено. Здесь, понимаешь, не тронут, а дорогой. Ты иди...

— Нет, нет, вместе непременно. Ни за что, Алешенька, — говорил Санька, с жаром, с болью, чуть не плача.

Алешка сверху глянул на него заботливо.

— Ну, пошли, пошли. У тебя есть на извозчика?

На улице уже дернуло первым морозцем, и лужи трещали и булькали под ногами. У Саньки было в кармане двадцать рублей — те, что он отложил: долг портному. Но теперь было важней всего забыть, залить рану.

— Гони прямо, — сказал он лихачу — одни лихачи и стояли глянцевым рядом вдоль освещенной панели.

Гордо зацокали подковы по мерзлым камням. Алешка оглядывался. Санька ерзал и жался к Подгорному.

— Сколько времени?

Было всего половина одиннадцатого.

— Куда-нибудь, куда хочешь, только бы выпить, выпить скорей, — просил Санька и ежился на морозном ветру, прятался за толстый зад кучера, он шаром вздувался перед носом седоков.

Они свернули в людную улицу, и Алешка дернул кучера за пояс:

— Стой!

Санька сунул трешку. Подгорный быстро шагал.

— Сейчас, сейчас. — Он рядил простого ваньку, — Санька не знал таких улиц.

На извозчике, под треск колес, Санька говорил:

— Положила руки и качает, и глядит, понимаешь, так глядит, дрянь...

Алешка кивал головой. Он не все слышал, но не переспрашивал.

— Нет... Хорошая баба, — говорил Санька, ободрившись.

— Да знаешь ты: заведись скандал с полицией, с околоточными, меня, брат, в участке б и оставили, — сказал Подгорный в ухо Саньке. — А не это, можно лихо было б этого офицюруса разыграть. Я ведь, знаешь, не отстану, раз уж такое дело...

— Да черт с ним... Не офицер меня... Э, все равно. Куда мы? Скорей бы!

Алешка привел Саньку в «Слон». «Слон» торговал до двенадцати. Была суббота, и не только в пьяном низу, но и во втором этаже было полно народа. Слободка пропивала получку.

Около тихой «музыки» сидело двое почтовых чиновников, и один, маленький и бледный, сидя на стуле, прислонился ухом к ее полированной стенке. Он обнял угол руками и, закрыв гла-

за, слушал. За шумом не слышно было тихих капель «музыки», и казалось — нелепо спит чиновничек, обнявши деревянный шкаф. Кудлатый дядя бил себя в грудь и в чем-то божился своему соседу, а тот тянул из кружки пиво и смеялся, глядя вбок.

Но и за другими столами шел всюду жаркий, до пота, разговор, спор, будто кто-то всем задал задачу, крепкую, путаную, и всякий наперебой тужился высказать, вытрясти наружу ее томящий смысл. Мелькали руки, кулаки стучали по столу — утверждали, требовали, и с треском стреляли по соседству бильярды, как беспокойная пальба.

Алешка огляделся. Ни одного свободного столика. Но он был тут свой и сразу нашел два пустых места у стола. За этим столом сидел солидный рабочий, в усах и с бородкой клинышком. Из-под пиджака выглядывала синяя рубаха с отложным воротником, со шнурочком-галстуком. Он сидел один и пил пиво не спеша.

— Можно присесть? — спросил Алешка.

Рабочий с усмешкой глянул, секунду повременил и сказал с расстановкой:

— Покамест присядьте, тут двое еще в бильярдной, — он кивнул на дверь, — а придут...

— Ладно, мы пустим, — сказал Санька.

— Да уж придется, — рабочий снова усмехнулся и округлым жестом поднес кружку ко рту.

Саньке хотелось скорей войти в тот хмель, от которого он ждал, что разрешится боль, — как будто Мирская задрала кусок живой кожи и теперь надо или отодрать его прочь, или приклеить на место. Он жадно глотал пиво, как будто он бегом за версту прибежал сюда, в этот кабак. Рабочий поглядывал насмешливо; он был широкий, с широким лицом, и Саньке даже казалось, что он покачивается от напряженной важности. Санька допивал наспех третью бутылку. Алешка пошел потолкаться в бильярдную, и Санька остался один на один с рабочим. Саньку стало раздражать — с чего это такое презрительное величие: глядит иронически и молчит. Санька поглядел, куда б пересесть. Но сейчас же спохватился: «Ни за что! Подумает, что не выдержал, удрал. Надо спокойно. Спрошу что-нибудь. Просто».

У Саньки мутилось в душе от хмеля, от обиды. Он, глядя рабочему в глаза, сказал:

— Вы на заводе работаете?

— Да, работаем, — сказал, не спеша, рабочий, — не баклуши бьем.

— А кто же баклуши бьет? — Санька нагнулся через стол.

— А те, кто не работает, — с расстановочкой ответил рабочий и солидно чмокнул из кружки пиво. Он все насмешливо глядел Саньке в глаза. Глаза говорили: «Эх, вы, свистунчики!»

— По-вашему, студенты не работают? — спешил Санька. — Нет? Иной студент бедней вашего. По урокам весь день легко, думаете, зарабатывать... и учиться?

— Как мы учились, так одни подзатыльники и зарабатывали, — и он назидательно помотал головой, — вот-с как! Три рубля зря не дадут. Мозуоли. — И рабочий сунул через стол обе ладони к самому носу Саньки. Он подержал их так с минуту.

— Студент тоже, — начал Санька — ...вы ведь не знаете...

В это время подошел молодой с кием в руке. Он налил себе в стакан пива и залпом выпил.

— Да-с, мозуоли, — сунул снова ладонь рабочий Саньке.

— Ты что, — спросил что был с кием, — форсишь или плачешься? Они тебе все одно не пособят. — Он налил еще стакан. — Дай ты мне еще двугривенный — продулся, понимаешь? Да дай, что тебе — жалко? Я ж тебе в получку отдам... сколько за мной? Шесть гривен?

Но солидный глядел в стол и мотал головой.

— Черт с тобой, — сказал игрок. — На кий, не играю, — он передал кий, и какая-то рука схватила, унесла. Он стал переворачивать себе в стакан остатки из бутылок.

Санька долил из своей.

— Чего ты человеку мозолями тыкал? — заговорил игрок. — Студент только и есть, кто за нашего брата. Тоже высылают, не надо лучше.

— Тебе пива налили, ты и пошел заливать, — сказал солидный.

— Да плевал я на все и на тебя вместе.

Он допил стакан и сорвался к бильярду. Алешка не шел, и Санька не мог сидеть один с этим человеком, — он опять стал с усмешкой нажимать на Саньку глазами. Санька не мог собрать в себе сил, он не знал — заплакать ему или ударить бутылкой по голове этого человека. Санька вскочил, чтобы идти в бильярдную.

— А за пиво ваше мне, что ли, платить? Бутылки подкинут и гайда! — сказал рабочий. — Маменькины сынки!

У Саньки уж были слезы на глазах; он, что было силы, стучал о стол, звал полового.

Санька втиснулся в бильярдную. Народ густо стоял вокруг игры, гудели, подкрикивали шарам:

— А ну-ну. Ну, еще! Ах, черт! Ну, что скажешь?

Игрок прицеливался в рискованный шар, все на секунду стихали, мерили глазами ход, шар с треском бил в лузу. — и опять гам.

— Так его! Теперь туза, туза режь.

— Не учи!

Санька искал Алешкину шинель. Алешка в углу, в табачном дыму, еле был виден за толпой. Он горячо говорил с каким-то рабочим в черной тужурке. Рабочий смотрел вниз, улыбался весело и лукаво и одобрительно тряс головой — круглой, стриженой. Алешка ткнул рабочего в плечо и протиснулся к Саньке:

— Идем, идем, сейчас пойдем, — встревоженно-заботливо сказал Алешка.

— Выпить, выпить бы... совсем, — со злой болью сказал Санька; он обиженно, хмуро глядел вокруг.

Алешка кивнул рабочему, который не сводил с него глаз, взял Саньку под руку и потащил вниз. На лестнице рабочий догнал их.

— Знакомься — Карнаух, — сказал Алешка.

Карнаух дружески улыбнулся Саньке, и улыбнулся весело, глянул живыми, умными глазами, будто хотел сказать: «Вот сейчас штуку отдерем, никто не знает, мы одни».

— Выпить хотите? Насовсем? Простое дело: у стойки сотку столбыхнуть, пятак всего, а вино на пиво — диво.

Он распахнул дверь вниз. Внизу стоял такой густой рев, что Саньке показалось, что не пробраться через это орево, будто забит весь воздух криком, и больше места нет. Тут были все в поту, в жару, красные, все орали хриплыми голосами, чтоб расслышать друг друга. Кто-то схватил Саньку за шинель и кричал:

— Нет, пусть студент вот скажет, справедливо это или нет. Господин студент! — Пьяный встал, качнулся, сосед толкнул его на стул.

В конце трактира сквозь дым и пар было видно, как человек стоял во весь рост — взлохмаченный. Размахивал шапкой, разевал рот — песни не было слышно за стеной крика.

Карнаух впереди пробивал путь к стойке, и, когда Санька дотянулся до мокрой скатерти с объедками огурцов и колбасы, там уж стоял бокал с водкой — «большая», как звалась эта мерка в трактире.

— Вали и пошли, — сказал Карнаух.

Он следил, как Санька неумело, глотками, пил водку, будто лимонад.

— Огурца пососите, — ткнул пальцем Карнаух. Но Саньке было противно лезть в эту тарелку, где грязными кружочками были навалены резаные соленые огурцы.

У дверей саженного роста швейцар, в пиджаке и фуражке с темным галуном, стоял, лениво прислонясь к притолоке, и сплевывал на пол семечки.

На улице показалось тихо, как в могиле, даже уши тишиной заложило, а свежий воздух холодной водой какой-то чудился Саньке. Алешка вел его под руку и о чем-то говорил вполголоса с Карнаухом. Хмель грузно наседал на Саньку, подкашивал ему ноги. Он уж начинал спотыкаться, и Карнаух взял Саньку с другой стороны.

— Мозу-оли! — вдруг выдыхал Санька слово. — А если у меня... Алеша, пусти руку.

Санька растопыривал пятерню и, выпячивая губы, выводил голосом:

— Мозу-оли!.. Сволочь какая!

— Да ты не ори, — смеялся Карнаух, — мозуоля! Наступил ему кто?

Они с Алешкой вели Саньку по темным слободским улицам. Санька спотыкался о мерзлые комья грязи. Его то бросало вперед, как будто он бежал с крутой горы, то вдруг откидывало назад, и он останавливался. Первый раз он был пьян совсем.

Потом за какой-то порог зацепился Санька, чуть не упал — очень не хотелось вставать. Повис на чьих-то руках. Больно и тошно вонзилась лампа в глаза. Санька сел — черт его знает, что оно под ним было, но мутно голову клонило куда-то в омут, и вот понеслось и закружилось в голове. Санька сжал глаза, съежился, поджался, чтоб как-нибудь укрепиться в этом вихре, и коснеющей рукой поднял ворот шинели, — его трясло от холода мелкой, тошной дрожью. И захотелось согреться, прижаться, и до слез стало жалко себя — как собака в осенний дождь в холодной грязи. И вдруг почудилось, как жарко в ухо говорит женский голос, и где-то внутри тепло запело:

Пусть цветы мои,
Нежный аромат.

И так захотелось прижаться к теплому и чтоб кто-нибудь согрел и пожалел. Но все это острой секундой промахнуло в груди, и Санька провалился в хмельные потемки.

Сквозь муть, сквозь обрывок сна белой полосой прошло сознание, холодное, прозрачное, как утренняя вода. Санька, не открывая глаз, слушал, как осторожно звякала посуда и глухо говорили жующие голоса. Но думать было больно и тошно: все равно, там увижу, что. И Санька перестал напрягать внимание, и как теплой водой его залил сон.

Наконец Санька открыл глаза. Прямо перед ним на грязных обоях весело и уверенно жило солнечное пятно. Казалось, шевелилась и дымилась мохнатая бумага. Санька, не двигаясь, глядел на живые разводы и пятна и слышал густой, ровный голос колокола, далеко за окном.

Звякнула щеколда, и незнакомый голос осторожно спросил:

— Что, все спит?

— Полным ходом заваливает.

«Где это я?» — подумал Санька. Без страха подумал, с тягучим интересом, и пошевелился.

— Да не! Валите, спите, — услыхал он над собой.

Санька поднял больную голову и огляделся. Совершенно незнакомая комнатка, и совершенно незнакомые люди. Санька растерянно спешил сообразить, как он сюда попал. Он смотрел то на молодого в чистой белой рубашке в полоску, то на другого постарше, что снимал пальто и живыми заигрывающими глазами глядел, теребил Саньку.

— Скажите, вы не знаете, где это я? — сказал Санька и сел на кровать в своей шинели с поднятым воротником.

Оба человека рассмеялись. Молодой парнишка гоготал в голос.

Санька мотал головой, голова трещала, и тошная муть поднималась изнутри.

— Голова? — спросил участливо старший. — Враз поправим. А мозоля не болит? — И он засмеялся.

Как в открытое окно, сразу глянул на Саньку «Слон», гомон и звон.

— А Алешка?

— Алексей ушли, — сказал молодой парень и переглянулся со старшим.

Но старший рылся уж в карманах пальто, лазил по кармашкам тужурки, брякал медяками.

— Сейчас поправим.

— У меня деньги есть, — сказал Санька через силу и полез в тужурку.

— Не надо, зачем? Новое дело. Мы сейчас!

— Сорок семь... Полтинник надо. Да говорю — не поверит она, — слышал Санька, как сговаривались хозяева.

— Ну, давайте три копейки, коли есть, и квит.

Санька хотел достать и рассыпал по полу мелочь.

Молодой сорвал со стены шапку и выбежал.

— Сейчас я чайник поставлю, — сказал старший и выскочил следом, бренча жестяной крышкой. Санька снова повалился на кровать.

Червяк и машинка

САНЬКА сидел за столом, против окна, на солнце. Он ежился в шинели внакидку. Дмитрий Карнаух сидел в углу, наливал чай. Солнце просквозило золотую струю, и пар, переваливаясь, не спеша крутясь, поднимался в луче.

Полбутылки водки и толстая граненая рюмка стояли перед Санькой. Ему тепло было смотреть на чай, а Карнаух кивал на бутылку:

— А вы вторую! Ни черта, что не лезет, а вы ее нахально. Ей-богу, налей! — крикнул он парнишке. Санька, содрогаясь, выпил вторую, он никогда не опохмелялся.

— Да, да, — говорил Карнаух, подставляя Саньке стакан, — нарядили мы его в твинчик, поверх надели дипломат, вроде бушлатика, я ему брюки свои дал, шапку-невидимку, и стал наш Алешенька вроде кузнеца Вавила, — и Карнаух загоготал, — смех, ей-богу! Паспортина железный. Он мне в «Слоне» говорит: «Полет надо делать». Я ему говорю: «Вались ко мне и утром шагай до Ивановки», там на машину и понес. Там люди есть.

Санька держал стакан чаю, жег и грел руки.

— Фартовый, — сказал парнишка, дуя в блюдце. — А вы вместе учитесь?

— Да! А стойте, — вдруг живо сказал Карнаух и лукавой искрой бросил на Саньку, — вот-вот. Я про червяка.

— Да ты брось, — сказал паренек, — у человека голова болит, а ты с червяком своим! — И подсунул свою чашку Карнауху.

— Да чего, пускай они пьют, а я буду рассказывать, — Карнаух наслонился на стол. — Вот червяк, — он вытянул указательный палец, — и этого червяка я в землю. — Карнаух накрыл палец другой рукой, крепко прижал ладонью к скатерти. — И вот ему ползти. А, что ты скажешь?

— Да брось ты, пристал! Налей чаю-то!

— Сам наливай, — бросил Карнаух, не обернувшись; он в самые глаза глядел Саньке. — И вот сзади тебя земля, спереди земля, с боку, с другого. А ему ползти. Кабы в запасе был кусок пустопорожнего места, так он бы сейчас землю туда бы пересовал и сверлил бы ход вперед. А? А ежели вот вплотную, — и Карнаух прижал со всей силы палец, так что скрипнул стол. — Поползет он? Нет? — И он щекотал Саньку своими живыми зрачками.

— Должен поползти... — сказал Санька, помедля.

— Должен! — крикнул Карнаух. Он вскочил со стула. — А если я тебя в кирпичную стенку замурую и должен ты ползти, — куда ты, к черту, сунешься? Ха!

Карнаух весело и задорно глядел на Саньку.

— Замуруют тебя, погоди, — бормотал парнишка, тянулся за чайником.

— А он ползет, стервец. Ползет, как прожигает. Я опробовал. — Карнаух сел. — Выбрал я такой, сказать, ящик, — он огородил на скатерти руками четырехугольное место. — Земли туда натрамбовал, поймал червяка, туда его, сверху опять землей. Намочил, нагородил три кирпича. — Карнаух показал над столом рукой. — Дал ему сутки сроку, — пусть, как хочет.

— А он, скажи, у меня и подох наутро, — ворчал парень.

— Ну, скажите, прохвост! Уполз ведь в самый угол, — еле сыскал, — в самый, что есть, низ прокопался. Жрет он эту землю? Черт ведь его знает. Вот вы скажите, — знаете, как это он? А?

— Понемногу, расталкивает кусочки... — начал Санька.

— Да нате вам червяка, — Карнаух заерзал на стуле, огляделся, нет ли где, — возьмите вы его, растолкайте-ка червяком, не то землю, а вот хлеб, сказать, этот. Он же тля-мля, вроде ничего — кисель. А вот, гляди! — Карнаух весь засветился. — А вы говорите тля-мля, вот и тля!

— Не знаю, — сказал Санька, глядя как в блюдечке, в чае, жмурится солнце, — не знаю, не читал как будто про это. Наверно, есть где-нибудь в книгах.

— А самая лучшая книга, — вскочил Карнаух, — во! — Он повернулся к полке и достал толстый переплет, из которого торчали замусоленные углы страниц. — Во! — Карнаух хлопнул ладонью по книге. — Книга Верна. Уж верно, не верно, а что здорово, так да. Читали?

Санька открыл книгу и узнал знакомые картинки из «Капитана Немо» Жюля Верна.

— Вот бы такую штуку смастрячить. Набрать ребят — уж чтоб во! — Карнаух выставил кулак. — И пошел под воду. А?

— А там здорово набрехано? — заглядывал Карнаух Саньке в глаза, когда тот переворачивал страницы; милой и сердечной казалась ему эта книга на скатерти с синими линялыми кубиками. — Вот мне Алешка говорил, — продолжал Карнаух, — что вы там в лаборатории все. Да?

— Да, я химик, — сказал Санька, едва отрываясь от затасканных иллюстраций.

— Это что же?

— Да вот узнаем, что из чего состоит.

— Состав?

— Да, да, состав. Разлагаем.

— А вот лист — тоже можно знать, из чего составлен? — Карнаух сорвал листок герани с подоконника и расправил на скатерти перед Санькой.

— И лист тоже.

— Разложить?

— Да, разложить.

— В пух? А потом снова складть, чтоб обратно лист вышел? — Карнаух совсем зажегся и, запыхавшись, спрашивал Саньку.

— Нет, не можем.

— Вот что, — сказал упавшим голосом Карнаух и бросил лист на подоконник.

— Нет, некоторое можем. Вот можем запах сделать. Фиалковый или ландышевый, и никаких цветов за сто верст пусть не будет. Все в баночках, в скляночках.

— И настояще фиалками будет?

— В точности, — сказал Санька с удовольствием.

— Ах ты, черт! — Карнаух отвалился в угол на стул и с треском тер рука об руку. Он уж с благодарным восторгом глядел на Саньку. — И до листа дойдут. Дойдут. — Он стал искать лист на подоконнике. — А вот что я вам покажу...

— Я пойду, — сказал парнишка и встал. Он протянул Саньке руку, уважительно и крепко пожал. — Ты с ключом, Митька, не мудри, ну тебя к дьяволу, а положи просто под половик. Что у нас брать-то? А то сезам устроишь, хоть у соседей ночуй.

Карнаух рылся в крашеном шкафчике, что висел в углу на стенке. Наконец он вернулся к Саньке и поставил на стол машинку. Она была тонко и мелко сделана, отшлифованные части сияли на солнце. Санька с любопытством оглядывал машинку и чувствовал, как напряженно глядит из-за спины Карнаух.

— Что это, по-вашему? А? — спросил, наконец, Карнаух.

Санька молчал и заглядывал сквозь рычажки и колесики.

— Ну, а так? — Карнаух пальцем шевельнул в машинке, и она сделала движение. — Что? Не понимаете? Ну, ладно. Она не кончена. Как готова будет, позову смотреть. — Он бережно взял машинку и, любуясь дорогой, поставил в шкаф.

Солнце стало уходить со стола. Санька поднялся идти.

Он теперь оглядел всю комнату. Две узких кровати, стол, три стула, полка и висячий шкафчик, — Санька все уж тут знал. Он заметил на стене вырезанный из журнала портрет Пастера и рядом с ним голландской принцессы Вильгельмины.

— А красивая баба, — сказал Карнаух, — мухи уж только попортили, сменить пора, — и содрал Вильгельмину.

Карнаух проводил Саньку до конки.

— Уж слово дали, так буду ждать, — он до боли даванул Саньке руку.

Седьмая

ПО ПУСТОЙ, блестящей от дождя мостовой трясся на извозчике Башкин с городовым. Городовой сидел, съехав на крыло пролетки, оставив сиденье Башкину. Рукой он держался за задок и подпирал спину Башкина. От этой мокрой, твердой, деревянной шинели, от крепкой, как спинка, руки городового, от толстого красного шнурка, тяжелого, как железный прут, и от мокрых, как будто металлических, голенищ на Башкина вдруг пахнуло твердой силой, силой кирпичного угла. Первый раз Башкин был рядом с городовым и подумал с тоской, с почтительным страхом: «Вот они какие, городовые-то».

Извозчик методично и лениво подхлестывал клячу. Холодный дождь с ветром резал навстречу. Башкину стало холодно, и он калачиком засунул руки в рукава. Он не решался заговорить с городовым — нет, ни за что, такой не ответит.

Башкин не знал, как ему сидеть: то он наклонялся вперед, то отваливался на руку городового. Наконец он съежился и вобрал голову в плечи, поводя спиной от озноба.

— Ничего, недалече уж, сейчас приедем, — сказал городовой. — Погоняй, ты. — Городовой сморкнулся и подтер нос дубовым мокрым рукавом шинели.

Извозчик стал перед воротами большого дома.

— Пожалуйте, — сказал городовой.

Калитка отворилась им навстречу в железных воротах и резко хлопнула сзади.

— Прямо, прямо, — командовал сзади городовой, — теперь направо.

Башкин вошел. Каменная лестница вела вверх — обыкновенный черный ход большого дома. Два жандарма и какие-то хмурые штатские стояли внизу.

— Прямо, прямо веди, — сказал жандарм; он ткнул маленькими глазками Башкина. Городовой сзади слегка подталкивал Башкина в поясницу, чтоб он шел скорее. По коридору Башкина протолкал городовой до конца и тут открыл дверь.

В большой комнате с затоптанным полом стояли по стенам деревянные казенные диваны. За письменным столом сидел в очках толстый седой человек в полицейской форме, с бледным, отекшим лицом. Он едва глянул на Башкина и уперся в бумаги.

— Привез с Троицкой... — начал хрипло городовой.

— Обожди! — сказал полицейский в очках. Он переворачивал бумаги. Городовой вздохнул. Они с Башкиным стояли у дверей.

Двое штатских в пиджаках поверх косовороток стояли, заложив руки за спину, и деловито и недружелюбно щурились на Башкина.

— Башкин? — оторвался от бумаг полицейский и глянул поверх очков брезгливым взглядом.

У Башкина не нашлось сразу голоса.

— Ба-башкин, — сказал он, сбиваясь, хрипло, невнятно.

— Бабушкин? — крикнул через комнату полицейский. — Не слыхать. Подойди!

Башкин зашагал.

— Я в калошах, ничего?

— Подойдите сюда, — сказал полицейский, разглядев Башкина. — Так вы кто ж? Башкин или Бабушкин? Как вы себя называете?

— Моя фамилия Башкин. — Башкин снял, подержал и сейчас же опять надел шапку.

Полицейский макнул перо и стал что-то писать.

— Принял, иди, — сказал он городовому.

Городовой вышел.

И Башкин почувствовал, что теперь он стал совсем один, он даже оглянулся на дверь.

— Обыскать, — сказал полицейский.

Оба штатских подошли к Башкину.

— Разденьтесь, — говорил полицейский, не отрываясь от писания.

Башкин снял пальто, шапку, — их сейчас же взял один из штатских. Он вынимал, не спеша, все из карманов и клал на письменный стол перед полицейским: и хитрые старухины ключи, и грязный носовой платок, и билет от последнего концерта.

— Вы раздевайтесь! Совсем! — покрикивал полицейский, рассматривая ключи. — Все, все снимайте.

— Сюда идите, — сказал деловым, строгим голосом другой штатский и показал на деревянный диван.

Башкин покорно пошел. Он то бледнел, то кровь приливала к лицу. Он остался в белье.

— Ничего, я так посмотрю, — сказал штатский и твердыми тупыми тычками стал ощупывать Башкина.

— Я прочту, распишитесь, — сказал полицейский. — «Задержанный в ночь с 11 на 12 декабря у себя на квартире и назвавшийся Семеном Петровым Башкиным...»

— Я в самом деле Башкин, я не называюсь...

— А как же вы называетесь? — перебил полицейский.

Башкин стоял перед ним в белье, в носках, на заплеванном, затоптанном холодном полу, колени его подрагивали от волнения, от конфуза, он не знал, что отвечать.

— Ну! — крикнул полицейский. — Так не путайте, — и он продолжал читать: «При нем оказалось: носовой платок с меткой В...»

— Это французское Б! — сказал Башкин.

— Чего еще? — глянул поверх очков полицейский.

Штатские прощупывали швы и ворот на пиджаке и зло глянули на Башкина.

— «...И один рубль восемьдесят семь копеек денег». Подпишите! — И полицейский повернул бумагу, сунув Башкину ручку.

— Где? Где? — совался пером по бумаге Башкин.

Башкин оделся — он едва попадал петлями на пуговицы. Полицейский позвонил, и в дверь шагнул служитель в фуражке, с револьвером на поясе.

— В седьмую секретную! — кивнул глазами полицейский на Башкина.

Служитель отворил дверь, и Башкин, запахнувши пальто, — он отчаялся застегнуть, — зашагал впереди. Он плохо чувствовал пол под шаткими ногами. Он ослаб всем телом, и ему хотелось скорей лечь и закрыть глаза. Он шел, куда его подталкивал служитель, куда-то вниз, по подвальному коридору с редкими лампочками под потолком. Направо и налево были обыкновенные двери, с большими железными номерами, будто это были квартиры. Около седьмого номера служитель стал, быстро ключом открыл дверь и толкнул Башкина.

Здесь было почти темно, тусклая, грязная лампочка красным светом еле освещала камеру. Башкин повалился на койку с соломенным матрацем и закрыл глаза. Он натянул шапку на самый нос, чтоб ничего не видеть. Его било лихорадкой.

«Заснуть, заснуть бы», — думал Башкин. Он не мог заснуть. Он чувствовал все те места на теле, куда его тыкали при обыске, чувствовал так, как будто там остались вмятины.

«Пускай скорей, скорей делают со мной, что им надобно», — думал Башкин и сжимал веки. И мысль сжалась, замерла и где-то смутно, несмело копошилась. Он услышал ровные, скучные каблуки по каменному коридору, они становились слышней. Стали около его двери. Вот что-то скребнуло. Башкин еще крепче зажал глаза и вытянулся, задеревенел. Шаги не отходили, и Башкин, напрягшись в вытянутом положении, ждал. И вдруг ясно почувствовал, что на него глядят. Он не мог этого вынести, он сдвинул шапку с глаз и посмотрел.

В двери — круглое отверстие. Башкин глядел прямо туда, не отрываясь, и вдруг разглядел в этом круге прищуренный глаз с опущенной бровью. Глаз едко, будто целясь, глядел прямо в глаза Башкину. Башкин дрогнул спиной и не мог оторвать испуганного взгляда от круглой дырки. Глаз исчез, круглым очком мелькнула дыра, что-то скрипнуло, и заслонка снаружи

закрыла отверстие. А шаги снова лениво застучали дальше. Башкин понял вдруг, что это номера, железные номера на дверях прикрывают эти дыры, что каждую минуту глаз оттуда может посмотреть на него. Один глаз — без человека, без голоса. Это мучило. Мучило все больше и больше, взмывало обиду, завыло все внутри у Башкина, он сел на скамейку, он нагнулся к коленям и обхватил голову. Жест этот на секунду прижал боль, но Башкин глянул на кружок — увидят! Он вскочил, и притихшая боль заклокотала, забилась внутри.

«Как зверя, как мышь», — шептал Башкин сухими губами. Он вскочил, шагнул по камере, задел боком стол, вделанный в стену, ударился больно ногой о табурет. Подвальное окно высоко чернело квадратом под потолком, и противная вонь шла от бадьи в углу. Башкин стал шагать три шага от стены к двери, мимо стола, мимо койки.

И никто не знает, где он, и сам он не знал, где он. От волнения он не заметил дороги, по которой вез его городовой. Никто не знает, и с ним могут сделать, что хотят. Секретная! Который час, когда же утро? Он сунулся за часами. Часов не было — они остались на столе у чиновника. Он с обидой шарил по пустым, совсем пустым карманам. Лазал трясущимися, торопливыми руками. «С. и С.» — вспомнилось Башкину, но оно мелькнуло, как сторожевая будка в окне вагона, и мысль, хлябая, бежала обиженными ногами дальше, дальше.

«Что за глупость? — бормотал Башкин. — Ерунда, форменная, абсолютная, абсолютная же». Башкин притоптывал слабой ногой.

Но шаги за дверью снова остановились. Башкин с шумом повалился на матрац и натянул пальто на голову.

Башкин ждал утра, — он не мог спать, — мысль суетливо билась, рыскала, бросалась, и отдельные слова шептал Башкин под пальто:

— Назвался!.. Абсолютно, абсолютно же!.. Чушь!.. женским полом!.. дурак!.. — И он в тоске ерзал ногами по матрацу.

Застучали бойкие шаги, захлопали в коридоре двери, замки щелкают. Вот и к нему. Вот отперли, — Башкин разинутыми глазами смотрел на дверь. Вошли двое. Один поставил на стол большую кружку, накрытую ломтем черного хлеба, другой в фуражке и с револьвером у пояса, брякая ключами, подошел к Башкину. Он был широкий, невысокого роста. Сверх торчащих скул в щелках ходили черные глазки. Он ругательным

взглядом уставился на Башкина, поглядел с минуту и сказал полушепотом, — от этого полушепота Башкина повело всего, — сказал снизу в самое лицо:

— Ты стукни у меня разок хотя, — он большим ключом потряс у самого носа Башкина, и зазвякала в ответ вся связка, — стукни ты мне, сукин сын, разок в стенку, — я те стукну. Тут тебе не в тюрьме.

Башкин не мог отвечать, да и не понял сразу, что говорил ему надзиратель, а он уже пошел к дверям и с порога еще раз глянул на Башкина.

— То-то, брат!

Башкину было противно брать этот хлеб.

«Ничего, ничего от них брать не буду, ничего есть не стану — говорил Башкин, — и умру, умру от голода». Он снова повалился на койку.

Это было утро. Но свет — все тот же: мутный, красноватый свет от лампочки, которая гнойным прыщом торчала на грязном потолке. Окно было забито снаружи досками.

Кружевной рукав

СТАРИК Вавич до утра думал, думал все о том, как сын его Витя придет нахмуренный, — он знал, что Виктор злобился последнее время до того, что едва удерживался, чтоб не хлопать дверями, и шептал, чтоб не кричать, — и вот Витя чиркнет спичку — и вот письмо: «Виктору Всеволодовичу».

И старику чудилось, как дрогнет у сына сердце, и сын ночью, в тишине, прочтет письмо и... и, может быть, побежит к его двери и постучит. Всеволоду Иванычу раз даже показалось, что хлопнула калитка во дворе, и сердце забилось чаще. Под утро он заснул в кресле. Он долго не выходил из своей комнаты. Слышал, как Тая брякнула самовар на поднос в столовой. Тихо было в квартире, только слышно, как осторожно стукала посудой Тая. Наконец Всеволод Иваныч вышел. Он вышел, осунувшийся и побледневший, как после утомительной дороги.

Оп пил чай и не решался спросить у дочки, приходил ли Виктор. Торговка застучала в кухню, запела сиплым голосом:

— А вот огурчиков солененьких.

Тая стукнула чашкой в блюдце и бросилась в кухню. А Всеволод Иваныч зашлепал туфлями глянуть, не висит ли шинель

Виктора. Нет ее на вешалке, и он проворно заглянул к Виктору в дверь. Письмо лежало посередь стола аккуратно, прямо, как будто лежало для него, для Всеволода Иваныча: велел лежать, вот и лежу, хоть знаю, не к чему это. И Всеволод Иваныч понял, хоть и отмахивался, что письмо это не будет у Виктора. Он поспешил назад к своему стакану. Он запыхался от волнения, от спешки и старался это скрыть, когда вернулась Тая с огурцами.

После обеда он вздремнул. Проснулся — было уже темно.

— Таиса! — крикнул старик.

— Сейчас, — не сразу отозвалась Таинька. Она вбежала в темную комнату. В дверях Всеволод Иваныч успел заметить ее силуэт: Тайка была в своем выходном платье.

— Не приходил? — спросил Всеволод Иваныч.

— Нет, — сказала Тая, — не было его. Его не-бы-ло, — както манерно пропела Тая и попятилась к двери.

— Что за аллюры? — нахмурился Всеволод Иваныч, хотел крикнуть, вернуть дочь. Но вдруг показалось, что все права и всю правду из него вынули, и не может, нечем ему корить дочь.

Он слышал, как через минуту сбежала со ступеней Тая, как хлопнула калитка, и звякнула с разлета щеколдой.

«Пойти к ней, — подумал он о жене, — хоть поговорить так, о чем-нибудь, — нельзя ее тревожить. И мать больную бросила», — подумал он горько о Тае. Он тихонько поплелся к жене по пустым комнатам. Но в это время отчаянно залился пес у крыльца жадным, оскаленным лаем.

«На чужого», — схватился Всеволод Иваныч и бросился в кухню. Он открыл дверь в темноту, — тревога давила, спирала дух, он едва на минуту угомонил пса и услыхал из темноты:

— Заказное!

Всеволод Иваныч сбежал со ступенек, стукнулся в темноте прямо о почтальона, туфли липли, слетали в грязи. Всеволод Иваныч напялил очки, дрожали его руки, долго искал чернила, долго не мог понять, где надо расписаться, — почерком Виктора, четким, канцелярским, с писарским форсом, был написан адрес на письме, что лежало в разносной книге. Наконец Всеволод Иваныч справился. С двугривенным и книгой, под лай собачий, спустился он в липкую грязь к почтальону.

— Вот и... вот, — ловил он впотьмах руку почтальона, чтоб ткнуть книгу и двугривенный.

Всеволод Иваныч в столовой под лампой вскрыл письмо и не мог читать. Он утирал под очками глаза, бумага прыгала в

руке. Он положил ее на скатерть и стал разбирать: «Любезный папаша, — писал Виктор. — Я уезжаю и в этом моем письме прощаюсь с вами. Я спешно еду на службу, чтоб зарабатывать себе независимый хлеб. Мы с вами диаметрально не сходимся во мнениях. Но я надеюсь, моя попытка стать на самостоятельные ноги заслужит в будущем у вас уважение. Передайте мой глубочайший поклон маме. Я крепко ее целую, и пусть она, милая, не тревожится, скажите ей, что мне очень хорошо и что, как только смогу, приеду, ее поцелую сам. Пусть будет покойна.

С почтением В. Вавич».

«Нет, нет! Не образумил я его. Не сумел, не сумел, — шептал старик. — Отпугнул». Он глядел на это письмо, написанное острым почерком штабного писаря, и на «вы», и «независимый хлеб», и «диаметрально расходимся». Первый раз на бумаге. Как будто что в лоб ударило Всеволода Иваныча, — кто же это пишет? Это Витя, мой, наш Витя, Виктор. Как же он не видал, как упустил, не заметил, когда, как сделался тут в доме, под боком, на глазах — готовый человек, тот самый, из которых и делаются паспортисты, телеграфистики? Это ударило в лоб Всеволода Иваныча. Он сидел на стуле прямо, свесив плетьми руки, и глядел в стену неподвижными глазами. И на «вы» пишет, противно, как пишет зять лавочнику: «любезный папаша». Всеволод Иваныч перевел дух.

— Что там? — слабым голосом, через силу, окликнула больная из своей комнаты.

Всеволод Иваныч вздрогнул. Он встал и поспешно зашагал в мокрых носках к жене.

— Вот, милая, Витя письмо прислал, — выпалил Всеволод Иваныч. — На службу, на службу поехал. Спешно вызвали, понимаешь, место ему... не успел проститься. Место вышло, — приговаривал Всеволод Иваныч.

— Слава тебе, Христе! — вздохнула старуха. — Дай ему, Господи, — и она подняла левую руку и стала креститься.

Парализованная правая бледной тенью вытянулась поверх одеяла, белая, в белом рукаве кофточки, при мутном свете лампочки.

— Дай ему, Господи, — шептала больная, — дай Витеньке.

И Всеволод Иваныч вспомнил, как Виктор написал: «пусть она, милая, не тревожится». «Для нее нашлись слова, нашлось сердце», — залпом подумал старик.

Он стал целовать бледную старушечью руку с жаром раскаяния, как давно когда-то, после первой измены, он целовал руку жены, и шептал, задыхаясь:

— Велел Витя целовать... тебя... поцелуй, говорит, ее, милую... хорошенько, говорит... тысячу раз, говорит.

Старуха с трудом подняла левую руку, старалась ею поймать мужнину голову, не доставала, а он не видел, он прижался щекой к беспомощной белой руке и мочил слезами кружевной рукав.

Колеса

ВИКТОР катил в вагоне. Колеса под полом урчали, и весь вагон наполнился шумом движения. Колеса стучали на стыках рельсов и отбивали Виктора все дальше, дальше от отца. Было чуть жутко, но все же Виктор тайком от себя радовался, что стелется сзади путь. Он охотно хватал у дам багаж, совал чемоданы на полки и после этого говорил дамам «мерси» и кланялся.

— Вас дым не обеспокоит? — говорил Виктор, доставая портсигар, — отделение было для курящих. Но Виктор вышел на площадку и стал глядеть в стекло.

«Читает теперь родитель, — думал Виктор про письмо. И письмо казалось ему длинным, казалось, что все там написано, что если рассказывать, так полчаса надо говорить и не перескажешь. — Прочел или еще нет?» И хотелось, чтоб уж прочел. А в окне мелькали черные от дождя избы, сонной понурой бровью сползли соломенные крыши.

Сырая земля, мокрая, дремлая, пологими горбушками уходила от рельсов в слезливую даль туманную.

На полустанке Виктор выскочил, хотел купить яблок и угостить дам в вагоне. Всем дамам поднести, как в салоне. Грязное месиво стояло за платформой, и в этом месиве бродили — полголенища в грязи — пьяные мужики около телег, все в мокрых сермягах. Урядник торчал поверх базара на кляче, и лениво чмокала кляча ногами в липкой грязи.

Никогда не видал Виктор осенней деревни, знал только летние маневры. Рота бьет ногой по пыльной деревенской улице, с песнями, с гиком, и бабы выскакивают из ворот на лихие мужские голоса.

Поезд свистнул, тряхнулись лошаденки на базаре.

В вагоне было тепло, пахло махоркой, казармой, и от этого особенно приветливыми показались Виктору дамы. Он роздал два десятка яблок, что купил на платформе. Виктор знал уж, что родитель теперь, наверно, прочел письмо и что все кончено и решено накрепко, наглухо, что окончательно началось новое.

Виктор болтал с соседками, и сам не видел, как все в одну, в самую острую точку вел весь разговор.

— Вот базарчик и вот урядник, извольте видеть. Дон Кихот форменный, и все пьяно. Разве так можно? Это разве полиция?

— Да... что уж там полиция. Ему бы взяток только нахапать, о том только, небось, и думает, — и дама махнула рукой.

— А потому, что порядочные люди не хотят идти в полицию! Брезгают. Трудно-с.

— Да уж какой порядочный человек пойдет туда... Костя, — обратилась дама к мальчику, — дай я тебе очищу. — Дама вырвала у мальчика надкусанное яблоко.

Виктор перехватил у дамы яблоко и сам стал чистить перочинным ножичком — новенький, купил перед отъездом.

— А вот ошибка, ошибка, — говорил Виктор громко. — Именно всем хорошим людям надо идти в полицию. Мы все жалуемся, а сами ни с места. Поэтому и полиция плохая.

— Почему, говорите, полиция плохая? — ударил сверху хриплый голос; простолюдин из мастеровых прислонился у стойки в проходе и насмешливо глядел на Вавича.

Кто-то уж подсел на лавочку у окна, и сверху, через спинку, глядела с поднятой полки кудлатая голова с черными глазами.

— Разве у порядочного человека хватит совести людей в рыло бить, — говорил мастеровой.

— Зачем, зачем же? — кипятился Виктор. Он встал.

— В таком деле без этого нельзя, — отрезал человек от окна.

— А охранять имущество? — говорил Виктор.

— Одна шайка с ворами, — забасил кудлатый с полки.

Дамы недовольно оборачивались на новые голоса. Народ толпился около их отделения. Кто-то крикнул издали:

— Ты спросил его: а сам-то, спроси, не из крючков ли?

Дама с мальчиком нахохлилась, встала, взяла зло мальчишку за руку и вышла, хлопнув дверью.

В это время вошел контролер.

— Ваши билеты, господа!

— Приготовьте билеты, — вторил кондуктор и постукивал ключом о спинки сиденья.

Пассажиры затопали к своим местам.

Виктор, красный, запыхавшийся, жадно тянул папиросу, уж не спрашивал соседок. Остальную дорогу он все молчал. Дамы долго ворчали:

— Все сюда вдруг столклись, как будто скандал или зрелище. Прямо черт знает что.

Виктор не спал. Он вышел на площадку. Ночью поезд подкатил к светлому, шумному вокзалу. Виктор протиснулся в буфет и выпил подряд три рюмки. Обида и тоска, обида на весь вагон мутила Виктора. Он залез на полку, когда уже все улеглись, угомонились. Он ощупал в кармане письмо пристава: оно было заложено меж двумя картонками и перевязано бечевкой накрест. Груня перевязывала. И Вавич стал думать о Груне.

Утром Виктор, насупясь, оглядел вагон. Публика переменилась, ушли дамы. Не слышно было хриплого мастерового. Виктор заглянул к соседям. Человек с кудластым затылком возился с селедкой.

«Можно еще полежать», — решил Виктор, плотней увернулся в шинель и закурил папиросу. Тужился думать о Груне, но днем Груня не подступала близко.

«Скорей бы приехать», — думал Вавич и щупал в кармане жесткое письмо пристава к полицмейстеру.

«Но я им докажу, — думал Вавич про пассажиров, — они узнают, что может быть порядочный человек... даже сделаю что-нибудь необыкновенное. Подвиг. Спасу кого-нибудь, девочку какую-нибудь. Потом в газетах портрет и глава: «Полицейский-герой». Нет, лучше не портрет, а снимок. Я в полицейской форме и девочка рядом. Девочка улыбается, а я склонился и ее рукой придерживаю сзади. Все будут читать... «Ах, это, смотрите-ка, тот, что с нами ехал».

И Виктор смелей поглядывал на пассажиров.

Гулко застукали колеса, слышней засопел паровоз, потемнело в окнах, — сразу стало заметно, что поезд вкатил в дом. Другими голосами, уличными, заговорили пассажиры и сперлись у дверей. Виктор оглядывал крытый вокзал. Закопченная стеклянная крыша — как потолок в паутине. Слышно было, как шумел за вокзалом город. Шумел совсем другим, своим голосом, и холодком лизнуло в груди у Виктора.

С высокого крыльца была видна площадь, сквер с чугунной узорной решеткой, и длинная прямая улица уходила вдаль, и все высокие каменные дома, с финтифлюшками на крышах.

И треск, дробный треск ровным шумом над городом, как будто что-то работало горячо и без устали, — дробный треск кованых пролеток по гранитной мостовой.

Виктор взял извозчика, и каменной трелью покатили под ним колеса.

Манна

ВИКТОРА испугал чужой город. Все люди здесь ему казались иностранцами. Он с почтением глядел на массивные дома, на глянцевые вывески. И все казалось, что люди какие-то важные, — как же тут ими на улице станешь командовать? Ему даже казалось, что и по-простому, по-русскому они не говорят. Даже удивился, когда в дешевеньких номерах швейцар ему сказал обыкновенным языком:

— Пожалуйте, есть свободные. Вам не из дорогих прикажете? — Оглядел Виктора и прибавил: — Подешевле?

От этого города Виктор как-то сразу запыхался и все делал впопыхах. Ждал, что непременно дело сорвется, и все спешил, чтоб уж дошло до того места, где будет стена, и — стоп.

Но ничего не срывалось: полицмейстер принял его с улыбочкой и благосклонно и тут же продиктовал Виктору прошение и похвалил почерк. На прощание подал руку и сказал:

— Можете не беспокоиться. Будете писать, поклонитесь. Наверное, наверное. Даже можете себе построить форменное платье. Успеха!.. Надеюсь.

— Рад стараться! — без звука шептал Виктор и не знал: пятиться к двери задом или повернуть по-военному, и боком пошел к двери.

На другой день он писал Груне телеграмму: «Заказал форму велел кланяться, целую...» Но и форма не успокоила Виктора — он не мог стоять на месте, пока, отдуваясь, лазал и приседал около него портной.

— Шаровары болгаркой прикажете?

— Получше, получше, — запыхавшись, шептал Виктор. Он совал задаток, и деньги как-то не считались, — слипались бумажки, и числа залеплялись и путались в уме.

Виктор бегал по улицам, спрашивал в кухмистерских обед, не доедал и бросался вон.

На улицах, чистых, выметенных, стояли на перекрестках городовые. Большие, важные, мордатые, усы серьезные, строгие. Шинели на всех новые, сапоги начищены. У всех начищены. Городовые, когда надо было повернуться, не вертели головой, а всем корпусом, не спеша, обращались. Важно козыряли офицерам, и то не каждому. Станет извозчик не на месте, городовой только коротенько свистнет — тррук — извозчика уж тряхнет на козлах. Хлестнул кнутом — и марш. На главной улице, на бойкой езде стоял околоточный. Околоточный был одет франтом — и верно: шаровары «болгаркой». Сильно уж в теле был околоточный. Виктор через мелькавшие экипажи смотрел, есть ли усмешка. Усмешка была, и лакированный ботфорт был выставлен вперед; спокойно и весело стоит околоточный, будто для своего удовольствия, а мимо так и снуют пролетки, дрожки, кареты, а его обходят, будто вода вкруг камня. И фуражка, как вчерашняя.

Это было в самом центре города, на окраины Виктор не ходил еще: все топтался, все кружил, где шум, где магазины. Он все время помнил, что пустил свое прошение, и, чтоб дело не остановилось, ему казалось, что надо все время работать, хлопотать, не переставая ни минуты; и он ходил, ходил по улицам до изнеможения, до боли в икрах. Вечером в своем номере Виктор при свечке садился писать Груне.

«Грунюшка, ангел души моей! — писал Вавич. — Здесь все околоточные — гвардейцы и городовые все правофланговые. Люди одеты, как в праздник, и очень много людей. Особенно евреев. За номер я плачу семьдесят пять копеек и свечка еще. Прошение он у меня взял, и не знаю. И узнать нельзя. Хлопочу весь день, а узнать пока невозможно, а ночью все думаю. Вот уже третьи сутки. Не знаю, что и делать. Может быть, это напрасно, а деньги идут. Слыхал в кухмистерской: двое штатских ругали пристава и всех на свете, — я ушел. В вагоне тоже. Задаток я портному дал тридцать пять рублей. А может быть, все это понапрасну. Хоть он сказал — наверно.

Грунюшка. Увидишь если опять Тайку в театре, ты прямо подойди к ней и скажи, — она все знает, — спроси, как мама, и про старика моего. А потом напиши мне, только поскорее, родная моя. Все расспроси. Ботфорты я пока не покупал. Успею. Номера называются «Железная дорога». Мой нижайший поклон Петру Саввичу.

Крепко целую твою ручку. Твой навек Виктор».

Виктор запечатал письмо и положил на стол. Потушил свечу. Сейчас же потушил. Деньги на устройство дал Виктору Сорокин из своих сбережений, — давно уж для Груни копил смотритель свою тугую казенную копейку. Виктор улегся впотьмах в холодную постель. Тяжелым ночным светом мутнело окно. Виктор лежа курил и беспокойно думал.

«Может, бросить все и удрать? Просто уйти пешком куда-нибудь и поступить работать. На железную дорогу. Вот и номера: «Железная дорога». А потом все отработать Петру Саввичу, — и он считал в уме: — За номер, наверно, всего рублей пять, дорога... портному. А Грунечке написать, что решил иначе, и потом выслать ей бесплатный билет и начать жить. Потом помощником начальника станции. Хоть со стрелочника начать. В неизвестности, одна Груня знает и ждет».

Виктор хотел уже вскочить, снова зажечь свечку и приписать в письме:

«Не удивляйся ничему. Храни тайну, скоро про меня узнаешь. Помни, что я до гроба...»

«Но что будет, что смотритель-то? Еще не женился, а обман, удрал. Нет, — думал Виктор, — женюсь, а потом я могу как хочу. Уйду из полиции и найду службу».

Он бросил окурок на пол, повернулся на бок, закрыл глаза и шептал: «Грунюшка, Грунюшка, дорогая ты моя». И казалось, что непременно Груня слышит его.

Утром, когда Вавич спускался по лестнице, он увидал внизу у швейцарской конторки надзирателя. Квартальный хлопал портфелем по конторке и выговаривал швейцару:

— Как же у тебя без определенных занятий? Должен спросить, чем живет? Живет же чем-нибудь, не манной небесной? Нет?

— Никак нет, — говорил швейцар, улыбался подобострастно и приподнимал фуражку с галуном.

— А этих «на время» пускать, ты — того. — Квартальный сложил портфель и погрозил им в воздухе. Швейцар потупился. — Скажешь хозяину, зайду поговорить. — Квартальный увидал Вавича. — Ну, смотри! — сказал швейцару и повернулся.

Швейцар, толстый грязный человек, рванул, распахнул дверь.

— Вы, молодой человек, укажите занятие, — сказал строго швейцар, когда Вавич взялся за двери. Он уже был в очках и

что-то ковырял пером в большой книге. — Манной ведь не живете? Извольте сообщить.

— Я запаса армии старший унтер-офицер...

— Это какое же занятие — запаса армии? Это все запаса армии, — швейцар презрительно скосил рот.

Виктор с обидой дернул дверь и выскочил на улицу.

«Ладно, когда вдруг в форме спущусь с лестницы, — ты у меня шапку наломаешь, — думал Виктор. — Хам! Рвань всякая может... Дурак!» И он побежал к витринам офицерских вещей высматривать офицерскую шашку.

Княжна Марья

НАДЕНЬКА назначила Филиппу прийти на ту квартиру, где она переодевалась, чтоб ходить на кружок. В этой квартире жила ее подруга Таня. Одна с прислугой. Таню нянчила эта старуха, и ей можно было верить. Танин отец — адвокат. Его никогда не бывало дома, а Танечкина мать вот уже год как умерла в Варшаве. Танечка одна в адвокатской квартире. Наденька считала Таню девчонкой и свое доверие дарила свысока.

«Барышнешка», — думала Наденька, глядя, как Таня с упоением разглядывает свои ноги в шелковых черных чулках. А Таня смотрела на свои ноги, как на новые: смотри, вдруг выросли. Красивые ноги, в лакированных лодочках. И немного жуткое томило Таню, — вот как смотришь на блестящий, острый кинжал.

— Восемнадцать лет дуре, — шептала Наденька, — могла бы уж, кажется... — и Наденька взглядывала тишком на свой английский ботинок на низком каблуке.

А Таня все глядела на свои ноги, слегка задыхаясь. Позвонили в прихожей. Таня одернула юбку, вскочила с дивана.

Старуха отворила Филиппу:

— Пожалуйста, батюшка.

— Пойдемте сюда, — сказала Наденька особенно сухо при старухе и прошла вперед, твердо постукивая английскими каблучками.

Таня что-то запела глубоким голосом, низким, взволнованным, и села на ковер среди комнаты. Запрятала ноги под юбку, — не надо часто смотреть, — и только рукой через платье сжимала носок лакированной туфли, острый, глянцевый и теплый.

А Наденька усадила Филиппа за раскрытый ломберный стол. Филипп достал платок и вытер все лицо и вверх по волосам провел. Вздохнул, глянул на Наденьку и стал ждать. А Наденька ходила за спинкой стула по комнате, глядела, нахмурясь, в пол и вскидывалась на Филиппов затылок. Над широкой, крепкой шеей мягкой шерсткой бежали серые стриженые волосы.

— Ну, начнем хоть с чтения, — сказала наконец Наденька. — Как вы читаете? Свободно?

Наденька раскрыла перед Филиппом приготовленный томик Толстого. Филипп откашлялся, проглотил слюну и начал. Начал громко, на всю комнату, как читают в школах с последней парты. Он громко рубил слова, перевирал их, ставил ударения, от которых слова звучали по-польски. Деревянная бубнящая интонация. Наденька едва понимала, что выкрикивал Васильев.

Она его поправляла.

— Княжна, княжна, — говорила Наденька.

— Ну да, княжна, — оборачивался Филипп и снова кричал в стену: — Княжна Марья!

«Господи, как ужасно, — мотала головой Настенька, — он ничего ведь не понимает». Она еле выдержала этот тупой крик.

— Ну, отлично, — сказала Наденька, не вытерпев. — Достаточно.

Но Филипп шептал, глядя в книгу.

— Отложите книгу, — сказала Наденька.

— А здорово интересно, — и Филипп повернулся красным, вспотевшим лицом к Наденьке.

Наденька диктовала Филиппу, а он, свернув голову конем, выводил буквы и поминутно макал в чернила. Наденька с книжкой в руке глядела через плечо; она видела, как Филипп щедро сыпал «яти», он старался изо всех сил, макал перо и прицеплял корявые завитушки. Все строчки обрастали кудрявым волосом.

— Зачем же метла-то через ять? — не выдержала Наденька.

— А как же веник? Что метла, что веник...

Наденька рассмеялась. Смеялся и Филипп, он положил перо и, запыхавшись, как после бега, тер лоб цветным платком.

Наденька села рядом. Она стала поправлять, объяснять, и ее волновало, что этот сильный мужчина, — она помнила, как он чуть не нес ее, взяв под ручку, — теперь почтительно кивал головой и послушно заглядывал в глаза. Ей захотелось ободрить его.

— Это пойдет, приучитесь, ничего, не огорчайтесь.

— Главное дело — привычка, — сказал Филипп, — и уметь взяться. В нашем деле взять: смотришь на другого — все враздрай, все тяп-ляп, ну, не умеет человек взяться.

— Ну вот, вы перепишите это. — Наденька хотела, чтоб дома Филипп переписал. Но он уж схватил перо, макнул и набрал в грудь воздуха. С таким аппетитом вонзил перо в бумагу, что Наденька подумала: «Взялся, взялся», — и не остановила. Она смотрела, как старался Филипп, шептал губами, как маленький, и ей захотелось приласкать, погладить Филиппов стриженый затылок.

Васильев напряженно дышал. В квартире певучим басом часы пробили одиннадцать.

«C'est là que je voudrais vi-i-vre!»* — пела Таня в пустой столовой.

Наденька сорвалась к двери.

— Нельзя ли потише! Тут занимаются.

Филипп переписал без одной ошибки, без одной помарки, только еще гуще обросли строчки завитками, крючками...

Наденька проверяла, а Филипп вцепился глазами, не дышал, ждал.

Наденька положила тетрадку.

— А что? — сказал Филипп и выпустил дух. Покраснел, улыбнулся задорно. — Взяться надо уметь, — и хлопнул по тетрадке.

Наденька подхватила чернильницу, но было поздно: чернила потекли на адвокатский стол. Но Филипп мигом вырвал из тетрадки лист и погнал переплетом на бумагу чернильную лужу. Выплеснул в пальму. Выскочил в двери, и Наденька слыхала, как он командовал в кухне:

— Да чистую, чистую тряпку давай, что ты мне портянку тычешь.

Он вернулся с мокрым носовым платком.

Чуть заметное темное пятно осталось на зеленом сукне — Филипп присыпал его золой.

Старуха топталась около с чайником.

— А ну, газету какую-нибудь, живо! — гаркнул Филипп.

Старуха и Наденька кинулись в двери.

Филипп сгреб золу на газету, сунул, не глядя, Наденьке в руки. Мокрое пятно темнело на сукне стола.

* Там я и хотела бы жить! *(фр.)*

— Высохнет и будет, как было, — сказал Филипп и осторожно погладил сукно.

Он уж снова сидел, придвинувшись вплотную к столу.

— «Яти» — это без привычки только, а делом взяться...

Наденька не сразу нашла прежний голос.

Когда Филипп встал, чтоб уходить, Наденьке стало жаль, и она уже в третий раз повторила:

— Грамматику вы оставьте, не учите, главное — зрительная память, глазная память, — и Наденька поднимала палец к глазам; Филипп мигал несколько раз в ответ.

Наденька пошла проститься с Таней. Но Таню она не узнала. На Тане было неуклюжее бумазейное платье, волосы были зализаны назад и мокрой шишкой торчали на затылке. Толстые линючие чулки на ногах и стоптанные ботинки. Грустной птицей глянула Таня на Наденьку.

— Это что еще за маскарад? — спросила Наденька, она натягивала перчатку в прихожей. Таня чуть повела губами в ответ и прошла, волоча ноги, в гостиную.

Вечером дома Наденька думала, как там, в знакомой ей комнате, сидит Филипп и решает те задачи, что отчеркнула ему в Евтушевском Наденька. Ей захотелось пойти туда, ходить по комнате, и чтоб он спрашивал. Наденька ясно видела стриженый затылок и Филиппову руку с искалеченным ногтем на большом пальце.

Бородач

— ЧТО, начал? — сказал себе под нос служитель, когда на третий день он уносил пустую кружку из камеры Башкина.

Башкин стоял лицом к забитому окну, засунув зябкие руки в карманы пальто. Башкин чуть не заплакал с обиды. Он шагнул в дальний угол камеры, где он пуговицей от пальто ставил черточки на стене... Он отмечал дни. Приносили утренний паек, и Башкин ставил пуговицей метку. Он отметил место, где должна прийтись пятая метка, и здесь поставил крест. Это значило, что на пятый день он должен умереть от голода. Он любил этот угол, он ходил по камере и посматривал на этот крест, и тогда слезы удовлетворенной обиды тепло подступали к горлу. Придут, а он вытянулся посреди пола. Гордый труп. Будут знать.

Теперь это пропало. Башкин сам не заметил, как, шагнув мимо кружки, он ущипнул кусочек — самую маленькую крошку черного хлеба. Потом подровнял, чтоб было незаметно... Тупое отчаяние село внутри тяжелым комом, как будто подавилась душа.

Башкин сел на табурет, поставил локти на стол и крепко зажал ладонями уши. Смотреть на пометки в углу теперь нельзя — крест корил и мучил. Башкин сидел, и холодным ветром выла тоска внутри.

Вдруг он услышал ключ в замке, отнял руки, испуганно оглянулся. Надзиратель распахнул дверь и крикнул с порога:

— Выходи!

Башкин все глядел испуганно.

— Выходи, говорят, — и надзиратель резко мотнул головой в коридор.

Башкин запахнул пальто, сорвался к двери.

Другой служитель уж подталкивал его в поясницу, приговаривал:

— Пошел, пошел, жива!.. Направо, направо, пошел, на лестницу!

У Башкина колотилось сердце и запал, куда-то провалился дух. Он шагал через две ступеньки.

Опять коридор, служитель быстро из-за спины открыл дверь. Парадная лестница с ковром и на площадке трюмо во всю стену: Башкин мутно, как на чужого, глядел на свою длинную фигуру в стекле.

— Стой, — сказал служитель и толкнул трюмо.

Трюмо повернулось, открыло вход, служитель за плечо повернул Башкина и толкнул вперед. Башкин слышал, как щелкнула сзади дверь. Служитель уж толкал его в поясницу. Они шли по паркетному натертому полу, по широкому коридору.

— Пальто снимите. Шапку тоже, — Башкин был в парадной прихожей. Два жандарма сухими, колкими глазами оглядывали его. Служитель ушел. Башкин коротко и редко дышал. Колени неверно гнулись, когда пробовал ступать. Он опустился на деревянный полированный диван, что стоял у стены.

— Встаньте, тута вахтера место, — сказал жандарм.

Башкин дернулся, вскочил, в голове завертелось, он ухватился за косяк дверей.

— Проси, — сказал из коридора круглый мелодичный тенор.

— Пожалуйте, — сказал нарочито громко жандарм и зазвенел шпорами впереди Башкина. Он отворил дверь и, цокнув шпорами, стал, пропуская вперед Башкина.

Огромный кабинет, высокие окна, ковер во весь пол, мягкие кресла. У стола стоял жандармский офицер, гладко выбритый, с мягкими русыми усиками. Он приветливо улыбался, как почтительный хозяин.

— А! Господин Башкин! Семен... Петрович? Очень рад. Присаживайтесь.

Офицер маленькой холеной ручкой указал на ковровое кресло у стола. Томно звякнули шпоры.

Башкин поклонился, шатнувшись на ходу вперед, и опустился, плюхнулся в низкое кресло. Он тяжело дышал. Он взглядывал на офицера, будто всхлипывая глазами, и снова упирался взглядом в ковер.

— Плохо себя чувствуете? — спросил учтиво и ласково офицер. — А мы сейчас скажем, пусть нам чаю дадут, — и он нажал кнопку на столе. Мельхиоровую фигурчатую кнопку.

— Подай нам сюда чаю, — приказал офицер, когда цокнул шпорами в дверях жандарм.

Офицер уселся в кресло, за письменный стол. Башкин мутными глазами водил по малахитовому письменному прибору, по белой руке с перстнем. Перстень был массивный, он, казалось, отягощал миниатюрную ручку.

— Что, там так скверно? — спросил офицер участливо. — Но все это, вероятно, недоразумение. Мы сейчас с вами это попытаемся выяснить.

— Да, да, недоразумение, — потянулся к офицеру Башкин. — Совершенно ничего нет, я не понимаю.

— Поставь сюда, — сказал офицер жандарму и очистил место на столе перед Башкиным. Дымился горячий чай, блестели поднос и серебряные подстаканники. — Видите ли, недоразумений сейчас множество. И во все эти дела впутывают огромное количество совершенно непричастного народа. Вы себе не представляете, какое количество. Что ж вы чаю-то — простынет.

Башкин кивал головой, слабой, взлохмаченной.

— Вы войдите в наше положение, — продолжал офицер, придвигая свой стакан. — Нам приходится разбираться... Вы не социалист? Простите, я не настаиваю. Но я сам отчасти разделяю эти взгляды. Вас это, может быть, удивляет. Что ж вы сахару?

— Нет, почему же, — бормотал Башкин, силясь ухватить серебряными щипчиками кусок сахару.

— Правда, вы можете понять это; ведь вы философ. Да-да! Простите, я по службе должен был познакомиться со многими вашими мыслями.

Башкин покраснел. Он чувствовал, как кровь шумит в ушах и горит лицо все больше и больше.

— Вы простите, вы этого, может быть, не хотели, но меня многие ваши суждения поразили глубиной их смысла. Вы не курите? — Офицер поднес Башкину широкий серебряный портсигар. — Так, видите ли, сейчас так много просто беспокойных людей, просто такой молодежи, которая особенно тяжело переживает свой возраст, когда людям надо перебеситься. Конечно, всякому вольно сходить с ума по своему вкусу. Не правда ли?

Офицер дружески улыбнулся. Башкин поспешно закивал головой.

— Да, так извольте беситься за свой счет. И ведь из этих молодых людей потом выходят отличные прокуроры, профессора, врачи, чиновники... Да-с. Ну, а зачем же за ваш темперамент должны отвечать другие? Вы не понимаете, о чем я говорю?

Башкин во все глаза глядел на офицера, прижав стакан к груди.

— Я говорю про то простонародье, которое является каким-то страдающим материалом для упражнений... я сказал бы — выходок. Помилуйте, из господ! Образованный! Студент! Как же не верить? И он верит, а наш Робеспьер сыплет и сыплет. И семейный бородач начинает проделывать Прудона от самого чистого сердца. И бородач попадает в Туруханск, — а куда ж его деть-то, коли ему мозги повредили, — а студент уж, гляди, с кокардой ходит. Женился и безмятежно получает чины и казенное жалование. И вспоминает за стаканом вина грехи молодости. А бородач... Ведь вы представляете себе, что происходит?

Тут офицер глубокомысленно взглянул на Башкина, и даже несколько строго, и помешал ложечкой в звонком стакане.

— Да-с. А на бородача плевать, со всем его вихрастым потомством, со всеми Ваньками и Марфутками. — Офицер грустно помолчал, глядя в стол. — Так надо же кому-нибудь о нем подумать, об этом простонародье, а не играть русским открытым, доверчивым сердцем. Не чудесить судьбой серьезных и

честных людей. Бейте лучше зеркала в кабаках, коли уж так там у вас силы взыграли. Нас вот ругают наши демократы доморощенные, а поверьте мне, что мы-то, презренные жандармы, пожалуй, ближе чувствуем... Гм... да. Так вот, что вы мне на все это скажете, Семен... простите... да, да, Петрович! Так вот, Семен Петрович... — Офицер встал из-за стола и прошелся по ковру. И опять томно позванивали его шпоры.

— Да, да, — говорил Башкин, — я во многом отчасти согласен с вами. — Башкин умным взглядом вскидывался на офицера. Ему так приятно было видеть дневной свет, так хорошо было в чистой комнате, мягкое кресло, чистый стакан, и понастоящему с ним говорит этот офицер, которого боятся эти жандармы, что толкаются, рычат на Башкина. Ему казалось, что вот, наконец, его освободил от дикарей, из плена сильный и культурный европееец. И все эти три дня показались Башкину диким сном, как будто он случайно провалился в яму, а теперь вышел на свет. Конечно, те дураки ничего не понимают и шпыняют его, будто он разбойник с большой дороги. — Да, да, я все понимаю, во многом, — говорил Башкин, благодарно кивая головой.

Он даже приободрился и откинулся слегка на спинку кресла.

— Я так и надеялся, что вы меня поймете. Поэтому я так откровенно с вами и говорил. Да, так вот, о Марфутках. Кому-нибудь же надо об них думать. Надо ведь кому-нибудь это дело делать. Но делать его с плеча нельзя. Вы согласны?

Башкин мотнул головой.

— Ну вот видите. А то вот получаются такие истории вроде вашей. Чего ж тут хорошего? И тут надо разбираться в каждом индивидуальном случае... И разбираться раньше чем действовать. Нет, вы не спорите?

— Нет, нет. Совершенно верно. — Башкин допил последний глоток холодного уже чая и осторожно поставил стакан на блестящий поднос.

— Так вот, мы одни не можем. — Офицер остановился, слегка наклонясь к Башкину. — Одни мы не можем, — повторил офицер вполголоса и поглядел Башкину в глаза. — Здесь нужен тонкий человек. И вы — вы психолог. Вы тонкий психолог. Я с такой радостью это заметил, читая ваш журнал. Да, да, это совсем не комплимент, это правда. Я много видел людей...

В это время на стене резко позвонил телефон.

— Простите! — И офицер взял трубку. — Так... так, — говорил офицер в телефон, — очень, очень симпатичное впечатление. Слушаю, ваше превосходительство. Сию, сию минуту иду... Вы меня простите, на несколько минут. Жаль, мне так интересно с вами, — и он заторопился к дверям.

Башкин остался один. Он глотнул последние сладкие опивки из своего стакана. Он так радовался, что спокойно можно сидеть в этом кабинете, что тут его не посмеют тронуть те, особенно после того, как офицер так с ним говорил, как с человеком, равным по положению. По-человечески говорил. Дверь отворилась. Башкин оглянулся, улыбаясь для встречи. Жандарм, сощурясь, глядел из полутемного коридора. Башкин нахмурился.

— Вы здесь чего же? — спросил жандарм с порога.

— А вот я жду господина офицера. — сказал Башкин и отвернулся к окнам.

— Пожалуйте сюда! — приказал жандарм. — Выходите!

Башкин оглянулся.

— Ну! — крикнул жандарм и решительно мотнул головой в коридор.

— Так я же говорил... — начал Башкин, шагнув к жандарму.

— Выходите, выходите, живо, — жандарм нетерпеливо показал рукой. — Марш.

Башкин вышел в коридор.

— Одевайтесь! — жандарм толкал его к вешалке.

Тот же служитель, что привел его из казармы, ждал в передней. И опять Башкин почувствовал у поясницы жесткую руку и без остановки зашагал впереди служителя. Он опомнился только, когда узнал подвальный коридор.

«Он вернется, а меня нет, им достанется», — думал Башкин, сидя на своей койке. Лампочка мутно краснела сверху.

Утром принесли один только кипяток. Хлеба не было.

— Вы хлеб забыли дать...

Служитель шагнул к двери, не оборачиваясь.

— Хлеб, я говорю... не доставили, наверно, сегодня, — сказал ласково Башкин.

— А ты что, дрова, что ли, колол, чтобы тебя кормить, — пробурчал служитель, запирая дверь.

В обед принесли краюху хлеба: кинули на стол.

Башкин с койки глядел из прищуренных глаз: путь думают, что спит.

Булавка

ТАНЯ проснулась рано. Белые шторы рдели от раннего солнца, и мухи звонко жужжали в тихой комнате. Таня вскочила, отдернула штору и зажмурилась, опустила глаза и увидала — зарозовела ее кружевная рубашка, стала легкой, сквозистой. Таня сунула на солнце голые руки, поворачивала, купала в теплом розовом свете. Таня погладила свою руку, чтоб натереть ее этим прозрачным розовым светом. Рука еще млела сонным теплом. Снизу дворник крякнул и зашаркал метлой по мостовой. Таня отдернула штору. Она мылась и не могла перестать полоскаться в фарфоровой чашке, и все поглядывала на свое отражение — нежное и легкое в полированном мраморе умывальника.

Потом стала сосредоточенно одевать себя, бережно, не спеша. Она приколола свою любимую брошку на лифчик — брошка круглым шаром светила на белом лифе. Под платьем не будет видно.

«А я буду знать», — думала Таня. И сделалось жутко: приятно и стыдно.

В зеркало Таня ни разу не взглянула и причесывалась наизусть.

На Тане была черная шелковая блузка. Красные пуговки с ободком, как жестокие капли крови, шли вниз от треугольного выреза на шее. Таня поглядела на красные пуговки, потрогала жесткую брошку под платьем, вздохнула, подняв грудь, и так остался вздох. Таня пошла в столовую, пошла легко и стройно, как никогда не ходила, и было приятно, что глянцево холодит шелковое белье и скользит у колен шелковая юбка. Она строгими руками достала посуду из буфета и поставила на спиртовку кофейник. Достала французскую книгу и посадила себя в кресло. Она держала книгу изящным жестом и, слегка нахмурясь, глядела на строчки и на свой розовый длинный ноготь на большом пальце. Таня щурилась и сама чувствовала, как тлеют под ресницами глаза. Теперь она пила кофе за маленьким столиком. Она красиво расставила посуду и старалась не хрустеть громко засохшим печеньем.

Город просыпался. За окном стукали по панели поспешные деловые каблуки, и первая конка пробренчала: открыла день.

Таня встала. Она чувствовала, как будто упругие стрелы выходят из нее, напряженные и острые. Казалось, не пройти в узком месте. Строгие и пронзительные, и стали вокруг нее, как

крылья. Надела шляпу, жакетку, обтянула руки тугими перчатками, как будто спрятала в футляр красивые ногти, и боком глянула в зеркало, — не надо было: она изнутри лучше видела, какая она во всех поворотах. Она знала, что каждый день, каждое утро ей был подарок. Она не могла оставаться дома, — надо было куда-то нести все, в чем она была, и она протиснулась в дверь и осторожно прихлопнула французский замок. Дворник скручивал махорку, с метлой на локте. Просыпал махорку, чтобы сдернуть шапку.

— Добро утро.

Таня медленно, сосредоточенно наклонила голову. Она совершенно не знала, куда шла. Об этом она и не думала. Лакированные каблучки звонко стучали по пустой панели. Трое мастеровых, жмурясь на солнце, высматривали конку. Таня подошла и стала ждать вагона. Мастеровые прервали разговор и глядели на Таню.

Конка, бренча, подкатила и стала — летний открытый вагон с поперечными лавками.

Проехав мастеровых, конка стала перед Таней, будто подали карету. Таня прямо поднялась на ступеньку к той лавке, что пришлась против нее, ступила, не ища места, не глядя по сторонам. И студент, что сидел с краю, рывком отъехал вбок, как будто занял ее место и спешит отдать. Конка тронулась. Заспанные люди, плотно запахнувшись, везли еще ночную теплоту и покорно болтались на лавках, мягко толкались на поворотах; теперь они тупо моргали веками на красивую, строгую барышню. Другие и вовсе проснулись и сели вполоборота, чтоб лучше видеть. Санька Тиктин только раз глянул на свою соседку и потом только краем глаза чувствовал ее профиль.

А Таня напряженно глядела перед собой на мостовую в зябком прозрачном осеннем солнце. Санькино плечо прижалось к ее руке, — он берег это прикосновение, чувствовал его, как теплое пятно на своей руке. Конку встряхивало, они сталкивались плотней, отскакивали, но Санька снова восстанавливал это прикосновение.

«Вот настоящая; бывает, значит, настоящее», — с испугом думал Санька. И он думал, что бы он мог такой вот сказать, и не было о чем, и не было слов на уме. Такие не говорят, такие ходят по коврам и смотрят с картин.

И ему стало казаться, что все, что он ни сделай, ни скажи, — все будет не так. Если взглянет, то уж и это будет такое «не так».

И не глядеть, упершись глазами в пол, тоже глупо и стыдно, и Санька даже хотел, чтоб его не было, но чтоб было, было только это прикосновение.

На каждой остановке Санька замирал — вдруг здесь сойдет. Сошла молочница, увязанная платками накрест, как дорожный узел. Сошла и оглянулась на прощание на Таню. Теперь надо было отодвинуться, но Санька не мог. Он глядел в пол и не двигался. Было неловко, пассажиры глядели. Пусть, пусть. Сойдет, — и все, все пропало. Если б осталось на руке, на этом месте пятно, как обожженное, и носить его всегда, чтоб не сходило, и никому не говорить, не показывать до смерти, — и больше ничего не надо.

Вагон был уже полупустой, и конка бойко катила под гору по запустелой улице, хлябко, вразброд рякали подковами кони. «Теперь сойдет, сойдет наверно», — решил Санька, и сам не заметил, как сильней прижался к соседке. Таня чуть шевельнулась — это первый раз; Санька отдернулся, и стало холодно, как на сквозном ветру. А Таня выпростала руку и поправила сзади волосы под шляпкой.

«Как хорошо, как просто!» — думал Санька, и ему так понравился этот поднятый локоть, этот привычный женский жест, будто она первая его сделала. Санька задыхался. Конка заскрипела тормозами, кучер обернулся. Таня поднялась. Санька не знал, что делал. Он не дышал. Он протиснулся мимо Таниных колен, волчком слетел на землю и подал Тане руку.

И она оперлась и сказала:

— Мерси.

— Ну что, остаетесь, что ли? — крикнул кучер и хлестнул лошадей.

Таня пошла назад, вверх по улице.

Санька с другой стороны улицы следил, как она шагала. Ему казалось, что это не она идет, а тротуар, улица сама плывет под ней, подстилается сама. Санька глаз не спускал, толкая встречных. Он боялся каждых ворот, мимо которых проходила Таня, — сейчас повернет, скроется. Как это встречный прямо ей в лицо смотрит! Встречать бы ее, все время бы навстречу идти, а не сзади, как сейчас. А подойдешь, — выйдет, что пристал. И Санька то отставал, то снова нагонял Таню. Если б обернулась!

Если сильно думать, обернется. И Санька стал думать, пристально думать, до боли в висках.

«Оглянись, оглянись, милая. Ну повернись! Вот, вот сейчас повернись».

Санька не заметил, как стал шептать губами:

— Оглянись же! Оглянись, говорю. Ну!

Она не оглядывалась, а легко шла, и легко колыхалась ее юбка, и колыхалась синяя прозрачная тень. И то, что тень, и то, что юбка, и торжественная и легкая походка, и то, что не оглядывается, а смотрит строго вперед, — все это казалось Саньке чудом. Как он не замечал, что такое бывает у них в городе. «Вот она — настоящая-то! — решилось у Саньке в голове. — Счастье идет по городу. Неужели никто не видит, я один?»

Прохожие теперь часто замелькали. Санька глядел, не отрываясь, и, когда ее затирала толпа, он все равно с точностью, сквозь людей, знал, где она, видел, как мелькал кончик ее банта на шляпе, ее туфли среди мельканья брюк, сапог. Они были уже в центре города. Куда она несет себя? Дай Бог, чтоб не вошла! Таня поворачивала, сворачивал и Санька.

Открывали магазины, гремели железными шторами, газетчики орали, криком перебивали дорогу. Санька пробирался сквозь людей, как через кусты, и видел, как на той стороне, как будто ровным дуновением, неслась вперед она.

Повернула направо, в их улицу. Вот их парадная. Да! В нашу парадную! И Санька бегом перебежал улицу, вбежал в парадную и слушал, затаив забившийся дух, как по их лестнице ступали ее ноги. Он едва дыхание переводил и слушал. Знал, что она тут, перед ним. Вот второй этаж, тоненько застукали каблуки по площадке. Стала, стала!

И ясно в пустой, гулкой лестнице зазвонил звонкой дробью звонок. Санька боялся двинуться, не спугнуть: наверху открыли, их дверь открыли. Открыли и хлопнули. Санька через две ступеньки вбежал и задержал тяжелое дыхание, наклонил ухо к двери и слушал. Сердце стукало в виски, мешало слушать.

— Дома, дома барышня, — услышал Санька Дуняшин голос. — Сию минуту!

Санька не звонил, боялся, что не она, вдруг не она там, в их доме. Не может этого быть. Он стоял за дверьми и ждал.

— Ну вот, что за визиты! Снимай моментально шляпу.

Это Надька, Наденька командовала учительным голосом. И только когда простучали шаги по коридору, Санька нажал звонок. Нажал осторожно, как в чужую квартиру.

На подзеркальнике ее шляпа. Санька шмыгнул в свою комнату. Посидел с минуту, как был, в шинели. Слышал, как Дуняша прошла в кухню, и выкрался из своей комнаты. Оглядел-ся. На цыпочках подошел к подзеркальнику, еще раз осмотрелся и осторожно, кончиками пальцев поднял за поля Танину шляпу. Подержал около лица, бережно положил обратно и погладил, едва касаясь.

Где-то скрипнула дверь. Санька топнул к вешалке и порывисто, зло стал стаскивать шинель. Андрей Степаныч, расчесывая на ходу мокрые волосы, взглянул из дверей в переднюю, поглядел на сына и нахмурился. Саньке показалось, что и ручку в своей двери отец повернул укоризненно.

Санька у себя в комнате прислушался к дому. Он слышал, как звонко побрякивала посуда в столовой. Дуняша собирала на стол к чаю. Все брякает. Санька вышел в прихожую и стал у зеркала. Он глядел в зеркало, нет ли кого сзади, и деловито хмурился на всякий случай. Дуняша все бренчала в столовой.

Санька схватил рукой за серебряную шпильку, за лилию, резко выдернул булавку из шляпы и быстро шмыгнул к себе в дверь.

Санька лежал на кровати, прижимался, что силы, щекой к подушке, а под подушкой сжимал в руке шпильку. Санька вдавил голову в подушку, закрыв глаза, затаив дух, шептал губами без звука:

— Милая, милая!

И пел теплый ветер в груди.

Он услышал шаги в прихожей и весь осекся, вскочил на кровати.

— Отлично, отлично! — слышал он Наденькин голос. — Что ты ищешь?

— Булавку. Булавку от шляпы.

Первый раз услыхал ее голос Санька, подкрался к двери, припер ее ступней, как будто к нему собирались ворваться, сердце колотилось.

— Дуняша, тут не видали, булавку обронили.

— Ничего не было. Да на что она мне, булавка. Я шляп сроду не носила. Не было ничего.

— Ничего, дойду как-нибудь, — опять услыхал Санька ее голос.

— Найдется, я принесу, — сказала Наденька.

Дверь хлопнула.

Шашка

У ПОРТНОГО на примерке в зеркале выходило, будто еще только делается квартальный: зеленый казакин весь был в белых нитках, как дом в лесах. Виктор украдкой взглядывал, боялся угадать, какой он будет в новом мундире. Хотел, чтоб сюрпризом сразу из зеркала глянул новый: околоточный надзиратель Виктор Вавич.

— Гимнастики делаете? — бормотал портной, сопел, едко пах материей и тыкал мелом по Виктору, как будто чертил на деревянной доске. Виктор стоял навытяжку.

От портного он пошел покупать шашку. Ему хотелось пофрантовитей, но боялся, что будет несолидно. Сразу скажут: «ветрогон».

— Больше такие берут, — и приказчик протянул Вавичу легонькую шашку. От ножен приятно пахло новой кожей. Вавич вытащил клинок. Клинок был дрянненький, но эфес галантно блестел.

— Не на войну-с ведь, для формы.

— Да, для формы, — сказал Вавич с солидным равнодушием.

— Прикажете завернуть?

Виктор кивнул головой. Не о такой шашке он мечтал.

— Присмотрюсь, там можно и другую купить.

А это была «селедка». Правда, новая, блестящая, но та самая, которую они в полку звали «селедкой». Потом выбрал погоны: черные суконные с серебряным широким галуном вдоль. Тут рядом под стеклом блестели золотом офицерские погоны. Черной замухрышкой казались эти полицейские погоны среди золотой знати. Все эти подпоручики и штабс-капитаны со звездочками чванно молчали под стеклом — «даже руки не протяни», подумал Виктор. Горькая слеза шевельнулась в груди.

— Две пары возьмете?

— Все равно, — хмуро сказал Виктор и пошел платить.

На улице стало веселее. Казалось, что все смотрят, что вот несет шашку, и, наверно, думают, что офицер. Ну, хоть прапорщик запаса.

Вавич ходил с шашкой по разным улицам: а то заметят, что нарочно показывается. Так он ходил часа два. Усталым шагом вошел Виктор в парк. Мокрый гравий шептал под ногами. Мокрые красные листья падали с кленов. Вавич присел на сырую

скамью. Зажал между колен шашку и закурил. В парке было пусто. Никто не проходил и не смотрел на шашку. Вавич закинул ногу на ногу, раскинул руки на спинке скамьи. Сырой, ясный воздух плотно стоял вокруг, облил руки, лицо.

«Вот так бы сидеть офицером, подпоручиком», — думал Вавич. Даже почувствовал с волнением, как зазолотились на плечах погоны. Чуть плечами повел. Он оперся на завернутый эфес шашки. Сидит подпоручик. И чуть поднял подбородок. Зашуршали листья и зашлепали босые ноги. Двое мальчишек выбежали из-за поворота.

— Теперь моя, не дам, — кричал старший, рука была в кармане.

Младший бежал сзади и всхлипывал:

— Отдай, сво-ла-ачь!

Виктор строго взглянул на мальчишек, повернул подбородок. Оба пошли шагом, молча. Виктор видел, что оба они взглянули на шашку. Старший сел на край скамейки. Завернув конем голову, исподнизу глядел — все на шашку. Поерзал, подвинулся ближе. Младший стоял, выпуча заплаканные глаза. Виктор улыбался мальчикам. Он даже чуть заискивающе глянул на старшего. Мальчишка примерил лицо Виктора, смелей двинулся.

— Сабля? — спросил полушепотом.

— Ну да, — весело сказал Вавич, — шашка. Это, милый, шашка.

— Самделишная?

— Настоящая, конечно. Обыкновенная офицерская.

— А вы офицер — переодетый? А? — мальчишка ерзнул ближе.

— Офицер, — сказал Виктор.

— А она вострая?

— Нет, голубчик, не наточил еще. Это новая. У меня дома есть, та как бритва. Огонь — чик и шабаш, — и Виктор махнул рукой в воздухе.

Мальчишка был совсем рядом.

— А на войне были?

— Да, на маленькой, — сказал Виктор. — Повоевали.

— Много набили — шашкой?

— Ну да разве там разберешь, голубчик. Там, брат, пули — ввыть! вввы-ить! А в атаку идешь, тут уж не смотришь, какой подскочил, — раз! раз! А уж там солдаты штыками.

— Раз! раз! — повторил мальчишка и махнул накрест рукой.

— Аас! — махнул младший.

— А кого из пистолета, правда? Сразу его — трах! — мальчишка сделал рукой, будто целится. — Бах! бах его! ба-бах.

— Да, уж тут не разбираешь, — сказал Виктор.

— А можно потрогать? — мальчишка потянулся к шашке.

— Так ты, братец, ничего не увидишь. — Вавич надорвал бумагу. Заблестели золотом эфес и черная лакированная рукоятка.

— Только подержать, дяденька! Ей-богу! — и мальчик мокрой маленькой рукой вцепился в рукоятку.

Виктор огляделся, не видит ли кто.

— Ну, довольно, братец мой, вырастешь, заслужишь офицера. Тогда... тогда, знаешь... заслужить, брат, офицера сперва надо... — говорил Вавич, уворачивая шашку в бумагу. — Подпоручика хотя бы. Вот как.

Виктор покосился на старика, что лениво сгребал палые листья.

Только подходя к гостинице, Виктор вспомнил о швейцаре. Он купил на углу у мальчишки на четвертак газет, зашел в ворота и укутал ими шашку, чтобы нельзя было узнать — что.

«Пусть и не подозревает до времени», — думал Виктор про швейцара.

Виктор быстро прошел в дверь и через две ступени заспешил по лестнице.

— Господин! А господин! Из двадцать девятого! — крикнул вслед швейцар. — Пожалуйте-ка сюда.

Виктор шагнул еще два маха.

— Пожалуйте, говорят вам, — крикнул швейцар.

— Что... такое? — огрызнулся через перила Виктор. — Чего еще? — и остервенело глядел на швейцара.

— Ничего еще, а вот распишитесь, из полиции повестка, — швейцар говорил зловеще.

Виктор сбежал и не своим почерком расписался на бланке. Швейцар через очки проверял — там ли.

А Виктор, оступаясь на ступеньках, тер плечом стенку и все читал бланковый конверт:

«М. В. Д. Канцелярия Н-ского полицмейстера, №2820.

Номера «Железная дорога».

В. Вавичу».

Он заперся в номере и распечатал конверт, запустил трясущиеся пальцы.

«Окол. надз. В. Вавичу.

По распоряжению его высокоблагородия господина Н-ского полицмейстера вам надлежит явиться для отправления служебных обязанностей в Петропавловский полицейский участок 20-го числа сего месяца.

Упр. Канц.».

И тут шел целый частокол и росчерк.

Виктор торопил портного, раза по три на день заходил. Хмуро, ругательными шагами топал мимо швейцара в гостинице. По вечерам садился писать Груне. И не мог, ни одного слова не мог. Тушил свечку так, что стеарин брызгал на стол, ложился, натягивал одеяло, крепко с головой уворачивался, сжимая в кулаках колючую материю, стискивал зубы и шептал: «Господи, Господи, Господи», — а утром, не умываясь, бежал торопить портного.

За день до срока поспела форма. Ее в бумагах, в газетах, принес к себе в номер Виктор: был уже первый час ночи. Он спешил, хмурился, и подрагивали ноги от волнения, когда он просовывал их в новые брюки. Пристегнул погоны — погребальные, серебряный галун по черному полю, казакин приятно облегал талию, — это бодрило. Но Виктору жутко было глянуть в тусклое зеркало в дверцах шкафа. Он уж боком глаза видел, как кто-то чужой копошится в зеркале. Спиной, к зеркалу, чтоб не взглянуть, Виктор продевал под погон портупею. Чужими шагами стукнули новые ботфорты. Виктор достал из картонки новую фуражку с чиновничьей кокардой и серебряной бляхой — гербом города. Теперь он был готов. Было тихо по-ночному. Тонкая свечка плохо светила. Виктор решил глянуть сперва на тень — он чуял, как ее огромное пятно ходило за спиной по грязным обоям. Он повернулся решительно и глянул. Чужая, не его, тень стояла на стене, как будто был кто-то другой, незнакомый, в комнате. Виктору стало жутко, но он зашагал прямо к тени, чтоб уменьшить ее, чтоб яснее видеть: незнакомые шаги заскрипели по полу, и Виктор на ходу видел, как в зеркале в шкафу прошел квартальный — и это он скрипел сапогами.

Виктор, отворотясь от зеркала, засеменил назад к кровати, быстро скинул с себя все и в белье, со свечкой в руке, подошел к шкафу. Он все смотрел на свое бледное лицо, — черненькие усики слегка вздрагивали.

— Витя... Витя, — говорил себе в зеркало Вавич. В коридоре хлопнула дверь, кто-то прошаркал сапогами в конце коридо-

ра. Виктор сделал серьезное лицо и пристально оглядывал прыщик на подбородке.

— Виктор Всеволодович, — сказал твердым голосом Вавич.

Он поставил свечку на стол и, доставая папироску, нарочно громко щелкнул портсигаром.

В кровати Виктор выкурил до конца коробку папирос и заснул в дымной комнате.

Утром первое, что глянуло на Виктора, это была новенькая тугая фуражка на столе с полицейским значком. Виктор протер рукавом глянцевый козырек, повертел фуражку в руках и, сидя на кровати, стал примерять.

Больше набекрень. Нет, уж больно, пожалуй, лихо. Босиком прошлепал к зеркалу. Солнце дымными полосами переливало в комнате. Виктор в одной рубашке прилаживал фуражку, чтоб в меру набекрень. Наладил. Виктор, улыбаясь, взял под козырек.

«Нет, надо как следует!»

Виктор брился, тер щеки полотенцем докрасна, начистил зубы до блеска и стал одеваться перед зеркалом. Новый казакин ласково обхватил Виктора, суконный пояс с малиновым кантом огорчил было, но шашка сразу все скрасила. Виктор натянул белые перчатки. Белой рукой взял под козырек — другое дело. Теперь самое главное — усмешку судьбе.

«Ух, как здорово!»

Галантность! Наклонился вперед, чуть-чуть согнул талию и мягко руку к козырьку. Улыбка. Виктор шаркнул — и под козырек. Опять шаркнул и с легким вывертом приложил к блестящему козырьку белую руку.

Затем Виктор остановил уличное движение. Он откидывался назад и поднимал руку, слегка растопырив пальцы. Вынул шашку, нахмурился, на цыпочках наклонился вперед — подойди.

— Стой, мерзавец! — шипел Виктор.

И тут вспомнил о швейцаре.

Виктор наспех убрал в шкаф старое платье и вышел в коридор. Он, не торопясь, скрипел по лестнице новыми ботфортами. Швейцар снизу, поверх очков, глядел, подняв брови, на Виктора. Перо у него было в зубах и в руке бумага — махал, чтоб высохла. Вдруг швейцар отскочил вбок. Виктор спустился, важно огляделся. Внизу было пусто. Швейцара не было. Виктор крикнул:

— Швейцар!

Никого.

— Швейцар! — повторил Виктор. — Пойди сюда. Швейцар!

Сверху номерной глянул через перила и скрылся.

Виктор вышел на крыльцо и стал со всей силы давить кнопку звонка.

— Ишь, мерзавец! Ишь, мерзавец! — шептал Виктор.

За стеклом двери метнулась фуражка с галуном.

— Поди сюда! — заорал Виктор, весь красный, и сам двинулся в вестибюль. — Ты что? — кричал Виктор, подступая к швейцару. — Ты что же, я говорю? Чего тебя у дверей нет? Чего тебя, мерзавца, у дверей нет? Чего тебя, подлеца... распросукин ты сын... Колпак скинь, сволочь! — и Виктор замахнулся, чтоб сбить шапку.

Швейцар сдернул с головы фуражку.

— Ка-ак стоишь? Рвань! — Виктор, красный, напирал на швейцара. — Са-ва-лачь! — крикнул Виктор в самое лицо швейцару. Поворочал глазами минуту и медленно повернулся к двери. — Учить вас надо! — в дверях процедил Виктор.

Запыхавшись, Виктор спустился с крыльца, левой рукой он придерживал шашку, слегка отставив локоть.

На пролетке

САНЬКА заперся на ключ. Он сидел за письменным столом. Булавка с фигурной серебряной головкой стояла перед ним, — он воткнул ее в зеленое закапанное сукно. Стояла стройно, блестяще, как она. И молчала так же. Красивая и живая — и молчит, молчит. Санька не мог отвести глаз. Он не знал: молиться ему на нее или погладить, ласково, бережно. Придет же она еще, придет к Надьке.

— Приди, приди, — говорил Санька. Ему казалось, что булавка глядит, опустив глаза. — Ну, что хочешь, все, все... — говорил Санька, захлебываясь, — Ну, на, на, — и Санька выдернул булавку и воткнул в руку меж указательным и большим пальцем. Приятно было, что больно, и Санька с наслаждением втыкал глубже и глубже, пока, не почувствовал, что булавка проходит насквозь. Он вытянул булавку, поцеловал ее и заколол во внутренний карман сюртука. Булавка острым концом слегка колола тело. Санька горел, неровно, глубоко дышал. Надо было спешить скорей идти делать — и все, все для нее.

«Вот для чего! — Как будто все открылось. — Все для нее, — вот, оказывается, что!»

Санька заново оглядел свою комнату; и все вещи, и диван, и шкаф как будто ухмыльнулись стариковски-весело: «Ну да, а ты не знал?»

«Окно, очень хорошее окно, плотно как запирается. Доброе окно какое. И муха осталась, пусть муха. Пусть живет мушка. Делать надо. Делать. Пока я увижу ее другой раз, сколько я наделаю. Надо спешить». Санька застегнул сюртук и погладил то место, где чувствовал булавку. «Какая к Надьке хорошая пришла. Нет, наша Надька хорошая. Где Надька?» Санька пошел скорей в столовую. Наденька одна за столом допивала свой стакан. Глядела в какие-то карандашные записи.

Наденька глотнула последний раз и стала пальчиками собирать бумажки.

— Надюша, налить тебе еще? — и Санька взялся за кофейник.

Наденька вскинулась глазами.

— Ну, выпей, миленькая, со мной. Ну, полстаканчика. Ну, рано ведь, ей-богу, — и Санька налил Наденьке.

— Понимаешь, мне некогда, — Наденька встала. Санька обхватил Наденьку за талию и насильно посадил ее на стул. Булавка покалывала сильней, и резвой силы не мог удержать Санька. Наденька смеялась, снисходительно, но весело.

— Фу, фу, перегаром!

— Пей, ты пей.

Санька наливал себе, проливал на скатерть, совал Наде сахарницу.

— Я тебя провожу? Хочешь? Ей-богу, мне все равно по дороге. Поправь себе воротничок. Не там, не там, дай я.

Наденька почувствовала первый раз у себя на шее трепетные и бережные руки. Вскинулась на брата и покраснела. Встала, пошла в прихожую. Пусто, жалко стало в столовой. И вдруг из передней:

— Если хочешь, проводи меня до Соборной площади.

Санька бросился надевать шинель. Какая замечательная Наденька у нас!

— Слушай, Надька, — говорил Санька в ухо, — ей-богу, Надька, честное слово, если тебе надо, ты скажи, я тебе помогу.

Надя искоса взглянула прищурясь.

— Нет, серьезно... что-нибудь. Наденька, миленькая, ведь тебя люблю ужасно. Дура ты, идиотка ты форменная, люблю ж я тебя.

— С перепоя! Не дыши на меня. Фу! Ты вот найди мне «Зрительный диктант» Зелинского. Поищи. Да, и вот посмотри там булавку шляпную — в прихожей.

— Какую булавку? — Санька задохся.

— С серебряной головкой, рожки какие-то. Потеряла подруга, прямо неловко. У нас в квартире. Иди теперь. Я одна.

— Ну, иди, иди, — говорил Санька, — иди, милая, — и хотелось вслед благословить ее, перекрестить на дорогу. И он стоял и смотрел Наде в затылок.

Надя обернулась: улыбаясь обернулась и замахала весело ручкой в перчатке, чтоб шел.

Санька повернул с тротуара на мостовую, что окружала сквер у собора. Нянька силилась втолкнуть детскую коляску на обочину тротуара. Санька подскочил, высоко забрал передок коляски и протащил еще шага два по тротуару. Закивал, заулыбался няньке и широкими шагами пошел на Соборную площадь. Дети, новенькие, чистенькие, как на картинках, суетились на песочной площадке. Приказчик важно вертел головой в новой шляпе...

«Чудак какой, — подумал Санька, — и, наверно, очень милый».

Вдруг хриплый крик:

— Не права! Не имеешь!

Санька обернулся. Пьяный сидел на земле. Он обвис на руке городового. Городовой носком сапога стукал его в зад. Ругался, весь красный, стиснув зубы.

— Важжайся с тобой!.. ссстервввa какая!

Кучка прохожих, все по-праздничному одеты, — никто не совался помочь. Санька бегом подбежал. Городовой яростно тыкал ножнами шашки пьяному в бок.

— Убивают! — орал пьяный.

Дети жались к нянькам.

Санька схватил городового за руку.

— Что вы делаете? Разве так можно?

— Действительно безобразие, — сказали в толпе.

Санька подхватил под мышки пьяного. Булавка покалывала тело. Санька с жаром крикнул:

— Да подсобите кто-нибудь! — И двое сорвались на этот крик. Пьяный уж стоял, шатаясь, на ногах. Он оборотил мутную голову к городовому.

— Что ты, сукин ты сын, анафема...

— Ругаться! Ты мне еще ругаться, — городовой, пыхтя, сунулся к пьяному.

— Да бросьте, бросьте! Брось, я тебе говорю, — крикнул Санька. — Я его отведу, — и дернулся, держа пьяного под руку, вперед. Кто-то помогал, потом пустил.

— Морду ему надо разбить, — хрипел пьяный и, спотыкаясь, рвался назад. Все смотрели, как волок студент растерзанного человека. Пьяный, по виду мастеровой, плевал тягучей слюной и, заплетаясь, бодал воздух.

— Где вы живете? Живешь, говорю, где? — теребил его Санька.

Городовой издали следил, как идет дело. Отряхивал шинель после возни.

Санька подсаживал мастерового на извозчика.

— На Слободку кати, — крикнул пьяный.

Извозчик тронул.

— Моррр-ды поразби... туды их в кадушку... — и мастеровой грозил в воздухе пьяным кулаком. И вдруг обмяк, согнулся вдвое и заревел, замотал головой. — Какое же право... — Санька крепче ухватил его за талию. — Стой, стой, — рвался мастеровой в слезах. — Я ж ему...

— Ничего, ничего, сейчас дома будем, — утешал Санька.

— Где живешь? — обернулся извозчик.

— Голубчик, товарищ дорогой, — говорил Санька и сам чуть не плакал с пьяным. Мастеровой, нахмурясь, старался удержать взгляд на Санькином лице.

— Где живешь? — кричал с козел извозчик.

— Петропавловская, — бурчал мастеровой.

Уж по мягкой, пыльной улице болталась пролетка. Въехали в Слободку. Мастеровой обнял Саньку и горланил песню. Вдруг извозчик стал. И прямо из-за лошади вышел городовой.

— Чего безобразите? Поворачивай в участок. — Городовой вскочил на подножку, покачнул пролетку.

— Слушайте, городовой! Ведь он сейчас тут живет. Я его везу домой. Я скажу, он не будет кричать.

Мастеровой хмуро глядел на городового и молчал.

— Так вы, господин студент, глотку ему зажмите, а то выходит — скандалите. А еще студент.

Городовой слез на землю и сказал:

— Трогай.

В этот момент пьяный прицелился глазом и рывком содрал номер у городового с фуражки: городовой едва успел придержать, чтоб не слетела.

— Стой! — заревел городовой. Он прыгнул на пролетку, давил коленом живот мастеровому, он совсем навалился на него, а тот, переломившись через задок, выл и вертел в воздухе рукой, сжимая бляшку.

Люди от дворов надвигались. Они шли все быстрей, чем больше их подходило.

Один уже бежал впереди, кивая головой на извозчика.

— Пошел, — крикнул городовой. — Гони!

Извозчик дернул. Пролетка металась по рытвинам, городовой выворачивал у мастерового бляху, и в кровь резала пальцы жестянка. Санька путался руками, поддерживал мастерового, лицо у того уже было в грязной крови, городовой совал ему клок шинели в рот и хрипел:

— Ты поори, поори ты, сволочь. Погоди у меня!

Пролетка стала у участка. Дежурный городовой сбежал с крыльца. Городовые разом сдернули мастерового с пролетки, тянули его за шиворот к воротам участка. Пьяный выл, упирался и, раскорячась, скользил подошвами по панели. Городовые молотили ножнами. Санька кричал что-то. Городовые с пьяным исчезли в калитке ворот. Извозчик тянул Саньку за рукав:

— Плати, барин. Что ж, полтинник следует.

Санька на секунду запнулся, полез в карман.

Калитка хлопнула, брякнула щеколдой, слышно было, как глох за воротами пьяный, обиженный вой.

Извозчик отпахнул синюю полу, стали видны деревенские порты.

— Пешком не попал, так на дрожках приехал. Не миновать, значит, судьбы. — Он, не спеша, запахивался на облучке.

— Какие сволочи! — Санька толкался в воротах, потом бегом бросился на крыльцо, вбежал по лестнице. Запах сапог, пота и бумажной затхлости стоял в дежурной. За барьером у стола сидел молодой квартальный. Другой — пристав — боком протискивался из-за барьера, задирая живот. Городовой, тот самый городовой в фуражке без номера, вошел красный, запыхавшийся.

— Ваше высокородие, номер идол сорвал.

— Это черт знает что! — крикнул Санька. — Бить пьяного человека. Это...

— Не кричите, молодой человек, — строго сказал старший. — Здесь не университет. Говори, в чем дело, — обернулся он к городовому.

— Вот и студент с ним. Обои на извозчике. Скандал на всю улицу. Я стал резонить. А они номер сорвали.

— Кто сорвал?

— Да с мастеровых, видать. Завели его.

— Дать! — строго крикнул пристав. — Ступай. А вам чего?

— Так нельзя же бить человека.

— А что ж ему медаль за это повесить прикажете?

— Я требую, — говорил, захлебываясь, Санька, — требую...

— Разберитесь, чего там требуют... А вам стыдно-с с мастеровыми пьянствовать, молодой человек!

Очень просто

ТАЯ стояла с подругой у самого барьера. За барьером провал, и там музыканты. Антракт сейчас. Усаживаются. Инструменты пробуют. Суета звуков. Тая стоит боком к барьеру, одну руку положила на плюшевые перила и невпопад кивает головой на разговор подруги, а боком глаза видит его, Израиля. И чем больше видит, больше краснеет. Уж вся красная стоит и, задыхаясь, говорит подруге, как придется: «да... да... нет, ну да», и вдруг не было сил удержать глаз и боком скосилась в оркестр. Израиль глядел, прищурясь, и вдруг закивал и заулыбался. Улыбнулся и стал на минуту похож на доброго старика. Тая кивнула вниз и, не поднимая головы, пошла, скорей, скорей, и потянула подругу. Ей страшно стало, как будто все, все уже сделалось. И стыдное, и страшное, и такое кружительное. И все равно было, видела ли подруга. Она тянула подругу по коридору за руку и давила руку ей со всей силы, та крикнула:

— Тайка, да брось, — и выдернула руку. — С ума сходишь! Кольцо! В кровь!

Зазвонили, вытек народ из коридора, а Тая все сидела на грязном, противном диванчике. Пылью, пудрой и застывшим гомоном стоял вокруг душный воздух. И у Таи одно только кружило внутри широкими кругами: все уж кончено, и куда же теперь идти? И как будто нельзя никак домой. И дом не стал вдруг домом. Они там живут — старик, и мама лежит. Капельдинер прошел, покосился, нагнулся, поднял бумажку. И вдруг по ко-

ридору голоса, шаги. Громкие, хозяйские голоса. И Таинька двинуться не успела, как мимо прошли двое с футлярами, и за ними спешил он, Израиль, в котелке, с поднятым воротником. Он сощурился на Таю и вдруг стал, сделал шаг к ней и сказал просто, будто давно знаком:

— Что вы не идете в зал? В последнем же действии самое убийство. Вы же здесь ничего не можете видеть. Что?

— Сейчас, я сейчас, — говорила Тая, будто извиняясь.

— Что сейчас? — говорил Израиль. — Вам что-то сделалось? Нет? Уже начали. Так это — плевок. Антон, — крикнул Израиль капельдинеру, — проведите барышню, где им сидеть.

Антон не спеша подошел.

— Пожалуйте, провожу.

— А что здесь сидеть? Тсс! Стой, Сеня! — крикнул Израиль. Он тронул котелок рукой, кивнул Тае и побежал за товарищем, забирая на ходу левой ногой.

Тая сидела в темном зале, и все, все внутри горело горячей кровью. Она часто дышала, ей было и страшно, и стыдно, и зачем он отвел ее сюда? Куда ей идти? И загорелся свет, хлопают, и надо уходить. Улица — и Тая первый раз подумала: «Куда же повернуть, чтоб домой?» Она медленно шла, нога за ногу. Вот она какая, наша улица, — как будто и не видала прежде. Закрытым, упористым показался ей дом. Тая постояла около калитки и чуть не постучала. Потом сразу схватилась, нажала щеколду и горькими шагами застучала по мосткам к крылечку.

— Ты, Таиса? — окликнул старик.

— Да, я, я, я! я! — досадливо твердила Тая.

— Я! Я! — еще у себя в комнатушке шептала Тая. Легла на кровать, не раздеваясь, не зажгла свечу.

— Я! Я! — твердила Тая и не замечала, что слезы капают на подушку.

— Ну и что ж, что я? — сказала Тая грубо, как будто ругалась с кем, и села на кровати.

И тут вдруг снова круглыми, горячими волнами задышало внутри, и стал перед ней Израиль, как был там в коридоре, когда подошел и прищурился на нее. Таинька дышала, работала грудью, широко и часто, и глядела в темно-синее ночное окно. Мелкий снежок сеял мимо стекол, как будто подгонял время. Тая смотрела на этот спешный лет, и на нем шло все с того самого мгновения: Израиль совсем, совсем добрыми глазами светил из прищуренных век. Ну да. Ну да, так же оно было. Смот-

рел и говорил: «Милая! зачем ты здесь сидишь? Я не хочу, чтоб ты здесь сидела. Одна в пустом коридоре». Хотел руку подать. Нет, при людях не надо. Сберег на потом. Приказал Антону посадить и посмотрел, как Антон дверь распахнул в темный зал.

«Нельзя же, нельзя входить. Никому! А он велел. Он, может быть, сам хотел войти и сесть рядом, близко, близко. Но ведь в пальто, с флейтой... И товарищи смотрят, ждут. И как он просто сказал. Какой милый. Милый, милый...»

Тут мысли стали, и только один снег, чистый, белый, сеял и сеял вниз вдоль стекол и гнал дальше и дальше волнение. Безостановочно, неудержимо гнал и, казалось, нес едва заметными волнами. Тая, не отрываясь, глядела на снежное окно, и нес, нес ее снег, и теплая радость прильнула к груди, и Таинька прижала руку к бархатной вставке, как тогда на концерте.

— Ты чего же не спишь? — Тая вздрогнула. В черных дверях серой тенью стоял отец. Мутнела белая борода. — Первый час. — Он вынул из жилета часы, ничего не было видно, но старик открыл и щелкнул крышкой. — Что ты за манеру взяла?

Тая смотрела на серого отца и молчала. Старик сделал шаг и присел на скрипучую кровать. На Таю пахнуло родным табачным духом прокуренной бороды. Старик молчал, и только слышно было, как шелестела в руках бумажка, — сворачивал папиросу. При спичке на минуту глянула Тая на отца. Он насупился на папиросу больше, чем надо, вздохнул дымом и засветил в темноте острый огонек. Отошло синее окно с белым снегом, и грузно на землю легло время.

— Что он тебе пишет?

— Ничего, — едва сказала Тая.

— Как ничего, а письмо? Не видала? — Старик поднялся и шлепнул рукой по столу, сразу сцапил конверт. — Не видала?

Тая взяла дрожащей рукой письмо. А старик звякал стеклом, зажигал лампу.

— Да подойди ты к столу.

Тая смотрела на адрес и не могла узнать почерка. Неужели он, он написал? И она не вскрывала конверта.

— Читай, не томи! — сказал отец. Он поднял фитиль, и лампа будто открыла сонный глаз, — осветила стол и трепетную Таину руку. — Он ведь квартальный, околоток... Виктор-то наш.

— Сейчас, сейчас! — Тая выдохнула широко и злыми пальцами разорвала конверт.

— Читай, читай все, что за секреты. Ох уж эти секреты. Вот они, секреты-то. — И старик вздохнул дрожащим вздохом.

Тая ничего не могла прочесть. Она шептала слова губами и ничего не понимала.

— Ну, дай я. Можно? — с горьким укором сказал старик. Он уж приладил очки, взял письмо.

«Милая Тайка! Я женюсь, — читал Всеволод Иванович, — на Аграфене Петровне Сорокиной. Знаешь Грунечку, тюремного дочку? Через неделю, значит, 23-го числа, наша свадьба. Приезжай непременно. Стариков приготовь. Мама, я знаю, — ничего. А старик все, наверно, на меня недоволен. Ты им скажи, что она замечательная какая, Грунечка, ей-богу! Ты же ведь знаешь. У меня теперь квартира — все новое, и полы и обои замечательные. Одни, как ты любишь, полосатые, вроде, помнишь, как у Милевичей были. И лампы все электрические, как в театре. Замечательно! Приезжай непременно. Деньги на дорогу я тебе послал. Если в понедельник выедешь, вполне поспеешь. Сейчас иду покупать коврик. Один наглядел — зеленый, замечательный. Так приезжай, Тайка, жду.

Твой Виктор».

Затем шел адрес и приписка:

«Маме тихонько скажи, она благословение пришлет. Грунечка ее очень любит. А меня ты теперь совсем не узнаешь. Прямо шик адский».

И тут была подпись барашком с кудрявым росчерком:

«В. Вавич».

Может быть

ВТОРОЙ день уж шел, а Башкин все еще думал: вот вернулся офицер, а Башкина прогнали. И он этим крутым голосом: «Кто смел? Кто это распорядился?» — и даже топнул ногой со шпорой. Башкин сам останавливался в камере и слегка топал ногой и чуть вверх подбородок.

«Может быть, генерал его услал куда-нибудь? Сразу же вызвал и послал. У них ведь по-военному. А эти мерзавцы, хамы эти, обрадовались. И теперь еще больше шпыняют».

И он слушал со злостью, с задавленной яростью, как лениво, нарочно лениво, издевательски, стукали в коридоре каблуки.

«А может быть, все это нарочно? Все подстроено?» Башкин присаживался на минуту на койку, смотрел в упор на столик и в сотый раз ясно, отчетливо слышал голос офицера: такой культурный, такой мелодичный, немного грустный.

«Не может быть, не может, не может», — выдыхал воздух Башкин, вскакивал и ходил, плотно увернувшись в пальто. Офицер непременно скажет: «Почему же вы не потребовали меня, не сказали, чтоб мне напомнили? Просто бы заявили, что... Вы даже не попытались!»

«Надо постучать, просто постучать в двери, — Башкин делал два шага к двери, быстрые, решительные. — Постучать, — шептал Башкин и поворачивал в угол, — постучать и сказать: Я прошу... Я прямо требую...» — и Башкин ускорял шаги, он все быстрее метался от угла к двери.

Шаги в коридоре удалялись.

«Да, просто постучать», — и Башкин уж не шел, а разбегался к двери. Он стукнул. Стукнул, размахнувшись, но ударил дрябло и сейчас же отбежал в угол.

— Да ведь, черт его дери, в самом деле... в самом деле, черт его совсем подери, — захлебываясь, вслух говорил Башкин и неверной рукой снова стукнул косточками кулака.

«Черт же возьми, действительно» — задыхался на ходу Башкин. Он все шире и шире шагал, он распахнул пальто.

Шаги по коридору стукали теперь у его двери.

«Да что же это в самом же деле, чертовщина какая, в самом деле». Башкин сделал даром три оборота по камере, и сам уж не разбирая, что бормотал, он стукнул костяшками в дверь.

Шаги тверже застучали в коридоре. Башкин стоял в углу и, затаив дух, ждал. Шаги стали у его двери. Скрипнул глазок, и замигал едкий глаз без брови. Башкин, не дыша, глядел на дверь. Забренчала связка. Повернулся ключ. Башкин окаменел в углу. Надзиратель не спеша подступал, целясь прищуренным глазом на Башкина. Оставался шаг.

— Я господина... офицера... просил сказать...

— Ты стучать, сволочь? — процедил с шипом надзиратель и глянул одну секунду, — Башкин увидел, что все может быть, все.

И похолодало под ложечкой, и в ту же секунду надзиратель стукнул Башкина коротко, резко за ухо. Башкин свалился, он тихо ахнул и держался тряской рукой за холодный пол.

— Рвань паршивая! — крикнул надзиратель и толкнул ногой Башкина в грудь.

Башкин плюхнулся в угол и сидел, раскинув на полу ноги. Надзиратель нагнулся и — все полушепотом — сказал:

— Я тебя выучу, суку, выучу! — И два раза стукнул Башкина по носу ключом.

Башкин не знал, больно ли, Башкин не заслонился рукой — руки обвисли, как мокрые тряпки, и мертвые ноги, как чужие, лежали на полу. Брюки с сапогами. Надзиратель не спеша вышел и щелкнул замком.

Башкин сидел недвижно, сидел несколько минут и вдруг завыл. Завыл собачьим голосом. Он сам испугался, что у него может быть такой голос. Он стал всхлипывать, он вздрагивал, икал всем телом. Он упал совсем на пол, ему давило горло, и с хрипом еле прорывался воздух. Он бился в углу, и ему хотелось скорей, скорей умереть от этого удушья.

Первый раз в жизни с ним была истерика, и он не знал, что от нее не умирают.

Через час всхлипывания стали реже, вольней. Башкин со страхом заметил, что проходит, проходит! Он сам поддавал ходу этим спазмам. Но они уж устало поднимались реже и реже.

Он оглядел камеру. Что это? Башкин привстал: койки не было. Совсем, совершенно не было. Он понял, что ее вынесли, вынесли тогда, когда он бился в углу на каменном полу.

Башкин старался свести дрожавшие челюсти, ему хотелось стиснуть зубы. Они прыгали, бились. Башкин судорожной рукой рвал под пальто рубаху, лежа на полу. Он рвал ее полосами, не глядя. Рука верная и хваткая, как не его рука, сама рвала эти полосы, связывала, скручивала в веревку. Он наслаждался, он со страстью рвал подкладку на пиджаке, на пальто. Рвал и скручивал, свивая жгутами, жгуты связывал. Сторожил глазок в дверях. Он приладил петлю, обмотал вокруг шеи. Тепло, благодарно и так утешительно было, когда облегла матерчатая веревка вокруг усталого от рыданий горла. Он стягивал ее туже и туже, с сладострастием обтягивал вокруг шеи. Башкин искал глазами, куда бы прицепить свободный конец жгута. На грязных стенах не было ни гвоздя, ни выступа. До окна не достать. Стол, стол! И Башкин мерил глазами, сколько надо еще веревки, чтоб обмотать вокруг стола, что торчал из стены.

Он подполз к столу с туго обтянутой вокруг горла петлей, быстро обмотал и привязал под самый край себя за шею. Он лег спиной и постепенно обвисал всем телом. Петля держала и мягко, сладостно давила. Башкин отлег еще. Дыхание судорож-

но рвалось в груди. У Башкина слезы стояли в глазах. И вдруг он почувствовал, что он падает, веревка рвется, тянется, и Башкин громко стукнулся затылком о каменный пол. И в тот же момент затопали шаги у двери. В камеру вошли двое — и тот маленький, что тогда еще грозил связкой ключей.

— Ты вот что, ты вот что! — слышал Башкин шипящий шепот. — Ты вешаться, стерва, вешаться!

Башкин закрыл глаза. Рука схватила его за волосы, приподняла. С него рвали петлю. Башкин крикнул. Но его ткнули лицом в чьи-то суконные колени.

— Стягай с его все!

Башкин вертелся, вился. За волосы его крепко держал надзиратель и давил лицом в шершавые колени. Другой срывал с него одежу, сапоги, порванное белье.

— Я и шкуру с тебя, рванина собачья, сдеру, и шкуру!.. — И Башкин взвизгнул: связкой ключей огрел его по заду надзиратель. — Ты мне вешаться, вешаться. Молчать, анафема, молчать мне.

И он шлепал Башкина связкой по голому телу.

— Пикни мне — шкуру сдеру! — заскрипел старший. И встал. Но Башкин не слышал. Он лежал на полу голый и слабо ныл, как человек без памяти.

Бубенчики

С НЕБА падал веселый мягкий снег. Первый настоящий снег. Старик Тиктин надел свою боярскую шапку, глянул в зеркало, поправил и вышел на службу. И сразу из дверей белая улица глянула веселым белым светом. Новым, радостным. Тиктин глядел на снежинки, они не спеша падали, как напоказ. Тиктин бодро захрустел по песку на тротуаре. Извозчик, весь белый, процокал подковами мимо, и кто-то поклонился с извозчика. Тиктин заулыбался и радостно взялся за любимую шапку. Совсем другая стала улица, другой какой-то белый город. Опрятный, чистый, заграничный какой-то. На углу мальчишки бросались снежками и притихли, пока пройдет борода и бобровая шапка. Тиктин улыбался мальчишкам, весь уж в снегу. Глуше стал стук, и звонче голоса. Вся улица перекликалась, и стоял в белом снегу беззаботный звон извозчичьих бубенцов.

6—3207

— Барин! Барин! — Как звонко Дуняша догоняет, в одном платке, красная, прыгает через снежные наметы. — Портфель забыли! — И смеется лукаво, будто сама для шутки спрятала.

— Ах, милая! Не простудитесь. Бегом домой!

— И вот записка вам, — говорила, запыхавшись, Дуняша.

Андрей Степаныч взял бумажку, сложенную, как аптекарский порошок.

«А. С. Тиктину» — карандашом наискосок.

Тиктин снял перчатку и на ходу стал читать.

«Слушай, папа: мне дозарезу нужно десять, понимаешь, десять рублей. Я зайду в банк, можешь дать?»

Санькин почерк. Тиктин не нахмурился, а, глядя на белых прохожих, говорил:

— Кто это его там режет, скажите, пожалуйста?

— Свезем по первопуточку? — нагнал извозчик дробным звоном. — Ей-богу, свезем, ваше здоровьице, — и махом показывал на сиденье варежкой.

Андрей Степаныч потоптался с минуту, тряхнул бобровой шапкой:

— Вали!

Зазвенели густо бубенцы, залепил снег глаза.

— Куда ехать-то, знаешь?

— Помилуйте, знаем, кого везем. В «Земельный», стало быть?

«Извозчики даже знают, — подумал Андрей Степаныч. — Однако!»

В вестибюле банка пахло теплотой, и от мягкости снежной за дверями было уютно, и новое, новое, что-то хорошее начинается. Андрей Степаныч улыбался опоздавшим служащим, а они рысцой взбегали мимо него по лестнице.

— Тоже дозарезу, наверно, — говорил Андрей Степаныч, — зарезчики какие развелись.

Наверху в зале тихо гудели голоса и метко щелкали счеты.

Андрей Степаныч прошел за стеклянную перегородку. В ушах еще стояли бубенцы, и щеки просили свежего снега; и Тиктин все улыбался и кивал на поклоны служащих, как будто бы поздравлял всех со своими именинами. И говор стал слышней, и круче чеканили счеты, как веселая перестрелка.

Тиктин вошел в шум, и завертелся день.

Завтрак мягко перегибал день. Перегибал мягким кофеем, пухлыми сосисками с пюре. В это время к Андрею Степанычу

в кабинет курьер никого не допускал целые четверть часа. Тиктин придерживал стакан одной рукой, другой разворачивал на столе свежую, липкую газету. И сразу же тысячью голосов, криков и протянутых рук ворвалась газета. Толпились, рвались и старались перекричать друг друга: «За пять рублей готовлю... Все покупаю... Даю... даю... Умоляю добрых людей!.. Нашедшего...» — хором ахнула последняя страница. Тиктин прошел как через сени, набитые просителями, и раскрыл середину. Изо всех углов подмигивали заглавия: «Опять Мицевич», «О Розе на навозе» и подпись: «Фауст». Оставалось пять минут, и Тиктин искал, что бы прочесть с папиросой. «Земельный... — Тиктин насторожился: — ...национализм»... Земельный национализм? — Тиктин поправил пенсне на толстом скользком носу.

«Конечно, все можно объяснить случайностью, — читал Тиктин. — Даже нельзя решиться назвать человека шулером, если он убил десять карт кряду. Случайность... Случайно могут оказаться вместе и сто двадцать восемь человек одного вероисповедания. Даже в самом разноплеменном городе. Не подумайте, пожалуйста, что это церковь, костел или синагога... Это даже не правительственное учреждение и не полицейский участок! Это коммерческое... ой, извините: это даже претендующее на общественность учреждение. Учреждение, которому...» Тиктин начинал часто дышать, побежал дальше по строчкам: «...Каков, говорят, поп, таков... Это наш «Земельный банк», роскошное палаццо... Нет, это русские хоромы с хозяином в боярской шапке, с боярской бородой, а вокруг — стольники и подьячие. Где уж тут поганым иноверцам! Бьем челом...»

«Фу ты, черт! — и Тиктин сдернул пенсне, ударил по газете. — Мерзость какая!»

Действительно, большинство служащих были русские. Было несколько поляков, немцы, был даже латыш, но евреев в «Земельном банке» не было ни одного.

— Почему я обязан? — сказал Андрей Степаныч в газету.

Курьер просунул осторожно стриженую голову в дверь:

— Можно?

— Сей-час! — зло крикнул Тиктин через весь кабинет.

«Что же это, реверансы все время? — и Тиктин улыбнулся иронически-вежливо запертой двери и сделал ручкой. — Расшаркиваться прикажете? Так?»

Тиктин вспомнил свою речь в городской Думе; он отстаивал земельный участок под еврейское училище. Он щегольнул

юдофильством: внятно и с достоинством. И как потом ему улыбались в еврейских лавках и кланялись на улице незнакомые люди! В «Новостях» полностью напечатали его речь.

«Да почему это передовитость меряется еврейским вопросом? Да скажите, пожалуйста! Так эксплуатировать свою угнетенность!» Тиктин встал, сложил газету и шлепнул ею по грязной тарелке.

— Претензии какие, — сказал он громко.

— Александр Андреевич спрашивают... Просить? — вынырнула курьерова голова.

— Дмитрия Михайловича ко мне, бухгалтера!

Тиктин ходил по ковру мимо стола и подбирал аргументы.

«Бесправие? Да, пожалуйста, пожалуйста, возьмите вы ваши права, пожжжалуйста!»

И ему хотелось швырять все вещи со стола, все, все до одной — как будто он кидал права.

«Пожалуйста, ради Бога, и еще, еще!»

И хотелось выворотить карманы брюк: «Получайте! И тогда уж...»

Ему чудилось, что у него сзади болтается какой-то хвост, тесемка, за которую его можно дергать, вроде косички у девочки, за которую ее треплют мальчишки.

Он взял грязную газету и, пачкая руки в пюре, стал искать подпись: «Homo».

«Скорей бы Дмитрий Михайлыч!»

— А вот, слушайте, Никитин векселя выкупил?

— Да, известили, Андрей Степаныч, — и Дмитрий Михайлыч кинул веселый глаз на «Новости».

— Да! Читали? — спросил Тиктин, как будто сейчас вспомнил про статью. — Полюбуйтесь! — и ткнул к самому носу бумагу.

— Да чепуха! Наверно, у него брат без места.

— Так, извините, ведь это же печать, это же имеет общественное значение. — Тиктин наступал на бухгалтера и бил тылом руки по газете. — Национализм? Озол — русский? — Тиктин сделал грозную паузу. — Хмелевский — русский? Я спрашиваю. Дзенкевич, Мюллер, Анна Христиановна? Так вот, не видеть этого, — чеканил слова Тиктин. — Это скажите мне: чей национализм? Тех, кто только одну свою нацию и видит. Так зачем врать-то? — И Тиктин потряс скомканной газетой у самого носа бухгалтера и решительно, комком, швырнул газету под стол.

Бухгалтер смеялся.

— Я горячусь, потому что пошлость, пошлость сплошная, — говорил, переводя дух, Тиктин. И толкнул газету ногой.

— Да вы спросите, — все смеясь, говорил бухгалтер, — вы их спросите: есть ли хоть один русский в конторе у Брунштейна, у Маркуса? Да пойдите — найдите хоть одного русского приказчика хотя б у Вайнштейна.

«Мысль!» — подумал Тиктин. И как будто отлегло. И он сказал добрым, резонным голосом, как будто от усталости;

— Да нет, помилуйте, итальянцев я ж могу ругать? Даже ненавидеть! А тут почему-то обязан все время под козырек, — Тиктин вздернул плечом.

— Да наплюйте, Андрей Степаныч, ей-богу.

— Да нет! Наплевать, конечно. Но если вся наша общественность вот в этаком вот... — и глянул под стол. — Так, значит, Никитин извещен? — сказал Андрей Степаныч, садясь за стол. — Отлично.

Бухгалтер вышел.

— Просить? — просунулся курьер.

— Погоди, — Тиктин встал, обошел стол и, оглянувшись на дверь, поднял газетный ком и засунул в корзину.

— Почему я обязан? — говорил про себя Тиктин, выходя из кабинета.

— Александр Андреич были, — подошел курьер.

— Где же? Когда? — сказал Тиктин, оглядываясь.

— Я спрашивал, — завтракали, не велели принимать.

— Ну? — спросил Тиктин, раздражаясь.

— Пождали, пождали и ушли.

— Фу! Глупо как, — и Андрей Степаныч нахмурился. Вспомнил записку: «десять рублей дозарезу». — Обиды уже? Здрассте, не хватало, — бормотал Тиктин, шагая. — Да почему я обязан, черт возьми? — и Тиктин повел плечами, будто сбрасывал тулуп.

Он, нахмурясь, вошел в зал. Взглянул на служащих, на спину бухгалтера и сейчас же сделал беззаботное лицо.

«Еще подумают, что из-за этой ерунды хмурюсь».

По дороге домой Тиктин твердо смотрел перед собой и тщательно, не спеша, отвечал на поклоны. Шел, чувствовал свою широкую бороду, будто ему привесили ее всем ее волосатым объемом. Тиктин, не поворачивая головы, осторожно трогал глазами лица прохожих.

«Действительно, сколько еврейских лиц?» — подумал Тиктин, в себя, под шубу.

Не буду

— ВЫ ЗАНИМАТЬСЯ? — спросила Таня. Филипп топтался на коврике, вытирая ноги и в полутемной прихожей взглядываясь в Таню. Таня шагнула и подплыла по скользкому паркету. Повернула выключатель и упором глянула Филиппу в глаза. — Заниматься? — А сама так подняла брови, как будто в ответе вся судьба Филиппа.

В квартире было по-пустому тихо. Филипп поглядел на свои ноги и еще раз ковырнул половик.

— А что? — сказал, наконец, Филипп, передохнув.

— Говорите прямо: заниматься?

Таня была в блестящем черном шелковом платье — как в доспехах. Красным огнем горела на груди брошка. Змеей бегал свет на черных тугих рукавах.

Филипп покраснел.

— А что, ее нет? Не будет нынче? — И Филипп глядел на Танины волосы, зачесанные, ровного орехового цвета. И Филипп видел, что их нельзя тронуть, что, как на картинках, не для него.

Таня молча глядела, как краснел Филипп, потом повернулась и кивнула подбородком на дверь:

— Сядьте там и подождите. — Повернулась, пошла тонкими каблучками по зеркальному паркету, и черным факелом шло внизу отражение. И Таня пропала в зеленом мраке коридора. Филипп шагнул в темную дверь, нашарил на притолоке выключатель. Вспыхнул свет, и сразу встали вокруг богатые кресла, блестящий полированный стол на фигурных ножках, атласный диван, стеклянным пузырем вздулись часы на камине.

Филипп сидел на кончике кресла со своими серыми книгами и смотрел, как тихо стояли пальмы со строгими листиками. Он прислушивался, не стукают ли Танины шаги. Но было совершенно тихо. Прошло минут пять. Волшебно блестел полированный рояль в углу, и стол гордо, высокомерно ставил на паркет каждую из четырех резных лап.

«Большое дело, подумаешь», — тряхнулся Филипп. Он потянулся к столу и стал перекидывать толстые страницы альбома. Важные господа и дамы глядели со страниц. Филипп с опаской опрокидывал страницы дальше и дальше. Искал, искал — вот она. Таня глядела с портрета прямо в глаза, открыто и просто. Филипп повернул альбом поудобнее.

«Вот с такой бы...» — подумал Филипп и сказал вполголоса:

— Нет, почему — заниматься?.. А спросить просто напиться, это всюду можно. — Филипп встал, вышел в коридор и громко зашагал туда, куда скрылась Таня. Он шел по темной комнате, где-то впереди ему мерещился мутный свет. И вдруг из темноты веселый голос:

— Вы чего ищете?

— Да напиться, — сказал Филипп, и слышно было, что улыбался.

— Хотите с вареньем?

И Филипп слышал, как зашуршало шелковое платье. Зашуршало, повторяя, обозначая ее движения в темной тишине. Легко стукнули каблучки, как будто одни туфельки шли без ног, и на Филиппа пахнуло запахом духов. Томным запахом и свежим, будто что вспоминаешь хорошее. Таня в темноте звякнула графином, еще чем-то, и вот зазвонила, запела ложка в тонком стакане.

— Пейте. Попадете в рот? Вот, вот, берите.

Филипп захватил Танины пальцы со стаканом и чуть — самую малую чуточку — придержал в своих.

В это время заурчал слитной дробью звонок в прихожей. Таня выскользнула в двери, Филипп вертнулся ей вслед и видел в полутемных дверях ее силуэт. Мутным блеском полохнуло на повороте шелковое платье.

Филипп глотнул и, нащупав стол, поставил стакан. Он совсем красный вышел в прихожую к Наденьке. Тани уж не было.

— Давно? — спросила Наденька, скалывая с прически мокрую шапочку. — А книжки?

Филипп прошел в гостиную.

— Сидели альбомы разглядывали, как у доктора в очереди? — говорила насмешливо Наденька и, прищурясь, глянула в открытый альбом. Танины глаза упрямо в упор глядели с карточки. Филипп быстрым пальцем закинул крышку.

Наденька ходила за спиной, плотно ступала, не шуршала на ходу юбка, и мокрые Наденькины виски весело блестели, когда она подсела к Филиппу.

Она повторяла что-то, слегка потряхивая книгой перед глазами Филиппа. Филипп не понимал слов, хоть повторял их за Наденькой, и вдруг услыхал совсем издалека просящую, терпеливую ноту:

— На вопрос «что делает?» — «купается» — мягкого знака не надо, не надо, не надо ставить!

И само у Филиппа в голове кончилось:

— Не надо, Филенька.

И Филиппу вдруг стало стыдно и захотелось положить голову — на шерстяную кофточку, на эти серые пуговки — щекой и говорить:

«Ну, не буду, не буду, больше никогда — вот ей-богу — никогда не буду».

Филипп встал и, шагая по комнате, стал приговаривать:

— Не пишется, не пишется. Ага! Не пишется.

Встала и Наденька и насмешливым уж тоном спросила:

— Что это нынче с вами? Может быть, вам уж надоело? Тогда не надо, не будем, — и сощурилась, чуть подняла головку.

Сухим горлом говорила Наденька: «тогда не надо». Строго глядела в глаза Филиппу. Строго и с болью.

— Может быть, не надо? Бросим?

— Да я ведь нынче только, как это, черт его, — Филипп с натугой улыбнулся, ему хотелось скорей шагнуть, подойти ближе к Наденьке. Но не мог, будто протянулась рука и не пускает. Он не смел оттолкнуть эту руку в сторону, стоял, вертел в жгут свою тетрадку и то взглядывал в пол, то снова в глаза Наденьке.

— Да я... — начал Филипп и стукнул мятой тетрадкой по столу.

— Вы подумайте, — перебила его Наденька. — А сегодня мы больше заниматься не будем.

Наденька резко повернула голову, хотела идти, и выпала из прически гребеночка и мелко стукнула о паркет.

Филипп бросился и раньше Наденьки поднял. Наденькина ручка схватила гребеночку, схватила жадно, суетливо, как вырвала. Хорошенькая маленькая ручка из белого рукавчика. Ручка всеми пальчиками схватила гребенку, потыкала ее в волосы и приладила там.

Филипп вышел за Надей в прихожую и не знал: раньше ее выйти или потом. Вместе нельзя было. Наденька молча, проворно застегивала пуговки, Филипп надел шапку и озабоченно лазал по карманам тужурки и все думал:

«Спросить, что ли, когда в следующий раз, или уж обождать — на кружке спросить?»

А Наденькины ручки затягивались уж в серые замшевые перчатки. Сейчас, сейчас уйдет. Наденька втаптывала ноги в калоши.

— Чего ж обижаться, товарищ Валя? — и вышло у Филиппа хрипло, басом.

— Одним словом, подумайте и скажите. Прощайте!

Наденька проворно повернула французский замок и хлопнула дверью.

Филипп остался в тихой квартире. Ни шороха, и тоненько тикают часы в гостиной.

И он представил, как Наденька теперь шагает твердыми, обиженными шажками по мерзлому, хрусткому тротуару. А сзади из темной тишины, он чувствовал, идет — черт его знает что. Он глянул назад — мутно зеленела темнота в комнатах, и будто без шума ходит черная тень.

«Догнать, догнать», — вдруг хватился Филипп Наденьки. Вырвался в двери и скатился с лестницы.

На улице катил ветер, всю улицу во всю ширь занял, рвал, нес — никому нет дороги. И на тугом черном небе мигали звезды — сейчас их задует ветер.

Филька сунул за пазуху книги и побежал навстречу ветру. Он пробежал квартал по пустой улице и пошел, запыхавшись, против ветра.

Нет ее! Нет, не видать.

«Да черт! Больно надо!» — сказал Филипп и свернул в переулок. Тут было тихо, и только слышно было, как ходил над головой ветер, громыхал железными крышами, выл в проводах.

Варвара Андреевна

ВАВИЧ начистил ботфорты, натер суконкой. День был ясный, и солнце с неба щурилось пристально на землю. И ласковым блеском плескалось солнце по тонким голенищам. Он шел первый раз в участок, шел представляться приставу. Покачивалась шашка на боку, полоскалась в солнце. Вавич выступал по тротуару и украдкой косился на стекла витрин. И чем больше Виктор взглядывал, тем пружинистей и элегантней шагал. Поворачивался боком, пропускал дам и приподнимал правую руку — не то козырнуть, не то бережно поддержать. Городо-

вые отдавали честь. Виктор деловито принимал, и белая перчатка прикасалась к козырьку. Виктор плыл и плыл, торжественная походка сама несла.

Как рукой, мягко и зыбко подгребала панель подошва, и тротуар упруго уходил назад. Виктор пересек Соборную площадь, чуть запылились ботфорты.

Молча, не рядясь, ступил на подножку пролетки. Извозчик обернулся.

— Куда прикажете?

Виктор, не глядя в лицо, внушительно сказал:

— В Петропавловский.

«Очень, очень натурально вышло», — подумал Виктор.

Очень трясло, но очень лихо подпрыгивали на плечах погоны. Виктор выставил вперед левую ногу, правую подобрал назад, правым кулаком он уперся в сиденье. Когда въехали в Слободку, Виктор почуял, что уж близко, близко.

«Господи, благослови! — молился в душе Виктор. — Господи, ради Грунюшки моей, помоги, Господи». Хотелось перекреститься. Он с радостью закрестился на Петропавловскую церковь.

А вот, вот он, участок. Городовой ходит у закрытых ворот. Каланча. И вот вывеска:

УПРАВЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА

«Не очень ли франтом?» — схватился Виктор. Он поднимался по потрепанной, обшарканной деревянной лестнице. Визгнул блок в дверях. Виктор шагнул, и грубо брякнула сзади дверь.

И сразу запах, кислый запах загаженного пола, прелой бумаги и грязной человечины ударил в лицо. Грузный городовой у дверей потянул руку к козырьку и, насупясь, глянул на Виктора.

Виктор быстро закивал ему головой и махнул белой перчаткой — Виктор искал глазами старшего.

Барьер шел поперек комнаты, липкий, захватанный. Какой-то люд толпился и тихо шушукал у барьера, все без шапок, а из-за барьера над ними торчала старая, обтрепанная полицейская фуражка и хриплый бас покрикивал:

— Не могу, не просите. Да не морочьте мне голову. Ну вас!

Извозчик все приглаживал волосы, вставал на цыпочки и через головы охал:

— Дозвольте ехать, за что страдаю?

— Ты почему ж не за решеткой? — крикнул из-за барьера надзиратель. Все примолкли и глядели на извозчика, глядели

строго, помогали квартальному. Расступились. И тут Вавич увидал надзирателя: опухлую физиономию, свислые седые усы, потертый, засаленный казакин. Надзиратель мимо извозчика уставился на Вавича и вдруг заулыбался: — Вам господина пристава, наверно?

— Мне идтить? — шагнул извозчик и прижал шапку к груди.

— Пошел вон! — буркнул квартальный и улыбчатым голосом обратился к Виктору: — Пройдите налево в кабинет, — и сделал выгнутой ладонью дугу влево.

— Идтить, значит?

— Иди, ступай, дурак, — зашипело кругом.

— Проводи! — крикнул квартальный городовому.

Виктор шаркнул и козырнул. Все обернулись и проводили Виктора глазами до двери.

Виктор прошел канцелярию, — те же вонь и дым, дым. Папиросный едкий дым щипал глаза. Виктор не глядел по сторонам: впереди на матовом стекле черным было написано:

КАБИНЕТ ПРИСТАВА

Городовой присел, придержав шашку, и глянул в замок.

— Стучите! — шепотом сказал он Вавичу.

Вавич постучал, и заколотилось сердце.

Сейчас услышит главный голос — и вот, какой он будет?

«Вдруг сразу злой, ругательный. Наверно, ругательный, — решил наскоро Виктор. — Сейчас рявкнет».

И тотчас услыхал:

— Войдите, кто там? — голос ясный, округлый и спокойный.

Виктор распахнул дверь и шагнул с левой ноги. Шагнул верно и мягко и плотно пристукнул правую пятку. Он сразу вдвинулся в комнату и с рукой у козырька замер перед столом. Стол стоял против двери, и там за столом, с толстенным мундштуком в усах, сидел большой, грузный старик. Он секунду глядел, подняв брови, на Виктора.

— Честь имею явиться, — начал Виктор военным голосом. И старик встал и вынул мундштук изо рта. — Честь имею явиться; по распоряжению его высокоблагородия господина полицмейстера прибыл в распоряжение вашего высокоблагородия.

Старик улыбнулся.

— Фу! Даже напугал!.. Вавич? Господин Вавич?

— Так точно, Виктор Вавич, — отчеканил Виктор и все не отпускал руку от козырька. Это он твердо знал и верил, что не сфальшивит.

— Очень, очень рад, — и старик протянул руку. — Николай Аркадьич прислали?

Виктор снял фуражку, махом сдернул с правой руки перчатку и, пожимая пухлую руку пристава, шаркнул, — и вышло громко, как на бильярде.

— Присаживайтесь, — пристав вставил мундштук в рот. — Курите?

— Так точно, — кивнул Виктор.

— А я вот бросаю, черт его дери, второй месяц бросаю, чертовщина такая, — и вот сосу, сосу вот эту оглоблю, как дурак, — какого черта из нее высосешь? — уж плачущим голосом говорил пристав. — Помог хоть бы кто! Назло дымят анафемы. Давайте вместе. А? Давайте бросать: вы да я. Хоть поддержка. А? Ей-богу! Семечки давайте есть будем? Любите семечки? А я от них хрипну. Голос потом — ну вот, что по лысине щеткой. Что ж, женаты? Гм! Здесь скучновато будет, — старик сощурился. — Это там в городе девочки, у нас заскорузлый товар. Варвару Андреевну давно изволили видеть?

— Кого-с? — наклонился Виктор.

— Варвару Андреевну? Супругу? Супругу господина полицмейстера не знаете? Разве не знакомы?

— Был у господина полицмейстера по приезде, пятого августа-с, — и прибавил: — сего года.

— Значит, того... не знакомы.

— Так только.

— Угум... — сказал пристав, засосал мундштук и бочком глянул на Виктора. И сейчас же деловито уставился в бумаги на столе. Виктор молчал, с фуражкой на коленях.

Вдруг пристав поднял голову и, насупившись, глянул в двери.

— Тогда приступайте, чего ж сидеть? Ничего так не высидишь, сколько ни сиди. Ступайте к дежурному, — и кивнул бородой на двери. — Скажите, что господин пристав прислал в помощь.

— На пробу, что ли! — крикнул уж пристав в спину Виктору.

Виктор вскочил и красный вошел в дым канцелярии.

В канцелярии все на него глядели и, видно, слышали, как крикнул пристав в открытые двери: «На пробу, что ли!»

Окна были пыльные, на подоконниках, как свалка падали, лежали грязные горбы замусоленных бумаг. Со стенки строго глянул бородатый Александр III. Едва белел из копоти кокошник Марьи Федоровны в золотой поблекшей раме. Вавич тол-

кнул в дверях дворника с книгой и вошел в дежурную. Он не глядел теперь по сторонам, а пробивался скорей к усатому квартальному. Совался вдоль барьера, искал входа.

— Сюда, сюда! — позвал дежурный и открыл барьер.

— Господин пристав, в помощь, — бормотал Виктор.

Из-за барьера все глядели на Вавича, глядели с любопытством, как глядят на чужую свадьбу из своих ворот.

— Присядьте, закурите. — Виктор сел за стол. Папироска прыгала в губах. Он так и сидел в одной перчатке. Смотрел в стол и не мог глядеть на народ, что гудел за барьером.

Вдруг голоса замолкли. Виктор не успел поднять головы, как услыхал округлый, ясный бас:

— Все сидите? Покуриваете? Ступайте-ка хоть скажите, чтоб подавали мне.

Виктор вырвался из-за барьера. Хлопнула дверь. Виктор сбежал с лестницы и совался глазами с крыльца. Городовой подбежал от ворот.

— Приставу подавать! — запыхавшись, говорил Виктор. Городовой мотнул куда-то головой, и Виктор услыхал, как неспешно застукали подковы. Без шума, на упругих резинках, двинулась с того края улицы пролетка. Зеленый кучер скосил строгие глаза на Вавича.

А вверху взвизгнул блок, и хлопнула усталая полицейская дверь. Позванивая шпорами, спускался пристав. Не глядя на Вавича, застегивал крючок шинели под бородой и недовольно морщился.

— Подано! — сказал, поровнявшись, Виктор, и сам уж злился, а не мог не сказать. За столом в дежурной он думал:

«Сейчас взять и написать отставку. Цукает меня, сволочь. Зачем при людях?»

Виктор искал, чего бы поделать. Он стал хоть для вида перелистывать бумаги, что лежали на столе.

Дежурный обернулся:

— Пусть, как лежат.

Виктор, как обожженную, отдернул руку.

Виктор не знал теперь, куда глядеть.

«Дотерпеть бы до вечера. Дотерплю, — думал Виктор, — или нет?» Он глядел на перо, что торчало из закапанной чернильницы, и целился. Схватить, написать два слова, и можно бежать, куда хочу, и он смотрел на перо, как на курок, — нажал и конец. Он даже поболтал чернильницу: заряжена ли чернила-

ми? Высмотрел на столе чистый листок бумаги, пересел к краю рядом с ним и прижал рукой.

«Грунюшка, Грунюшка», — в уме повторял Виктор, и очень хотелось плакать.

Вдруг, как сорвавшись, забил во дворе колокол и вслед за ним зашумел тревожный гомон. Все сунулись к окнам. Виктор вскочил и в окно увидал, как пожарные во дворе толкали лошадей, пристегивали постромки, — всполохнулся весь двор, зазвенел, загрохал, и тревожным голосом резанула торопливая труба..

— Во! Во! На извозчика, валите за пожарными. Скорей, скорей, ходом, — дежурный тыкал Виктора в плечо.

Виктор опрометью рванул на улицу.

Пожар спешил, пожар клубил черным дымом над крышами; басом, зычным басом вился черный клуб. Мотался на ветру, на кого бы сунуться, и люди толпой сторонились и шатались на тротуаре. Виктор стоял на подножке пролетки и толкал под бок извозчика.

— Гони, гони! Гони, чертов сын!

Впереди гремела, звонила линейка, и ножом резал воздух медный голос трубы. Вдрызг, в звон, вдребезги все разнесет, летит, дробью, горстью бросает копытами по мостовой. И бегут, отстают взбаламученные прохожие.

Жарь! дуй! — летит бочка. Лестница, насос, скачут тяжелые кони, камни вздыбились, покатились. Неистово бьет колокол.

— Беррегись! — раскатом завернула за угол. Черные прохожие мелись, как пыль следом, — все текло туда, где широким клубом спешил бородатый дым.

В коляске на паре обогнал Виктора брандмайор. В каске, в погонах. Трубач на отлете, на козлах.

— Гони, гони! — вскачь рванула извозчичья кляча.

Пожарные тянут рукава, пыхтит паровой насос, и снопом летят из трубы искры.

— Не напирай, не напирай, говорю! — орет городовой, а толпа густеет, будто хлынула черная вода.

Виктор соскочил на ходу с подножки и бегом бросился к городовым.

— Назад! Назад! Господа! Осади! — гаркнул Виктор, запыхавшись. Городовые оглянулись. Виктор раскраснелся, разгорелся и белой перчаткой тыкал в грудь людей, не глядя в лица.

— Осади! Не напирай! Назад!

Уже трое городовых задами рьяно лягают черный забор людей.

— На тротуар!

И вот первое пламя злой победой рвануло из окна, — и ухнула толпа. Торопливо чукал насос, и поверх гомона ревел женский голос. Что-то бросили из окна, звякнуло, рухнуло. В третьем этаже били стекла, и они с плачем сыпались на панель. Уж слышно стало, как гудел внутри огонь. Заблестела каска в воздухе: пожарный лез по приставной лестнице. Все глядели вверх, как он карабкался. Кто-то выбежал на балкон, глянул вверх и стремглав назад.

И вдруг:

— Дорогу! Полицмейстер!

Коляска парой. Виктор вытянулся, руку к козырьку.

— Безобразие! Всех вон! Очистить улицу, — орал полицмейстер с высоты коляски. — Кто тут?

— Назад! — крикнул Виктор не своим голосом в толпу и схватился за шашку. Передние шарахнулись.

— Пошел! Пошел! — Уж дюжина городовых, красная от натуги, напирала. Толпа не поддавалась. И вдруг высокая фигура в расстегнутой серой шинели замоталась над Виктором. Толпа притихла. Этот человек не глядел никому в лицо, смотрел куда-то поверх и, будто не глядя, тыкал кулаком самых серых. Тыкал будто между делом, походя, равнодушно, но верно попадал в скулу под глазом красным кулаком. Попадал без размаху, спокойно. Он был длинный, высокий, и Виктор не видел его погон. В сумерках при трепетном свете пожара видел Виктор сухое маленькое лицо, слепые глазки, вялые рыжие усы. И все шептали вокруг:

— Грачек, Грачек.

И толпа легко, как пухлое сено, поддавалась, где ее отбрасывал Грачек.

Грачек не говорил ни слова. Рыжая челюсть плотно была прижата. Городовые молча стали вдоль тротуара. Грачек, мотая полами шинели, пошел туда, к пожарным. Он не глянул даже на Виктора, когда тот ему козырнул.

Медь горела ярко на сбруе, на насосе, на касках, и ласково блестела коляска полицмейстера против горящего дома. Молодая дама в кружевной шляпе из-под перчатки глядела вверх на окна на злые языки пламени.

Вдруг рухнула с крыши огненной палкой головня и рассыпалась по мостовой горячими зубами. Кони вздыбились, ку-

чер дергал вожжи, а дама привстала, уцепясь за борт коляски. Виктор подскочил, он вмиг подлетел и уцепился за уздечку. Повис. Фуражка слетела, покатилась.

— Пусти! — орал кучер. Он ударил по лошадям. Вавич отлетел на тротуар, ударился о дерево. Коляска прокатила мимо.

Мальчишка нес фуражку, оглаживая рукавом. Толпа гудела, смеялась.

— Кого там? — знакомый бас. Пристав, старик пристав глядел, как Виктор прилаживал фуражку. — Опять вы! — И пристав отвернулся.

Виктор протиснулся в толпу, расталкивая публику. Все реже, реже стоял народ. Сзади чухал насос, трещал пожар, красными вздохами полыхала улица, а Виктор на тряских коленках шагал, шагал, шашка болталась спереди и била ногу.

В гостинице швейцар низко снял шляпу. Виктор не глядел. А швейцар бежал за ним по лестнице и говорил что-то, совал в руку.

— Да послушайте, господин надзиратель.

Вавич стал. Зло сжав зубы, глядел на швейцара.

— Телеграмма-с, господин надзиратель.

Вавич зажал телеграмму в руке и бросился в номер.

«Встречай завтра 8.40 утра. Груня».

— Грунечка, Грунечка, — шептал Виктор и прижимал бумагу к лицу. — Грунечка, все тебе скажу. Грушенька, милая ты моя.

И ему хотелось закутаться в Грушенькину теплоту, во все ее мягкое тело, завернуться, ничего б не видеть. И он крепче прижимал к лицу телеграмму и закрывал глаза.

Догорела свечка, а Виктор все сидел, не раздеваясь. Он положил руки на стол и лег на них головой, с телеграммой под щекою.

Фонари

АНДРЕЙ Степаныч не пошел своей обычной дорогой домой. Он представил себе обед дома, салфетку. Анну Григорьевну напротив — читала уж, наверно, Саньку — этот уж черт его знает что думает. Совершенно неизвестно, что думает. И он примерил в уме, как он спросит после второй ложки горячего супа:

«Читали?» И если не читали, придется прочесть. И Анна Григорьевна спросит: «А это верно, что ни одного еврея?»

А вот что всякая сволочь дергает его за бороду на этом базаре и нахлобучивает ему шапку по самые усы, — так этого она не заметит. А нахмуриться на этот вопрос — опять: «Не понимаю, чего ты злишься».

И доказывать, что не злится. И сначала, как свернул, Тиктин не знал, куда пойдет, а теперь наверно знал и прибавил шагу, тверже глядел в прохожих. В домах зажигали свет, от этого на улице казалось темней, и звездочками вспыхивали вдали газовые уличные фонари: то справа, то слева. Тиктин шагал по тихой улице — белыми пухлыми подушками лежал снег на подоконниках, мягкие шапки на тротуарных тумбах, спокойным белым горбом стояла крыша подъезда, а на спущенных шторах — тихие тени, и так уютно казалось все за этими шторами: тихий праздник тлеет. Тиктин — в темный подъезд. Направо дверь. Тиктин достал из шубы свежий платок и тщательно вытер усы и мокрую бороду, разгладил, прибрал, потопал, сбил снег и нажал звонок.

— Боже мой, Андрей Степаныч!

Андрей Степаныч в маленькой чистенькой прихожей целовал руку. Марья Брониславна улыбалась довольно и радостно и пожималась в вязаной бугорками накидке. Марье Брониславне сорок лет, она чем-то всегда больна и целый день читает «Вестник иностранной литературы» и «Мир Божий».

Тиктин взглянул, как хорошо на ней, чуть задорно висит на косых плечах вязаная накидка, и умные, умные какие глаза.

«Умная баба!» — подумал Тиктин и с удовольствием стал раздеваться.

«Несомненно неглупая особа», — Тиктину приятно было видеть на стуле у кушетки пепельницу и раскрытый толстый журнал..

«Анна Брониславна глупей, глупей! Это верно про них говорят».

Анна Брониславна подталкивала коленом тяжелое кресло к столу. Тиктин шаркал, — он шаркал замечательно: со старинной кавалерийской грацией.

Круглый стол был накрыт на три прибора. Тиктин знал, что третий для мужа умной Брониславны, и он придет поздно с железной дороги. Умная Марья Брониславна шепнула что-то по-польски сестре, и та стала доставать из буфета еще прибор.

В этой маленькой комнате пахло легким табаком, от натертых полов шел восковой запах мастики, посуда как-то мило и конфузливо бренчала у глупой Брониславны в руках, и глупая Брониславна сразу заходила на цыпочках с припрыжкой и опустила глаза, а умная Брониславна искрила большими зрачками с кушетки прямо в глаза Тиктину, приподняв свое левое плечо. Устроилась, приготовилась и картинно стряхивала пепел в раковину.

— Ну-с, рассказывайте! — И Марья Брониславна на правах больной подобрала ноги, забилась в тень в угол кушетки.

Тиктин скорбно нахмурился.

— Да веселого мало.

Марья Брониславна сочувственно сдвинула брови.

— А что случилось?

Глупая Брониславна на цыпочках вышла вон, и слышно было, как затопала на кота в кухне.

— Дети... — вздохнул Тиктин и, подперев подбородок, стал глядеть в угол.

И Тиктину вдруг показалось самому, что именно дети, Наденька и Санька, дети — это и есть его сердечная рана. И он скорбно глядел в угол и краем глаза видел, как Брониславна подалась вперед и, вздохнув дымом, слегка покачала стриженой головой.

Брониславна глядела на папироску.

— Что ж они? — не поднимая глаз, шепотом сказала Брониславна.

И вдруг Тиктин повернулся тяжелым корпусом на кресле и, потряхивая пятерней в воздухе, стал горячо говорить:

— То есть ни секунды покоя, ни единой минуточки, и вот весь буквально как на иголках. Я же совершенно не знаю, то есть вот нистолько, — и Тиктин щелкал, щелкал ногтем большого пальца, — вот ни такой капельки не знаю, что вокруг меня делается. Ни малейшего намека.

Брониславна закинула голову и глядела широкими, возмущенными глазами, чуть встряхивала волосами в такт руки Тиктина.

— Шепоты какие-то, — морщился Тиктин, — таинственные визиты, ночные отсутствия, что-то такое делается... делается... ну, буквально... положительно же... Вот в какое состояние это меня приводит, — и Тиктин, весь красный, судорожно затряс сжатыми кулаками. — Курить можно? — переводя дух, убитым

голосом спросил Тиктин и глянул из-под обиженных бровей на Брониславну.

— Что вы ? Ради Бога!

Брониславна тянула ему коробочку с тонкими папиросками.

Но Тиктин полез в карман брюк за своим черепаховым портсигаром. Молча скручивал папиросу.

— Что ж это? Александр? — спросила Брониславна вполголоса.

Тиктин рассыпал папиросу, набрал воздуха и, весь напрягшись, вертел кулаком у жилета:

— Вот, вот, все переворачивают. Издерган до чертиков.

— А потом у вас дома, — шептала вниз Брониславна, — банк... народная библиотека... заседания... Я уж просто с человеческой точки зрения... Не понимаю, — раздумчиво произнесла Брониславна и пожала плечом в накидке. Медленно пустила дым в потолок. — Решительно не понимаю, — она энергично тряхнула всеми волосами и с размаху ткнула папироску в пепельницу.

Тиктин думал: «Сказать, что еще эта травля...» Ему очень бы хотелось сказать хотя б в уме: «жидовская травля», но он и в уме не произносил этого вслух. Сейчас придет этот пошляк железнодорожный, и начнется разговор о вегетарьянстве, печенках и «с какой стати Сарасате за один концерт берет пять тысяч?»

— Э, да тут еще всякое, — махнул рукой Тиктин. Подождал. Брониславна молчала.

«Не читала, — решил Тиктин, — не стоит начинать».

Глупая Брониславна принесла одну тарелку супа и поставила перед Тиктиным.

— Пока до обеда. Пожалуйста. Что имеем.

От тарелки шел горячий пар, жирно пахло клецками и какими-то кореньями, чужим домом, чужим варевом, и так пригласительно вкрадчиво.

— Почему ж я один? Не беспокойтесь, — Тиктин даже приподнялся; шатнул стол, плеснуло на скатерть. Но глупой Брониславны уже не было. А умная сказала:

— Почему вы не отдохнете? Хоть месяц... за границу. Можно ведь и самому когда-нибудь о себе подумать...

— Месяц? — крикнул Тиктин и поднял брови. Брониславна ждала. — Месяц? — А чужой дом обвивал съестным паром, мягким, уступчивым. — Се-кун-ды нет! — И Тиктин повернулся к тарелке, машинально схватил спешной рукой салфетку и засу-

нул за жилет. Он слегка обжигался пахучим супом, а клецки услужливо рассыпались во рту. На полтарелке Тиктин опомнился и уж все равно продолжал спешить. Он торопился доесть, глянул на часы напротив на стене — двадцать минут восьмого.

— Анелю! — крикнула Брониславна. — Нема пепшу?

— Бросьте, бросьте, — замахал свободной рукой Тиктин, — надо идти.

— Але тутен достац, — обиделась из дверей глупая Брониславна и бросилась на звонок в сени.

Тиктин наспех ловил последнюю клецку и слышал, как в прихожей топал калошами хозяин, как шептался с Анелей. Тиктин вытер усы и бросил салфетку на стол.

Вошел хозяин, маленький, в длинном обвисшем пиджаке, видно было, как в пустых брюках шатаются на ходу тонкие ножки. И под обиженными, брезгливыми губами деревянной щепкой заворачивала к кадыку пегая бородка.

— Вы только что со службы? — шагнул к нему Тиктин.

— Да, мы с работы. Нам надо работать, — и хозяин глядел маленькими полинялыми глазками на Тиктина: поглядел и брезгливо и зло.

Про него знали, что он был в ссылке в Минусинске, а потом мостил мостовую. И когда познакомили Тиктина, то шептали ему в углу: «он мостовую мостил», со страхом говорили, как будто этой мостовой ничем не перешибешь.

— Да, нам работать надо, — повторил хозяин.

«Мостил?» — подумал Тиктин. Он слышал, как хозяин мыл в кухне руки и ворчал на Анелю.

Брониславна опустила глаза и грустно поднялась с кушетки.

«Черт! надо было пять минут раньше уйти», — и Тиктин злился на клецки.

— Прошу, что имеем, — сказал хозяин.

Все молча стукали вразброд ложками.

— Что слышно? — спросил хозяин, не поднимая глаз от тарелки.

Тиктин поспешил с ложкой в рот.

— А на вас уж написали? — продолжал хозяин, втягивая суп. — Теперь вы кланяться или то: прощенья просить будете? Я так говорю?

Тиктин поймал взгляд Брониславны и понял, что читала, читала, наверно.

— То есть почему же кланяться? — И Тиктин откинулся на кресле.

— А они все окручивают, окручивают, — и хозяин покрутил ложкой в тарелке, — сами плачут и всех капиталом окручивают, окручивают, а другие работают.

Хозяин на секунду глянул глазами Тиктину в брови.

«Мостил». Тиктин раздражался.

— Позвольте, — и он видел, как Брониславна провела по нему глазом, — то, что написано, написано пошло. Пишется пошлостей много, говорится их еще больше... Не кладите мне второго — я сыт... Может быть, пошлей всего то бесправие, в котором находится почему-то целая группа населения... связанная по рукам и по ногам. И может быть, — Тиктин уже говорил полным голосом, как в зале городской Думы, — может быть, нужно совсем не так много мужества, чтоб плюнуть в физиономию связанному человеку.

Хозяин брезгливо сматывал мокрую ниточку со зразы и не давал Анеле помочь.

— Когда даже право передвижения, — возвысил голос Тиктин, — которым пользуется всякий...

— Например, в Минусинский край, — хозяин аккуратно резал зразу, не отрываясь от тарелки.

— Эта-то дорога, знаете, и им не заказана, — потряс головой Андрей Степаныч и повернулся боком к столу. Увидал, как рябила в дрянном зеркале над кушеткой его физиономия, — уродливая выходила и смешная. Тиктин нахмурился. — А когда вам всюду тычут: «жид! жид!» и у вас нет лица, а с рожей, с харей, мордой жидовской вы должны всюду являться, посмотрим, что вы тогда запоете!

— Вы на бирже попробуйте сказать «жид», и тогда вот посмотрим.

— А вам хотелось бы, чтоб вы кричали: «жид», а вам: «кшижем, кшижем, падам до ног», чтоб еще стлались перед вами? — Тиктин уж не глядел на Брониславну. — Не много ли? — раскачивал головой Андрей Степаныч. Он уж поднял голос до зычной высоты и угрожающе глядел на хозяина.

Хозяин старательно вытирал бородку, обернув руку в салфетку: ловил в горсть и вытягивал.

Андрей Степаныч поднялся и вынул часы из жилета. Тиктин теперь чувствовал, что вот сотни еврейских глаз глядят на

него с благодарным удивлением и с раскаянием за эту статью, и хотелось просто подойти. И как это сейчас можно! И тепло и вместе! И как достойно! Хозяин встал со стула и, не распрямляясь, как сидел, вышел в дверь всем своим пиджаком.

— Табак здесь, — встала ему вслед Брониславна.

Анеля опустила шепотком ложечки в стаканы.

— Ну-с, надо идти, — сказал Андрей Степаныч. — Благодарю вас, — шаркнул Брониславне. Шаркнул с грацией.

Анеля обтерла руку чайным полотенцем, протянула Тиктину.

— Честь имею кланяться, — шаркнул Тиктин в темную дверь, где скрылся хозяин.

— Стасю! — сказала Брониславна. Ответа не было. Тиктин шел в сени.

— Холодная шуба, — говорила Анеля.

— Ничего, ничего, — бодро приговаривал Тиктин. — Ничего, — искал калоши. — Отлично, — сказал Тиктин весело и накинул свою большую шапку.

На ступеньки навалило по щиколотку снега, белым горбом вздулось крылечко. Щупая палкой снег, Тиктин спустился по ступенькам. В ровный, пухлый снег бесшумно уходила вся калоша, как в воду, и белыми брызгами отлетал снег у носка.

«А черт с ним, — подумал Тиктин о хозяине. — Клецка!»

Он шире зашагал и размашисто отворачивал вбок палку на ходу. Расстегнул внизу шубу. Шагал молодцом.

В улице было совсем тихо и пусто.

Андрею Степанычу хотелось теперь встретить кого-нибудь. Дома не светились, и даже себя, своих шагов не слышал Тиктин. И только одни фонари горели на улице, стояли светлыми головами. Для себя жили. Ногами в снегу. Тиктин сбавил шагу.

«Пожалуй, про детей я зря, — сказал Тиктин. Стал на минуту, слегка запыхавшись. — Не надо было!»

Тиктин по глубокому снегу подошел к фонарю и прислонился виском к мерзлому столбу. Шапка съехала набок, и чугун холодил Тиктину волосатый висок.

Мысли выравнивались, светлые, ясные, с теплым пламенем, живым и верным. Вытягивались в спокойный ряд.

Тиктин хотел застать дома самовар и Саньку, и Надю, и с веселым теплом подебатировать национальный... да и всякий... какой-нибудь вопрос.

Черт! Ни одного извозчика.

Заелись

ФИЛИПП долбил в свою дверь окостеневшей, замороженной ногой.

— Кто! Свои — кто! Отворяй, черт тебя там толчет.

И слышал, как Аннушка шарила сонными руками, искала задвижку. И сразу в сенях обхватила теплая тишина. Угарцем пахло, капустой и мокрыми валенками. Филипп протопал к себе и долго не мог выковырять мерзлым пальцем спичку. Чистенько было в комнате, и на шашечной скатерти стоял ужин, прикрытый тарелкой. Лампа трещала, ворчливо разгоралась. И уж стал виден комод, тупой, как глиняный, и на нем вазы с пупырышками и пыльные бумажные розы. И вспомнился рояль — горит лаком, а стол держит альбом.

«И чего не вытянул карточки? Было же время».

Филипп стоял у печки и грел спину.

«И куда б ее посадил?» Филипп оглядывал комнату.

Покорными дубинками стояли по стене два стула с соломенным сиденьем. Наденьке подставлял, говорил: «Извините, пролетарские». Садилась с почтением.

Филипп глядел в пол, на темную тень под столом, и все чудилось, что вот придет в черном шелке, каблучками по этому самому полу, и вот будет сидеть на этом стуле, вот так вот: ножки на перекладинку.

«Отчего? Было же с вареньем?»

Вот на том стуле сидит и больше ничего! И Филипп не глядел на стул, чтоб лучше казалось, что сидит. Глаза щурились, и Филипп осторожно дышал. Вот сейчас совсем, совсем сидит. Филипп закрывал глаза. Немного страшно становилось от того, что там, сбоку, на стуле, сидит черная барышня: сидит молча, не двигаясь. Слипались глаза. И сбоку тут она: недвижно глядит перед собой. Ножки на перекладине, зацепилась тонкими каблучками. «Сиди, сиди, не спугну!» — и Филипп жмурился и не шевелился. Печка приятно жгла спину. Сон кутал и кутал Филиппову голову. Гудел ветер в боровке и погрохатывал заслонками. И казалось, будто едет куда, на поезде, что ли, и она с ним. Вдруг рванул ветер, будто хлестнул его кто, и форточка распахнулась, ворвалась погода, и присел огонь в лампе, забился. Занавеска залопотала на привязи.

«А дура безрукая!», — и Филька потянулся через стул, навстречу свежей струе, закрывать форточку. Книги из-за пазухи стукнули об стол.

«Подумайте, говорит», — вспомнил Филипп Наденьку. Хлопнул книги на полку и сел на кровать разуваться. И вспомнилась Наденькина быстрая ручка, беспокойные пальчики. Жалостливо вспомнилась.

«Ладно, ладно, подумаю», — сказал Филька в уме и натянул одеяло на голову. Он знал, что на стуле уж никого не было.

Еще темно было — проснулся Филька. Слышней вчерашнего рвал на дворе ветер, скреб вдоль по стене, и охало окошко от порывов. А из коридора шаркала валенками Аннушка, и мазала светлая полоса от лампы. Уж простыла комната. Филька чиркнул спичку — проспал. Вскочил на холодный пол и впотьмах стал натягивать холодную одежду.

Так и чаю не пил, толкнул дверь ногой и спешным шагом выскочил в темную улицу. Ветер бил в глаза мерзлой, колкой пылью, бросился в рукава. Филька зажмурился, нагнулся, сверлил головой погоду и топал по досткам к заводу. Через улицу бегом, и вот оставалось перебежать площадь, еще кучка людей чернела перед дверьми проходной, и дохнул на всю слободку гудок — поверх погоды, поверх ветра. Филька пробежал и бросил, пошел вольным шагом, — все равно опоздал. Гудок оборвался. Доску закрыли.

— Тьфу! — с сердцем плюнул Филипп и выругался. Ярко в заводе горели окна желтыми веселыми квадратами на черноте. И на темном небе нащупали глаза на привычном месте черный ствол трубы.

«Черт с ним: за полдня часовые пропали, не пропадать же сдельщине», — и Филипп пошел через контору в завод. Уж у стенки сквозь вой погоды слышно было, как урчал внутри завод, шевелилась за стеной работа — без него. Филька кинул в окошко медный номер и гулко застукал по плиточному полу.

В дверях мастерской, только порог перешагнул, наскочил на Игнатыча.

— Что? Никак понедельничать собрался? — и засопел дальше.

— Архиерейский кенарь, — сказал вслед Филипп. Может быть, и не слышал Игнатыч за шумом.

Филипп включил мотор, и деловито зашлепали приводные ремни. Вчерашняя работа завертелась в станке, и Филька спеш-

ной, хватской рукой подвел резец. Поскрипывая, пошла медная стружка, и залоснилась острым блеском медь — с шелковым круглым отливом. Филипп, прищурясь, стал глядеть, как блестит медь. Вот черт, как блестит! Резец «салился», надо поправить, но Филипп не мог глаз отвести от меди. Блестящий шелковый рукав! Он становился длинней и длинней. Вдруг будто больше говору сзади. Филипп глянул: все смотрели, как спешной походкой, ни на кого не глядя, спустив на самое пенсне брови, пробирался меж станками помощник директора. Немец, серьезный немец. Он прошел, и говором дунуло по мастерской. Как ветер налетел на деревья. Грузно прошагал Игнатыч — руки за спину — и не в работу глядит, а тычет мастеровым в глаза, как кулаком в морду, и все головами отмахиваются.

Пробежал конторский какой-то, засеменил следом за немцем. Вон обступили, задержали. Что-то плечами жмет, руками отмахивает. Игнатыч шагает — отпустили, но сразу поверх станков, поверх шлепков стал в мастерской людской гул.

Филипп остановил станок и пошел. Пошел по гулу, где громче.

— В котельной, в котельной!

— Задавило?

Люди говорили громко, чтоб перекричать станки.

— Задавило? Кого? — крикнул Филипп.

— Нет, чего-то иначе, — подмигнули. — Идет! — и кивнули на Игнатыча.

Но гомон взял верх, гомон залил все поверху. Гомон вырос и стоял на высокой ноте, и все громче говорили и не слышно стало станков. Может быть, и стали. Мальчишка прибежал подручный, Филькин Федька, и никому, а Филиппу крикнул:

— В котельном стали!

Филипп пошел к окну и дернул форточку.

Кто-то поднял руку и замахал в воздухе. На секунду гомон упал, как осел на землю. Все глядели на форточку, на Фильку. И Филька ясно услыхал, что в котельной, где всегда грохот, будто рушат, в котельной тихо.

Верно — тихо. И кивнул головой. И все поняли, и гомон поднялся с полу, вспенился, заклокотал над головами. Игнатыч стоял около своей стеклянной будки и быком глядел на мастеровых. Кой-кто брался за работу, но гомон бурлил на той же ноте.

Филипп нагнулся к Федьке, но Федька замотал головой, лукаво ухмыльнулся. Напялил замасленный в лепешку картуз на нос и пошел. Федька вертелся по мастерской туда-сюда, искоса поглядывал на Игнатыча, и Филипп видел, как он вынырнул вон. И Филипп сейчас же оглянулся: упершись в него глазами быком, глядел на него Игнатыч. Глядел открыто, как гвоздил. Будто на всю мастерскую ревел: вот он! Кто-то стал, заслонил Филиппа. Игнатыч сделал четыре грузных шага и опять, как вертелом, ткнул в Филиппа взглядом. Филька отвернулся и глянул на медь. Блестящей шелковой змеей сверкнула работа.

И Филипп повернулся к Игнатычу и сказал громко, хоть еле слышал за гамом свой голос:

— Плевал я на тебя! — и вышел из мастерской.

Ветер крутил в заводском дворе, рванул из рук дверь, и только стойкими квадратами лежали на земле светлые пятна от окон. Пошел вдоль глухой стенки котельной, и вот человек, а вот Федька шмыгнул прочь.

— Егор? — спросил Филипп, придерживая шапку. Подошел ближе, узнал и все ж в самое ухо спросил: — Егор?

— Я.

— Что там? Провокация? Почему стали вдруг? Говорено было.

— Говорено! Говорено! — Егор шептал из темноты яростно. — Говорено, сукиного сына. А в субботу после расчета какая-то сволочь собралась требовать — четверть копейки на заклепку. Сами!

— Кто?

— Пес их знает, поди сам ищи! Кто! Бастовать сами будем за свою, черт ей за ногу, копейку. Заелись, говорят, слесаря да токаря. Понял, какая машинка? Вот тебе и да! Поди вот к ним. Поди, поди!

Не видно было ни зги, но слышно было, как махал руками Егор.

— Заелись все и до нас, говорят, никому дела нет, а мы дохнем, а токаря в глаже ходят и бабам шляпки купляют. Сунься, сунься туда. Гайку в лоб поймаешь. Немец заявил, контора отказывает напрочь. А не хотишь — за ворота.

— Какая же это сволочь тут? — начал Филипп.

Но Егор крикнул:

— А такая, что завод ты из-за такого дерьма не остановишь. Вот и вышло: черт да дышло. Говорено!

И Егор двинул мимо Филиппа, злым шагом затопал, только шлепали брюки об ноги на ветру.

В окно котельной видно было, как над гурьбой людей торчал немец, как раскрывал рот и убеждал рукою. Вдруг немец присел, и со звоном брыкнуло стекло рядом с Филиппом. Филька отскочил. И через разбитое стекло вырвался вой из котельной. Немец поднял обе руки: вой грянул гуще — хриплым ревом. Немец спрыгнул и утонул в толпе. У Фильки в ушах зазвонило, он рванул двери котельной — калитку в огромных воротах — и стал рваться, тискаться сквозь спины и плечи, — оглядывались, сторонились, а Филипп пихал, как бил. Вот колоды сложены. Филька полез и встал, пошатываясь на круглом бруске. Сдернул рывком шапку и замахал над головой. Замахал так отчаянно, будто поезд летит на него, а ему надо остановить! И лопнул рев. На секунду лопнул. И Филька крикнул на всю котельную:

— Товарищи, верьте слову! Провокация!

— Заелись! — крикнул кто-то из толпы. И в ответ взрывом рванул рев.

Филиппа кто-то дернул сзади, и он покатился вниз.

Обезьяна

КОГДА Башкин пришел в себя и открыл глаза, вокруг было темно, совершенно темно, как будто голову ему замотали черным сукном. В испуге он не чувствовал, что голый и на холодном полу. Он быстро моргал веками. Холодной палкой стал ужас внутри.

«Ослеп! ослеп!»

Но он впопыхах страха не верил, что видит светлую полоску внизу: как будто ум поперхнулся страхом, и Башкин наскоро вертел во все стороны головой. Он сгоряча сразу не заметил, как болело за ухом, как саднили на теле следы от ключей. Он попробовал встать и стукнулся теменем, схватился рукой. Это был стол, привинченный к стене стол, на котором Башкин пытался повеситься. Башкин охнул и сел на холодный пол, и тут почувствовал, как больно горели побои, что голый, что эту лампочку потушили. Он теперь уж знал, что не ослеп, и эта

полоса внизу — щель под дверью. И все те же ленивые каблуки по коридору, будто ничего не было. В камере было холодно. Башкин стал дрожать, и сразу дрожь пошла неудержимо: зубы, коленки, дергало лопатки, судорогой дрыгала кожа. Его било всего, он ползал, искал хоть соломы на полу, хоть тряпку. Пустой холодный пол от стены к стене весь исползал Башкин на бьющихся коленях. Он стал ходить, чтоб согреться, и его трясло на ногах, поддавало все его длинное тело, будто на телеге по тряской мостовой. Он не задевал в темноте за табурет, он знал свои три шага. Он сел на табурет, лег головой на стол и старался сжаться, сдавиться в комок, чтоб унять эту дрожь. Унималась на секунду, и потом все тело дрыгало, как отдавшаяся пружина, и коленки больно стукались об стол.

— В-в-в-в! — И Башкин тряс головой.

Он дернулся весь, когда скрипнул глазок. Лампочка вспыхнула под потолком, и Башкин удостоверился: верно, камера та самая. А в глазок смотрит глаз, прищурясь, разглядывает.

— Смотри, обезьяна какая! — сказал надзиратель за дверью, и потух свет.

Башкин забывался на время и сквозь сон слышал, как поворачивался глазок, чуял свет сквозь закрытые веки, но глаз не открывал. Он слышал, как отворяли в коридоре камеры, и вот прошли мимо его дверей, не взглянув. Начался другой день. Башкин не мог больше сидеть — судорога сводила ноги. Он попробовал встать и упал тут же около табурета. Больно упал на пол, ноги не слушались, плясали свое ломкие пружины.

«Вошли! вошли! свет!»

И те же двое, что раздевали Башкина, подошли, и старший приказал:

— Одевайся!

Младший бросил на стол одежду, Башкин не мог встать, он на коленях подполз к столу. Он, сидя на полу, натягивал чужие липкие, заношенные брюки на голое тело.

— Вешаться, мазурик, — говорил старший сверху, — в петлю не терпится? Справят, справят за казенный счет пеньковую.

Башкин не понимал слов, его дергало звяканье ключей. Коекак натянул он грязную казенную рубаху.

— Вставай, — ткнул старший коленком в плечо, — расселся. — Он дернул его под мышку. Башкин, шатаясь, встал. Брюки были чуть ниже колен. Худые волосатые ноги торчали из брюк, как на позор. Рыжий пиджачишко был мал, и рукава по

локоть. Но Башкин не думал об этом. Он обтягивал трясущимися руками полы пиджака. Надзиратель толкал ногой по полу ботинки. Башкин боялся нагнуться и плюхнул на табурет.

— Пошел! — скомандовал старший.

Башкин еще не успел натянуть второй ботинок. Надзиратель толкал его, и Башкин, хромая, в полунадетом ботинке, пошел из камеры. Опять рука сзади толкает в поясницу. Вот втоптался ботинок. Башкин неверно шагал, хлябали на ногах огромные ботинки. Он тянулся по перилам на лестницу, в голове мутилось. Другой коридор, не тот. «Не к офицеру», — только подумал Башкин, и ноги совсем стали подкашиваться. Служитель сзади поддерживал его. Башкина посадили в коридоре, в полутемном, но с паркетом, скользким полом. Он прислонился к стенке и закрыл глаза. И вдруг мягкий звон шпор. Башкин встрепенулся: мимо шел офицер, его офицер. Башкин наклонился вперед, хотел встать.

— Гадости мне устраиваете, гнусности делаете? Пеняйте на себя, — сказал вполголоса офицер. Секунду постоял и прошел дальше. Он размахивал на ходу листом бумаги, будто обмахивался веером.

У Башкина громко билось сердце, он чувствовал, как оно широко стучит без его воли, само, как чужое в его груди.

Жандарм подошел:

— На допрос!

Башкин не мог шевельнуться, только сердце в ответ само прибавило ходу и заработало сильней.

Башкина под руки ввели в двери.

Стол весь в зеленом сукне, и за столом седой, благовидный полковник. Он глянул на Башкина с упреком и недружелюбно.

Поодаль сидел его, Башкина, офицер. Он холодно глядел вбок и барабанил пальцами по бумаге.

— Что, стоять не можете? — сказал вполголоса и презрительно полковник.

Офицер покосил глаза на Башкина и снова забарабанил и отвернулся.

— Дай стул! — скомандовал полковник. — Пусть сидит.

Жандарм усадил Башкина против полковника на шаг от стола.

— Сту-паай... — медленно промямлил полковник, глядя на стол в бумаги.

Жандарм вышел.

— Как звать? — вдруг вскинулся на Башкина полковник.

— Башкин Семен, — срывался голосом Башкин.

— Это, что повешенье разыгрывал? — спросил полковник.

— Так точно, — в голосе офицера были и обида и сожаление.

— Хорош голубчик! — И полковник секунды три водил по Башкину глазами.

Однако допроса избежать не удалось.

— Звание?

— Мещанин, — еле переводя дух, сказал Башкин. Он стыдился всегда, что он мещанин, но сейчас он чувствовал себя совсем, совсем голым, и было все равно. — Мещанин города Елисаветграда.

— Лет?

— Двадцать семь, — выдохнул Башкин.

— Чем занимались? — строго спросил полковник.

Башкин громко дышал, грудь качала воздух, и стукало, стукало сердце.

— Не знаете? Или не помните?

Офицер что-то писал на листе.

— Выпейте воды, — приказал полковник.

Офицер позвонил.

— Дай воды! — крикнул он жандарму в двери.

Башкин не мог проглотить сразу глоток воды, он давился водой, держал ее во рту. Стакан барабанил об зубы.

— Скорее! — сказал полковник, — Ну-с, так чем же вы занимались?

— Уроками... частными, — сказал Башкин. Вода его освежила.

— Что ж вы преподавали?

— Все, все, — замотал головой Башкин.

— То есть как это все? — ухмыльнулся полковник. — Решительно все? Анархическое учение, например?

— Нет, нет, не это! — и Башкин замотал головой на слабой, тряской шее. — Нет, нет... — Башкин постарался даже улыбнуться насмешливо.

— А откуда мы знаем, что нет? Вот вы говорите: «нет». Но ведь это же не довод. «Нет» — этак можно и убить, а потом отнекиваться.

— Спросите моих... моих учеников — алгебру, простую алгебру, русский, латинский. Вы спросите.

— А молчать вы их учили? — спросил полковник. Он поставил локоть на стол, подпер бороду и прищурил глаза на Башкина.

— То есть как молчать? Болтать всякую ерунду... не давал... нет, болтать — нет, нет.

— Ну, так нам их и спрашивать нечего: молчать, значит, они умеют...

— Я не про то! Господи! Я ж не то... — Башкин даже поднялся на стуле. Он не мог говорить, он дышал невпопад. Он схватил недопитый стакан и стал громко глотать.

— Выпейте, выпейте, не мешает, — зло, с насмешкой, сказал полковник. Офицер писал.

— Да. Я никакого такого не знаю... То есть я знаю и вовсе другое... Я другое думаю. Совсем не так...

— А как же? — Полковник положил оба локтя на стол, приготовился слушать. — Как же, однако, вы думаете? Ну-с...

Башкин опять схватился за стакан, — он был уж пуст.

— Я думаю, — начал Башкин, но мыслей он не мог собрать, — вот господин офицер знает, как я думаю.

Башкин наклонился в сторону офицера. Но офицер погладил руку с перстнем и посмотрел на Башкина пустыми и крепкими глазами.

— Так вот потрудитесь теперь здесь изложить, что же вы думаете? Ну-с! — Полковник пожевал губами, и от этого заходили усы, они широкими скобками загибались вверх. — Довольно с водой возиться, — строго отрезал полковник: Башкин потянулся к стакану. — Что ж, неудобно сказать?

— Я думаю, что анархизма не надо... — начал Башкин.

— А нужен социализм, так, что ли?

«Что за глупость, ах, какая ерунда, что я говорю?» — думал Башкин, он напряг голову, проглотил слюну. Но мысли рассыпались и шумели, как дробь по пустому полу. Сердце стукнуло, и хотелось пить, пить.

— Нет, нет, — болтал головой Башкин, — я не так думаю.

— То есть позвольте, — громко, широко распахнул из-под усов рот полковник, — а вот это? Позвольте-ка, — потянулся он к офицеру.

Офицер привстал и вежливой рукой протянул большую тетрадь. Башкин узнал свой альбом. Кровь неудержимо напирала в лицо. В ушах звенело. И как издалека он услышал голос полковника:

— А вот это как же нам объясните? — Он приладил пенсне. — Вот тут, вот. Ага, вот. — И он прочел: — «Нужны: эс и эс». Да-с. Так как же? — И он поверх пенсне глянул на Башкина.

Башкин отмахивался головой, он прикусил губу, как от боли, и заерзал ногой по полу. Он не сразу даже вспомнил, что значили эти «С. и С.», но он видел, как они там написаны, и этого нельзя говорить, это такое... И он мотал головой и поднимал брови.

— Ну-с? — сказал полковник. — Что, никак не подберете двух слов на «эс»? А вот тут потрудитесь нам объяснить. Вот-с: «Нужно эн-ве». Это, например, как прочесть прикажете?

Полковник снял пенсне и постукивал им по бумаге. Башкин молчал, ежась на стуле.

— Сразу паралич напал? Что ж так жиденько? А позвольте-ка я вам растолкую это, — полковник поднял голос, и голос рассыпался по зале и повис над Башкиным. — Вот, разрешите-ка мне это так прочесть: «нужно Н. В.» — нужно немедленное восстание. И дальше: «нужны С. и С.», то есть: свержение и социализм.

У Башкина повело рот, он вдруг вскочил со стула, взмахнул до локтя голой рукой — раз! раз! — по столу, кулаком по зеленому сукну.

— Нет! Нет! — хриплым лаем крикнул Башкин и потом: — Ай! Ай!

Он сам не знал , что кричит «ай!» Он бросил стакан об пол и повалился на стул. С ним случился обморок.

Серебро

САНЬКЕ не стоялось, не терпелось. «Не велят, не велят!» — передразнивал Санька курьера, и красный, ни на кого не глядя, сбегал через две ступени по банковской лестнице. Казалось, что все знают, что ушел с носом. Санька в расстегнутой шинели дул полным ходом по улице, косо перебегал по снегу через улицы. Захватанная ломбардная дверь крякнула и засопела сзади пневматическим блоком. Санька сразу нашарил глазом «прием золотых и серебряных вещей» и на ходу стал стягивать часы. Две старухи шептались около узла на скамье. Дама в котиковом пальто на весь зал модулировала голосом:

— Мне ведь всего на пять дней, пока му-уж приедет.

— Тридцать два, я сказал, — и в окошечке брякнули о стойку серьги. Дама улыбалась, оглядывалась и вертела головой, как будто ей через грязь перейти, и кто же руку протянет? Санька узнал компаньонку Мирской, узнал по злым глазам. Они торчали из улыбки.

Оценщик вставил в глаз черный обрубок с лупой, а Санька оглянулся на компаньонку. Она шла в угол, и там со скамьи встала ей навстречу дама в стройной бархатной шубке. Меховая шапочка сидела чуть лихо. Черные глаза смотрели надменно и забубенно. Санька узнал Мирскую.

— Что, мало? — сказала Мирская на весь зал грудным голосом. — Снеси и это. Надо ж выручить. — И Мирская, выпроставши из рукава руку, стала другой отстегивать браслеты.

Все обернулись и глядели на эту руку на отлете.

— На, неси! — Мирская стряхивала с руки расстегнутые браслеты, и они звякали подвесками, цепочками. Компаньонка подхватила, сунула в муфту и пошла в очередь.

— Восемь рублей, берете? — сказал Саньке оценщик.

— Да-да, давайте, — схватился Санька. Он глядел на Мирскую. Он никак не ждал, что она может быть такой дамой, настоящей элегантной дамой, без тени крика в строгом шике. Только чересчур заносчивая походка да пристальный вызывающий взгляд. И Саньке непременно захотелось заглянуть в эти глаза. Глянуть разок и пройти. Мирская прохаживалась по залу, ждала свою ведьму. Санька с треугольным квитком шел к кассе. Он остановился на секунду и оглянулся на Мирскую. И вдруг почувствовал, что не Мирская, а глаза узнали его. Мирская, не торопясь, шагала, опустив руку в муфте.

Санька хотел повернуться, пойти. Но Мирская спросила вполголоса:

— Что, пропился? — спросила серьезно, как про болезнь.

— Товарища выручить, — сказал Санька. Не мог не сказать.

— А я тоже: офицюрус продулся, дурак, шулерам. Плачет там у меня. — Мирская вплотную подошла к Саньке. — Подержи муфту, — Мирская протянула, не глядя, руку с меховой пушистой муфтой.

Санька засунул руку в мягкую шелковую теплоту, нащупал там кошелек и платочек. А Мирская, закинув руки, перевязывала вуаль на шапочке.

— Не криво? — спросила Мирская, глядя Саньке в глаза. — Влюбился?

— Да, — сказал Санька твердо и спокойно.

— Хорошенькая? — Мирская протянула руку за муфтой.

— Красавица, — мотнул головой Санька. И не спешил отдавать муфту.

Санька смотрел и молчал.

7—3207

— Приходи ко мне, погадаю. Увидишь, как все выйдет. Приходи днем, часа...

— Дали двести сорок, я взяла, — просунулась компаньонка.

— Ладно, — сказала громко Мирская. Просунула руку в муфту, пожала там Санькину руку и пошла к выходу. Компаньонка в дверях злыми глазами зыркнула на Саньку.

А от кассы кричали из очереди:

— Сто двадцать три. Кто?

Санька глянул на синюю бумажку и бегом к кассе.

Теперь было в кошельке двадцать один рубль, не хватало четырех и мелочи на отсылку. Непременно сегодня! И Санька чуть локтем нажимал, где у него внутри кармана была зашпилена булавка. Что продать? Оставалось продать «Теоретическую химию». Мирская-то, Мирская, как браслеты! Санька шагал, запыхавшись, к дому.

— Треснуть, а достать! — говорил Санька запыхавшимся голосом и чуть не бежал по скользкому тротуару. «Погадаю, говорит. Достать сначала, — сам сказал ведь: двадцать пять, да и надо, надо двадцать пять. Не потому, что сказал, а в самом деле».

Санька отбирал с полки из шкафа книги, которые он любил, самые лучшие; их уже стопка целая стояла на письменном столе, а Санька в шинели и в шапке сидел на корточках и быстро водил пальцем по корешкам книг.

— Не двадцать пять, а тридцать, сорок рублей пошлем!

Он встал и, тяжело переводя дух, жадным взглядом обвел комнату. Из угла серебряной ризой, золотыми венчиками блеснула икона Благовещенья. Санька повернул ключ в дверях, подкатил кресло и встал на спинку. Он снял икону и сейчас же снял фуражку. Полотенцем обтер пыльный киот и торопливо вынул икону. На бархатные края загибалась толстая риза, гвоздиками приколоченная. Руки подрагивали, и Санька спешил, подковыривал гвозди разрезательным ножом. И вот отрылась икона спокойного, умиленного итальянского письма, и показалась та самая Богородица, которой он в детстве жаловался с колен, у кровати, на все обиды, плакал от жалости к себе, — тепло делалось от этих слез. И тогда казалось, что она жалеет и утешает и говорит, что он хороший, и любит его, хоть все против него за то, что он играл с папиным поясом от халата. Играл во дворе с мальчишками и потом подарил его.

Теперь как будто раскрылась икона, сердцем своим раскрылась, и Санька неожиданно увидел то, что цвело за ризой, как

за броней. Риза прорезями слепо глядела со стола. Так было лучше, но так нельзя было оставить: казалось, что сокровенная, таинственная прелесть не вынесет этого обнажения.

«Выкуплю, — решил Санька, — непременно выкуплю». Он вставил икону в киот, быстро перекрестился и, уж больше не глядя в лицо иконы, повесил ее на место.

Книги он увернул в газету, ризу сунул за пазуху и выскочил на лестницу.

Ломбард закрывался в четыре часа, и надо было спешить.

Под левой рукой был тяжелый столб книг, правой Санька придерживал за пазухой ризу. Он гнал с лестницы во весь дух. Снизу он услышал голоса. Надькин голос:

— Тебе ж это удобней всего. Именно потому, что никакого касательства. Барышня — и только.

И стал Санька, и сердце стало...

Навстречу поднимались Надька и она. Она шла немножко сзади, на одну ступеньку, а Надька, оборотясь назад, поднималась и не видала Саньки. Таня прямо, пристально глядела Саньке в глаза — в белом зимнем свете, на белой стене, черная, и, как клинок ножа, торчало острое перо из зимней шляпы.

Надя резко обернулась вперед, куда глядела Таня.

— А, — сказала Надя, — ты это куда? — и снисходительно улыбнулась. — Знакомься — мой брат. — Таня стала против Саньки, одну секунду глядела ему в растерянные глаза и тогда протянула руку.

Санька взял ее руку в черной перчатке, взял неловко, как будто брал в руку книгу, риза ползла из-за пазухи вниз, и Санька нелепо прижимал локоть к своему животу. Таня чуть усмехнулась. Она пошла за Надей, оглянулась с площадки. Она повернула голову, глядя через плечо сверху, и вдруг что-то родное и преданное мелькнуло Саньке, будто спало жестокое серебро. Но только на миг, на миг. Санька в неловкой позе стоял, держась за живот. Риза сползла, он не мог двинуться, ждал, пока они уйдут. Надя все не попадала плоским ключом в щелку замка.

«Все, все теперь пропало, — думалось Саньке. — Больше она так не посмотрит. Подарила, не умел принять, она раскаялась, что оглянулась. Теперь за дело и больше ничего». И Санька подкинул тяжелый сверток на плечо и зашагал вразмашку. Сплюнул в сторону. И, как чужая, привередливо шевелилась булавка с лилией, когда Санька нажимал на ризу, что топорщилась под шинелью. Оглохли уши, и, как через вату,

бубнил людской говор. В часовом магазине Санька увидал — половина четвертого.

— Двугривенный хочешь? — сказал Санька извозчику, сказал грубым, ломовым голосом. — А не хочешь, стой здесь до вечера.

Извозчик смутно глянул и без слов мотнул головой на сиденье.

На улице было серо, когда Санька вышел из ломбарда. За ризу дали двадцать восемь рублей. Ломовой голос не выходил из глотки, и Санька ругался с букинистами и хлопал стеклянными дверями. Он кричал на ты:

— Брось дурака клеить! Что оно — краденое?

Плевал в пол, стукал книгами о прилавок. Было уж больше пятидесяти рублей.

«Послать! Как его послать, — тем же ломовым голосом хрипел в уме Санька. — Помню я, что ли? Головачеву, Головлеву, Головину, дьяволу в зубы». И не хотелось соглашаться, что Головченко, учителю Головченке надо послать деньги, а он уж будет знать, что это для Алешки. Санька решил пойти на Слободку, шлепнуть Карнауху на стол деньги, — посылайте уж там сами, а то черт его там знает, головлей этих напутаешь. Санька поднял воротник, закурил. Он засунул руки в карманы и, подняв плечи, стал толкаться в гуще людей, что черным током лила по белой улице.

У старухи

ТАЙКА стояла на коленках, на коврике, в головах у маминой кровати. В комнате было полутемно, и затейливой звездой разливался на замерзших стеклах уличный фонарь.

— Мамулечка, — шептала Тая и поправляла подушку, — мамулечка, милочка. Витя женится, кажется. Что это? Не клоп? Нет, так только, — шептала скороговоркой Тайка и обдергивала одеяло, ползала коленками по мягкому коврику.

— На ком же, на ком? — громко сказала старуха и повернула на подушке голову. — На ком же это?

— Да еще неизвестно, — бормотала Тая, — кажется, на Сорокиной, на Груне.

И Тайка видела, что старуха силится приподнять голову, чтоб поглядеть ей, Тайке, в глаза.

— Это... какая же? Не припомню такой. Здешняя?

Тая кивнула головой.

— Что ж не привел, не показал? Ну, вот как... теперь все так, — и старуха опять потонула затылком в подушке, и Тайка не сразу увидела, что без звука, одними слезами заплакала старуха. Неподвижным казалось белое лицо в полутьме, только блестели при лампе две слезы.

— Мамочка! — сказала Тайка, задохнувшись. — Маленькая, миленькая. Витька пишет, что благословить просит. Мамочка хорошенькая, — и Тайка стала целовать старуху в мокрые глаза, — она любит тебя, она хорошая, красивая, добрая. Высокая, вот! — Тайка вскочила на ноги и на аршин выше себя показала рукой. А мать повернула голову и смотрела, внимательно смотрела, как показывала Тайка. — Она очень любит...

— Что ж, любит, — и старуха слабо мотнула здоровой рукой, — не придет даже. Как любить... не видевши? Господи, Христе милостивый, — тряскими от плача губами сказала старуха. — Господи, сама б пошла, — ведь калечство мое... что же это? Боже... ты... мой!

— Маменькин миленький! — У Тайки слезы встали в горле. — Ей-богу, только боится она. Она хочет... боится. Позволь — придет. Страшно хочет. Маменькин!

Тайка выбежала, выбежала так, будто Груня в прихожей ждала только, что вот — позовут. Тайка на ходу застегивала пальтишко, кутала голову вязаным платком. Захрустели морозные мостки. Тайка чуть не бегом пустилась вверх по улице. Тайка перебежала площадь и тут только сунулась в карман. Один двугривенный был завязан в уголке платка.

— За двугривенный к тюрьме, — сказала Тая извозчику.

— Шесть гривен положите! — гулко по морозу отколол слова извозчик, и весь извозчичий ряд шевельнулся, оглянулся.

Тая шла вдоль ряда.

— Куда везти-то?

Но уж молчала и шагала скорее. И вдруг голос над самым ухом:

— Случилось что-то? Нет?! В самом деле?

Тая быстро мотнула головой — он, он, Израиль. И застукало сердце, как будто не было его раньше.

— Нет, я, кроме шуток, — говорил Израиль и шагал, загребая ногой. — Может, несчастье, я знаю?

— Ой, мне скорее надо, — говорила Тая, запыхавшись, и еще быстрее засеменила.

— Куда ехать? — крикнул последний извозчик.

— Нет! В конце концов, куда ехать? — и Израиль придержал Таю за рукав. Тая глянула на него, улыбаясь и часто дыша.

— В тюрьму, в тюрьму!

— Что? — наклонился Израиль. — Кто-то у вас сидит? — спросил он шепотом. — Нет, а что?

— Там подруга, подруга, — говорила Тая, — к смотрителю, к знакомым, — тараторила Тая. Израиль все тянул ее за рукав вниз. — Надо скоро, скоро, — и Тая хотела двинуться. Но Израиль улыбался и не отпускал рукава.

— Давай сюда! — крикнул он извозчику. — В тюрьму и обратно, полтинник. Что? Цельная бутылка водки и один огурец сдачи. Ну а что? Садитесь, — толкал Израиль Таю в сани, — помиримся, погоняй!

Извозчик тронул. Израиль на узком сиденье плотно прижался и рукой обхватил Таинькину талию.

— Не надо... зачем? Я пойду, — говорила Тая.

— Какая разница? — говорил весело Израиль и бережно отводил к себе Таю от встречных оглоблей. Тайка совсем наклонила голову и смотрела в колени.

Тайка боялась глядеть по сторонам, ей казалось, что все знакомые высыпали из домов и шеренгой стоят на панели. Стоят и провожают ее глазами. Ей казалось. что она задевает эти взгляды, они хлещут по глазам, как ветки в лесу.

Хорошо, как хорошо, что Израиль закрывает ее хоть с левой-то стороны! Таинька тряхнула головой, чтоб платок больше насунулся на лоб.

— Извозчик! — говорил весело Израиль. — Эй, извозчик! Ты дорогу в тюрьму знаешь? Да? Сам знаешь, так это уже хорошо. А что? Лучше, чем тебе кто-то покажет.

Очень весело переливался в морозном крепком воздухе Израилев голос, и Таинька улыбалась. Глядела на полсть саней, как вспыхивал на ней снег на свету фонарей.

И вот веет уж за спиной легким облаком городской шум, и серьезно по новому снегу заскрипели, закрякали полозья. Снежная, мутная темнота потекла по сторонам. Израиль двинулся и крепко взял Таю за талию.

— Не боишься, что везешь жуликов? А, извозчик?

— Оно хорошо бы, коли жулики, я говорю, сами в тюрьму съехались. Э-ха! — махнул извозчик на лошадь.

— Вам не холодно в бок? — спросил Израиль и захватил в горсть Таинькино пальтишко, помял в руке, и Таинька чувство-

вала его пальцы. — Воздух! Вы же захолонете... — Израиль сказал с таким испугом, что обернулся извозчик.

— Ничего, мне тепло, очень хорошо, — говорила Таинька.

— Вдвоем только и греться, — сказал извозчик, задергал вожжами.

— Ты пусти, извозчик, пускай бежит, я тебе гривенник на чай.

— Ничего, ничего, поспеем, — шептала Тая. Израиль растирал крепко и не спеша Тайкин бок.

— Хорошее дело, в таком демисезоне́. Что, нельзя взять на ватин немножко, — приговаривал Израиль.

Как уголья в поле, тлели вдали красные окна тюрьмы. Извозчик подхлестнул. Таиньку откинуло назад, но Израиль удержал и сейчас же сильней прижал к себе. И Таинька прислонилась на секунду, совсем без думы прильнула и закрыла в темноте глаза. И от всего мира заслонил ее Израиль этой рукой, что обняла и разлаписто держала и грела, — в драповом рукаве, в толстой вязаной перчатке. На одну, на одну секундочку прильнула Таинька, так хорошо, так покойно замерла. Израиль повернул свой котелок с острым клювом и глядел сверху из поднятого воротника. Одну секунду.

— А куда ж заезжать? — обернулся извозчик.

— Туда, туда, — задохнувшись, крикнула Тая и наугад замахала ручкой в воздухе.

— К смотрителю, так вона, — извозчик ткнул кнутовищем в черноту.

— Вы бежите, я не смерз, — Израиль отстегнул полсть. Тая затопала замерзшими ножками к Груниной калитке и слышала, как Израиль весело сказал:

— Куришь, извозчик?

Она забыла, что бежит к Груне, она бежала — поскорей передохнуть от того, что было.

Тая дернула калитку, и крикнуло мерзлое железо, звонко хлопнула сзади щеколда. Еле видно было дорожку в белом, мутном снегу, и вдруг ярким квадратом распахнулась над крыльцом дверь, и большой черный Грунин силуэт в светлом квадрате.

— Кто, кто? — пропела Груня с порога.

— Я!— на бегу дохнула Тайка, и Груня в два шага слетела с крыльца, нащупала Тайку, схватила за руку и потащила. Спотыкались о ступеньки непослушные ноги, и вот уж в яркой кухне, и Груня целует жарким лицом Тайкины морозные щеки и давит так, что дыхание в груди спирает.

— Таинька! Душенька! Душенька! Таинька!

Потом оттолкнула за плечи и смотрела мокрыми широкими глазами и дышала широко и жарко.

— Едем... к маме... велела скорей. Виктор велел, — говорила, срываясь, Тайка и улыбалась. И Груня видела, как шевелится счастье в зрачках.

— Скорей, скорей, ждут! — толкнула Тайка Груню, чтоб не глядела в глаза. И Груня бросилась к шубе.

Груня обежала палисадник, бежала, подобрав шубу, лисью, мамину еще шубу. Застукала ключами в тюремные ворота, в окошечко сунула ключи:

— Передай отцу, скажи — в город... — и целиной, через сугробы, широким махом поскакала к извозчику.

— Добрый вечер! — Израиль с саней поднял котелок и протянул Груне руку. — Будем знакомы. Что это? Побег с тюрьмы?

— Трое, куда же? Уговору не было, — бубнил извозчик, — это отсель только рубль надать взять.

— Ладно, рубль! — говорила Груня, спешила залезть в сани.

Она влезла, оттиснула Израиля на самый край, поймала Тайку, сгребла к себе на колени.

— Гони, два рубля! — скомандовала Груня.

Лошадь дернула примерзшие сани. Тая сдавила Грунину руку, и Груня ответила тем же. Обе поняли: «Дома не говори».

Легкий ветер веял в спину, и казалось — тихо. Израиль держался за Грунину спину. Подвывали знобко полозья, и глухо топала лошадь. Топало сердце, жарко топало в Груниной груди. И Груня сильней прижимала Тайку: крепко, чтобы не выронить. Черным чертом торчал с боку Израиль — на отлете. Все молчали. Только нукал извозчик.

— А это знаете? — вдруг весело сказал Израиль.

Таинька обернулась. Груня жарко дохнула.

— А вот! — сказал Израиль и набрал воздуху. Он засвистал в морозном воздухе. — Оно идет немножко выше, в e-mol, так губой нельзя. Может, Бог губой это вытянет.

Минуту молчали.

— Еще! — сказала Груня, переводя дух, и посмотрела на котелок — над поднятым воротником.

— А что еще? — Израиль тер ухо свободной рукой.

— Это самое, — вместе сказали Груня с Тайкой.

Израиль свистал верно, точно, свистал, как будто инструмент был у него в губах.

Сонный свет мутной шапкой стоял над городом. Брызнули из-за поворота огни. Теплый гул от улиц. Израиль оборвал свист.

— Смерз в ноги, страшное дело! — Он соскочил с саней и побежал рядом. — Стой, извозчик, — крикнул Израиль. — Имеешь рубль. — Он ткнул извозчику монету в мерзлую рукавицу и побежал на тротуар.

Тая кивала головой в платочке, Израиль снял котелок и похлопал им по руке на отлете, в воздухе, а волосы дыбом стояли на голове, как вторая шапка.

Тая глядела в колени и счастливо молчала. И все стоял в ушах, все дышал в груди мотив, и казалось, что не там едут, где едут, и не туда приедут.

— Не проехали мы? А? — крикнула Груня, и Тая вздрогнула.

Мимо их окон ехали, и красным светом чуть веяло от маминого окна.

Груня наспех совалась в кошелек.

— Беги, беги, — говорила Тайке.

Скрипнул снег, взвизгнула мерзлая калитка и звонко хлопнула за Таей. Не раздеваясь, мерзлыми пальцами звякала ламповым стеклом и слышала, как зашевелилась, заскрипела кровать под старухой. Рявкнул пес, взвизгнул — видно, Груня кинула снегом, — и лампа, жмурясь, трещала, а Груня уже вмахнулась в комнату, и Тайка успела кивнуть на дверь. Как была, не скинув шубы, двинула морозная Груня и с широкого шага стала на колени у изголовья кровати.

— Пришла я и пришла, — говорила, запыхавшись, Груня и ловила старухину руку, наугад, на память, в красной полутьме лампады. — Груня я, Груня. Викторова Груня, — и жала жарко бесчувственную руку. Поцелуем давила и все говорила: — Груня я, Груня, Викторова Аграфена.

— Дай глянуть-то... поди, милая, сюда, — и старуха здоровой рукой гребла Груню за мокрую шапку к себе и целилась попасть губами в губы.

Жаркое-жаркое тянула к себе старуха. Она не видела лица, только чуяла дыхание, жаркое, громкое, и плотными губами придавила Груня старушечьи губы и закрыла глаза на секунду... И больше нельзя было, и оторвались, чтобы не отошло назад, оторвались, так и не видевши друг друга.

На пороге стояла Тая с лампой.

— Не надо, не неси, Бог с ней... глаза режет, — сказала старуха. Слабо махнула рукой и устало бросила ее поверх одеяла.

Груня хотела подняться.

— Стой! — шепотом сказала старуха. — Стой, стой!.. Возьми руку мою правую... возьми, возьми, я не могу. Сложи пальцы, так. И перекрести себя. И Вите передай. Так и люби, как любишь. Иди... старика приласкай. Бедный он...

Груня встала. Три раза перекрестилась на образ, вышла и тихонько заперла двери.

Маруся

— НУ-С, довольно возиться, — сказал басок.

И перед Башкиным резкими зелеными углами стал стол.

Жандарм тряхнул его за плечо.

— Довольно-с истерик! — назидательно, хмуро сказал полковник. — Говорите дело. Ну-с! — уже крикнул полковник. Кивнул жандармам.

Они, звеня шпорами, вышли вон.

— Эс и эс? Ну? Нечего бабу разыгрывать! — полковник поднялся. — Встать! — крикнул он Башкину в лицо.

И Башкин не знал, какая сила подняла его, и он встал.

— Довольно дурака валять! — крикнул полковник.

Офицер тоже стоял, он злыми, обиженными глазами глядел на Башкина.

— Вам сейчас, как честному человеку, предлагают помогать работе государства. Понял? — И полковник вонзил глаза в Башкина, в самые зрачки, вонзил и пригвоздил на миг. — А то, знаешь?

И метнулась искра, и замутилось холодом внутри у Башкина. Острым холодом взвилось под темя. И прошла, продышала секунда.

— Так вот, — тише сказал полковник, — готовы вы содействовать общественному порядку или противодействовать?

— Да... — едва скользнул голосом Башкин.

— Что — да? — и полковник уперся в глаза. — Содействовать?

— Да, — мотнул головой Башкин.

Полковник сел. Офицер тоже сел и что-то мазнул карандашом на бумаге.

— Если да, — продолжал полковник (он все еще держал глазами Башкина), — если да, так содействовать надо не как-нибудь, как вам там вздумается, а так, чтобы это было в соответствии... с видами и действиями... Не выдумывать мне дурацких

дел! — вдруг снова встал и заорал полковник. — Шерлоков мне не разыгрывать, чтобы десятки вытравливать! А дело... Дело! Понятно? Садитесь.

Башкин стоял.

— Зря денег я кидать не стану! — жиганул глазом полковник. — А теперь марш в камеру! Завтра ротмистр все объяснит. В его распоряжение.

Полковник встал из-за стола и простукал каблуками в боковую дверь.

Офицер встал.

— Отправляйтесь! — сказал он строгим голосом. — И пожалуйста мне без фокусов... — он постучал перстнем по столу, — без этих сеансов!

Офицер больше не взглянул на Башкина. Он свернул бумаги трубкой и вышел в коридор.

— В камеру! — крикнул жандарм с порога.

Башкин встрепенулся: «К себе, скорее к себе. Туда, в камеру, в камерку мою, скорей!» И он чуть не бежал по коридору впереди служителя.

— В камерку, в камерку, в мою камерку... приду, вот сейчас приду, — шептал Башкин, и ноги дергались в коленях и судорожными толчками кидали Башкина по коридору. Он не мог дождаться, пока отворили. В камере стояла койка. Новая солома зашуршала, запружинила. Башкин с любовью похлопал матрац и прижался лицом к подушке. Он стал смотреть в грязную стену. И вдруг — не мысль, а кровь вся сразу изнутри нажала в голову.

— Что же, что же, что же это? — сказал Башкин громко, вслух, и сам испугался своего голоса. Он прижал со всей силы рукой щеку, как будто зубы болели, хотел вскочить, дернулся и снова упал на подушку, — голодная, лохматая голова пошла кругом.

Башкин спал в полуобмороке. А за плечо его шатал, шатал кто-то. Открыл глаза — служитель.

— Вы вперед покушайте, а опосля опять спите на здоровье.

И он помогал Башкину подняться на кровати.

— Да, да... Я покушаю. — говорил Башкин, сидя на койке. — Очень, очень... Да, я покушаю... Спасибо... Конечно... — и все ерошил пятерней свои густые, липкие волосы.

Башкин говорил мирным, дружелюбным голосом. Он, шатаясь, сел к столу. Он потянул носом, и запах настоящего борща всем аккордом ударил в ноздри, всей капустой, помидорами, луком, салом, и всех их сразу и в отдельности чуял Башкин,

как живых, как родных, как радостную встречу. Ложка прыгала в руке, обжигались сладко губы. Башкин тремя пальцами рвал мякиш ситного хлеба. Он ел и дурел от борща. Он опрокинул остатки в рот и обтер хлебом миску. Прожевал и обтер коркой насухо. Он сидел, как пьяный, и глядел в пустую миску.

Когда клякнул замок, Башкин перевел туманные глаза на дверь и глядел с тупой улыбкой. Тот же служитель вошел. На руке нес сложенную одежду.

— Вот, переоденьтесь в свое обратно же, — и он положил на койку одежду.

Башкин кивнул головой.

— Да, да... Очень.. Конечно...

А от живота теплота поднималась к груди, и в истоме тянулись ноги. Глаза слипались. Башкин повалился на койку.

«А что будет? — слабо толкнуло в голове. — А ничего не будет. Уж все было. — Он завернулся в одеяло. — И вообще ничего не бывает. Чепуха одна», — слабо бродила хмельная мысль.

И Башкин заснул. По-настоящему, плотным камнем, носом в стену.

— Ну, одевайтесь и пошли. Требуют господин ротмистр. — Служитель стоял над ним. — Одевайтесь в свое. А то так ведь стыдно. На что похоже? Вроде утопленник или, прямо сказать... обезьяна.

Он держал чистую рубаху, которую успел смять ногами Башкин.

— Живо одевайтеся, бо ждут. И воротничок цепляйте.

Башкин с тревогой одевался. Да, его одежда, наспех, кое-как починенная. Она потрескивала, когда надергивал ее как попало Башкин. Служитель помогал ему.

— А это куда же идти? — с одышкой спрашивал Башкин.

— Отведут. Там знают. Скорей надо. И пальто надевайте и все. Чтоб в полном виде.

Башкин пошел теперь за служителем. Лестница была освещена, и в окнах была чернота.

Внизу хлопнули двери, затопала человечья возня, и сдавленный голос крикнул:

— Поговори мне еще!

Башкина подстегнуло, он поддал ходу. Служитель привел его к тому же кабинету, где он первый раз говорил с офицером.

— Пальто здесь повесьте, — сказал жандарм, — доложу сейчас.

Башкин на скорую руку подбирал речь, какую он скажет офицеру. «Прежде всего, во-первых, самое первое, — задыха-

лась мысль, — я не хочу служить. Я не нуждаюсь в службе, мне не надо службы. — Башкин загнул уж три пальца. — Почему полковник беспокоится, что я буду даром деньги брать? Я не буду денег брать ни даром, никак. Это — в-пятых, — и Башкин судорожно зажал кулак. — И потом, пусть я сочувствую, но я не способен, просто знаю, что не способен, наверное, подлинно знаю, как свои пять пальцев, — и Башкин растопырил перед лицом свободную руку. — И поэтому я ничем быть полезным не берусь и считаю нечестным, да! именно бесчестным что-либо обещать. И это все надо сейчас же и сразу и категорически отчитать — и все! Прямо с порога». Башкин боялся забыть аргументы и со страхом, чтоб какой-нибудь не выпал, как перед экзаменом, задыхаясь, твердил в голове, шепча губами:

— Раз... во-вторых... а в общем... И прямо с порога.

В коридоре коротко трынкнул электрический звонок.

— А вот пожалуйте, — сказал жандарм и кивнул головой на дверь.

Башкин сделал четыре огромных шага и осторожно открыл дверь: а вдруг не туда?

Комнату он не узнавал, — она вся была в сонной полутьме. Под низким абажуром лампа на письменном столе. Стоял офицер, — освещены были только синие брюки.

— Что же? Входите... гаспа-адин висельник, — крутым голосом сказал офицер.

Башкин запер за собой дверь.

— Я хотел вам объяснить, — начал Башкин, глотнув воздуха.

Но офицер резким голосом перебил:

— Что там объяснять? Гадость! Бабья гадость! Еще уксусом травился бы... Маруся какая.

— Я не то... — начал снова Башкин.

— Что не то? — крикнул офицер, подступил на шаг. — То самое! Пошло и гнусно! — И он ступил, широко расправляя ноги, еще два шага.

Башкин задыхался, стоял у двери и глядел, как наступал на него из полутьмы красный жгучий огонек папиросы на этих двух ногах со шпорами.

— Вы мне предлагаете, — заспешил Башкин, пока не надвинулся вплотную огонек, — вы предлагаете мне...

— Кто вам предлагает? Что вам предлагают? — Огонек пыхнул и еще двинулся.

— Господин полковник предлагает, — размеренным голосом начал Башкин, собрал голос, — полковник думает...

— Ничего полковник не думает, а думают дураки и философы! Кто это вам предлагает? А если вы тут опять вздор молоть собрались, то, может быть, прекратим разговор?.. Что?

Башкин молчал.

— Не угодно? — Огонек вспыхнул сильнее и блеснули в свету глаза. — Ну-с? Так слушать, и без истерик и фокусов. — Огонек зашатался в воздухе огненной дугой. — А то разговоры могут выйти очень короткие.

«Пусть скажет, потом я, потом все скажу: ровно и уверенно, все, все!» — думал Башкин и кивал в темноте головою.

— Так садитесь и извольте слушать, — ротмистр круто повернулся и пошел к столу, ставя каждую ногу плотно на ковер.

«А я не сяду!» — думал Башкин.

Ротмистр сел в кресло, ткнул в пепельницу окурок.

— Во-первых, у нас есть, — ротмистр не спеша полез в карман и достал перламутровый ножичек, — у нас, я говорю, останутся эти... ваши... упражнения, что ли, — ротмистр взял со стола карандаш и весь перегнулся к лампе и на ярком свете стал чинить карандаш. Он совсем спиной повернулся к Башкину. — Да-с! Ну и этот, как его, черт! — Ротмистр внимательно стругал тонкие стружки. — Этот... протокол... Ничего, потом подпишете... А затем, вот что... шутить мы не любим, — сказал тихо, будто про себя, ротмистр, не отрываясь от работы. — Да и не до шуток, а вот дело. Месяц мы вам даем оглядеться, даже... ах, черт, сломал, кажется!.. Да, даже можете побалдить с месяц, — говорил неторопливо ротмистр. — Можете побаловаться. Дамами, кажется, интересуетесь? Вкус у вас, однако, как у тверского цирюльника. Ну, это дело ваше. И зарубите на своем носу — места, кажется, хватит? — Ротмистр глянул на Башкина, осторожно скобля острие графита, прищуря глаза. — Зарубите покрепче: нам ведь все будет известно-с, каждый ваш крендель, — ротмистр бросил на стол карандаш и резко крикнул Башкину: — Каждая петля!! А через месяц явиться сюда. И послать мне доложить, что Эс-Эсов, — у нас вы Эс-Эсов, — и если проболтаете кличку, попадет от них в лоб... а от нас по лбу! А потом являться каждую неделю. С глупостями не соваться. — Ротмистр встал. — А смотреть в оба!

— Я не могу! Я не способен! — хриплым шепотом дохнул Башкин. Он сделал шаг от двери, сел на кресло и замотал головой. — Я не могу! не умею.

— Надо учиться, — обрезал ротмистр. — А то научим. — И он зашагал к Башкину. — Что? Опять истерики? Не отучили? У нас,

голубчик мой, такие места есть, что тараканы не сыщут. Па-а-нятно? — расставил ноги и, избочась, нагнулся вперед. — Сейчас домой, или... так просто, батенька, отсюда не выходят!

«Я удеру, удеру, — думал Башкин, — только выйти отсюда... все, всю жизнь положу, и я зароюсь, закопаюсь в Сибири, в горах. У! Я знаю теперь, — и он смело глянул на ротмистра. — Каждую секунду использую для цели, остро, тонко и... как сталь!»

Башкин сжал зубы.

— Па-а-нятно? — спросил ротмистр и еще подался вперед.

— Да, я понимаю, — твердо сказал Башкин.

— Так бы давно. Пожалуйте сюда, — ротмистр кивнул, — сюда, к столу, где это? Вот! Вот тут подпишите, — и он провел крепким точеным ногтем внизу бумаги. — Это протокол. Ходу мы ему не даем. Тут есть ваше искреннее признание, что насильственным актам вы не сочувствуете. Я там немного даже в вашу пользу сформулировал.

«Все равно, — думал Башкин, — в каких дураках вы будете со всеми своими бумагами! Идиоты! Примитивные тупицы».

Башкин насмешливо сощурил глаза, — его лица не было видно, и только стол был ярко освещен и блестел хрустальными чернильницами и бронзой пресс-папье.

— Так-с, — и ротмистр прижал тяжелым пресс-бюваром подпись Башкина. — Так вот, наведывайтесь к нам, как только что у вас будет. Затем должен вам сказать, — мягко, вполголоса, шептал ротмистр, — что если вас арестует полиция, — ну, попадете в самую гущу, например! Требуйте в крайнем случае, — зря этого не надо! — чтоб вас препроводили в охранное. Для полиции вы тоже сфинкс! — И ротмистр поднял палец. — Это в самом крайнем случае; ну, перед лицом смерти, увечья. А то пусть ведут со всеми в тюрьму. Вы — как все. И мы только с вами все знаем, — и ротмистр почти дружески ткнул себя в грудь и потом Башкина в плечо. — Образа жизни не меняйте. О том, где были, ни звука! — Башкин тряхнул головой. — Просто скажете: был арестован по ошибке и отсидел в тюрьме. Это не редкость, очень естественно... У вас, голубчик, ни гроша? Как у всякого честного человека? Правда? Куда же вы пойдете? Я вам могу сейчас немного дать.

Ротмистр быстро отодвинул ящик, достал конверт. Красным карандашом широко было написано: «тридцать рублей». Ротмистр сложил его пополам и протянул Башкину.

— Ну, берите же, ну, хоть чем-нибудь возместим; тут и ваш паспорт. Вы же, наверное, потеряли уроки там и все такое... мы вам гораздо больше... да и не мои это деньги... это уж полагается... всегда, — и он сунул конверт в карман Башкину с самым шаловливым видом. — И вот, дуйте мне здесь расписочку. Мне ведь отчитаться надо. Валяйте, садитесь. Все готово: пишите, — и ротмистр лукаво засмеялся, — пишите уж «Эсэсов» и баста. Вот тут.

— Сию минуту! Через «э» оборотное или через «ять»? — шутил Башкин и думал: «Вот, вот, это на побег, сами же дураки дают. Сует, идиот, и ничего не подозревает».

— Ну-с! А теперь вот: являться только ночью, между двумя и тремя. В воротах скажете: «Эсэсов», — и пропустят. А потом — доложить ротмистру Рейендорфу. А сейчас отправляйтесь.

Ротмистр взглянул на часы.

— Фу! Половина четвертого. Ну, надеюсь, друзьями? — Ротмистр протянул руку. Рука была твердая, спокойная. Заглянул в глаза Башкину. — Слушайте, — сказал он мягким голосом, — вы бы... того — гидропатией, что ли, какой-нибудь; вы же смотрите, какой вы! Надо же быть мужчиной. На коньках катайтесь, что ли. Нельзя же так! И нервы, и физика, — и ротмистр потряс Башкина за плечо. — Ну, идите, — позвонил.

Башкин направился к двери.

— Так через месяц здесь! — крикнул ему вслед ротмистр, твердо и звонко. — Проводи на волю, — приказал он жандарму.

— Пропусти одного! — крикнул жандарм в пролет лестницы, и плотно щелкнула дверь за Башкиным. Теплая и пустая лестница. Глухая пустота будто подлавливает, западней вилась решетка перил. Башкин мягко ступал калошами. С площадки глянул на дверь. Ему казалось, что смотрит, смотрит дверь, прищурив глаза. И он через две ступеньки все шибче и шибче покатился с лестницы. С последнего марша он увидал: стоит человек в барашковой шапке и смотрит на него глазами, как на вилы принимает. Башкин сбавил ходу. Человек, не спеша, пошел к двери и завертел ключом. Приоткрыл и стал, держась за ручку. Башкину казалось, что, если сунуться, зажмет в дверях, как кошку. Башкин стоял. Человек резко кивнул в двери. Башкин змеей провернулся в проход, и веселый морозный воздух дунул в ноздри, обмыл лицо. Снег! Снег! Вот что делается на земле-то! И Башкину показалось, что прошли месяцы с ареста.

А главное — он не знал, куда идти. Совершенно не знал, как будто его в чужом городе поставили на пустой тротуар. Он ог-

лядывался, не узнавал места. На квартиру? Никакой квартиры: старуха давно сдала комнату... Четыре часа ночи.

«И где я, где?» — озирался Башкин.

Он перебежал на другую сторону улицы, оглянулся: яркими квадратами светился дом охранки. Ровным матом задернуты окна. Недоступно, слепо. Глядеть не хочется. Башкин шел, оборачивался. Городовой лениво шагал по улице, и пищал под валенками морозный снег. Башкин прошел до угла, и в спину городового и в окна охранки замахал кулаком. Тощая, длинная рука жердью высунулась из рукава пальто.

«Я вас... я вам... узнаете, узнаете, узнаете меня, черти... сволочи проклятые! Меня, Башкина, узнаете».

Городовой повернул. Башкин сунул руку в карман и зашагал. Он все быстрее шагал и все говорил жарче и жарче:

— Что ж это? Да что ж это?

Он побежал по пустой улице.

— Ай! Ай! — и мотал головой. — И тридцать, тридцать нарочно, сволочи, как Иуде сребреники, — и Башкин с размаху на бегу ударил кулаком, больно ударил по каким-то перилам. — Сказать, рассказать кому, чтоб узнать, что же это?.. Мамочка, мамочка, миленькая, — говорил Башкин, задыхаясь от бега.

— Что, смерз? — окликнул его ночной сторож. Башкин пошел, тяжело дыша.

«Ну, кому? кому?» Матери у Башкина не было. Он был сирота. Башкин не знал, куда шел. Улицы становились пустей. Полукругом шел скверик перед церковью, и стриженые кустики стояли в снегу пушистым барьером.

«Я их разорву, — Башкин остановился в расстегнутом пальто, — в клочья! Взорву охранку... приду, принесу адскую машину, — шептал Башкин. И ему виделось, как летят черным фейерверком клочья, камни. Со скрежетом, с треском. — И клянусь, клянусь!»

И Башкин вдруг повернулся к церкви, стал креститься, крепко стукая себя пальцами, как будто вколачивал гвозди. Он подошел, стал на колени, сдернул шапку и лег лицом в пушистый, холодный снег, прижался, как в воду окунул лицо, и шептал:

— Клянусь... клянусь...

Он встал, он крепко сдвинул брови, чтобы не потерять, чтоб накрепко, навеки вдавить мысль. Он постоял минуту, глубоко дыша морозным воздухом.

— Так! — сказал Башкин и решительно тряхнул головой. И он почувствовал, как ему холодно в расстегнутом пальто.

Башкин запахнулся, пошел деловым шагом, глубоко надвинув шапку. По уши ушел в воротник.

«В номера, в гостиницу надо, — решил Башкин, — не надо глупостей, а все в линию, в линию, спокойно так и стлать, стлать».

На перекрестке он спросил обмерзшего сторожа, как пройти на Почтовую. Там он помнил вывеску: «Номера "Мон-Репо"».

Дым

САНЬКА постучал кулаком в дверь и сейчас же толкнул ее плечом — раз! Дверь наотмашь отпахнулась. Карнаух от стола, от лампы, хмурясь и щурясь, глянул на Саньку. Не успел улыбнуться, вскочил:

— Эк, ей-богу! Надо было перелицеваться. А то студентом! Полна Слободка шпиков, — сказал Карнаух уже шепотом и прикрыл осторожно двери. — Ну, что? Сара вячит?

— Как это? — спросил Санька.

— Деньги-то есть, спрашиваю. Послать-то которые?

— Пятьдесят монет, — Санька обиделся на замечание, что неосторожно пришел в студенческой форме. — Вот пятьдесят монет, и посылайте, а я не знаю, черт его знает, как его: Головастиков там или Головопят какой. — Санька положил скомканные бумажки на стол.

— Чудак! — сказал Карнаух и сбоку глянул на Саньку. — Когда же, к черту, мне послать, — я ж весь день в заводе. Посылать — так только тебе, а больше некому. Адрес я ж сказал: учителю Головченко. А он уж Алешке передаст. Это можно сказать, что прямо как ему... А у нас тут замутилося — у-ух! — Карнаух весело мигнул Саньке.

Но Санька все хмуро глядел в пол и сосал папиросу, как дело делал.

— Ничего не слыхал? — спросил опять Карнаух и загнул голову набок, искоса глядел на Саньку.

— Нет, — сказал Санька.

— Да ты что дикобразом таким? — серьезно сказал Карнаух. — Что деньги достал — сердишься? Так забирай, ну их к лешему, — и сунул пачку по столу к Саньке. — Обойдемся.

— Да нет. Не то, — сказал Санька и не знал, что соврать, и сказал, чтоб сказать скорее: — Да не везет, — и выругался.

— А что, брат? — Карнаух подсел к нему на кровать. — Не с бабой ли? — И участливо заглянул в глаза.

— С бабой, — мотнул головой Санька. И обрадовался, что так хорошо прошло, так натурально.

— Брось! Тебе-то не везет! Фьу, брат: такому парню? У всякой бабы повезет, и никто не перебьет, дуй смело. А тут у нас, понимаешь, — де-лов! Ма-ту-шки! Шпиков — до чертовой матери. Котельщики стали — не удержать, никакая сила. Бастуем — и край. Коли нас не поддерживаете — плюем. Там их подзудили, — Карнаух хитро мигнул.

Санька глянул на него.

— Понимаешь? Не без наших, — шепотом сказал Карнаух. — Там, говорят, провокация. Говорят, их одних-то сомнут, дураков, порастаскают и страха зададут до новых веников. А это им просто зло, что не они это сделали, то-то. А нам плевать. Пусть дело пойдет, — я тебе верное слово говорю: весь завод станет. И надо, чтоб стал. — Карнаух говорил громче и громче. — Надо, чтоб стал! Они, черт маме ихней, силы копят, — говорил Карнаух, смеясь, — они, сволочи, деньги копят, места теплые обсиживают. Я ведь сам знаю, я не человек, пока мне по морде не дали. Верное слово: я всех боюсь. А дай мне в рыло — я на штык полез. И не тряхнешь ты этого болота. А бахнул палкой — и жабы заквакали.

Карнаух уж стоял перед Санькой и «бахал» рукой в воздухе.

— Организация! — смеялся Карнаух. — Какая может расти организация, когда случаев нет? Случаи должны быть. А как случай получился, как взяли тебя в кольцо, тебя обжимают, — да не как-нибудь там: одному рубль двадцать, а другому два шесть гривен. А чтоб всем одинаково, всем одна расценка... в морду прикладом, — вот тогда все мы одни. Я тебе говорю: Алешка тут будет и все, брат, тут будет. Все на свете! Дым будет стоять, — и Карнаух обвел целое облако рукой.

Санька плохо понимал, что говорил Карнаух, но от слов шел жуткий звон. Веселил и холодил холодком под грудью.

— Чай будем пить? — спросил Карнаух. — Или нет! Иди, пока не больно поздно, а то потом, пусто как станет, будешь у шпиков на самой мушке и возьмут на заметку.

Санька поднялся, сгреб деньги в карман.

— Так значит: Унтиловка! — говорил шепотом Карнаух. — Получить учителю Федору Ивановичу Головченке. И больше ничего. И напиши, как я сказал: «У Мани сын, поздравляю». И через три дня Алешка здесь.

И Карнаух ударил Саньку в ладонь, пожал, прощаясь.

Спокойный воздух стоял стойко. Звезды звонко пошевеливались в черном небе, и в мутной белизне пропадал конец улицы. Редкие люди перепархивали через улицу черной тенью, махали на рыси полами. Санька бойко шагал по мосткам. И, как в гулком ящике, ухали его шаги под мостками. Ночь встала, поднялась, как приготовилась. Санька набирал всей грудью снежный воздух, и тот холодок под грудью, что остался от Карнауха речей, от того, что дым пойдет, — холодок этот поднимал сердце. Будет под небом этим: должно быть. И казалось, что, как в театре, поднялся занавес, все устроено и замер последний звук, и надо начинать. Сейчас начинать. «И если кровь, — подумалось Саньке, — так вот, на чистый снег, на белый, и под торжественным небом. И хоть сейчас умереть и лечь навзничь — лицом в звезды». И он глянул в небо, и вон две звезды рядом как взглянули. Как глаза. И вспомнилась лестница, и ее преданный и чуть строгий взгляд. И Саньке хотелось убитым лежать на снегу, а чтоб она взглянула. Ранили чтоб прямо в сердце, вот сюда, и Санька осторожно поднял руку и прижал к груди. И как ответ живой — кольнула булавка. Как самое ясное, как самое верное «да».

— А к чертовой матери, — сказал Санька вслух, — не забыть бы дело: Унтиловка, Головченко, Федору.

Санька шагнул с мостков и побежал догонять конку. Он, запыхавшись, сел на лавку, а вокруг выл, скрежетал мерзлым железом хлипкий кузов вагона.

В углу у дверей чинно сидел молодой квартальный в новенькой шинели.

— С рубля не будет! Как хотите! — мотал головой кондуктор. — Только вот сдал. — Кондуктор орал, чтоб было слышно.

А Санька держал перед собой серебряный рубль.

Квартальный привскочил, он шагнул к Саньке и звонким, вежливым голосом сказал через вой вагона:

— Разрешите выручить из неудобства. — Он хлестко швырнул на лавку новенький портфельчик, отпахнул полу шинели, полез в карман брюк. Квартальный улыбался и сочувственно и почтительно. Он с удовольствием держал в белой перчатке новенькое, тугое кожаное портмоне.

— Не надо, благодарю вас, — хмуро сказал Санька, но голоса его не слышно было за треском конки. — Без сдачи! — крикнул Санька и сунул рубль в руку кондуктора.

Они все стояли, их стукало на ходу друг о друга, и они почти не слышали, что говорили.

Кондуктор передал рубль квартальному, квартальный укоризненно улыбался, глядя на Саньку. Он вынул пятак из кошелька, дал его кондуктору, а затем натаскал серебра из кошелька.

— Пожалуйста: восемьдесят и пятнадцать — девяносто пять, — и он на белой перчатке, как на блюде, протянул Саньке деньги.

Санька взглянул в глаза околоточному: глаза были обиженные и приветливые.

— Пожалуйста, это ваши деньги, — громко сказал околоточный. — Рр-а-ди Бога, не беспокойтесь.

— Спасибо, — сказал Санька и опустил мелочь себе в карман, — очень вам благодарен, — крикнул Санька, боясь, что квартальный не расслышал. Квартальный козырнул с улыбкой, хотел шаркнуть, но его тряхнуло, и он с размаху сел на лавку.

Санька повалился на свою, и они оба рассмеялись.

— Стрелка, — ленивым басом прохрипел кондуктор от двери.

— Но, понимаете, можно головой стекло разбить, — сказал квартальный.

— Что? — крикнул Санька. Квартальный пересел рядом с Санькой, бок о бок, и крикнул в ухо:

— Вот так, извините, боднешь в стекло башкой, и кто отвечает? Особенно, если до свадьбы не успеет зажить? А? Скажем, завтра свадьба... Вот как у меня. — Санька глянул на квартального. — Вы презираете, может быть, полицию? Но для женщины... — В это время конка стала, оборвался скрип, и громко, на весь вагон, слова ударили «для женщины»...

— Разъезд! — сказал кондуктор и вышел.

Санька боялся, что кто-нибудь войдет и увидит, как ему в ухо говорит квартальный.

— Вы бы согласились умереть для женщины? Правда? Все б согласились?

Санька хотел сказать: «Лучше умереть, чем это». Но глянул в глаза квартальному, и остановились слова. И Санька утвердительно мотал головой.

— Если б она мне сказала: «Виктор, будь офицером», я бы...

Конка со скрипом дернула, и Санька не слыхал конца, но все глядел в глаза квартальному и мотал головой:

— Да, да.

Дверь взвизгнула, обмерзшая баба втиснулась, прятала кошель, вороша юбки.

— Позвольте представиться, — встал квартальный, — Виктор Вавич! — Виктор сорвал перчатку и протянул руку.

Санька привстал и пожал руку квартальному, и тут только вспомнил околоточного из Петропавловского участка.

— Слушайте, Бог с вами, — сказал Санька. Он встал и наклонился к самому уху Вавича, держа его за руку. — Бог с вами, а я с полицией не знаком, — и Санька с силой придавил его руку.

Виктор повернулся и, дернув дверь, выскочил из вагона.

Санька смотрел Виктору в обиженную спину. Входили новые люди, дули в руки, колотили нога об ногу, и Саньке хотелось, чтобы опять вошел квартальный — помириться? подраться?

— Все равно сволочь, — сказал Санька в треск конки, повернулся и стал ногтем процарапывать изморозь на заиндевевшем стекле.

«Может, и рубаха-парень, да зачем лезть в приятели?» И Санька вспомнил песенку:

Сидел я на скамье,
Со мною мой приятель.
Ах, так его и так, —
Квартальный надзиратель.

И Санька улыбнулся и весело оглядел весь вагон.

Санька вышел. Скрип саней, извозчичий звон и «эй» после визга конки приятной музыкой поласкали уши.

Санька нащупал в кармане Алешкины деньги, и снова холодок дохнул под грудью. Санька поднял голову и зашагал крепким шагом. Дыхание поднимало грудь. «Прикладом в морду, — и тогда мы все одни...» Значит, непременно, непременно надо, чтоб это было, — и тогда пойдет дым. Что-то жуткое толкалось Саньке в грудь и сбивало дыхание.

«Трушу, что ли?» — вдруг мелькнуло в голове. И Санька сжал брови.

Заткнись

— АННА Григорьевна — вам! — Горничная протянула сложенный вдвое клочок бумаги, дрянной, замусоленной.

Анна Григорьевна тревожно вскочила, свезла набок бархатную скатерть, выхватила из рук Дуняши бумажку, развернула

и читала, держа Дуняшу за руку. Дуняша глядела в пол. Незнакомым, прыгающим почерком было написано карандашом:

«У меня тридцать девять, отсюда гонят. Посоветуйте, родная, как? Простите мне все, все. Башкин».

— Он ушел? — крикнула Анна Григорьевна.

— Мы здесь находимся, — ответил спокойный голос из прихожей, и Анна Григорьевна рванулась вперед.

— Откуда?

— Номера «Ман-репа». Здравствуйте, мадам. Очень просто, что неудобно. Может, зараза какая. Жильцы опасаются. Все же знать надо — не больница, а номера, — и человек назидательно покачал головой. — Ответ будет?

— Скажите — сейчас, сейчас буду. Давно? — Анна Григорьевна совала человеку в руку двугривенный.

— Третьи сутки с этой ночи пошли.

Анна Григорьевна покраснела, на минуту сжала у груди руки, подняла брови над широкими глазами. Дуня захлопнула дверь.

Анна Григорьевна бросилась одеваться. Несколько раз в калошах возвращалась к себе в комнату: деньги, термометр, одеколон и йод, йод! — непременно, на всякий случай, совала в ридикюль.

Анна Григорьевна остановила извозчика и тут спохватилась: куда ехать? Она нерешительно сказала, запыхавшись от страха, что забыла:

— Монрепа!

Извозчик отпахнул пригласительно полсть.

— Мон-Репо, — надумалась Анна Григорьевна. — Как все слава Богу...

— Где господин Башкин?

Анна Григорьевна от волнения тяжело дышала грузной грудью.

На полутемной лестнице горел газ, и грязный номерной зло стукал облезлой щеткой об пол. Жареным луком и помадой пахнуло из коридора.

— Боже мой, Боже мой, — шептала Анна Григорьевна, — в такой трущобе третьи сутки. — Она часто дышала, карабкаясь по крутой деревянной лестнице.

Она стукнула в дверь в конце коридора и сейчас же открыла. В узенькой комнате рябые обои, замерзшее окно и койка — Анна Григорьевна только ее и видела.

— Господин Башкин? — сказала она с порога. — Господин Башкин, я боюсь сразу, я с холода.

Башкин поднялся на постели, он сидел. Он протянул без слов вперед руки, потом сжал их у груди и без слов зашатал головой.

— Боже мой, Боже мой! — крикнула Анна Григорьевна и, как была в шубе, кинулась к Башкину. — Милый мой, родной, что с вами?

Она обняла его за голову и целовала в темя, а Башкин плакал. Плакал, и вся боль вытекала слезами. Он совсем лег на плечо Анне Григорьевне, прильнул щекой к бархату, а она, все еще задыхаясь, в неудобной позе, прибирала волосы с его лба.

«Вот ей сказать, сейчас сказать, — летало у Башкина в голове. — И так просто, хорошо сейчас сказать! Все, не думая, не словами, а целиком, как оно есть, куском, как стоит в горле». Он представил со стороны, как лежит его голова на плече этой женщины, а он в этих слезах. И он испугался, что она сейчас отпустит его.

— Анна Григорьевна! — сказал Башкин. И голос сказал совсем не так, как надо было, совсем не то, чего ждал Башкин, и он с испугом чувствовал, что отлетает, отлетает то, когда можно сказать. Он схватился цепкой рукой за плечо Анны Григорьевны и почувствовал, что теперь совсем, совсем пропало.

— Голубчик, вам неудобно, милый, вам же нельзя волноваться, — и Анна Григорьевна бережно опустила голову Башкина на подушку.

— Не могу, не могу! — горьким голосом говорил Башкин, он уткнулся в подушку, натянул по уши одеяло и плакал едкими, ржавыми слезами.

— Успокойтесь, успокойтесь, — шептала Анна Григорьевна и думала: «Дура, дура, валерианки-то, идиотка, не взяла! Ведь хотела».

— Доктор был? — спросила она, когда Башкин затих. Башкин не ответил. Анна Григорьевна осторожно поднялась. Пересела на стул. Башкин крепко прикусил, зажал зубами наволочку.

Анна Григорьевна на цыпочках, осторожно переступая, двинулась к двери.

— Вы уходите?! — вскрикнул Башкин. Анна Григорьевна вздрогнула.

— Я вас напугала, простите. Какой я медведь! Я сейчас, сейчас. Голубчик, я вас не оставлю. — Она подбежала к Башкину и схватила его руку. — Сейчас, сейчас! — и она вышла из комнаты.

Башкин старался забыться, отдаться жару, уйти в болезнь; он закрывал глаза и слышал, как против его двери нетерпеливо скрипели половицы под шагами Анны Григорьевны и как у телефона кричал визгливый женский голос:

— Ну, думаете, как военный, так можете мене пули лить! Ну да! Еще бы...

И слышал, как потом говорила в телефон, тут, напротив его двери, Анна Григорьевна взволнованным, торопливым голосом. Башкин лег навзничь, закрыл глаза и старался глубоко и ровно дышать и с радостью чувствовал, что засыпает.

Санька своим ключом отпер дверь, вошел, и хлопнул замок с разлета. И сейчас же у дверей столовой мать зашикала, замахала рукой.

— Тише, тише, ради Бога! — и вслед за тем вошла в прихожую, шепчась с доктором Бруном. Дуня шла следом с почтительным, грустным лицом.

— Что, что? — спешным шепотом спрашивал Санька, придержав Дуню.

Дуня шептала, опустив глаза:

— Больного к нам в карете привезли. Знакомого. Пожалуйте, я подам! — и схватила с вешалки докторову шубу.

— Пожалуйста, звоните хоть ночью, — говорил доктор, — я сам приеду и поставлю банки. Но повторяю: очень, очень истощен.

Анна Григорьевна сама закрыла за доктором дверь, осторожно придержав замок.

— Кого привезли? — спрашивал Санька. — Кого?

— Башкин, Башкин, — и ужасно, ну, совсем ужасно, — Анна Григорьевна заторопилась. С содроганием трясла головой по дороге.

— А, ерунда! — сказал на всю квартиру Санька. Сказал с досадой, с сердцем. — Врет, как тогда с рукой.

Санька рывком бросил шинель на стул и громко зашагал в комнаты, на ходу чуть не кричал:

— Где он? Где он?

Санька вошел в спальню Анны Григорьевны. Электрическая лампочка была завернута в синий платочек. Синий полусвет туманом стоял в комнате, и на широкой постели Анны Григорьевны, на белой подушке с кружевами, страдальчески закинув вбок голову, лежал Башкин. Анна Григорьевна сидела в ногах на стуле и смотрела ему в лицо.

Санька, не умеряя хода, подошел к кровати и громко крикнул:

— Эй, вы!.. Опять с фокусами? Рука, может быть?

— Тише!.. Что ты? — вскинулась Анна Григорьевна.

— Да оставь, противно прямо! — Санька отталкивал мать. — Башкин! — крикнул Санька.

Башкин слегка дернул головой.

Анна Григорьевна ладонью старалась закрыть Саньке рот и всем тяжелым корпусом толкала его к двери.

— Вот нахал! — крикнул Санька и, возмущенный, громко топая ногами, пошел в двери.

— Надька, Надя! — кричал Санька в столовой. — Смотри безобразие какое. Надька!

Санька с размаху злой рукой дернул Надину дверь. И стал. Стал в дверях, держась за ручку, поперхнувшись воздухом, что набрал для крика.

Таня, в той же шапочке с пером, сидела на краешке Надиной кушетки. Внимательно, с радостным интересом глядела на Саньку — прямо в глаза. Лампа крепким светом отсекла Танины черты, и они глядели как с портрета.

А против лампы — черный, плотный силуэт мужчины на стуле. Надя насмешливо поглядывала на Саньку, чуть запрокинув вверх голову.

— Входи, чего ж ты? — как старшая детям, сказала Надя. — Знакомься, это товарищ Филипп.

Филипп поднялся. Санька подошел, он выпрямился во весь рост и чинно подал Филиппу руку. Он боком глаза чувствовал, что Таня смотрит на них обоих. Он старался против света разглядеть лицо Филиппа. Мужчины держались за руку молча, как будто пробовали друг друга. Две секунды. И Филипп первый прижал Санькину руку и сказал тихо:

— Здравствуйте.

Санька поклонился головой и сказал:

— Очень рад, — глубоко вздохнул и стал оглядываться, куда сесть, — в этой знакомой Надькиной комнате. Он сел на другой конец кушетки. Все молчали.

— Можно курить? — спросил Санька и глянул на Надю.

— Что за аллюры? Не модничай, пожалуйста, — и Надя насмешливо кивнула вверх подбородком. — Чего ты там орал, скажи на милость?

— Да черт знает что, — начал Санька, начал не своим домашним голосом, а как в гостях. Таня с любопытством смотре-

ла на него сбоку. — Черт знает что. Мама привезла откуда-то этого кривляку.

Санька обратился к Тане:

— Это ведь все комедия, он даже умрет нарочно. И отпеть себя даст. На грош не верю.

Таня глядела в глаза Саньке и слегка улыбалась, и Санька знал, что не его словам.

— Это пошлый шут, — продолжал Санька и ждал, чтоб Таня сказала слово. — Это человек, который сам не знает, когда он врет и когда...

— Дайте и мне папиросу, — протянула руку Таня. Санька жал пальцем кнопку и впопыхах не мог открыть портсигар.

— Ну, Брун выслушал, — учительно сказала Надя, — несомненное воспаление легких, так что ты заткнись.

— Так о чем вы говорили? — обратилась Таня к Филиппу, не глядя закуривая от Санькиной спички. — Вы что-то очень интересное рассказывали.

— Да, — сказал Филипп и провел рукой по волосам, — так мы, говорят, гайками вам стекла в мастерской поразбиваем и вас, говорят, оттуда, как баранов, повыгоняем. Самый, знаете, темный цех — котельщики.

Филипп обратился к Саньке.

— Им люди говорят — бросьте дурить. Это все в руку провокации. Прямо немыслимо, до чего остолопы. Да нет! — Филипп встал. — Нет же, я говорю, если бы то одни провокаторы, а то ведь хлопцы, свои же, ведь он, дурак, на совесть верит, что кругом самые его враги заклятые. Мы — то есть это: механический цех. — Филипп, наклонясь, ткнул себя в грудь и по очереди оборотился ко всем.

— Но вы пробовали объяснять? — сказала Таня. — Ведь вы говорите: не поймут, а почем знать, — а вдруг.

Филипп хитро улыбнулся и вдруг сразу присел на корточки перед Таниными коленями.

— Во, во как пробовали, — он тыкал пальцем себе в лоб над бровью.

— Что это? — Таня брезгливо сморщилась. Филипп сидел с пальцем у лба. Таня взяла за виски Филиппа обеими руками и повернула его голову к лампе. Наденька, прищурясь, глядела насмешливо из угла. Санька, глядя в пол, старательно доставал из брюк спички. — Пластырь какой-то... — сказала Таня и отняла руки.

— Да, — сказал с победой Филипп, — да. Вот оно какой у них резон: дюймовой заклепкой в лоб. — Филипп стоял спиной к Наде и сверху глядел на Таню, ждал.

— Ну, — сказала спокойно Таня, — значит, вы неудачный оратор. Дайте мне огня, — и Танечка потянулась папиросой к Саньке.

— Как? — обиженно крикнул Филипп.

— Да так, — говорила Танечка, раскуривая папиросу, — потому что не вы их убедили, а они вас. И, кажется, основательно. — И Таня усмехнулась.

Санька небрежно глянул на Филиппа и отвалился на спинку кушетки, выдул клуб дыма.

— Довольно этой ерунды, — сказала строго Наденька. — Не за тем мы здесь. Дело все в том, — и ты, Санька, пожалуйста, слушай и не болтай, — дело в том, что сюда приедет кое-кто из товарищей. Положение их нелегальное. Поняли?

Филипп сел на стул. Он слегка потрагивал розовый пластырь на лбу.

— За ними следят, — продолжала Наденька; она обращалась к кушетке, где сидели Таня и брат.

— Ну, так что? Квартиру? Так ты прямо и говори.

— Я прямо и говорю. Нужна только не квартира, а квар-ти-ры! — И Наденька прижала ладонью стол отцовским жестом. — Одной из этих квартир будет наша, другую, надеюсь, предоставит Татьяна. Об остальных — знать лишнее. Эти товарищи будут часто менять квартиры. Паспорта у них есть.

Филипп упер локти в колени и, глядя перед собой, качал головой в такт Наденькиных слов.

— А можно поинтересоваться, — насмешка легкой рябью бежала по Таниным словам, — эти особенные товарищи имеют отношение к тому, что говорил... оратор? — И Таня послала ручкой в сторону Филиппа. Филипп выпрямился на стуле и, оборотясь, весело улыбался Тане.

— Ну а как же? Для этого...

— Да, имеют, — перебила Филиппа Надя.

— Ну ладно, — сказала Таня и ткнула окурок в пепельницу. — Я иду.

Она поднялась. Поднялся и Санька. Таня пошла к Наде в угол, Филипп следил за ней глазами, поворачивался на стуле. Санька быстро вышел и запер за собой двери. Не мог, никак не мог попрощаться, вот так, после всей ерунды, ерунды такой! —

шептал Санька в коридоре. Он слышал из гостиной, как вышла Таня от Нади. Одна, одна вышла.

— Нельзя, нельзя так! — шептал Санька.

Он сел на стул и сейчас же встал опять. Сел, чтоб отдохнуть. Таня была в прихожей.

Санька вышел из гостиной, он видел, как Таня надевала пальто, не помог, не поддержал, а рывком снял с вешалки свою шинель и быстро напялил, схватил фуражку. У Тани завернулась калоша, Санька рванулся помочь.

— Спасибо, готово, — сказала Таня спокойно, дружелюбно.

— Я с вами пойду! — сказал Санька. Сказал срыву. Он знал, что красный, что слова вышли лаем, но было уже все равно, — и он, не дыша, глядел на Таню.

— Идемте! — весело и просто сказала Таня. От этого еще глупей показался Саньке его лай, и он покраснел до слез, а сердце уже легко билось, несло вперед.

— Саня! Саня! — шепотом звала из столовой Анна Григорьевна. — Вы идете, зайди в аптеку. Спроси: «для Башкина». Не забудешь? Есть у тебя деньги?

— Непременно! — Саньке так было радостно, что Анна Григорьевна сказала «вы идете». — Хорошо, мама, непременно, — говорил Санька и не мог сдержать улыбки, она судорогой рвала губы.

Он шел рядом с Таней по лестнице, и вот та площадка, где он прижимал ризу. Санька чувствовал, как таяло каждое мгновение, мгновение с ней. Надо сказать, надо самое большое сказать, надо все сказать. И Санька давился мыслями и не мог выговорить слова. И все слова казались банальными. «Молчу как болван», — торопился Санька. Он распахнул Тане дверь на улицу. Таня прошла и задела Саньку плечом, — Санька так мало места оставил для прохода.

— Татьяна... Я не знаю, как по отчеству?

— Таня просто, — сказала Танечка. Сказала серьезно и не посмотрев на Саньку.

Как удар колокола услышал это Санька, как сигнал.

— Я вот хочу сказать, Таня, — начал Санька и перевел дух, — я вам все хочу сказать, Таня.

— Говорите все, — опять серьезно сказала Танечка и строго глядела в панель перед собою.

— Вы знаете... — Санька осекся, он не знал, с чего начинается все, и боялся: вдруг этого всего нет, нет совсем, а только ему кажется. — Знаете, Таня, это ерунда, что говорит Филипп.

Ерунда... — Санька злился, что он не то говорит. — Все вздор. Понимаете, сущий вздор, — с сердцем сказал Санька.

Таня боком глянула на Саньку серьезным, чуть грустным взглядом.

— Вы далеко живете? — спросил Санька.

— На Дворянской.

— Близко. Страшно жаль!

— Почему же с таким отчаяньем? — спросила Таня без насмешки.

— Я вам не успею сказать, всего не успею сказать. Всего. Понимаете? — Санька помолчал и все шел, стараясь попасть в ногу с мелкими шажками. — Свернемте сюда. Вот сюда.

Таня повернула за угол.

— Вы знаете, — начал Санька (они шли по пустой боковой улице), — вы знаете, все, все это чепуха. Потому что — могли бы вы за это умереть, Танечка?

Немного струсил, что сказал «Танечка». И чтоб можно было, чтобы прошло «Танечка», Санька вдруг заговорил с жаром, с кровью:

— Понимаете — умереть? Нельзя же жить и не знать, за что умереть? Я всегда себя спрашиваю: а за что можешь? Можешь? — и Санька взглядывал в глаза Тане.

Она все так же серьезно глядела в панель.

— До самого света, до яркости, чтоб сиянием в глаза ударило, — и Санька видел, что Таня обернулась к нему, но он продолжал и глядел в сторону, — чтоб вспыхнуло и чтоб знал, что это как никогда, раз в жизни — и чтоб с радостью умереть.

— Почему же умереть?— сказала Таня. Сказала серьезно, задумчиво.

И Санька знал, что нельзя останавливаться.

— Вот все равно. Надька думает, ей-богу, я знаю, что она думает, — Санька прислонился к Тане. — Она думает: «рабочие, рабочие!» Почему непременно рабочие? Почему не все люди? Ну, понимаете, все, все... Почему рабочие соль земли? Они рабочие потому... потому что другого не могут делать, а то бы они были прокурорами, честное слово, Танечка. Ведь не то, не то, а вот надо, чтоб землетрясение, — и тогда всем одно... Смотрите, когда гололедица, со всеми тогда знаком. Я люблю, когда гололедица или страшный туман. Когда ничего не видят, все ничего не видят!

Санька совсем близко шел к Тане, касаясь ее плеча, шел шаткой походкой, жестикулировал по пути.

— Мне странно, когда я знаю, наверно, — с жаром говорил Санька, — что вот звездная и тихая ночь, и каждому хорошо, и всем говорить хочется, а все молчат, топорщатся. Я прямо... ну, почему всем страшно говорить с прохожим? А я знаю, что вот всех пронзает, наверно пронзает, душа рвется... Вот, понимаете, в этом все дело. Я не умею объяснить.

— Я понимаю, — сказала Таня и обернулась всем лицом к Саньке.

— Но это не то, не все... я не могу всего сказать, я чепуху говорю, — Санька смело глянул на Таню, и первый раз они встретились глазами — в упор. И Таня сейчас же отвела глаза. — Вы знаете, Таня, я все думал... вот мы говорим, а ведь я тогда идиотом сидел, помните, на конке? — Таня едва заметно наклонила голову ниже. — Танечка, мне хочется всю жизнь, все вам рассказать, — и Санька вдруг порывом взял под руку Таню. — Я никому не рассказывал, себе не рассказывал. Филипп — это ерунда, и пластырь тоже. Не в этом, не в этом дело. Он, может быть, умрет, но от злости, от злобы, от зависти, назло умрет. Я не про это...

И от Таниной руки, которую держал и грел в пальцах Санька, шла теплота, через все сукно Санька чувствовал ее руку и знал, что сейчас, сейчас надо воевать, надо завоевывать, он не знал ее, не знал, какие мысли ей нравятся, но знал, что все равно нельзя обрывать этой нити, она тянется, тянется.

— Понимаете, Танечка, — говорил с жаром Санька, — сегодня, перед вами, один квартальный в вагоне, — и вот душа, понимаете, душа, а я его облаял. Сказал, что не хочу. Потому что квартальный. Околоток. Танечка! Я так не могу... я хочу сказать все. Пойдемте в кабак. Ей-богу, в кабак, я выпью. И там интересно.

— А так вы не можете? — спросила серьезным голосом Таня. Они стояли под ручку на углу той самой Дворянской, где жила Таня.

— Не могу, — выдохнул Санька.

— Пойдемте, — сказала Таня, — если вам надо... чтоб все.

Санька повернул Таню и бойкими, веселыми шагами пошел к знакомому «тихому кабаку» — как называли студенты чинную немецкую пивную с водкой...

Санька все прибавлял ходу, крепко под руку держал Таню, и она легко поспевала, не сбивая походки, — упруго и легко чувствовал ее сбоку Санька. Он ничего не говорил. Оставалось два квартала до пивной — и время! время! Санька до се-

кунды знал время, пока все идет, пока не оборвется нитка, — и не умерял шаги. Вот матовый глобус — фонарь молочный, туманный, и две ступеньки вниз. Спокойный швейцар чинно поклонился у полированной вешалки. И только ложечки побрякивали из дверей зала. Было тихо, как в читальне, и шелестели газеты. Санька шаркнул и пропустил Таню в дверях. Таня вступила в зал, и стертый серенький ковер принял лакированную ножку, и, опершись о стойку, поклонился над салатами хозяин. Из угла от шахмат поверх очков глянул толстый немец, задержался и снова стал тереть коленки, глядя в доску. Бесшумно прошел лакей и отодвинул стулья у столика под закопченной гравюрой.

Таня спокойно прошла через зал и села к столу.

— Вы что будете? — спросил Санька, наклоняясь к Тане.

— Кофе можно?

— А мне, пожалуйста, коньяку «Мартель» и содовой.

Официант поклонился, хотел идти. Но Санька задержал его за рукав и в самое ухо зашептал:

— И цветов, цветов, миленький, достаньте, хоть один цветочек!

Официант молча вынул часы и щелкнул серебряной крышкой. Кивнул головой. Санька сел. Время прошло, стукнула последняя секунда. Сердце ударило — вперед, как в детстве, когда товарищи толкали и надо было выйти и драться. Таня подняла глаза от салфетки и глянула. Глянула выжидательно, серьезно, как через стекла окон.

— Таня, знаете, — начал Санька, запыхавшись, — мне иногда кажется, — ему ничего не казалось, но он уж верил, что казалось, — мне кажется иногда, что вот, я вам говорил... умереть вот просто так, дома умереть... Ну, вот придет смерть, я думаю, что даже увижу ее, как в двери войдет, я один и увижу — моя смерть! И тут уж неотвратимо и никакой отсрочки, ни секунды — просто, самая обыкновенная, как рисуют, — скелет, и прямо ко мне, такая деловая, даже добрая, — ну, как гробовщики: они, может быть, и хорошие люди, а закапывают — нет, понимаете?.. А потом вот после меня — вот наутро также будет конка бренчать и нудно ворошиться улица, знаете:

Мамаша шла за керосином.
Крестилась в воротах...

И покатит, покатится вперевалку вся жизнь на этом шаре. Вы понимаете, что пусть там война, пусть мир, но ведь чем дальше от меня, то есть от моей смерти, то все это уменьшается, уменьшается в даль времени, и так одни волдырики на веках, и все в такую длинную слякотную дорогу вытянется. Ну куда по ней можно приехать? — Санька перевел дух. Он глядел на Таню, пока она принимала от лакея кофе, и думал, что она, как ей это? — Стерпимо это? — и спохватился: «Как я сказал — стерплю? А, все равно!»

— А вы что же хотели, — сказала шепотом Таня, — чтоб после вас все сгорело?

Санька не знал, как она думает. Может быть, сгорело — красивей. На минуту представил, как все горит ровным деловым пламенем, и, сам не ожидая, сказал:

— Тогда еще хуже.

— По-моему, тоже. Тогда прямо ужас. Никакой надежды, что хоть люди дойдут. Глупо как-то. После нас — хоть дети наши.

Таня опять глянула в Санькины глаза, глянула ближе и приказательней.

Лакей неслышно подошел, поставил сифон и бутылку и, наклоняясь, тихонько шепнул Саньке:

— Послано-с. Десять минут.

— Да, да, я сам так думаю иногда, — сказал Санька всем воздухом, что остановил у него в груди Танин взгляд. — Я знаю... сегодня даже, мне хотелось умереть на улице, в уличном бою, пусть застрелят — и прямо на снег. И чтоб знать за что, чтоб... пусть это перейдет дальше, пусть из земли поднимется... из крови дух к небу. И от меня, от нас к другим — как ветер по земле, по времени, как, знаете, Танечка, — Таня смотрела совсем близкими и настежь открытыми глазами в Саньку, — понимаете, Таня, чтоб все, как бумажные лоскутья, подняло и завило, и чтоб все встрепенулось, и чтоб, как деревья, каждым листком задрожало, зашумело.

Санька не знал, дышал ли, пока это говорил. Но вдруг понял, что вышло то. То, что надо. Он, не глядя на Таню, налил и одну за другой выпил три рюмки.

— Дайте и мне рюмку, — сказала Таня.

— Да вы прямо в кофе, — Санька налил в свою рюмку и опрокинул Тане в чашку. Сделал просто, верно, не дожидаясь ее согласия.

Лакей поставил на стол стакан: красная и белая розы. Прохладно зеленели голые ножки в воде.

8—3207

Таня поднесла к лицу и, наклонив глаза, шепотом сказала:

— Пахнут!

— Танечка! — сказал Санька.

Таня глянула на него — ей показалось, что крикнул.

— Танечка, я вам сейчас покажу одну вещь. Я вам ее не дам все равно ни за что. Что вы ни скажете — все равно. Но вы скажите: «Можно, пусть будет!»

Санька быстро расстегнул пуговки сюртука и вынул булавку с флорентийской лилией на конце.

Таня дрогнула, вытянувшись на стуле, огнем глянула на Саньку, опустила глаза. Щеки стали красней. Чуть сдвинув брови, смотрела в чашку.

— Можно? — спросил Санька тихо.

Таня вдруг решительно подняла глаза, и Санька увидел, что глядит в зрачки, и ничего не стало слышно, и, как двери, открытые в века, стали перед Санькой широкие Танины зрачки, и на мгновение Санька закаменел. И ничего не стало кругом на миг — только зрачки, и временем пахнуло и голой землей. И дух занялся в Саньке и гордо, и боязно. Миг — и прошло. И улыбнулась Таня — как после сна утром. И Санька бережно спрятал за сюртук булавку.

И все сразу стало опять слышно, и за спиной кто-то говорил задумчивым баском:

— Ganz unmoglich, ganz unmoglich*.

— Все moglich** , все, Танечка! Правда? — и Санька улыбался из груди, из сердца, и, весь красный, тянулся рукой чокнуться с Таниной чашкой.

— Пойдем! — встряхнула головой Таня. Она встала и медленной рукой вытянула из стакана розы. Она заплетала в застежку кофточки белую розу, другую положила на скатерть перед Санькой.

Кофий

ВИКТОР просунул руки в скользкие новые рукава, — шинель тонно шелестела новой подкладкой. Застегнул на все пуговки тугие петли. Офицерская серая шинель. Галантно, по-военно-

* Невозможно, невозможно *(нем.)*.

** Возможно *(нем.)*.

му, блестел из-под серой полы глянцевитый ботфорт. Виктор снова поглядел на часы. В гостинице было еще тихо. Виктор продел под погон портупею, обдернул шашку. Натянул тугие перчатки. Сел на стул. Было еще очень рано идти на вокзал.

— А вдруг там, на вокзале, по петербургскому времени — не такой час? Не может быть, конечно, чтоб на два часа разницы, но все равно.

Виктор вскочил и вышел в коридор. Швейцар в пальто внакидку громко повернул ключом и толкнул сонную дверь. Ровной матовой изморозью подернуло дома, тротуары, фонарные столбы. За этой кисеей спала синяя улица. Воздух не проснулся и недвижно ждал солнца. Виктор на цыпочках спустился с крылечка и осторожно зашагал по тихой улице. На перекрестке игрушечной букой спал, стоя, ночной сторож — набитые одежей рукава и толстая палка под мышкой.

Сзади звонко зацокали подковы. Бука повернулась, из-за ларька вышел городовой, оправляя фуражку. Вавич оглянулся.

Серый рысак, далеко вымахивая ноги, шел рысью по мостовой, сзади мячиком прыгала, вздрагивала пролетка. Городовой не взглянул на Виктора, он обдергивал амуницию, выправлял шею и не спускал глаз с пролетки. Пролетка поровнялась, городовой замер, вытянулся с рукой у фуражки, сторож сгреб с головы шапку. На пролетке прямой высокой башней, как будто росла из сиденья, — фигура с маленькой головой.

Вавич узнал Грачека. Он все так же, без глаз, смотрел куда-то поверх плеча кучера. Вавич откозырнул. Пролетка проехала, и кучер с раскатом осадил рысака. Грачек, не оборачиваясь, поманил рукой. Вавич растерянно оглядывался. Городовой испуганно кивал Вавичу головой на пролетку.

Вавич побежал, прихватив шашку. Стал, держа под козырек, у подножки. Кучер спокойно перетягивал вожжи, выравнивая лошадь.

— Откуда?— спросил Грачек, не глядя, не поворачиваясь. Спросил глухим голосом.

— Из дому-с! — солдатским голосом ответил Виктор на всю тихую улицу.

— Врешь! — сказал Грачек. — Какого участка?

— Петропавловского! — рванул Виктор.

— Зачем же сюда в номера лазишь? — ровным глухим голосом бубнил Грачек.

— Здесь стою, в номерах «Железная дорога».

— Шарында, сюда, — сказал Грачек, не оборачиваясь, не поднимая голоса. Городовой со всех ног шарахнулся к пролетке. — Стоит у тебя тут квартальный?

— Так точно, стоят! — сказал городовой вполголоса и почтительно.

— Смотри у меня, рыбу ловить по чужим местам, — пробурчал Грачек. Пожевал скулами и красноватой щетинкой. — Пошел, — едва слышно прожевал Грачек, и пролетка рванула вперед.

«Боже мой! Хорошо, что не при Грунечке», — шептал Виктор. Он шел теперь во всю мочь, чтоб скорей, скорей на вокзал, чтоб ближе, ближе и верней.

На фронтоне вокзала заиндевевший циферблат смотрел пустым кругом. Ни одного извозчика не стояло у подъезда.

Виктор боком, с опаской, скосил глаза на саженного городового, — наверно, не глянет даже, не то чтобы козырнуть. Но городовой расправился и приложил к фуражке руку. Виктор наскоро отмахнул рукой и побежал каменными ступеньками. Гулко хлопнула за Виктором дверь в пустом каменном зале. Серый свет спал в углах. Мутно лоснился чистый плиточный пол. Массивные стрелки под потолком куда-то вверх для себя показывали четверть восьмого. Виктор, легко шагая, прошел в зал «первого и второго класса». Из огромных окон шел матовый зимний свет, пустые скамейки отдыхали по стенам. Виктор осторожно огляделся на крашеных стариков, что подпирали карнизы. По желтому, едкому паркету пошел в дальний угол. Сел, вобрал голову в плечи и полузакрыл глаза.

«Так и буду сидеть, как каменный, как деревянный — до Грунечки, а не приедет... тогда... все равно, никуда, никуда не пойду, — и Виктор сильней вдавился в спинку дивана. — Все, все Грушеньке скажу, как увижу, так и начну», — и Виктор зажимал веки, чтоб увидеть, как идет Груня.

Тяжело простукали где-то по плиткам каблуки с гвоздями, и вдруг мелодичный звон, стеклянный милый домашний звон ласково закапал тихо откуда-то. Виктор открыл глаза, прислушался. Конечно: бросают ложки в стаканы. И непременно женская рука бросает эти ложки. Виктор встал и, тихонько шагая, пошел через зал. Вот дверь, и за ней сверкнул посудой, белыми скатертями буфет. И за стойкой, у большого, как машина, самовара, барышня — белокурая барышня — бросала ложки в стаканы. Седым паром приветливо клубил самовар. Лакей бойко брякал судочки по столикам. Виктор распахнул стеклянную

дверь и улыбнулся барышне. Она, подняв брови, глядела на квартального — где его видела?

— Мадмазель, могу просить об одолжении? — говорил Виктор. Он преданно и с мольбой глядел на барышню. — Вы меня очень обяжете! Могу просить — стаканчик чаю? Можно? Вы меня простите, может быть, я не вовремя?

Барышня на секунду замешкалась. Виктор улыбался влажными глазами.

— Присядьте, подадут.

— Ничего, я сам, сам. Не беспокойтесь.

Виктор со стаканом в руке уселся за самый близкий столик. Он не спускал глаз и жадно глядел на спокойные руки, как они привычным движением раскладывали сахар на маленькие блюдца. За окном пропыхтел паровоз и ругательным свистком загукал, зазудели стекла.

Двери буфета хлопали, входили железнодорожники, косились на квартального, наспех жглись горячим чаем. Виктор поминутно дергал часы из кармана. Уж чаще хлопали двери, и врывался гул и топот. Виктор решил встать за десять минут до срока. Теперь часы совершенно не двигались, и Виктор с испугом глянул на секундную стрелку, — а вдруг часы стали, опоздал, пропустил?

Виктор расплачивался за четыре стакана чая и в голове точно знал, где сейчас стрелка часов, — секунды медленно сеялись через сознание. И, уж не взглянув на часы, Виктор за десять минут до срока встал и едва не побежал к двери. Тот самый перрон, куда высадился Виктор полтора месяца назад, совсем другим глазом взглянул на Виктора — свой перрон, и Виктор наспех оглядел все: понравится ли Грунюшке? Люди подняли воротники, зябко вздрагивали затылками и топтались, чтоб согреться. Виктор часто дышал и не мог унять щеки, чтоб не горели. Виктор ходил по перрону и считал шаги, чтобы забыть про время, но все равно знал без ошибки, сколько осталось, и кровь без спроса колотила и колыхала грудь. И вдруг все двинулись к краю и уставились вдаль.

Виктор увидал вдали высокий черный паровоз, — везет, везет Груню, — и паровоз прятал за спиной вагоны, чтоб никто не видел, что везет. Он рос, рос, не замедляя хода, загрохотал мимо навеса, и замелькали окна перед Виктором, и Виктор быстро, ударом, бросался взглядом в каждое окно, едва переводя дух. И оттуда чужие, ищущие глаза мелькали мимо, мимо. Груни не было. Поезд мягко осадил и стал.

Толпа облепила вагоны — прильнула, носильщики бросились в двери. Виктор за спинами людей прошел вдоль состава. Чужое, как черная каша, вываливалось из вагонов.

Виктор бросился назад. Густая толпа, чемоданы, узлы затерли, потопили. И вдруг что-то родное мотнулось среди голов — Виктор не знал: затылок ли, шляпа или раскачка походки, — скорей угадал, чем узнал, и рванулся, разгребая толпу. Все испуганно оглянулись, искали глазами, кого ловит квартальный, — и вот испуганные глаза Груни. Виктор сбил коленом чей-то узел, визгнула собачонка под ногами, и вот! — вот Грунина теплая, мягкая щека. Виктор не видел, как смеялась публика, благодушно, радостно, после тревоги, — Виктору слезы застлали глаза. Он ничего не говорил, а держал со всех сил Груню. Толпа обтекала их. Носильщик прислонился чемоданом к стене, ждал.

— Пойдем, пойдем, — волок Груню Вавич. И публика, смеясь, уступала дорогу.

Вавич тянул Груню в буфет, на то место у стойки, у самовара. Он блестел глазами на барышню, он огородился Грунечкиными корзинками.

— Теперь кофею, хорошего кофею, хорошего-хорошего, — говорил Виктор барышне и тер руки так, что пальцы трещали. Барышня улыбалась.

— Не надо пирожков, Витя, у меня ватрушки тут, — на весь зал мягко и громко пропела Груня и весело закивала барышне, как своей.

Напротив у столика закутанные ребята во все глаза пялились на Виктора, оборачивались и о чем-то спрашивали мать.

— Какой ты шикарный, — сказала Груня, и Виктор незаметным движением поправил сбившуюся фуражку и не мог собрать лица: улыбка растягивала губы, распирала щеки, и легким поворотом головы приосанился Виктор.

Яблоко

КОГДА Таня затворила за собой дверь, Филипп глянул на Наденьку. Наденька, чуть сощурясь, смотрела сквозь табачный дым, смотрела пристально на Филиппа. И сразу тугая мысль, как ремень, стянула Филькину голову. Он встал со стула, мотнул шеей и запустил руки в карманы. Прошелся в угол и назад, все глядел по верхам стен. Наденька молчала.

— Ну-с, — тихо сказал Филипп и остановился, глядя в пол.

— Что ну-с? — звонко, твердо сказала Надя.

— Надо решать, — хрипло сказал Филипп.

— Давно бы пора, — сказала Надя, сказала почти зло и вдруг заговорила скорым мягким, деловым голосом: — Ведь могут и завтра, Филипп, завтра, когда угодно, приехать, надо же обрисовать положение, — Наденька сделала жест шире, чем надо, — ведь придется предложить какое-нибудь решение, то есть что именно сейчас делать. Выступить — так надо же, понимаете, Филипп, подготовить, — и Надя говорила то, то самое, что только полчаса назад говорил Филипп, что надо подготовить летучий митинг в заводе, во дворе или в литейной, и дать выступить приезжим.

Надя смотрела серьезными, убедительными глазами и все говорила. Филипп сверху, из дыма, из темноты, глядел и видел: старается, старается. И не знал, когда сказать слово и какое. А Надя все говорила, уж второй раз говорила то самое на другой лад.

— Время такое, что надо быть готовыми...

И Филипп не мог вытерпеть:

— Все, все это решим. Нынче. С ребятами. С Егором. От вас выйду — и того. Вам чего же хлопотать?

Наденька опустила глаза, осеклась. Еще попробовала, потише голосом:

— Я говорю, что все... все может быть...

Замолчала. Совсем в стол уставилась. Филипп тянул, раздувал папиросу. И вдруг увидал, что это слезы, — слезы капают на синюю бумагу, на стол, и это они тихонько стукают в тишине, едко, как первый осенний дождик в стекло.

«Сделать вроде не видел, — подумал Филипп. — Сказать что? Обидишь». Он еще полуверил — не кажется ли?

И вдруг в дверь стукнули легонько, дверь отворилась, и с порога тревожным шепотом заговорила Анна Григорьевна.

Надя вскинулась вверх, в темноту абажура.

— Простите, пожалуйста! Надюша, я пойду в аптеку. Санька провалился, не хочу будить Дуняшу; прислушивайся, милая, там больной; оставь дверь открытой.

— Позвольте, я, — с жаром сказал Филипп. Он шагнул к Анне Григорьевне и даже шаркнул ногой: — Поздним временем, зачем же? Которая аптека?

— Очень любезно, спасибо, спасибо, — шептала Анна Григорьевна, — вот рубль двадцать, скажете... — И Анна Григорьевна пошла за Филиппом в прихожую.

Когда Анна Григорьевна вернулась, Надя сидела над Башкиным. Сидела, уперев невидящие широкие глаза в это лицо с толстыми запекшимися губами. Башкин спал в жару. Высоко поднятые брови стояли удивленным углом. От синего света кожа казалась молочной и тонкой. Больной часто и жарко дышал.

— Сорок и три, я сейчас мерила, — шепотом сказала Анна Григорьевна.

— Как это ужасно! — сжав зубы, сказала Надя. — И главное, как глупо! Глупо!

Анна Григорьевна сбоку глянула на дочь. Ничего не сказала. Взяла со столика пузырек и поднесла к лампе.

Башкин полуоткрыл глаза. Он глядел из щелки век невидящими блестящими глазами.

«Наверно, во сне меня сейчас видит, — подумала Наденька, — пусть такую увидит».

И Наденька сильными, жаркими глазами уперлась в Башкина. Требовала, велела. Башкин с минуту глядел неподвижно и потом застонал, заворочал головой. Анна Григорьевна встрепенулась.

— Пить, — прошелестел голосом Башкин. И Наденька вскочила, схватила стакан. Она приподняла голову Башкина за потный затылок и приладила стакан к губам.

— Не надо много, — шептала Анна Григорьевна. Она смотрела, как ловко взяла Надя голову Башкина и как гибко держала стакан. Башкин несколько раз глотнул и поднял глаза. Надя увидала, что теперь он видит ее наяву. Башкин улыбнулся. Приятной тенью прошла улыбка. Он глотнул пустым ртом.

— Яблока можно? Очень хочется... яблока, — сказал Башкин и улыбался сонной, детской мечте.

В прихожей коротко позвонили. Анна Григорьевна заторопилась мелкими шажками.

— Вот спасибо, — слышала Наденька. — Не заперто было внизу?

И запыхавшийся голос Филиппа говорил, победоносный, довольный:

— Аккурат я только наверх забежал, внизу, слышу, швейцар запирает, и свет погас.

И вдруг Наденька вошла в прихожую, красная, нахмуренная, полуоткрыв рот:

— Яблоко! Яблоко сейчас же купите! Сейчас же!

Анна Григорьевна смотрела, подняв брови. Наденька крикнула в лицо Филиппу:

— Яблоко сейчас же!

Филипп с испугом глядел на Наденьку. Глядел секунду в почерневшие глаза. И вдруг Наденька резко повернулась, сорвала свою шубку с вешалки, проткнула мигом руки в рукава и без шапки бросилась на лестницу.

— Не надо ничего, я сама, — сказала она в дверях, и заплетались губы.

Анна Григорьевна сунула Филиппу в руку Надину шапочку, испуганной головой закивала на дверь в темную лестницу. Филипп дробью застукал по гулким ступенькам.

Наденька старалась ключом открыть парадную дверь. А Филипп в полутьме тыкал ей шапочку.

— Да наденьте же... глупость ведь... мороз же... мама велела. Дурость ведь одна.

А Наденька спешила и не попадала ключом и шептала:

— Не надо мне... ничего не надо, — и отталкивала шапочку локтем.

— Да не назад ведь нести, — сказал Филипп, — надела, и всего.

И Филипп вдруг своими руками надел Наде на голову шапку, надел плотно и пригладил. Наденька вдруг откинулась в угол, слабо сползла спиной, и Филипп услышал: плачет, плачет; всхлипывает и глотает слезы.

— Да брось, дурость это, дурость, ей-богу, — шептал наугад Филипп и гладил Надину шапку — мягкую, ласковую. — Брось, не надо, ну чего? Все ладно, — говорил, как попало, Филипп, и под рукой клонилась Надина голова. Наденька уперлась лбом в плечо Филиппа, и он чувствовал, как вздрагивает ее голова от плача.

Кто-то затопал снаружи, стукал ногами, скреб о ступеньку снег.

— Отворяйте, — шепнула Наденька, сунула Филиппу ключ. Филипп мигом, живой рукой ткнул ключ и повернул два раза.

Андрей Степанович посторонился, чтоб пропустить выходящих, Надя без слов кивнула отцу.

— Ты скоро? — спросил Тиктин.

— Яблоки куплю и назад, — крикнула Надя. Вышло, как в театре, громко и с дрожью. — Идемте, — сказала Надя тихо Филиппу.

— Зачем? Давайте я сбегаю, а вы обождите, — сказал Филипп и прыжками перебежал дорогу: на углу светил ларек.

Надя вернулась. Она прошла мимо отца в двери. Пошла по лестнице все скорей и скорей.

— Куда ж ты? Надо ж подождать, — громко сказал в пустую лестницу Андрей Степанович.

— Ничего не понимаю, — сказал Андрей Степанович, передавая Анне Григорьевне в прихожей пакет с яблоками.

— Для больного, для больного, — сказала Анна Григорьевна и сделала строгое лицо. — У нас больной. — И Анна Григорьевна с морозным пакетом в руках на цыпочках пошла в кухню.

Стенка

КАК назло стоял ясный полный месяц на небе. Не смахнуть, не стереть. Заслонить нечем. Морозная ночь тихо застыла в небе. Снег хрупко шумел. Филипп, как в воде, шел по колено в снегу задами, мерзлыми огородами. Далеко звонко лаяла одинокая собака. Филька брюхом перевалил через мазаный низкий забор. Стукнул реденько семь раз в темное стекло. Чуть скрипнула дверь, и голос:

— Филька!

В комнате было густо накурено, соломенные стулья стояли вразброд. Егор хмурился, ерошил жирные волосы с проседью.

— Только ушли. Триста штук, — Егор ткнул носком под кровать.

— Ну как? — вполголоса спросил Филипп.

— Вот то-то, что как, — и Егор сердито поглядел на Филиппа. — Как? Как?

— Дельно все же? — сдержанным голосом сказал Филипп.

— И дельно, и все есть, а чего надо, того нет.

— Чего?

Егор молчал, загнул в рот бороду, кусал волосы.

— Крика нет! Вот чего надо. Все есть, как по книжке. На вон, читай, — и Егор кивнул головой на стол.

Филипп взял бумажку. Печатными лиловыми буквами четко было написано:

«Товарищи рабочие! Товарищи котельщики!

Знайте, что забастовка котельного цеха нарочно вызвана темными силами реакции, капиталистов, ваших хозяев и их верных псов — полиции и жандармов. Провокаторы пускают слухи, что на товарищей котельщиков все цехи, все рабочие завода смотрят как на последних людей, что их горе для всех чужое. Эти слухи подхватывают малосознательные товарищи и повторяют то, что им внушает провокация. Хозяева и охран-

ка знают, что рабочие копят силы, организуются шаг за шагом, чтобы дружным усилием сбросить гнет рабства, чтоб добиться лучшей доли. Охранники боятся, чтоб не выросли силы рабочих, и хотят найти повод, чтоб разбить эти силы, пока они еще не окрепли, поселить вражду среди рабочих, вызвать забастовку слабой группы малосознательных товарищей. А потом жестоко расправиться, смять, разбить и растоптать молодой росток пролетарского движения, бросить в царские тюрьмы тех, кто опасен царю и капиталистам. Товарищи! Не поддавайтесь провокации. Забастовщики играют в руку хозяевам и охранке.

Да здравствует единение рабочих!

Да здравствует единение пролетариев всех стран!

Н-ский Комитет РСДРП».

— Вот, сукиного сына, — сказал Егор, когда Филипп поднял глаза от бумажки, — вот: надень валенок на кол и звони.

— Так что ж теперь? — спросил Филипп, с испугом спросил и хотел поймать глаза Егора.

— Что? Ждать нечего, надо, чтоб с утра было по всему заводу. Все одно.

— Раньше утра будет.

— Что зря-то... — и Егор отвернулся.

— Давай, — сказал Филипп и встал. Встал прямо, как разогнулась пружина.

Егор нагнулся и взял из-под кровати сверток.

— Ты как же? Смотри, — и Егор пошатал головой, — по всем стенкам городаши, стерегут завод, что тюрьму, туды их в дышло. Гляди.

— А! Я уж знаю, каркай тут, — Филька досадливо сморщился. — Ну ладно. Пошел я.

— Ни пера тебе... — бормотал Егор, по коридору шагая за Филиппом.

Филипп вышел. Огляделся. Ночь стояла на месте. Все так же лаяла далекая собака.

Снег сладко щурился на луне, и темными каплями шли Филипповы следы от забора. Филипп перелез и, ступая в свои следы, пошел по пустырям. Шел неторопливо, не оглядываясь. И, только когда вошел в твердую тень в переулке, стал и прищурился на пустырь. Спокойно млел белый снег и, казалось, тихо дышал, поднимался. Филипп круто повернулся и бойкими шагами пошел теневой стороной. И как захлопнулась дверка внутри — и ноги стали поворотливей. «Плакала тут, в пле-

чо», — и Филька дернул, тряхнул правым плечом. Нахмурился, поддал ходу. Сказал: «до утра будут». Так будут... Перерваться! Заводская стенка — та, значит, что к пруду, в тени вся. А в ту, что к площади, бьет в нее луна, мажет светом. И Федька остался в заводе, забился куда-нибудь, они уж, мальчишки, знают, знают, черти: когда надо, не сыщешь, — его как ветром сдуло. Теперь надо швырнуть всю эту музыку через забор и чтоб упала в угол, а Федька подберет, как уговорено. Рассует, расклеит всюду... А вдруг проспит, как сукин сын? И Филипп сжимал челюсти так, что играл живчик в скулах. Провалит мерзавец — и стыд и в дураках: похвастал.

За заводской стеной белыми шарами таращились электрические фонари. Филипп издали видел, как у ворот копошилась черная кучка городовых. Филипп пошел проулком в обход площади. Две собаки залились бешено, лезли, карабкались со двора на низкий забор, и вмиг весь проулок зазвенел от лая. Филипп стал в тени, стоял, не шелохнувшись. Глядел вперед, в проулок, где белел открытый снег. Две черные фигуры вышли из-за угла. На белом снегу стояли, как вырезанные, городовые. Они постояли и двинулись вдоль проулка посреди дороги. Собаки наддали лаю. Филипп видел кругло одетых городовых, в валенках, уж в двадцати шагах от себя. Филипп осторожно передвинулся к забору и лег. Он вытянул из-за пазухи сверток и сунул рядом в снег.

«В случае чего — я пьяный», — решил Филипп. И вдруг пес перескочил через заборчик и бросился на городовых. Другой! Машут ножнами. Вертятся. Филипп вскочил, поднял сверток и, легко шагая, быстро пошел под забором. Он прошел городовых, не оглянулся, видят ли, он спиной знал точно, где они, и за лаем сам не слышал своих шагов.

«Вот он, вот поворот, пять шагов».

Филипп не побежал, хоть просили ноги; Филипп прошагал эти пять шагов и обтер угол плечом, когда повернул, — и тогда дал волю ногам. В три скачка спустился к пруду. Пруд с талыми берегами парил теплой, грязной водой. Туман важно висел над прудом, перемывался в лунном свете.

«Теперь берегом, вали берегом», — гнал себя Филька.

Заводская труба торчала из-за косогора, черным чучелом в темном небе. «Теперь в самый конец, в конец темной стенки». Филипп осторожно выползал, он глядел что есть мочи на темную стену, а она стояла черной дырой, и вот тут, может быть, прилеплен к ней черный городовой. Три, может быть... полдюжины...

«Пойти прямо к стенке, не дойдешь — схватят. Выйдут, как из стенки, — и готов... Но ведь с холоду заходят, затопочут ногами. Услышу!» Филипп слушал, лежал в снегу, часто дышал, не было холодно, он не почувствовал тела, хотелось только стать меньше, чтоб не видать было, и глядел, глядел на черную стенку.

Стенка молчала.

В переулке еще брехали собаки и мешали слушать. Прошло много времени, стало резать, слезить глаза, — стенка молчала. «Подбежать? — подумал Филипп, и на миг стиснуло дыхание, натуга пробежала в ногах. — А вдруг... Нет!»

Филипп опустился вниз, отдышался. Пошел, неслышно шагая, дальше берегом, туда, где конец стенки, где с двух сторон темный угол. Не тот, что уговорились с Федькой, а другой по той же стенке. Филипп выполз наверх; теперь ему было видно вдоль всю стенку, видно было, как резким отвесом шел угол и ясно обозначилась черная фигура. Фигура двигалась вдоль стенки: ясно видать — сюда идет. Дошел, вот дошел до этого угла и исчез. Повернул вдоль другой стены. Филипп больше ничего не думал и не знал, дышал ли. Он ясно слышал, как скрипел снег у городового под валенками. Городовой мог всякую минуту повернуть назад, а сейчас — спиной. Еще отпустить? И вдруг Филипп поднялся и пошел, пошел в шаг городовому большими саженными шагами, — вот семь шагов — и побежал меленько, скоро, мышью, вдоль стены, к дальнему углу, что условлен с Федькой. Он не добежал и швырнул пакет через стенку, — рука сама махнула, не чувствовал веса, — и, отвернув от стенки, опрометью бросился к откосу, к пруду. И сразу несколько свистков пронзительным грохотом затыркали сзади. Филиппу где-то далеко они отдались, голова шумела, и Филька мчал топким, склизким берегом над самой водой.

Он слышал, как сзади заохали испуганным и ярым духом:

— Стой! Стрелять буду!

Филипп пробежал еще. Стал на миг, еще пробежал. Хлопнул выстрел, как раскупоренная бутылка.

Филипп лег на тонкий ил. Скатился в теплую воду. Тужурка пузырем вздулась вокруг него. Дальше, вглубь, пятился Филипп в черную воду. Он прикрыл лицо шапкой и уткнулся в жидкую грязь. Шаги скрипели ближе, и ближе. Филипп не дышал, вытянулся, и только голова все сильней, сильней вдавливалась в мокрую землю.

— Вот сукин сын, скажи ты, — задохшимся хрипом говорил голос, и замедлились шаги.

Но уши не хотели слышать. Замер слух, и до боли сжались веки.

Ножик

«ВОТ тут, тут она сидела, — думал Санька и прижимал ладонью сиденье санок рядом с собой. Он все так же сидел слева на отлете, как будто ехал вдвоем. — Теперь она поднялась уже по лестнице, сейчас в квартиру входит. Одна».

И Санька видел, как Таня входит в комнаты. Его Таня и комнаты его. Все равно его. Хоть немножко. Гордая кровь грела грудь. Санька выпрямился на извозчике, распахнул шинель. Улица мимо катила фонарями, туманными окнами. Высокая луна врезалась в небо. Санька не знал, что делать со счастьем, боялся расплескать, мутило голову.

— Прямо? — спросил кучер.

— Так, так, вали!

И все, все прилаживалось — и Надька, и Алешка, Башкин и мама-чудачка, — все, все венком стояло вокруг, и если б кому сказать, что Таня, Таня дала поцеловать на прощание руку. Санька достал из петлицы розу и поцеловал. Морозный ветер от скорой езды обдувал горячее лицо. Санька крепко жал рукой задок сиденья. Держал руку, будто Танечка облокачивалась еще, легко и зыбко.

Дома стали меньше, больше открылось широкого лунного неба.

— По саше прикажете?

— Дуй по шоссе, — и Санька полной грудью набрал лунного воздуха. Рысак бойко нес, и чуть виляли полозья по накатанной дороге. Справа туманными белыми точками светились вдали фонари над заводом. Опаловым маревом дышал пар над заводским прудом.

Деревянным стуком донесся револьверный выстрел.

— Стой, стой! — крикнул Санька.

Извозчик осадил. И опять стук, будто ударили молотком по доске... И опять — два раза подряд.

Санька слушал. Было тихо, только слышно было, как тяжело дышит лошадь.

— Стреляют, — сказал Санька.

— Далече, — отозвался кучер. — Сторожа, должно. Или фабричные балуют.

— Вали туда, — и Санька махнул рукой к заводу.

— Да что вы, помилуйте, — сажень снега. Куда ж без дороги? Тут пешком утонешь. Трогать?

— Назад, шагом.

Санька прислушивался. Зло колотилось сердце. Он сидел теперь посреди сиденья.

Извозчик закурил.

— Слободские ребята балуют по пьяной лавочке. На той неделе в газете было, — читали, может, — одному голову проломили. Не интересовались? Насмерть. Вот народ что делает. Напьются... Господа тоже выпьют, не без этого. А, сказать, едут веселые и без поступков. Попадаются, слов нет, заснет какой по дороге, сдашь его дворнику. На другой день заедешь, заплатит, как полагается. И на чай тебе даст трешку какую.

Санька молчал. Извозчик швырнул окурок, тронул рысью. И опять понесся в ушах ветер.

Санька трогал за плечо извозчика, извозчик поворачивал из улицы в улицу, и от сладкого страха сжимало грудь, и Санька на минуту жмурил глаза, — вот он, вот Танечкин дом. Санька глядел на темные окна, он не знал даже, в каком этаже, куда смотреть, и весь дом всеми окнами укрывал Танечку. Санька оглянулся, глянул еще раз, и сверкнули мутной луной стекла, как ножик ночью. И на мгновение вспомнился дым, и лизнул холодок под сердцем.

— Направо! — громко скомандовал Санька и тряхнул вверх головой.

Здесь, в людной улице, звенела езда, широкими окнами светили рестораны, и только здесь, на ярком свете круглых фонарей, Санька увидал, что он — на лихаче, что парит от лошади в серых яблоках, и синей сеткой покрыта спина, и большие серебряные пуговки шикарным фестоном загибались по кафтану у кучера. Санька сел с Танечкой, не рядясь, в первые сани, что поджидали у «тихого кабака».

«Черт с ним, как-нибудь», — думал Санька. Глянул на розу — роза твердо алела на сюртуке.

Санька вдруг потянул кучера за пояс. Кучер осадил рысака. Два фонаря шипели у подъезда. Швейцар выскочил отстегнуть полсть, Санька выскочил раньше. Городовой топтался озябшими ногами по панели.

— Сколько тебе? — спросил Санька.

— Сколько милость ваша, сами видите, — и лихач мотнул бородой на мокрую лошадь.

— Да говори уж, сколько, — Санька нетерпеливо глядел на извозчика.

— Четвертную следует, — сказал извозчик, глядел вперед на уши лошади.

Санька вытащил деньги, отсчитал двадцать пять рублей из Алешкиной пачки.

Оставалось только двадцать рублей. Саньку чуть кольнуло, но надо было идти скорей, скорей дальше. Санька вбежал в вестибюль. Тихо доносилась музыка из зала, и тусклый, как вчерашний, голос выкрикивал что-то под музыку.

— Мирская в зале? — спросил Санька швейцара.

— У себя-с. Пожалуй, больны-с. Можем спросить. — Санька нащупал в кармане полтинник и сунул швейцару.

— Пойди к дверям! — крутым басом крикнул швейцар под лестницу. — Сию минуту-с, — улыбнулся он Саньке и взялся за козырек с галуном.

«Не может быть, не может быть, что не примет, этого не может быть, — твердил в уме Санька, — сам пойду», — и Санька через две ступеньки побежал по ковру лестницы.

— Попробуйте сами, не отпирают, — шепотом сказал швейцар. — Знаете где? Проведу-с — 35-й и 36-й. Благодарсте.

Швейцар ушел. Санька постучал в дверь 36-го номера. За дверью слышны были глухие голоса. Санька стукнул настоятельно, громко. Лакей с посудой на подносе проплыл по ковру, обернулся, загнув голову на Саньку. Санька постучал кулаком — сам не ждал — вышло громко, скандально, на весь коридор. И вдруг быстро, вертко засвербел ключ в соседней двери, и высунулась голова компаньонки. Она зло глядела на Саньку из-под сбившейся кружевной косынки и шепотом, шипящим шепотом, который только Санька слышал в театре, компаньонка проговорила:

— Не скандальте, молодой человек. Еще студент! К артистке так не ломятся. Субъект! — крикнула компаньонка, закрывая дверь.

— Позвольте... — сунулся Санька. Но ключ завертелся, защелкал в замке, засверлил.

И вдруг соседняя дверь открылась, та самая, куда барабанил Санька; Мирская в шелковом пестром капоте стояла, держась

за ручку. Ее шатнуло вместе с дверью в коридор. Мирская была совершенно пьяна. Она вдруг радостно раскрыла глаза, мгновение глядела на Саньку и закричала на весь коридор:

— Студентик! Коля! Иди к нам! Хорошо как!

Она хотела сделать шаг, но боялась пустить ручку.

— Зина, куда? — услышал Санька из дверей, и «официорус», тот самый офицер, что заводил тогда скандал в зале, без сюртука, высунулся и ловил Мирскую под руку.

Офицюрус оторвал руку Мирской от двери, тащил в номер. Мирская все глядела радостными глазами на Саньку. Она подняла руку, и легкий шелковый рукав сполз к плечу. Мирская мотнулась к Саньке и обхватила его за голову.

— Коля! Голубчик мой! — кричала Мирская и давила Саньку полной мягкой рукой. От нее пахло душными духами и свежей кожей.

Мирская прижала Санькину голову к себе, и Санька, не видя дороги, спотыкался. Мирская с размаху села на диван, и Санька неловко упал рядом. Подхватил фуражку. Офицюрус поворачивал в дверях ключ.

— С розочкой! — вскрикнула Мирская. — Мне розочку? — И Мирская потянулась рукой. Санька отвернул грудь. — Не хочешь? — нахмурилась Мирская.

Она исподлобья поглядела на Саньку, темная угроза из-под низа, из темных дыр, затлела, заворочалась. И Санька подумал: «Сейчас все может быть. Бросится».

И вдруг Мирская засмеялась во все лицо — весело, лукаво.

— Она дала! Она дала! Знаю, знаю! — и Мирская захлопала в ладоши. Санька боком глаза видел, как стоял посреди комнаты офицюрус, стоял, расставив тонкие ноги в ботфортах. Он качался корпусом, уперев руки в бока. Санька чувствовал, что офицюрус хочет начать говорить, уж отрывал два раза руку от бока.

— Очень хорошо! — сказал, наконец, офицюрус.

Санька глянул. Под розовым фонарем, в цветной рубашке и в крахмальном воротничке, стоял рыжеватый блондин, блондин без ресниц и бровей, от розового света он лицом напоминал недорисованную куклу.

— Очень хорошо! — повторил офицюрус и заложил за подтяжку палец: — От дамы... с визитом. Не угодно ли... познакомиться?

Офицюрус нетвердо шагнул вперед, и Санька не знал, ударит или протянет руку. Санька встал и протянул руку.

— Поручик Загодин! — сказал офицюрус. — Очень... хорошо.

— Он с розой! — крикнула Мирская. — Посылай за шампанским. — Мирская пьяной рукой искала на стене кнопку. Нашла, уперлась пальцем. — Краснеешь? — дергала Мирская Саньку за рукав. — Дай поцелую. — Она дернула Саньку, повалила на себя и поцеловала в самые губы.

Лакей постучал. Офицюрус отпер.

— Деми-секу! — крикнула Мирская. — Твое счастье пьем, — и она опять обняла Саньку. — Коля, дурак ты мой.

— Саня, — поправил Санька.

— Хочешь, чтоб Саня? — грустно сказала Мирская. — Ну пусть по-твоему, ты именинник. Только не играй, когда любят, проиграешься. Леньке я сказала, что не буду любить, если играть будет. А он пошел-таки, сволочь. Я ему вслед плюнула. И выиграл. Семьсот рублей, говорит. Врет или таится... а то хвастает. Ленька, сколько?

Лакей тихонько стукнул и вошел. Он поставил на стол, на ковровую скатерть, поверх разбросанных карт, мельхиоровое ведерко. Золоченая пробка капризной головкой торчала, пошатываясь. Санька достал десять рублей и кинул на стол.

— Двенадцать стоит, — тихо и строго сказал лакей.

Было уже все равно, и Санька кинул еще пятерку, столкнул в руку лакею. Оставалось четыре с полтиной. Все было кончено. Санька старался улыбаться. Ему хотелось скорей выпить, но офицюрус осмотрел бутылку и сунул обратно в лед.

— Люблю, чтоб в стрелку заморозить, — и забарабанил ноготками по ведерку. Мирская смотрела на Саньку и вдруг встревоженно толкнула его в плечо.

— Чего задумался? А? Дурак: все будет. Давай погадаю. Собирай, собирай! — И Мирская торопливо стала сгребать карты. — Ты мне хмель собьешь, — твердила Мирская.

— Да, — сказал офицюрус, помогая Мирской, — чего вы, в самом деле, сидите, извините, как шиш на именинах? Какого на самом деле... ей-богу же. А? Двойку получили?

Санька покраснел.

— Вы, скажите, пьяны вы или просто... дурак? — и Санька встал.

У Саньки тряхнулась челюсть, и слово «дурак» он как откусил зубами.

— Что, что ты ска... сказал?

Офицюрус поднялся и мигал рыжими веками.

Мирская бросила карты на стол, она откинулась на диван и хохотала, хохотала в потолок, с веселыми слезами на глазах. Из-за портьеры в дверях торчала голова компаньонки.

— Возьми слова... свои слова... — слышал Санька голос офицюруса через смех Мирской. Санька молчал и краснел больше и больше. Офицюрус мигал, уставясь на Саньку, и полз рукою в карман.

«Дать, дать сейчас с размаху в морду», — думал Санька и чувствовал, что сейчас рука сорвется, сорвется сама.

Офицюрус вытянул скользким движением из кармана браунинг и медленно поднимал.

— Возьми слова...

Санька дернул руку, отмахнул назад, и вдруг кто-то вцепился в руку, грузом, пудом повис. Мирская поймала его руку, метко, как кошка. Она прижалась грудью к его руке и беззвучно смеялась.

— Положи... на стол, Ленька! Положи! — сквозь смех шептала Мирская. Она целовала Санькину руку, взасос, как целуют лицо ребенка. Целовала в ладонь, прижималась щекой. — Положи! — вдруг крикнула Мирская, когда офицюрус стал спускать в карман браунинг.

— Уступаю... хозяйке, — бормотал офицюрус. Он положил браунинг на стол.

— Кузьминишна, убери! — крикнула Мирская. Экономкина голова втянулась в портьеру. — Боишься? — крикнула Мирская, схватила револьвер и швырнула в угол.

Офицюрус, повернувшись спиной, натягивал свой сюртук.

Мирская встала и твердой походкой пошла по ковру через комнату, где перед зеркалом, не спеша, застегивал сюртук офицюрус.

Санька часто дышал и смотрел в пол, в узор ковра. Мирская шепталась с офицюрусом.

— Только подчиняясь требованиям хозяйки, — сказал офицюрус и под руку с Мирской вернулся к столу.

— Откупоривай! — командовала Мирская.

Поручик взялся за пробку.

— Пейте! На мировую! На брудершафт, — кричала Мирская, — сейчас же на брудершафт!

— Подчиняюсь требованиям.... — бормотал офицюрус и просовывал руку с бокалом вокруг Санькиной руки. — Слушай: ты — молодец, — говорил офицюрус и шатал Саньку за плечо.

В соседнем номере пел визгливый женский голос.

— Голос у ней — газеты продавать, — засмеялась Мирская. Она вдруг захмелела. — Чего ты на мои руки смотришь? — крикнула она Саньке. — Белые? Это оттого, что моя мама коров доила. А отец... все мужчины сволочи... А бабы шлюхи... Там есть еще?

— Повинуюсь требованиям... — говорил офицюрус. Он опрокидывал бутылку, но оттуда капало.

— Повинуешься? — Мирская пьяно прищурила глаз, мигнула Саньке. — Повинуешься? Дай сейчас сто рублей.

— Пожжалуйста... пожжалуйста... — и офицюрус полез за борт сюртука.

Мирская нагнулась, уперлась пьяной головой в стол и возилась — засовывала за чулок кредитку.

«Спросить у ней пятьдесят рублей, — подумал Санька. — Отдам, ведь отдам. Только бы завтра, утром же завтра послать». Он вспомнил выстрелы около завода, сухой стук. И как говорил Карнаух про дым. Мирская улыбалась, закрыв глаза. Офицюрус молча тасовал карты и вытягивал наугад.

— Еще нет? — спросила Мирская, как во сне.

Санька переливал из своего бокала, и звякнули края.

— Как поцелуй, — сказала Мирская в забвении, — кто это? — Она открыла глаза.

— Ах, ты, ты! Сейчас у нас, как на елке. — Она закрыла глаза и, улыбаясь блаженно, тянула, держа бокал двумя руками.

— Я пойду, — сказал Санька. Вышло — и сам не ждал — решительно и сердито. Офицюрус вскинул рыжие глазки. Мирская оторвала бокал от губ и тревожно глянула на Саньку, будто ударил колокол.

Санька надел шинель.

Мирская шла за ним, шла до дверей. Она все держала его руку, давила, тянула вниз. Она блестящими пьяными глазами смотрела на Саньку, как большая собака. Она ничего не говорила и, пошатываясь, шла в ногу по коридору.

«Взять и спросить», — подумал Санька и стал на миг. Мирская все так же старалась заглянуть Саньке в глаза. Вдруг она моргнула бровями и сейчас же нагнулась, крепко повиснув на Санькиной руке. Страхом и радостью, и холодом дохнуло внутри, и Санька не мешал Мирской шарить в чулке. Сторожко скосил глаза в глубь коридора.

— Возьми, — едва шепнула Мирская, и черные глаза тяжело и преданно глядели, неподвижно, и заволоклись.

Остановилась рука: «Не брать, не брать!» — твердил в душе Санька, а рука протянулась и взяла. Мирская опустила голову к Санькиной руке и поцеловала.

— Иди, иди, не провожай, Саша, — шептала Мирская и толкнула Саньку. — Иди, иди, Христос с тобой.

Санька быстро сбежал по лестнице, понес скорей вон, вон свою голову.

Морошка

НА ПЕРЕДНИХ санях горой ехали Грунины корзины, сзади ехал Вавич с Груней, с картонкой на коленях. Виктор вез Груню к ее тетке. Это была двоюродная сестра смотрителя Сорокина, маленькая бабенка лет за пятьдесят. Виктор был у ней два раза по приказу Груни. Она встретила его в валенках и в черном платке. Встретила льстиво квартального и все шаркала сухой ладошкой по юбке, по рукавам бумазейного платья.

— Пером, знаете, пухом занимаешься, так наберешься. Липнет, сама — как курица. Снесусь, неровен час.

Старуха торговала подушками и пухом.

Вавич показывал Груне город.

— Вот гостиница. Богатые становятся. Больше евреи. Замечательная. Гляди — занавески-то!

Груня мельком вскидывала глаза на окна и снова нагибалась вбок, чтоб видеть корзины на передних санях.

— Вот тут полицмейстер живет, — в ухо сказал Груне Виктор. Он сделал серьезное, даже строгое лицо и выпустил Грунину талию. — Полицмейстерша — замечательная женщина, — говорил Виктор, когда проехали дом, — королева! Коляска какая. Раз лошади взбесились, я бросился. Хоп! — под уздцы. Замечательно.

— Варвара Андреевна? — спросила Груня.

Виктор, отшатнувшись, глянул на Груню. Совсем в испуге.

— Мне наш пристав рассказывал, — и Груня закивала головой. — Ой, тише, тише! — закричала Груня переднему извозчику и чуть не прыгнула с саней.

— Тише, болван! — крикнул Вавич. — Распустились ужасно, — сказал Виктор и крепче обнял Грунину талию.

— Она варенье из морошки любит, — сказала Груня. — Я знаю, знаю, — и Груня задумчиво покивала головой.

— Вот, вот, направо, где вывеска! — крикнул Виктор. И снова строго сдвинул брови. Груня покосилась на Виктора. Она, не торопясь, приняла руку Виктора и выступила из саней.

По низкому фасаду шла черная вывеска с голубыми буквами.

ПЕРО И ПУХ
Н. ГОЛУБЕВА

За стеклянной дверью старуха торопливо оправляла черный платок. Виктор глянул на часы.

— Езжай, езжай, опоздаешь, — говорила Груня. — Я найду.

Было действительно поздно. Старуха в салопе в опашку вышла из двери, дверной колокольчик дребезжал ей вслед.

— Снесешь барыне! — крикнул Виктор извозчику.

— Грунюшка, — наклонился Виктор к Груне, — Грунюшка, а потом поедем, покажу — полы, все, все, заново — ух, замечательно! — Виктор зажмурил глаза и затряс головой. И вдруг покосился на извозчика и сразу надул лицо: — Не спи, ты! Простите — служба, — козырнул Голубихе.

Виктор сел в сани плотно и осанисто, как будто на полтора пуда прибыло плотного весу.

— Пошел живо, в Петропавловский.

Извозчик встал, задергал вожжами. Он слышал, как сзади запела старуха:

— Ах, красавица какая! Ах, уж и не знаю... Во двор, во двор вези, — ворчливо крикнула она извозчику с вещами.

Виктор оглянулся. Извозчик корзинами заслонял старуху и Груню.

Груня переодевалась, мылась в низкой комнатке за лавкой.

— Пила, пила кофий, не надо, Наталия Ивановна, — говорила Груня, плескаясь водой.

Старуха едким глазом оглядывала Груню, осматривала все стати, прощупывала взглядом упругое белье.

— Дела какие же, какие дела у нас, — у жидов все дела, дохнуть не дают. Уж верно говорится, что ни пуха не оставят, ни пера. Евреи, я говорю... В церковь пойдешь? — пела старуха. — Пойди, пойди милая, как не пойти. А это зачем же? Ведерко, что ли, какое? Тяжелое, — сказала старуха, приподняв за Грунину руку.

— А где пройти ближе? — спросила Груня. Она стояла, свежая от воды, в лучшем своем розовом платье с пунцовым поясом, и розовые руки розовели из розовых коротких рукавов.

Груня действительно пошла в церковь, постояла минуту на коленях на пустом широком полу — прямо посреди церкви. Положила три земных поклона, отыскала икону Божьей матери, приложилась. И вышла быстрыми шагами по гулкому полу. Нищенка толкнула тряпичным телом тяжелую дверь, и Груня порылась, сунула ей пятак. Приостановилась и сунула еще три копейки.

Груня кликнула извозчика, уселась, поставив пакет в ногах.

Полицмейстерша из маленькой леечки поливала цветы. У нее были любимые и нелюбимые. Она любила чахлые и больше лила в них воды.

— Пейте, милые, пейте, — говорила тихонько Варвара Андреевна, пухлой ручкой помахивая лейкой. Она была в зеленом капоте и в кружевном чепчике — вчера мыла голову.

В резном буфете слегка позвякивала посуда от шагов Варвары Андреевны. Зимнее солнце красными квадратами стояло на палевых занавесках. Варвара Андреевна залюбовалась на свою пухлую руку, — горел рубин на отставленном мизинчике, — замерла лейка в руке, и вода тонкой струйкой неслышно текла на ковер.

Горничная простучала каблуками, вошла.

— Ваше превосходительство, там одна вас спрашивает. — Полицмейстерша приказывала называть себя «превосходительством», хотя муж был только ротмистр. — Как прикажете, ваше превосходительство?

— Дама? — вскинула Варвара Андреевна и глянула на стенные часы.

— Уж не знаю, как сказать? — Горничная замялась. — Вроде дама, только очень просит. Говорит — приезжая. Передать, говорит, надо... Не знаю. Я говорила.

— Иди, я позвоню, — и Варвара Андреевна поставила лейку на стол.

Варвара Андреевна на цыпочках, придерживая капот, — все с тем же мизинчиком на отлете, — подкралась к двери, без шума приоткрыла и в щелку портьеры стала глядеть.

«Совершенно, совершенно незнакомая, — думала Варвара Андреевна, разглядывая Груню. — Простоватая будто».

Варваре Андреевне было приятно, что вот она глядит на эту девицу, вот тут в трех шагах, а та думает, что она одна в прихожей и ждет. Вот как широко дышит. Даже покраснела. Глядит ведь прямо сюда, в двери. И Варвара Андреевна довольно улыбалась.

— Вижу, вижу! — вдруг вскрикнула Груня, и лицо расцвело улыбкой во всю мягкую ширь. — Здравствуйте, — и Груня двинулась к портьере. Варвара Андреевна отдернулась назад, но Груня уж раздвинула головой портьеру и протягивала руку. — Здравствуйте! — говорила весело Груня.

Варвара Андреевна хотела нахмуриться, но ей показалось лучше обратить все в шутку, и она пожала Грунину руку.

— Я вас, кажется, помню... — совсем покраснела Варвара Андреевна, и ей самой уже было смешно, что ее поймали.

— Не помните, нет, не помните: я Груня Сорокина, смотрителя Сорокина дочка, — говорила Груня громко. Она стояла в шубе и шляпе на ковре гостиной. Попугай раскричался в клетке, и Груня плохо слышала, что отвечала Варвара Андреевна. — Да, да, верно, я сейчас. Да, да, что же так, прямо в шубе! — И Груня в прихожей быстро стала стаскивать шубу.

— Настя, помоги, — говорила Варвара Андреевна сквозь крик попугая и показывала рукой на Груню. Настя подхватила шубу.

Груня подняла с пола сверток и пошла за полицмейстершей.

— Это надо в столовой, — в самое ухо крикнула Груня.

— Да, ничего здесь не слышно, — и полицмейстерша быстро прошла в столовую, ведя за руку Груню.

«Смешная какая — розовая, — думала полицмейстерша, — буду потом рассказывать», — она с шумом захлопнула двери к попугаю.

— Почему вы, милая, ко мне? — спросила полицмейстерша и не могла сделать строгого лица.

Груня оглядела белую скатерть с леечкой.

— Поднос, поднос дайте, побольше который. Я вам тут чего привезла-то.

— Как это — поднос? — спросила Варвара Андреевна.

— Ну, поднос, простой поднос, а то накапает.

Варвара Андреевна засмеялась, легко подбежала к буфету, схватила большой блестящий поднос и поставила на стол.

— Угадайте, что там? — Груня поставила на стол тяжелый пакет и прикрыла пятерней. Она весело глядела на Варвару Андреевну в самые глаза. — Страшно вкусное! Теперь банку надо и ложку. — Груня стала разворачивать бумагу — это были газеты, замазанные в дороге. Груня срывала. — Куда? куда? — и сама бежала к печке и совала бумагу.

Варвара Андреевна побежала в кухню, бегом вернулась с банкой.

— Сполоснули? — спросила Груня. И стала ложкой перекладывать варенье. Она стряхивала ложку за ложкой и взглядывала на Варвару Андреевну.

— Замечательное! — приговаривала Груня.

Варвара Андреевна мизинчиком с рубином зацепила из-под ложки варенье и облизала пальчик.

— Что? — спросила Груня.

— Ужасно смешно, — сказала Варвара Андреевна и рассмеялась. Расхохоталась и Груня.

— А это Вите останется, — сказала серьезно Груня, когда наполнилась банка.

— Какому Вите? — смеясь, спросила полицмейстерша.

— Вавичу. Жених мой. Он квартальный теперь. Очень любит, — сказала Груня задумчиво, — морошку, я говорю, любит.

— А он красивый? — спросила полицмейстерша.

— Ну да, красивый, такой шикарный теперь, — говорила Груня, как с собой, и уворачивала аккуратно свою глиняную банку.

— Какой Вавич? Не слыхала, — полицмейстерша села и снизу глядела, улыбаясь, Груне в лицо. — В каком участке? Брюнет? И вас очень любит? Садитесь. Как вас зовут, я забыла, — болтала Варвара Андреевна. — Потом завяжете! Кто вам сказал про морошку? Какая вы смешная! То есть милая, я хотела сказать. — И полицмейстерша поймала и пожала Грунины пальцы. — Вы его очень любите? — говорила, щурясь, Варвара Андреевна. — Он высокий? Покажите его, пусть придет, непременно, непременно. Я закурю, только никому не смейте говорить.

Полицмейстерша достала маленький черепаховый портсигар и задымила тонкой папироской.

— Ну рассказывайте, как он вас любит, — и полицмейстерша завертелась, придвинула свой стул ближе. — Наверно, очень любит вас целовать? — Она пристально рассматривала Грунины щеки, открытый вырез на груди. — Что вы так смотрите? Будто уж и не целовал ни разу, а? Ну говорите же! — Полицмейстерша ткнула Груню пальцем в пухлый локоть.

Горничная вошла в черном платье, с белой наколкой в волосах.

— Ваше превосходительство, к телефону просят. Адриан Александрыч.

Полицмейстерша вскочила, зарычал отодвинутый стул.

— Бегу, прощайте, милая, — сказала, запыхавшись сразу, Варвара Андреевна. Она сунула Груне руку. Груня мягко при-

встала, сунулась к лицу, и полицмейстерша наспех поцеловалась. В дверях она остановилась, полуобернулась и, махая ручкой, сказала с брезгливой гримасой: — Только пояс этот перемените — невозможно!

Кризис

— Я, Я! САМА дам! — чуть не крикнула Наденька, когда мать хотела очистить яблоко Башкину. Мать глянула — у Наденьки тряслась челюсть, тряслась мелкой дрожью, и поджатые губы прямой щелкой вычертили рот. Наденька торопливыми, злыми пальчиками вертела, чистила яблоко.

— Доктор сказал — сейчас кризис, — шепнула Анна Григорьевна.

Наденька закивала головой и нахмурила брови. Башкин вертел головой на подушке, он шевелил губами, и Наденька сунула осторожно в толстые обветренные губы острый ломтик яблока.

Башкин вобрал губами яблоко, открыл глаза, и Наденька увидала, что он узнал, что он ясно видит, — и какие светлые добрые глаза — показалось Наденьке. Совсем детские, беспомощные. Башкин улыбнулся.

— Еще можно? — аккуратно произнес он. — Пожалуйста. — И Наденька поспешно сунула новый ломтик. Башкин повернулся на бок, положил сложенные руки под щеку, подогнул коленки — они остро торчали под пикейным одеялом. Он закрыл глаза, закрыл с блаженным видом, с наивно поднятыми бровями. Наденька бесшумно поднялась и, осторожно прихватив пальчиками, поправила одеяло.

Анна Григорьевна двинулась у окна, задела ширмы. Наденька замахала рукой и обернулась, сморщила сердитое лицо в синюю полутьму, где маячила тень Анны Григорьевны. Анна Григорьевна вышла на цыпочках в дверь.

Наденька осталась одна у постели Башкина. Она сидела в низком мамином кресле, уперлась локтями в колени, обхватив ладонями горячие щеки.

«Я один, я сам!» — сорвался, убежал. И она вспомнила, какая радость была в ногах Филиппа, когда он убегал через улицу к ларьку. Она чувствовала на себе меховую шапочку и руку Филиппа, как он ее гладил. Мужскую руку, тяжелую. И На-

денька остервенело затрясла головой. И была, была досада в голосе, когда говорил: «да вы не беспокойтесь, мы устроим». То есть: без вас устроим. «Ладно», — шепнула Надя и со всей силы сжала подбородок руками. И стояли в глазах Танины ручки, когда она взяла за виски Филиппа.

«Не нужна и не надо!» — зло, раздельно выговорила в уме Надя. Уперлась глазами в коврик. Мирными узорами был выложен коврик, было тихо, и кропотливо тикали часики на ночном столике. Наденька часто дышала. Она не замечала, что плачет, плачет без звука, одними слезами, редкими, терпкими. Сквозь слезы коврик рябил рисунками, и от этого еще пронзительней, жальче становилось себя, как будто морозную железную плиту прижимала к себе Надя и все жала, жала, сильней, больней, холодней. Она не заметила, как тихо вошла Анна Григорьевна. Мать по плечам увидала горе. Опустила тихонько руку на Надину голову, и Надя дернулась, тряхнулась, мотнула головой. Анна Григорьевна увидала слезы, отвернулась, пошла и села в темноту на кушетку.

— Поистине несчастный человек, — сказала через минуту Анна Григорьевна, вполголоса, раздумчиво. — Я говорю, — сказала живее, — он поистине несчастен... А это пройдет, не волнуйся, Брун сказал, что можно надеяться.

— Не пора давать сердечные? — сухим голосом сказала Надя и привстала, чтоб глянуть на часики.

Она посмотрела сверху на Башкина, как он покорно, по-детски, лежал с поднятыми бровями.

— Да иди, мама, спать, — нетерпеливо, учительно сказала Наденька, — ложись у меня. Какой смысл двоим не спать?

Наденька трясла термометр и повторяла после каждого размаха: «Ну и не надо... не надо!» Она осторожно отвернула на груди Башкина рубашку и, приподняв за локоть худую, легкую руку Башкина, стала на колени и сунула под мышку термометр. И только, закрывая рубашку, она заметила на груди Башкина лиловый кровоподтек.

— Боже мой! — громко зашептала Наденька. — Ты видела, видела? — И она испуганно повернула лицо к матери.

— Да, да, он весь, весь избит; ничего нельзя узнать, и не тревожь его, — сказала Анна Григорьевна таинственно и сейчас же вышла из комнаты.

А Наденька осталась стоять на коленях на коврике перед кроватью. Башкин дышал ей в самую руку, дышал ровно, спокой-

но, и Наденька не вставала с колен и радовалась, что никого нет в комнате. Она с усиленным вниманием смотрела, чтоб не выпал градусник. Она выждала десять минут в этой позе и стала доставать термометр. Она тронула руку Башкина.

Башкин проснулся. Он глядел на Наденькино лицо — совсем над ним, он глядел умиленными, преданными глазами. Он закрыл на минуту веки и снова глянул на Наденьку, и Наденьке показались слезы в его глазах. Он тихонько накрыл своей рукой Наденькину руку, как будто в полузабытьи, и закрыл глаза. Наденька свободной рукой вытащила градусник. Градусник показывал 36 и 8. Наденька положила градусник на столик: потянулась, не меняя позы, чтоб не дернуть руки, которую накрыл Башкин.

Ключ трикнул в парадных дверях, и щелкнул французский замок. Наденька осторожно вытащила руку и тихо поднялась с колен. Башкин легко застонал. Может быть, не застонал, может быть, дохнул так крепко. Наденька села в кресло. Она слышала, как Санька раздевался в передней, как стукнул по столу козырек. Слышала, как Санька осторожно шел к двери, чувствовала, что смотрит сзади, и оглянулась, сердито глядела.

— Чего ты зверем таким? — спросил Санька. Он глядел немного растерянно.

— Хорош! — шептала Наденька. — Просили тебя в аптеку...

Санька поднял брови и скосил голову.

— У человека кризис, без памяти. Можно, кажется, немного о других-то подумать?

— Да понимаешь... — и Санька шагнул в комнату. — Ну и дела! — Санька сделал оживленное лицо и вскинул рукой к уху: завядшая роза слабо болтала головкой на мертвом стебельке.

Наденька презрительно отвернулась.

— Понимаешь, — наклонился Санька к Наде, — у завода, у Механического, стрельба. С полдюжины выстрелов слышал. Хотел, понимаешь, пойти, да, понимаешь, никак. Снег во: по самую грудь. — И Санька два раза сильно чиркнул пальцем себе по сюртуку: — Во!

— Тише, пожалуйста, — строго сказала Надя и нетерпеливо вертнула головой в сторону Саньки.

— Ну и черт с тобой, — сказал Санька. Зло сказал, насупился и громко пошел к двери.

— А когда это было? — вдруг спросила Надя, — брат был уж в дверях, — быстрым голосом спросила.

— А черт его знает, — зло буркнул Санька и прошел через сени к себе.

Свадьба завтра

БЫЛО тихо в квартире. Мягко веял свет сквозь белые шторы. Башкин прислушался, и сквозь легкий шум в ушах слыхал только хлопотливое тиканье часов на мраморном столике. Приятно пустела легкая голова, и сам он чувствовал, что был легкий, будто нитяный.

Башкин осторожно обвел глазами комнату. На кушетке, поджав коленки, спала Наденька. Коричневая юбка слегка поднялась, и из-под нее легло кружево на черный чулок. Детски доверчиво светил белый узор. Наденька подогнула голову к груди — на жесткой диванной подушке — и во сне зажала в кулачок конец английского галстука.

Башкин нацелил точку на обоях, чтоб по ней следить, чтоб видеть, как дышит Наденька, как поднимается ее плечо. Плечо жило, дышало, — он мог смотреть на Наденьку сколько хотел, и он водил по ней глазами, а она все так же лежала перед ним, закрыв глаза.

Башкин пустился думать, что она не спит, она только закрыла глаза и знает, что он глядит. И он водил глазами по кружеву, по плечу, по волосам. И ему казалось, что владеет ею, — и она покорно, рабски лежит. Он щурил, закрывал глаза, чтоб потом сразу ярко взглянуть.

«Я позову, и она подойдет. И станет здесь. Около меня... Скажу: Надя!»

— На-дя! — вздохом сказал Башкин, одними губами. — Надя!

Покорная усталость спала на Надином лице. И воротничок, и галстук, и туфля с тупым носком на низком каблуке вдруг глянули на Башкина, — все сразу, как одно, как отдельное от Наденьки, как не ее. Девочка в приютском платье — «без обеда» — и спит с горя после слез. «После сиротских слез, — подумал Башкин. — Не насмешливая, не строгая, — шепотом говорил Башкин, покачивая голову на подушке, — нет... нет. Обыкновенная... простая, как я. Да, да!»

Он говорил, как говорят в забытьи. Слушал свой голос и верил ему. «Я позову, я по-зо-ву!»

— Надя, Надя! — сказал Башкин почти громко и на всякий случай прикрыл глаза. В щелку век он видел, как Наденька привстала на локте и замигала глазами.

Башкин совсем закрыл глаза. Голова сама охотно уплывала в забытье, но дыхание обрывисто поднималось. Он слышал, как Наденька осторожно встала, как пошла на цыпочках. Вот здесь. Вот зашуршали юбки, стала, стала на колени у изголовья. Башкин через закрытые веки видел, как она глядит на него.

— Зачем... зачем? — как будто в бреду простонал Башкин. Он сам почти верил, что бредит. Наденька осторожно откинула волосы с его лба и легко прикоснулась, пробовала: как жар?

«Вот так и сказать, ей сказать, — думал Башкин, — и она ручкой своей все, все сотрет — нежно и просто. Мы оба бедные». Слезы щекотали глаза.

— Боже мой! — слабыми губами вздохнул Башкин. — Зачем... они меня мучили?..

Он зашатал головой, как во сне. Так слабо, так натурально, что был уверен теперь, что так бредят.

— Что я им сделал? — простонал Башкин. Он сказал от всего сердца, с тоской, с болью, и замер.

Наденька осторожно положила руку ему на темя и слегка удерживала его голову, и Башкин чувствовал, как по всему телу, от темени, от ее руки пошла волна теплого счастья. Он не двигался, почти не дышал. Наденька тихонько стала отнимать руку. Башкин запрокинул голову вверх, он своей рукой без ошибки схватил в воздухе Надину руку. Башкин поймал своей липкой рукой Надину руку, зажал, притянул к губам и целовал, как будто пил из нее от жажды. Он вертел и целовал в ладонь, в пальцы, и она чуть сопротивлялась, упруго и нежно, как будто рука жила отдельно своей жизнью, своим вздохом. И Башкин схватил эту милую, покорную и кокетливую ручку, зажал в свою руку и положил под голову, припал небритой щекой — судорожно, пьяно. И рука лежала и, казалось, дышала нежной ладонью.

Он с силой зажмурил глаза и мелкой дрожью тряс головою.

— Что с вами? Что... с вами? — повторяла Наденька, повторяла, как не свои слова. — Что с вами?

— Милая моя! Бедная! Хорошая! — говорил Башкин с судорожной силой, сквозь зубы выдавливая слова. — Я самый, са-

мый ужасный человек. Хуже всех, Наденька. Хуже Иуды. Знаете Иуду? — И он вдруг глянул на Надю. Глянул во всю ширь глаз, с силой порыва.

Надя, полуоткрыв рот, красная, глядела на него, глядела, распахнув глаза, чтоб видеть все.

Она чуть отвела глаза на раскрытую грудь Башкина, на багровые ссадины, и без звука, почти одной мыслью спросила:

— Что это?

— Они меня били, били, били, — захлебывался Башкин, — и я им отомщу, я вам говорю, Наденька, и никому, слышите, никому, — и Башкин свел брови и затряс головой.

— Кто? Что? — шепотом спросила Надя. Она тяжело дышала, она наклонилась ниже над Башкиным.

В это время в передней дрыгнул короткий звонок — трык! — и потом долгий.

Надя дернулась. Высвободила руку от Башкина и, вскочив с колен, на цыпочках пробежала в переднюю.

Башкин слышал, как Надя осторожно повернула французский замок и как мужской голос сказал в дверях:

— Здравствуйте, как здоровье Виктора Илларионовича?

И как Надя ответила вполголоса:

— Благодарю вас, свадьба завтра.

Не постучав, открыла дверь в комнату Саньки.

Башкин досадливо, тоскливо глядел на дверь. Наденька вбежала, быстрыми руками стала рыться в комоде, вытащила полотенце и, не заткнув ящика, быстро вышла. Она мельком только скользнула глазами по Башкину.

«Свадьба завтра? — думал Башкин. — Какая свадьба? — И сразу: — Почему таким заученным тоном сказала Наденька эти слова? Пусто, без смысла?.. Но ведь я ей сказал, сказал же», — шептал Башкин. Он поднял наивно брови, и голос был как у мальчика.

Наденька проходила мимо дверей — все так же торопливо, на цыпочках, — и вдруг заглянула в двери.

— Я сейчас к вам приду, — и покраснела, и так радостно сказала, и головкой закивала, как будто знает про что.

Башкин завертелся на постели, привстал на локте. Он уютно устроил одеяло, втер голову плотней в подушку и стал ждать. И легкими волнами потекло время. Башкин лежал с закрытыми глазами и чувствовал, как течет, как радостно несется время, через него — и дальше, дальше, с тихим звоном, как будто

идет тонкая струна. Башкин радостно доверялся счету и звону. Он задремал с улыбкой, слабой, блаженной; сквозь сон улыбался Наденькиным шагам.

Паскудство

САНЬКА спал ничком на своей кровати, одетый, как пришел от Мирской. Внутри будто что-то возилось, вертелось, как собака, которая кружит и не может улечься. Санька подвывал во сне, тряс головой и прижимал к щеке подушку, как будто у него болел зуб. Он встал впотьмах, вынул из кармана сложенную «катеринку» и на ощупь сунул в ящик стола. Он глянул на часы — они остановились на половине четвертого. Глянул в окно — нет, не светает, не хочет. Ночь как закаменела, как навалилась на город. Санька снова ткнулся в подушку, закрыл плотно глаза, — и неотвязно стоял около, вокруг головы, сладкий и томный запах духов Мирской, и щека помнила прикосновение гладкой кожи, и Санька терся лицом о подушку.

«Все устроится, все устроится, — думал Санька, — лишь бы утро, утро скорей, — и действовать, действовать. А если б он выстрелил? — Саньке представился весь скандал, и как Таня узнает. — Фу, позор, позор какой». Санька глядел в черный потолок, и все представлялось Танечкино лицо, когда ей скажут: «офицер застрелил в номере у этуали, в ту же ночь...» И Санька снова глянул в окно: может быть, крошечка рассвета. Придет свет и свеет все, как будто не было, и главное — сейчас действовать. И ноги сами напрягались, пружинисто вытягивались.

Но сон черным облаком стал кружить над головой, ниже, ниже, и закутал, запутал все видения, все мысли, все закружил серым дымом.

Санька проснулся, вскочил: брякает умывальник и полный свет. Незнакомая спина над умывальником, спокойно ворочались голые локти.

— Кто, кто это? — вскрикнул Санька.

Человек не спеша повернулся и прищурил на Саньку мокрое близорукое лицо.

— Меня привела ваша сестра, — плотным, ровным голосом сказал он.

«Тот!» — подумал Санька и любопытно заглядел на человека.

— Да, да, тот самый, — закивал головой человек, сказал насмешливо, назидательно.

И Санька сейчас же обиделся и уж зло смотрел на этого человека: «Ишь, как руки вытирает, не спеша, причесывается, в мое зеркало разглядывает прыщик». Санька сорвался и выбежал в двери.

— Что? — с тревогой спросила Надя в коридоре.

— Да ничего, — огрызнулся Санька, — растирается... твой этот... соций.

— Не скандаль! — Наденька даже притопнула ножкой. — Дуняше сказано — мамин кузен! Слышишь?

— Хоть чертов брат! — ворчал Санька. Он мылся под краном в кухне. Он ненавидел этого «соция», хотел бежать сейчас на почту и телеграфом послать Алешке деньги. Пусть приедет Алешка, пусть поспеет, непременно надо, чтоб поспел, чтоб пошел Алешка и отдавил бы ноги вот этому, в зеркало, прыщик, мусолит время для важности. И Саньку рвал спех, он не мог стоять.

В столовой на часах было половина восьмого — почта открывалась в девять. Санька толкнул дверь в свою комнату. Он не глядел на приезжего, дернул ящик, схватил «катеринку» и без чая побежал на почту.

— Действую и кончено, — шептал Санька и бежал вниз через три ступени: он решил ждать на почте и послать первым.

Он шел, запыхавшись, как будто можно было опоздать, влетел в вестибюль почтамта, дернул дверь — огромную, как ворота, хоть знал наверно, что заперта. Выбежал вон и пошел дальше, чтоб хоть в ходьбе скоротать время. Время тряско билось внутри и гнало, гнало вперед. Пусто, зябко было на улицах. Но уютно горела лампочка в молочной напротив. Полная полька в чистом переднике, скучая, глядела в стеклянную дверь. Санька вошел, — очень спокойная полька и простые белые столики. Спросил стакан молока. Он видел через окно часы на почтамте, жегся горячим молоком. Мальчишка просунулся в двери и положил свежую газету на ближайший столик. Полька простукала хозяйскими каблуками и подала газету Саньке.

— Может быть... — сказала полька и пахнула на Саньку свежим запахом масла, и Санька из вежливости развернул газету. Это были «Полицейские ведомости». Санька шарил глазами по сырым столбцам и вдруг:

«Ко всеобщему сведению чинов вверенной мне полиции.

На некоторых фабричных предприятиях были сделаны попытки склонить доверчивые массы рабочих к прекращению работы и производству беспорядков. Ответственность за судьбу темных, доверчивых людей несут, конечно, прежде всего те преступные лица, которые соблазняют народ, обещая небесные блага от прекращения труда; ответственность же за порядок в городе несет городская полиция, и ей мирное население города вверяет свой покой и охрану своего достоинства и имущества. Поэтому считаю своим долгом напомнить чинам полиции о той ответственности, которую несет каждый за малейшее нарушение порядка. Поэтому всеми имеющимися мерами полиция обязана предупреждать появление на улицах толп и скопищ народа, и в тех случаях, где применение полицейской силы может оказаться недостаточным, помнить, что помощь для прекращения бесчинств толпы всегда может быть оказана со стороны расположенных в городе войск гарнизона.

Полицмейстер».

И тут опять тот самый холодок лизнул под грудью, тот самый, карнауховский. И Саньке показалось, что это «ко всеобщему сведению» написано прямо ему — Саньке. «Войска гарнизона» — солдаты, несокрушимые, в каменных серых шинелях.

Солдаты и шаг мерной дробью по мостовой. Стали. Стало это серое. Вскинулись винтовки — торчком оттуда, острыми штыками блестят кончики... У Саньки билось сердце, и он уперся слепыми глазами в газету... Раз! — взяли на прицел. Сейчас, сейчас грохнет залп... Устоишь? Не побежишь? Устоять, устоять!.. И у Саньки бились кровью виски.

— Ничего не слыхали за сходку? — вдруг спросила полька. Санька вздрогнул, оглянулся. Полька глядела в двери голубыми умытыми глазами, и белые руки лежали на стойке среди тарелочек и пирожных. — Слышно было, тут коллеги говорили за собрание. Сделали собрание в университете.

— Нет, нет! — затряс головой Санька. — Не знаю.

— Паскудство делается, — сказала полька.

— Где? — Санька дернулся, обернулся, побежал глазами за хозяйкой.

Дверь звякнула, и вошли два почтовых чиновника. Хозяйка мерно закивала головой на полной шее и ушла в заднюю дверь.

Чиновники вполголоса говорили по-польски, поглядывали боком на Саньку.

Хозяйка подала молоко и тоже что-то тихо сказала, и оба снизу глянули ей в лицо, а она смотрела в зеркало, что висело над ними.

Чиновники усмехнулись друг другу и стали греть о стаканы озябшие руки. Один показал глазами на «Полицейские ведомости» на Санькином столе, другой насмешливо прищурил глаз. Саньке казалось, что все что-то знают, важное, тайное, и что он в дураках, вышиблен, оттерт... Он ловил ухом польские слова, но долетало только «але» и «досконале», а речь жужжала, как жук в окне, вилась в двух шагах, и чиновники вздрагивали подбородками. И вдруг оба замолчали и, вывернув шеи, уставились в стеклянную дверь.

Неспешно шаркал по панели длинный пристав, и болтались полы расстегнутой шинели. Над красными скулами узкие глазки глядели вдаль.

Пристав прошел. Чиновники переглянулись.

— Грачек, — вполголоса вздохнула хозяйка из-за стойки.

Чиновники встали. Санька видел, как они перебежали улицу. На почтамте было половина девятого. Санька вглядывался в людей на улице, и казалось — не так, не так идут, не той походкой, нарочно все идут, для вида, а не туда хотят. И вдруг на миг все глянуло тайной — все люди, все спешит, готовится, собирается, и вот быстро прокатил пустой извозчик. Санька не мог сидеть, вскочил, бросил на столик пятиалтынный.

— На здоровье, — сказала в зеркало полька.

Улица замелькала, завертелась спехом. Саньке казалось, что все валит, катит, торопится поспеть, будто осталось полчаса, и все бегут занять места, что тревожно орут газетчики... Городовой стоял на перекрестке, стоял с нарочным спокойствием — черной плотной тумбой.

Санька спешными шагами, как все, шел по улице, слушал деловой шум, и вдруг опала тревога, осела, как пена, деловым буднем глянули съестные лавки и полузаспанные лица прохожих. Опоздавший гимназист просеменил мимо. В соборе редким боем бубнил колокол. Санька оглянулся: пронесла, прокатила улица. Что? И куда делось?

В девять часов Санька влетел в почтамт. Два перевода написал Санька: учителю Головченко и другой, — вонзал Санька корявое перо, — Зинаиде Мирской на 50 (пятьдесят) рублей.

На обороте написал: «Остальной долг при первых деньгах. Спасибо». Потом замарал «спасибо» и подписался: «А. Тиктин».

Санька еще твердо стукал ногой, когда шел по почтамту, по гладким плиткам, но на улице сразу стало холодно. Запахнулся, ворот поднял и слабой походкой пошел вдоль домов. Началась пустота, легкая и тошная, и Санька щурился на свет. «Только бы ручку, эту бы ручку, здесь, под рукой, ничего бы не говорить, а только идти так, пройти б хоть немного, хоть вот до угла. Ничего не надо, пусть бы хоть сказала, что придет, чтоб знак дала... что было, было вчерашнее. Хоть черточку — так вот, просто черточку карандашом, и ничего не надо». И Санька шел, раскачиваясь, подняв плечи, с руками в карманах, и тонкой, чуть заметной струной в белесой пустоте дрожало вчерашнее.

На углу в красной фуражке с медным номером стоял посыльный. Санька стал, и посыльный, выпростав из-за спины руки, снял и надел шапку.

— Пожалуйста-с! Бумажки? — и он полез за пазуху.

Он подавал Саньке «секретку», карандаш — вот тут в сторонке удобней — и Санька без дыхания написал:

«Танечка, черкните строчку, штрих, сейчас. Что-нибудь.

А. Т.».

Заклеил. Татьяне Ржевской. Улицу, дом.

— В собственные руки-с? — Посыльный опять вскинул шапкой. — Ответ будет?

— Непременно ответ, я буду... в трактире «Россия», тут на углу. — Санька сунул полтинник. Посыльный вертко завернул за угол. Санька перебежал дорогу, дернул хлябкую дверь трактира и забился в угол к окну, за извозчичьи спины. Он зюзил жидкий трактирный чай с блюдечка, и весь шум, хлопанье дверей, звяк посуды — все отбивало время, и время текло через Саньку, он слышал, как сквозил поток. Он знал, что посыльный сейчас уж там. Теперь, вот сейчас, пошел назад. Все теперь кончено — уже сделалось, только остается узнать. Санька не глядел на двери. И в уме посыльный был то на полпути назад, то, чтобы не обмануться, Санька отдергивал его снова к дому, и посыльный снова шагал от ворот.

Санька сам не знал, почему глянул в отекшее окно: и вот человек идет по панели, — сразу не понял, кто это твердым махом прет по панели? Привскочил, дернулся; «Алешка, Алешка! Не может быть! Но он, он, наверно». Санька хотел бежать, догнать. Но надо было платить — и посыльный, посыльный!

Санька в тоске зашаркая ногами по грязному полу. Схватился за блюдечко и стал заливать бьющийся дух.

И вдруг, подняв от блюдца голову, Санька увидал, как пробивался к нему меж столами посыльный. Подошел, наклонился.

— Передал прямо им. Прочитали при глазах и сказали: «ответа не будет».

Гудок

АННУШКА вскочила, Аннушка спросонья чуть не слетела с лавки, — так стукнуло в окно. Без духа побежала в сени.

— Завесь окно! В кухне завесь окно, — говорил Филька и судорогой трепал его холод. — Не вздувай огня, впотьмах завесь. Завесь, дура. Копаешься! Одеяло вилками приткни! — и Филипп сам полез через Аннушкину постель. Аннушка металась впотьмах, шептала несвязицу, брякала вилками. — Во! Раз и два, черт его раздери в три анафемы!

Фильку било холодом, и, когда вспыхнула лампа, как рыбья чешуя заблестели ледяшки на Филькиной тужурке.

— Плиту, живо! — лязгал зубами Филька. — Сдери ты с меня эту шкуру. Да не стой ты, корова лопоухая!

Филька корявыми, замерзшими руками выцарапывался из тужурки. Тужурка стояла мерзлой корой.

— По... по... полощи, дура, как есть. Все, все, и портки, — приговаривал Филипп. — и чайник поставь. Поставь, пропади ты пропадом. Ух, мать честная: ва-ва-вва...

Аннушка шлепала в корыте тяжелой, пудовой тужуркой, бегала с ведром во двор.

Филипп стал согреваться, и только ноги все дергало зябью. Он повалился на Аннушкину постель и слышал сквозь сон:

— Доходился, дошлялся, потянули его черти в пролубь... Надо было лазить... Сволочь всякая сюда ходит... голову крутит...

Чуть свет Филька в сырой, но в своей обычной тужурке бегом побежал к заводу.

Кучка полицейских стояла у дверей проходной. Филипп нащупал два железных кружочка, два номерка — свой и Федькин. Их надо повесить на разные доски, надо повесить, чтоб не видал табельщик.

Филька мигом нацепил свой номерок на привычный гвоздик. Теперь надо было умудриться повесить Федькин номер.

И у Федькиной доски вдруг образовался затор. Это Егор. Он шел впереди. Он оглянулся на Филиппа, мигнул и вдруг нагнулся, уперся. Он упрямо кряхтел и рылся, шарил по земле. В узком проходе сбилась пробка, загудела ругань.

— Стой, ребята, — кряхтел из-под ног Егор, — двугривенный обронил!

Филька искал глазами Федькин гвоздь и вдруг стукнул рукой по доске — без промаха повесил номер на место.

— Стал, что бык, — толкнул Филька Егора, — тетеря! — и протолкался вон.

Он затаил дух, глядел по сторонам, кося один глаз, и вот за углом, на темном кирпиче, белый квадрат. Филька чуть свернул, подался ближе. Оно, оно! Он все увидел — увидел, что вверх ногами висит воззвание, и догадался, что висит оно на мерзлых Федькиных слюнях. И Филипп дохнул. Дохнул весело, и ноги поддали резвого ходу. Он распахнул калитку в мастерскую и сразу же увидал кучки — народ стоял кучками. Понял: читают. Филька пошел прямо к своему станку. Федьки не было у станка. Филипп оглядел мастерскую, он стегал глазом по всем местам и не видел Федьки.

Мастер Игнатыч из-за стекла будки поводил глазами по кучкам народа. Глядел упорно, будто глазом хотел растолкать.

Зашипел паром на весь завод и ударил голосом заводской гудок. Гудели заиндевевшие стекла от нетерпения, от страха. Хозяйским голосом протянул свой рев гудок — и оборвался. Сразу стало тихо. И вот шлепнул первый ремень, и заурчала мастерская.

Игнатыч выступил из стеклянной будки. Филипп чувствовал, как движется на него мастер. Подошел, стоит. Филипп глядел на работу.

— А где мальчишка твой? — спросил Игнатыч, постояв.

— А шут его знает, — сказал Филипп, внимательно щурясь на работу.

— Не пришел, аль не на месте? — громко, через шум, кинул Игнатыч.

— А черт его знает! — досадливо крикнул Филипп и стал поправлять воду, что лила из жестянки на резец.

Игнатыч искоса глянул на Фильку. И Филипп понял: зря, зря стал поправлять воду. Все видел пузатый черт, видел, что вода в порядке.

— Ну и черт с ним, — сказал Филипп и нахмурился.

Он работал старательно и споро, как всегда, вот уже скоро час, как работал, не глядя по сторонам. Федьки не было.

Филипп прождал еще десять минут и не мог больше. Он остановил станок, взял в руку резец и пошел — законно пошел к инструментальной. Он задержался и спросил первого мальчишку.

Но не стал слушать: мальчишка врал. Врал, чтобы покрыть Федьку.

«Засыпался, арестовали? — думал Филипп. — Или через стенку махнул под утро домой? Так пришел бы хоть без номера... Загнали его, что ли, куда-нибудь?»

Филипп обменял резец, спросил в окошко инструментальной. Конечно, не видали. По дороге к станку спросил двоих — да кому какое дело до Федьки, черт его знает, может, и был.

Игнатыч делал второй круг по мастерской. И на ходу крикнул Филиппу:

— Нет?

Филипп помотал головой.

«Знает, черт пузатый, знает, наверно. Была, видать, ночью склока тут, с этим делом... Так почему ж тогда не сорвали листовку?»

Мастерская работала плотней, чем всегда, все молча, как приклеенные, стояли у своей работы, как притаились, как ждали.

И вдруг писк, тонкий писк прорезал рокот станков. Все дернулись, метнулся на местах весь народ. И отбойной волной покатил хохот.

Игнатыч за ухо вел Федьку. Федька визжал и болтался, свернув голову набок.

Игнатыч мерной походкой шел с Федькиным ухом в руке к Филиппу.

— Под листом под котельным дрых, сукин сын. По углам, прохвост, прятаться! Прятаться! — встряхивал Игнатыч Федьку. — Прятаться!

В это время гул, рев морской, тревогой ударил за окнами. Игнатыч подался вперед, все еще не пуская Федькиного уха. Он раздул лицо и слушал. Несколько человек бросились и открыли форточку в замерзшем окне, хлопнула на блоке калитка, раз и два. Люди переглядывались. Озирались. Останавливали станки, и только шлепали холостые ремни.

И вдруг сразу все глянули на калитку, и оттуда уличные, громкие голоса крикнули:

— Выходи! Выходи! Все выходи! Станови! Шабашьте! Выходи все!

Люди кричали, и голоса били, стукали:

— Все, все во двор!

За стеной шум надувался гуще, гуще, плескали под окнами отдельные голоса. Кто-то пронзительно, заливчато свистнул в пальцы под самой форточкой, и жуть махнула по мастерской.

— Пошли, что ли? А? — сказал кто-то громко, на всю мастерскую.

И все люди чуть двинулись. Двинулись одновременно сначала тихо, и потом скорей, скорей, скорей, и у калитки черной кучей сбились, загудели. Филипп остановил станок. Брякнул инструмент в ящик. На ходу уже натягивал тужурку. Игнатыч спешным шагом пошел в свою загородку к телефону.

Во дворе было скверно, холодно, колкая крупа в лицо била с серого неба. Черной дорогой вытянулся по небу вдаль дым из фабричной трубы. И вдруг, как сорвался, завыл фабричный гудок. Завыл с дрожью, с тревогой, покрыл шум людей, и все глядели туда, где вылетал и рвался на ветру белый пар. Гудок оборвался, стало тихо. И вновь взорвало голоса. Люди шли, проталкивались на широкую площадь перед воротами. К окнам конторы прилипли бледные лица. Старый котел ржавым горбом торчал над толпой. На нем толпилась кучка людей. И вдруг один, в черной бороде, в темных очках, взмахнул рукой, вздернул вверх голову и замер — только ветер трепал черную бороду. Шум еще секунду длился и стал спадать, заглох, а человек все еще стоял, подняв неподвижно руку.

Настала секунда, когда выл только ветер, и человек громко, на весь двор, крикнул, зычно, твердо, как скомандовал:

— Товарищи! — Он опустил руку и снова поднял и вытянул вперед перед собой: — Товарищи! Комитет Российской социал-демократической! рабочей! партии послал меня сюда, чтоб сказать вам, — выкрикивал человек.

Филипп влез на штабель угля, что серой горой стоял за котлом: весь двор плотно был покрыт шапками, фуражками — мостовая голов, и казалось, — эта черная мостовая колебалась под ветром. Ему сзади плохо слышно было, что говорил комитетчик, долетали рваные выкрики, но Филипп смотрел на толпу, на лица и видел, как заходили, заволновались головы, и вот уж отдельные крики, как всплески брызнули из толпы:

— Правильно!

— Верно, товарищи!

И гул взмыл и раскатился в ответ. Гул ударил туда, в котел, но человек поднял руку и крикнул:

— Товарищи! Еще раз повторяю от имени комитета партии: скоро бой! Берегите силы! Гнусная провокация толкает вас в яму. Долой забастовку!

— Долой!.. — ухнула толпа. — О-о-о-ой.

— Долой, долой-ой-ой! — визгнуло под самым котлом, поползли, покарабкались черные люди на скользкое железо... Филипп поднял брови, двинулся с угольной горки, обсыпался вниз с углем. Вот человек рядом схватил уголь, угольную каменюгу и швырнул вверх в оратора, в бородатого. Филипп толкнул его в уголь и бросился к котлу. А там уже влезли, за ноги ловили стоявших на железном горбу.

— Долой! ой-ой!

Кучка, свалка под котлом, и вдруг — бледный, высокий, молодой, в сапогах, в полупальто, с черным козырьком над белым лбом, один остался торчать на железном горбу. Стал, как на казнь, как на последнее слово.

— Друзья! — крикнул бледный, и дрогнул голос над толпой. — Всем холодно, на всех одежонка дрянь! А что нас греет, почему не пропадем ни на морозе, ни в голоде? Греет нас, что мы одно. Крепкое, плотное — кирпичная стена. Потому и сволочь, что стоит за воротами, боится сунуться сюда, — и он махнул рукой к воротам, и все оглянулись. — Пусть они сунутся, — знают, что разобьют башку о кирпичную стенку. Пусть пулей снимут меня отсюда — одна щербина дырки не сделает. Пусть ружейным свинцом заткнут мне глотку, пусть прохвост разобьет камнем голову! Товарищи! Все мы в грязи, втоптаны ногами этой сволочи в грязь, дух нам забили, грязью залепили рот... Надо встать во весь рост, и пусть падут все, все до единого — за наше право, за наше счастье. Не вытерпели котельщики, слава котельщикам!

И гул, гул, которого не мог понять Филипп, — радость? угроза? — гул прошел по головам, а бледный кричал:

— Слава котельщикам! Не дали...

— Урра! — послышалось Филиппу.

— Пусть раскроют пасть все тюрьмы, — рвался над гулом голос оратора.

— Га-а-а! — поднималось в толпе.

— Пусть бьют штыки, воют пули, — крикнул поверх голов оратор.

Вздернул вверх головой, сердито, с вызовом. Гул шел сильней, сильней, с воем, и вдруг от угла, от прохода, через весь

рев, сквозь ветер, стал слышен мерный крик... Головы скосило туда, к углу, как повернуло ветром, и сразу стало слышно, как густо пели голоса:

Нас еще судьбы безвестные жду-ут!
На бой кровавый, святой и правый...

А бледный все еще стоял струной на котле. И только, когда песня победила, он стал сползать. И много рук потянулось и приняло его вниз. Он неловко колыхался секунду над толпой в руках людей и утонул в черной массе.

Кто-то стоял на его месте, раскрывал рот и махал руками, но его не слушали, и не было слышно. Песня громче, гуще рубила мотив, настойчивей:

Кровью мы наших врагов обагрим!

И вдруг свист в проходе, вскрики. Свист ударил дружней, свистело много, не один человек. Филипп тискался, вертелся средь струи людей, рвался туда. Он еле пробился туда, куда все смотрят, еле узнал, на кого смотрят, казалось — не на кого. И вдруг сразу наткнулся глазом на бледное лицо. Кто? Сразу не узнал. Игнатыч стоял среди толпы и, видно, ничего не говорил, а только шевелил ртом. Филипп видел, что людям сильней не свистнуть, что сейчас, сию минуту, перестанут свистеть, а начнут делать.

И кто-то рядом крикнул:

— Кати, кати, шаром кати пузатого! — И молодой парнишка сунулся вперед. — На пузо клади, кати!

Игнатыч поймал глазами Фильку, он моргал, как будто глотал глазами свет, и задыхался.

«Сейчас повалят — и пропало!» — подумал Филипп. Он стал рядом с Игнатычем и поднял, вытянул вверх руку.

— Дураки! — заорал Филипп. — Разве так? Тачку давай, тачку.

— Тачку! Тачку! — пошло по толпе. Где-то загремели, забрякали колеса, и вот раздались люди, и протиснулась железная тачка, на которой возили стружку, мусор.

— Полезай! — крикнул Филипп.

Игнатыч стоял. Он вдруг нахмурился, побагровел и, гребя рукой, сделал шаг, два, головой вперед, и вдруг стал. Стал, задыхаясь, кровь отлила от лица, и он поднимал и опускал брови. Руки обвисли.

— Грузи! — крикнули рядом. — Гой! Га! — И снова свист в три свиста, и руки схватили Игнатыча, подняли, и он неловко сполз спиной в пологий кузов тачки.

— Урра-а! — Игнатыча повезли.

Песня еще шагала над толпой, но уж перекрывали крики:

— За ворота! На весы кати! Ворота! Ворота!

Видно было через окна, как в конторе метались люди.

Игнатыч, лежа на спине, неловко согнув ноги, не шевелясь, глядел серым лицом в небо, в мутное, и, как по неживому лицу, била острая крупа.

У ворот шла возня. Отпирали.

Папиросы «Молочные»

ВИКТОР подходил к участку. Он нагнул лицо, чтоб не била по щекам холодная крупа. Она звонко стукала по козырьку фуражки, как по стеклам вагона.

И вдруг впереди гул — стадом затопали ноги. Виктор глянул: из ворот вывалились черным комом городовые, на быстром ходу строились на улице, вчерашний дежурный рысью догонял их, городовые зашагали, обгоняя ногой ногу.

Еще повалили бегом вдогонку. Виктор бросился рысью — сами понесли ноги.

— Когда являетесь, черт вас знает!

Пристав орал с крыльца, красный, в расстегнутой шинели. Виктор бросился по лестнице. В участке ходили городовые в шинелях, хлопали двери, и у телефона кричал помощник пристава. И из-под черных деревянных усов деревянные слова били в трубку:

— Да. Двинем ррезерв! Делаем... Рра-спа-рядился.

Он скосил черные глаза на Вавича. Дверь хлопнула с разлета. Запыхавшись, валил пристав. Он оттолкнул плечом Вавича, вырвал телефонную трубку у помощника. Помощник зло глянул на Виктора. Виктор стоял, не знал, что делать. Он не знал даже, в какую позу сейчас встать, и готовно вытянулся. Пристав досадливо, нетерпеливо работал телефонной ручкой.

— Восьмой донской! Вось-мой! Черт тебя раздери, дура. — Он топал ногой и тряс старой головой. — Скорей!.. Ах, стерва!.. Передайте есаулу, чтоб на рысях... Давно?.. Передайте, что прошу, пошлите вестового, чтоб скорей. Прошу!.. Прошу!.. К чертовой матери — вы отвечаете!

Пристав бросил трубку, она закачалась, стукнула в стенку.

— А, сволочи! — он глянул на Вавича. — Торчит тут козлом! Стой у дверей, никого не пускать. Всех к черту!

Пристав завернул злую матерщину. Он стоял, запыхавшись, и водил глазами по пустой канцелярии. Помощник осторожно повесил трубку на крюк. И сейчас же раздался звонок.

— Вас! — крикнул помощник и пригласительно направил трубку на пристава.

— Кого еще, черт? Слушаю! — зло рявкнул пристав в телефон. И вдруг весь почтительно обтаял. Он заулыбался прокуренными усами. — Так точно, ваше превосходительство, маленькие неприятности. Кто-с?.. Так точно, Варвара Андреевна... Служит, служит, как же... Виктор... да-с, Виктор, — и вдруг пристав шагнул к Вавичу: — Как по батюшке? Вас, вас! Ну!

— Всеволодыч! — крикнул Виктор.

— Виктор Всеволодович, да, да-с... Очень, очень... Слушаю!.. Честь имею!..

Пристав повесил трубку и еще с той же улыбкой обратился к помощнику:

— Патроны выданы? — сказал все так же ласково. И вдруг перевел дух, широко открыл веки: — Вплоть до применения. Если флаг, черти, выкинут, — к дьяволу, чтоб никуда! Хождений... Я говорю, — а ни в зуб!

— Конечно, если уж хождения, — сказал обиженно черный помощник и даже головой повел в правый угол.

— И если флаг, флаг выкинут, — значит это что? Что это значит? — И пристав, красный, поворачивался то к помощнику, то к Вавичу: — Что это значит? Ну? Ну?

Виктор сочувственно мигал, не знал, как выразить, что понимает натугу пристава.

— Да что значит, — сказал помощник, — тут уж донцы.

— Значит, значит, вызов, вызов это значит. Значит, сами вызывают. Боевой флаг. А уж бой так бой. Я уж не знаю... коли бой... — Он вдруг устало перевел дух. — Дай папироску, черт с тобой, дай, — протянул руку помощнику.

Виктор мигом завернул рукой в карман и без слов протянул открытый портсигар приставу.

— Дрянь у тебя, должно быть, — страдальчески сморщился пристав и остановил пальцы над папиросами.

— Пожалуйте-с, «Молочные», — помощник щелкнул крышкой массивного серебряного портсигара. Портсигар —

как ларец, и синим шелковым хвостом опускался фитиль с узлом и кистью.

Пристав взял у помощника. Виктор потянул свой назад.

— Дай, я и твоих возьму, Бог с тобой, — и пристав толстыми пальцами скреб в Викторовом портсигаре: то захватывал десяток, то оставлял в пальцах пару.

Телефон позвонил, и помощник уж слушал. А пристав еще рылся в маленьком портсигаре Вавича: набирал и пускал.

— Началось! — бросил помощник от телефона. Пристав, схватив десяток папирос, замер, подняв тяжелую грудь. У Виктора дрогнул портсигар в руке.

— Все во дворе... — говорил полушепотом помощник, — агитаторов слушают... похоже — выйдут... Меры приняты! — крикнул в трубку, как деревянным молотком стукнул, помощник.

— Голубчик, туда! — со стоном крикнул пристав.

— Вплоть до применения? — спросил помощник и твердо упер черные большие глаза в пристава.

— Где же эта сволочь? — кинулся к окну пристав.

— Если казаков не будет, — сказал помощник, — то применять?

— Что хотите, — крикнул пристав, — но чтоб хождений и флагов этих ни-ни!

— Слушаю, — сказал помощник.

— Этого тоже возьмите. В засаду, что ли, возьмите. Он хорош, ей-богу, хорош, — и пристав толкал Вавича в лопатку, толкал дружески, бережно: — Возьмите!

Вавич побежал по лестнице вслед за помощником пристава, а сам старик с лестницы кричал вслед:

— Мои санки берите! Пролетку! То бишь санки! Да, да! — санки.

Когда свернули за угол, — с раскатом, с лётом, — помощник сказал Вавичу в ухо, деревянно, как в телефон:

— У Суматохиной во дворе двадцать из резерва, в засаде. Кто бежит с площади — врываться в цепь и гнать к Суматохиной во двор. Потом в часть. Карасей отсеем, осетров на стол.

— Слушаю, — сказал Вавич, нахмурился для серьезу и вдруг оглянулся. Оглянулся на шум. Шум частых, острых ног, легких и звонких. Серым табунчиком шла в улице полусотня казаков. Легонькие лошадки семенили ножками. Над ними из-под синих фуражек, из-под красных околышей торчали лихие чубы русым загибом. Казаки шли рысью. У ворот стояли бабы, глядели на казаков, выпучив испуганные глаза. Некоторые крестились.

Какой-то мальчишка завыл и бросился бегом вдоль по улице. Хлопали калитки, и в окнах мутно белели бледные лица.

Помощник дернул за пояс кучера. Санки стали. Впереди казаков офицер поднялся на стременах и винтом вывернулся назад, поднял вверх руку с нагайкой. Казаки остановились. Бойкой рысью хорунжий подъехал к санкам, нагнулся. Помощник встал.

— Направо в переулке станьте. Я пошлю, и тогда уж действие ваше.

Санки тронули.

На лету помощник обернулся назад и махнул рукой в переулок.

Уже видна стала огромная площадь перед заводом, белая, снежная, и заводская труба на сером небе, без дыма, и, казалось, криво неслась в небе на хмурых облаках. За два дома до площади помощник кивнул на ворота и сказал:

— Здесь, и не зевать!

Виктор выскочил. Сердце билось. Он стукнул в калитку. Оторвалась щелка, в ней, прищурясь, стоял городовой, — увидал и распахнул.

И опять на Виктора глянули из окон бледные лица, испуг бродил по ним: полуоткрытые рты и зыбкие брови высоко на белом лбу.

Виктор огляделся. Двор был пуст, и только в дверях дальнего флигеля Виктор заметил черную шинель.

— Двадцать вас? — спросил Виктор городового. — Старшего ко мне!

И грудь высоко задышала.

В заводском дворе все еще возились около ворот. Толпа напирала.

— Зубило, давай зубило! Кувалдой бей!

И действительно, через минуту сквозь гул толпы звезданула кувалда, и крикнуло, заохало железо. Над головами торчал толстый, как бревно, рукав тулупа, — сторож поднял ключ и пробивался. Его оттерли, и он болтал в воздухе ключом. Вся толпа примолкла, все сжали зубы и слушали, как зло садила кувалда. И вдруг зазвенело, покатилось и взорвало голоса. Ворота раскатились в стороны, и с гулом повалила густая толпа. Мальчишки выбежали вперед, и следом выкатилась тачка. Люди держались рукой за борта и не чувствовали усилия, — казалось, тачка ехала сама, сама их вела вперед, мягко подскакивала по снежным кочкам.

Марш, марш вперед,
Рабочий народ... —

едва слышен был шум песни за гомоном голов. И вдруг из переулка, с той стороны площади: рысак и легкие санки бойко, размашисто катили прямо к толпе. Полицейский с черными твердыми усами подкатил, завернул и стал поперек хода толпы в десяти саженях.

Шум замирал, пока он ехал, и на мгновение замер, когда стала лошадь, только песня стала слышней.

Полицейский встал в санях. Нахмурил черные, как накрашенные, брови. Он поднял руку и крикнул раздельно, как команду:

— Ребята! рразззайдись мирно по домам. Зачем безззобразие!

И тут свист неистовый дунул, как с земли поднялся, и закружился вихрем. И, будто поднятый свистом, полетел из толпы снежный ком и ударил в лошадь, рассыпался. Другой, и вдруг замелькали в воздухе белые комья. Полицейский закрылся локтем, санки дернулись, круто завернули и помчали прочь под свист и гогот.

А песня пошла бойчей, чаще и дальше, дальше двинулся народ. Пели все, и вдруг все оглянулись: среди толпы, над голосами, ярко вспыхнул красный флаг и заполоскал огненным языком на морозном ветру.

Толпа уж залила полплощади.

И вот черная кучка городовых выступила из переулка, стала растягиваться в цепь, и еще вывалило черное из-за угла. Жиденькая ленточка против плотной, ярой толпы, и толпа дружным ревом всполохнулась, двинула быстрей... И вдруг выстрел, револьверный выстрел, жалкий, будто откупорили бутылку, — его слышали только в первых рядах, — выстрел из толпы. Раз и два: «Пам, пам!»

И тут, как хлестнуло что по всей толпе, — толпа стала, шатнулась: из проулка, прямо напротив, вылетели казаки.

Они раскинулись вмиг, как захлестнули толпу, на скаку — и видно было — без удержа, без времени, они мигом повернули лошадей и полным махом полетели на людей, как в открытое поле.

Голоса оборвались. Было мгновение тишины. И вот нечеловеческий вой поднялся к небу, как взвыла земля. Передние метнулись, легли наземь, закрыв руками головы, закрыли глаза. Лошади врезались с маху в толпу, стоптали первых, сбили грудью,

и казаки, скривив губы, стали остервенело наотмашь молотить нагайками, не глядя, по головам, по плечам, по вздетым рукам.

Флаг зашатался в судороге, в страхе. Покосился и упал в толпу. Люди рвались, топтали, сбивали друг друга и выли, и вопль ярил казаков. Люди бежали через площадь, закрыв голову руками, не глядя, не видя, не зная, что кровь бежит из рассеченной головы, бежали прямо на городовых, бежали в топкий пруд, губы бились, и лай выходил из горла, дробный лай, как плач.

Виктор из окна второго этажа, из квартиры Суматохиной, глядел на площадь. Он слышал, как ахнула за плечом Суматохина.

— Ой, пошли! Ой, все разнесут!

— Не беспокойтесь, — сказал обрывисто Виктор, не спуская глаз с площади, — полиция на посту... не допустим.

— Господи, Господи, — шаркала туфлями Суматохина, — ох, понесло их! Бунт открылся, — и всхлипнула. Виктор сорвался к дверям. — Спасители наши! Господи милостивый! — Виктор скатился с деревянной лесенки и слышал, как следом звякнула крюком, защелкала задвижкой Суматохина.

— Все ко мне! — сказал на весь двор Виктор, и из дверей со всего двора вышли городовые. Отдувались, бросали цигарки, лица посерели. Они кучей стали у ворот.

— Стройся! — скомандовал Виктор.

Городовые нехотя стали в неровный ряд. Караульный глядел в улицу, высунувшись из калитки. Виктор, запыхавшись, отдернул городового и сам глянул на улицу. Он видел черную толпу на белом снегу и алый флаг, и сердце билось, рвало грудь. Мимо, по мосткам, пробежал городовой, и через минуту затопала спешно конница, закрыла улицу, площадь, и следом вой, и вот-вот оголтелые шаги, топот по улице. Люди без памяти бежали по проулку. Человек пять. Растрепанные, как без глаз. Падали, бежали на коленках и, спотыкаясь, вскакивали.

— Караул, вон! — крикнул Виктор.

Городовые сразу не поняли, а Виктор стоял весь красный, распахнув настежь калитку. Городовые, толкаясь, бросились на улицу.

— В цепь! Держи! — кричал Вавич. — Сюда, во двор.

Люди не сопротивлялись, они вбирали голову в плечи, их толкали в калитку.

Старший городовой поставил четверых стеречь людей во дворе, он не глядел, не спрашивал Виктора.

Еще, еще бегут. Большой человек тяжело бежал, мотал разбитой в кровь головой.

— Стой! — крикнул городовой и ножнами замахнулся на человека.

Человек вдруг остановился и глянул мутными глазами на городового, и вдруг как молния прошла по лицу — как дрогнуло все лицо, — и человек махнул всем огромным телом и, как бревном, стукнул кулаком: городовой споткнулся и лег ничком в снег. А человек повернулся и ломовой рысью затопал дальше.

— Держи! — закричал Вавич и не узнал дикого голоса. Двое городовых сорвались вслед. И тут же пробежало в заминке еще и еще, и Виктор схватил, сам схватил за плечо одного.

— Брось! — сказал в лицо Виктору этот человек.

Виктор цепко держал его за рукав тужурки.

— Брось, говорю! — полушепотом сказал рабочий и глянул Виктору в глаза — ненавистно, приказательно. На минуту ослабла у Виктора рука, и рабочий вывернул плечо, и пошел, пошел, не побежал.

— Этого, этого! — крикнул Виктор. Рабочий ускорил шаг. — Стой, сволочь! — Виктор бежал, сжав зубы.

Двое городовых бросились следом.

— Держи!

Рабочий стал, обернулся.

— Чего надо? — крикнул зло.

Городовые кинулись. Рванули, с треском рвалась тужурка, — рабочий вырывался, хотел вывернуться из одежи. Виктор вцепился в блузу и тряс, тряс рабочего, — у Виктора скривились губы, и слезы выступили на глазах, и он все тряс, тряс человека.

— Иди! Иди, сволочь, когда говорят! Когда говорят! — повторял Виктор.

— Да я... по своему делу... здесь живу... — говорил рабочий. — Обалдел, что ли?

— Когда говорят!.. когда говорят!.. — твердил, задыхаясь, Виктор и тряс, что есть силы, закрутив блузу на кулак.

— В часть его прямо? — подбежал старший.

— В часть!.. когда говорят! — сказал, захлебнулся, Виктор.

Двое городовых за руки повели человека. Виктору хотелось догнать и ударить его с размаху — ярость осталась в руке. Он побежал вдогонку, чтоб что-нибудь, чтоб хоть распорядиться. Крикнуть зло. И вдруг от домов отбежала женщина. Босая, выбежала на снег. Она вприпрыжку спешила по мосткам за арестованным.

И Виктор услышал, как запавшим голосом приговаривала женщина:

— Ой, Филя, родненький! Ой, родненький же мой!

Виктор видел, как рабочий резко мотнул ей головой, и она стала на снегу.

Виктор поровнялся. Женщина не видала его, смотрела вслед городовым.

Виктор стоял секунду.

— Если не виновен, то ничего не будет, — сорвавшимся голосом сказал Виктор. — А что ж босиком...

Женщина глянула на него глазами во всю ширь — пустыми, сквозными. Вдруг заревела и опрометью бросилась прочь.

Виктор шел назад, колени слегка подрагивали. Издали увидал черные деревянные усы помощника.

— У вас уж полон двор! — говорил он на всю улицу. — Выводи! — скомандовал он городовым, они все на него смотрели. — По одному! Считай! Закурим, — вполголоса обратился он к Виктору.

Виктор совался по карманам, хватал и выпускал портсигар — не узнавала рука.

— Пожалуйте, «Молочные», — помощник твердой рукой протянул большой портсигар.

Папироса тряслась в губах у Вавича, а помощник спокойной рукой старался прижечь ее горячим концом своей папиросы.

Стоптанные люди чернели на снегу площади, и большая железная тачка, с глубоким серым кузовом, осталась посреди пустоты перед заводом. Невдалеке валялся втоптанный в снег красный флаг.

Помощник пристава спешно шел с двумя городовыми.

Он поднял флаг, стряхнул и секунду глядел, держа перед собой. Хмуро глядели городовые.

— Убери, как есть! — и помощник сунул флаг городовому.

— Человек там, ваше высокородие, — другой городовой шел от тачки.

— Спрятался? — и помощник, насупясь, решительно зашагал к тачке.

Он заглянул через борт и увидал серое, пухлое лицо. Игнатыч бессмысленно моргал правым глазом и мычал.

— Ты... кто же? — спросил помощник.

От завода через площадь бежали люди, в пиджаках, в барашковых шапках пирожком, и махали издали руками.

— Конторские, — сказал городовой, — ихний, значит, — и отвел глаза от Игнатыча.

Казаки в узком проулке гнали, оцепив, кучу людей. Лошади топали по мосткам, оступались, теснились у самых заборов, отжимали в ворота баб. А бабы голосили, в кривых платочках, раздетые, на морозе, и тянули дети писком. Казаки не глядели, напряженно улыбались и колотили нагайками мелких лошадок, и кричали: «пошел! пошел!» — и люди сбивались и почти бежали.

И вдруг крик, и оглянулась вся улица, повернули на миг головы казаки. Бабий истошный крик последними охами рвал воздух, шатал стены.

— Федьку! Ой! Мальчика моего! Зачем?.. Господи?.. Ироды! Феденьку.

Двое несли за четыре угла на пальто мальчишку. Белое лицо свернулось вбок, и неловко, по-мертвому, завернулась под голову рука в толстом рваном рукаве. Казаки поддали шагу и бегом погнали людей. Хорунжий зло свел брови и поскакал по мосткам вперед.

Шарфик

— ПРЯМО не знаю, как вы один пойдете. Ей-богу, вас еще шатает. — Наденька делала строгие глаза, губами улыбалась, помогала Дуняше напяливать на Башкина пальто. Башкин блаженно щурился и шатался больше, чем шатало. Он никак не мог запахнуться, — заковыривал в петлю пуговку, и она выскакивала, и Башкин слабо хихикал и бросал расхлябанно руку.

— Шарф, шарф! — закричала вдруг Наденька. — Дуняша, мой вязаный.

И Наденька на цыпочках тянулась и обворачивала шею Башкина теплым шарфом. У Башкина губы млели пьяной улыбкой, и он поворачивал шею, — по ней заботливо бегали Наденькины ручки, заправляли шарф.

— Смотрите, не больше пяти минут — здесь, мимо дома, — Наденька погрозила пальчиком, — а то Дуняшу пошлю.

Башкин совсем сощурил глаза от улыбки.

— И с лестницы осторожней, — крикнула Наденька в дверях.

Башкин совсем расслабил ноги и шлепал ими вразброд по ступенькам. Дверь захлопнулась. Башкин шлепнул еще раза два ногами и, перегнувшись через перила, лег животом и поехал вниз.

«Что ж? А мне трудно идти, — весело думал Башкин, — пусть даже увидят. Что такое, скажите!»

И он забарабанил губами, как дети. На улице было тепло, только снег не решался таять, и весенним, мутным, задумчивым стоял в улице воздух. Вдруг, среди зимы, замечталась погода. И воздух обнял Башкина, и Башкин сосредоточенно, осторожно зашагал по панели. Он стал глядеть, как воробей клевал на солнце дымящийся навоз, клевал, оборачиваясь, вертя головкой.

«Вот тоже... — прошептал Башкин задумчиво и не мог придумать, что тоже. — Ничего тоже — пусть клюет», — немного обиделся Башкин и зашагал, наклоняясь на каждом шагу.

Улица бесшумно стояла в теплом облаке. И вдруг в конце, — Башкин плохо видел близорукими глазами, — в конце где-то сбилась у забора кучка. Другая быстро пошла навстречу Башкину. Башкин задышал чаще. Кучка шла за человечком. Человечек с ведерком.

«Я больной, я ни при чем», — рассудительным тоном подумал Башкин, поднял брови и стал к стене.

Человечек не дошел до Башкина, он стал, и куча народа обвила его со всех сторон. Башкин осторожно зашагал, он слышал гул людей, и в гуле была тревога, высокой нотой билась тревога над толпой людей.

Человечек наклеил на стене белую бумагу и стал выбиваться прочь. И невнятный шум голосов читал, как молитву, вслух, не в лад, читал и выкрикивал слова, все громче, громче. Башкин протиснулся и, перегнувшись длинным телом через людей, увидал большие четкие буквы: «Высочайший манифест».

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ
БОЖІЕЮ ПОСПѢШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТЬЮ,
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Московскій, Кіевскій, Владимирскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсонеса Таврическаго, Царь Грузинскій, Государь Псковскій и Великий Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій; Подольскій и Финляндскій; Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, Тверской, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иных Государь и Великій Князь Новаграда, Низовскія земли,

Черниговскій, Рязанскій, Полотскій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всѣя Сѣверныя страны Повелитель; и Государь Иверскій, Карталинскій и Кабардинскія земли и области Арменскія; Черкасских и Горских Князей и иных Наслѣдный Государь и Обладатель; Государь Туркестанскій, Наслъдник Норвежскій, Герцог Шлезвиг-Голстинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій и прочая, и прочая и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ:

Въ заботахъ о сохраненіи дорогого сердцу Нашему мира, Нами были приложены всѣ усилія для упроченія спокойствія на Дальнемъ Востокѣ. Въ сихъ миролюбивыхъ цѣлях Мы изъявили согласіе на предложенный Японскимъ Правительствомъ пересмотръ существовавшихъ между обѣими Имперіями соглашеній по Корейскимъ дѣламъ. Возбужденные по сему предмету переговоры не были однако приведены къ окончанію, и Японія, не выждавъ даже полученія послѣднихъ отвѣтныхъ предложеній Правительства Нашего, известила о прекращеніи переговоровъ и разрывѣ дипломатическихъ сношеній съ Россіею.

Не предувѣдомивъ о томъ, что перерывъ таковыхъ сношеній знаменуетъ собою открытіе военныхъ дѣйствій, Японское Правительство отдало приказъ своимъ миноносцамъ внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внѣшнемъ рейдѣ крѣпости Портъ-Артура.

По полученіи о семъ донесенія Намѣстника Нашего на Дальнемъ Востокѣ, Мы тотчасъ же повелѣли вооруженною силою отвѣтить на вызовъ Японіи.

Объявляя о таковомъ решеніи Нашемъ, Мы съ непоколебимою вѣрою на помощь Всевышняго, и въ твердомъ упованіи на единодушную готовность всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ встать вмѣстѣ съ Нами на защиту Отечества, призываемъ благословеніе Божіе на доблестныя Наши войска арміи и флота.

Данъ въ Санктъ-Петербургѣ въ двадцать седьмый день Января въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четвертое, Царствованія же Нашего въ десятое.

На подлинномъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

НИКОЛАЙ.

Из домов напротив подбегал народ, без шапок, придерживая на груди одежду. Запыхавшись, совались, протирались сквозь толпу. Башкин глянул: кучками, толпами взлохматилась улица, и говор рос и бился между домами, — и Башкин не мог расслышать, тревога или радость билась в голосах.

Извозчик слез с козел и, подняв по-бабьи полы, затопотал тяжелыми ногами через тротуар.

— Нет, верно, ребята, война? А?— Все оглянулись на мужицкий голос. Башкин тоже оглянулся. Он улыбался и думал, что б такое сказать для всех, веселое что-нибудь. И вдруг он заметил в толпе человека в суконной фуражке, — он глядел прямо на Башкина, подняв брови, широко растопырив веки, и приказательно мотал головой вбок, манил на сторону.

«Нахальный дурак какой», — подумал Башкин, а под грудью екнуло, забилось, и он против воли глядел на глупое лицо и шагал к нему, весь в поту от волнения.

— Пойдем-ка, что скажу, — кивал человек и шел в сторону, и Башкин шел, шел за ним.

— Сесов? — и человек едко глянул в глаза.

Башкин не сразу понял слово, но понял, что это оттуда, и стало сухо во рту, в горле.

— Иди являться.

— Я знаю, — хрипло сказал Башкин обиженным голосом, — я знаю, я приду.

— Сейчас, сейчас пошел со мной. Шляется, а тама ждут. Пошел со мной — и квит. Пошел вперед, — и человек придержал шаг. — Куда, куда? Налево ворочай.

И Башкин шел впереди и поворачивал, куда приказывал голос сзади. Он шагал, тяжело переводя дух, и не оборачивался, как будто палкой подпихивали его вперед шаги человека сзади.

— Налево, в ворота! Не знаешь?

Им отворили. Человек все шел сзади, теперь уж совсем по пятам, и Башкин взял по двору направо, в ту самую дверь, куда прошел в первый раз с городовым. И по знакомой лестнице, по тем же ступеням, зашагал наверх.

— Как пройти, знаешь? — окликнул снизу человек. — А то провожу, — и человек заспешил, догнал и повернул дверь-зеркало на площадке.

Башкин чувствовал, что был весь красный, горело кровью все лицо. Сердце рвалось, и казалось Башкину, что он только

и несет одно сердце, а оно одно без него живет и мечется в груди, как в клетке. Он ничего не видел по сторонам, но без ошибки схватил ручку двери.

— Стой! Куда! — крикнул жандарм из конца коридора и зазвонил шпорами, побежал. Дверь не поддавалась, жандарм отдирал руку, дверь тряслась, дрожала.

— Пошел вон... пошел, пошел, — задыхаясь, выкрикивал Башкин.

Дверь открылась, и Башкин чуть не упал. Жандарм поддержал. В дверях стоял ротмистр, ротмистр Рейендорф, блестел пуговками.

— Что, что тут такое? А, Семен Петрович! Пожалуйте! — стал сбоку, шаркнул и сделал ручкой. — Вы бы разделись... Прими! — кивнул жандарму. И жандарм стянул с Башкина пальто, и Башкин цепкими пальцами впился в концы шарфа.

— Калоши скиньте, — сказал вполголоса жандарм. Башкин с трудом поднимал ноги.

— Присаживайтесь, — ротмистр даже подтолкнул навстречу кресло. — Слушайте! Что ж вы нас томите? Мы ж вас ждем!

— Я болен, был болен, — выдыхал Башкин. Он прижимал к груди концы шарфа. — Сейчас еще болен... Я не могу, не могу...

— Надеюсь, вам не плохо было? — ротмистр наклонился заботливо. — Ведь они люди состоятельные и, кажется, очень гостеприимные. Даже, пожалуй, чересчур? А? Как вы находите? Не чересчур ли?

— Не знаю, не знаю. — Башкин мотал головой. Он прикусил складку шарфа и крепко сжал зубы.

— Ну как же не знаете? Позвольте, ведь вы гениально устроились. В самом выгодном положении. Я прямо был восхищен, когда мне доложили. Прямо блестящая идея. Простите мне, но я даже думал, что и болезнь — ваше изобретение.

— Мм! — застонал Башкин сквозь зубы и затряс головой.

— Но у вас, оказывается, действительно случилось воспаление... обоих легких. Так ведь?

Башкин, пригнувшись к коленям, глядел в пол, молчал. Он чувствовал, как сверху глядит ему в темя ротмистр, даже чувствовал место, куда нажали металлические глаза — белые, блестящие, как серебряные пуговки.

— Так слушайте, нам ведь многое уже известно. Ведь вы же понимаете, что такой дом мы не можем оставить без наблюдения. И вот теперь нам надо приступить к действиям. Ну, та же

самая проблема, о которой мы тогда с вами беседовали. Вспоминаете? Что? Нет?

Башкин мотал головой.

— Ведь вам же, надеюсь, дороги эти люди, хотя бы та же Анна Григорьевна, скажем, или эта... Надежда... Надежда, кажется? Не ошибаюсь?.. Ведь вы должны тут нам дать нити, чтобы не совершилось жестокой несправедливости. Вот как — надо уж покаяться — произошло с вами.

Башкин поднял глаза. Все еще держа шарф в зубах, он глядел на ротмистра во всю ширь, во ве́сь мах взгляда. Ротмистр замолк. Слышно было, как шумно дышал через нос Башкин. Ротмистр нахмурился. Губы искривились гадливо, и слышным шепотом ротмистр произнес: «Болван!»

— Видите, — начал ротмистр глухим голосом. Он, прищурясь, глядел в стену над Башкиным. — Видите, сейчас объявлена война. Так что нам не! до! шу-ток! и миндальничать нам преступ-но. О вас будет разговор другой, у нас есть ваша подписка, господин Эсесов! А тут, с ними, — он вдруг ударил взглядом в глаза Башкину и круто завернул слова, — отррубим без рразборра!

Башкин откинулся на спинку кресла, опустил голову, глядел в пол и жевал шарфик.

— Так вот, пожалуйста: нам надо бить в корень. Можете мне поверить, что мы не станем бить стекла, если можем войти в дверь. Вот эту дверь вы нам и помогите найти. Ну-с?



КНИГА ВТОРАЯ

Themistocles

«“THEMISTOCLES Neocli filius Atheniensis” — замечательно, как понятно!» — думал Коля под одеялом и — простыня чистая, скользкая — поерзал ногами.

«Themistocles — Фемистокл, Neocli — Неокла, filius — сын, Atheniensis — значит афинянин. Завтра вызовут, и аккуратным голосом начну: Themistocles Neocli filius — прямо как по-русски. Ужасно хороший язык!»

Коля перекрестился под простыней, с радостью, с уютом, как в домике. Поглядел на образ, завернул назад голову. Высоко в углу еще поблескивало из полутьмы золото, и Бог какой милый — и показалось, что дремлет в углу. Нет, все равно все видит: так, опустил веки и все-таки вниз в щелку все видит. И знает, что Коля писал в углу на стенке карандашиком стишки такие... глупостные. И стихи отбились в памяти и застучали в ногу, как солдаты. Раз, и снова и снова.

Коля потерся головой о подушку — и вот это слышит, слышит Бог. И за грехи накажет, и нельзя вытряхнуть из головы стихов, это они сами, сами. А вдруг мама умрет. Сейчас вот шуршит новым коленкором, и видно, как мелькает на светлой щелке от дверей — шьет. Живая — шьет. Пока еще живая, и вдруг — и вот треплешь за руку: «Мама, мамочка, милая, ну, милая, миленькая, родная» — и у Коли навернулись слезы и застыло дыхание в груди. Рвать, рвать за руку, и она молчит,

как ни зови; плакать, биться в нее головой: «Мулинька, — сказать, — миленькая мулинька!»

— Мулинька! — задел вдруг голосом Коля.

Стул двинула и с белым коленкором вбежала и распахнула за собой свет из столовой:

— Что ты, что ты? — и наклонилась.

Коля жал к себе голову, мамины волосы, судорогой, со всей силы, а мама держала неловко, на отлете руку.

— Не уколись!

А Коля давил губами мамино ухо и шептал:

— Мамочка, милая, не умирай, ни за что, никогда! Я не знаю, что сделаю, не умирай только, мамочка! Пожалуйста! — Коля прижал мокрое лицо и замер. Шептал неслышно: — Не смей! Не смей! Не смей!

Заклинал.

— Больно, задушишь! Не сходи с ума, — высвободила голову, — не умру. Хочешь, чтоб не умерла, — ложись и спи, — и целовала в мокрые глаза.

А когда снова села на стул под лампу, ворохом нескладным встали мысли над головой и два раза наколола палец.

А Коля в темноте сжал, как от боли, зубы и шептал с мольбой и угрозой:.

— Дай, дай же, чтоб не умирала... никогда! Дай, Господи, говорю, чтоб никогда, никогда.

Сжал крепко веки, чтобы придавить, прищемить свое заклятье, и темно-синие пятна заплавали в глазах.

И вдруг проснулся: там за дверью отец говорил сдавленным голосом, хриплым шепотом:

— Я ж тебе говорю, говорю, говорю: невозможно! Как же, к черту, я не передам? Ведь говорю же тебе: свои, свои, наши, телеграфные. Питер мне стукает, я же на слух принимаю.

Мать зашептала, не разобрать.

Коля весь вытянулся, сердце сразу заколотилось, умерли ноги, а шея натянулась, вся туда к двери.

Мама шепчет, шепчет, скоро, торопливо. Вдруг отец по столу — охнула посуда — Коля не дышал.

— У других не один, а пятеро ребят. Невозможно! Понимаешь! Сказано: не передавать, кроме своих! Да, да, и буду!.. А будет, будет, что всем, то и мне будет. Сегодня было В. П. Да, да, мне вот, сейчас ночью. Знаешь В. П.? Давай, значит, прямой

провод — высочайший приказ. В. П. давай Тифлис... Чего тише? Все равно. Да, да, и шиш, шиш дал. Ну, вот, реви, пожалуйста. Реви, реви!

Мама всхлипывала, папа мешал в стакане. Все мешал скорей и скорей. Вдруг двинул стулом, шагнул, распахнул двери, вошел и волок ногой мамино шитье белое, стал шарить на столе.

— Расстреляют! — всхлипнула мама.

Коля дернулся, затряслась губа и заикнулся, весь толкнулся от этого слова, от маминого голоса.

— И к черту! — крикнул папа во весь голос в двери. Стал закрывать двери и швырнул ногой в столовую белое шитье. Лег, заскрипел кроватью, зло заскрипел, показалось Коле. Еще поворочался. Чиркал, чиркал спички, ломал. Закурил. И при спичке Коля увидел лицо отца, как из тяжелого камня, и пегая отцовская борода будто еще жестче — из железной проволоки. Стало тихо, и слышно было, как мама плакала, как икала.

Коле хотелось встать, пойти к маме, но не смел. Раздувался огонек, и отец дышал дымом.

— Вася, Вася, Васечка! — около самих дверей перебойчатым голосом, жалобным таким, сказала мама.

«Неужели папа...» — подумал Коля и дернулся на кровати навстречу голосу. Но папа уж вскочил, уж отворил двери.

— Ну, Глаша, ну, ей-богу, ну что же в самом деле?

А мама вцепилась в плечо, ухватилась за подтяжку, цепко, ногтями и тычется головой.

Папа одной рукой держит, а другой повернул выключатель. Коля сидел уж на кровати и глядел и шептал то, что папе надо говорить.

Сели на кровать.

— Ну как тебе объяснить? — говорит папа. — Ну все, все же; я ж тебе говорю: завтра конки станут, а послезавтра лавки закроются — ну все, все люди! — и папа уже обращался к Коле.

И Коля мотал утвердительно головой, чтоб мама скорей поверила и перестала плакать.

— Ведь вот ребенок же понимает.

Мама заплаканными глазами глянула на Колю, глянула как девочка, с вопросом, с охотой верить, будто он старше, и Коля закивал головой.

— А спросят, скажу: как все, так и я. Нельзя же весь народ перетопить! Это никакого, знаешь, моря не хватит, — и папа даже засмеялся.

И мама сквозь слезы старалась улыбнуться, все держась за папин рукав. Коля со всей силы весело сказал:

— Ну да, не хватит!

— Спи ты! — сказала мама и махнула на Колю рукой. Коля мигом лег: быстро и форменно, руку под щеку. — Ну не дури! — и уже улыбка у мамы в голосе.

«Слава Богу, слава Богу», — думал Коля и жмурил глаза и задышал, как будто вылез из-под воды.

Семга

ПЕРВЫЙ раз это было давно, в первую же субботу, как только Виктор получил околоток. Виктор шел мимо домов, как по своему хозяйству, и строго заглядывал в каждые ворота. Дворники стряхивали с запревших голов тяжелые шапки и держали их на горсти, как горшок с кашей. И пар шел из шапок. Виктор оглядывал каждого и едва кивал. Сам попробовал замок на дверях казенки. Зашел в гастрономический магазин. Электричество чертовское, кафельные стенки, мраморные прилавки, дамы суетятся и с игрушечной лопаточки пробуют икру. Полусаженные рыбины лоснятся красным обрезом. Дамы косили глаза на Виктора. Вот сняла перчатку и мизинчиком, ноготком отчерпнула масла, пробует, а приказчик, пузатый шельма, в глаза смотрит и уговаривает.

«А если всучает гниль всякую? А они, голубушки, берут. Вот как торопится увернуть, подлец. Чтоб не опомнилась».

— Что это ты заворачиваешь? — покрыл все голоса Виктор.

Все оглянулись. У приказчика стали руки.

— Колбасу-с.

— Которую? Покажи! Пардон, сударыня, — и Виктор протиснулся к прилавку. — Гниль, может быть, всякую суете... жителям... города.

Виктор, не жалея перчаток, взял колбасу. Поднес, нахмурясь, к носу. В магазине все притихли и смотрели на квартального.

— Отрежь пробу!

— Здесь пробовать будете? — спросил приказчик вполголоса.

— А где же? На улице? — закричал Виктор.

Приказчик как вспорхнул с испугу, вскинул локтями: брык! — отмахнул тонкий кружок колбасы, протянул на дрожащем ножике. Виктор, глядя на верхнюю полку, важно сосал ломтик.

— То-то! Смотри мне, — и швырнул за прилавок недоеденную половинку.

И тут же хозяин, бородка, тихий голос:

— Не извольте беспокоиться.

— Позвольте, — и Виктор обернулся вполоборота к публике, — на обязанности наружной полиции, — и покраснел, чувствовал кровь в лице, — на обязанности следить за правильностью торговли. А то ведь такое вдруг, что случаи отравления.

— Справедливо-с, — говорил хозяин и кивал туловищем, — совершенно справедливо, бывают такие случаи, но только не у нас. Товар первосортный! — и хозяин провел рукой над прилавком. — Отведайте, чего прикажете.

И убедительно и покорно говорил хозяин. Уж публика снова загомонила. И Виктор слышал, как будто сказала дама:

— Действительно, если б все так серьезно. И ведь в самом деле бывают случаи.

И Виктор с серьезным видом наклонился над стеклянными вазами, а хозяин приподнимал крышки, как будто шапку снимал перед начальством.

— Семужка. Отведаете?

Виктор кивнул головой. Тонкий ломтик душисто таял во рту.

— Нет, уж у нас, знаете...

Виктор кивал головой.

— А то ведь, — шептал хозяин, — для публики ведь смущенье, помилуйте! За что же скандал делаете?

Виктор глянул на хозяина.

— Слов нет, бывают случаи, — шептал хозяин.

Обиженно вздохнул.

— Семга замечательная, ей-богу, замечательная, — сказал Виктор.

— Плохого не держим, — надуто говорил хозяин. Глядел в сторону и ножиком барабанил по мрамору.

Виктор вынул платок и обтер губы.

— Помещение смотреть будете? — Хозяин уж кивал распорядительно приказчикам: дергал вверх подбородком.

— Нет, уж другой раз.

— Как угодно-с, как угодно-с. А то можно. Как вам время. Очень приятно.

— До свиданья! — Виктор боком кивнул и стал протираться сквозь публику. На дам не глядел.

— Честь имеем. Очень приятно. Очень даже великолепно-с, — говорил вслед хозяин.

«Надо было додержать до конца строгость», — думал Виктор на улице и от досады ступал с размаху. Стукал панель.

«Вышло, будто он меня объехал, — думал Виктор, — все дамы так, наверно, и подумали», — Виктор вынул из кармана свисток.

— Т-р-р-р-рук! — и прикрыл пальцем дырку: благородно, коротко и приказательно.

Городовой сорвался с перекрестка, подбежал, вытянулся.

— Смотри мне. Чтоб в одиннадцать все лавки крыть. Ни минуты мне, без затяжек! — И сам не знал, что кивал свистком на лучезарную витрину, на серебряные колбасы. — Где народу натолклось, предупреди, пусть как хотят там, черт их дери: в одиннадцать — шторы и на замок. Порядок нужен.

— Слушаю, — сказал городовой. — Всех крыть прикажете?

— Всех! — крикнул Виктор. — К чертям собачьим, — сказал Виктор уже на ходу.

Груня к вечеру ждала гостей. Новые знакомые. Все было новое. Новые часы в кухне помахивали маятником, чтобы не стоять на месте, когда все весело суетятся. Груня приседала около духовой, а Фроська держала наготове полотенце: а ну пирожки поспели — вынимать. На полке новые кастрюли, казалось, звенели от блеску. Из духовки горячим ароматом крикнули пирожки.

— Давай! — Груня дернула полотенце, шипела, обжигалась и тащила лист из духовки. — Фрося! Фрося! Фрося!

Фроська махом брякнула табурет. Пирожки лежали ровными рядами и дышали вкусом, сдобным духом.

Груня, красная, присела над горячим листом, замерла — любовалась на пирожки, как на драгоценные камни. Фроська, наклонясь из-за плеча, тянула носом.

В дверь стукнули. Обе дрогнули. И сейчас же незапертая кухонная дверь распахнулась, и шагнул мальчик в белом фартуке поверх тулупчика. На голове доска.

— От Болотова это. Надзиратель здеся живуть?

И мальчик сгрузил доску на стол, снял длинный сверток, увесисто шлепнул сверток об стол.

— Это чего это там? — Груня тыкала пальцем сверток.

— Надзиратель заходили, сказали на дом снесть. Не знаю, как бы не семга.

Груня нюхала: сверток пах морозом, бумагой, приятной покупкой.

— До свиданьице! — мальчик взялся за дверь.

— А сколько следует? — крикнула Груня.

— В расчете-с, — сказал мальчик и улыбнулся лукаво и весело Груне в лицо.

— Пирожочков, пирожочков! — Груня схватила пару пирожков, перебрасывала их из руки в руку и кричала: — Ну скорей! Фартухом, фартухом бери: обожжешься. Как не требуется? Бери! Ой, брошу!

Мальчик, смеясь, подхватил пирожки в передник и бойко выбежал за порог, застукал по ступенькам и с лестницы крикнул:

— Очень вами благодарны!

— На морозе не ешь, простудишься, — крикнула Груня в двери и поспешила к свертку. Не терпели пальцы, срывали бумагу.

Чем богаты

— НИКОГО еще нет? — шепотом спросил Виктор в сенях и обдал горячую Груню свежим воздухом от шинели.

— Никого еще. Подсучи рукав, — Груня держала на отлете масленые руки и подставляла Виктору локоть — красный, довольный, веселый локоть. — Там наставлено! — Груня мотнула головой на дверь и пустилась по коридорчику в кухню.

В столовой на блестящей скатерти хором сияли стаканы, рюмочки, новые ножички. Расчесанная селедка и аккуратной цепочкой кружочки луку. Маринованные грибки, как полированные, крепко глядели из хрустальной мисочки.

Виктор залюбовался. Потушил электричество, зажмурился и снова зажег, чтобы сразу и заново глянуть. Обошел стол, подровнял ножички, вилочки, поправил один грибок, чтоб головкой вверх. Он шатал головой, чтоб блеск бегал, переливался по стеклу, по блюдечкам. Догадался, качнул над столом лампу: он смотрел, а блеск перебегал волной, играл приливом-отливом.

Придвинутые стулья ждали гостей.

Позвонили. Виктор торопливой рукой остановил лампу, побежал встречать.

10—3207

В дверях стоял молодой человек с красным лицом в форменной почтовой фуражке. Фроська, распахнув дверь, держалась за ручку мокрым мизинцем.

— Можно? — и молодой человек лукаво смеялся.

— Пошла, — шепнул Виктор Фроське. — Прошу, — крикнул Виктор и пригласил рукой.

— Проходи, Жуйкин! — крикнул голос сзади, и Жуйкин, споткнувшись о порог, влетел в сени. Другой чиновник, постарше, с поднятым воротником, тщательно закрывал дверь на французский замок. Он запотелыми очками глядел на Вавича.

— Здоровиссимо! Ничего не бачу, хучь дивлюся кризь окуляры! — поднял брови на рябом лице.

— И чего хохлит? — смеялся Жуйкин. — Фамилия Попов, а после кружки пива начинает заламывать.

— Зачем же по дороге-то заходить, господа! — Вавич качал головой. — Ей-богу, обидно, — и стаскивал с гостей пальто. — Пожалуйте, — Виктор едва сдерживал улыбку ожидания.

Попов протирал синим носовым платком очки и щурился на стол:

— Нет, побачь, каких Лукуллов понаставил!

Виктору улыбка рвала губы.

— Чем богаты.

Жуйкин потирал руки и кланялся спиной: столу, стенам. Рыжие волосы редким бобриком блестели от помады, блестел тугой воротничок и пуговки на форменной тужурке.

— А где же изволит хозяюшка? — и Жуйкин опять поклонился и шаркнул слегка.

— Аграфена Петровна просит прощенья, сию минуту, — и Виктор тоже кивнул спиной, как Жуйкин.

Попов теперь уж через очки разглядывал стол, потом пощупал печку, вертел головой, осматривал стены.

— Ты что же, как кредитор, углы обшариваешь? — и Жуйкин фыркнул, как будто вспомнил анекдот.

— Бачу, часов не было, — и Попов тыкал в воздухе пальцем на новые часы. — Ось! ось! — тыкал Попов и слегка приседал в коленях с каждым тыком.

— Простите, момент! — Виктор шаркнул и выскочил в двери. Слышно было из коридора, как он говорил громким шепотом: — Грунюшка, Груня! Пришли ведь. Водку-то хоть сюда подай.

Виктор вернулся с запотевшим графинчиком. Лимонные корочки желтыми мушками плавали поверху.

— Пожалуйста, господа! — и Виктор отодвинул стулья.

— Нет, уж как же без хозяйки, — сказал Жуйкин.

В это время за дверью по коридору легко, торопливо пробежали Грунины шаги. И гости и Виктор улыбнулись в одну улыбку.

— Пока нет дам, — вдруг оживился Попов, — господа, пока без дам, вот один случай; ей-богу, не анекдот.

Все сдвинулись в кучку.

— Понимаете, приходит к доктору один еврей...

Виктор оглянулся на дверь. Попов понизил голос.

— Приходит и, понимаете, говорит: гашпадин доктор! У моей зыны...

Жуйкин хихикнул.

— У моей зыны, — совсем шепотом сказал Попов, — гашпадин доктор, у моей зыны такое...

В это время затопали Грунины каблучки.

— Ну, потом, — замахал рукой Попов, и все расскочились в стороны, глядели на дверь, запрятав плутовство.

Груня прошла мимо.

— Так он говорит, — зашептал со своего места Попов, — у моей говорит, зыны такое, знаете, бывает... — и потряс кулаком, — такое бывает...

И снова Грунины шаги, и распахнулись двери, и красная, запыхавшаяся, в розовом платье с алым бантом, вошла Груня.

Наоборот

ЖУЙКИН сделал пол-оборота на каблуках, шагнул, откинувшись назад, шаркнул в сторону, оттер Попова.

— Сердечной хозяйке душевный привет, — и склонил талию.

Груня весело улыбалась на рыжий бобрик. Жуйкин медленно нес Грунину руку к губам. Попов топтался в очереди.

— Здоровеньки булы! — тряс головой.

Виктор с торжеством и завистью глядел, как прикладывался к ручке Жуйкин.

Потом Попов встряхивал Грунину руку, будто старому товарищу. Не удержался и неловко чмокнул в большой палец.

— Аграфена Петровна, ведь и мы не здоровались.

Виктор шаркнул и поцеловал Груню в ладонь.

— Ну садитесь, садитесь, чего же вы? — и Груня зашуршала платьем к своему месту.

— А як же... — начал Попов, — це вже... закон, одним словом.

— Вы что? — засмеялась Груня. — Тарас Бульба какой!

Жуйкин фыркнул, захлопал в ладоши:

— Расскажу, расскажу! Всем на службе расскажу. Бульба! Садись, Тарас!

— Витя, наливай, — командовала Груня.

— После трудов праведных, — приговаривал Попов.

— Да знаете, сегодня пришлось-таки, — говорил Виктор, аккуратно разливая водку, — представьте: битком народу в колбасной...

— Изыди все нечистое, останься един спирт, — сказал Попов и хлопнул рюмку.

— Ваше здоровье, — поднял рюмку, оборотясь к Груне, Жуйкин.

— Грибочков, — сказала Груня и кивнула Жуйкину.

— Да, — повысил голос Виктор, — битком! Еле протолпился. Ведь надо же знать, чем они там удовлетворяют потребности населения — дрянью, может быть. Иду. «Что здесь, — спрашиваю, — делается? Хозяина сюда!» — «Хозяина?» — «Так точно. Показать все!» — Публика вся на меня. Хозяин: «Не извольте беспокоиться, ваше благородие». — «Знаем, — говорю, — вас!»

— Наливай же, Витя, ждут!

Виктор взялся за графинчик.

— Да... «Знаем, — говорю, — вас. Это у вас колбаса? Пробу! Ветчина? Пробу сюда». И пошел. «Огурцы? Селедка? Рыба?..»

— Ах, дура я какая! Самое-то главное! — Груня вскочила и, плеская руками, побежала к двери.

Все, улыбаясь, глядели вслед.

— Хозяйственный казус! — Жуйкин поднял палец, прищурился.

— Да! — напер голосом Вавич. — Вижу — семга. Этакая рыбина. А вдруг полвека лежит? Пробу! Пожалуйте. Взял в рот — тает. Как сливочное мороженое. И вот этакая... — показал рукой.

В это время вошла Груня. С таинственной и радостной улыбкой несла длинное блюдо. Все глядели то на Груню, то на стол: куда поставить.

Жуйкин вскочил:

— Легка на помине! — он отодвигал тарелочки, очищал место, помогал Груне втиснуть блюдо.

Вавич глядел на семгу, высоко подняв брови. Брови шевелились, как черные червяки. Груня никогда такого не видела. Она глядела на Виктора, слегка бледная, подняла руки к груди.

— Откуда? — в тишине послышалось. Не верилось, что Виктор сказал.

— Принесли. Мальчик. Ты думал — на завтра? — всем духом спросила Груня.

— Наоборот! — сказал Виктор. Будто визгнул. Груня мигала на него заботливыми глазами, а Виктор сжал над столом кулак, так, что заскрипели пальцы.

Жуйкин улыбался со всей силы и поворачивал улыбку то к Груне, то наставлял ее на Виктора. Попов поднял над очками брови и глядел в тарелку, барабанил осторожно пальцами по скатерти. Груня стояла, поставив край блюда на стол, и все глядела на Виктора.

— Принять? — спросила Груня.

— Да, да, — закашлял словами Виктор. — Ставь, ставь... Как же, как же... Конечно... на стол.

Груня поставила семгу. Семга конфузливо блестела жирной спиной и была без головы.

Груня подперла обеими руками подбородок, через весь стол протянула взгляд к Виктору.

— Пожалуйте, — сказал сердито Виктор и зло кивнул подбородком на блюдо.

— Так ее! — сказал Жуйкин. — За ее здоровье выпить, а за свое закусить. Ею же и закусить. Верно? — обернулся он к Попову.

Жуйкин схватил графинчик.

— Разрешите? — и налил всем. — За здоровье семги!

— Благодарю... — буркнул Виктор и рассеянно вылил в рот водку.

Груня все глядела на Виктора.

— Угощай... нарезано, — сказал Виктор.

Груня не двигалась.

— Позвольте вам, — и Жуйкин положил плоский, как дощечка, ломтик на тарелку Груни.

— Позвольте, я вам расскажу случай. А вы мне, вот в особенности Аграфена Петровна, скажите, законно ли я поступил. По-моему, по всему закону. Представьте... Нальем еще? — обратился он к Виктору, и Виктор вдруг схватил графин, вскочил и стал обходить, наливать, туго покраснев до шеи. — Так вот, — продолжал Жуйкин, — познакомился я в танцклассе с барышней, с блондиночкой, чудно танцует «Поди спать» — это мы так зовем падэспань — и так и сяк, разговорчики, шу-шу, и вот,

понимаете, сижу я сегодня как всегда на «заказной» — подают письмо в окошечко, — Жуйкин оглядел всех.

— Да, да, в окошечко, — повторила Груня, оторвавшись глазами от Виктора.

— Так подает кто-то в окошечко письмо. Написано: «Заказное. Петру Николаевичу Жуйкину». Вижу: дамская ручка. Хотел глянуть — уж повернулась. Я кричу: «Сударыня! Подательница!» Тут кто-то из очереди за ней: «Сударыня! Сударыня!» Привели. Подходит красная. Смотрю — та самая: падеспань. Я говорю: «Как же вы так рассеянны, мадмазель, потрудитесь написать: город, село, волость, улицу, имя и адрес отправителя». И сую ей перо. Все смотрят. А я говорю: «И две почтовые марки семикопеечного достоинства». Ну как, по-вашему, я должен был поступить? — и Жуйкин уперся в бедра, расставил локти и оглядел всех.

— Да, да... — серьезно кивнул Виктор, — семикопеечного достоинства. Кушайте! — и опять кивнул на семгу.

Играли в стуколку и запивали пивом. Виктор зло ввинчивал штопор в пробку и, сжав зубы, выдергивал пробку, наливал, запрокинув вверх донышко, переливал и в два глотка кончал стакан.

— Врешшш! — шипел Виктор и стукал картами об стол. Он красный, потный сидел боком к столу. Попов слепо поглядывал через очки и домовито совал выигрыш в жилетный карман. А Виктор злей и злей загибал ставки.

— Мы ее, а она нас. А ананас! — приговаривал Жуйкин, кидая карту.

Груня подошла, положила Виктору руку на погон. Но Виктор круто повернулся к столу, наклонился над картами, увернул плечо.

— А это собака? — и открыл карты.

И глотал, глотал холодное пиво.

Было половина второго, когда Виктор повернул два раза ключ за гостями и вошел в кабинет. Он слышал, как за дверьми Груня звякала, убирала со стола. Виктор прошел по комнате два раза из угла в угол. Услыхал, как пачкой ножики, вилки бросила Груня на стол и вот отворила дверь. Виктор пошел, чтоб быть спиной к двери.

— Витя, миленький! — всей грудью шепнула Груня, обошла, взяла за плечи.

Виктор зло глянул ей в глаза и стал, нахмурясь, глядеть на папироску.

— Ты из-за семги? — Груня глядела, распялив веки, Виктору в опущенные глаза. — Родной мой! Витенька мой родной! Ты не хотел!

Виктор повернулся, шагнул:

— Я знаю, что мне делать, — швырнул окурок в угол.

— Витенька, так ведь как же! Мальчик принес. Я ведь думала — ты прислал. Радовалась. Он так и сказал — надзиратель велели передать. Витенька!

— Вон! — заорал Виктор на всю квартиру. — Вон его, мерзавца, гнать, вон! В три шеи сукина сына. К черту! — и так топнул ногой, что зазвенело на столе. — К чертям собачьим! — и Виктор треснул, что силы, кулаком по столу.

Груня глядела во все глаза. Слышно было из кухни, как осторожно побрякивала, мыла тарелки Фроська.

— Ты понимаешь? Ты по-ни-ма-ешь? — злым шепотом хрипел Виктор. — Понимаешь, что это? Я ему, мерзавцу, морду набью... завтра... в лавке... при всех. Свволачь ка... кая!

— Зачем? Зачем? — говорила Груня. И вдруг засмеялась. — Да там три фунта, три с половиной через силу, семги этой, ну, пять с полтиной. Заплатим пять с полтиной. Я свешу, не больше полфунта съели, я сейчас! — И Груня хотела уж бежать.

— Грушенька, — крикнул, давясь, Виктор, — милая.

Груня метнулась к Виктору, наспех попала поцелуем в бровь и крикнула уж из коридора:

— Стой, стой, я сюда принесу, взвесим.

Виктор как выдулся весь и тряпкой плюхнул в кресло. Он часто дышал и повторял:

— Грушенька, Грунечка! — И сам не знал, что слезы набежали на глаза — розовым маревом показалась Груня в дверях.

По-домашнему звякал безмен о блюдо.

Руки

ЛЕГКИМ, будто даже прозрачным, встал утром Виктор. Бойко печка гудела в углу, и слышно было, как рядом в столовой пузырил самовар. Виктор надевал свежую белую рубашку, прохладную, и смотрел на узорный мороз на окне, пух белый и нежный. Услыхал, как Грунечка поставила чайник на самовар:

ручкой, наверно, в рукаве в широком, с кружевом. Заспешил. Терся под краном ледяной водой, запыхавшись.

— Витя! Видел, я тебе рубашку положила, — Грунин голос.

— Да, да! — начерно крикнул Виктор, хотелось скорей начисто, как по белому снегу, подойти, поздравить с днем, всей душой сесть за чай с Грунечкой.

«Грунечка у меня какая», — думал Виктор. Одернулся, поправил еще раз волосы и вступил в столовую.

Как целый цветник встала навстречу Груня в синем капоте с цветами, с кружевами, и сверху, как солнце над клумбой, Грунина улыбка, и теплые Грунины руки мягко взяли за затылок, и Виктор целовал руки куда мог, куда поспевал, и хотелось, чтоб еще больше, чтоб совсем закутали его руки.

Груня подала стакан, и розовое солнце дернуло по замерзшим стеклам, и розовым светом ожила посуда, розовый пар кокетливо вился над стаканом. На минуту стало совсем тихо, и Виктор держал и не брякал ложкой.

— Ты посмотри, я тебе положила пять рублей в бумажник, — и Груня кивнула подбородком на боковой карман — Виктор застегивал шинель, — за эту, знаешь, — и Груня покосилась на Фроську. А Фроська просовывала под погон портупею.

— Прямо к нему, к каналье, — тряс головой Виктор, — сейчас же, пожалуйте... А ну-ка, милостивый государь, — Виктор съежил брови и сделал на лице «решительность». — Счастливо оставаться, — шаркнул Виктор в дверях и козырнул.

С портфелем под мышкой вышел Виктор на улицу. Дворники скребли панели, и, прыгая через скребки, спешили мимо них гимназисты. В конце улицы, прямо по середине над уходящими рельсами, висело красное солнце, как будто оно вошло в улицу и остановилось от любопытства и радости. И Виктору показалось, что все спешат в конец улицы глядеть солнце. Снег неистово горел, и едко брал за щеки мороз.

Виктор жмурился от света, улыбался и составлял в уме: «Почем у вас семга? Так-с. Потрудитесь немедленно выписать счет на три с половиной фунта... фунта этой рыбы... «вышеупомянутой» не годится. Этой рыбы», — решил Виктор и завернул за угол.

Солнца не стало.

В магазине все лоснилось прохладной чистотой. Покупателей не было. Старший приказчик снял кожаный картуз, отста-

вя мизинец. Оперся на прилавок почтительно, ожидательно. Виктор кашлянул для голосу и строго сказал:

— Хозяина мне.

— Простите, только вот вышли за товаром-с.

— В этом случае, — и Виктор нахмурился, — напишите счет на семгу, на три с половиной этой рыбы... фунта семги. Немедленно.

— Без хозяина невозможно-с. Свесить прикажете? — и приказчик взялся за нож.

— Вчера ошибочно была получена мною семга, от вас, от Болотова. — Виктор покраснел и сдвинул брови. — Неизвестно, что ли?

— Не упомню-с! — и приказчик пошарил глазами по мраморному прилавку.

— Мной, — крикнул Виктор, — мной! — В это время звякнула входная дверь, а Виктор кричал: — Мной ошибочно не было заплачено за три с половиной фунта вышеупомянутой рыбы! Понял! Получай! Сколько?

Дама в ротонде, вязаный платок на голове, испуганно глядела сбоку на Виктора.

— Ничего нам не известно, как же получать? Никак невозможно. Это уж с хозяином извольте.

Приказчик не глядел на Виктора, сырым полотенцем тер прилавок все дальше и дальше. А Виктор вытягивал, вырывал бумажник из-за борта казакина.

— Получай!

А приказчик наклонился куда-то, за банками с огурцами и миногой, за разноцветным маринадом.

— В участок... вызову для вручения! — кричал Виктор.

— Это уж с хозяином, — подавал глухой голос приказчик.

Виктор вышел. Он видел, как дама провожала его глазами, как поворачивалась ему вслед малиновая ротонда.

— Другие как хотят, — сказал Виктор на улице, — а я взяток не допущу.

Ему хотелось вернуться к Грунечке, рассказать, как не вышло. Потом сразу в участок и с городовым бумагу. В бумаге ругательными буквами прописано: с получением сего немедленно явиться для... для чего? для дачи немедленных объяснений... в срочном порядке... «Все берут, — твердил в уме Виктор, — потому что? дают! — Само слово стукнуло в ответ. — А я им покажу давать! Давать! Сволочи. Я вам покажу, покажу, мерзавцы».

— Мерзавцы! — вслух крикнул Виктор и на ходу топнул ногой. — Сорок пять рублей? А солдат сорок пять копеек в два месяца получает и не берет? И за казенную портянку на каторгу не угодно-с? На каторгу не угодно-с, сволочи!

Муха

СИНЯЯ теневая улица подтянулась, дома подровнялись в линию, тротуар выскребен, и скрипит морозный песок под тугой подошвой. И вот население спешит по своим делам — пожалуйста! по чистому тротуару. Спокойствие граждан обеспечивается бдительностью наружной полиции.

«У меня в околотке — пожалуйста! Каждый спокойно может заниматься своим делом — пожалуйста!.. а не семга».

— Ломовой! Чего стал? Улица? Улица какая? Ротозей! Вот написано русскими буквами — пожалуйста! Неграмотный? Спроси у постового. Успенская улица. Повтори! Ну, то-то. А зевать нечего.

Бумагу Виктор написал на бланке, буквами твердыми, большими, острыми.

— Снесешь Болотову. Чтоб моментально. — Городовой смотрел в глаза и упрятывал в серьезный взгляд хитрую догадку. — Ты сколько получаешь? — крикнул Виктор. — Жалованья, дурак, я спрашиваю. Шестнадцать? Не копеек, рублей? А солдат двадцать две копейки! копейки! и за портянку казенную знаешь что... Пошел! — топнул Виктор.

Снял шинель. Сел за стол и тут только увидел солнце: оно блестками, радугами вошло в граненую чернильницу, и она цвела как брильянтовый куст. Больная муха грелась на крышке и сонной ногой потирала упругое крыло.

«Птица в своем роде...» — загляделся Вавич на муху и на весь зеленый ландшафт стола — молью выеденные колдобины, чернильные острова. Виктор смотрел, как мшилось на солнце сукно, и захотелось поставить на этот зеленый луг оловянных солдатиков: чтоб блестели на солнце, чтоб тень была с острыми штыками и чтоб пахли игрушечным лаком. Какой это лак такой замечательный? Виктор взял со стола полированную ручку, поднес к носу. Нет, не пахнет. Муха перелетела на бумагу. Виктор глядел, как грелась, ленилась на солнце бумага, и спокойно, не понимая, читал синий карандаш через угол бумаги:

«Расслед. лично объясниться с ген. Федоровым. Долож. мне и не ротозейничать».

Вдруг смысл ударил в лоб. Виктор схватил бумагу:

«Его высокоблагородию господину приставу Московского участка.

Должен обратить внимание Ваше на допущенные полицией безобразия: в доме, где я проживаю, производится еврейкой Цигель ночная продажа водки при содействии дворника и ночного сторожа, кои вечно пьяны. Надеюсь, что будут взяты строгие меры, в противном случае мною будет доложено лично г. градоначальнику о злостном попустительстве.

Ген.-майор в отставке — С. Федоров».

«Не ротозейничать, не ротозейничать...» — Кровь стукала в лицо, и слезы выдавливались. — «Это уж прямо на сукина сына мне пишет», — и Виктор кулаком придавил надпись, синий карандаш и повернул кулак так, что скрипнул стол. И старикашка в николаевской шинели так и встал в глазах, палка с резиновым наконечником, калошами шаркает по панели, вот ижица такая проклятая топчется, зыркает глазками, заестся с кем-нибудь... «Если не окажется ничего, прямо скажу: потрудитесь, ваше превосходительство, указать, где вы изволили заметить безобразие, как изволили, ваше превосходительство, выразиться в бумаге. Лично извольте указать. Покорнейше прошу! Черт вас в душу дери. Сволочь какая!»

— Ротозейничать, — шипел сквозь зубы Виктор и напяливал шинель. Валялась бумажка, уж двадцать дураков прочли. Виктор хлопнул дверью — ухнула сзади комната. Болотова сейчас приведут — черт с ним, пусть сидит мерзавец. Виктор боком глянул на постового — ух, верно, знает, каналья! Тянется, будто ни сном, ни духом. Виктор завернул за угол, глянул, не смотрит ли городовой, дернул во всю силу звонок у ворот и мигом вскочил в ворота. Дворничиха ковыляла через двор. Увидав квартального, побежала, путаясь в мужицких сапогах.

— А дурак твой где? — крикнул Виктор. — Сюда подать! — Баба осадила на бегу, замотала обмотанной головой.

— С дежурства он, спит он...

— Подать! — рявкнул Виктор.

Бабу как ветром в спину погнало. Виктор стукал по колену портфелем — сейчас я его. Всклокоченный, мохнатый дворник шел, натягивал на ходу тулуп. Жена сзади поправляла сбившуюся шапку.

— Подойди сюда, архаровец! — крикнул Виктор, хоть дворник шел прямо на него. — У тебя что же тут происходит? А? Что, говорю, у тебя, у стервы, происходит? Что, говорю, у тебя?.. А? Чего глазами хлопаешь? Пьяная рожа! Где тут Цигель? Цигель где у тебя?

— В шашнадцатом...

— Пошел вперед, веди.

На лестнице было полутемно и пусто.

— Ты мне, сукин сын, кабак тут устроил? Кабак?

— Какой может быть кабак, ваше благородие?..

— Какой? А вот какой, вот какой! — и Виктор два раза смазал дворника по физиономии портфелем — звонко, хлестко, прикладисто.

— Какой кабак?.. видит Бог... — со слезой, с обидой захрипел дворник.

Виктору захотелось скорей тем же портфелем стереть оплеухи с волосатой рожи, и рука дернулась. Дворник заслонился и отшагнул к перилам.

— Ну пошел, пошел живей. Увидим.

— А увидим, так зачем наперед обижаться, — хныкал дворник вверху лестницы.

— Стой, не звони. Я сам.

Виктор подошел к двери и дернул звонок. Из-за двери ответил детский рев, что-то полетело и грохнуло.

— Ой, кто там? Кто? — кричал женский голос через ребячий визг. Дверь открыла женщина с ребенком на руках. Из-за нее глядела полураздетая старуха.

— Что вы хотели? — и женщина, разинув глаза, пятилась. Опрокинутое корыто и табурет лежали в луже воды.

— Кто здесь водкой торгует? — строго спросил Виктор.

— Что? Водкой? — и женщина подняла брови.

— Не квасом, не квасом, — напирал Виктор, — а водкой.

— И квасом? — женщина чуть не поскользнулась на мокром полу. — Это не тут, господин надзиратель. Это не здесь, господин надзиратель.

— А я сейчас все тут обшарю! — и Виктор шагнул через корыто, шагнул в комнату. Худенький мальчишка отскочил от дверей и лег с разбегу на кровать лицом в грязную подушку и завыл. Тоненько, так что Вавич не сразу расслышал эту тонкую ноту за шумом в своей голове. Швейная машинка стояла у окна, кучка обрезков валялась на подоконнике. На грязной

цветной скатерти тетрадка и чернильная банка. Старательные детские буквы мирно глянули с тетрадки в лицо Виктору.

Он стал и вдруг повернулся к хозяйке.

— Говори, говори, говори прямо, черт тебя раздери, торгуешь водкой? Торгуешь? Говори сейчас! — и Виктор топнул в пол, и звякнули подсвечники на комоде. — Да говори же скорей, рвань жидовская? — кричал Виктор со слезами. — Говори ты мне Христа-Господа ради, — он подступал к хозяйке; она, остолбенев, глядела и все сильней жала к себе ребенка, и ребенок кричал, задыхаясь.

— Ой, ой, что же это?

— Что это? — выдыхала старуха, и душной нотой выл мальчик в подушке.

Виктор видел, как женщина собиралась плакать, сейчас завоет, загородится криком, сядет на пол.

— Да стойте же, господа! — перекричал всех Виктор. Дворник что-то бормотал ртом и разводил шапкой, — знал, что не слышно: может быть, очень вольное даже. — Стойте же! Цыц, черт вас всех драл! — и Виктор шлепнул портфелем по столу.

На момент все смолкли, и только ребенок задыхался рвотной нотой.

— Ну, не торгуете, так так и говорите: не торгуем. Так и напишем. А выть нечего, не режут, — Виктор сел к столу, расстегнул портфель. С кровати мальчик поднял голову и робким глазом покосился из-под локтя. — Где твое перо? Ты, писатель! — кивнул на него Виктор. — Давай, давай живо!

— Гихер, гихер, скорей! — крикнула хозяйка. — Когда надзиратель просит, так надо гихер, что ты смотришь, Данечка. — Мальчик слез на пол и на четвереньках пополз. Он, не подымаясь, совал из-под стола зеленую копеечную ручку.

— Двух понятых мне мигом, — скомандовал Вавич.

Дворник сорвался, хлопнул дверью.

— Вот видите, мадам Цигель, никто вам тут никакого зла не сделал и никого тут не убили, и, если совесть ваша чиста, зачем бояться полиции? Полиция — это защита честных слоев населения.

— Так я же женщина, господин надзиратель! Дай Бог вашей жене никогда это не видеть... муж в больнице. Я ему говорила: «Цигель, бойся Бога, одевай калоши...» Верите, господин надзиратель: пятая неделя...

Мальчик через стол, не дыша, смотрел, как хлестко писал на листе без линеек Вавич: глядел то в буквы, то в кокарду.

В сенях уже топтались на мокром полу тяжелые сапоги.

— Ну подходи, — крикнул Вавич, полуобернувшись.

Два новых дворника шагнули в комнату.

— Где писать?

— Как же, не читая? Слушать, я прочту. Всегда надо знать... знать надо, а потом подписывать. Это генерал... отставной... может подписывать... и сам не знает, что пишет. Слушать.

Вавич встал и с бумагой в руках повернулся лицом к публике.

— Акт, — сказал Вавич и строго оглядел всех.

«13-го сего февраля по распоряжению его высокоблагородия господина пристава Московского полицейского участка города N мною было произведено дознание и осмотр квартиры № 16, госпожи Цигель, в доме № 47 по Успенской улице, причем признаков тайной продажи спиртных напитков обнаружено не было».

— Можете смотреть, можете пройти на кухню посмотреть. Почему нет? Пройдите. У нас одной бутылки нет. Муж это даже совсем не знает. Я не помню, или он пил на свадьбе, — заговорила, заходила Цигель, она трясла ребенка, и он икал тонко и больно.

Виктор прошел в коридор, из дверей посмотрел в полутемную кухню, холодную, с черными полками.

— И нечего пугаться, раз все в порядке, — говорил Виктор в дверях.

Тощими мертвыми руками водила старуха тряпкой в мыльной луже, возила седыми трепаными волосами по грязному полу.

С парадной

— ВЕДИ к генералу Федорову, — приказал дворнику Вавич.

— С парадной прикажете? — вполголоса сказал дворник. — Или, может быть, с черного проводить?

— С парадного, с парадного, голубчик, — Виктор улыбался. — С самого парадного. Ага! Превосходно! Я сам позвоню.

Виктор взял портфель форменно: в левую руку под бок, одернул портупею, коротко ткнул кнопку и перевел дух.

Высокая горничная в черном платье, с белой наколкой, отворила дверь и спросила строго:

— К кому это?

В прихожей ярким пламенем светила с вешалки красная подкладка генеральской шинели, и от паркета пахло мастикой.

— К его превосходительству... с докладом.

Горничная все держалась за двери, наклонила голову набок и зло жевала губы. Потом вдруг захлопнула дверь.

— Так и доложу — квартальный, — и застукала острыми каблучками по коридору. И Вавич слышал, как сказала она в двери: — Квартальный какой-то... Не знаю, стоит в прихожей.

— Проводи, пусть обождет, — деревянный голос и слова, как обкусывает.

— Пройдите, — сказала горничная, глядя в пол.

Виктор шагнул неслышным шагом.

— Ноги оботрите, как же так и идете.

Виктор вернулся, и горничная глядела, как он тер ноги. Стыдно уж больше тереть. А горничная не подымала глаз.

Виктор сильно мазнул еще по разу подошвой и чувствовал, что краснеет.

Виктор шагнул с половика и, не глядя на горничную, пошел, оглядывая стены коридора; горничная затопала впереди. По коридору, дальше, дальше. Вот дверь налево. И боком глаза Виктор успел увидать генерала: он, с салфеткой у горла, сидел перед тарелкой. Блеснул никелированный кофейник с важным носом. Горничная толкнула дверь. В просторной кухне за самоваром толстая кухарка дула в блюдечко.

— Обождите, позовут.

Горничная вскинула головой и хлопнула глазами.

Виктор топнул два шага по кухне. Глянул на расписные часы с гирями. Нахмурился. И снова потоптался.

— Садитесь, настоитесь.

Кухарка обтерла передником табурет и поставила среди кухни. Виктор кивнул головой и деловитой рукой открыл портфель.

— Гордиться нечего, — сказала кухарка. Отхлебнула чаю. — У генерала... — и поставила звонко блюдце. Через минуту услыхал Виктор сухие каблуки с тупым звоном. Дверь распахнулась. С салфеткой в руке стоял на пороге старичок с квадратной седой бородкой.

— Это чего пожаловал? — крикнул генерал, маленькими глазками замахнулся на Виктора.

Виктор взял под козырек.

— Пристав прислал доложить вашему превосходительству насчет дознания, насчет водки... продажи напитков, согласно заявления вашего превосходительства.

— Ну! — крикнул генерал и посторонился: горничная, глядя в пол, важно внесла посуду.

— Произвел дознание, ваше превосходительство. — И Виктор полез в портфель.

— Меры! — откусил слово генерал. — Меры взяты?

— Не обнаружено! — встрепенулся Виктор, еще тверже повторил: — Не обнаружено! Дознанием!

— Меры? Ме-ры, я спрашиваю, — генерал ступил вперед и тряс салфеткой перед носом Виктора. — Меры? Русским языком спрашиваю. Оглох? Или ушиблен? Ме-ры-ы?

Виктор затряс головой.

— Так, значит, пусть у меня под носом кабак разводят? Да? Я спрашиваю, — генерал рванул салфетку вниз.

Горничная осторожно перебирала пальчиками ложечки и косилась полуопущенными глазами на Виктора, вся в строгой мине.

— Дознанием... — твердо начал Виктор.

— А вот! А вот! — вдруг покраснел генерал. — А вот, дознаться! Дознаться мне! Сейчас! — он топнул в пол. — Того! Дознаться — кто дураков ко мне присылает? Дураков! Выведи! — он топнул на горничную.

Горничная, чинно шурша платьем, прошла через кухню и отворила клеенчатую дверь. Виктор стоял и глядел в генеральские глаза и ждал удара недвижно.

— Вон! — заорал генерал, как выстрелил.

Виктор не чувствовал пола и как по воздуху прошел в дверь, не своими ногами перебирал ступеньки черной лестницы. Не переводя духу, перешел двор.

Ноги все шли, шли, сами загребали под себя землю, без всякой походки. Только панель видел перед собой Виктор, скобленую, посыпанную горьким песком.

Виктор узнал свою дверь и торопливым пальцем ткнул звонок. Ноги топтались на месте, просились в двери, пока Фроська шлепала бегом по коридору.

Кукиш

«ГРУНЮ, Грунечку, — думал Виктор, — и сейчас все ладно, все будет ладно». Он сдирал, рвал с себя шинель, шашку и сначала не слышал из комнат круглого баска. Шариком перека-

тывался голос, будто огромный кот, с лошадь, гулко мурлычет на всю квартиру.

— Кажись, что сами-с пожаловали, — расслышал Виктор. — Очень превосходно.

Виктор не знал, чего ждать, и поперхнулся дыханием, вступил в комнату.

Груня глядела с дивана с полуулыбкой, подняв брови, и плотный человек поднялся навстречу. Рыжеватая бородка, знакомая бородка, и под ней в галстуке сиял камень, блестящий жук.

— Простите, мы уж тут с Аграфеной Петровной приятно беседуем. Честь имеем кланяться и с добрым утром. — И человечек поклонился и приложил ладонь под грудь.

— Болотов! — чуть не крикнул Виктор и не мог ничего сказать, кусал меленько зубами воздух. Боком обошел он диванный стол и несколько раз прижал Грунину руку, не целуя.

— Познакомься, — говорила Груня, — познакомься же: Михаил Андреевич Болотов.

— Да мы знакомы-с, — улыбчатым баском прокатил Болотов, — приятно знакомы-с.

— Как же... — начал Виктор. Груня держала его руку. — Как же вы... я говорю...

— Это же одно недоразумение, Виктор Всеволодович, зачем так к сердцу принимать семгу эту? Я уж докладывал супруге вашей. Простое дело. Помилуйте, не звери, не в лесу живем. Вы об нас хлопочете. Видим ведь мы заботу, порядок, чистоту, приятность.

— Позвольте, я не допущу, — хрипнул сухим, шершавым горлом Виктор и кашлял до слез.

— И знаем, всем околотком приятно понимаем, что не допустите и нельзя-с допускать. А ведь разве можно обижать людей? За что, скажите? Мы от души, от приятного чувства, что, наконец, человека перед собой видим, а вы хотите ногой навернуть, уж простите за слово, в морду.

— Я взяток... — и Виктор встал, глотнул сухим ртом, — я взяток... я не генерал...

— Вот то-то и есть, что не генерал. К генералу неж придешь вот так-то? А у вас благодать, благостно. Райское, сказать, гнездо. И хозяюшку взять: роднее хлебушки. Неужто, скажите, нельзя в дом-то такой для новоселья хоть бы, от приятного сердца? Хозяюшке? Цветы, может, приятнее было, да ведь мы попросту, чем богаты...

— Я сейчас, — сказал Виктор и быстро вышел. Он прямо ртом из-под крана в кухне стал сосать воду.

— Да я сейчас чай подам, — говорила над ним Груня. — Фроська, собирай.

Виктор, не отрываясь от крана, махал рукой непонятно, отчаянно. Он вернулся в гостиную и еще из коридора крикнул:

— Вот получайте ваши пять рублей, и расписку, расписку, — и бросил на широком ходу пятерку на стол перед Болотовым.

Болотов глядел в пол. И Груня с масленкой в руке в дверях из столовой:

— Витя, Витя! Да я говорила Михаил Андреичу, он уж сказал, что не будет. Уж сказал, и не надо больше. Ведь не хотел обидеть, зачем же его обижать?

— Кровно, кровно! — Болотов выпрямился и повернулся к Груне и кулаком, круглым, булыжным, стукнул себя в гулкую грудь. — Именно, что кровно!

— А вот мы вам тоже подарок пошлем, — говорила Груня и улыбалась Болотову и весело и лукаво, — супруге вашей, вот увидите, на Варвару как раз! Идемте чай пить. Пошли!

Болотов все еще недвижно держал кулак у груди. И водил по стенкам круглыми глазками, обходя Вавича.

Груня взяла его за рукав:

— Ну, вставайте!

— Кровно! — сказал Болотов и только в дверях снял с груди кулак.

Пятерка, как больная, мучилась на столе. Виктор последний раз на нее глянул, когда под руку его брала Груня.

— Вот он у меня какой! — вела Груня Виктора к чаю. — Не смейте больше семгу таскать, а то он вас прямо за решетку посадит.

Болотов уж улыбался самовару, Груне, белым занавескам.

— А это, можно сказать, тоже неизвинительно: не пускать сделать даме сюрприз. Или уж он у вас ревнивый такой-с. Нехорошо. Нехорошо в приятном отказать. Какой франт с коробкой конфет — это можно-с. Букет всучить — это тоже ладно! А уж мы выходим мужики. Потрафить не можем... рогожа, одно слово. Чаек перловский пьете? — отхлебнул Болотов.

— Я вообще просил бы... — сказал Виктор, глядя в чай.

— Вот вы просите, — сказал Болотов и покивал в обе стороны головой, — а ведь вас не станут просить: вам приказ! Раз-два! Повестки от мирового — раз! Чистота и чтоб дворники —

два! Кража или скандал — три! В театре — четыре! Скопление политиков или студентов — пять! Мы ж на вас как на страдальцев за грехи наши. Мы грешим, а вы дуйся. А ведь время-то какое? — и Болотов понизил голос, и пополз бас по столу. — Что уж студенты! А ведь чиновники, сказывают люди, уж и те... начинают.

— Чего это начинают? — спросила Груня.

— Чего? Смутьянить начинают.

— Чего же хотят? — спросила Груня шепотом.

— Нагайки хотят... Уж это пусть Виктор Всеволодович вам разъяснят. — И взглянул на Вавича.

Смотрела и Груня, полураскрыла красные губы, свела набок голову и подняла брови. Сжала пальцами стакан. Вавич нахмурился.

— Слои населения волнуются, — глухо сказал Вавич, — не все довольны... бесспорно.

— Ну, так вот чем же недовольны? Чего не хватает? — уж крепеньким голосом спросил Болотов и прищурился на Виктора. — Чего надо-то? Не слыхали? Али секрет?

— Да нет, — Виктор помотал головой. — Каждому свое.

— Так опять: почему студенты с рабочими в одну дудку? Студента четыре года учат, шельму, он потом, гляди, прокурор какой, али доктор, капитальный господин, а чего рабочий? Молоток да гайка, кабак да гармошка? Нет, вы не то говорите. Чего-нибудь знаете, да нам не сказываете.

Виктор вдруг вспомнил сразу все лица, встречные уличные глаза — много их вилами на него исподнизу целились, и он отхлестывался от них одним взглядом: глянет, как стегнет, и дальше. Виктор вздохнул.

— Вот я так скажу, — Болотов наклонился к столу, — самое у них любимое: долой самодержавие, самая ихняя поговорка.

— Это конечно, конечно! — важно закивал Виктор.

— А кому это самодержавие наше всего больше против шерсти? Ну, кому? — он глядел на Груню.

Груня ждала со страхом.

— Жи-дам! — и Болотов выпрямился на стуле и плотной пятерней хлопнул по краю стола. — Свабоду! Кричат. Кому свабоду, дьяволы? Им? Свободней чтоб на шею сесть? Они и без правов все в кулак зажали, во как. Достань-ка ты рубль-целковый без жида. Попробуй!.. Царя им долой! Царем и держимся. Пока царь русский, так и держава русская, а не ихняя.

И не выдадим царя. Дудки! Выкуси-ка! — и Болотов сложил рыжий кукиш, стал молодцом и победно сверлил им над столом. — Во! Накося!

Груня раскрытыми глазами глядела на кукиш, как на светлое диво.

Виктор осклабился и снисходительно и поощрительно.

— Да-с. Не всех купишь за бутылку-то очищенной, — и Болотов сел красный. Дышал густо. И вдруг глянул на часы. — Царица небесная! Время-то гляди ты! Половина третьего! Что ж я, батюшки!

Он вскочил.

— Хозяева дорогие, простите, если согрубил чем. Будем знакомы, очень приятно-с. Низко кланяемся.

Казна

КОЛЯ проснулся от страха: приснилось, что собака одна знакомая, пойнтер, вошла в двери на задних лапах и как была, стоя, поднялась на воздух и стала летать по комнате, будто кого-то искала, и все ближе, ближе, и лапы недвижные торчком, и сама как неживая, как смерть, и воет тонко, и все громче и ближе. Коля проснулся и обрадовался, что убежал от собаки, наверное, накрепко, в другую страну. Было светло. Отец всхрапывал. Шепотом вскрипывали половички под мамиными шагами за дверьми, и вот осторожно стал ножками самовар на подносе. Коля сгреб одежду и босиком, в рубашке, вышел в столовую. Тихонько притянул за собой дверь. У мамы было грустное и важное лицо, как в церкви. Тихо сказала:

— Не стой босиком, пол холодный.

А когда сел, погладила вдруг по головке, как на картинках. Коля заглянул маме в лицо, а мама отвернулась и прошла в кухню.

— Одевайся, — шепнула на всю комнату.

Коля молча одевался, молча мылся под краном, со всей силы терпел ледяную воду. Как на картинке. На картинке, там не спрашивают, какая вода, может быть, хуже льда, всегда синяя, прямо острая, как ножик. Чай пил тоже, как на картинке: сидел прямо и масло мазал на хлеб, как зашлифованное. А когда стал уходить, ждал, что мать даст пятак на завтрак, как всякий раз. А мама все ходила, подобравшись, будто кругом стеклянные

вещи, и ничего не говорила. Коля уж застегнул форменную шинель на все пуговки, мама прошла в кухню и сказала шепотом:

— Не хлопай, пожалуйста, дверью.

И Коля ответил, как мальчик из книжки:

— Нет, я не хлопну, мама.

«Нельзя спросить пятака. Никак нельзя теперь уже».

Коля не завтракал, а копил пятаки, и было жалко, потому что пропадал пятак. Завтра гривенника уж не спросишь: нельзя же за вчера на другой день завтракать. Коля аккуратно зашагал в гимназию, и дорогой то жаль становилось пятака, то выходило, что как хорошо, как отлично, что не спросил, а то б все испортилось сразу. Потом опять подымался пятак и снова приходилось прогонять досаду. Досаду удавалось затолкать вниз, и тогда шагал не своим шагом, а весь назад, голову вверх, ровными шажками.

«Если так вот все делать, и двоек никогда не будет, все пойдет, как в книжке».

Коля стал представлять, как он будет высиживать урок за уроком, пряменько на парте. Первый русский, второй латинский, потом арифметика. И вдруг вспомнил, что нынче пятнадцатое, что нынче «письменный ответ» по арифметике. Тихо будет перед началом, и только будут шелестеть листы: отдельные белые листы будет раздавать дежурный, как для приговора. Одни только первые ученики будут радоваться, назло всем радоваться. Потом все без дыхания будут сидеть, ждать, и учитель ясно и строго прочтет задачу. Какую-нибудь со спиртом в 60 и в 38 как-нибудь там градусов смешано, потом как-нибудь продано особенно. Томиться, мучиться над белой бумагой и ждать, до самого безнадежного конца задыхаться и ждать помощи, и все равно, как ни сиди прямо или еще что, ничто, ничто не поможет, и потом крупная двойка красным карандашом на листе. И мамулинька скажет: ты видишь, что дома делается, и тебе все равно? Двойки приносишь? Совсем убить меня хочешь? Нет, даже не скажет убить, а таким горьким, последним голосом скажет.

И Коля уж давно сбился с ровной походки. Он вдруг свернул налево, заложил большой палец за лямку ранца и деловым, быстрым шагом двинул вниз по улице. Он шел, запыхавшись, почти бежал, завернул еще за угол и по мощеному спуску пустил под откос. Из утреннего тихого города он сразу попал в гущу подвод, в толчею народа. Отстегнул ранец, взял под мышку. Ломовые нахлестывали лошадей, лошади скользили, спотыка-

лись, тужились на подъеме. На секунду Коля подумал вернуться назад, в город, в гимназию, еще было время, но сами ноги спешили унести дальше, дальше, чтоб уж не было возврата, чтоб не было времени вернуться. Коля даже расстегнул шинель и бежал вниз по спуску.

— Скакай, подвезу! — крикнул ломовой с порожней подводы.

Коля на миг задумался: «Это уж совсем конец!» А ноги уже догоняли подводу, и Коля вскочил.

— Опоздал? — орал ему возчик.

Коля мотал головой, что да. Его подкидывало, прыгал ранец, и Коля без духа держался за дроги. Еще время не ушло, еще до тошноты щемило внутри. В конце спуска подводы сгрудились, ломовой осадил. Коля спрыгнул и свернул в тихий проулок. Здесь в проулке стояла грязь, спокойная и хмурая. Мокрые кирпичные стены без окон шли по бокам. Разбитая бутылка торчала из грязи. Грохот подвод сразу показался далеким. Коля жадно зашагал в проулок. Уж никак здесь не встретишь педагога. А то рассказывал товарищ: тоже вот так «казну правил», и вдруг подходит — пальто штатское, котелок. Гимназист, эй, стой! Почему не в классе? Хотел начать врать. А тот: Билет! Давай-ка билет. И видно у него из пальто пуговицы форменные. Да и по голосу слышно — педагог. Пришлось отдать билет. А бежать? Как бежать, когда в билете в правилах так и сказано: имеет право обратиться к содействию городской полиции. И еще сказал педагог проклятый, чтоб немедленно отправлялся в гимназию, а он по телефону справится, явился ли и когда. А в билете все сказано, какой гимназии, какого класса, имя, фамилия. Товарищ забоялся в гимназию идти, прошлялся где-то до двух часов и пошел домой будто из гимназии. А на следующий день, как пришел в гимназию, на втором уроке вдруг классный надзиратель просунулся в дверь и сказал учителю: «Извините, — говорит, — тут к директору требуют», — и поманил пальчиком этого товарища. Он, красный, встал, и весь класс на него смотрел, он шел и обдергивал куртку. Потом рассказывал, что пришел к директору, а там уж его мать вызвали, она вся в слезах, а директор стал орать, что таких не надо, умникам тут не место, вон выкинет в две минуты, прямо отсюда, и «марш домой и носу чтоб его тут не было», и что мама его на коленки бросилась — отца у него нет — и плакала и молила, а директор все орал и маме его грозил пальцем. И Коле представилось, что, если его мамочке, мулиньке его, вдруг так будет; и Коля от мысли этой побежал вперед по переулку.

«Я б тогда не знал что, зарезался бы, так домой не пошел бы, а зарезался. И убил бы директора, раньше бы убил директора. Достал бы пистолет, а потом сам зарезался бы. А его бы уж, проклятого! Прямо бы в рот выстрелил». И Коля не замечал, как до полколена месил грязь. Переулок кончился. Дальше — откос, поросший никлой осенней травой, почерневшей, мокрой. Коля карабкался по откосу, цеплялся рукой за землю. Стал брызгать дождь, неровный, злой, будто кто горстью загребал и бросал Коле в лицо. Теперь все равно, кто хочет, все может делать ему: собака нападет — уж молчи и за камень не хватайся; или мальчишки пристанут. Коля перелез через барьерчик, через голые кусты, пошел по мокрой дорожке парка. Он забрался вглубь, где круглая площадка огорожена кустами, запрятал ранец в кусты. Сел на мокрую скамью, огляделся — никого! Сдернул фуражку и дрожащей быстрой рукой отцепил с околыша гимназический герб. Как разжалованная, арестантским, уголовным глазом глянула фуражка. Теперь не гимназист. Скажу: «Выгнали из гимназии». Какое кому дело, просто мальчик! Коле видны были внизу под откосом часы на башне. Было половина девятого, и сейчас кончилась в гимназии молитва и начинается первый урок. И Коля решил, что будет сидеть на этой скамейке, вот тут на дожде, до самых двух часов и не шевельнется. И чем хуже, чем мучительнее сидеть, тем лучше. И Бог видит, какой я несчастный, и что вовсе не для радости я здесь сижу, и никто пусть не понимает, все ведь скажут, что мерзавец и прохвост.

По красным прутьям кустов ползли капли и в тишине громко падали на палый лист.

«Им хорошо, — думал Коля, — просто стой себе и никто, никто им ничего не скажет: стой, и всегда прав...»

Лужица на дорожке, как грустный глаз, отражала черные ветки и серое небо. «А вдруг побежать сейчас домой, — подумал Коля, — бежать всю дорогу без передышки бегом, прибежать к мулиньке и сказать, сказать, все, как было?» И тут вспомнил утреннее мамино лицо — в доме такое, а ты вон что? И папа дома, наверное, проснулся — и ничего, ничего не выйдет. Коля не мог сидеть, он встал и стал ходить вокруг площадки. До двух часов буду так ходить. Если б можно было рассказать кому-нибудь, а то ведь все только выругают. Самое легкое ругать. А Бог, наверно, все до чуточки знает, — и Коля взглянул на небо. Неба никакого не было: сплошная, мутная белизна стояла над деревьями и из нее капали редкие капли, как с потолка бани. А за-

писку от родителей, почему не был, — это я и завтра не пойду; скажу маме, что голова страшно болит, а потом попрошу записку и буду маме подсказывать, как писать, что было вообще: не мог посещать гимназию по случаю сильной головной боли, а чтоб когда именно, не было сказано, и сойдет. Сойдет наверно, Бог непременно даст, чтоб сошло. Коля вздохнул и медленно перекрестился, с болью прижимая мокрые пальцы ко лбу.

Вдруг голос:

— Коля!

Коля дернулся головой и, приоткрыв рот, глядел и не мог сразу узнать: в трех шагах поверх кустов смотрел на него улыбаясь высокий человек.

— Коля! Ты что ж тут делаешь? Без герба?

Башкин прямо через кусты, без дорожки продирался к Коле.

А вы?

КОЛЯ скорей спрятал руку, которой крестился, в карман, отвернул вбок голову и в сторону, прочь от Башкина, криво улыбался и говорил все:

— Здрассте... здрассте...

А Башкин уже шлепал калошами рядом и громко говорил смеющимся голосом:

— Что ж ты, не узнаешь? Я же знаю, что казну правишь. Правда, ведь казну правишь? — И положил руку на все плечо и наклонился и лезет в лицо заглянуть. И если сейчас скажет, что видел, как крестился, то сейчас же надо бежать вон, куда попало, через кусты, под откос со всей силы. — Коля, да милый мой, — говорил Башкин и совсем наклонился к уху, — да ведь я сам казну справлял. Когда уж в восьмом классе даже был. Ей-богу. Что ж такое? Я не скажу, честное тебе слово даю, не скажу, — весело говорил Башкин, — вот провались я в эту лужу с головой. Идем на скамейку сядем, — и Башкин совсем как товарищ тянул Колю за рукав к скамейке. — Садись, дружище. Я сейчас тоже, знаешь, казну правлю. Верно тебе говорю.

Коля взглянул на Башкина.

— Нет, верное слово, казну... Я, может быть, тебе расскажу, как. А ты чего сегодня испугался? Латинского?

Башкин сидел совсем рядом и сделал заботливое, серьезное лицо и старался заглянуть Коле под спущенный козырек.

— Латинский я прямо как русский.

— Так чего же? Ну, значит, письменный ответ сегодня? Да? Письменный? Я угадал, конечно. По арифметике? Да? Я помню, я тоже так из-за арифметики сидел... все пять часов на морозе... в будочке в одной. До сих пор помню. Нет, в самом деле. В сто раз хуже, чем в классе. Верно?

Коля молчал и глядел в лужицу перед собой.

— Слушай, Коля, — Башкин просящим голосом заговорил, — слушай, тут же тоска, тут же вешаться только можно в такую погоду, предать праведника и повесить вот на этом мокром суку. Пойдем, знаешь, сейчас ко мне, и я тебе по арифметике все объясню. И потом будешь ко мне приходить. Я ведь знаю, папа платить не может теперь, ну, ты будешь говорить, что ко мне в гости. Я сам зайду и попрошу, чтоб тебя пускали ко мне в гости. Почему же? Как товарищи.

Коля глядел теперь на Башкина, вглядывался, но все молчал.

— Ну почему же?.. Если я очень прошу. А ты нацепи сейчас герб. В кармане, небось? — Башкин запустил руку в Колин карман и вытащил оттуда Колину руку с зажатым гербом.

— Давай, сейчас все устроим! — говорил весело Башкин. — Эх, что там! Раз и два, — он снял с Коли фуражку и очень ловко нашпилил на место герб. — Ты со мной не бойся, со мной никто не посмеет. Скажу — воспитатель, и сам я не пустил тебя. Вот и все. Где ранец? Давай его сюда! Смело, чего там! Ранец давай мне. На углу купим газету, завернем ранец и айда ко мне, чай будем пить. А потом домой пойдем к тебе вместе, я скажу, что встретил и затащил к себе. Пусть меня ругают. Идем!

Башкин схватил ранец, дернул Колю за руку и, перегнувшись вперед, зашагал саженным раскидистым шагом. Коля чуть не бежал рядом.

— Пошли ходом! — кричал Башкин. — Побежали! — и он зашлепал громадными калошами по лужам аллеи, волок за руку Колю.

— Я тебя так выучу, — говорил Башкин на улице, — что ты, брат, знаешь! Первым учеником будешь. Не то что казну, а козликом, прямо козликом будешь в гимназию бегать. Прямо, чтоб время провести. Как в гости. Честное тебе слово даю! Хочешь?

— Хочу, — сказал Коля. — Только зачем вам...

— А брось! Зачем, зачем! Что, я не могу тебя любить? А? — и Башкин шире замахал ногами. — Что, я не имею права любить?

Я желаю любить, и к черту все. Все делают пакости и все имеют право! Пра-во! Любить!

Башкин вдруг умерил шаг.

— Ты на товарищей доносил? А? Хоть раз? — наклонился он к Коле. — Ну, хоть немножечко? Не прямо, а боком как-нибудь?

Коля поглядел в лицо Башкину и потом задумался, глядя под ноги.

Башкин совсем остановился среди тротуара, и Коля чувствовал, как он глядел сверху на Колино темя.

Коля покачал головой.

— Нет? — крикнул Башкин, присев.

— Нет.

— Ну хорошо, — снова зашагал Башкин, — а если б ты увидел, что товарищ крадет книги у твоего друга, ну прямо вор, а он сильней всех, и вы все ничего с ним не можете сделать. А другу твоему дома попадет. Думают, что он продает книги и конфеты покупает. И его бьют дома за это, избивают. Так вот как же? Ты покрывать вора будешь?

— Тогда уж всем классом, — сказал Коля.

— Все-таки донесете? — крикнул Башкин и сразу стал, топнув.

— Скажем, — ответил в пол Коля.

— Ну хорошо. А если так — я бы тебе сказал: Коля, я тебе скажу тайну, не выдай меня. Тебе можно сказать, не выдашь? Ну вот, говоришь — не выдашь, хорошо. А я тебе говорю: я твою маму этой ночью приду и зарежу! Ну? Ах, стой, мы прошли.

Башкин круто повернул назад, толкнул стеклянную парадную дверь.

На лестнице было совсем тихо после улицы. Башкин мягко ступал мокрыми калошами по мраморным ступенькам, он шел, наклонясь вперед, и лицо его было вровень с Колиным.

— Ну? — спросил Башкин, глубоко дыша. — Донес бы? На меня вот донес бы? Ну, папе сказал бы, все равно. А? Сказал бы?

Коля молчал.

— Может быть, даже в полицию побежал бы? Если б я сказал бы: вот сейчас пойду убивать? Побежал бы? Да? Со всех ног? Правда ведь!

Они стояли на площадке лестницы. Длинное окно с цветными стеклами синим цветом окрасило лицо Башкина.

Коля глядел на него и не мог сказать ни слова.

— Ну? Да или нет? Ты головой мотни: да или нет.

Коля не двигался.

— Так, значит, ты так вот и дал бы свою маму зарезать, — раздраженно сказал Башкин, — да?

Коля затряс головой.

— Ну конечно, нет! — Башкин побежал по лестнице. — Значит, донес бы, и больше никаких разговоров.

Башкин на верхней площадке открывал своим ключом дверь.

— Донес бы значит, безо всяких разговоров и со всех ног, — и Башкин толкнул дверь. — Входи и направо.

— А вы? — спросил Коля.

Башкин снимал калоши.

— И я, и я войду, — говорил Башкин довольным голосом.

— Нет, — сказал Коля, — я насчет того...

— Ты, может быть, боишься, что я про твою казну расскажу? — И Башкин шаловливо трепал Колин затылок. — Снимай, снимай шинель!

Коля медленно стягивал рукава и, не глядя на Башкина, спросил вразбивку:

— Нет, а вот... если так... как говорили, резать кто-нибудь.

Башкин тер руки, он быстро ходил по ковру, наклоняясь при каждом шаге.

— Да что ты говоришь, — возбужденным тонким голосом выкрикивал Башкин, — что там маму! Маму — это что! А просто товарища ты, думаешь, не выдал бы?

И он на минуту остановился и глянул на Колю.

— Ого, брат! — снова заходил Башкин. — Пусть даже ерунда какая-нибудь, плевательная... да, да, — ну, плюнул товарищ, просто плюнул, куда не надо. А ты видел. Тебя позвали. Говори!

Башкин стал и топнул.

— Ты молчать? Из гимназии выкинем! Говори! — Башкин, нагнувшись, шагнул к Коле и сделал злые глаза.

Коля улыбнулся представлению.

— Что? Ты молчать? — Башкин огромным червем показался Коле, и он не мог наверно решить, взаправду он нагнулся и лицо стало не свое, или нарочно и надо смеяться.

Он попробовал хихикнуть.

— Что? Хихикать? Хи-хи-кать! — полураскрыв рот, совсем новыми, чужими глазами въедался Башкин в Колю и приседал все ниже, крался, неловко, как складной, коленчатый. — А вот если я тебя здесь сейчас... когда никого тут нет... я с тобой, знаешь... знаешь, что сделаю...

Коле стало казаться, что Башкин сумасшедший, что в самом деле он все может. Коля кривил с усилием губы в улыбку и пятился к двери.

— Стой! — вдруг визгнул Башкин и прянул к Коле.

И Коля визгнул, сам того не ждав. Башкин липкими, костлявыми пальцами отвел Колину руку.

— Думаешь, шуточки, — хрипел Башкин в самое лицо Коле. — Шуточки? А ты знаешь, что сейчас будет? — и Башкин медленно стал заворачивать назад Колину руку.

Коля все еще не знал, наверно ли всерьез и можно ли драться. Он взглянул в глаза Башкину и совсем, совсем не узнал, кто это. Комната была незнакомая, и оттого еще незнакомее и страшнее казалось лицо, страшнее, чем боль в плече. Коля не давал другую руку, но Башкин вцепился. Коля в ужасе хотел только что брыкнуть ногой, но Башкин повалил его спиной на кровать, больно перегнул хребет о железо. Он держал Колю и медленно приближал свое лицо, и чем ближе, — оно становилось все яростней и страшнее; казалось, что копится, копится и сейчас самое ужасное, последнее вырвется оттуда.

— Не скажешь? — изнутри, не голосом, а воздухом одним сказало лицо.

— А! — вдруг заорал Коля и закрыл глаза. Он почувствовал, что его отпустили.

Башкин уж стоял в стороне и веселым голосом говорил:

— Вот я и знаю, кто плюнул. Правда, ведь знаю?

Коля подымался. Он старался сделать шутливое лицо и поправлял волосы.

Башкин вдруг сорвался.

— Я сейчас устрою чай. Ты не смей уходить, я ранец возьму с собой. — Он раскачивал на ходу ранец за лямку. — Ты чего, кажется, плакать собрался?

— Ну да, черта с два! — сказал Коля. — Только железка эта проклятая как раз, — и Коля обернулся к кровати и деловито взялся за железное ребро.

Он мельком видел насмешливое довольное лицо Башкина в створках дверей.

Коля оглядел комнату, с ковром, с картинами, с бисерными висюльками на электрической лампе. Красный пуф надутым грибом торчал около мраморного столика на камышовых ножках.

— Да! — влетел в комнату Башкин. — А если б налили полную ванную кипятку и тебя на веревке сверху потихоньку спус-

кали, а товарища за плевок всего час без обеда. А? Ты что? Молчал бы? — и Башкин хитро подмигнул и даже как-то весь тряхнулся расхлябисто, по-уличному.

И вдруг сел на пуф, опустил голову и стал тереть ладонями лицо и заговорил таким голосом, что Коле показалось, будто уж вечер.

— Нет, а разве товарищ мог на тебя обидеться за это? За то, что сказал? Выдал? Ты бы обиделся? А? Коля?

— Я, если такое, ну, не такое, а уж если вижу, что так... ну, одним словом, я сам тогда иду и прямо: это я сделал.

— А если ты не знаешь, если никто не знает и не узнает, что там с товарищем делают, никто ж не придет и не скажет на себя. Если директор тебе скажет: не смей никому рассказывать, что я пугал тебя, что выключу, а то в самом деле выключу...

В это время в двери стукнули, двери приоткрылись, просунулась рука с чайником.

Башкин вскочил.

— Благодарю! Превосходно! Коля, вон поднос, давай живо.

Башкин весело суетился.

Дураки

АНДРЕЙ Степанович шел домой — полная голова новостей. Все новости расставлены в голове — одна в другую входит, переходит. Ловкая догадка и опять факты, факты, факты. Ему немного досадно было, что он их не предсказал. «Как же так, уж хотел сказать, тогда, за ужином, при всех, и вдруг чего-то испугался, что проврусь. Вроде этого ведь почти сказал. Досадища какая. Начну так — слушайте: сегодня в одиннадцать часов утра стало известно...» — и он представил напряженное внимание, все лица к нему, и Тиктин прибавил шагу. Скорей обычного шагал он по лестнице и только в передней стал молчалив, медлителен. С радостью заметил два чужих пальто на вешалке — пусть и они слушают. Минута настала: Анна Григорьевна разливала суп.

— Слушайте! — начал Андрей Степанович голосом повелительным и обещающим. Все обернулись на голос. — Сегодня в одиннадцать часов не двинулся ни один поезд во всей России.

Все молчали, не трогая супа. Андрей Степанович заправил салфетку.

— Раз! Сегодня уже с ночи не передавалось никаких, абсолютно, телеграмм! Во всей России. Два! — он строго взглянул на Башкина и ткнул вилкой в хлеб.

— Так это ведь вчера днем еще...

— Виноват! — оборвал Андрей Степанович.

Надя отвернулась, она откинулась на спинку стула, скрестила руки и стала глядеть в карниз потолка.

— О том, что делается в Петербурге, мы ничего не знаем. Но вот факты: приехавший вчера из Москвы субъект...

— А вот ниоткуда не прибывшая, — начала говорить Наденька, все глядя в потолок, — может тебя обрадовать, что сейчас не загорится электричество. И что в доме у нас налито во все чайники и кружки дополна воды...

Андрей Степанович видел, как Наденька наклонилась к тарелке и начала есть с самым скучающим видом. И ясно, что нарочно. Застукала ложкой по-будничному. Тогда Андрей Степанович решил ударить на весь стол прогнозом: смелым и ошеломляющим.

— Начнется... — сказал он, нахмурив брови, и стряхнул прядь со лба.

— По-моему, началось, а не начнется, — сказала Надя и заела слова лапшой.

— Да, конечно, уже началось, — заговорил Башкин и сплюснул хлебный шарик на скатерти, — началась всеобщая забастовка, которой пугали уж три месяца.

— Это кого? Вас пугали? — спросил Санька и ткнул открыто локтем Надю, а она недовольно поморщилась в его сторону.

— Правительство, конечно, пугали. Меня пугать нечего, я уж всеми, кажется, запуган.

Все ели суп, и все торжественное внимание лопнуло давно, и Андрей Степанович откинулся назад и, ни на кого не глядя, сказал вдоль стола:

— Может быть, теперь пророки мне скажут: испугалось ли правительство и что оно с перепугу станет делать? Ну-ка... пророки! — повторил Тиктин между ложками супа. — Пророки, которые колесо истории... подмазывают или поворачивают... да-да: так куда же колесо-то обязано... того.

Все молчали.

— Так вот — на кого это колесо наедет, сейчас вот, завтра: наедет оно на самодержавие или на нас?

Тиктин обиженно, зло глядел на дочь.

Показалось, что она сейчас начнет деланно свистеть, вверх перед собой.

— Не удостаивают, — крепко сказал Тиктин. — Вы, может быть, милостивый государь, нам что-нибудь разъясните? — обратился вдруг Тиктин к Башкину.

— По-моему, — запел Башкин высоким фальцетом, он поднял брови и украдкой глянул, как Наденька. Наденька глядела прямо на него и улыбалась, сощурив глаза. — По-моему, — сказал смелее Башкин, — колесо катится себе, — и он обвел в воздухе круг, — катится и катится и, кого надо, того раздавит... — и опять взглянул на Наденьку: — и просто мозжит себе без жалости, — и Башкин сам хихикнул.

— Кого? Кого? — крикнул строго Андрей Степанович и выпрямился на стуле.

— Дураков!

Санька с громом отодвинул стул.

— Вон! — заорал Андрей Степанович. — Вон! Марш!

Башкин водил глазами, Наденька глядела вниз, лица ее не видно.

— Марш, вам говорят! — Андрей Степанович стоял, тряслась борода, тряслись волосы.

Башкин встал и, не спуская глаз с Андрея Степановича, все время обратясь к нему лицом, попятился из комнаты. Слышно было, как шумно дышала Анна Григорьевна. Башкин тихо притянул за собой дверь, и медленно повернулась ручка. Андрей Степанович стоял. Все молчали.

— Пóшло все страшно, — сказала Надя, бросила салфетку на стул и вышла деловыми шагами.

— Дура! — крикнул Андрей Степанович и сел. Он несколько раз черпнул ложкой из порожней тарелки.

— Морду надо было набить! — Санька стукал кулаком по столу. — Набить рожу подлецу.

— Прекрати! — сдавленно сказала Анна Григорьевна. Санька осекся и все еще давил кулаком скатерть. — Сами перемигивались... — она кивнула на пустой Надин стул и вдруг всхлипнула и, прижав салфетку ко рту, быстро вышла из-за стола. Андрей Степанович крутым кругом повел за ней глазами. Санька сидел боком к столу и тыкал вилкой в скатерть. До боли во лбу хмурил брови.

— Позвони, — все прежней крепкой нотой сказал Тиктин.

Санька надавил грушу звонка, и закачалась тяжелая висячая лампа. Дуняша вошла с блюдом.

— Вот манера, — ворчал под нос Санька, — набирать в дом паршивых щенков разных, хромых котят... сволочь всякую... чтоб гадила... по всей квартире... милосердие... — И все краснея, краснея, Санька завертелся на стуле, привстал.

— Ешь! — скомандовал Андрей Степанович. И они вдвоем зло резали жаркое на тарелках.

Башкин быстро сбежал с лестницы и хлопнул парадной дверью, быстрым шагом дошел до угла, еще не видя улицы. И вдруг серым мраком запутала, закутала его улица. Он вдруг повернул назад и тут хватился, что уж стемнело, а фонарей нет, и какая-то темная людская вереница громкими сапогами дробит по тротуару, и мягкими кучками опухли все ворота, и в кучках гудит городской шепот. И когда вот крикнул мальчишка, звонко, по-удалому, его сгребли и засунули назад в ворота. Башкин перешел на другую сторону и стал против тиктинской парадной. Он топтался и вздрагивал спиной.

«Выйдет, выйдет непременно, — думал Башкин о Наденьке, — и тогда я пойду и объясню, сразу же заговорю возмущенно, что колесо — это издевательство. Да просто вызов, конечно же вызов. И не объяснять же суть в самом деле. Суть! Так и скажу — суть! Суть! Суть!»

В парадной Тиктиных желтый свет — швейцар нес керосиновую лампу. А сзади Башкина все шли люди, и голоса отрывочные, сухим горлом. И по спине ерзал мороз. И вот тяжелые шаги, и уж вблизи только узнал Башкин — городовой. Он подходил, широко шагая, как по лесу, чтоб меньше хрустело, и придерживал рукой шашку. Весь нагнулся вперед. Он шагнул с мостовой на тротуар, вытянул вперед шею и цепко глянул на Башкина.

— Проходи! — И мотнул ножнами в сторону: резко и приказательно. — Проходи, говорю, — вполголоса рыкнул городовой.

Говор у ворот заглох. Башкин стоял, глядел в глаза городовому, сжимал в кармане носовой платок.

— Пшел! — крикнул в голос городовой и толкнул Башкина в плечо. Башкин споткнулся.

— Как вы смеете!

— А, ты еще рассказывать, твою в кости бабушку, — городовой поймал его за рукав, шагнул к воротам, как со щенком

на веревке, и от кучки народу отстал дворник, он взял Башкина у локтя.

— Веди! — зло сказал городовой, и Башкин весь хлестнулся вперед и крикнул от боли меж лопаток.

— А!!!

— Молчи, молчи, ты! — хрипло шептал дворник. — Молчи лучше, а то целый не будешь.

Он вел его по мостовой быстрым шагом мимо темных домов, и пугливый свет мелькал в щелках окон.

Выл где-то холодным воем фабричный гудок, долго, без остановки, как от боли.

2-73

В УЧАСТКЕ за деревянным барьером — Виктор. В фуражке, в шинели, поверх шинели натуго пояс, ременный кушак, на кушаке кобура — в нем грузным камешком револьвер, две обоймы патронов. И шашку Виктор все время чувствовал у ноги. Слушал голоса и шепот. Ведут, ведут. Глухой топот по грязной мостовой. Вдруг крик: «Стой, стой, держи!» — залился свисток, и быстрый топот, дальше, дальше и дальше, свисток и крик... захлебнулся, и снова вскрик дикий и захлопнулся.

— Поймали. Видать, есть на нем что, того и текал, — сказал полутихо городовой от дверей. — Сказать, чтоб сюдой его вели?

Виктор хмурился, и дыхание камнем стало в груди.

— Пусть... сюда.

Городовой с визгом приотворил дверь и крикнул вниз:

— Давай его сюдой!

И внизу от крыльца крикнули:

— В дежурную!

Виктор ждал и вот услышал: голоса, ругань стиснутая и дробные ноги; пыхтят на лестнице. Городовой отпахнул двери, и человека, без шапки, в порванном пальтишке, втолкнули. Он, двое городовых, красные, задохшиеся, тяжело топнули по грязному полу.

Человек еле стоял, ухватясь за барьер, рука тряслась, лицо было в грязи, и от этого нельзя было узнать, какой человек. Виктор выступил из-за барьера.

— Вели... а он... текать, сука! — городовой поправлял сбившуюся фуражку.

11—3207

— Вы почему же.., — начал Виктор. Но в это время ахнул вскрик со двора, отчаянный, последний, и Виктор дрогнул, стиснул зубы:

— Ты почему ж, сволочь, бежал? А? Бежал чего? Говори! Говори! Говори, сукин ты сын.

Человек отшатнулся, сощурил, съежил лицо.

— Говори! — рявкнул городовой и срыву, с размаху ударил человека в лицо. И тупо хлестнул кулак. Человек шатнулся, из носу пошла кровь. Человек открыл рот. Он не кричал и, задохнувшись, выпученными глазами смотрел на Вавича. — Молчит еще, стерва! — и городовой рванул арестованного за ухо, зло и с вывертом.

— А! у-у! — и человек вдруг заголосил, заревел в слезы, завыл испуганным тонким воем.

— Убью! — вдруг взвизгнул Вавич и бросился к человеку и не знал, что сделать, и вдруг крепкий голос стукнул сзади:

— Что тут у вас?

Все глянули, только человек дрожащей нотой выл и бил зубами.

Помощник пристава шел из канцелярии и твердо глядел черными глазами.

— Это что нюни распустил? Кто такой? Паспорт! Давай паспорт!

— Текал, — сказал городовой.

— Обыскать! И дать!

— Слушаю! — в один голос сказали городовой и Вавич. Помощник пристава поправил усы, крепкие, черные, и вышел. Слышно было, как он, не торопясь, стукал по ступенькам. Виктор ушел за барьер, городовые шарили, мяли человека — он всхлипывал. Виктор подошел к окну, подышал. Сел за стол, взял ручку — ручка дрожала, он кинул ее, встал.

— Руки подыми! Руки! — как на лошадь, покрикивали городовые.

Виктор ждал, чтобы скорей увели человека. Но в это время дверь визгнула — Виктор еле услышал ее за шумом мыслей — и длинный молодой человек вошел в дежурную, за ним в мокром тулупе дворник.

— Здесь-то зачем меня держать? — тонким фигурным голосом пропел молодой человек. — Я ведь не собираюсь бежать. Только вот ты не уходи никуда, голубчик, — и он закивал назидательно дворнику.

Виктор все еще тяжело переводил дух. Он подошел к барьеру и с расстановкой спросил:

— Что... тут... у вас?

— Останавливался и не слушал распоряженья, чтоб проходить, и на Успенской... городовой...

— Распоряжение известно? — спросил, нахмурясь, Вавич.

— Все распоряжения мне превосходно известны, даже о которых и вам неизвестно, дорогой мой надзиратель, — и молодой человек улыбался, улыбался нарочно.

— Вы эти улыбки к чертям! — и Вавич стукнул кулаком по барьеру. — Улыбочки! Почему стоял?.. Если известно.

— Не стоял, а стояли. Поняли-с! Сто-я-ли! И не кри-чите. Не кричите. Нужно прежде всего спокойствие... особенно в такое время. Знаете, надеюсь, какое теперь время?

Виктор краснел и все громче и громче дышал, смотрел на улыбочку и в наглые глаза и вдруг крикнул:

— Паспорт!

— Вот. Совершенно правильно! Вот это совершенно правильно, — и молодой человек, не спеша, расстегнул пальто. — Вот, пожалуйста, и прошу сообщить, с кем имею честь так громко беседовать.

Виктор рванул из рук паспортную книжку.

— Башкин, — читал Виктор, — мещанин...

— Так что ж, что мещанин? — Вавич вскинул глаза на Башкина. — Да! И что из того, что этот, как его? Башкин. Ну и Башкин...

— Вот, этого весь его состав, — сказал городовой и протянул Вавичу узелок в грязном носовом платке — другой рукой он цепко держал за рукав арестованного. Другой городовой держал его под другую руку.

Арестованный искал, водил глазами по комнате, рыжими, отчаянными, заплаканными глазами. Он шевелил липкими от крови губами и каждым неровным вздохом говорил хрипло:

— Да я ж... Да я ж...

Башкин обернулся.

— Господин, милый господин, — вдруг закричал арестованный, он как крючками впился глазами в Башкина, — милый, — рванулся он к Башкину, — они убьют, убьют меня, у-убьют! — завыл он.

— Да позвольте, — вдруг лающим голосом крикнул на всю канцелярию Башкин, — что у вас тут делается! Где телефон?

Те-ле-фон! Те-ле-фон! — зашагал саженными шагами Башкин. Он шагал из стороны в сторону, грубо, не сгибая коленки, и кричал, поверх голосов: — Те-ле-фон!

На минуту все стали. Дворник шевелил густой бровью и следил за глоткой Башкина.

— Телефон! — вдруг закричал арестованный и рванулся от городовых.

Вавич выскочил из-за барьера:

— Какой, какой вам телефон, к чертовой матери?

— Я знаю! Номер! — кричал Башкин, как на площади. — И вы все! его знаете! Этот номер — два! семьдесят три! И этого человека я тоже! Тоже знаю! — и Башкин тыкал в воздухе пальцем, и хлипкая рука извилисто качалась в воздухе.

Вавич заметил, что городовой, что держал за рукав арестованного, вдруг замотал головой, нахмурив брови, звал Вавича подойти.

— Вы стойте, не орите! — Вавич дернул Башкина за плечо. Башкин весь мотнулся в сторону. — Не орать! — топнул Вавич ногой.

И вдруг Башкин побежал, побежал обезьяньей припрыжкой, прямо к телефону, что висел за барьером на стене у стола.

Он вертко снял трубку и завертел ручку звонка. Он кричал раздельно, не перестав еще вертеть:

— Два семьдесят три!

Вавич нагнал, стоял над ним, занес руку, но Башкин уже кричал:

— Карл Федорович! Узнаете мой голос? Да-да-да! Совершенно так: я, я, я! Я в участке, надо, чтоб немедленно освободили меня и еще человека, который мне нужен. И прикажите этому кавалеру, чтоб руки, руки подальше... Хорошо! Ровно в пять! Передаю!

И Башкин, не глядя, сунул трубку в подбородок Вавичу и кривым шагом отшагнул вбок.

Вавич ясно услышал твердый гвардейский голос:

— Говорит ротмистр Рейендорф! Отпустить лично мне известного господина Башкина и другого арестованного, которого укажет.

— Слушаю, — всем духом рванул Вавич. Каблуки он держал вместе и стоял перед телефоном прямо. Он простоял еще секунду, хоть слышал, как обрезала глухота телефон. Бережно повесил трубку. Обернулся на Башкина и покраснел и почув-

ствовал, как поплыл из подложечки жар в грудь и выше, и взяло за горло. Вдруг сел за стол, сказал сухим шершавым голосом: — Записать... паспорта.

Он взял ручку и давил ее в пальцах и шептал:

— Нахал... сукин ты сын... нахалище какое.

И не писал и хотел со всей силы вонзить перо в бумагу, в казенную книгу, и сам не заметил, как взял ручку в кулак.

— Думать не надо, очень просто, — певуче говорил Башкин.

Он взял измятый паспорт, что лежал поверх грязного узелка, и, плюнув в пальцы, отвернул:

— Вот: Котин Андрей Иванов, а я Башкин Семен. — Башкин взял с барьера свой паспорт и, высоко задрав локоть, совал паспорт в карман. — Так и запишите. Берите ваши вещи, голубчик, — обернулся Башкин к арестованному.

— Пустить? — буркнул городовой.

Вавич деревянно мотнул головой, все глядя в линованную книгу.

— Боже мой, голубчик, что с вами сделали. Извозчика, извозчика! Сходи за извозчиком, — подталкивал Башкин дворника.

У арестованного тряслись руки, узелок прыгал, он не мог его держать.

— Пойдем, пойдем, пойдем, — скороговоркой выдыхал он. Он держался за Башкина, вис на нем.

Башкин бережно поддерживал его за талию.

Городовой у входа толкнул дверь.

Вавич нажал; хрустнуло с брызгами перо, и Виктор повернул его яро, со скрипом.

— Пшли! — крикнул он городовым.

Дать

ВАВИЧ сидел и слышал только, как шумела кровь в ушах и билась жила о крючок воротника. Дверь взвизгнула, шлепнула, он не глянул и все еще давил кулаком в бумагу, потной горячей рукой. И только на шаги за барьером оглянулся Виктор. Все еще с яростью в глазах глянул на старого надзирателя Воронина. Воронин устало сел и брякнул шашкой, жидкой, обмызганной.

— Фу, туды его бабушку! — Воронин тер рукавом шинели лысый лоб, а шапка слезла за жирный затылок. Он повесил

локти на спинки стульев и мотал круглой головой с сивыми усами. — Нынче дома спать не будем! — и дохнул в пол, как корова. — Не-е, голубчики, не будем.

Виктор осторожно положил ручку за чернильницу и сказал сиплым шепотом:

— Военное положение?

— Да, да... дурацкое положение, сукиного сына, — мотал головой Воронин, — расходилось, размоталось, и черно, черно, сукиного сына... от народу черно... чернота, сукиного сына, на улице. И одернуть некому, руки нет, — и Воронин помял в кулаке воздух, — и телеграммы не подать. Побесилось все... и грязь, сукиного сына, — и Воронин выставил из-под стула забрызганное грязью голенище.

И вдруг резко затрещал звонок телефона. Вавич вскочил, Воронин поправил фуражку.

— Слушаю, Московский!

И вот из трубки забил в ухо резкий, как скрежет, голос: убили городового на Второй Слободской. Немедля послать наряд, двадцать человек из резерва, к месту. По постам приказ — с девяти чтоб никого на улицах, кто приблизится — палить без окрика. И патруль с винтовками, и меньше пяти не посылать! Для охраны участка...

Вавич не расслышал густого голоса за треском трубки.

— Что-с?

— Слушать! — загремело в трубке. — Для охраны придет полурота, разместить; кухню во дворе, командира в кабинете пристава.

Теперь только Вавич узнал голос помощника пристава и в уме увидел черные деревянные усы и крепкий черный взгляд.

— Слушаю! — крикнул Вавич.

— Что? Сам? — вскинулся Воронин.

— Помощник, — сказал Виктор и перевел дух.

— Он дельный, дельный. Что там?

— Городового убили на Слободке, и чтоб после девяти стрелять без окрика, если кто будет приближаться.

— Царство небесное! — снял Воронин картуз и боязливой рукой перекрестился. — Вот сукиного сына! — сказал злобно Воронин, глазки белесые ушли за брови, и он оглядел пронзительно всю канцелярию. — Ах так, распротуды вашу бабушку, — он хлестнул свистком на цепочке по шинели, — так вы, туды вашу в кости.

— Старшого сюда! — городовой высунулся в двери, коротко свистнул и крикнул тревожным басом: — Старшого в момент!

— А тут привели одного, вертлявый глист, — сердито, торопливо говорил Вавич.

— Ну! — Воронин глядел в двери.

— И он тут фофаном и потом к телефону и названил в жандармское, чтоб отпустить... и еще одного, чтоб с ним, что бежал, сукин сын...

— Ну! — Воронин стукал свистком по барьеру.

— Так я прямо морду хотел ему...

— Чего ж смотрел? — вдруг обернулся и рявкнул Воронин. — Такого б ему телефона дал, чтоб зубов тут до вечера не собрал. Сволочь эту теперь в морду и в подвал! Путается, кляуза собачья, тут промеж ног, распрона...

Воронин не договорил и выскочил навстречу старшему городовому. Тот грузной горой стоял и сипло дышал от спеху.

— Пошли патрулем двадцать с винтовками, чтоб по всем постам сказать — стрелять, кто сунется, к чертовой бабушке, — кричал ему вверх в лицо Воронин, — городового убили, на посту застрелили, сукины сыны, из-за угла прохвосты, из-под забора, в смерть — кости бабушку... Бей в дрезину теперь, где заметил — бей! К черту мандраже, разговорчики... пока они тебе пулю, так ты им три! Понял?

Городовой одобрительно и серьезно кивал головой.

— Марш! — гаркнул Воронин. Он покраснел, и усы висели криво, как чужие. Он перевел выпученные глаза на Вавича: — Сколько часов? Полвосьмого? Стой! К девяти всех уберем. Как метелкой, как ш-ш-шчет-кой, во! Чтоб как на погосте.

А за окном уж гудели голоса, тупо стукали в грязь ноги, и вдруг замерло, и «марш!» басом на всю улицу — и рухнул разом тяжелый шаг.

Кого-то толкали в калитку участка, и шипела глухая брань. Воронин подбежал к окну, отдернул форточку и крикнул, срывая голос:

— Дать! Дать! Дай ему в мою голову!

Вавич распахнул дверь, сбежал с лестницы и крикнул с крыльца:

— Дать, дать!

Но калитка уж захлопнулась, и только из-за ворот были слышны глухие удары и вой, вой не человечий, собачий лай и визг.

Виктор бегом через две ступеньки пустился назад в канцелярию. Воронин стоял у дверей.

— Шляпой, шля-пой не быть! Во! — и он потянул что-то правой рукой из левого рукава шинели. — Во! — он тряс в воздухе аршинным проволочным канатом, с гладко заделанным узлом на конце. — Этим вот живилом воров доводил до разговора — во! — И канат вздрогнул в воздухе гибкой судорогой. — Теперь и они узнают — револьверщики. Человек за шестнадцать рублей жизнь свою... жиденок какой-нибудь из-за угла, чертово коренье! — и Воронин рванул дверью.

Вавич пошагал перед барьером. Городовой у двери шумно вздохнул.

— На Второй Слободской кто стоял, не знаешь?

— Кандюк, должно, потом коло церкви Сороченко. Сороченку, должно. Там из-за ограды вдобно. Раз — и квита.

Вавич сел за стол. Он совался руками по книгам, папкам. Городовой из-под козырька глядел за ним, и Вавич кинул на него глазом.

«Надо распорядиться, что б такое распорядиться?» — думал Вавич.

— Почты не было? — спросил он городового, строго, деловито.

Городовой стоял, хмуро облокотясь о притолоку, и не спеша проговорил в стену:

— Какая ж почта, когда бастует! Что, не знаете?

И Вавич покраснел.

— Когда людей убивают... — сказал городовой и косо глянул на Виктора.

И Виктор не знал, что крикнуть городовому. Открыл книгу, где груда конвертов подымала переплет. Сделал вид, что не слышит городового, не видит его нахальной постойки, и не для чего, для виду, стал с нарочитым вниманием переглядывать старую почту. Он отложил уж письмо и подровнял его в стопке и вдруг увидал свою фамилию, он глядел на нее, как смотрят в зеркало, не узнавая себя, все-таки остановился.

Писарским крупным почерком было написано: «Его Благородию господину квартальному надзирателю Виктору Всеволодовичу Вавичу, в собственные руки». И фамилия два раза подчеркнута по линейке. Виктор осмотрел письмо. Оно было не вскрыто. Жидкий большой конверт в четверть листа.

Виктор разорвал.

Простым забором шли буквы, он бросился к подписи:

«С сим и остаюсь тесть ваш Петр Сорокин».

«Седьмого (7) числа, — писал Сорокин, — я уволен с вверенной мне службы в отставку без пенсии и ничего другого и прочего и все через мерзавцев, в чем и клянусь перед Господом Богом, потому что будто бы я давал поблажки политикам, причем содержание я давал им согласно устава и прогулки как и по положению о содержании подследственных. Но выходит, что я уже не гожусь, хоть и за двадцать два года службы побегов не случалось и не совершалось и бунтов, благодаря Бога, и только теперь мерзавцу надо было найти, что я не разбираю времени и не нажимаю мерами. Да, что же я их по мордам должен бить, а даже они не лишены прав и где же правило и если они — все образованные господа и молодые люди, и надо раньше пройти следствие и суд, а не сажать в карцер и не тумаками, если люди в своем партикулярном платье. Пишу тебе на служебный твой адрес, не пугай Аграфену Петровну, может быть, она уж тяжела и, чтоб, храни Бог, чего не случилось. Грошей моих хватит до Рождества Христова, ибо живу я у сестры в калидоре. Приищите мне, Виктор Всеволодович, подходящее занятие по моим годам, ремесла, сам знаешь, у меня в руках нет, а нахлебником вашим быть не желаю во век жизни с сим и остаюсь тесть ваш

Петр Сорокин».

Внизу было приписано: «а худым человеком никогда не был».

Узелок

— ЭТО мой хороший знакомый, — говорил Башкин Котину.

Котин спотыкался на тряских ногах и все еще всхлипывал.

— Хороший-хороший мой знакомый. Очень хороший, генерал один, Карл Федорович, понимаете? Немец такой хороший, — и Башкин наклонился к Котину и все гладил его по спине, будто вел ребенка. — Он добрый такой, так вот я...

— Идем у проулок, чего на просвет бросаться, а то враз засыплют, — и Котин круто свернул Башкина с тротуара и бегом потащил его через темную улицу в черный проход между домами. — Сюдой, сюдой, по-под стеночкой, по-под стеночкой, — горько шептал Котин.

— Меня же просто схватили на улице, — говорил Башкин вполголоса и шагал за Котиным, — подкараулили, что ли, меня

тоже били, городовой в спину, не успел в лицо... я увернулся. Я ведь знаю...

— Да тише, ей-бога, молчи и мотаемся, мотаемся, тольки веселей, — и Котин прибавил шагу.

Башкин совсем не знал этих мест. Фонари не горели, и темные дома смотрели мертвыми окнами. Мутное небо серело сверху. Никого навстречу, никого у запахнутых ворот. Котин уж почти бежал, спотыкался, ругался все одним ругательным словом, наспех его говорил, как заклинание, испуганным шепотом. Башкин ругался ему в голос, повторял то же слово, и вдруг дома оборвались, — серым воздухом наполнена площадь, и грузной темью видна сквозь серую мглу церковь, и колокольня ушла в дымное небо.

— Стой! — Котин придержал Башкина. — Не брякай ногами, фараон на той стороне. Вправо, вправо, сюдой обходи, — и он тянул Башкина за рукав, осторожно переступая. Он вел его через улицу к другому углу. И вдруг грохнул выстрел. Котин больно хватил за руку Башкина и припал к углу. — Стой, стой! — шепнул он.

Оба замерли. И вот слышней, слышней шаги, они легко прыгали по липкой мостовой, и человека несло, как ветром. Он в трех шагах стал виден, он огибал круто угол и с разлета всем телом саданул Башкина. Оба рухнули на панель, и Башкин ухватился за человека и теперь лежал, вцепившись в его шинель, а тот рвался встать, он отпихивал Башкина, уперся в горло. Котин бросился на землю, он отрывал их друг от друга.

— Пусти, убью, — шептал человек в лицо Башкину, и Башкин узнавал его испуганными глазами. Нога, это Котин наступил Башкину на локоть дрожащей ногой, но больно, больно. Башкин пустил, человек рванулся, встал и дунул в тьму.

На площади было тихо. Чуть было слышно, как ходил ветер в голых вершинах тополей в церковной ограде.

— Ух, к чертовой матери, идем, ну его к чертовой матери... иди ты вправо, а я влево, чье счастье, — дрожащим шепотом говорил Котин и то толкал, то тянул к себе Башкина, но сам все шел, шел по тротуару и шлепал ногами от слабости.

Башкин вздрагивал плечами, мотал дробно головой. Все было тихо. Улица уходила с площади вправо.

— Ой, идем, идем, — шептал Котин, — идем, ну его в болото, — он задыхался и теперь крепко держал Башкина под руку, как в судороге. — Сейчас, сейчас мой дом, — твердил Котин. —

Вот она, стенка, вот. Не надо стучать, а то заметно, не надо. Через стенку перелазь.

Стенка была в рост Башкина, он ощупал шершавый дикий камень.

— Подсади, милый, — стонал Котин; ноги не слушались его, и он слабо прыгал на месте. — А узелок? — вдруг почти крикнул Котин. — Узелок? — повторил он отчаянно и, показалось, совсем громко. — Нема? Нема? Ой, ты обронил, там обронил. Ой же, ой мать твою за ногу! Ты же нес, ой, чтоб ты сгорел. Найдуть, найдуть.

Башкин хлопал по бокам себя, лазал в карман, даже расстегнулся.

— Иди, неси, неси его сюдой, сейчас беги тудой, принеси узелок. Найдуть, на меня докажуть, ей-бога, чтоб ты сгорел, на чертовой матери ты ко мне пристал. Иди и иди! — И он толкал Башкина в локоть.

— Да почему я должен идти? — почти громко сказал Башкин.

— Ну, я просю, просю тебя, — и Котин вплотную прижался к Башкину и тянул к нему лицо. — Я тебе, что хочешь, ей же бога, вот истинный Христос, — и Котин торопливо закрестился.

Он крестился, пришептывая:

— Истинная Троица... Богом святым молюся, просю, просю я тебя. Просю, просю, просю, — твердил Котин и стукал дробью себя кулаком в тощую грудь. — Я тебе все, что хочешь, за отца родного будешь.

— Ну смотри! — вдруг сказал в голос Башкин. Он круто повернулся и зашагал прочь.

Котин сделал за ним несколько шагов и стал.

Башкин поднял воротник, спрятал далеко в карманы руки и пошел мерными шагами, раскачиваясь на ходу.

«Да, да, — встретят — кто? Се-мен Башкин. Пожалуйста, отправьте в жандармское, если угодно, да-да, прямо в жандармское, а если неугодно, то пойдемте в участок. Почему? Ясно: пошел на выстрел, как всякий гражданин. Ну да, на помощь. А если с улицы иду, потому что мне показалось, что сюда скрылся преступник или, может быть, человек, который убегал от выстрела. Но я никого не нашел... И они пойдут и найдут этого у забора... Нет, так и скажу: что шел из участка и провожал этого. Да прямо правду скажу. Что ж такого!» — Башкин все замедлял шаги, они становились короче, и он уж усилием воли заставлял каждую ногу становиться наземь. Вот черная церковь,

может быть, притаилась засада... набросятся. И вдруг Башкин вспомнил это яростное лицо и как он кричал шепотом: «пусти, пусти». Башкин чуть не стал. Но он все время шел как на виду и потому заставлял себя не сбавлять шагу: «Ну просто иду и все! Да, да, это тот самый богатырь». — Башкин совсем тайком в голове подумал: «Подгорный». И Башкин опять тряхнул плечами от озноба в лопатках. Он шагал уже по темной площади, посреди мостовой, прямо на тот угол, где сбил его с ног бежавший. Башкин тайком из-за воротника вертел глазами по сторонам. Он ждал, что выскочат, схватят, и ноги его были готовы остановиться в каждом шагу. Но он выкидывал их одну за другой и двигался вперед, как против потока. Вот угол, и прямо на Башкина глядит белесое пятно. Башкин вдруг повернул к нему, как будто это неожиданная находка. Он едва не упал, нагибаясь, и не чувствовала рука узелка, как будто была в толстой перчатке. Башкин стоял, разглядывая узелок. Затем он вдруг круто повернул назад и пошел. Ноги поддавали на каждом шагу, и быстрым шагом он вошел в прежнюю улицу. Он зажал узелок под мышкой. Что-то твердое давило в бок. Башкин залез в тугой узелок. Нащупал: большой деревенский складной ножик. Башкин подержал его минуту и вдруг юрко сунул нож себе в карман.

Котин двигался по стене навстречу и меленько зашагал через улицу. Он бормотал:

— Ой же, миленький, поцелую дай тебя, ой, хорошенький мой. Брат бы родной не сделал, ой, ей-бога же, — он жал к груди узелок.

Башкин подсаживал его на стенку.

— Тихо, тихо! — шептал Котин. — Идем у сарайчик, там тепло, я там сплю, когда пьяный, там хорошо. У двох можно слободно.

Котин чиркал и бросал спички, он что-то ощупью стелил на большом сундуке.

— Вот сядай, лягайте, как вам схочется. Я ведь квартиру имею, комнату. Я же шестерка, ну, сказать, официант, подавальщик, ну, человек у трактире. «Золотой якорь», например, знаете? Ну вот, — вполголоса шептал возбужденно Котин. — И тама повсегда с получки гуляют мастеровые. Я внизу, в черной, не в дворянской. Не бывали? Да ложитеся, я посвечу, — и он чиркал спички, — лягайте. Ну вот и все через это. Сейчас тут мастеровые. Ну, по пьяному делу, знаете, подружили. Потом же разговор ихний слышишь все одно.

— Ведь их разговор хороший, — солидно сказал Башкин.

— Ну, вот-вот. Я же понимаю. Студенты же сочувствуют, я ведь тоже... Я ведь в заводе в мальчиках когдай-то был. Ну, и теперь вроде свои. И вот тут сунули мне пачку — сховай, спрячь ее. Почему нет? Очень даже слободно. Я ее в машину приладил. — И Котин тихонько рассмеялся; он уже лежал рядом с Башкиным, и оба грелись, прижимаясь друг к другу. — Я ведь понимаю, я ж людей перевидел. Ведь в нашем деле сотни их, людей, и господ и всяких, и я же вас враз признал, что вроде студент переодетый или так... с таких.

— А как же вас схватили? Ведь это ужасно, как вас стали бить! Я не мог видеть, как при мне...

— Ой, убили б, накажи меня Господь, — и Котин привскочил на сундуке, — убили бы, и я теперь уж не живой был бы. Вы мене как с огня вытягнули. Ой же, Боже ж мой, — и он терся лбом о грудь Башкина. — Я ведь сам же их, гадов! Да что много рассказывать? Дайте мене левольверт, я б их сам настрелял бы... дюжину. Я ведь могу левольверт узять, — и он зашептал Башкину в ухо. — Могу вам дать, ей-бога! Хотите, дам! — и Котин снова привстал. — В мастеровых есть. Я вже знаю, где они ховають, и могу вкрасть для вас... аж три могу вкрасть. Сколько потребуется для вас, разного сорта. Как хотите — скажите, хоть бы завтра. Для вас повсегда.

Он не мог уняться и принимался целовать Башкина, и Башкин не знал, отдавать ли поцелуи. Ему хотелось плакать. Он молчал и обнимал Котина за плечи.

«Я его спас, — говорил себе в уме Башкин, ровным тронутым тоном, — он мой. В Индии, кажется, такой становится рабом. Но мне ничего не надо. Ни-че-го!»

— Мне не надо револьверов, голубчик, — сказал Башкин проникновенным голосом, — я не убиваю. Не надо крови и убийств.

Он еще хотел сказать: а надо спасать другого, первого встречного хотя бы, но удержался. Слезы текли из глаз Башкина ровным теплым током.

Никогда

СТАРИК Вавич подклеивал футляр от очков. Держал его над самой лампой на вытянутых руках, нажимал толстым пальцем тоненькую бумажку:

— Ведь скажи, чертовщина какая, ах ты дьявол собачий, — а бумажка липла не к футляру, а к пальцу, и старик швырнул в сердцах футлярчик и крикнул: — А черт их всех дери!

— Что, что там? — застонала старуха — Кого это ты, Сева? Сева!

В это время кто-то дернул входные двери, и разговор в сенях. Тайка это. Смеется, еще кто-то.

Всеволод Иваныч вышел, он держал липкие руки на отлете и хмурился в темноту.

— Добрый вечер! — услышал он из темноты гортанный говор. — Я говорю, что, значит, выходит, что и куры-таки забастовали. Нет, ей-богу, на базаре нельзя найти одно яйцо.

Тайка смеялась и смущенно и нахально как-то.

— Ничего не вижу, — сказал Всеволод Иваныч, — простите, господин, ничего, знаете, не вижу.

— А темно, оттого и не видно.

— Это Израильсон, — сказала Тая.

Но Израиль уже шел к старику, он щурился на свет и протягивал руку.

— Что вы так смотрите, я не разбойник, — улыбаясь, говорил Израиль, — я флейтист.

— Извините, — старик поднял обе руки, — у меня руки липкие.

— От меня ничего не прилипнет. Здравствуйте, господин Вавич, — и он взял толстую руку Всеволода Иваныча своими сухими цепкими пальцами. Он смотрел на старика, как на старого знакомого, которого давно не видел.

— Я обещала, — говорила Тая уже из кладовки, — что у нас найдется десяток, Илья Григорич искал... а я предложила.

— Нет, я-таки сам подошел и спросил. Я же знаю, что вы славная барышня.

Всеволод Иваныч все стоял, подняв руки. Он глядел, как Тайка проворно, вертляво, с какими-то поворотами бегала из кладовки в кухню, брякала плошками, как проворно свет зажгла.

— Вам два десятка? Можно два?

И каким она гостиным, не своим каким-то голосом, — смотрел на Тайку отец, как она блестела на Израиля глазами, как двумя пальчиками держала кухонную лампу.

— Кто там? Кто? — видно, уж давно тужилась голосом старуха из спальни.

— Сейчас, сейчас! — крикнул в дверь Всеволод Иваныч.

— Сева! — крикнула старуха.

Всеволод Иваныч сердитыми шагами пошел в полутемную спальню и быстрым шепотом заговорил:

— Да там какой-то, яйца... пришел... десяток, что ли.

— Кто ж такой? — с испугом спросила старуха.

— Да не знаю, Тайка привела, — и Всеволод Иваныч шагнул к двери; он был уже в столовой, старуха крикнула вслед:

— Зачем же в сенях? Пусть войдет. Проси!

— Войдите, — сказал Всеволод Иваныч хмурым голосом.

— Зачем? — сказал Израиль, подняв брови. — Здесь тоже хорошо.

— Войдите! — крикнула старуха, задохнувшись.

— Ну хорошо, я зайду, — быстро сказал Израиль. Он прошагнул мимо Всеволода Иваныча и громко сказал: — Ну, вот я зашел. Вы хотели слышать, как мы говорим — вот мы уж тут. Вам же нехорошо беспокоиться. Что? Лежите, мадам, покойно. Я сейчас пойду, — кричал Израиль в двери.

— Нет... нет, — говорила, переводя дух, старуха. — Вы присядьте!

Всеволод Иваныч пробовал скрутить папиросу, но клейкие пальцы путали и мяли бумагу. Он торопился и конфузился.

— Это вы клеили? — сказал Израиль и взял со стола футлярчик. — Это надо с ниткой. Вы имеете нитку? — он серьезно вертел футлярчик перед глазами.

— Я знаю, знаю, — говорил в бороду Вавич и сыпал табак на скатерть, на блюдце.

— Нитки у меня здесь... на комоде, — и слышно было, как брякнули спички в старухиной руке.

— Дайте мене нитку! Зачем вам мучиться? С ниткой же просто.

— Ну дай же! — крикнула старуха.

Всеволод Иваныч зашаркал в спальню.

— Да где тут еще с нитками тут, не знаю я, где тут нитки эти у вас... — он сердитой рукой хлопал по комоду, пока не упала катушка, не покатилась. Сердито вздохнул старик, поймал ее и, не глядя на Израиля, сунул ее в воздух.

Тайка сидела уж в столовой, глядела, как Израиль старательно забинтовывал ниткой склеенный футлярчик. Он держал его перед самыми глазами и деловито хмурил брови.

— Держите тут пальцем, — сказал Израиль, все глядя на футлярчик.

Тайка спрыгнула с места и, отставя мизинчик, придавила указательным пальцем нитку. Исподнизу глянула Израилю в глаза. А он, нахмурясь, тщательно затягивал узелок.

— Обтерите с мокрым платочком, и завтра утром можно будет снять нитку. — Израиль бережно положил футлярчик на скатерть. — А что слышно с яйцами? — вдруг он обратился к Тае и поднял брови.

Тайка выпрыгнула в двери.

— Покойной ночи, мадам, — крикнул Израиль, как глухой, в двери старухе. — Вы, главное, не беспокойтесь, — весело крикнул он, выходя. — До свиданья, господин Вавич!

Израиль тряхнул волосами и притворил за собой дверь.

— Я вас провожу, — говорила Тая из кухни, — а то собака. — И она взмахнула в воздухе кофточкой, надевая, и лампа погасла. — Ничего, я найду — не чиркайте спичек.

Она впотьмах схватила кастрюльку с яйцами и выскочила в коридор.

— Нет, нет, вы разобьете, — Тая не давала кастрюльку, — вы яичницу сделаете.

Они вышли за ворота. Ветер обжал Таины юбки, они путались и стесняли шаг. Тая из-за спины Израиля покосилась на окна; за шторой маячил силуэт Вавича, бесшумно носился по красноватым окнам.

— Слушайте, — сказал Израиль, — ваш папаша хороший старик, ей-богу. Славный старик, ой! Так можно упасть! — Израиль подхватил Таю под руку.

— А у вас есть папа? — спросила Тайка. Она нарочно делала маленькие шаги — близко были ворота Израилева дома.

— Папаша? — сказал Израиль. — Он сейчас живой, он еще работает. Он часовой мастер. Он хотел меня учить на фотографа; а мой дядя — так он скрипач — он говорит: мальчик имеет хороший слух. А фотография — так это надо хорошие-таки деньги. Аппараты, банки-шманки. Так меня стали учить на флейте. Так спасибо дяде.

Тая, как будто обходя грязь, жалась к руке Израиля, и ей представлялся отец Израиля, и столик перед окошком, и в глазу у старика барабанчик со стеклышком. И, наверно, страшно добрый старичок.

— Вы что? Любите музыку? — вдруг спросил Израиль строгим голосом.

— Люблю, — тихо сказала Тая.

— А что вы любите?

Тая молчала.

— Я ж спрашиваю — что? Ну, музыку, но какую музыку? — почти сердито повысил голос Израиль. — Музыку, музыку. Ну а что?

— Музыку! Музыку, ну а что? — передразнил из темноты акцент Израиля мальчишечий голос.

— Жид — еврейка, грош — копейка, — пропел другой мальчишка из темноты совсем близко.

— А ты давно русский? — Израиль нагнулся в темноту к забору. — А? Уже восемь лет есть? Нет?

Мальчишки затопали в сторону.

— А раньше ты что был? — улыбаясь, говорил Израиль и поворачивался за шагами. — Ничего? А ты читать умеешь? Русский! А читать по-русски умеешь? Нет? Приходи, я тебе научу.

Мальчишки зашлепали по грязи прочь.

— Жи-ид! — тоненькими голосами крикнули из темноты.

— Дураки какие! — шептала громко Тая. — Мерзавцы этакие.

Израиль стоял у своих ворот.

— Что? Они себе мальчики, а их научили. Им скажут, что евреи на Пасху русских мальчиков ловят и кушают, так они тоже будут верить.

— Фу, фу! — отряхивалась Тая.

— Мне один образованный человек говорил, что он таки наверное не знает или это правда, — смеялся Израиль, — ей-богу: адвокат один.

— Нет, нет, — отмахивалась Тая рукой, и шевелились в кастрюльке яйца, — нет! Никогда! Ни за что! Ни за что на свете! — она говорила, как заклинала; собачка тявкала за воротами.

— Слушайте, идите домой! — сказал Израиль.

— Нет! Никогда! — все твердила, вытверживала Тая.

Израиль осторожно брал кастрюлю, Тая крепко, судорожно жала ее к себе и махала свободной рукой:

— Нет! Ни за что!

— Придете другой раз, днем. Я вам поиграю. Нет, в самом же деле, сейчас поздно.

Тая вдруг остановилась. Она передала кастрюльку.

И вдруг поцеловала Израиля в руку. Поцеловала быстро, как укусила, и бросилась прочь бегом по мосткам.

— Хода, Митька! — визгнул мальчишка. Испуганные ноги дробно затопали впереди. Тая толкнула калитку.

— Жи-дов-ка! довка! — крикнули в два голоса ребята.

Марья Ивановна

ИЗРАИЛЬСОН сразу не понял, что это сделала барышня. Но потом крепко обтер руку о шершавое пальто и бормотал на ходу:

— Это уже нехорошо. Это уже не надо. Ей-богу, славная барышня. — И он еще раз обтер руку. Легким воздухом носилась в голове Таинька, пока Израильсон кружил по винтовой лестнице и легко, воздушно прискрипывали ступеньки. Израильсон нащупал стол. Зажег свечку. Дунул на спичку и сейчас же засвистел — тихо, чуть задевая звуком тишину.

На холодной стене над кроватью папа и мама на карточке. Папа в сюртуке, белая борода. Сидит, расставя коленки, а рядом мама в черной кружевной шали. У папы один глаз прищурен, будто он приготовился к удару, но твердо глядит вперед, а у мамы испуганный вид, и она жалостливо смотрит, будто видит что-то страшное. Израильсон как будто в первый раз увидал эту карточку. Он взял со стола свечку и близко поднес к карточке. Он перестал свистеть.

— Что, старики! — кивнул Израильсон карточке. — Боитесь, что Илюша крестится? — сказал он по-еврейски. — Да? — Он прислушался — скрипели осторожно ступеньки.

«Если она, — думал беспокойно Израильсон, — сейчас же отведу домой; хорошо, я пальто не снял», — и он протянул руку к котелку. Дверь медленно отворилась, просунулась голова в платке.

— Вам записка, — зашамкала старуха, — с утра еще, позабывала все сказать. За делами, за этими, все забудешь, — и она протянула Израильсону сложенную бумажку.

Израильсон выпустил воздух из груди.

«Илюша, — стояло в записке, — есть дело: приходи, проведем время. Будет Сема и приведет М.И., ей-богу, приходи.

Натансон».

— Вы яиц, вижу, достали, — голосом подкрадывалась старуха.

Израиль уже напялил котелок.

— Берите пяточек, берите и свечку задуйте, умеете? Нет? Залейте водой!

Старуха костлявыми пальцами выгребла яйца и смеялась угодливо.

Израильсон весело застукал по лестнице. Он свистел веселое навстречу ветру и шел, загребая правой ногой.

У виолончелиста Натансона в маленькой комнатушке было дымно — на этажерке крикливо горела керосиновая лампа без абажура. Вокруг письменного стола гомонили задорные голоса:

— Мажу, тьфу — гривенный! — раскатился актерский голос. На диванчике переливами хохотала девица, двое мужчин тесно зажали ее меж собой.

— Марья Ивановна! На ваше счастье можно купить? — кричал кто-то от стола.

— Марья Ивановна, вас спрашивают, — толкали соседи девицу, — спрашивают: можно вас купить? Это не я, это там спрашивают!

— Илюша! — крикнул хозяин, но вслед за Израильсоном вошел высокий сухой человек.

— Ура! Познанский! — все весело вскочили.

Но Познанский пожевал сухими бритыми челюстями и, не снимая шляпы, молча поднял руку.

— Внимание, господа! — он обвел всех блестящими глазами.

На лицах всех застыло ожидание смешного.

— Господа! — строго сказал Познанский. — Сегодня, сейчас даже, ко мне прибыл человек из Екатеринослава, — лица гостей потухали. — Он приехал с последним поездом, поездов больше не будет. Так он говорил, что в Екатеринославе уже началось...

Лица стали тревожны, только кое-кто еще надеялся на шутку.

Познанский сделал паузу.

— Ну а что же началось? — раздраженно сказал хозяин и передернул плечами.

— Все стало! — провозгласил Познанский. — Тьма в городе. По улицам ездят казаки! На телеграфе войска! На вокзале драгуны. В театре митинги. Разгоняют нагайками. На окраинах стрельба. Настоящая стрельба, господа! — Познанский замолчал и водил торжествующими глазами от лица к лицу.

— Здесь тоже бастуют, — сказал хозяин. Он держал на ввернутом штопоре пивную бутылку.

— Здесь играют в карты! — Познанский сделал рукой жест и повернулся к двери.

— Слушай, ты брось! — хозяин поймал Познанского за пальто. Мужчины торопливо закуривали. Игроки сидели вполуоборот, прижав пятерней деньги.

— Что ж нам делать? — почти крикнула Марья Ивановна. — Что же делать? — поправив голос, повторила она.

Все заговорили тревожным гулом.

— Надо что-нибудь делать, господа! — говорил Познанский, разматывая кашне.

— Мы же не можем стрелять, мы же стрелять не умеем, — говорил актер с толстым обиженным лицом.

— Тс! Не кричите! — тревожным шепотом сказал хозяин, приложил палец к губам. И шепот покрыл и притушил голоса.

— Действительно, чего мы орем! — сказал Познанский и притянул плотнее дверь. — Господа, — Познанский говорил громким шепотом, — господа! Ведь все, все поголовно... люди умирают, идут на риск... головой. И если что будет, спросят: а где вы были?

— Ну а что? Что же? — шептали со всех сторон.

Хозяин поставил бутылку со штопором на комод.

— Мы же все артисты, — сказал громко Израильсон, — ну а если мы бастуем, так у кого от этого голова болит? Большое дело?

Познанский брезгливо оглянулся на Израильсона.

Все зашептали, оглядываясь на флейтиста.

— Па-звольте! Позвольте! — перебил всех Познанский. — Можно собраться, ну, не всем, и составить резолюцию... и подать...

Марья Ивановна прикалывала шляпку, глядя в стекло картины.

— Подать в здешний комитет. Здесь же есть какой-нибудь комитет? Есть же...

— Кто меня проводит? — все еще глядя в картину, пропела Марья Ивановна.

— Это даже смешно, — сказал Израильсон. — Ей-богу, это таки смешно.

Он не успел еще раздеться и с котелком в руках вышел в двери. И вдруг он вернулся из коридора и высунулся в приотворенную дверь.

— Я понимаю деньги собрать — я знаю сколько? Это да.

Все замахали, чтоб он запер дверь.

— Люди же хотят кушать, что?

Израильсон захлопнул дверь и вышел на улицу.

Белый крест

ПЕТР Саввич Сорокин проснулся на сундуке. Мутной дремотой чуть синело окно в конце коридора.

Петр Саввич осторожно, чтоб не скрипнуть, спустил ноги, нащупал валенки. В кухне, в холодной, воровато поплескал водой — не крякнул, не сплюнул крепко, а крадучись вышел в темный коридор и встал по-солдатски перед окном. Он молился Богу на свет окна: оттуда из-за неба сеет свет воля всевышняя. И стал аккуратно вышептывать утренние молитвы, истово надавливал слова и прижимал твердо и больно пальцы ко лбу, клал крестное знамение, как ружейный артикул: по приемам. И когда вдавливал пальцы в лоб, думал: «Пусть Господь убьет, его воля, а я не виноват».

Потом сел на сундук и стал ждать утра. Вздыхал потихонечку, чтоб хозяев не тревожить. А когда закашляла в комнате сестрица, пошел на кухню наливать самовар. Не стуча, колол щепочки.

Было девять утра. Сорокин постучал к приставу.

Пристав сидел перед потухшим самоваром в ночной рубашке. Объедки закусок на тарелке. Пристав задумчиво ковырял в зубах. Сорокин стоял в дверях с фуражкой в руке. Пристав мазнул по нему рассеянным глазом и прихмурился одной бровью.

— Ну что скажешь? — и пристав ковырнул где-то далеко во рту.

— С добрым утром! — сказал Сорокин и улыбнулся так, что не стал похож на себя.

Пристав опять заглянул и поморщился:

— Вчера ж... я тебе сказал, — и пристав стал тереть губы салфеткой, — говорил уж... куда тебе? Ведь в пожарные ты не годишься. Ты же на стенку не влезешь. Влезешь ты на стенку? — и пристав, не глядя, махнул рукой вверх по стене.

Сорокин снова сморщил улыбку.

— Конечно-с.

— Что «конечно»? — подкрикнул пристав и с шумом толкнул назад кресло и встал. — Что конечно? Влезешь конечно или не влезешь конечно?

— Да никак нет, — Сорокин попробовал посмеяться.

— Ну вот, — сказал пристав с расстановкой, — никак нет. На стенку ты не влезешь, — пристав сел на кровать и взялся за

сапоги. Сапог длинный, узкий, как самоварная труба, не пускал ногу, вихлялся, и пристав зло морщился.

— Позвольте подсоблю, — и Сорокин проворно кинул шапку на стул и подбежал. Он старался направить сапог.

— Да пусти ты... а, черт! — и пристав тряс ногой, стараясь дать ходу голенищу. — А, дьявол! Тьфу! — Пристав зло огляделся кругом, запыхавшись.

Сорокин пятился к двери.

Он шагнул уже в сени. Но вдруг остановился. Пристав перестал пыхтеть и слушал. Сорокин решительным шагом вошел снова в комнату, подошел к кровати.

— В чем мой грех? — крикнул Сорокин.

Пристав поднялся в одном сапоге, другой он держал за ухо.

— Грех мой в чем? — крикнул еще громче Сорокин.

— Да я тебе не судья, не судья, Христос с тобой, — скороговоркой заговорил пристав.

— Не можешь сказать? Нет? — крепким солдатским голосом гремел Сорокин. — А нет, так к чему поношение? Поношение зачем?

Пристав краснел.

— Взятки кто брал? — Сорокин топнул ногой вперед. — Не я! Вот он крест и икона, — Сорокин махнул шапкой на образа, — поджигательством я не грешен, сам ты, сам ты... — задыхался уж Сорокин, — сам ты... знаешь, сукиного сына, кто поджигает. Не знаешь? Сказать, сказать? Я двух арестантов поставлю — они тебя в плевке, прохвоста, утопят! Господину прокурору! Что? Сам, стерва, на стенку полезешь! Полезешь! Ах ты, рвань! — и Сорокин замахнулся фуражкой.

Пристав, красный, с ярыми глазами, мигом махнул сапогом, и сапог стукнул по крепкому плечу, отскочил, а Сорокин уж толкнул, и пристав сел с размаху, и ахнула кровать. Сорокин уж ступил коленом на толстую ляжку, но пристав, плюя словами, кричал:

— А зятя, зятя твоего? Кто? Кто? А?

Сорокин вздохнул всем телом и выпученными глазами глядел на пристава.

— Что? Что? — кричал уж пристав, вставая. — А ты в морду лезть. Сол-дат!

У Сорокина были слезы в глазах.

— Вон! — заорал всем нутром пристав и размахнулся ботфортом, и полетела чернильница со стола.

Сорокин бросился в двери, в сенях уж торчали двое городовых. Сорокин нахлобучивал фуражку.

— Вон его! — орал вслед пристав, и сапог пролетел в сени. Городовой звякнул дверью, и Сорокин махнул одним шагом через всю лесенку.

Сорокина понесли ноги по улице, завернул в переулок, еще влево, на людей не глядя, где б их поменьше. Сзади как ветром холодным мело и гнало. И вот уж липкая грязенка и мокрые прутики, голые кустики. Сорокин не узнал городского сада, как по чужому месту заходил, и, когда три раза прошел мимо заколоченной будки, увидал, что кружит. Сел на скамейку, отломил прутик, зажевал, закусал вместе с губами. Опять вскочил и уж не по дорожке, а сквозь кусты пошел напролом. Но идти было некуда — черная решетка расставилась за кустами, а за ней проходят люди. И глядят. Сорокин повернул назад, цеплялся полами за кусты, вышел вон из сада и пошел наискось по площади, в глухую улицу, зашагал по ней ходко, вниз. И вдруг сзади:

— Петр Саввич!

Сорокин прибавил шагу и вобрал голову в воротник, по самые уши.

«Бежит сзади. Не признаюсь, — решил Сорокин, — дураком так и пойду, будто не я».

— Петр Саввич! — совсем забежала вперед, в самое лицо. Какая-то... улыбается.

Петр Саввич моргал бровями и не узнавал.

— Ну? Не узнали? Тайку Вавич не узнали? — и Тайка бежала, пятясь задом, и глядела в самые глаза Сорокину. — Вы не к нам, Петр Саввич? Идемте... Это ничего, что никогда не бывали!

Сорокин вдруг встал. Он узнал Тайку. И сразу покраснело серое лицо. Он замахал рукой вперед:

— Я туда, туда... Туда мне надо.

У Тайки осунулось лицо.

— Куда? — тревожным шепотом спросила Тая.

— Туда... к чертям! — и Сорокин шагнул решительно. Застукал тяжелыми сапогами по мосткам. Он вышел на порожнее место. Двойным звоном постукивал молоток в черной кузнице на отлете, и тощая лошаденка на привязи стояла недвижимо, как деревянная. Петр Саввич стал загибать влево, топтал грязь по щиколотку.

«Губернатору сказать. Прийти и сказать: ваше превосходительство... все напраслина...» — И тут вспомнился сапог. «Ни-

куда, никуда! А вот так и иди, сукин сын, — думал Сорокин, — иди, пока сдохнешь. Идут вон тучи: куда-нибудь, к себе идут. И церковь вон стоит — при месте стоит и для чего... А ты иди, иди и все тут! — подгонял себя Сорокин. — Никуда, иди, сукин сын. Греха нет, а все равно сапогом».

Он сам заметил, что взял направление на церковь — белую на сером небе. Он уж шел по кладбищу, по скользкой дорожке, и смотрел на понурые, усталые кресты. И вот решетчатый чугунный знакомый крест. Женина могилка. Спокойно и грустно стоял крест, раскрыв белые объятия.

— Серафимушка! — сказал Сорокин и снял шапку.

Холодный ветер свежо обдул голову. Он смотрел на белый крест, казалось, что стоит это Серафима, стоит недвижно из земли и без глаз глядит на него: что, дескать, болезный мой?

Сорокин сел на край могилы. И вдруг показалось, что один, что нет Серафимы, а просто крест чугунный, и белая краска облезла. Он сидел боком и глядел в грязь дорожки. И вспомнил, как в родильном лежала уж вся простыней закрыта. Как туда вез и руку ему жала от боли, «Петруша, Петруша» — приговаривала. И опять боком глаза видел белые Серафимовы объятья и — двинься ближе и обоймет. И слезы навернулись, и дорожки не стало видно, а вот близко-близко руки Серафимушкины.

Самовар

— ВСЕ равно фактов нету! — Филипп сказал это и кинул окурок в стакан. Наденька сидела, не раздеваясь, в мокром пальто, и глядела в пол. — Разговоров этих я во как терпеть не могу. — Филипп встал и провел пальцем по горлу, дернул. — Во как!

Он шагнул по комнате и без надобности крепко тер сухие руки полотенцем.

— Убитые, убитые! — иронически басил Филипп. — Я вот пойду сейчас или тебя, скажем, понесет — и очень просто, что убьют. Вот и будут убитые, а это что? Факт? Пойдет дурак вроде давешнего и давай орать: вооруженное восстание! Трупы на улицах! Баррикады! Такому пулю в лоб. Провокатор же настоящий. А он просто ду-рак... и прохвост после этого.

Надя все глядела в пол. Молчала. Скрипнула стулом.

— Конечно, с револьвером против войск не пойдешь... — пустым голосом сказала Надя.

— Так вот нечего, нечего, — подскочил Филипп, — нечего языком бить. И орать нечего!

— Я ж ничего и не говорю, — пожала Надя плечами.

— Ты не говоришь, другой не говорит, — кричал Филипп, — а выходит, что все орут, дерут дураки глотку, и вся шушваль за ними: оружия!

— Ну а если солдаты... вон в Екатеринославе в воздух стреляли...

— А народ врассыпную? — Филипп присел и руки растопырил. — Да? Так на черта собачьего им в них стрелять, их хлопушкой распугаешь. В воздух! А трупы? А трупы эти со страху поколели? Да?

Наденька подняла огонь в лампе. Огонь потрескивал, умирая.

— Я пойду! — сказала Надя и вздохнула. Она встала.

— Куда ты пойдешь? Видала? — и Филипп тыкал пальцем в часы, что висели над кроватью. — Сдурела? Половина десятого. На! — И Филипп снял часы и поднес к погасающей лампе. — Во! Двадцать семь минут. Какая ходьба? Шабаш! Сиди до утра.

— Ну это мое дело. Чепуха, ну переночую в участке и все. — И Надя решительно пошла к двери.

— Да слушай, брось. Ей-богу! Валя! Товарищ! Да я силом должен тебя не пустить. — И Филипп загородил дверь. — Давай сейчас лампу нальем, самовар взгреем. Верно! И за мной чисто — никто сюда не придет. Брось ты, ей-богу! — и он тихонько толкал Надю в плечо назад.

Надя отдергивала плечо, отводила Филиппа рукой и двигалась к двери.

— Ладно мне трупы строить, — вдруг зло сказал Филипп и дернул Надю за плечо рывком, и она повернулась два раза в комнате и с размаху села на кровать. Она подняла раскрытые глаза на Филиппа и приоткрыла рот, и вдруг ярое лицо Филиппа стало в мелких улыбках — все лицо бросилось улыбаться, и Филипп быстро сел рядом. — Наденька! Голубушка! Да не могу ж я этого! Не могу я терпеть этого! Господи Боже ты мой! Да нет. Не могу... чтоб в такой час. Да ведь я ж отвечу за это! Наденька, на самом деле.

Лампа трескала последним трепетом огня и вздрагивали вспышки. Филипп то обнимал Надю сзади за плечи, то вдруг

бросал руку. Он подскочил к лампе, поднял огонь и снова уселся рядом — Надя не успела привстать.

— Да побудь ты со мной! Что же я, как шельма какой, выходит, в участок, что ли, от меня... так выходит? Не веришь, что ли, выходит? Выходит, я тебе верю во как! — И Филипп сжал Надину руку повыше кисти. Надя задохнулась, не крикнула. — А ты мне, значит, никак. Наденька! Слышь, Наденька, — и он крепко тряс ее за плечо. — Надюшка, да скажи ты мне: вот побеги ты, Филька, сейчас через весь город и принеси мне... с дороги камушек, и я тебе побегу, босой побегу, и через всех фараонов пробегу, и сквозь черта-дьявола пройду. Хочешь, хоть сейчас? Пропади я пропадом! — И Филипп отдернулся, будто встать. — И смотрю я на тебя, ей-богу, маешься, маешься, родная ты моя, за чего, за кого маешься? И чего тебе в самом, ейбогу, деле, чего тебе! И куда тебе идти? Сымай ты салоп этот, ну его к черту, — и Филипп в полутьме рвал пуговки с петель на Наденькиной застежке. Он почти сдернул его с плеч, вскочил волчком. — Я сейчас лампу на щуп налью. Один момент... Момент единственный... — и Филипп звякал жестянкой, присев в углу с лампой. — Эх, Наденька ты моя! — вполголоса говорил Филипп; уж лампа горела у него в руках. — Эх, вот она: раз и два, — и он обтер лампу и уж бpякал умывальником в углу у двери. — Да скидай ты салоп этот.

Наденька все недвижно сидела и следила глазами, как во сне: и видела, как чудом завертелся человек и как само все стало делаться, что он ни тронет, и не понимала слов, которые он говорил.

— Давай его сюда, — говорил, как катал слова, Филипп, и салоп уж висел на гвозде. — Сейчас самовар греть будем. — И он выкатился в коридор, и вот он уж с самоваром и гребет кошачьей хваткой красные уголья из печки. — Давай, Надюшка, конфорку, давай веселей, вона на столе! Эх, мать моя! — Филипп дернул вьюшку в печке, ткнул трубу самоварную, прижал дверкой. — Чудо-дело у нас, во как! А чего у меня есть! Знаешь? — и Филипп смеялся глазами в Надины глаза, и Наде казалось — шевелится и вертит все у него в зрачках: плутовство детское. — А во всем городе хлеба корки нет? Да? А эвона что! — и сдобную булку выхватил из-за спины Филька. — Откеда? А вот и откеда! Бери чашки, ставь — вон на полке.

И Надя подошла к полке и стала брать чашки — они были как новые и легкие, как бумажки, и глянули синими невиданными

цветами и звякали внятно, как говорили. А Филипп дул в самовар как машина, и с треском сыпались искры из-под спуда. Проворной рукой шарил в печке и голой рукой хватал яркие уголья.

— Вот оно, как наши-то, саратовские, вона-вона! — кидал уголь Филька. — Хлеб-то режь, ты хозяйствуй, тамо на полке нож и весь инструмент.

Наденька взяла нож как свой, будто сейчас его опознала.

Анна Григорьевна стукнула в дверь.

— Андрей, не спишь?

— Кто? Кто? Войдите, входи, — торопливым голосом отозвался Андрей Степанович.

Анна Григорьевна тихонько открыла дверь. Муж стоял на столе, другая нога была на подоконнике. Он сморщил серьезную мину и замахал рукой.

— Тише, Бога ради, я слушаю. — И он весь присунулся к окну и поднял ухо к открытой форточке.

Сырой тихий воздух не спеша входил в комнату, и Андрей Степанович выслушивал этот уличный воздух.

— Андрей... — шепнула Анна Григорьевна.

— Да тише ты! — раздраженно прошипел Андрей Степанович.

Анна Григорьевна не двигалась. И вот, как песчинка на бумагу, упал далекий звук.

— Слыхала? — шепнул Тиктин. — Опять... два подряд. — Тиктин осторожно, на цыпочках, стал слезать со стола.

Анна Григорьевна протянула руку, Тиктин молча оттолкнул и грузно прыгнул на ковер. Он сделал шаг и вдруг обернулся и выпятил лицо к Анне Григорьевне:

— В городе стрель-ба! — он повернулся боком.

— Я говорю: Нади нет, Нади дома нет. Двенадцатый час, — голос дрожал у Анны Григорьевны.

— Черт! Безобразие! — фыркнул Тиктин. И вдруг поднял брови и растерянно заговорил: — Почему нет? Нет ее почему? Совсем нет? Нет? В самом деле нет?

И Андрей Степанович широкими шагами пошел в двери. Он оглядывался по сторонам, по углам. В столовой Санька. Курит.

— Надя где? — крикнул Андрей Степанович.

Санька медленно повернул голову:

— Не приходила, значит, теперь до утра. С девяти ходьбы нет. — Он отвернулся и сказал в стол: — Заночевала, значит, где-нибудь.

— Где? — крикнул Тиктин.

— Да Господи, почем я-то знаю? Не дура ведь она, чтоб переть на патруль.

— Да ведь действительно глупо, — обратился Тиктин к жене, — ведь не дура же она действительно.

И Тиктин солидным шагом вошел в столовую.

— Если б знать, где она, я сейчас же пошла бы, — и Анна Григорьевна заторопилась по коридору.

— Да мама, да что за глупости, ей-богу.

Дробные шаги сыпали за окнами ровную дробь, и Тиктин и Санька рванулись к окну, рота пехоты строем шла по пустой улице и россыпью отбивала шаг.

— На кого это... войско?

Тиктин хотел придать иронию голосу, но сказал сипло.

— В засаду, в участок, — сказал Санька и сдавил брови друг к другу.

— Пойди ты к ней, — сказал Тиктин и кивнул в сторону комнаты Анны Григорьевны.

— Ладно, — зло сказал Санька. Он все глядел на мостовую, где прошла пехота.

Самовар пел тонкой нотой.

— А ну-ка еще баночку, а ну, Наденька, — Филипп тер с силой колено.

Надя глядела, как он впивал в себя чай с блюдечка, через сахар в зубах.

И все веселей и веселей глядел глазом на Надю. А Надя не знала, как пить, и то нагибалась к столу, то выпрямлялась к спинке стула.

Вдруг Филипп засмеялся, поперхнулся чаем, замахал руками — откашливался:

— Ах ты, черт... ты, дьявол! Фу, ну тебя! Ух, понимаешь, что вспомнил. Аннушка-то моя, дура-то! Ах ты, ну тебя в болото! Ночью раз: «Ай! Батюшки, убивают!» — и в одной рубахе на двор да мне в окно кулаком: «Филька, — кричит, — стреляют».— «В кого?» — кричу — «В меня!» — кричит. Весь дом всполошила. Соседи, понимаешь, во двор, кто в чем. «Где стреляют?» — «У нас, в кухне, — кричит, — стрелило, еле живая, — кричит, — я выскочила». Я в кухню. Огня принесли. А сосед уж с топором, гляжу, в сенях стоит. Вот смехота! А это, понимаешь ты, бутылка! Ах, чтоб ты пропала! Квасу бутылка у

ней в углу лопнула. Ах ты, чтоб тебе! — Филипп смеялся и головой мотал и стукнул пустым стаканом о блюдечко. — Ах ты, дура на колесах!

Наденька улыбалась. Потом подумала: «А вдруг это действительно смешно!»

— Я выношу этую бутылку, — и Филипп толкнул Надю в плечо, — выношу в сени, понимаешь, вот она, говорю, пушка-то, сукиного сына! Во! Так, ей-богу, попятились, не разглядевши-то! Ой, и смеху!

Наденька смеялась, глядя на Филиппа, а его изморил уже смех и размял ему все лицо, и глаза в слезах.

— Наливай еще! Ну тебя к шуту, — Филипп толкнул Наде свой стакан.

И вдруг самовар оборвал ноту.

Надя сразу узнала, что теперь они остались вдвоем. Филипп перестал смеяться.

— А где Аннушка сейчас? — Надя спросила вполголоса и водила пальчиком по краешку блюдца.

Филипп промолчал. Насупился.

— Говорится только: рабочий класс, за рабочий класс... Разговор все.

Надя остановила палец.

— Почему же? Идут же люди...

— А идут, так... так, — Филипп встал, — мой посуду и все тут.

Филипп отшагнул раз и два, отвернулся и стал скручивать папиросу.

Надя не шевелилась. Время стало бежать, и Филипп чуял, как оно промывает между ними канаву. Вдруг обернулся.

— Да что ты? Голубушка ты моя! — И уж обнял стул за спинку и тряхнул сильно, так что Наденька покачнулась. — Да размилая ты моя! Я ж попросту, по-мужицки, сказать. Да ты что, в самом деле, что ли? Ведь верное слово. Шут с ней, с посудой этой! Да я ее побью, ей-богу!

Надя чуть улыбнулась.

— Ей-бога! — крикнул радостно Филипп, схватил чашку и шмякнул об пол. Сунулся к другой. Надя отвела руку.

— Да что ты, да вот он я! — говорил Филипп и уж взял крепко за плечо, через кофточку, горячими пальцами. Совсем руки какие-то особенные и как у зверя сила. И у Нади дунула жуть в груди, какой не знала, дыхание на миг притаилось. Ничего не разбирала, что говорил Филипп, как будто не по-русски го-

ворил что-то. И Надя неловко уперлась ладонями в Филькину руку, и все говорили губы:

— Не надо... не надо... не надо...

А под колена прошла рука, и вот Надя уж на руках, и он держит ее, как ребенка, и жмет к себе, и Надя закрыла глаза.

Шаг

ПЕХОТА шла по пустой улице — одни темные фонари. Дробь шага ровной россыпью грохала по каменьям. Прапорщик запаса вел роту мимо запертых домов. Солдаты косились на дома. Прапорщик сошел с тротуара и пошел рядом с людьми. Рота все легче и легче стучала и стала разбивать ногу — не дробь, а глухой шум. Штыки стали стукать друг о друга, и солдаты стали озираться, — прапорщик вскинул голову, обернулся и резко подкрикнул:

— Ать, два, три!.. ать, два, три!.. ать, два!..

Рота ответила твердым шагом.

— Тверже ногу! — крикнул прапорщик в мертвой улице. Рухнул шаг и раз и два. И снова уж глухой топот — идут и «не дают ноги».

— Ать! — крикнул последний раз прапорщик, будто икнул, и не стал подсчитывать.

Лопнул пузырьком где-то справа револьверный выстрел. Шаг роты стал глуше, и вдруг один за другим треснули винтовочные — как молотком в доску — дам! дам! дам-дам! И далекий крик завеял в улицах — рота совсем неслышно ступала. И крик ближе, и слышен справа топот в темноте, и вдоль улицы справа:

— Держи! Держи!

— Тра-а! — сыпанул справа выстрел.

— Стой! Стой! — крикнул прапорщик.

Стала рота. А те бежали, и криком и топотом осветилась темная улица.

— Держи! — крикнул прапорщик, а быстрые шаги споткнулись в темноте. Упал, и вот снова затопали, вот из улицы тяжелым градом топот, и щелкнул затвор, и голос хриплый:

— Кто есть? И что ж вы... сволочи... смотрели! Бежал!.. Рот разинули! Бычки!

— Что? Ты кто? Поди сюда! — прапорщик широким шагом пошел вдоль фронта на тротуар.

Но шаги в темноте уж топали дальше, и куда-то вкось мимо роты раскатился в улице выстрел.

Прапорщик отдирал застежку кобуры, вытащил наган и выпалил вдогонку. Выпалил, подняв на аршин выше. В это время из-за угла тяжелым шагом выбежал еще человек.

— Стадничук, держи! — заорал прапорщик. — Первый взвод ко мне!

Сорок ног рванули с места.

— Ты давай винтовку! Давай же, сука! — кричал солдат.

— Да я ж городовой, братцы, очумели?

— Арестован! — рявкнул прапорщик и рванул из рук городового винтовку. — С нами пойдешь, марш! Первый взвод, стройсь! Рота-а! шагом... арш!

Рухнул шаг, и бойко пошла рота.

— Ругаться, мерзавцы, воинскую часть ругать, а?

— Какого участка! — кричал в темноте прапорщик. — Вот мы в Московский и идем. Номер твой, сукин сын!

Рота рубила шаг.

— Тебя на штыки поднять надо, знаешь ты это?

По роте прошел веселый шум.

А в улицах было пусто, и рота снова стала слышать свой шаг. Черные дома мертвыми уступами стояли как наготове, и снова ослаб солдатский шаг.

Прапорщик не командовал, люди сами кашей повалились в ворота участка, в темный двор; в полуподвале горели на стенке два керосиновых фонаря, от них казалась темнота еще гуще, и люди, войдя в подвал, только шептались и никто не топнул.

— Пожалуйте со мной, — Вавич тронул впотьмах свой козырек и пригласил рукой. Прапорщик не видел.

— Кто такой? — спросил прапорщик вполголоса.

Но в это время из дверей подвала хриплый, с ругательной слезой, голос крикнул:

— Да скажите, господин надзиратель, нехай меня пустют, когда арестовали без права при исполнении. Да стой, не держи, у меня шинель тоже казенная!

— Да, — сказал прапорщик и откашлялся для голоса. — Тут вот, черт его, ругался, ругал воинскую часть — городовой. Ваш это будет? А то сдам в комендантское.

— Ах вот как! — крикнул Вавич. — Скажите, мерзавец. Давайте его сюда.

— Выведи! — скомандовал прапорщик.

Виктор шел рядом с офицером, а сзади шагали трое: городовой и двое солдат.

— Молчать! — крикнул, обернувшись, Вавич, хотя городовой не говорил и молча шагал между двух солдат. — Не внедришь! Не внедришь, — горячо говорил Вавич.

Прапорщик спотыкался в темноте и чертыхался под нос.

— Наверх, что ли? — досадливо сказал прапорщик.

Виктор пробежал по лестнице вперед. «Эх, так бы я мог привести роту — вот как будто взял весь участок под свою руку». Он оглянулся на офицера и тут при свете на лестнице метким глазом увидал погон с одной звездочкой и лицо, главное, лицо.

«Шпак! Милостивый государь», — сразу решил Виктор, плечом толкнул входную дверь и не придержал за собой.

— Учитель географии, должно быть, — ворчал Виктор.

Помощник пристава с черными усами.

— Ну, — крикнул он Виктору.

— Идет! — и Виктор небрежно мотнул головой на дверь.

— Прапорщик Анисимов, прибыл с ротою, а вот этого молодца арестовал, — прапорщик показал большим пальцем за плечо. — Ваш?

Помощник хлопнул бровями вниз.

— Не разберу! — сказал, щурясь, помощник. — Японец? Японца в плен взяли, позвольте узнать?

Прапорщик покраснел, поднял брови, губы раскрыл над зубами:

— Я вам, милостивый государь, официально заявляю и прошу слушать...

— Мне известно-с! Все-с! — откусил слова помощник. — Официально, когда стрельба! — повернулся и твердо застукал ногами вон из дежурной, через темную канцелярию, и хлопнул вдали дверью кабинета, звякнули стекла в дверях, и слышно было, как залился звонок телефона.

— Отвести и держать в роте! — крикнул прапорщик солдатам. — Кто у вас старший? Пристава мне! — крикнул прапорщик Вавичу.

— Пристава нет, — сказал Вавич глухо и отвернулся к окну и сразу же увидал толпу и услыхал гомон. Вавич вышел деловитой походкой, слегка задел офицера. — Виноват, позвольте, — и быстро проскочил в двери.

На улице цепь городовых прижимала в калитку ворот захваченных облавой.

— Считай! — крикнул Вавич, чтоб распорядиться.

— Ребра им... посчитать, — сказал близкий городовой, — в двух револьверы були. Самая сволочь!

— Этих отдельно, сюда давай.

— Не, тех уж прямо до Грачека свели. Куда! — замахнулся городовой прикладом. Человек метнулся и вжался в толпу.

Прапорщик затопал с крыльца.

Вавич обходил полукруг городовых, косился боком на прапорщика — «подождешь, голубчик». Виктор, не спеша, стал подыматься на крыльцо.

— Вавич! Ва-вич — сукиного сына, да где ж ты? — сверху кричал запыхавшийся Воронин.

Вавич рысью вбежал на лестницу.

— Поймал! Поймал двоих, двоих, сукиных сынов... револьверщиков... никто, а я вот этой рукой вот схватил, как щенков... помог Господь, его воля... вот крест святой, — Воронин перекрестился. — Вот гляди, — Воронин оттопырил полу шинели. — Видал? Пола навылет, а сам — вот он я — пронес Господь, стрелял ведь, сука, стрелял! Господня воля, сукиного сына, только и скажу: Господня воля.

Вавич почтительно слушал.

— На вот тебе целый город, — Воронин махнул рукой в окно, — найди вошь в овчине.

— Как же это вы?

Воронин вытянул голову вперед и три раза хлопнул себя ладонью по носу:

— Вот! Вот! И Господня воля.

— Кто ж оказались, не известно?

— Это уж скажут... — Воронин сел на подоконник. — У Грачека скажут, — сказал он тихо. — Дай закурить! Этот умеет... Бог ему судья — полено у него заговорит... Да, брат, — совсем тихо сказал Воронин, — одного-то подранили, так не в больницу, а велел прямо к нему... Пока, значит... фу, не курится... пока, значит, не помер.

Воронин замолк и переводил тяжело дух и дул дымом перед собой.

Из открытой форточки среди далекой тишины заслышался рокот извозчичьей пролетки. Оба слушали и мерили ухом, далеко ли. И как редкие капли дождя падали по городу выстрелы.

12—3207

И вдруг ясно, как проснулся звук: из-за угла раскатились дрожки и стали у ворот. И при свете фонарей от крыльца видно было — сошел плотный офицер; с другой стороны спрыгнул и обежал пролетку другой, потоньше.

— Капитан! — первый увидел погон Вавич.

Шляпа

ПОМОЩНИК пристава широкой уличной походкой прошел мимо прапорщика, сморкаясь на ходу в свежий платок, прямо в двери и затопал вниз.

Слышно было, как на лестнице стали, и вот ровно, гулко забили два голоса. Говорил помощник, а другой хрипким звоном, как молотком в котел:

— Ага!.. Ага!.. Так! Так...

Прапорщик все поправлял пояс, пока рубили голоса на лестнице, вертел шеей в воротнике.

Дверь распахнули, шагнул, топнул капитан. Он пожевывал усы и прищуренными глазками глядел на прапорщика. Прапорщик держал под козырек. Все молчали. Помощник отошел к барьеру и глядел на прапорщика. Молодой офицер стоял за капитаном и насмешливо мигал рыжими глазками.

— Офицюрус, — шепнул Воронин Вавичу и чуть кивнул на молодого.

— Ну-с! — вдруг крикнул капитан в лицо прапорщику.

— В пятой роте пятьдесят второго Люблинского...

Капитан не брал руку к козырьку, не принимал рапорта, он стоял, расставив ноги, взял руки в толстые бока, выдвинул подбородок в лицо прапорщику.

Прапорщик покраснел сразу, будто красный луч ударил ему в лицо.

— Господин капитан, потрудитесь принять...

— Га-аспадин прапорщик! — крикнул капитан. — Потрудитесь пройтись, пожалуйте-ка!

И капитан сунул рукой вперед, где мутно светилось матовое стекло в кабинете пристава.

— Проводи! — кивнул помощник.

Вавич побежал вперед и распахнул дверь в кабинет пристава.

Прошагал прапорщик, простучал каблуками капитан. Вавич запер дверь. Хотел отойти. И вдруг услышал знакомый хруст

новой кожи, а после хляп! — это шлепнула крышка кобуры. И Вавич замер у двери в темноте канцелярии. И сейчас же услышал хрипкий голос капитана:

— Это что ж! Что ж это? Молчать! — и колко стукнуло железо по столу. — Слушать! Измена? Со студентами, значит? А присяга?

— Я всю войну, — напруженным тенором начал прапорщик, — я всю войну...

— Молчать! — как на площади крикнул капитан.

И в дежурной зашел шепот.

И стало слышно, как выпускал шипящее слово за словом, как стукал об стол револьвером. Как горячими каменьями вываливал слова:

— Поднять два пальца! К иконе, к иконе обернуться! Повторять за мной...

— Я не позволю, я присягал, вы не имеете права, — крикнул прапорщик с кровью в голосе.

— Застрелю. За-стрелю, — и стало совсем тихо. Время зашумело в ушах.

Вавич затаил дух, подался вперед. Клякнул взвод курка.

— По-вто-рять! Клянусь... повторять: клянусь! Пальцы выше! И обещаюсь... всемогущим Богом...

И не слышно было, как шептал прапорщик.

Вавич на цыпочках прошел в дежурную. Помощника не было. Офицюрус закуривал от папироски Воронина и приговаривал:

— А ей-богу... так и надо. Ей-богу, надо. Набрали каких-то милостивых государей в армию. — Офицюрус пустил дым белым клубом и отдулся брезгливо. — Каких-то статистиков. Нет, ей-богу же, непонятно. — Офицюрус оперся спиной и оба локтя положил на барьер, руки висели, как крылышки.

В это время открылась дверь в кабинете пристава, и капитан громко сказал:

— Нет, нет! Вперед извольте пройти.

Офицюрус встрепенулся, швырнул папироску.

Прапорщик, нахмуренный, красный, шел из канцелярии, за ним гулко стукал капитан. Он застегивал на ходу кобуру.

— Командует ротой господин поручик. Проверить людей!

Капитан шагнул к двери. Городовой распахнул. Все козырнули. Поручик вышел следом.

Прапорщик зашагал в темноту канцелярии, он глядел вверх, он топнул на повороте в темноте.

— Шляпа, — кивнул на прапорщика Воронин.

— А я б его застрелил, — громко зашептал Вавич, — на месте.

— Ну, стрелять-то уж... воевал ведь он, поди, а мы, знаешь, тут сидели... и досиделись, дураки.

— Я говорю, я капитана застрелил бы, — уж громко сказал Вавич. — Как он смеет, против устава, присяги требовать.

— Кто требовал?

Прапорщик выходил из канцелярии, он делал два шага и круто оборачивался к окнам.

Он оглянулся на слова Вавича, глянул диким взглядом и что силы топнул в пол ногой.

Вавич замолк, глядел на прапорщика, глядел и Воронин всем лицом.

— Сволочи! — вдруг крикнул прапорщик и вышел в дверь.

Воронин и Виктор бросились к окну. Прапорщика на улице не было видно.

В городе было тихо, и только изредка лопался легкий выстрел, будто откупорили маленькую бутылочку.

Суматра

БАШКИН шел с Колей по мокрому тротуару. Улица была почти пуста. Торопливые хозяйки шмыгали кое-где через улицу, озирались обмотанными головами.

А дождик, не торопясь, сеял с мокрого неба.

— Ты воротник, воротник подыми, — нагибался Башкин к Коле, юркими пальцами отворачивал воротник. — Давай я тебе расскажу, тебе полезно, вы же проходите сейчас про Зондские острова.

Башкин нагнулся к Коле и взял его за руку выше кисти и крепко держал:

— Так вот: Суматра, Борнео, Ява, Целебес... Тебе не холодно? Да, так это на самом экваторе, он их так и режет. — Башкин широко махнул свободной рукой. — Ты слушай, так незаметно все и выучишь. Я тебя хочу выручить... я вот вчера одного человека выручил... Суматра огромный остров. — Башкин обвел вокруг рукой. — С Францию ростом, и там заросли тропических лесов, и там в лесах гориллы, понимаешь. Этакая обезьянища, ей все нипочем, никого не боится, идет, куда хочет. На все наплевать. И ни до кого дела ей нет. Живи себе на дере-

ве и ешь яблоки, и никто за ней не подсматривает. Стой, Колечка, слушай. Ты здесь посиди в палисадничке.

Они стояли около церкви.

Мокрая лавочка стояла среди метелок кустов.

— Ты не будешь бояться?

— Чего бояться? Я буду семечки грызть.

— Грызи, грызи, только не уходи, я сейчас. Сию минуту. — Башкин выпустил Колю и саженными шагами зашлепал по лужам. — А про обезьяну доскажу непременно, — вдруг обернулся Башкин. Коля махнул кулачком с семечками.

Башкин завернул за угол. Он задержал шаг, оглянулся и быстро подошел к воротам, нагнул лицо к окошечку в железе. Ворота приоткрылись. Башкин с поднятым воротником быстро перешел двор.

В коридоре было суетливо и полутемно. Башкин сбросил калоши и, прижав воротник к щеке, шагал, толкаясь, вдоль по коридору.

Двери распахнулись, и кого-то вывели под руки. Башкин еще крепче прижал воротник.

— Что, зубы у тебя болят? — спросил жандарм у вешалки.

— Зубы, зубы, зубы, — застонал Башкин и чуть не бегом заметался по коридору.

— Я докладал, — сказал жандарм. — Сейчас, наверно.

Звонок круто ввернул дробь. Жандарм метнулся к двери и сейчас же сказал тугим голосом:

— По-жалуйте!

Башкин криво бросился в дверь и тотчас сел на диван, прижался щекой к спинке.

Ротмистр Рейендорф крикнул от стола:

— Сюда!

— У меня зубы, — говорил Башкин и шел, шатаясь.

— Здесь не аптека, — оборвал Рейендорф. — У меня пять минут: что такое за звонок вчера? Кто такой? Ну?

— Сейчас не могу, — говорил Башкин из воротника, — сейчас.

— Что, зубы? Не жеманиться. Военное положение, не забывать. Что за фокусы? — Рейендорф нагнулся, рванул Башкина за угол воротника. — Ну?

— Я не могу, я еще не уверен, я не выяснил себе, ну, понимаете...

— Не врать! — крикнул Рейендорф. — А если это мистификация, то это у нас, брат...

— Ну, просто человек...

— Не мямлить! — и Рейендорф нетерпеливо застучал портсигаром по столу.

— Я ж говорю — человек, потому что он человек... из трактира и очень ценный. Он много знает, но, может быть, врет. Люди же врут.

— Ладно, что ж он врет?

— Да вот что рабочие много говорят, но он путает, и вообще еще черт его знает.

— Какой трактир, как его звать?

— Да, может быть, он врет, как его звать.

— Нечего мне институтку тут валять. Как он назвался? — Рейендорф взял в руку серебряный карандашик и занес над белым сияющим блокнотом.

— Сейчас, сейчас вспомню.

«Надо в обморок упасть... соврать, соврать, соврать. Нет, в обморок».

Башкин сделал блуждающие глаза и завертел головой.

И вдруг ротмистр топнул от стола:

— Да не финти ты, сопля! — он проплевал эти слова и замахнул руку.

— Котин, Андрюша Котин из «Золотого якоря» на Слободке. Это он сказал, но может быть... Он массу ерунды всякой...

Рейендорф писал.

— Ерунду, ерунду! Какую ерунду? — и он хлопал по блокноту. — Ну!

— Оружие какое-то, чуть не артиллерия, бред какой-то.

Рейендорф что-то писал, другой рукой он нажал звонок.

— Коврыгина сюда, — крикнул он, не оборачиваясь, когда в двери сунулся жандарм. — Да-с! А вы, фрукт, — ротмистр хмуро поглядел на Башкина, — допляшетесь! Это что ж? Попыточки укрыть? На цыпочках? Мы с вами не в дурачки играем. Это когда вот идиоты наши раскачивают стены... в которых сами сидят. Завалит, так, будьте покойны, им же первым по лысинке кирпичом въедет! Из-за границы их шпыняют вот этаким перцем. — Рейендорф цепкой рукой схватил со стола тонкие печатные листы и совал их под нос Башкину. — Не узнаете? Ой ли? Да, да — «Искра». Смотрите, первые-то сгорите. Болваны. Вихлянья эти мы из вас вытрясем.

Башкин опять натянул воротник на затылок. Он не знал, что будет. А вдруг пошлет ротмистр за официантом и здесь, сей-

час, сделает очную ставку. Уйти, уйти, скорей, скорей, как попало. Попроситься в уборную хотя бы и вон, вон, а потом пускай, что угодно.

— Карл Федорович! Меня там мальчик ждет, на дожде. Я пойду, скажу, чтоб не ждал, он простудится, бедняжка.

— Это что ж за мальчики? — вдруг снова нахмурился Рейендорф. — Сейчас не с мальчиками гулять, а дело делать надо живыми руками. Не понимаете еще?

— А, а... — сказал, запинаясь, Башкин. Он вдруг покраснел, встал: — А вы вот, может быть, не понимаете, господин ротмистр, не понимаете, что мальчик, может быть, важнее, важнее нас с вами! Да! И всего.

Ротмистр насторожился и, не мигая, смотрел нахмуренными глазами.

— Чего важнее? — и Рейендорф коротко ударом дернул вперед голову. Он придавил глазом Башкина, и Башкин стоял, шатаясь.

— Я говорю, важней для меня, для нас, что ли, — уж слабей говорил Башкин. — Мальчик проще и правдивей.

— Значит, работаете с ним? — отрезал Рейендорф. — Ну, и толк какой от мальчишки этого? Он чей сын?

— Это все равно... то есть в данном случае даже очень важно...

В это время вошел чиновник в форменной тужурке.

— Звали?

Ротмистр вырвал листок блокнота.

— Через два часа чтоб здесь был, — и чиркнул ногтем по листку.

Башкин уже большими шагами отшагнул по неслышному ковру, он был уже у двери.

— Э! — крикнул ротмистр. — Как вас, Эсесов! Куда это? Пожалуйте-ка.

Башкин, сделав круг, подошел.

— Порядочные люди прощаются уходя, — ротмистр тряхнул головой, — а потом мальчишка, мальчишка. Ну? Чем же важно?

— Да, да, — обиженно заворчал Башкин, — мальчишка, и очень важный. Его надо направить и...

— Чей? — оборвал Рейендорф.

— Сын чиновника, гимназистик.

— В бабки играть учите? Это теперь? Да?

— Не в бабки, а потом увидите...

— Это не Коля? — вдруг спросил ротмистр. — Отец на почте? Фю-у! — засвистел Рейендорф и зашагал по ковру. — Да тут, батенька, послезавтра пожалуйте-ка сюда в это же время, мы с вами в две минутки отлично все обтолкуем. А сейчас марш! — вдруг остановился ротмистр и прямую ладонь направил в дверь. — И послезавтра в пять здесь.

— До свиданья, — буркнул Башкин в коридоре. Он, не глядя, топал, вбивал ноги в калоши и опрометью понесся по коридору. Он не заметил двора, он почти бежал по панели, то подымал на бегу воротник, то откидывал снова, он шептал:

— Коля, Колечка, мальчик, миленький, семечки, Коленька.

— Коля! — крикнул Башкин, едва завернул за угол. — Коля!

Было почти темно, Башкин шлепал без разбора по лужам, нарочно ударял в грязь ногами — все равно, все равно теперь.

— Коля! Милый мой!

Тот самый

АННА Григорьевна так и не спала всю ночь, и все новые и новые страхи наворачивались: «Лежит Наденька простреленная на грязной мостовой, мертвая... нет, живая, живая еще! Корчится, ползет, боится стонать, и кровь идет и идет... Сейчас если подбежать, перевязать...» Грудь подымалась, ноги сами дергались — бежать. Но Анна Григорьевна сдерживалась — куда? Хотя глаза отлично видели и улицу, и грязный тротуар, где Наденька, и темноту, и угол дома — вон там, там — Анна Григорьевна могла показать пальцем сквозь стену — там!

«Да нет. Просто осталась ночевать у кого-нибудь. Да, у товарищей... Обыск, городовые — бьют же они, бьют, сама видала, как извозчика на улице при всех городовой... и ведь что они могут сделать с девушкой!»

— Господи! — мотала головой Анна Григорьевна.

Она встала, пошла в переднюю, как будто сейчас ей навстречу может позвонить Наденька.

— Мум! Чего ты?

Анна Григорьевна вздрогнула.

Из темноты светила Санькина папироска.

— Мум! Ей-богу, она хитрая, она у Танечки заночевала, вот увидишь. Я завтра чуть свет сбегаю. Ей-богу.

— Она дура, дура, — почти плача, говорила Анна Григорьевна. — Она ведь вот, — и Анна Григорьевна вытянула вперед руку, — бревно ведь, вот прямо все, как солдат.

— Да она мне говорила, что если что... самое верное место у Тани, честное слово, говорила, — и Санька подошел, обнял мать за плечи и поцеловал в висок.

Анна Григорьевна потрясла головой, волосы защекотали Санькину щеку — как волосы барышень на балу в вальсе, и ум застыл на миг в оцепенении.

В квартире было тихо, и громко листал в кабинете страницы Андрей Степанович, как будто не бумагу, а железные листы переворачивал. Андрей Степанович глубоко вздохнул, он слушал в открытую форточку дальние выстрелы, редкие, спокойные, как перекличка, он листал книгу «История французской революции» Лависа и Рамбо, на гладкой лощеной бумаге. Хотелось найти в книге то, что можно примерить вот на эти выстрелы, и он листал, спешил и боялся не угадать.

«9-е термидора» — да нет, какой же это термидор? И слышал, как будто говорил какой-то чужой голос: ничего ж похожего. Он листал вперед и назад: «Монтаньяры», «Третье сословие», как будто перед экзаменом забыл нужную строчку.

«Ведь происходит величайшей важности общественное явление, — говорил себе Андрей Степанович и делал молча резонный жест, — и надо быть готовым, как отнестись к нему, и сейчас же».

Андрею Степановичу хотелось выпрямиться, встать и выставить грудь против этих выстрелов, пуль, нагаек. Ему казалось, что сейчас он найдет эту идею, твердую, совершенно логичную, гражданскую, честную идею, и она станет внутри, как железный столб. И он чувствовал в ногах эту походку, поступь в подошвах, твердую, уверенную, и готовые в голосе крепкие ноты. И тогда, прямо глядя в лицо опасности, с полным уважением к себе и делу, которое делаешь, Тиктин хмурился, листки стояли в руках.

«Еще раз обдумать, — говорил в уме Тиктин. — Что же происходит? Взрыв протеста со стороны общества — с одной стороны. Раз! Борьба за свое существование со стороны правительства — с другой...»

— Два! — прошептал Тиктин, глядя в угол гравюры. На гравюре сидел среди пустыни Христос на камне, глядел перед

собой и думал. — Два-а... — задумчиво произнес Андрей Степанович.

«А вот решил, — подумал с завистью Тиктин про Христа. — Решил и начал действовать. И не по случаю какому хватился. Кончил... на кресте. Да, и этот крест на каждой улице. Да не для этого же он все это делал», — вдруг с сердцем подумал Андрей Степанович, он резко повернулся со всем креслом к столу, опер локти, упер в виски кулаки.

В это время во дворе затрещал электрический звонок — это над дворницкой. Настойчиво, зло — нагло в такой тишине. И стук железный о железную решетку ворот.

Тиктин слышал, как Санька и жена подбежали к окнам, потом в кухню, чтоб видеть во двор.

Тиктин встал, набрал воздуху в грудь и спокойной походкой прошел кухню.

Кухарка, накинув на голову одеяло, шарила на плите, брякала спичками.

— Не надо огня, — спокойным басом сказал Тиктин, и воздух из груди вышел. Сердце билось, как хотело. Тиктин тяжело и редко дышал. Он глядел через плечо Анны Григорьевны в полутемный двор.

Где-то в окне напротив мелькнул свет и погас. Дворник зашаркал опорками и бренчал на бегу ключами.

Санька быстрой рукой распахнул форточку. Жуткий воздух стал вкатываться в комнату и голоса — грубые окрики изпод ворот.

— Тс! — шепнул, затаив дух, Тиктин.

Слышно было, как дворник торопливо щелкнул замком и дергал задвижку; вот визгнула калитка, и топот ног, гулко идут под воротами.

— Ну, веди! — И дворник вышмыгнул из пролета ворот, и следом черные городовые, четверо. Куда?

Санька совсем высунул голову в форточку, и в эту минуту в прихожей раздался звонок и одновременно стук в дверь.

Санька рванулся:

— К нам обыск!

— Господи, спаси и сохрани, — перекрестилась Анна Григорьевна и бросилась отворять.

— Attendez, attendez*, — крикнул Андрей Степанович.

* Подождите, подождите *(фр.)*.

— Да, Господи, все равно, — на ходу ответила Анна Григорьевна.

И Андрей Степанович слышал, как она открыла дверь. Андрей Степанович зашагал в переднюю, но уж стучали в кухонную дверь.

— Кто такие? — кричала через дверь кухарка.

— Отворяйте, — скомандовал Тиктин.

— Ну ладно, оденусь вперед, — кричала в двери кухарка.

Санька глядел, как распахнулась дверь, настежь, наотмашь, и сразу всем шагом вдвинулся квартальный. Анна Григорьевна пятилась, но не отходила в сторону, как будто загораживала дорогу. А квартальный нахмурился, смотрел строго поверх Анны Григорьевны.

«Прет, как в лавочку, как в кабак», — Санька чувствовал, что все лицо уж красное, и это перед квартальным, и Санька крикнул:

— Чего угодно-с, сударь? — И вдруг узнал квартального — тот самый! Тот самый, что на конке менял ему рубль — «для женщины». Вавич секунду молчал, глядя на Саньку, и приподнял нахмуренные брови. И вдруг резким злым голосом почти крикнул:

— Кто здесь Тиктина Надежда Андреевна?

— Вы можете не кричать, — Андрей Степанович достойным шагом ступал по коридору, — здесь все отлично слышат. У вас есть бумага? — Андрей Степанович остановился вполоборота и, не глядя на Вавича, протянул руку за бумагой. Другой рукой он не спеша вынимал пенсне из бокового кармана.

Санька секунду любовался отцом и сейчас же топнул ногой, повернулся и пошел по коридору.

— Не сходите с мест, — закричал Виктор. — Задержи! — Из-за спины протиснулся городовой, он беглым шагом затопал по коридору. Анна Григорьевна спешила, догоняла городового.

— Мадам! Стойте! — кричал Вавич.

Но уж из кухонной двери вошел городовой, он загородил дорогу, растопырил руки.

— Нельзя-с! Назад, назад.

— Не идет! Вести? — крикнул Вавичу городовой из конца коридора.

— Стой при нем! — крикнул Вавич.

— Да я его уговорю, и он придет сюда, пропусти, ох, несносный какой! — говорила Анна Григорьевна.

— Arrêtez et taisez-vous!* — сказал Тиктин.

— Не переговариваться! — крикнул Вавич и ринулся вперед.

— Бу-магу! — упорным голосом перегородил ему дорогу Тиктин, рука требовательно висела в воздухе.

Вавич глянул на руку. Она как будто одна, сама по себе, висела в воздухе, она была точь-в-точь как рука его старика, когда он кричал: «Витька! Молоток!»

Вавич расстегивал портфель на коленке, наконец, вынул бумажку.

— Вот: по распоряжению... — тыкал Виктор пальцем.

— Виноват, — прервал Тиктин и взял бумагу из рук Вавича.

«Чего я, дурак, дал! — озлился на себя Вавич. — Сам бы огласил, и вышло б в точку».

Тиктин накинул на нос пенсне и вполголоса читал:

— «Произвести обыск в помещении, занимаемом Тиктиной Надеждой Андреевной».

— Ага! Так вот пожалуйте в помещение, занимаемое Тиктиной Надеждой Андреевной.

Вавич минуту молчал и, краснея, застегивал портфель и глядел на Тиктина и не попадал замком.

— Прашу не учить! — вдруг крикнул Вавич на всю квартиру.

— Стой около него, и чтоб ни с места, — и Виктор ткнул пальцем на Тиктина. Городовой придвинулся.

— Дворник! Сюда! — командовал Вавич, идя по коридору. — В лицо знаешь?

— Как же-с, известно.

— Я вам говорю, ее нет! — говорила вслед Анна Григорьевна.

Вавич с городовым и дворником ходили по квартире. Городовой взял лампу Андрея Степановича и носил ее за Виктором.

— Бумагу! — зло сказал Виктор. — Тут народ стреляют, а он — бумагу! Не бумагами, небось, стреляют-то людей при исполнении... долга.

— Оружие есть? — рявкнул Вавич из спальни Анны Григорьевны.

Никто не ответил. Виктор вышел в коридор, вытянулся строго и произнес крепко, по-командному:

— Оружие есть? Если будет обнаружено обыском, то ответите по законам военного времени.

— Да нет, ни у кого никакого оружия. Саня! Ведь нет же оружия?

* Прекратите и замолчите! *(фр.)*

— Не переговариваться, — крикнул Вавич. — Значит, заявляете, что оружия нет.

— Я бы вам еще раз советовал быть скромнее, — сказал Андрей Степанович. — Да! Тоже имея в виду законы военного времени.

Городовой, что стоял рядом, придвинулся к Тиктину.

— Прислугу сюда и понятых! — командовал Вавич.

— Слушайте, молодой человек, — сказала Анна Григорьевна, — вы ведь не к разбойникам в вертеп пришли, зачем же так воевать? Ну, пусть ваша обязанность такая, но ведь видите же, что пришли к порядочным людям.

Вавич отвернулся и уж из Наденькиной комнаты громко ворчал:

— За порядочными людьми нечего следить жандармскому управлению. Это ее комната? — спросил Виктор прислугу. — Ее это шкаф? Отпереть! Спроси ключи или сейчас вскроем. Гляди под кроватью! — крикнул он городовому.

Понятые — соседние дворники — стояли у притолоки с шапками в руках.

— Можно закурить? — шепотом обратился один к Вавичу.

— А что? — вскинулся Виктор. — Курите! Курите, черт с ними. Да нет, я не имею права вас стеснять — понятые. Курите вовсю.

— И под постелью, под матрацем, — командовал Вавич.

Горничная трясущейся рукой спешила отомкнуть Наденькин шкафчик. Ключ был у Наденьки, горничная не могла подобрать.

— Дай сюда, — и Вавич вырвал из рук Дуняши ключи. Он тыкал один за другим, ключи не входили. — Ну-ка, кто из вас мастер? — крикнул Виктор дворникам и бросил ключи на подоконник.

Понятые спросили ножик, они кропотливо отдирали планку — важная вещь — чистый орех!

— Ну, ну, орех! — покрикивал Вавич. — Будет на орехи, ковыряйся живей!

Кресло

ВАВИЧУ скорей хотелось переворотить весь этот девичий порядок в комнате, чтоб скорей стал ничей хаос, и он без надобности срывал накидки с подушек, приподнимал картины и пускал их висеть криво. Он выворачивал с полок книги, про-

тряхивал страницы и неловкой кучей сваливал на полу. Он мельком видел себя в старинном трюмо и был доволен: деловая, распорядительная фигура, даже немного сейчас похож на помощника. И Виктор старался, чтоб оправдать вид, и выдергивал совсем прочь из стола ящики. Он думал: «письма, и ленточкой завязаны, как у Тайки», но писем не было. Были какие-то тетрадки. Вавич поднес к лампе. По-иностранному, напротив — по-русски. «Ага! Это языки учит. Что же изымать?» — уж тревожился Вавич.

— Позвать старуху, — сказал Вавич вполголоса. — Слушайте, мадам, это не все, — сказал Виктор, хлопая рукой по Наденькиной тетради.

Анна Григорьевна быстро, испуганными глазами, читала эти карандашные записи и не могла понять, понять этих слов — cladbishenskaia vosem и напротив написано — умывать, чистить что-либо.

— Это не все, — бил Вавич по тетрадке тылом руки. — Где ее, извините, белье находится?

— Здесь, в комоде, — и Анна Григорьевна, подбирая юбку, стала на колени перед комодом.

— Не трудитесь, мадам, мы сами. Впрочем, как хотите. Действительно. А ну, помоги! — крикнул Виктор городовым и присел на корточки рядом с Тиктиной.

— Я понимаю, вам самому неприятно рыться в чужом... вещах, уж это ваша должность вас обязывает.

— Убивают, сударыня, убивают, на посту людей убивают. Ведь вы не жиды? А вот из-за жидов и вам приходится терпеть. Очень даже верно, что ваша дочь совершенно невинна, ну, а знаете, это все выяснится, и невинный человек может быть совершенно спокоен.

Анна Григорьевна вынимала аккуратно сложенное Наденькино белье. Она запускала руку, и сторожкие пальцы боялись, не шелестнуть бы бумагой, но бумаг не было среди белья.

— Здесь у ней летние платья сложены, — и Анна Григорьевна поднялась с колен. Она все время думала о тетрадке.

«Боже, дура какая. Адреса, адреса». — И она все время чувствовала, как там за спиной лежит эта тетрадка.

— А здесь полотенца и платочки, — Анна Григорьевна старалась говорить по-домашнему.

— Ну ладно, — сказал Виктор, — это нас не касается. — И он сунул руки вдоль стенки ящика. Что-то холодное и твердое. —

Это, это что? — нахмурился Виктор. Он щупал, Анна Григорьевна смотрела в его лицо, затаив дух, и прочитала — что «это» — ничего, пустяк. И сразу стала услужливо разрывать полотно сложенного полотенца.

— Нет, нет, достанем, посмотрим, — говорила Анна Григорьевна. — Ну тащите, тащите. Ну? Баночка духов, да конечно, что ж у ней тут может быть, у дурочки. Фу, фу, моль, — вдруг замахала руками Анна Григорьевна.

Она хлопала ладошками в воздухе, двигалась толчками по комнате; все следила глазами.

— Скажите, дрянь какая, — Анна Григорьевна хлопнула над столом. Неловким движением опрокинула Надину деловую мужскую чернильницу. — Ах, что я наделала! — и Анна Григорьевна торопливо схватила тетрадь и принялась ею тщательно вытирать Наденькин стол. — Убьет она меня теперь, чистеха такая, беда какая, Господи! Ну да дай же что-нибудь, — крикнула она Дуне. — Стоишь, как столб. — И Анна Григорьевна терла тетрадкой, вырывая новые листы, комкая, коверкая.

— Мы уж тут ни при чем, — сказал Вавич.

— Ах, да я дура, — говорила Анна Григорьевна, а в глазах стояли слезы.

— Ну-с, сударыня, это потом, — деловито сказал Вавич. — А вот скажите нам, где ее переписка находится. Ведь получает она письма. Нет, скажете? Ну а где они?

— Да вот тут все у ней, я ведь не слежу.

— Напрасно-с, напрасно, — закачал Вавич головой и сейчас же отвернулся. — Вот тут в портфеле записки — это мы возьмем. И вот эти заграничные книжки. Там уж разберем.

— Надо под столом полапать, — сказал на ухо Вавичу городовой, — по небелям, по креслам прячут. А ну, встаньте, — мотнул городовой головой.

— Вот и отлично, а теперь отнесите это кресло мужу, он же стоит там все время. У вас ведь, наверно, отец тоже старик. Правда? — И Анна Григорьевна поглядела в глаза Виктору и кивнула головой, как будто уж что-то знала про него.

— Не до того, сударыня, когда в людей палят из-за угла... А когда говоришь, так «бумагу, бумагу», — передразнил Виктор. — Прямо как дети, ей-богу же.

— Отнесть? — спросил городовой. Он неловко держал за ножку опрокинутое Наденькино кресло, держал за ножку, будто оно могло вырваться как собачонка. Вавич кивнул головой.

— Прямо же, ей-богу, как дети, — крутил Виктор головой.

— Да уж, знаете, у нас у самих... — и Анна Григорьевна снова взглянула Вавичу в лицо, и лицо на миг распахнулось. Виктор отвернулся и стал с деловым видом оглядывать стены.

— А это чей же портрет? Кто такая? — Вавич вдруг заметил со стены чуть насмешливый взгляд — Танечкина карточка в овальной рамке красного дерева висела под портретом Энгельса. Вавич обернулся к Анне Григорьевне и чувствовал сзади колющий взгляд со стены. — Надо знать, кто такая, — сказал Вавич хмуро. Он в упор, нахмуренными глазами разглядывал карточку.

«Красивая, а злая, стерва, — в уме сказал Вавич. — Тьфу, злая!» — и помотал головой.

— Кто же? — зло поглядел в колени Анне Григорьевне Вавич.

— Подруга гимназическая какая-то, — пожала плечами Анна Григорьевна.

— Не знаете? — хмуро спросил Вавич. — Определим! — И он снял с гвоздя портрет. — Ну-с, — сказал Виктор, садясь, — протокол!

— Вам чернил? Дуняша, из кабинета, да не разлей, как я.

— Так-с, — сказал Виктор и прижимал маленьким дамским пресс-бюваром лист, — так-с, и фотографический снимок неизвестной личности.

— Рамку, впрочем, можем оставить! — вдруг сказал Виктор. — Рамка не нужна, — и он быстро выдернул карточку из рамки; она выскользнула белым картоном, как сабля из ножен. Виктор скорей сунул ее между записок Наденьки.

Понятые нагнулись к столу. Сопя, выводили подписи.

— Ну-с, простите, сударыня, за беспорядок, уж не взыщите... — Вавич застегивал новенький портфель. — Честь имею кланяться, — и кивнул корпусом: галантность. Все вышли в коридор.

Андрей Степанович стоял рядом с креслом. Он оперся о стену спиной, руки заложил назад и глядел вверх перед собой.

— Что ж вы не присели? — с улыбкой в голосе сказал Виктор, легко шагая к передней.

Андрей Степанович прямым взглядом упер глаза в Вавича. Вавич стал.

— О вашем поведении, господин квартальный, мы еще поговорим. Только не с вами.

— Говорить!! — вспыхнул всей кровью Виктор. — Хоть с самим чертом извольте беседовать! Револьверщики! На здоро-

вье! Двое остаться! Горбачев и Швец, — кричал Вавич городовым, — и никого не выпускать, кто придет — задерживать до распоряжения. Один в кухню, другой тут. По местам! Марш! А в девять в участок! — кричал Виктор. Он с шумом толкнул дверь. На пороге он обернулся и крикнул городовому: — Садись в кресло и закуривай!

— Бу-ма-га! — сказал Вавич гулко на лестнице.

Тьфу!

ТАНЯ сидела в углу балкона. Она куталась в свое любимое старое пальто с уютным мехом на воротнике. Гладила щекой по меху. Ей было видно вдаль всю прямую улицу — тяжелую, серую, со спущенными веками. Рассвет туго надвигался и, казалось, стал и пойдет назад. Таня держала низко над собой раскрытый зонтик. Ей было уютно от зонтика, от меха и от папироски. Как будто вся земля едет куда-то, и это ее место, как у окна в вагоне. Мутное небо курилось белыми тучами, и неосторожные капли попадали на землю, на Танин зонтик. Тане казалось, что непременно куда-нибудь приедут к рассвету — надо сидеть и ждать и глядеть путь. Опять въехали в пальбу — и вот гуще, ближе... Нет, проехали. Пальба растаяла, смолкла. А вот шаги. Много. Танечка приподняла зонтик. По пустой улице брякали шаги. Это из-за угла. Вот городовые и впереди серая шинель. Танечка повела лопатками, и любопытный озноб пробежал по спине — говорят что-то, а меня не видят.

— Да недалече теперь, тут за углом и седьмой номер, Хотовицкого дом, — хрипло, ночным голосом, сказал. Вот совсем под балконом — Танечка перегнулась, и мотнулся в воздухе зонтик. И вдруг встали. И в серой шинели задрал голову. Вот отошел на мостовую, смотрит. И городовые сошли на мостовую.

— Кто там? Эй! — крикнул надзиратель.

— Это я, — неторопливо сказала Танечка.

— Мадам там или мадмазель, не знаете распоряженья — все окна закрывать.

— Месье — там, — приподняла зонтик Танечка, — у меня все окна закрыты.

— Ну да, — сказал квартальный и повертел головой, — все равно на улицу ночью выходить нельзя! Дома надо быть!

— Я не в гостях, я у себя дома, — и Танечке нравилось, как певуче звучал голос с легкой улыбкой.

— Вы, сударыня, не шутите, а я требую, чтоб с балкона...

— Прыгнула бы? Нет, не требуйте, не прыгну, — засмеялась Танечка; ей казалось, что это станция, и сейчас все поедут дальше, а на пути можно и язык высунуть.

— А я еще раз вам повторяю, — уж закричал квартальный, — спать надо, мадмазель, между прочим. А если... да бросьте ерунду... Позвони дворнику, — крикнул квартальный городовому.

И Танечка слышала, как сказал вполголоса городовому: «может, сигналы какие-нибудь или черт ее знает».

Городовой уж дергал неистово звонок, звонок и бился и всхлипывал, и едкая тревога понеслась по серой улице.

— Дворник! Что это у тебя? Убрать тут балконщиц всяких!

Дворник держался за шапку и что-то шептал.

— Ну так что ж? — громко сказал квартальный. — Ну и адвоката Ржевского, а торчать на балконах не полагается в ночное время. Скажи, чтоб сейчас вон, что околоточный надзиратель Вавич прика-зал, понял? А завтра разберемся, что за сиденья эти. Марш!.. Стой! Как говоришь: Татьяна Александровна Ржевская? Госпожа Ржевская! — крикнул Вавич; он сделал казенный голос. — Ржевская Татьяна, сейчас очистите балкон, а завтра явитесь в Московский полицейский участок, дадите объяснения.

— Все равно вы ничего не поймете, — Танечка сказала насмешливо-грустно. И по голосу Вавич понял, что говорит красивая, наверно, очень красивая в самом деле.

— Проводи, — крикнул Вавич дворнику.

«Хоть и красивая, — думал Вавич, — а я тебя проучу, тут красотами, голубушка, не фигуряй — военное положение-с».

— Военное положение-с, — сказал Вавич вслух, идя за дворником, — ...так надо поглядывать за жильцами, — вдруг быстро добавил он и обогнал дворника. — Эта дверь? Звони.

Вавич неровно переводил дух и слушал. Вот хлопнула дверь, должно быть, с балкона, а вот легкие звонкие шаги. Ага! Открывает. Но дверь приоткрылась, и никелированная цепочка косяком перерезала щелку. И насмешливое лицо глядело, Вавич видел не все, по частям, и узнал глаза. Ах, вот она, и злость и радость полыхнули в груди, и Таня видела, как веселый ветер прошел по лицу квартального.

— Я вас не впущу, — говорила Танечка и отстранила лицо от щелки, — я одна. А если будете ломиться, я позвоню Григорию

Данилычу, — нехорошо ломиться ночью к девушке, когда она одна! — и Танечка нравоучительно глянула Вавичу в глаза.

— А... а на балконе девушке с папиросками сидеть... вот завтра иначе поговорим. — И вдруг Виктор вытянул из портфеля сверток. Он рвал веревочку и быстро и яростно поглядывал на Танечку. — А вот... а вот, — говорил Вавич, разматывая бумагу, — а вот это видели, где ваши портреты-то бывают. Фонарь сюда! — крикнул он дворнику.

— Мой ли? — и Танечка прищурилась.

Вавич вертел портрет около щелки.

— Не вздумайте только хвастать, что это я вам подарила, — сказала Таня и закрыла дверь. Французский замок коротко щелкнул и так заключительно щелкнул, что секунду Вавич молчал.

— Смотреть за этой! — сказал вполголоса дворнику Виктор и указал большим пальцем на Танину дверь.

Дворник шел впереди Виктора, размахивая фонарем.

— Потуши фонарь, дурак! — сказал Виктор. — Уж день на дворе скоро, размахался тут.

«Какому Григорию Данилычу? — думал Вавич. — Никакого нет Григория Данилыча. Полицмейстера — Данила Григорьич. Да черт, — он остановился, топнул, — да и звонить-то не могла, ведь не работают же телефоны, дьявол, не работают, кроме служебных».

Но он был уж за воротами. Городовые сидели на обочине тротуара. Они встали.

— Э, вздор, — сказал Виктор вслух, — гулящая какая-то, нашла, дура, время прохожих удить: возня только. Тьфу! — и он сплюнул для верности.

Городовые молча шагали.

Танечка узнала портрет, узнала и надпись: «Тебе от меня» — в нижнем углу наискосок.

Pardon, monsieur!

УЖ БЫЛО одиннадцать часов дня, а Виктор все еще не заходил домой и сидел на углу стола в непросохшей шинели. Курил, бросал окурки в недопитый стакан с чаем. С час в участке было тихо, как будто нехотя погромыхивал город за окном. Виктор не знал: кончилось или сейчас, после затишки, громыхнет что-нибудь... со Слободки. Или от вокзала. Солдаты наго-

тове. Он все время чувствовал, что во дворе стоят ружья в козлах и около ружей ходит часовой. День был без солнца. Небо как грязное матовое стекло — закрыто небо нынче.

— Да и не надо, — вздохнул Виктор и насупился в пол.

Осторожно вошел городовой и стал вполголоса бубнить что-то дежурному у дверей.

И Виктор услыхал и насторожился.

— Обоих в гроба поклали, у часовне, у городской больнице. Сороченко, аж глянуть сумно, — бе-елый... аккурат сюдой ему вдарила, а сюдой вышла.

Виктор подошел.

— Что ты говоришь?

— Та я с караула сменился, коло их караул поставлен.

— Сороченко, а другой кто? — спросил Виктор вполголоса и оперся локтем о притолоку, подпер голову.

Городовой был небольшой, крепкий, он поворотисто жестикулировал:

— А тот Кандюк. Он еще живой был, как привезли. Говорить, идет на меня один. Я до него : кто? обзывайся! Когда смотрю: сбоку другой, — городовой шустро повернулся. — Я до того: стой! А он враз — хлоп с револьвера и текать, и другой за ним. Я, говорить, ему у спину раз! раз! и говорить, вот мне у боку как схватило и свисток хотел, говорить, подать, а той от угла в меня еще раза: бах. Я, говорить, и сел, полапал себя, а шинель аж мокрая и кровь зырком идеть, и, говорить, вижу, что это мене убили, и никого нема и подать свистка, говорить, боюся, бо те добивать воротятся, и нема, говорить, никого, — городовой сделал пол-оборота, — и свистка, говорить, подать мне тоже не выходит.

— Ну и как? — спросил Вавич шепотом.

— Ну, а патруль слыхал, что стрельба, тудой, на стрельбу, и аккурат человек стогнет. Кто есть? Рассмотрелись, а он уже лежит и руки так, — и городовой закрыл глаза и раскинул руки враз, — лежит и помаленьку стогнет.

— Теперь ночью стоять... — сказал дежурный.

— А днем ему долго выстрелить? — и маленький городовой посмотрел на Вавича. — Все одно, как на зверя, — ты можешь себе очень спокойно иттить... И всякого: так и меня, и тебя, и вот господина надзирателя.

Вавич молча и серьезно кивнул головой.

— А долго мучился? — спросил Вавич.

— Да не... рассказал, еще, говорят, пить просил, квасу хотел, а где ночью квасу!.. так и не пришлось... уж не попил... А сейчас там заходил у часовню, пристав, Воронин, были.

— Надо, надо отдать долг товарищу, погибшему на посту, — сказал Виктор и выпрямился.

«Не кончилось, — подумал Виктор, — нет, это не кончилось».

Виктор не мог дождаться двенадцати часов, своей смены, он хотел скорей пойти к Сороченко. Не мог толком вспомнить, какой он, Сороченко. «Белый-белый», и как будто с укоризной лежит, что за всех погиб, и теперь перед всеми он, и перед полицмейстером, и всем надо пойти к нему. «Подойду, и как он на меня глянет? — мертвым лицом», — и у Виктора билось сердце, как будто сейчас идти к строгому начальству, и душно становилось в мокрой шинели, а маленький городовой все говорил, и Виктор слышал: «Убили, и что же? Убили — и край! Как будто так и надо. Что ж? Так, значит, и засохнет? Да?» — и урывками кидал глазами на Вавича.

Вавич отошел к окну, курил в открытую форточку. Маленький городовой ушел. Дежурный шагнул два раза, он стоял за спиной Вавича, вздохнул со свистом и хриплым шепотом спросил:

— А не слыхать, этот, что стрелял, с жидов?

Вавич молчал. Городовой прошел на место.

— Неизвестно, — через минуту сказал Вавич.

Прямо из участка Виктор пошел к Сороченко. Сырой ветер хмурым махом трепал по верхам мокрые деревья, и они сыпали капли наземь, стучали в фуражку. Прохожих гнало ветром навстречу Виктору, и никто не глядел в лицо, а все вперед, как будто боятся сбиться с дороги. «Вид какой деловой, скажи, пожалуйста! — И Виктор проводил взглядом спину студента. — Воротник поднял, а сам, может быть, и стрелял ночью. Днем все какие паиньки». — И Виктор нарочно взял чуть влево, чтоб прямо пойти на вот этих двух. «Жжиды!» — прошипел Вавич и прошел между, как разрезал. И опять представил Сороченку, и холодная тошнота подошла к горлу, и будто холод этот покойницкий задул куда-то за пазуху, и голова стала пустая, испуганная, и Виктор не стал видеть прохожих, и уж только на панельной дорожке к часовне набрал воздуху. Около часовни дежурил городовой. Он, не торопясь, поднял руку к козырьку, и все лицо молчало, и глаза медленные. Вавич вежливо принял честь и открыл двери часовни. И сразу же стал искать лицо Сороченко.

Два гроба стояли на возвышении рядом. И вот он — белый-белый, насуплены брови, запали глаза и нижняя губа вперед, и кажется чего-то хочет попросить, пить, что ли, или сам еще не знает чего. И рыжие усы, как наклеенные, лежали на белом лице. На другого покойника едва взглянул Виктор. Священник возглашал слова панихиды, кругом крестились, сдавленные лица слушали службу, и только один покойник все выставлял губу и вот-вот будет искать по сторонам простого чего-то. Попить, что ли? Вавич стал креститься. Но не помогало, а все не мог отвести глаз от белого лица.

И вдруг Виктор почувствовал на себе взгляд. Он испуганно дернул голову вправо, все с прижатой ко лбу щепотью: дама приподняла подбородок и открытым взглядом обвила Виктора и отвернулась к священнику. И снова вдруг из-под приподнятой ко лбу руки брызнул взгляд, и дама медленно перекрестилась рукой с кольцами. И только тогда Виктор увидал рядом с ней полицмейстера. «Варвара Андреевна!» — повел бровями Виктор.

— Яко ты еси Воскресение и живот... — и священник перевел дух, и в это время всхлипнул бабий голос в углу, и громким шепотом, одними слезами сказала:

— Матюша! Матюша мой!..

Все будто переступили, будто шатнулись на ногах и вдруг закрестились быстро, священник не сразу взял голос.

Варвара Андреевна тихо повернулась и пошла в угол. Она протолпилась мимо Виктора, он отстранился, но она все же задела его локтем и тихо шепнула:

— Pardon, monsieur! — И тихий запах духов грустным туманом охватил Виктору голову; казалось, будто этот запах и шепнул, а не она.

Свеча

ВИКТОР поднял голову и жадными твердыми глазами уперся в высокую икону, в разливчатый розовый свет лампадки и клятвенно перекрестился, решительно, как набивал на себя железный нерушимый крест — за покойника крест и за то, чтоб жизнь свою положить, и грудь все стояла высоко с тем вздохом, что вдохнул гордые духи. И Виктор крепко, как оружие, сжал восковую свечу в левой руке, и затрепетал огонек.

Хор бережно вздохнул:

— Вечна-я память...

И Вавич слышал, как пристал к голосам грудной полный женский звук. Полицмейстер крестился, а Варвара Андреевна подалась чуть вперед с покрасневшим лицом — она пела. Сзади затопали сапоги, и двое городовых просунулись с большим венком живых белых цветов. Варвара Андреевна расправила ленты: «жертвам долга» — прочел Виктор черные блестящие буквы.

При выходе столпились. На свечном прилавке заполняли подписной лист. Виктор протолпился, он стоял за Варварой Андреевной и видел, как она мелким ровным почерком написала свою фамилию и крепко вывела двадцать пять и сейчас же через плечо обернулась к Виктору; слегка погладили по виску поля ее шляпы, Варвара Андреевна передавала карандаш. У Виктора металось в уме: «Двадцать или тридцать? Тридцать неловко — будто горжусь». Варвара Андреевна задержалась и, обернувшись, глядела на бумагу. Двадцать пять — широко чиркнул Виктор, как крикнул.

— Делает честь вашему сердцу, — довольно громко произнесла Варвара Андреевна, кивнула головой с улыбкой, повернулась и пошла за полицмейстером.

Вавич оглянулся на иконы, чтоб перекреститься, уходя. На черных ступеньках под гробом сбилась в комок женщина, прижалась к подмостью, и вздрагивал платок на голове.

Виктор шел по узкой панельке, гуськом впереди шли к больничным воротам полицейские, чтоб не обгонять полицмейстера. В воротах Варвара Андреевна оглянулась на весь ряд людей, Вавич видел, как она шарила глазами по ряду, как нашла его и кивнула, как будто всем — многие козырнули в ответ, а у Виктора застыло на миг дыхание, когда он дернул руку к козырьку. И покраснел. Хмельная краска заходила в лице, и Виктор стал поправлять фуражку, чтоб закрыть рукавом щеки.

Надзиратель Сеньковский догнал, хлипкий, прыщеватый, шаткий весь человечек, он портфелем стукнул Виктора по погону.

— Слыхали, а, слыхали? — он говорил шепотом и в нос и дышал в самое ухо Вавичу. — Один-то у Грачека так и помер и не сказал ничего, а? Ничего — опознавать выставили: охранные агенты, а? опознают, как ваше мнение? Может, приезжий он, а?

— Вполне... — начал Виктор.

— И ничего не вполне, а другой скажет. Вот это вполне, что скажет, — он шел и терся плечом о Виктора. — Грачек с тем заперся, а? Как думаете, занимается? А?

Виктор отшагнул в сторону и глянул в глаза Сеньковскому — глаза были как не с того лица, будто внутри сидел другой человек и смотрел через прорези глаз — серыми глазками, и как точечка зрачок, и веки мигали, все мигали, будто путали глаз, а лицо было дурацкое, прыщавое, с кривой губой — как нарочно надел. И Сеньковский хлопал Виктора по рукаву портфелем и кивал в сторону головой:

— Зайдем в «Южный», с того хода — полчасика, расскажу. А? По маленькой, с устатку, не спал ведь, а? Пошли, — и он пошел, не оглядываясь, к воротам.

Виктор зашагал вдогонку, сказать, что нет, не пойдет, и догнал Сеньковского в воротах.

— Мне домой, уж идите одни, — сказал Виктор.

Сеньковский оглянулся, замигал на Виктора веками, и вдруг Виктора взяла злость. «Да чего он мигает, а я с ним возьму да прямо...» И Виктор толкнул Сеньковского в плечо:

— Веди, уж черт с тобой! — и обогнал Сеньковского во дворе.

Черным ходом, мимо кухни, прошли в коридор с отдельными кабинетами «Южного». Было тихо и пусто в отдельном кабинете, и грязный свет со двора висел, как паутина. Сели на закапанный плюшевый диван.

— Бывалый диванчик, — и Сеньковский пролез за столом и стянул животом грязную скатерть. Лакей стоял и переводил опасливые глаза с Вавича на Сеньковского. — Дай свечку, графинчик, селедку и штору того... спустить! в миг, а?

Свечка, тонкая, белая, вытянулась одна посередь скатерти и не спеша начала свой свет синим лепестком — оба глядели минуту, как она это делает и будто глядит куда-то вверх, как на последней молитве.

— Ну, — кивнул Виктор Сеньковскому, пока не видел его глаз, — ну, вали, что там, — крепким голосом крякал Виктор.

— Я говорю, зачем метаться, зачем по всем местам шарить? А? Ведь все равно, хвост поймал или голову. А? Ну, я хвост прижму, надо уметь, брат! А? Уметь прижать! — Сеньковский держал руку над столом и большим пальцем — широким плоским ногтем — давил в сустав указательного. Широкий плоский ноготь, как инструмент, входил в тело и, казалось, сейчас разрежет, брызнет кровь. — Вот хотя бы хвост буду давить. А повер-

нет же сюда голову, а? — куснуть иль лизнуть, — а, повернет? А? Нет — скажете?

Свечка разгорелась, и Виктор видел глаза — помигают и станут и глядят из лица.

Лакей постучал, осторожно вошел и поставил графин и селедку. Он обходил вьюном Виктора, ставил приборы, не звякнув, не стукнув. Среди посуды бережно поставил белую розу в бокале.

— Ну! — попробовал опять голос Виктор.

— Вот залезь под диван, — и замигали глаза и губа криво усмехнулась, — и пусть одна нога твоя торчит, и мне довольно и очень хорошо! А? — и Сеньковский засмеялся.

Виктор не глядел и наливал в рюмки.

— Пусть даже пальчик твой торчит, а я пальчик поймал, а? И того, взял твой пальчик, да так, брат, взял, что ты своей голове рад не будешь.

— Ну да? — сказал Виктор, чтоб хоть свой голос услышать.

— Ты, брат, у меня весь заходишь, и я тебя за пальчик всего сюда приберу, — и Сеньковский загнул палец крючком и провел медленный полукруг мимо свечки, и уклонился огонек и зашатался.

Сеньковский перевел глаза, сощурился на розу. Роза прохладно стояла в тонком бокале, плотно сжав лепестки. Зеленые листики оперлись о блестящий край.

Сеньковский сбил в тарелку пепел папиросы и аккуратно приладился, прижег снизу листок. Листок чуть свернулся.

— Не нравится! — хмыкнул Сеньковский. Он отнял папиросу и снова прижал к листку. Листок сворачивался, как будто хотел ухватить папиросу. — Ага! Забрало, — сказал громко Сеньковский и ткнул свежий лист.

Вавич поднял глаза от тарелки:

— Брось!

— Жалко? — и Сеньковский совсем сощурил глаза на Вавича. Он раскурил папироску и теперь приставил к листку, слегка подворачивал и глядел из щелок на Вавича.

Вавич ударил по руке, папироска вылетела, упала на ковер. Лакей быстро подхватил, сунул в пепельницу на соседний стол.

— Ты ж это что? — приоткрыл глаза Сеньковский. — Всерьез?

— А ну тебя к чертовой матери, — Вавич повернулся на стуле; музыканты настраивали скрипки, и через дверь слышны были голоса в зале.

— Тебя бы к нам на денек, — протянул Сеньковский, — на ночку на одну то есть. Фю-у! — засвистал. Он взял зубочистку и стал ковырять в зубах. — Женя все равно не придет. Мда! На черта роза, возьми! — крикнул он официанту, толкнул бокал — человек успел подхватить. — Ну и вон! — крикнул Сеньковский. — Вон выкатывай! — Лакей легко шмыгнул в дверь.

Из-за стены был слышен вальс, Сеньковский помотал в такт головой.

— А ты теленок! — и Сеньковский бросил на стол зубочистку.

Вавич повернулся к столу, налил из графина стакан водки, отпил и зажевал черный хлеб.

— И жуешь, как теленок.

Вавич зло глянул на Сеньковского, навстречу ему Сеньковский распялил глаза и снова глянул из зрачков кто-то.

— А нет, а вот: человек не хочет говорить. Фамилии своей сказать не хочет. Как ты в него влезешь? Что? — И Сеньковский свернул голову набок и снова прищурился. — А как ты к этой жидовке, к шинкарке, ходил?

Вавич захватил и держал в руке салфетку.

— Не пялься — знаю. А где она, жидовка твоя? Что? А просто — подошел ночью вроде пьяненького чуть к сторожу: дяденька, нельзя ли? а? дяденька! Дяденька за полтинничек и пошел проводить. Он в ворота, а тут — хап! и в дамках, — стукнул Сеньковский по столу. — Ай, вей, муж еврей! Что я имею кушать?

Вавич, красный, молчал, допивая стакан, кашлял.

— Что, поперек горла никак? А ваши — схватили! Поймали — стреляли! Привели! А кого? Кого?

Сеньковский привстал.

— Ну? — и он щурился перед самым носом Виктора.

— Дело охранного... отделения, — сказал Вавич и стал сбивать салфеткой с колен.

— Дело уменья — а... а не отделенья — телятина!

Виктор зло молчал, шевелил только губами.

— «Отче наш» читаешь? — И Сеньковский пригнулся ухом к Виктору.

Виктору захотелось плюнуть в самое ухо со всей силы. Зубами бы закусить во всю мочь и тереть, тереть, пока не отгрызешь.

— Ты чего зубами хрустишь? Вот так у нас вчера хрустел, у Грачека. Хрустел, сукин сын, как жерновами — за дверями слышно было... Ты и мне налей, что ж ты один?

Сеньковский не спеша, глотками выпил стакан.

— Ты думаешь, кто всем делом ворочает? Полицмейстер? Во! — Сеньковский обмакнул большой палец в соус и просунул из-под стола Вавичу кукиш и шевелил большим пальцем, плоским ногтем.

Вавич глядел в селедку.

— Пей, что ли! — почти крикнул Вавич.

— Спрашивали? — всунулся в дверь лакей.

Сеньковский встал. Обошел стол.

— Да-да ! — протянул, будто нехотя. — Нет, не тебя! — сказал лакею.

Лакей проворно прикрыл дверь.

— Стучи вилкой об тарелку и пой что-нибудь. Стучи, я говорю, увидишь.

Вавич застукал вилкой по блюду и вполголоса мурлыкал:

— А-а-ах! ох-ах-ах!

Сеньковский неслышно шел вдоль стены по ковру. И вдруг он дернул дверь и дрыгнул ногой. Что-то тупо рухнуло в коридоре. Виктор привскочил: лакей, свалившись с колен, держался руками за лицо. Сеньковский тихонько притворил дверь.

— Это прямой в лузу! — И Сеньковский взял со стола рюмку. — А? Не подслушивай у дверей! А то споткнуться можно. Человек! — закричал Сеньковский. — Человек!

— Да брось, — сказал Вавич, — охота, право.

— А как же? — и Сеньковский замигал. — В дураках быть не надо. Не надо ведь? А? Человек!

— Я пошел, знаешь, — сказал Виктор, и послышалось, что тихо сказал, и Виктор набрался голосу и глянул Сеньковскому в глаза и крикнул: — Иду! — вышло, будто звали, а он отвечал. — Иду! — еще раз попробовал Виктор. Вышло так же, но уж в дверях.

— Стой, стой — я тоже.

Сеньковский держал его за портупею.

— Допить же надо — и пошли!

Вавич отступил шаг. Молодой лакей, подняв высоко брови, входил в двери.

— А где же, что подавал? Умывается, говоришь? А Женя здесь? Нет Жени? Ну, иди.

— Допивай! — сказал Вавич; он смотрел на картину — девушка в лодке купает голую ногу в воде — смотрел на большой палец.

— Вечером придем как-нибудь, — говорил Сеньковский. Он пил рюмку за рюмкой без закуски. — Тут есть жидовочка одна.

Женя. Знаешь, с фантазиями девочка. Жидовочек любишь? А?.. Ничего, значит, не понимаешь. Ты... шляпа, шапо-кляк... Стой! Последнюю.

Вавич не глянул больше в глаза Сеньковского — с картины бросил глаза на дверь и вышел в коридор первым. Заспешил.

Чего серчать?

НАДЕНЬКА на минутку забылась провальным сном и когда открыла глаза — комната уж мутилась серым светом. Филиппова тяжелая голова отдавила руку, и ровным дыханием он грел у запястья онемевшую кожу. Наденька терпела, чтоб не разбудить Филиппа. Наденька чуть повернулась, не двинув руку, и почувствовала, что вся не та. Не те руки, ноги не те. Она осторожно потерла ногой об ногу — и охнула вся внутри — другое, все другое, и жуть и радость потекли от ног к груди, к голове, и слезы вышли из глаз и понемногу текли ровным током. И серый свет заискрился в слезах.

И как сладко покоряться и как это вдруг — она обернулась к Филиппу, — вот его затылок и мирная шерстка — моя шерстка — и Наденька стряхнула слезы, чтоб лучше видеть шерстку.

— Мой, мой Филинька, — шепнула Надя, говорила «мой», и казалось, что Филипп спит на своей руке, а Наденьке больно отдельно. Надя смотрела на часы, что висели над кроватью, и не видно было, который час. Она закрывала глаза, чтоб потом сразу глянуть, чтоб заметить, как светлеет. Она осторожно погладила Филиппов затылок — Филипп во сне мотнул головой, как от мухи. И вдруг Наденька вспомнила, что надо будет одеваться, и растерянным взглядом искала разбросанное платье. Она запрокинула голову: холодный самовар, и чашки еще не проснулись на столе и чуть щурились блеском. Надя услыхала, как прошлепали по коридору босые ноги и где-то в глубине забрякал умывальник. Надя осторожно стала тянуть руку из-под Филипповой головы.

Филипп замычал и повернулся лицом.

— Чего это? — сказал он во сне.

Наденька выждала минуту и тихонько встала. Она неслышно одевалась лицом к печке и вдруг оглянулась на скрип кровати. Филипп, поднявшись на локте, глядел на нее любопытными глазами.

Надя вспыхнула.

— Нельзя! Нельзя! — А он улыбался, сощурясь. Наденька скорчилась на стуле, закрылась юбкой. — Отвернитесь, сейчас же!

— Застыдилась! — И Филипп смеялся, с кровати достал до стула и потянул его к себе.

— Что за свинство! — почти крикнула Надя, толкнула ногой. Филипп отдернул руку.

— Да ну тебя, да ладно, — говорил он, отворачиваясь к стене, — ладно, не слиняешь ведь, краса ты моя ненаглядная.

Наденька спешила, вся красная, кололась булавкой.

— Ну что? Уже? — смешливым голосом спросил из-под одеяла Филипп.

Наденька молчала на стуле.

Филипп глянул. Надя сидела перед столом, она легла на стол головой, подложив руки. Филипп глядел, соображал: «Плачет? В сердцах? Или чтоб не смотреть? Подойти, приголубить — гляди, еще пуще осердится. Или прямо встать да одеваться?» Филипп встал, он одевался, отвернувшись от Нади, и приговаривал резонным голосом:

— Ну чего серчать? Ну что ж, коли ведь любя. Не любил бы, на шут мне оно. Ведь право слово. Ведь я же просто, а не то что обидеть. А? Надюшечка? — И он обернулся одетый и шагнул к Наде. — Не любишь — не буду.

И тут он увидел, что Надя вздрагивает спиной.

«Опять плачет» — и досада взяла Филиппа.

Он сел рядом, обнял Надю, плотно, по-хозяйски.

— Ну что? Не поладим, что ли? Да брось плакать, ты на меня взгляни. Ты ж хозяйка теперь здесь. Скажи: Филька, выйди за дверь! — и выйду, и всего делов. Ей-богу! Ты учи меня, как надо, и ладно будет. Одно слово — хозяйка!

И Наденька на это слово подняла голову и заплаканными глазами разглядывала Филиппа, как нового. Филипп молчал и следил, как она обводила всего его глазами. Сидел, не шевелясь.

— Ты ж застегнулся криво! — с надутой улыбкой говорила Надя и сама расстегнула ворот. И Наденькины пальцы радовались.

Филипп выставил грудь, запрокинул голову, подставлял застежку и чувствовал, как Наденькины пальчики проворно бегали по пуговкам, как бойкие человечки. Наденька кончила и пришлепнула по застежке:

— Вот-с как надо, милостивый государь!

«Разошлась, разошлась», — думал Филипп. Пальчики все чувствовались на груди.

Филипп схватил самовар, понес его Аннушке ставить и все боялся, что всем видно, как радуется все в нем. Он брякнул на порог кухни самовар и буркнул в самый пол:

— Ставь, что ли, живее!

Когда разогнулся, увидал: Аннушка стоит в платочке лицом к углу и аккуратно крестится, наклоняется. Через плечо повела чуть глазом на брата. Филипп шел, торопились ноги по коридору; да неужели там у меня сидит? Открою дверь, а она там? — и развело улыбкой и губы и плечи, скрипнули пальцы в кулаке. Толкнул наотмашь дверь — сидит! сидит! и прямо глазами встречает. Теперь кто повахлачистей, пусть без спросу не шляются.

— А тебе из наших ребят который больше нравится? Из товарищей, сказать?

Наденька смотрела на Филиппа, уперла подбородок на спинку стула, улыбалась и следила, как он выхаживал, топтался по маленькой комнате, не мог взять походки, — и улыбалась.

— Который? — повторил Филипп, и развела улыбка слово. Повернулся круто. — Да ведь жена ж ты моя и больше ничего! И слов никаких. — Он нагнулся к Наде, помедлил и поцеловал с разлету в подбородок. — Эх, ну и черт его дери, — говорил Филипп, встряхиваясь. — Выпить бы надо чего. Ну да шут с ним, потом. Стой. Я тебе чего покажу.

И Филипп присел, как упал, перед кроватью, вытащил зеленый сундучок, выхватил из кармана ключик — разом, как шашку в бою, — он копался в белье, в бумагах.

— Вот она! Только чур не смеяться! Стих тут один я писал. Вроде про тебя.

Он листал в руках толстую ученическую тетрадь.

— Вот отсюда.

Наденька взяла тетрадь. Филипп ногтем крепко держал у начала стихов:

На небе ходят тучи грозовые,
Мы хоть сейчас готовы умереть,
Не дрогнут наши руки трудовые,
И смерти можем мы в лицо смотреть.

Пускай на нас все пушки их и сабли,
И казаков с нагайками толпа,
Мы кровь прольем, мы грудью не ослабли,
Мы свалим всех, жандарма и попа.

Гудок подаст во тьме сигнал к тревоге,
И мы пойдем на бой в полночный час,
И плотною толпой пойдем все по одной дороге,
Есть даже девушка средь нас.

Дальше было по линейке два раза подчеркнуто. Наденька подняла глаза. Филипп с ожиданием глядел, красный, с приготовленным словом:

— Это вы и есть! Это про тебя писал. Ты еще раз прочитай-ка! — Филипп подсел на стул рядом, глядел в тетрадку, читал из Наденькиных рук вслух, шепотом — он не успел дочитать, босые ноги шлепали по коридору к дверям. Филипп встал, вошла Аннушка. Она глянула с порога на Наденьку и, не поднимая глаз, прошла комнату и поставила на стол нарезанный хлеб.

— Что ты здравствуйте не говоришь? — басом сказал Филипп.

Аннушка засеменила к двери, утирала по дороге концом платка нос, быстро и без шума запахнула за собой дверь.

— Ты не смотри, дура она у меня. Деревня — одно слово. — Филипп поглядел зло в окно. Потом вдруг сорвался.

— Стой! Стой! Не надо, — шепотом крикнула Надя.

— Верно, не надо. Черт с ней, — сказал Филипп. — Ничего, обвыкнет. Только стой, я масло принесу.

Филипп доставал в сенях масло и сверху с табурета говорил в стену:

— Стучать надо. Вперед в дверь постучать, а посля входить. Скажут «можно», тогда и входи.

Аннушка дула в самовар, не отвечала.

— Самовар поспеет, скажешь, — бурчал Филипп в коридоре.

— Минутку не входи, — сказала Надя из-за двери.

«Делает там чего по женской части», — думал Филипп. Стоял с тарелкой перед дверью.

— Можно? — спросил через минуту Филипп.

— Возьмешь, что ль, самовар, аль мне нести? — крикнула Аннушка из сеней на весь коридор.

— Сейчас возьму! Сейчас! Орать-то нечего, сказать можно.

«Дуется, скажи на милость, — шептал Филипп про Аннушку, — угомоним».

— Можно, — сказала Наденька. Филипп толкнул дверь. Надя ладонью подтыкивала шпильки в прическе.

Филипп с любопытством глядел, какая она стала, что делала.

Наденька вымыла чашки, заварила чай. Самовар весело работал паром на столе, казалось, ходит ножками.

— Ты на нее не серчай, — говорил Филипп.

— За что же, и не думаю. Она славная, по-моему.

— Да она ничего, муж у ней в холеру помер и двое ребят, в неделю одну. С нее что взять? Дура вот, деревня, словом сказать.

Филипп смотрел, как Надя разливала чай, и думал: «Придет Егор, скажем, а она у меня чай разливает, говорит: кушайте. Сразу, значит, без слов смекнет, что у нас уж дело», — и Филипп оглядел Наденьку, как оно со стороны выходит.

— Славно! — сказал Филипп, поставил чашку и глянул на часы.

— Тебе идти? — спросила шепотом Надя.

— Аккурат в восемь часов надо на Садовой свидеться с Егором.

Наденька всегда поправляла, когда Филипп говорил «аккурат». Филипп было хватился, но Надя не поправила.

— Так вместе выйдем, — Надя все говорила шепотом.

— Не надо, зачем людям вид подавать... если кто ночевал. Я вернуся, в десять тут буду, ты посиди. Ей-богу. Куда идти?

И Филипп встал.

— В половине даже десятого. — Ему не хотелось оставлять веселый стол и чашки радостные, и Надя вдруг уйдет.

— Не уходи без меня-то!

Филипп быстро влез в тужурку, шлепнул на голову кепку. Он вышел в коридор. Но вдруг вернулся, обнял со всей силы Наденьку, поцеловал в губы и метнулся к двери.

Наденька осталась одна. Самовар все еще кипел и бурлил. Надя пересела на кровать и прилегла щекой к подушке. И мысли клубами вставали, стояли минутку и новые, новые наносились на их место, и все пошло цветным кружевом в голове, а в плечах осталось Филькино объятие: твердое, сильное до боли. Отец, Анна Григорьевна маленькими проплыли в мыслях, они копошились где-то, как будто с большого верха глядела на них Надя. Даже ненастоящие какие-то.

А с этим, что вот здесь, — и Надя взглядом своим охватила залпом всю комнату, все Филины мелочи, — с этим оторваться и плыть, плыть, как на острове... и делать. И Надя села прямо и расправила плечи. Босые шаги подошли к двери и стали.

— Войдите, войдите! — сказала Надя новым своим голосом: твердым, убедительным.

Аннушка вошла. Она глянула на Надю и опустила глаза.

— Самовар взять, мне-то напиться, — шептала Аннушка.

— А вы садитесь, пейте. Пожалуйста. — Наденька встала. — Очень прошу вас. Да садитесь же!

Аннушка села на край стула. Подняла на миг глаза, глянула на Наденьку метким взглядом, как будто дорогу запомнить, снова стала глядеть в босые ноги.

Наденька сполоснула чашку и налила.

— Пожалуйста. Вот сахар.

Аннушка встала и пошла прямо к двери. Она не успела на ходу закрыть дверь. Наденька слышала, как Аннушка сделала по коридору два быстрых шага и побежала.

Она еле донесла смех, прыскала им на бегу и фыркнула в кухне во всю мочь. Надя слышала, как рвал ее смех, как она затыкалась, должно быть, в подушку.

Даль

— ВИТЯ! Витя! — только успела крикнуть Груня и обхватила прямо в дверях Вавича за голову, и фуражка сбилась и покатилась. Виктор не успел и лицо ее разглядеть, она гнула, тянула его голову к себе, прижать поскорее. Совсем обцепила голову и волокла его в комнаты, как был в шинели, и он сбивчиво шагал, боялся отдавить ей ноги.

— Правда? Правда это... что говорят? — шептала Груня. И она не давала ему ответить, целовала в губы.

— Да все слава Богу, — кое-как сказал Виктор. — Ну что же, ну ничего...

— Это правда, — говорила Груня, — двоих убили, — и слезы увидал Виктор, крупные слезы в крупных глазах. Груня глядела Виктору в лицо: — Правда?

— Городовых, городовых, — убедительно повторял Виктор, — постовых городовых.

13—3207

Груня будто не слышала, она всматривалась, будто искала что у Виктора в лице тревожными глазами, а он повторял с упрямой болью:

— Городовых, двух городовых.

— Витенька! — вдруг крикнула Груня голосом изнутри, и Виктор вздрогнул. И вдруг бросилась щекой на мокрую шинель, обцепила за плечи руками, и Виктору вспомнился голос в часовне: «Матюша!»

— Да что ты, что ты, — отрывал Груню Виктор. — Грунечка! Да что ты? Это угомонится все мерами. Меры же принимаются. Войска же есть!

Груня тихо плакала, налегая головой Виктору на грудь. Фроська на цыпочках прошла по коридору. Груня отдернула голову, быстро рукавом смахнула слезы.

— Подавать, подавать! — говорила Груня на ходу. — Да, да, сейчас.

Виктор кинул портфель, бросился раздеваться. Кое-как срывал петли с пуговок.

— Очень торжественно, — говорил Виктор в кухне и плескал себе в лицо студеной водой, тер водой, ерошил волосы, — замечательно, что все были, и полицмейстер с полицмейстершей... собирали... лист... и я тоже записал... пенсию назначат, это само собой. Поймали этих двух, — говорил Виктор, а Груня подавала полотенце и все глядела в лицо, будто не слышала, что говорит Виктор, — одного при поимке ранили... — и Виктору преградил слова Грунин взгляд.

— Я слушаю, слушаю, — заговорила Груня, — ранили.

— Поймали, одним словом, — Виктор передал полотенце и отвернулся.

«Про другое надо говорить, — думал Виктор, переодеваясь, — про что бы это? Веселое что-нибудь...»

На столе стояли закуски, графинчик, Груня сняла покрывальце с кофейника.

— Да! — сказал Виктор и сел в свое кресло. — Письмо от твоего старика было. Он ушел с этой службы. Противно, понимаешь, говорит. Надоело, что ли...

— Ну-ну! — Груня чуть не пролила на скатерть. — Ну, и что?

— Враги, говорит, завелись, ну и бросил к шутам. Да верно — незавидная должность, городишко — переплюнуть весь.

— Ну, и что? — Груня поставила кофейник и во все глаза уставилась на Виктора. — Где письмо-то?

— Да забыл, понимаешь, в участке, — соврал Виктор и покраснел, стал намазывать масло поверх бутерброда с икрой, заметил и быстро сложил его вдвое.

— Дай письмо! Поищи! — говорила, запыхавшись, Груня. — В шинели, может быть, — и она двинулась из-за стола. Виктор вскочил, быстро вошел в сени, топтался у вешалки и вынимал из портфеля письмо. Большая карточка глянула глазами из полутьмы портфеля.

— Нашел! — крикнул Виктор и осторожно спустил портфель на пол. — Черт меня дернул, — ворчал шепотом Виктор. Он поднял портфель и твердым шагом вошел и, нахмурясь, подал Груне конверт. — Вот, читай сама, пожалуйста.

Груня проворными пальцами достала письмо. Чашка кофе без молока хмурилась паром, Виктор жевал бутерброды с силой, будто сухари.

— Ничего, ничего, — вздохнула Груня и замахала в воздухе письмом, как будто чтоб остудить, — ничего, мы ему здесь место найдем. Да, Витя?

И Груня первый раз улыбнулась. Заулыбался и Вавич, будто проснулся — и солнце в окно.

— Ты знаешь, — начала Груня. — Нет, нет, я сама. Я уж знаю. Ох, что ж я кофей-то! Стой, нового налью. А я знаю, знаю теперь.

И Груня весело трясла головой.

— Да-да-да!

Замолчала, остановилась голова. Стало тихо, и в кухне ни звука. Груня навела остолбенелые глаза на Виктора, Виктор с испугом глядел на нее. Груня вдруг встала, рванулась к нему, потянула скатерть, с лязгом упал ножик. Груня схватила Виктора за оба уха, сильно, больно, и прижалась губами к переносице.

— Ух, не смей, не смей! — шепнула Груня. — Витя, Витька, не надо! — и опять до зубов прижала губы. Села на место, тяжело дышала. Смотрела мимо Виктора в стену.

Виктор старался улыбнуться, растянул было губы и тут заметил, что Груня шепчет что-то без звука.

Виктор поправил скатерть, взял свою чашку.

— Да! Понимаешь, — начал Виктор, — эти-то наши, как их, почтовые-то!

Груня перевела раскрытые глаза на Виктора.

— Почтовики-то наши, эти два. — Груня кивнула головой. — Прохожу по Садовой, они в кучке у почтамта. Я на них гляжу и

уж руку занес для приветствия — отворачиваются, сукины дети. Оба. А ясно, что видят. Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула Груня и все так же настороженно глядела на Виктора.

— Забастовщики! — наладил голос Виктор и поглубже сел в кресло. — Стыдятся с квартальным, значит... а водку жрать, так первейшие гости, выходит, — зло улыбнулся Виктор, — анекдотцы! Самые...

— Витенька, я беременна, — сказала Груня, и первый раз Виктор увидал ее глаза, увидал, что там, за радостью — жаркая темнота и дали конца нет. Ничего, кроме отверстой дали, не видал Виктор в тот миг. Закаменел на мгновение. И вдруг весь покраснел, зашарил рукой по столу, нашел Грунину руку, притянул к губам, прижался щекой. Рука была, как неживая, тяжелая, и он чувствовал Грунин взгляд на своем затылке. Он еще, еще целовал Грунину руку и вдруг почувствовал, что миг прошел, и глянул мокрыми глазами на Груню. В глазах уж блеск закрыл даль. Груня нагнулась за ножиком.

— Давно? — шепотом спросил Виктор и кинулся подымать ножик.

Цвет

ТАНЯ видала этот цвет в витрине. Цвет этот сам глянул на нее так ярко, как будто он нарочно притаился среди набросанных, развешанных складок, притаился и ждал ее, прищурясь, увидал и так глянул в глаза, что сердце забилось. Он, он, ее цвет, его раз, один раз можно надеть, решительный раз.

Раз и навсегда, навеки! Она с волнением думала об этом куске шелка — он ляжет воротником вокруг ее шеи, спустится на нет острыми отворотами по вырезу на груди. Она зашла тогда в магазин, держала в руках и не решилась поднести к лицу и взглянуть в зеркало. Да и не надо было. Она знала, что это он. Этим нельзя шутить при продавцах в магазине. Она взяла ненужную тесьму — два аршина. Теперь она шла, торопилась к тому магазину, где в окне лежал он. Он был коричневый, гладкий, с огнем где-то внутри. И Таня знала, что если им обвить лицо, то невидимо для всех выступит то, что она в себе знала. Она боялась, что уже разобрали, и хмурилась и отмахивала го-

ловой эту досаду. Она не садилась в конку, знала — не усидит. Свободного извозчика взяли за десять шагов перед ней. Таня торопилась, боялась встреч.

Вот, вот она, витрина! И цвет вспыхнул еще жарче. Таня вошла в утренний пустой магазин. Приказчики бросили разговор, уперлись ладонями в прилавок и наклонились вперед. Но сам хозяин, в широком пиджаке, с пенсне на кончике носа, отошел от конторки:

— Желаю здоровья! — мягкая седина кивнула на голове и откинулась.

— Шелку нет ли у вас какого-нибудь? Коричневого, что ли? — сказала Таня и почувствовала, что покраснела.

Два приказчика сразу сняли по куску с полки и подбрасывали на руке, разматывали волны на прилавок.

— В таком роде? — хозяин учтиво вглядывался, подымая шелк тугим веером.

Таня делала вид, что приглядывается, щурилась.

— Не-ет. Нет!

А цвет глядел уж с полки, жадно ждал. «Ну-ну!» — казалось, шептал нетерпеливо.

— Вон тот покажите, — и Таня ткнула вверх пальцем. — Да нет, нет! Правей! — почти крикнула она на приказчика.

А он, обернувшись к ней, хватал все не то.

— Вот, вот! — Таня запыхалась. Но цвет был уже на прилавке и спокойными волнами перекрывал победно все эти тряпки. Он уж не глядел теперь на Таню, а расстилался, глядел в потолок. Хозяин не гарнировал его складками для показа, хозяин поверх пенсне смотрел на Танино напряженное лицо. Приказчики осторожно поворачивали рулон.

— Отмерим? — через минуту сказал хозяин, сказал мягко, проникновенно, как будто знал, что творится важное. — На блузку желательно? — шепотом, сочувственным и таинственным, спросил старик.

Нужно было всего пол-аршина, но стыдно вдруг стало всего этого волнения и этих трех человек и старика — и вдруг пол-аршина!

— Три аршина, пожалуйста.

Приказчик подал хозяину аршин. Таня заплатила, не торгуясь. Она зажала под мышкой мягкий пакет и вышла из магазина.

Прохожие кучками читали какие-то афиши на стенах. Два казака шагом ехали по мостовой. Двое студентов спешной по-

ходкой обогнали Таню, они громко говорили на гортанном языке, один в папахе. «Непременно оглянется, что в папахе».

Студент оглянулся, не переставая что-то кричать соседу. Таня отвернулась и увидела свою фигуру в стекле витрины, отвела глаза и сейчас же чуть поправила шляпу.

Портнихе надо всего пол-аршина, прицепится, зачем три? Сначала домой и отрезать, решила Таня и ускорила шаги. Она заметила вдруг, что все люди идут в одну сторону, с ней по дороге, и все осторожно глядят вперед и направо. Некоторые не доходят, мямлят ногами и останавливаются на приступках парадных дверей, и Таня расслышала среди говора улицы ровное гудение толпы. Взглянула, куда тянулись лица прохожих, и вдруг гул толпы поднялся, и дыхание этого звука обвеяло Таню, и грудь дохнула выше, глаза напряглись тревогой. Вон, вон оно. Высоко торчали спины в шинелях, и волнами шатались чубатые головы, и через минуту Таня увидала лошадиные зады, и в ту же минуту крепкий голос крикнул чуть не в ухо:

— Назад! Назад, говорят! Налево сворачивай!

Околоточный метался по обочине панели. Он почти толкнул Таню и, толчком повернув прохожего, ринулся вперед. Он размахивал свистком на цепочке. Черная цепь городовых спинами спирала прохожих к домам. Таня взошла на крыльцо, какой-то господин споткнулся, потерял на ступеньках пенсне, но его затолкали. Тане теперь видна была за казаками толпа студентов, фуражки с синими околышами. Их было много. Таня никогда не думала, что столько студентов. Они заполняли весь квартал перед длинным университетским фасадом. Серо-желтый фасад смотрел неприветливо, будто призакрыв глаза, и, как прямой старческий рот, шел вдоль длинный балкон с жидкой решеткой.

Таня стояла с кучкой людей на маленьком крылечке без перил, она неровно, сдавленно дышала, как соседи, и не отрывала глаз от толпы.

— Вон, вон, с черными усами... пристав Московского... Московского участка... на коне нынче...

— Помощник это, не пристав, — поправил кто-то совсем похолодевшим голосом.

Вдруг высокие сухие двери на балконе раскрылись. Они упирались и потом сразу отлетели, распахнулись, на балкон вышел студент в шинели. Он раскрывал рот, но ничего не было слышно за плещущим гулом толпы. И вдруг все обернули го-

ловы — сразу черным стало лицо толпы. Все замолкло. Секунду слышно было, как скреблись подковы лошадей о мостовую.

— Товарищи! — крикнул студент звонким тенором. Жутким ветерком дунуло на Таню от этого голоса с высоты. — Товарищи! — повторил студент. — Сегодня вся трудовая Россия... рабочие фабрик, все железные дороги, весь народ... один человек... — ловила ухом Таня и услышала гортанный кавказский акцент, и от этого резче показались слова, и голос резал головы, вправо и влево поворачивался студент, — как один человек встал... царя и его холопов. Товарищи! Близок час... — Оратор вскинул голову, чтоб набрать воздуху, и в эту минуту крутой голос сказал над толпой:

— Довольно играться! В плети! — И помощник пристава поднял руку — белую перчатку.

Таня видела, как раскрывал еще рот студент на балконе, и вдруг неистовый вой толпы рванул улицу. Таня видела, как подняли казаки руки, как замахали нагайками, как будто стервенил их этот неистовый рев толпы, как будто голос этот забить, затоптать спешили казаки. Таню как силой поднял этот крик, ураган воплей, она метнулась с крыльца — туда! туда! во всю силу! Но соседи хватали ее, она рвалась. Тот господин, что потерял пенсне, уже втолкнул ее в парадное, захлопнул дверь, загородил собою, а Таня била по стеклу двери ридикюлем, кулаком и из разбитого стекла с новой силой рванул неистовый звук, — он рвал Таню, и она дергала, и била человека, а он закрылся рукавом и не пускал к двери. И вдруг на дверь наперли с той стороны. Толпа прохожих опрометью ринулась в двери, они неслись потоком, давили друг друга и неслись дальше, вверх по парадной лестнице, они утянули Таню на второй этаж, и Таня слышала дрожащие голоса вокруг себя: стрельба, стрельба сейчас будет. Что-то раскатом грохнуло на улице — все трепетно примолкли. Но новый раскат ясно обозначил: срыву дергали вниз магазинные шторы. Кто-то пробежал внизу, и замок защелкал — запирали парадное. Таня в слезах вертела головой, спертая с боков, и сквозь зубы говорила одно:

— Пустите, пустите!

Пронзительный полицейский свисток вонзился и засверлил у самых дверей: стой! — и звонкий топот лошади. Свисток прерывчато зачиркал дальше. Лестница вздохнула. Где-то вверху приотворили дверь. Все головы поднялись. Но дверь хлопнула с силой и громко отдался торопливый ключ: раз и два!

В Танечке стоял дикий звук, и она не знала, что уж на улице тихо, как ночью.

— Нельзя, нель-зя! Невозможно! — Таня шла, почти бежала по тротуару, говорила эти слова и с силой трясла головой. Ничего не видела, и ноги сами несли по панели. — Стоят, стоят, черти, смотрят... бегут! — и Таня на секунду скашивала на прохожих, ненавистных, ярые глаза и снова трясла головой. Она вбежала по лестнице Тиктиных и опомнилась только у двери и вдруг с силой прерывисто стала тыкать кнопку звонка. Дверь отворила Дуняша. Танечка чуть не сбила Дуню с ног, толкнула в сторону пустое кресло — она видела испуганное лицо Анны Григорьевны. Анна Григорьевна полуоткрыла рот, как будто чтоб вдохнуть удар.

— Это нельзя, немыслимо! — шептала Таня, и губы бились, сбивали слова. Она прошла, как была, не раздеваясь, в гостиную, прошла взад и вперед по ковру — Анна Григорьевна смотрела на нее изломанными бровями.

Таня с размаху села в угол дивана, сжала щеки руками.

— Голубушка, что? Что? — старуха стала на колени, старалась заглянуть ей в лицо. — Что, что, милая?

Таня трясла головой и еще сильней сжала руками лицо.

— С Надей нашей? У вас она? Надя?

Танечка вдруг оторвала руки от лица, выпрямилась в углу дивана, и Анна Григорьевна увидала злые, яростные, ненавидящие глаза и увидала кровавые полосы на щеках, что остались от рук.

Анне Григорьевне казалось, что сейчас, сейчас Таня плюнет, плюнет так, что убьет. Ждала мгновения, как выстрела, не отрывала взгляда от глаз.

— К чер... — Таня не договорила и повернулась всем корпусом в угол дивана, вдавила голову в широкую спинку. Анна Григорьевна увидала, что стали вздрагивать лопатки. Она поднялась на ноги.

— Дуня! Воды! — крикнула Анна Григорьевна.

— Уйдите! — на всю квартиру закричала Таня. Анна Григорьевна вздрогнула от этого крика и бросилась вон из комнаты. Дуня со стаканом спешила навстречу.

— Тише! Тише! — шептала, задыхаясь, Анна Григорьевна. — Поставьте тихонько на столик возле барышни. Боже, Боже мой, что ж это? — металась Анна Григорьевна от окна к столу. Она

услышала хрип и спазмы. — Истерика! — И Анна Григорьевна вошла в гостиную.

Таня так же сидела головой в диван. Анна Григорьевна попробовала дотронуться до ее головы, но Таня вся дернулась, как от удара электричества, и вдруг глянула на Анну Григорьевну напряженным взглядом, закусила распухшую губу. Выпрямилась. Отвела взгляд. Поправила сбитую набок шляпу. Одернула юбку. Она тряским дыханием сказала:

— Про...сти...те, — она старалась успокоить лицо, успокоить в руке стакан. Она отпила половину. Анна Григорьевна смотрела на ее руки в крови, на изрезанные перчатки.

— Вам дать чего-нибудь? — говорила Анна Григорьевна, хотела спешить, но Таня покачала головой, медленно, размеренно.

— Благодарю вас. Я сейчас уйду. Не беспокойтесь.

— У вас кровь, кровь тут, — Анна Григорьевна показала на своем лице.

— Пустяки! — Таня говорила уж почти спокойно. Она достала платок из сумочки, слюнила его и терла щеку.

— Руки, руки! — Но Таня осторожно отвела руки, не дала Анне Григорьевне.

— О вашей Наде я, к сожалению, ничего не знаю. У меня она не была вот уж неделю, что ли.

Танечка глубоко перевела дух.

— Танечка! Что за тон, милая вы моя! — умоляюще крикнула Анна Григорьевна.

— О Наде ничего, — ровным тоном начала Таня.

— Да с ума вы сошли, Танечка! За что? Несчастье кругом, а вы... Танечка!

И Анна Григорьевна наклонилась и сильно трясла Таню за плечо, как будто старалась разбудить.

— Ведь часу нет как городовой ушел. Обыск был.

Таня вскинула глаза.

— Надю искали. Засаду оставили. Милая! — и в голосе и в глазах Анны Григорьевны были слезы. — Голубушка! — всхлипнула Анна Григорьевна и увидела, что можно обнять Таню, и она прижимала ее всей силой и плакала неудержимо свободной бабьей рекой, широкими слезами.

Таня гладила старуху по голове, откидывала со лба мокрые седые волосы.

— Не могу, не могу, — всхлипывала Анна Григорьевна, — извелась, за всех извелась! Саньку понесло! Куда? — и она сми-

гивала с глаз слезы, чтоб верней видеть Танин взгляд. — Куда? — вдруг остановила плач Анна Григорьевна, она держалась взглядом за Танины глаза. Танин взгляд дрогнул, на миг раскрылся, как крикнул. — Ну скажите, куда? — и Анна Григорьевна трясла Таню. — Знаете, знаете? Ну, не мучьте! — и она целовала Таню в плечо.

Таня отвела глаза.

— Вот вам честное слово — не знаю. Не пропадет!

Таня встала. Анна Григорьевна с дивана спрашивала еще заплаканным взглядом: «правда? не пропадет?»

— Руки бы умыть... — сказала Таня, усиленно разглядывая свои руки.

Анна Григорьевна вскочила:

— Да, да! Что я! Как это вы?

— Пустяки, — улыбалась Таня, — это я стекла била со злости. Я ведь ужасно злая, — болтала Таня и сдергивала разрезанные перчатки, они прилипли от крови.

— Осторожней, осторожней! — говорила Анна Григорьевна, поливала на руки Тане. — Смотрите, нет ли стекла. Стойте, я сейчас бинт достану. Бинт надо.

— Мы ведь все одинаковые, — говорила Анна Григорьевна, заворачивая бинтом Танины холеные руки, — все мы одни — нет! нет! я уж сама, — Анна Григорьевна деловыми руками кутала Танины пальчики. — Вот когда дети будут — все одни, все сравниваемся... А это все до детей, — и Анна Григорьевна решительным узлом завязала марлю на тонком запястье.

Она пошла прятать остатки бинта и вошла с туманом в глазах. Она не глядела на Таню, а в угол, и говорила, как одна:

— Ах, как меня Надя волнует, — и шатала осторожно головой.

— Спасибо! Прощайте, — сказала Таня.

Анна Григорьевна все смотрела в угол, покачивала головой. Танечка пошла в переднюю, она уже взялась за дверной замок, как вдруг Анна Григорьевна окликнула:

— Стойте, стойте! Забыли! — и она полубегом спешила к Тане: — Это ваш, наверно! — она протягивала сверток. Там был цвет. Танина рука взяла сверток — забинтованная, неловко.

— Ах, merci! — сказала Таня и толкнула дверь.

Таня спустилась один марш и стала на площадке. Ей вдруг не стало мочи идти — как будто вдруг ничего не стало и некуда идти. Она стояла и хмурилась, чтоб надуматься. Но брови снова распускались, и только пустая кровь стучала в виски.

Внизу хлопнула с размаху дверь, гулко в пустой лестнице, и вот шаги, быстрые, через две ступеньки. Таня насторожилась, дрогнула, смотрела вниз — да, да! Санька Тиктин, криво поднят ворот, шинель расстегнута, и крупно дышит, и смотрит как с разбегу — узнает ли?

— Здравствуйте! — сказал Санька запыхавшимся голосом, кивнул, не сняв фуражки.

— Оттуда? — спросила Таня шепотом и глядела в глаза пристально и строго.

Санька кивнул головой и стоял, опершись о перила, трудно дыша, но все еще чужими глазами смотрел на Таню.

— Наври своей маме, что видел Надьку, — вдруг на ты, первый раз на ты, сказала Таня и придвинулась ближе, — скажи, что видел с товарищем, что ли. И сам приди в человеческий вид.

Таня, закутанной в бинт рукой, прижала на место Санькин ворот. Прихлопнула. Она еще раз строго оглядела Саньку и пошла вниз по лестнице.

Санька дослушал шаги, и хлопнула басовито парадная дверь.

Огонь

ФИЛИПП сразу залпом вдохнул утренний воздух. Натягивал его в грудь и выпускал ноздрями, встряхивал головой.

Осень будто остановилась отдохнуть — было тихо и сухо.

«А она там у меня сидит и дожидается; приду, а она есть, — думалось Филиппу, и ноги быстрей шли, — а вдруг и не дождется? Эх, черт, и ведь никак не думал и кто б сказал — не поверил», — Филипп улыбался и отмахивался головой — «не гляди!» — кричит, и вспомнилось, как сжалась от стыда, пронзительно как! Эх, милая ты моя! А потом пошла в голове вместе с шагом плыть теплая кровь — то шире, то уже, наплывала на глаза, и Филипп не видел, кому давал дорогу. Не слыхал шагов по привычным мосткам, и только на панели у пробочной фабрики отошла теплынь. Городовой окликнул:

— Проходи мостовой! Свертай право!

Филипп глянул: трое городовых с винтовками ходили под окнами фабрики. Филипп глянул в окна: как будто тихо, стало, бастуют. В последнем окне он заметил свет — будто кто шел с керосиновой лампой. Но стать было нельзя. Филипп еще раз оглянулся.

— Проходи, проходи! — крикнул вдогонку городовой.

А вот он длинный, низкий канатный. Филипп шел посреди мостовой — мелкими стеклами рябили решетчатые окна. Тусклый свет мелькал в заводе, и опять черные шинели с винтовками — старые берданки, вон штык-то какой вилой выгнут. Городовые провожали Филиппа глазами. А за углом шум. Ага! У ворот кучка. Вон и квартальный — серая шинель. Так и есть: вон поодаль еще народ — это на работу не пускают. Фу ты! Квартальный туда. Бежит. Городаши за ним.

Филипп стал на минуту.

— Прррa-ходи! — и один городовой шагнул и винтовку от ноги вскинул.

— Ну! — Филипп дернул вверх подбородком.

— Не рассказывай, сука, а то враз поймаешь! — и городовой сделал еще два шага и щелкнул затвором.

Дальняя кучка рассыпалась, Филипп видел, как в одного кинули камнем.

— Да бей в него! — крикнул городовой от ворот.

Филипп повернулся и пошел. Он сделал шагов пять, и сзади грохнул выстрел. Филипп оглянулся. Городовой стрелял туда, куда убежала кучка. Да неужели? Филипп оглянулся еще раз: из низенькой заводской трубы, крадучись, поднимался жидкий дымок.

— Вот сволочь! Какая ж это там сволочь? Бабы, что ли? — Филипп еще раз оглянулся на трубу. — Расскажу Егору, сейчас все узнаю, все-все, как кругом дело, — и Филипп поддал шагу. Теперь уж город, гуще стало на тротуаре, гремят по мостовой извозчики. Филипп проталкивался, отгрызал куски папироски и отплевывал прочь.

— Позвольте прикурить? — Филипп не сразу узнал Егора в барашковой шапке, будто даже ростом выше.

— Дурак ты! — сердито заговорил Егор.

— Чего дурак? Знаешь, что возле канатного? — Филипп строго глянул на Егора.

— Каким ты, дура, расплюям листки отдал? А?

— А что? — Филипп брови поднял, чуть не стал.

— Иди, иди, — бубнил Егор. — Что? А вот и что! Провалили они листки, все девять сотен. Вот что!

— Да ну? — Филипп глядел в землю.

— Теперь и нукай! Понукай вот. Запхали в трактире в машину, на шестерку понадеялись, он их и засыпал. Я ж тебе, дураку, говорил: не можешь, не берися. А он: я! я! Вот и я!

— Так давай я враз другие двину. Давай! Я возьмуся, так я...

— Я! Я! — передразнил Егор и сплюнул в сердцах.

«Сейчас приду, притащу гектограф, да мы с Надей как двинем», — и Филиппу представлялось, как они с Надей орудуют, как листки так и летят из-под валька, и вот не девятьсот, а полторы тысячи — на! получай нынче к вечеру, вот в самый нос кину. «Она уж как-нибудь по-особенному» — и Филиппу захотелось, чтоб дать Наде себя показать — ух!— огонь.

— Придешь вот нынче, — Егор огляделся, — на то же место, только чуть поближе к стрельбищу — вот придешь и всем скажешь: вот это я и есть дурак.

— Да ну тебя! — вдруг озлился Филипп. Он круто повернул и зашагал назад, толкаясь, сбивая прохожих. Он дернул вниз кепку, поймал губой ус и зажал зубами.

«Перерваться, сдохнуть, а чтоб было к вечеру, и вот — пожалуйте-с — полторы тысячи», — Филипп видел уж, как Егор кивает на него головой, а все комитетчики глядят и зло и учительно... подумаешь, сами-то лучше.

А Филипп тут, не говоря ни слова, пачку — пожалуйте. И вот тут сказать: «Вот на всякую бабью грызню время волынить, так, вижу, тут мастера...» — и еще тут что-нибудь, поумней — у Нади спрошу.

Филипп чуть не сшиб с ног гимназиста, завернул за угол, и ноги сбавили шаг: вся улица стояла. Люди липли к домам. Две дамы неловкой рысью простучали мимо Филиппа. И вдруг вся улица двинулась назад, попятились все, будто дернули под ними мостовую. Вот скорей, скорей. Ближние еще шагали, завернув назад головы, а от дальнего угла бежали, и все скорей и скорей, и молчание — оно все сильней и выше завивалось в улице, и вдруг вывернули из-за угла казаки. Они рысью шли и по мостовой и по тротуару — пять человек. Филипп стоял и глядел — люди толкали его на бегу, тискались в ворота домов. На пол-улице казаки остановились. Один потряс в воздухе нагайку. Лицо было красное, и он смеялся. Потом мотнул головой вбок, и все повернули, поехали шагом вниз по улице. Двое стали на мостовой, другие поскакали за угол.

— Чего стал! Проходи! — Филипп глянул назад, но городовой уж рванул его за плечо, повернул, толкнул в спину. — Проходи, говорят тебе, стерва!

Филипп двинул назад, и городовые один за другим спешили, стукали на ходу голенищем по шашке.

— А ну, назад!

Филипп прижался к стене, он терся плечом о фасад, скорей и скорей разминуться с городовыми.

Услыхал два коротких свистка сзади. Скосил через плечо глаз — фу, не ему: околоточный останавливал городовых, они цепью перегородили улицу, шагах в пяти позади Филиппа. Филипп шел теперь обходом к себе, в Слободку — улица пустая — ух, не вторая ли цепь там впереди.

Филипп наддал, шел во весь дух, но вдруг улица, вся улица позади городовых зачернела народом, загомонила воробьиным частым чоканьем. Филиппу приходилось тереться в густоте.

Какая-то старуха в платочке совалась, искала выхода меж людей, уцепилась за хлястик Филипповой тужурки.

— Уж прости, прости, сынок, из каши этой чертовой вытащи. Стопчут, кони какие-то... Побесились.

Филипп досадовал, не сбавлял ходу, старуха спотыкалась, бодала в спину, но не пускала Филипповой тужурки.

— Куда несет-то их леший! — отплевывалась от прохожих старуха. — Господи! — выкрикивала она в спину Филиппу. — А на Слободке-то, у круглого-то базару! Сунулась я, дура, страсть!

Старуха уж бросила Филиппов хлястик, она ковыляла рядком за рукавом Филиппа, боялась отстать.

— С ума прямо повыскакивали — конку на бок... конку, я говорю, с рельсов, и каменья... прямо мостовую... ей-богу... роють... прямо... копають.

Филипп придержал шаги, наклонился.

— И что?

Старуха совсем запыхалась.

— А я... а я на другой базар... а куда же, сынок? Солдаты там.

Филиппа подхватил испуг, и не стало ни тела, ни ног, одна голова неслась по улице, и глаза проворно и точно мерили, где верней пройти. «Какой это черт затеял? Спровокатили, что ли, народ? Само завелось?» А глаза вели влево за угол — вон уж улица не та, и лавки закрыты, и народу не видать, и эта, черт, нацелилась улица, дальше!

Трещит по мостовой извозчик. Ух, нахлестывает порожняком — вскачь дует. Лево, в улицу. Вон у ворот стоят — ничего, будто спокойно, семечки лущат. Филипп сбавил шаг: на углу, у ларька, чернел городовой. «Теперь уж прямо надо на городового» — и Филипп деловым шагом прошел мимо ларька. Горо-

довой поворачивался ему вслед. И Филипп чувствовал в спине его глаза.

Улица пошла немощеная, с кривыми домиками, теперь вправо — и вот скат вниз, и вон через дома торчит ржавый шпиц колокольни, там круглый базар, и заколотилось сердце, застукало по всей груди, и дыхание обрывками, — Филька побежал. Вон впереди выскочили двое из ворот и зашагали вприпрыжку. Филипп нагнал. На одном полупальтишко, руки в карманах — глянул на Филиппа из-под кепки, примерил. Другой завернул голову на длинной шее из тяжелого пальто. Молодой зубато улыбнулся.

Филипп шагом пошел по другой стороне. Чтоб в обход — надо налево.

Оба свернули налево и оглянулись на Филиппа. Филипп шел следом, видел, как выходили люди из ворот, оглядывали наспех улицу и быстро пускались туда, вниз, к базару. Но вдруг Филипп дернул голову назад — сама повернулась, сзади спешным шагом топали солдаты. Филипп бегом бросился вниз. Побежал зубатый, путаясь в полах.

— Сюда, сюда, лево! — махал он Филиппу. В кепке завернул тоже, — впереди бегом топали люди, — а вон в ворота забежал — вон и другой. — А, черт! — Филипп рванул вперед, под горку, обгонял, кричал на ходу:

— Живей! Валяй! Дуй! — Он видел, как впереди свернули вправо, косо глянула сбоку ржавая колокольня, и вон черная куча народу — видать сверху, а вон наворочено, столбы телеграфные, сбитые с ног, и крестовины с белыми стаканчиками.

На миг стал передний перед воротами налево и позвал рукой. Филипп вбежал в ворота, он бежал следом за передним, лез за ним на курятник, через забор; голый сад, липко, мягко, опять забор, и уж Филипп подталкивает грязные подошвы — ух, тяжелый дядя! Перевалил! Филька подскочил, ухватил забор, а снизу поддают, и уж слышен гул, крик народа и треск — мотает голыми ветками дерево, вот она куча народу, вон напирают, валят дерево, слышно, спешит пила — ничего не видно за народом.

— Га-а... — заревела толпа, бросилась в стороны, дерево пошло клониться, скорей, скорей, Филиппа отбросили вбок. Дерево мягко упало ветками и закачалось.

— Кати! Кати веселей!

«Парнишки все» — оглядывался Филипп.

— Рви, рви ее сюда!

Филька увидал зубатого: он уж садил ломом по базарной будке. Люди раздирали доски; доски остервенело трещали, скрежетали.

Филипп пробивался вперед, куда катили с гиком дерево, передавали доски. Разбитая конка торчала из-под груды хлама, задушенная, с мертвыми колесами.

Филипп вскарабкался наверх, где несколько мальчишек старались умять наваленный лом. В дальнем конце площади стояли черным строем конные городовые. Филипп видел, как мастеровые тянули телеграфную проволоку перед баррикадой. Филипп снял шапку и завертел ею над головой.

— Товарищи! — во всю мочь крикнул Филипп.

Вдруг грохнуло справа, как взрыв, как пушечный удар.

Филипп глянул — это бросили с рук железные ворота.

На миг толпа стихла.

— Товарищи! — крикнул опять Филипп. — Солдаты! Пехота! Идет сюда... я видал...

— Го-ооо-о... — загудела толпа, и вдруг осекся звук.

Филипп оглянулся — конный взвод в карьер скакал на баррикаду.

И вдруг плеснули в воздухе поднятые шашки. Филипп глядел: какие-то люди остались за баррикадой, впереди, у домов. Черный взвод несся, а те не бежали, и Филипп кричал что силы:

— Назад! Назад! — и не мог оторвать глаз от людей. Они присели, прижались к домам. Кони все видней, видней, вот лица, глядят — жилятся губы — ближе, ближе — ноги приросли, не сойти Фильке, и сердца не стало — прямо в него врежутся кони. И вдруг люди у домов вскочили, дернулись, и в тот же миг боком рухнул на мостовую конь, и с разлету всадник покатился головой о каменья, шапка прочь... другой, и много разом и миги за мигами — склубились, свернулись кони. И махнуло через голову черное, и сразу зарябил от камней воздух. Взвыла толпа, и зверел рев за камнями.

Филипп присел, лег. Человек без шапки двумя руками через голову бил сверху булыжниками, орал последним голосом:

— В гроб! В кровину!

Кто-то попал ему камнем в спину, и он упал рядом с Филиппом и все кричал:

— Бей! Бей! В гроб их тещу, бабушку, в закон Господа-Бога мать!

Стали выкарабкиваться, вбегать наверх, и вдаль кидали камнями, уж без пальтишек, в одних блузах, рубахах, размашисто. А там бились, подымались кони, за коней прятались люди, бежали прочь, с конями, без коней. Один долго прыгал с одной ногой в стремени, а лошадь поддавала ходу за всеми. Сверху улюлюкали, метили в него камнями. Он уцепился за луку, повис, без шапки. Лошадь с поломанной ногой силилась встать и падала, дымила ноздрями.

Проволочный трос, прикрученный ломами за уличные фонари, чистой строгой прямой прочертил воздух — на аршин от земли. Филька глядел на него — откуда взялся?

А впереди уж разматывали ребята, катили через мостовую новый моток троса, закручивали у ворот. Они не шли назад, остались у ворот.

К Филиппу через обломки лез рабочий из их мастерской, красный, расстегнутый.

— Филька! А как мы дернули-то канат! А! — орал он Филиппу в ухо. — За аршин — гоп! Канат вверх, а они брык! Видал? Мы!!! — И рабочий стукнул себя в грудь кулаком, как камнем ударил.

Филипп стоял и тряс поднятыми руками, и в нетерпении сжались кулаки — на мгновение гул спал.

— Товарищи! — крикнул Филипп. — Пехота! Солдаты! Стрелять! Баррикаду насквозь! Всех как мух! — «перебьют», хотел еще крикнуть Филипп.

— Ура-а! — закричала толпа. В тысячу ударов заплескал гомон, сбой, толчея голосов. Филипп завертел кепкой над головой.

— Ура-а! ау! — еще крепче, как полымя, взвилось над толпой.

Филька сверху видел, как садили мостовую ломами, готовили камни.

Сзади трубным воем ахнула лошадь. Филипп вздрогнул, оглянулся — лошадь с размаху упала, пыталась встать — и дикими глазами смотрела вдоль камней.

Кто-то спускался с баррикады, ему махали руками на лошадь, кричали. Он вытянул из-за пазухи револьвер, Филипп отвернулся. Он еле услыхал выстрел за ревом голосов.

Но вдруг голоса притухли — как будто ветром снесло пламя звука. Глухое рокотание шло из-под низу — будто сразу стало темней.

Серые шинели шли на том краю площади. Они вдвигались без шума из улицы.

— Назад! Товарищи! Зря пропадаем! — Филипп один стоял во весь рост на баррикаде.

Он уже видел, как дальние редели, и улица за баррикадой чернела отходящим народом.

— Чтоб нас, товарищи!.. как вшей подавили?

Рокот пошел в ближних рядах. Трое парней карабкались наверх, у одного Филипп увидал тульский дробовик. Парнишка мостился, а рокот рос, уж не слыхать голоса, и сзади черна от народа улица — шевелится чернота, и над ней шатается ровный придавленный гул.

Кто-то вдруг тискается сквозь передних, и Филипп узнал того, что шел в тужурке, руки в карманы. Он черными пристальными глазами смотрел вперед и оступался, вяз в битых досках, опирался на длинный шест. Толпа притаила голос, когда он встал в рост на баррикаде. Он вдруг распахнул на шесте красный флаг и воткнул шест средь обломков, поправлял, пригораживал досками.

— Га-ай! — прошло по толпе, будто плеснули воды на жар.

А тот выпрямился и глядел на толпу черными, недвижными глазами. Потом полез назад, выбирая шаги. В тихом воздухе флаг обвис, как будто конфузился один на высоте.

Филипп смотрел, шевелил зло бровями — сейчас сзади рванет залп. Схватить флаг самому, держать, стоять и кричать:

— Назад! Назад, черти!

Офицюрус прошел вдоль строя. Солдаты держали к ноге и водили глазами за поручиком.

«Мутные рожи». Офицюрус стал и вдруг крикнул сердито, резко:

— Смирна! — и, не закрывши рта, всех обвел глазами. — Тут людям ворота ломают, вагоны переворачивает сволочь всякая... кучи сваливает! Смирна! — снова крикнул, как кнутом хлестнул, и глазом по всем мордам. — Каменьями войска бьют. Враг внутренний — стерва! Вора последняя!

Офицюрус вдруг круто повернулся и пошел вдоль фронта.

— Пузо, пузо не выпячивай! — хлопнул по пряжке солдата.

— Ро-та! — крикнул офицюрус. — Шагом! Арш!

Солдаты двинулись. Не бойко стукнула нога. Они прошли шагов десять. На баррикаде на длинном шесте встал красный флаг. Не сразу узнали, что это.

— Стой! — скомандовал офицюрус. — К стрельбе, — сказал он горнисту. Горнист набрал воздуху. Рожок скиксовал. Офицюрус резко обернулся. Горнист покраснел, напружил щеки — и резким медным голосом взлетел вверх сигнал — бесповоротный, как железный прут.

— Постоянный! Рота! — Солдаты приложились. Офицюрус видел, как ходили штыки. — Пли!

Шарахнулся воздух, и загудело, понеслось эхо вдоль улочек. Враздробь заклецали затворы. Как мертвые стояли вкруг площади дома. Человек стоял на баррикаде, махал руками, не видно куда лицом. Два дымка вздулись рядом, и хлопнули хмурым басом выстрелы.

— Ух! Дух!

— Ро-та! — высоким фальцетом вскрикнул офицюрус и весь тряхнулся. — Пли!

Не враз, рассыпчато шарахнул залп. Офицюрус смотрел на того, что махал руками наверху баррикады.

Нет, уж нет, не стоит.

— Бу-ух! — пухло выпалил дымок с баррикады.

— На руку! Шагом арш! — командовал офицюрус.

Он на ходу достал револьвер, сжал в кулаке рукоятку. Баррикада молчала.

Спокойно торчал шест с флагом. Ближе, ближе подступали солдаты, видны стали куски наваленного хлама — молчала непонятная груда, куда стреляли. И вот шаг, и с этого шага проснулся гомон на той стороне, громче, выше от каждого шага, и солдаты скорей зашагали, и вой поднялся из-за горы, и солдаты не могли удержать ног.

— Бегом арш! — не слышно уж команды, солдаты бежали. Фельдфебель рубил у фонаря шашкой канат. Солдаты видели, как люди лезли через заборы густой черной кашей.

— Ура-аа! — и уж карабкались, упирались прикладами, несколько булыжников полетели — криво, вразброд — будто выкидывали вон.

— Гур-ря! — кричали солдаты. За баррикадой было пусто, трое лежали на развороченной мостовой — один на боку, как спят. Солдатское ура смолкло, опало. И тот, кто гремел на досках вверху, стал на миг.

Кудой!

БАШКИН снимал калоши в темной передней и громко пел на всю квартиру:

— Коля дома? Коля! — особенно кругло выводил «о». — Кооля!

Колина мама ждала, пока он размотает шарф. Башкин не слушал, что она говорила, и выводил веселым голосом:

— Дома Коля?

— Пожалуйста, проходите, — тряскими губами сказала Колина мама, и в комнате, в мутном полусвете, Башкин увидал ее лицо: застывшее, лишь мелкой рябью вздрагивало горе.

— Что? Что с вами? — и Башкин поднял брови, нагнулся к самому лицу и рассматривал, будто на лице шрам.

— Ах, не знаю! — она отвернулась, ушла в спальню, сморкалась, вернулась с платком.

— Слушайте, что же случилось?

Башкин стоял посреди комнаты, приложил к губе палец по-детски.

— Васи нет... Коля узнать пошел... не знаю. В этих заседаниях, — она переставляла на столе катушки, коробочки, отворотясь.

— Зачем же вы пускаете? Зачем? Зачем, голубушка! — стал выкрикивать Башкин. — Ой не надо, не надо! — он поднял голос выше, затоптал в маленькой комнате. — Милая, милая! — он обнял за спину чиновницу. — Не надо! — с болью вопил Башкин и тряс за плечо, заглядывал в лицо.

— Ничего, ничего не будет, — вдруг вверх, в потолок запрокинул голову Башкин.

Чиновница всхлипывала в платок все сильней и сильней.

— Не бу-детт! — как заклинание крикнул Башкин в потолок.

В это время незапертая входная дверь распахнулась.

— Я-я! — крикнул Колин голос из передней. Мать дернулась, но Башкин первый вылетел в переднюю.

— Ну что? — кричал он Коле.

— Ничего... — деловито буркнул Коля. Он размашисто скидывал шинель. — Сейчас.

— Видел его? Видел? — шептала мать.

Коля вошел в комнату, сел мешком на стул, глядел в пол, шевелил бровями.

— Ну? — крикнула мать.

— Мне сказал там один... выходил один... сказал, что до вечера будет у них.

— Папа там? — и чиновница топнула ногой.

— Ну да! — сердито крикнул Коля и встал. Он, топая ногами, пошел в кухню, и слышно было, как он плескал водой под краном. Чиновница вышла.

И Башкин слышал, как Коля, выкрикивая, фыркал водой:

— Не знаю!.. Там сказали.

— Я пойду! — сказал Башкин, выходя в сени.

— Стойте! И я! — крикнул Коля. Он мокрые руки совал в рукава шинели и, не застегнувшись, раньше Башкина выскочил вон. Он ждал Башкина за воротами.

— Верните его! Верните! — кричала вслед чиновница. Башкин оборачивался, снимал шапку. За воротами он мотнул головой Коле и саженными шагами пошел через улицу. Коля бежал следом. Они так прошли квартал. Башкин завернул за угол, и тут сразу пошел тихой походкой. Он улыбнулся плутовски Коле и взял его за руку.

— Здорово? — весело подмигнул Башкин.

— Да нет! — говорил, запыхавшись, Коля. — Что я... ей-богу, скажу... да что я скажу? А она плачет. Ей-богу!

— Ничего, — сказал Башкин учительным тоном, спокойным, плавным, будто гладил Колю, — ничего, мы сейчас все обсудим и решим, что нам делать. Давай спокойно решим, что нам делать.

Коля заглядывал вверх в лицо Башкину и крепко кивал головой:

— Да! Да!

— Пойдем, где людей меньше.

— Ага, — кивнул Коля и поддал шагу. Свободной рукой он старался застегнуть распахнутое пальто.

Они шли к парку, где «правил казну» Коля. Сырая полутьма заслоняла даль улицы, и прохожие быстро семенили мимо. Становилось пустынно, слышны стали свои шаги. Один только городовой чернел на углу.

— Ну вот, — начал Башкин вполголоса, — я тебе скажу по самому страшному секрету, — Башкин обернулся всей фигурой назад. — Да, по самому ужасному секрету...

Коля задрал голову, глядел в лицо Башкину.

— ...что папа твой... нет, что про твоего папу говорят, я слышал, что ему надо быть, — Башкин нагнулся к Коле, — во как! —

Башкин погрозил в воздухе пальцем. — Прямо того... ...заболеть! — в самое ухо шепнул Башкин. — Заболеть или совсем...

Коля, не мигая; глядел перед собой.

— Умереть? — без звука прошептал Коля.

— Да нет! — распрямился Башкин.

В это время какой-то хлипкий человечишко перебегал улицу наперерез Башкину. Башкин повел головой.

— Он? — крикнул человечишко. — Не обознался. — Он приостановился, вытянул шею вперед. — Он и есть! — и человек бросился к Башкину. — Не признаешь? Не? — он сбил Колю вбок, схватил Башкина за лацкан пальто. — Не? Котин, Котин я, накажи меня Господь. Что?

Башкин глядел сверху, откинувшись назад.

— Ты же Башкин! Башкин, покарай мене Господь, что ж ты исделал со мной, чтоб ты пропал, — кричал Котин, как плакал. — Что ты мене, сука, наделала, чтоб ты добра не видал.

Башкин двинулся вперед, но Котин ухватился за рукав, он поворачивал на ходу Башкина, запрыгивал вперед, теребил, дергал.

— Я ж тебе кругом города шукаю, мене ж ночевать нема кудой пойтить, мене ж убьют на Слободке — йай! йай-йай!— и Котин плакал и злой рукой рвал карман Башкина. — Кудой я пойду, чтоб ты сгорел, — он остановился, расставив ноги, рванул Башкина — отлетела пуговка, а Котин держал Башкина за открытую полу. — Кудой? Кудой? — охал он со слезой на всю улицу.

— Слушайте, не сходите с ума, черт вас дери! — закричал Башкин и оглянулся на Колю. — Мальчик же тут — громким шепотом сказал Башкин, нагнувшись.

— К свиньям твоих мальчиков и тебе вместе, — с новой силой задергал полу, завыл Котин, — мене один только слободской устренет, он мне враз перо всадить, так нехай и ты пропадешь, стерва ты лягавая, нехай и тебе вата будеть! Не выдирайся от мене... — Башкин сильно рванул пальто, Котин споткнулся, пролетел два шага, не выпуская полы, он чуть не свалил Башкина — покатился. — Не выдирайся... не... не... не пустю, нехай мне пропасть.

Коля рвал полу от Котина, бил его сапогами по рукам. Котин пустил, Башкин отскочил.

— Городовой! — закричал Башкин. Вдоль пустой улицы воем взвился голос.

— Тебе будет городовой! — Котин вскочил, отбежал назад два шага и вдруг кинулся, прыгнул на Башкина. Башкин отпрянул назад, спотыкаясь. Неловкий удар пришелся выше уха, загудело в голове, и шапка сбилась на землю.

Башкин махал перед собой длинными руками, отчаянно вертел, как попало. Котин целился.

— Ай! — закричал Коля. Он с разбегу ткнулся головой в живот Котину. Они упали.

— Городовой! Городовой! — вопил Башкин. Он отдирал Колю от Котина. — Идем, идем, идем!.. — бормотал Башкин. Он уцепил Колю за рукав и потащил за собой. Он бегом завернул в переулок. Вдруг Коля всхлипнул, рванулся и опрометью понесся прочь. Башкин слышал, как дрожала на бегу яростная нота и ушла вдаль.

Петух

ВАВИЧ стоял в наряде перед собором. Отпевали убитых. Там в соборе сейчас все чины и белый Сороченко. Еще, наверно, не заколотили гроб, и смотрит Сороченко закрытыми глазами, будто силится поднять веки и не может. Мимо вон какой идет. Чернявенький. Ага! В землю смотрит. Не такие уж лужи. И Вавич хмурыми глазами глядел, как прохожий выбирал дорогу по площади.

«Убили! с-сволочи!» — Вавич огляделся, на месте ли городовые. За голыми деревьями стояли казачьи лошадки, и глухо гудели голоса казаков. «Некстати гудеть», — нахмурился Вавич и коротко свистнул. Городовой сорвался, заспешил.

— Скажи хорунжему, что просили, чтоб приказал, чтоб потише, — и Вавич кивнул подбородком на казаков.

Но в эту минуту спешными шагами вышел из собора Воронин. Он на ходу накрыл голову широкой фуражкой, хлопнул как попало.

— Выносят, выносят, — замахал он Вавичу. Вавич строго осмотрелся — нет ли подозрительных.

— Садись! — скомандовали у казаков. Прохожие стали останавливаться.

И вот, покачиваясь над людьми, выплыл из темных дверей белый гроб.

Он покачивался, как будто больной, усталой походкой.

Толпа окружила катафалк. Над головами зашатался второй гроб.

Вавич глянул на толпу прохожих. «Убили, теперь любуетесь?»

Кровь напружилась в щеках, Вавич зашагал через мостовую к панели, где черной толпой стояли прохожие. Шел, зажав со всей силы свисток в правом кулаке, и дергалась челюсть, чтоб крикнуть. Что крикнуть?

— Шапки долой! — гаркнул Виктор и махнул рукой, будто разом сшибал со всех голов. Передние потянулись к шапкам.

Казачьи трубачи дробно протопали вперед.

Вавич строго стал во фронт, прижал руку к козырьку — катафалки двинулись.

«Кто это крест-то впереди несет?» — Виктор невольно скосил глаза: почтенный какой. Болотов! Сам Болотов истово нес крест, как раздвигал воздух для шествия. Мутно гудела толпа людей. С высоты, с колокольни тонко брякнул колокол, будто упустили, разбили дорогое. Вавич глядел на передний гроб. Наверно, там Сороченко все еще просит. И вдруг ударил медный аккорд, и кончилось. Все кончилось, кончилось. Все кончилось, умер, совсем. И Сороченко сам, наверно, теперь узнал, что кончено. У Виктора дрогнула рука под козырьком. И если открыть его теперь — ни губы, ни веки не смотрят.

Полусотня казаков с пиками шла следом за музыкой. Высоко покачивались пики над толпой.

Кто-то толкнул Виктора под локоть. Воронин с мокрыми сердитыми глазами.

— В цепь, в цепь городовых, чтоб по бокам. Живо, живо!

Вавич дернулся распоряжаться.

Городовые шли по панели, отгораживали от тротуара.

— На два шага! На два шага! Держи дистанцию!

Вавич пропускал мимо себя городовых.

Вавич глянул — вон со старушкой в платочке за гробом полицмейстер. Старушка в землю смотрит, не видит, должно, ничего. А он ее под руку. И вдруг увидал как вырезанное из всей толпы лицо — Варвара Андреевна. Черные страусовые перья как будто кивнули чуть — миг всего — и смотрит вперед и мерно шагает, с музыкой в ногу.

— Посматривай, посматривай, сукиного сына, чтоб какой-нибудь жиденок не того. Не напаскудил бы, сукиного сына, — бормотал на ходу Воронин. Он усталой походкой простукал мимо.

Виктор пропускал процессию вперед, ровнял толчками городовых, и делалось душно от музыки, от медного тягучего голоса, от катафалков белых, от коней в белых сетках, от султанов на конских головах, и все строгое смешалось, спуталось, и все вперед хотелось. И Виктор пересек шествие и с другой стороны пошел проверять цепь, деловой быстрой походкой, по обочине тротуара — вперед. Он увидал Варвару Андреевну сзади и тогда только сбавил шаг.

— Дистанцию, дистанцию! — вполголоса сердито говорил Виктор. Уже поровнялся с Варварой Андреевной.

«Кто это ее под ручку? Ишь, павлин какой! Жандарм, ротмистр. Фалдами повиливает. А мы тут бегай, охраняй. А они фалдами!»

Что-то зашепталось, завозилось на тротуаре. Виктор метнулся, разбросал на пути прохожих.

Двое в штатском пихали какого-то парнишку спиной в ворота. Один затыкал рот, распялил на лице всю пятерню. Парнишка спотыкался, пятился. Прохожие сгустились, кто-то уж дергал за рукав штатского.

— Прочь! Разззойдись!

Виктор сбил кого-то кулаком. — В ворота! — Парнишка выл спертым голосом. Его втянули в калитку.

Вавич загородил собой калитку.

Он вобрал голову в плечи, насунулся головой на толпу и водил глазами по лицам. А лица туманные, прищуренные.

— А зачем же человека душить? — И какой-то прищуренный мотнул головой и боком сунулся к Виктору. И вдруг все попятились, оглядывались, зашатались, и вот высокая шинель заболталась — Грачек шел через толпу, ни на кого не глядя. И на ходу он взял за шиворот прищуренного и, не задерживая хода, втащил его в калитку. По пути оттолкнул Виктора. Железная калитка хлопнула с размаху. Двое городовых уж протиснулись через толпу. Изнутри щелкнул замок.

— Проходи, проходи, — городовые подталкивали прохожих и продвигались все дальше.

Виктор один стоял у ворот. Музыка уж была плохо слышна, шагом проезжали кареты — конец процессии.

Из парадной вышел Грачек, он чуть мотнул головой Виктору.

— Чего стоял? Народ собирать? — буркнул на ходу Грачек. Он вышел на мостовую и зашаталась шинель — он догонял похороны.

Вавич шел следом.

— Да чтоб не допустить скопления... — говорил Вавич в спину Грачеку, — чтоб какая-нибудь сволочь...

Грачек не оборачивался, он свернул, чтоб обойти кареты.

— А если б вышло что, так я же... я же бы и виноват вышел, — шептал Виктор злыми губами. — Когда удалось, так все дураки. Да! Ты один умный.

Виктор пробирался среди экипажей, так уж, чтоб без людей.

А вдруг Сеньковский, дурак, все видел?

Вон опять Грачек впереди. Идет рядом с каретой, держится за открытое окно. Кто-нибудь есть в карете. Карета какая — на резинках, на пружинках. Подтанцовывает.

— Болтайте, болтайте, а мы вокруг бегай. Лаять, может, прикажете?

И Вавич сердито оглянулся на Грачека.

И вдруг Грачек глянул, как будто его кто толкнул.

Мотнул подбородком и пальцем-крючком не поманил, а дернул к себе. Виктор быстро отвернулся:

— А я не заметил!

Шагнул два шага вперед и вся спина как наколотая. Виктор шагнул быстрее и вдруг повернул налево кругом и пошел в карьер.

— Сукин сын ты! — бормотал Виктор одними губами и глядел прямо Грачеку в глаза. Но Грачек уже повернулся к окну и вдруг весь сморщился в тысячу морщин, как разлинованное стало лицо.

«Улыбается, что ли?» — подумал Виктор и в этот момент увидал в окне в карете ее лицо, как наклеенное на темноту.

Варвара Андреевна улыбалась и кивала перьями.

— Это я велела позвать!

Грачек чуть отстранился от окна, глядел куда-то поверх и вдаль.

— Слушайте, Вавич, — говорила Варвара Андреевна, — вы заняты?

— Да-с. Охраняем. В наряде... Кругом... Спешу.

Виктор сам не слышал, что говорил.

— Ой, ой! — замахала ручкой Варвара Андреевна. — Служака какой!

Виктор повернулся:

— Надо всюду поспевать!

И Варвара Андреевна закивала головой и обиженно-учительно:

— Ну идите, идите!

Виктор все шел рядом, чуть впереди Грачека и не сводил глаз с этого лица и читал эти гримаски одну за другой и все еще не до конца и ждал дальше, дальше!

— Да ну, ступай, — буркнул Грачек сверху и двинул на Виктора сзади.

— Па-аслушайте! — и Виктор волчком обернулся и задел с разлету Грачека локтем. Грачек сбился с шага и весь мотнулся длинной фигурой. Варвара Андреевна подняла восхищенные брови, и на миг вздернулись губы и белые зубки будто крепко прикусили что.

— Ах, ах, петух какой, — и она подпрыгнула на пружинном сиденье. — Идите, идите сюда! На эту сторону, сейчас же. Моментально!

И она рванулась на другую сторону кареты и мигом опустила стекло. Вавич обежал сзади. Он взялся за раму, как Грачек. Варвара Андреевна на минуту положила свою ручку в черной перчатке Вавичу на руку — на миг, потом ударила Виктора по руке.

— Ну идите! — и тихонько шепнула: — Все хорошо будет, только баста! — и она подняла черный пальчик.

Вавич мигал и глотал слюни и вдруг понял, что он бессовестно, во всю мочь, красен. Он зашагал вперед, толкался, не разбирал дороги.

Дома становились ниже и вольней, по-полевому пели казачьи трубы и безнадежней ахали тарелки с высоты, с коней наотмашь, как шашкой по посуде. Тротуары пустели. Процессия прибавила ходу. Чумазые люди хмуро глядели из ворот, старуха крестилась на гробы, на хоругви.

Виктор видел, как полицмейстер прошел к своей карете. Старушка шла, придерживала корявой ручкой задок катафалка.

Вавич остановился на обочине тротуара, деловым взглядом осматривал цепь. Городовые шли вразброд. Один спрятал в рукав папироску и скосился на Вавича. Виктор злобно потряс пальцем. Городовой отвернулся. Процессия огибала земляную насыпь, разваленные стенки гнилыми зубами торчали над осклизлым скатом. Виктор знал, что сейчас мимо проезжает ее карета, может быть, смотрит там, в черном окне. Виктор отвел нахмуренные глаза, глядел поверх голов — серьезность, бдительность: глядел на верх насыпи. И вдруг черный силуэт, шатаясь, вылез на развалившийся уступ. Он не успел встать во весь

рост, как замахнулся обеими руками над головой каким-то черным пакетом.

— Стой! — заорал Виктор.

Но человек уже швырнул вниз свой пакет и от размаха полетел назад, за уступ.

Музыка смешалась в фальшивый гам. Шаркнули подковами казачьи лошади.

Все замерло на миг.

Виктор прорывался через городовых, мигом добежал до откоса и скользил, царапался наверх. Через минуту трое казаков уж махом на карьере летели в обход.

Виктор скользил, скреб руками грязь.

— Загрызу! — жарким дыхом шипел Виктор, давил оскаленные зубы.

Вот он, уступ. Виктор перемахнул через камни, стукнула шашка. Никого! Виктор озирался ярыми глазами. Он выскочил на другую сторону развалины. Никого. Обежал кругом. Злые слезы намочили глаза. Вон катафалки чуть не рысью двинули, хоругви нагнулись, веятся, как фалды. Внизу на дороге лежал черный пакет, и вокруг пустым кольцом городовые. Карет уже нету, только одна.

Снизу глядели на него.

Вавич стал спускаться. Врезался каблуками в грязь, старался ловко, вольно сбежать по скользкой грязи — в открытой двери кареты он заметил — может, она. А вообще смотрят. А смеяться нечего, не поймал, так вы здорово поймали? Осмотреть место обязанность... Обязанность каждого честного сына своей... матери.

— Чертовой матери! — вслух сказал Вавич, спиной повернулся к карете, боком спускался с откоса.

«Боитесь? На десять сажен попятились? А Грачек? Чего Грачек не подымает? А? Взорвется?»

Вавич поднял глаза и обвел кольцо городовых.

— Смешно, может быть? — сказал Вавич вполголоса. Никого не было возле него. — А вот это смешно? Это вот, — и Вавич решительным шагом двинул на дорогу. — Это вот вам... смешно? — он шел во весь шаг к бомбе.

Она бочком лежала на камнях, будто притаила прыжок. Виктор глядел твердым взглядом только на нее, чтоб не извернулась как-нибудь.

И вдруг кто-то дернул его за рукав.

Варвара Андреевна, красная, запыхалась:

— Сумасшедший! — и она глядела круглыми радостными глазами. — Что ты делаешь? — шепотом в лицо выговорила Варвара Андреевна.

Вавич стоял вполоборота, твердая нога впереди.

— Надзиратель, — резанул командный тенорок, — назад! На-зад!

Виктор огляделся. Полицмейстер округло махнул рукой у себя над головой и фестоном вывернул руку в воздух.

— На-зэд!

Вавич повернул.

— Сюда!

Вавич на ходу повернул к полицмейстеру. Стоял по-военному, руку к козырьку.

— Вы артиллерист? Нет? Так пожалуйте на свое место!

Вавич дернулся, чтоб повернуться.

— Стойте! — крикнул полицмейстер. — Возьмите городовых и вон по человеку из тех домов, — полицмейстер тыкнул большим пальцем за спину, — кого попало, хоть мальчишек. Ступайте!

Вавич повернулся на месте, хлопнул голенищем — приставил ногу.

У домов была уж возня: Воронин, потный, шлепал по грязному двору.

— Дома нет? Сама пойдешь, — кричал он бабе.

Трое городовых ждали: хватать, что ли, или как?

— Невиновная? Разберут. Пошла! — он даже не оглянулся, как там берут городовые. — А! Вавич! Вали на ту сторону, — крикнул Воронин через визг детей, — вали живей, сукиного сына! — Он снял за воротами фуражку и обтер рукавом потную лысину.

Казаки верхами сомкнули круг. Вавич глянул: люди, как без лиц, шатались внутри круга, и не найти, где его, которых он выволок. Ведь семь человек выволок.

— Конвоировать в тюрьму! — сказал полицмейстер с подножки кареты.

В это время казаки посторонились. Потеснили вбок арестованных.

Два артиллерийских офицера на извозчике — молодой сидел бочком, бледный, и все время поправлял фуражку, извозчик шагом пробирался мимо толпы.

Того...

— И ЧЕРТ его знает. И поколей тут... — и Филипп со всей силы ударил себя по колену. Наденька смотрела пристальными глазами, приоткрыла рот. — Дьявол! — И Филька будто воздух грызнул и повернулся всем стулом.

Надя сама не знала, что прижала оба кулачка к груди.

— А, сволочь! Дрянь тут всякая путается, заводит — как раз им в рот. На вот. На! Дурье! — крикнул Филипп, вскинул коленом и топнул всей ступней. Чашки звякнули укоризненно. — Да нет! В самом деле, — Филипп встал, полуоборотясь к Наде, развел руками. — Ты б видала. Ты тут сидела, а там прямо, распродери их в смерть, в доску маму! Как провокатор какой.

— А ты... — хрипло начала Надя.

— А ты! А ты! — перебил Филипп. Шагнул, топая в угол. — А ты! Что — а ты? — вдруг повернул он к Наде лицо, и щеки поднялись и подперли глазки, и нельзя узнать: заплачет или ударит. — А ты не знаешь, что сказано? — и он подался лицом вперед. — Сказано: коли началось, хоть против всякой надобности, бери в свои руки. И верно! И надо! Да! — Филипп повернулся, откусил кусок папироски и плюнул им в угол. — А ты! А ты! Вот тебе и а ты: трое там лежать осталися, да еще в проулках нахлестают так, что из дому их... серой... да, да! Чего смотришь? Серой не выкуришь, распротуды их бабушку. Наших, я говорю. Комитет! Где он твой комитет? Где он был? Комитет твой, говоришь, где он?

— Я ничего не говорю... — Надя во все глаза следила за Филиппом.

— А не говоришь, так молчи!.. И говорить нечего.

Филипп вдруг повернулся к двери и вышел.

Наденька оперлась рукой о стол и смотрела на скатерть, на синие кубики, онемела голова, и не собиралось голоса в груди.

— Сейчас миллион эксцессов возможен, — примеряла слова Надя, чтоб спокойно и внушительно сказать Филиппу, — пусть начнет по-человечески говорить, пусть потом скажет, как он, как он-то. — Если б знала, если б знала — нахмурила брови Надя, — была б там, непременно была бы! — И жар, жар вошел в грудь. — Пусть выстрелы, так и надо! И все равно стать наверху — не думайте, не трушу, а говорю твердо, — и задышала грудь, и глаза напружинились. Надя твердым кулачком нажала на скатерть.

Не слыхала шагов и оглянулась, когда скрипнула дверь. Филипп вмиг отвел глаза, но Надя поняла, что он видел, все уж видел в этот миг.

— Понимаешь, — полушепотом начал Филипп, он чуть улыбался, — понимаешь ты — я кричу им: «Назад, сволочи. Назад. Как рябчиков вас тут всех к чертям собачьим постреляют! К чертовой, — кричу, — матери отсюда!»

— А сам как? Сам, Филя?

— А сам стою на верхушке на самой, — Филипп на секунду стал, глянул, как вспыхнуло Надино лицо, — да. На самой верхушке, махаю на них кепкой, как на гусей, а тут дурак какой-то возьми и тык флаг. Когда смотрю — уж летят на нас, сабли — во!

Филипп поднял кулак, потряс — во!

Наденька передернула плечами.

В это время кто-то осторожно постучал в окно. Филипп встряхнул головой:

— Пройди на кухню, духом, — Филипп толкнул Надю в локоть.

Надя на цыпочках выбежала.

— Забери это, — Филипп совал в темный коридор Надин салоп и шляпу.

Аннушка глянула из-под мышки — стирала у окна. Наденька совалась с вещами, не знала, куда положить.

Филипп быстро прошел по коридору, запер наплотно двери в кухню. Аннушка снова глянула исподнизу и уперлась взглядом в запотевшее окно. Надя стояла возле плиты, прижимала к себе салоп, слушала.

— Ну входи, входи, — вполголоса говорил в сенях Филипп.

Наденька прислушивалась, но Аннушка сильней зачавкала бельем в корыте.

— Егора, еще кого? — слышала она отрывками Филиппов голос. — Ну! Ну! Так будет?

Наденьке хотелось присунуться к дверям, но Аннушка захватила корыто, пыхтя, отодвинула Надю вбок, потом к окну, с шумом лила в отлив мыльную воду.

— Ну ладно, счастливо, — услыхала Надя, и щелкнула задвижка в дверях.

Филипп прошел к себе. Потом опять его шаги, уж густые, твердые. Он открыл дверь в кухню — он был в шапке, покусывал папиросу в углу губ, брови ерзали над глазами.

— А ну, иди сюда, — шепотом сказал Филипп и мотнул головой в коридор. — Того, знаешь, Надя, приходил один... нырнуть надо до времени.

— Что? Провал? Где? — У Нади шепот нашелся серьезный, деловой, и от шепота своего стало тверже в душе.

— Да там из комитетчиков, а я кандидат, знаешь.

Наденька оглянулась на кухонную дверь, там было совсем тихо.

— Да все одно, — шепотом заговорил Филипп, — дура она. Так я пошел, одним словом, — он шагнул к двери. Надя повернулась в узком коридоре и быстро пихнула руку в рукав. Филипп оглянулся, взявшись за двери. — Да, — и Филипп, сморщившись, глядел па папироску, раскуривал ее под носом, — да, ты тоже того, место здесь тоже провальное. Домой, что ли, вали.

Надя с силой надернула на голову шапочку.

— А я, если что, — бормотал Филипп густым шепотом, — я тебе дам знать... к этой... как ее... у которой занимались. К Тане этой зашлю кого из ребят.

Надя притаптывала калоши на ногах. Ничего не говоря, смотрела в полутьме на Филиппа.

— Ты, Надя... я хотел тебе, — Филипп двинулся к Наде. Но в это время дверь из кухни распахнулась, на сером свете Аннушка, и белье через руку:

— А ты скоро назад-то? Я ведь ко всенощной пойду, дом-то запру? — она говорила громко, на всю квартиру.

Филипп хмуро глядел на сестру.

— Ну да: ждать-то тебя до ночи, аль как? — и Аннушка оттерла Филиппа мокрым бельем в угол, распахнула входную дверь.

Наденька быстро протиснулась и первая шагнула во двор, с двух ступенек.

Сейчас!

САНЬКА шагнул к своему столу, попробовал сесть, рука зажала в кулак толстый карандаш. Санька вскочил со стула, стукнул об стол, обломал карандаш.

«Так и надо, так и надо! Сволочь проклятая! — дух переводил Санька и по всей комнате водил злыми глазами. — Надо

как Кипиани! — и вот он в вестибюле университета — Кипиани, маленького роста, большая мохнатая папаха и глаза во! еле веки натягивает. Потом отпахнулась шинель и кинжал до колен. — Будут бить, а мы все «мээ!» кричать? — и на весь вестибюль «м-ээ!» — и папахой затряс, и оглянулись все.

Под лошадь и раз! И махнул — руки не видно — раз! — и Санька дернул карандашом в воздухе. — А как тот казак, как в игру какую — бегут мимо, и чтоб ни одного не пропустить и нагайкой наотмашь. Бегут, рукавом лицо закрывают, а у того глаза играют. Тут бы ему в самую бы рожу чем-нибудь — трах! Засмеялся бы!»

И Санька еще перевел дух.

И на миг увидел комнату, книги и менделеевскую таблицу на стене. Казак застыл: раскинул руки, летит с коня. Санька часто дышал. За стеной мамины каблуки. К окну, постоят и опять застукают. Затопала, побежала. Верно, звонок. Санька из дверей глядел в даль коридора. Анна Григорьевна второпях путалась с замком. Горничная Дуня совалась сзади.

— Санька, то есть Александр Андреич, дома?

Санька увидел верх студенческой фуражки. Анна Григорьевна, оцепенев, держалась за дверь.

— Да это ко мне, чего ты стоишь! — и Санька побежал в прихожую.

Анна Григорьевна стояла в дверях, с обидой, с испугом смотрела на студента, как он протискивался мимо нее. Наверху забинтованной головы неловко лежала фуражка. Студент придерживал рукой.

— Здравствуйте, Анна Григорьевна, — говорил с порога другой студент, он кланялся, ждал, чтоб Тиктина дала пройти.

Анна Григорьевна широко распялила веки и невнятно шевелила губами.

— Да пропусти же! — крикнул Санька.

Анна Григорьевна быстро вышла на лестницу, оглядывала площадку. Она перегнулась через перила, смотрела вниз и шаг за шагом спускалась по ступенькам.

— Мама! Мама! — кричал Санька из двери. Бегом догнал мать. — Да не ерунди! — Санька дернул Анну Григорьевну за руку. — Да не сходи ты с ума, пожалуйста! Пожалуйста, к чертям это, очень прошу!

Анна Григорьевна цепко держалась за перила и тянулась глядеть вниз. Она вздрогнула, когда дернулась внизу входная дверь.

14—3207

Санька силой оторвал Анну Григорьевну от перил, он за руку, не оглядываясь, протащил ее вверх и затолкнул в двери, захлопнул.

— Идиотство! — кричал Санька, запыхавшись.

Оба студента топтались у вешалки.

— Идем, идем! — и Санька толкал их к своей комнате. — Черт его знает, с ума сходят все. Абсолютно. Одурели. Пошли ко мне!

— Ух, брат, здорово как! Ай, Кипиани! — Санька с восторгом, с завистью смотрел на белую повязку. Из нее, как из рыцарского шлема, глядело лицо; прямой чертой шла на лбу повязка.

— Пропала папаха, — махнул рукой Кипиани. — Такой сволочь, прижал конем, тут забор. Я под низ, — Кипиани присел, глянул в Саньку черным блеском.

Санька откинулся — вдруг прыгнет пружиной.

— Шапка упала, он нагайкой, я под низ и лошадь ему раз! раз! Сел лошадь! — Кипиани сел совсем на пол и оттуда глядел на Саньку. — Вот! — И Кипиани встал. Дышал на всю комнату, обводил товарищей глазами. — Тут вот! — и Кипиани резанул рукой у себя под коленками.

Минуту молчали, и шум, недавний гам стоял у всех в головах. И вдруг резкий женский вскрик — как внезапное пламя. Санька узнал голоса — бросился в двери.

В конце коридора, в передней, Анна Григорьевна держала кого-то, будто поймала вора. Санька узнал Надину шапочку.

И вот через мамино плечо глядит — протянула взгляд через весь коридор и так смотрит, как будто уезжает, как будто из вагона через стекло, когда нельзя уж крикнуть последних слов. Санька двинулся рывком. Но Надя вдруг вырвала шею из маминых рук.

— Ну, оставь, ну, довольно. Цела, жива, — и Надя повернулась, пошла, не раздеваясь, в свою комнату.

— Я сейчас! — крикнул Санька товарищам в двери, старался беззаботно стучать каблуками, шел к Наде.

Надя сидела в пальто и в шапочке на своей кровати.

Анна Григорьевна стояла перед ней, вся наклонилась вперед, с кулачками под подбородком. Она шевелила губами и капала слезами на пол.

Надя вскинула глазами на Саньку.

— Ну и пришла. И ничего особенного, — говорила Надя. — И чего, ей-богу, мелодрама какая-то. И ты туда же.

Надя снова взглянула на Саньку. Она резко поднялась, прошла в прихожую.

— Дайте мне умыться спокойно, — говорила Надя, с досадой сдергивала пальто.

— Ну, цела, и ладно, — сказал веселым голосом Санька, — а ты не стой, — обернулся он к Анне Григорьевне, — как Ниобея какая, а давай чаю.

Анна Григорьевна перевела глаза на сына: «улыбаться, что ли». И улыбка побыла на лице и простыла. В Надиной двери щелкнул замок.

Анна Григорьевна топталась, поворачивалась около Надиной двери.

— Ей-богу, — сказал Санька сердито, — вели ты ставить самовар, и нечего топтаться.

Анна Григорьевна повернулась к кухне.

— Вот и все, — крикнул на ходу Санька. Из своей комнаты Санька слышал горячий крик. Кипиани даже не оглянулся, когда открыл двери Санька, он наступал на товарища, он наступал головой вперед и вскидывал ее после каждой фразы, как бодал:

— Почему, говоришь, Рыбаков? Почему социал-демократ не может? — Кипиани боднул воздух. — Социал-демократ не может в деревне? Не может? Скажи, Рыбаков, почему?

— Да уж говорил, — и недовольно отвернул лицо в сторону. — Да! — вдруг обернулся он к Саньке. — Мы ведь к тебе сказать...

— Ты ерунду говорил, — Кипиани дергал Рыбакова за борт шинели.

— Да! — и Рыбаков двинулся к Саньке. — Завтра в час в столовке сходка, летучая. Будет один...

— Один! — передразнил Кипиани. — Не знаешь кто? Батин, — сказал Кипиани тихим голосом, сказал, как угрозу. — Знаешь? — Кипиани снизу глянул на Саньку, нахмурился и выставил кулак. — Ух, человек! — глухо сказал Кипиани и вдруг вскинулся и улыбкой ударило во все лицо. — Я тебе про него расскажу! Рыбаков, Рыбаков! Ай что было! Ты говоришь, в деревне! — кричал Кипиани. — Слушай оба, — он дернул Рыбакова, поставил рядом с Санькой, — слушай! Он в одной деревне, понимаешь, заделался писарь. Волостной писарь. Никто не знает, понимаешь, — и Кипиани поворачивал лицо то к Саньке, то к Рыбакову.

— Ну? — и Рыбаков пустил равнодушно дым и глядел, как он расходится.

— А ну! — крикнул Кипиани, нахмурился. — Что ты «ну»? Он рабо-та-ет, понимаешь? Он...

В это время в дверь постучали; громко, требовательно. Все оглянулись.

Санька открыл. Андрей Степанович стоял в дверях. Он глядел строго и не переступал порога.

— Можно? — Андрей Степанович чуть наклонил голову и шагнул в комнату. — Сейчас было заседание в городской Думе.

Рыбаков кивнул головой.

— Ага, понимаю.

— Одним из гласных, — Андрей Степанович наклонил голову и потряс, — был поставлен вопрос, вопрос вне очереди, о событии, попросту избиении, — этими словами и было сказано, — об избиении студентов перед университетом. Было предложено немедленно отправить депутацию к генерал-губернатору.

— Да постучи ты хоть ей, — вдруг плачущим голосом ворвалась Анна Григорьевна, — может быть, она тебе откроет. Господи, мука какая!

Андрей Степанович секунду глядел на жену, поднял брови.

— Сейчас! — резко сказал Андрей Степанович; со строгим лицом обернулся к студентам: — К генерал-губернатору. Сейчас, сейчас! — вдруг раздраженно прикрикнул Андрей Степанович и, топая каблуками, вышел.

Кипиани сел на Санькину кровать, глядел в пол, и видно было красное пятно на белой макушке. Он вытянул вперед руку мимо уха, держал, ни на кого не глядя.

— Де-пу-та-ция... — и Кипиани зашевелил двумя пальцами, как ножками, в воздухе. — Ну а что? — вдруг поднял лицо Кипиани и развел руками. — Идем!

Кипиани вскочил и стал насаживать фуражку на забинтованную голову.

— Два слова! — Рыбаков тронул Саньку за плечо. — Слушай, нельзя у тебя того, — говорил Рыбаков шепотом, — рубля занять? Только, ей-богу, не знаю, когда отдам, — говорил он Саньке вдогонку.

Санька шел по коридору к отцу. Андрей Степанович стоял около Надиной двери.

— Да ну, Надежда! — говорил Андрей Степанович. — Да покажись же! — и стукал легонько в дверь.

— Сейчас, причешусь, — слышал Санька Надин голос.

— Ну-ну! — веселым голосом ответил Тиктин и повернулся к Саньке.

— Дай рубль, — сказал Санька. — Рубль, рубль, ровно рубль, — говорил Санька, пока отец, хмурясь, доставал из глубокого кармана портмоне.

— Сейчас, сейчас! — отвечала Наденька на голоса из коридора.

— Ты, кажется, родителя своего... — начал Рыбаков и смеялся шепотом.

— Да брось, не последний, да бери же, — совал Санька рубль. — Вот Кипиани, понимаю, — и у Саньки глаза распялились, он глядел на Рыбакова с ударом, с упреком.

Рыбаков поднял плечо и голову скосил.

— Чепуха это!

— А ты б сделал?

— Зачем? Смысл? — Рыбаков встряхивал, будто что весил на руке.

— Да чего там смысл! Сделал бы? Говори?

— Да он на паровоз с ножиком кинется, я ничуть не спорю. А смысл? — и Рыбаков опять сделал рукой.

— Что ты ручкой трясешь, — кричал Санька. — Смысл! Смысл! Сто двадцать смыслов будет, а тебе не полезть... Да и мне тоже! — и Санька топнул ногой. — Вот ручкой, ручкой, — и Санька передразнил Рыбакова, — ручкой мы помахивать будем, а коли б все, как Кипиани...

— Так что? — Рыбаков глаза прищурил на Саньку. — Так не нагайками, а пушками.

— А мы... а мы и на пушке верхом, да, да — во весь карьер от зайца. — И Санька заскакал, расставив ноги. — Что смеешься? — И Санька сам рассмеялся. — Верно же говорю.

Саньке смех все еще разводил губы.

— Да нет, ей-богу, что за к черту деятельность? Что вы, спросят, делали? А нас, видите ли, били! — И Санька расшаркался перед Рыбаковым. — А что, мол? Недополучили, что ли? — Как пожалуете! — кривым голосом выводил Санька.

Рыбаков пускал дым, улыбался.

— Знали ведь, что бить будут! Знали? — Санька нахмурился, напирал на Рыбакова. — Ну? А вышли? А почему?

— Ну почему? — и Рыбаков откинул голову назад и, сощурясь, глядел на Саньку.

— Я почему? — Санька вытаращился на Рыбакова. — Я вышел потому, — задыхаясь, говорил Санька, — потому, что, значит, боюсь, что вот казаки, нагайки.

— А я вышел потому и думаю, что и другие... и, если хочешь, ты тоже... — с разумительным спокойствием начал Рыбаков и вдруг оглянулся на дверь.

— Да просто хочу узнать, чего он орет, — в дверях стояла Наденька. — Можно?

Рыбаков поклонился.

— Да Господи, просто хочу послушать, — Надя оборачивалась назад к Анне Григорьевне. — Ну, хочу тут побыть, что ты как тень... никто меня не съел и не съест. — И Надя уселась боком на стул, закинула локоть за спинку. — О чем это такая громкая дискуссия? — Наденька насмешливо глядела на Рыбакова.

Рыбаков по-гостиному улыбался Наденьке.

— Ну? — сказала Надя, глянула на свои часики, вскинула ногу на ногу и уставилась выжидательно на Рыбакова. — Ну?

— Да какое тебе к черту дело! — говорил, роясь в табаке, Санька. — Учительницей какой уселась: экзамен, подумаешь!

— Да вопрос, собственно, поставлен, — с легонькой улыбкой говорил Рыбаков, кивнул на Саньку.

— Да собственно и не собственно, а какое тебе к черту дело!

Санька ломал о коробку спички одну за другой.

— Да чего ты это ершом каким, — начала Наденька с насмешкой и вдруг покраснела. — А впрочем, черт с вами, — она вскочила, стул раскатился назад. Прямыми шагами она прошла в дверь, толкнула на ходу Анну Григорьевну.

— Куда ты, Наденька, куда ты? — слышал Санька из коридора плачущий шепот Анны Григорьевны. — Ну Надя, Надя, Надя! Надя же! Наденька!

Санька высунулся в двери. Он видел, как Наденька, уже одетая, порывисто прошагнула переднюю и хлопнула дверью.

Анна Григорьевна бросилась вслед.

— Tiens! Tiens!* — крикнул Андрей Степанович, он быстро натягивал пальто. — Я иду!

— Она ведь в слезах пошла, в горе вся! — говорила Анна Григорьевна. — Да иди ты, иди! Да без калош, Господи!

— Сейчас! — Андрей Степанович не попадал в калошу.

* Постой! Постой! *(фр.)*

К черту!

АНДРЕЙ Степанович бежал вниз по лестнице, едва успел застегнуть нижнюю пуговку пальто, застегнул криво, и пальто стояло на груди кривым пузырем. В ушах еще стоял и настегивал голос Анны Григорьевны: «Да скорей, скорей, ради Бога!»

Тиктин оглянулся вправо, влево, но уже замела все уличная суета: спины, шапки, воротники. Андрей Степанович взял вправо и уж в уме досадливым голосом отвечал жене: а то никуда, что ли? Это на случай, если не догонит.

Тиктин широко зашагал, круто отворачивал вбок палку. Он шел, глядя вперед; расталкивая взглядом прохожих впереди, целясь в далекие лазейки, вон чья-то знакомая спина вихляется — высокая, как пальто на щетке.

Андрей Степанович наддал ходу, он не замечал, что задыхался. Нагонял.

— А черт вас, как вас там, — Андрей Степанович стукнул палкой по плечу.

Прохожий обернулся.

— Ну все равно, Башкин, что ли! — Андрей Степанович сделал нетерпеливую мину. — Не попадалась вам тут Надежда наша?

— А что, потеряли Надежду? — хихикнул Башкин и сейчас же сделал услужливую обеспокоенную физиономию. — А что, она сейчас вышла? Вы ищете? Нет. Во всяком случае она могла только туда, — Башкин мазанул рукой вперед, — только туда пройти, а то я ее встретил бы. А что, ее вернуть?

— Да, да! — Андрей Степанович шел вперед, не глядя на Башкина. — Встретите, скажите, чтоб сейчас же вернулась, с матерью...

— А, нехорошо? Понимаю, понимаю, догоню. Найду, — говорил уж Башкин на ходу. Он зашагал вперед, болтаясь на ходу.

Андрей Степанович видел с минуту еще его голову над толпой. На втором перекрестке Тиктин остановился, одышка забивала дыхание.

«Ну куда? — озирался Тиктин. — Бессмыслица. Почти никакого вероятия!» — Тиктин топнул палкой.

— Э, черт! — сказал Андрей Степанович и зашагал тише.

«Извозчика, что ли, взять? Болвана этого для чего-то остановил», — злился Андрей Степанович на Башкина.

Андрей Степанович сел на первого извозчика, не рядясь.

— Прямо поезжай! — Андрей Степанович перевел дух. Заметил, что пальто горбом. Перестегнул. Поставил палку между ног, положил обе руки.

Глядел на тротуары, далеко вперед. Моросило. Андрей Степанович насупил поля шляпы.

— А этот идиот, — шептал Андрей Степанович про сына, — как жилец, квартирант какой-то, — и до слез обидно было, чего сын не выскочил и не побежал — «я в одну, он в другую сторону». А эта с ума сходит.

— Направо! — зло заорал Андрей Степанович на извозчика. Кое-кто с тротуара оглянулся. Тиктин насупил брови. Глянул на часы. Половина пятого. В шесть у генерала Миллера, у генерал-губернатора и командующего войсками округа.

«Значит, в половине шестого надо быть в Думе. Даже раньше. Я этот вопрос поставил, — крепко выговаривал в уме Тиктин и в такт словам поматывал головой, — и пускай ерунда, но мы обязаны исчерпать все законные возможности. И тогда — руки развязаны».

Андрей Степанович тряхнул головой и смело глянул в верха домов.

— Стой! Куда! Объезжай!

Извозчик осадил. Смолкла трескотня колес, стал слышен мутный гомон. Не пропускали мимо Соборной площади. Андрей Степанович приподнялся. В сером свете, через туман, он видел — в сером вся площадь.

— Куда прикажете? — обернулся извозчик и тихим голосом добавил: — Кавалерия стоит на площади.

— Объезжай по Садовой.

«Куда я еду?» — Андрей Степанович отдернулся назад и сдвинул брови и вдруг крикнул извозчику:

— На Дворянскую!

«У ней только, у Танечки этой, спросить. А то ведь бессмыслица...» — и Андрей Степанович поднял плечи. С поднятыми плечами он вошел в парадную. «Только разве здесь, если вообще есть смысл».

«Даже комично» — он почти улыбался, когда звонил к Танечке в дверь.

— Простите, Бога ради! Здравствуйте, — Андрей Степанович улыбался в передней. — Я, понимаете...

Танечка не пускала руки Андрея Степановича, отстранилась назад и пристальным взглядом секунду рассматривала лицо Тик-

тина. Андрей Степанович осекся и растерянно глядел, что это она? И вдруг сильно потянула его к себе, обхватила свободной рукой за шею и крепко поцеловала в щеку над ухом. Пустила руку. Андрей Степанович подымал и опускал брови.

— Ну, раздевайтесь! — сердито сказала Таня. Потом улыбнулась вниз и ушла в двери.

Андрей Степанович остался один. Он секунду стоял с палкой на отлете.

— Сюда идите, сюда! — звала Таня из гостиной.

Андрей Степанович встрепенулся, заторопился.

Таня сидела в углу дивана, поджав ноги.

— Сюда! — она похлопала по сиденью рядом, как звала собачку. — Сюда!

А глаза были серьезные, строгие. Таня поежилась плечами. Тиктин сел.

— Вы простите, — Тиктин полез в карман. Таня следила строгими глазами за рукой. — Вот какой случай, — Тиктин достал свежий платок. — Надя приходила...

— Ну? Успокоилась старуха? То есть Анна Григорьевна, я говорю, — и Таня уставилась на Тиктина.

— Да дело в том, — Тиктин обтер бороду, пожал плечами, — через полчаса удрала.

Таня кивнула головой.

— И Анна Григорьевна там с ума сходит — ведь не ночевала она.

Таня опять серьезно кивнула головой.

— Ну... и вообще... — Тиктин посмотрел в колени. — Да хоть наврала бы чего-нибудь, нельзя же так! Анне Григорьевне не пятнадцать лет... — Тиктин попробовал нахмуриться и с напором глянуть на Таню. Но Таня все так же пристально глядела в зрачки Тиктину, чуть сдвинув брови.

— Ну?

— Так вот послала меня искать. Я вот к вам.

Таня все глядела.

— А у меня вот, черт возьми, — через час надо быть у генерал-губернатора. По поводу избиения.

Тиктин увидал, как дернулась вверх губа у Тани, и все красней, красней делалось лицо.

— Мы, то есть Дума, — Тиктин заговорил солидно, твердо, глядел в угол, — предложим объяснить нам...

Андрей Степанович почувствовал взгляд ярый, накаленный и глянул.

— И камнем, камнем, — Таня заносила кулак, зажатый в комок, — камнем, — шепотом выворачивали губы слова, — кирпичом каким-нибудь в темя... в лысину самую, — и дрогнул кулак, — раз!

Андрей Степанович откинулся назад, глядел, как поднялась губа, как сдавились белые зубы, и чувствовал — сверху надвигается взгляд — и силился не попятиться. На миг почудилось, что опустела голова и больше не придут слова. Он с испугом ловил последние, простые же какие-нибудь, еще здесь!

— Это... — сказал Андрей Степанович и обрадовался, — это, — тверже повторил Тиктин, — не дело... — он нахмурился в пол, — депутации.

— А если б сыну вашему выхлестали глаза, — Таня крепко скрестила руки на груди, — или голову бы размозжили...

— Вопрос тут не о моем сыне... — начал хмуро Тиктин.

— Да, да! Обо всех! — крикнула Таня. — Что просто топчут конями, — Таня вскочила, — и бьют, — Таня резанула рукой в воздухе, — нагайками со свинцом, да! Безоружных людей!

— Да кто же это защищает? — Тиктин поднялся.

— Ваших детей! — крикнула в лицо Таня.

— Опять вы...

— Да! А не китайцев! — кричала Таня. — Сто китайцев месяц еще назад! На кол посадили! Что? Не знали? Я читала. Простите. — Таня вышла.

Тиктин смотрел в дверь.

— Не вижу логики, — громко сказал он в пустой гостиной. — Эх, черт! Что я делаю! — Тиктин с досадливой гримасой вытянул часы.

Старуха спешно прошлепала на звонок в переднюю.

Дорогой заглядывала в двери на Тиктина злыми глазами.

— Я! Я! Пустите, — слышал Тиктин из-за дверей женский голос. Он весь подался вперед.

Надя быстро вскочила в дверь.

— Ну вот, — говорила Надя из передней и раздраженно рванула вниз руку. — Правда, значит, ты сказал этому болвану, чтоб искал? Да? — говорила Надя с порога. — Еле отвязалась! Идиотство какое!

Надя отвернулась, стала снимать калоши, рвала нога об ногу.

— Идиотизм форменный! — И Надя, не взглянув на отца, быстро прошла мимо старухи в комнаты.

Старуха ставила калоши под вешалку. Пошла за Надей, на ходу она снова глянула на Андрея Степановича и губами в себя дернула.

— Тьфу! — и Андрей Степанович решительными шагами пошел в прихожую. Он все еще держал в руке вынутые часы.

Тиктин тычками вправлял руки в пальто. Он боялся хлопнуть дверью, осторожно повернулся, запирая.

Таня смотрела на него с порога комнаты.

— Не смейте злиться! — крикнула Таня и топнула ножкой. Андрей Степанович заметил слезы в глазах. Он успел кивнуть головой и захлопнул дверь.

Андрей Степанович все еще видел Танино лицо, пока спускался по тихой лестнице. И все казалось, что еще и еще говорит ему, и блестят глаза от слез — выговаривает ему и держит со всей силы слезы. С площадки лестницы Андрей Степанович глянул на Танины двери, остановился на минутку. Что-то шаркнуло внизу. Андрей Степанович взглянул через перила — запрокинутое вверх лицо глянуло на него снизу в узком пролете лестницы. Внимательно прищурены глаза. Андрей Степанович секунду не узнавал Башкина. — Да, он! — отвернулся, нахмурился Андрей Степанович. Лицо было как раз под ним. Андрею Степановичу хотелось плюнуть сверху, метко, как дети. Но он громко, выразительно кашлянул в гулкой лестнице и стал спускаться, торопливо, деловито. Внизу никого не было. Андрей Степанович вышел и сердито глянул в одну сторону — раз! и в другую — два! Но в обе стороны — пусто.

Мелкий дождь сеял вслепую, без надежды.

— Извозчик! — крепким голосом крикнул Тиктин прямо в улицу. И вдали лениво стукнули колеса. Андрей Степанович твердым шагом перешел тротуар и стал на обочине. Улица щурилась в мелком дожде. Мокрую клячу подстегивал извозчик.

— В Думу! Полтинник.

Извозчик задергал вожжами, зачмокал. Лошадь не брала. Извозчик стегал, лошадь лениво дрыгала на месте, будто представляла, что едет.

— Да гони! — крикнул Тиктин и вдруг глянул на окна, — может быть, смотрит она — это уже смешно прямо!

Андрей Степанович встал с пролетки и размашистым шагом пошел вверх по улице.

«Опоздаю! Скандал!»

Андрей Степанович надбавлял шагу. Он слышал, как сзади трещала пролетка — извозчик вскачь догонял.

— К черту! — крикнул Андрей Степанович и злыми ногами топал по мокрой панели. — К черту! — и размашистей разворачивал вбок палку. Андрей Степанович никогда в глаза не видал этого генерал-губернатора. Генерал какой-нибудь. — И к черту, что генерал! Вообще, черт знает что такое! Кирпичом, действительно! Скажу. — И Андрей Степанович полной грудью набрал воздуху, и воздух камнем встал в груди, и в нем все слова — вот это и скажу. И Андрей Степанович вот тут в груди чувствовал все слова сразу.

Шпоры

АНДРЕЙ Степанович, запыхавшись, подходил к стеклянным дверям Думы. Решительным махом распахнул дверь. Депутация одевалась, швейцар из-за барьера подавал пальто. Две керосиновые лампы стояли на барьере — тускло поблескивал хрусталь на электрической люстре, и тускло шуршали голоса.

— А мы думали, — услышал сдавленный шепот Андрей Степанович.

— Так идем! — громко на весь вестибюль сказал Тиктин, как скомандовал, он держал еще ручку двери. Глянул и швейцар на голос — на вытянутых руках пальто. Городской голова вздернул толстые плечи и голову набок.

— Все, кажется? — сказал он осторожным голосом, как будто спали в соседней комнате или стоял покойник. — Все пятнадцать? — оглядывал полутемный вестибюль голова.

— Не рано? Ведь тут через площадь всего, — спросил тугим голосом серый старик в очках и сейчас же достал платок, стал сморкаться старательно. Многие полезли за часами, подносили к лампам.

— Я предлагаю, — общественным голосом начал Тиктин, но в это время часы на Думе ударили железным стуком.

— Неудобно опаздывать, господа, — упрекающим тоном сказал голова, легким говором, будто шли с визитом.

— Идем! — ударил голосом Тиктин и рванул дверь.

Он шагал впереди. Городской голова, семеня, нагнал его.

— Мы тут посовещались, — он наклонился к самому уху Тиктина, — вас тут все ждали, говорить постановили мне.

Андрей Степанович мрачно и решительно кивнул головой.

— Формулировку и кратко вполне, — продолжал голова и заглянул в лицо Тиктину, — кратко, но с достоинством и твердо.

— Ну, формулировка, формулировка? — и Андрей Степанович шагал все быстрее.

— Разойдитесь, господа, — вдруг услыхал он сзади.

Городской голова круто повернулся и бегом поспешил назад. Андрей Степанович остановился, глядел вслед. Он разглядел около темной кучки гласных серую шинель. Медленно ступая, Тиктин приближался на гомон голосов.

— А все равно, куда угодно, что за хождения... толпой! — кричал квартальный.

— Я городской голова.

И городской голова быстро расстегивал пальто, откуда засветлела цепь.

— А я еще раз прошу, — крикнул квартальный в лицо голове, — не вмешивайтесь в распоряжения полиции.

— Ваша фамилия! — крикнул Тиктин и вплотную надвинулся на квартального. В темноте вблизи Тиктин узнал — тот самый, что обыскивал, и Тиктин нахмуренными глазами уперся ему в лицо.

— Никаких фамилий, а разойдись по два! — квартальный обернулся к кучке гласных. — Проходи по два!

Трое городовых напирали, разделяли, выставляли черные твердые рукава.

— Сполняйте распоряженье, — говорил городовой, оттирал Андрея Степановича, — а то усех в участок.

— Господа, надо подчиниться, — громко сказал голова. — Раз такой порядок...

Уже три пары спешно шагали через площадь. На той стороне через дождь ярко светили двери дворца командующего войсками. Городской голова подхватил под руку Андрея Степановича.

— Фамилию ему надо, — услыхал вдогонку Андрей Степанович, — на дуель, что ли, вызвать.

Андрей Степанович резко повернулся; городской голова что есть силы прижал его руку, тянул вперед.

— Да бросьте, бросьте!

— Болван! — крикнул Тиктин на всю площадь. Спешные шаги послышались из темноты. Тиктин упирался, но городской голова почти бегом тащил его через площадь. Вот два часо-

вых у будок, жандарм распахнул дверь. Короткий свисток остался за дверью.

Чинный ковер на мраморных ступеньках; тихо шептались гласные у вешалки, учтиво позвякивали шпоры; полевые жандармы вежливо снимали пальто, брали из рук шляпы, зонты.

Канделябры горели полным светом. Белая лестница упиралась в огромное зеркало и расходилась тонно на два марша, как руки в пригласительном жесте.

Старик-лакей в ливрейном фраке стоял перед зеркалом и беглым взглядом смотрел сверху на сюртуки.

— Доложить, что из городской Думы! — произнес вверх жандарм.

Лакей, не спеша, повернулся. Гласные оправляли сюртуки, лазили в карманы и ничего не вынимали. Как будто пробуя походку, подходили боком к зеркалу, проводили по волосам. Андрей Степанович смело шагал из конца в конец по мраморным плиткам, он глядел в пол, сосредоточенно нахмурясь.

Жандармы недвижно стояли на своих местах вдоль стен вестибюля.

Так прошло пять минут.

Старик уж перестал протирать платком очки. Он последний раз, прищурясь, просмотрел стекла на свет. Лакей не возвращался.

— А как же, голубчик, у вас электричество? — вполголоса спросил жандарма голова.

Жандарм шептал, никто не слышал ответа, городской голова одобрительно кивал головой.

— Ого, ну да, своя военная станция, резонно, резонно.

Гласные потихоньку обступили городского голову.

— Ну да, — слышно говорил голова, — совершенно самостоятельная станция.

Андрей Степанович вдруг остановился среди вестибюля, вынул часы и кинул лицом, где стоял голова.

Голова поднял плечи.

— Я думаю, — громко сказал Тиктин, — можно послать справиться. Может быть, мы напрасно ждем, — и Тиктин стукнул оборотом руки по часам.

Голова сделал скорбную гримасу. Тиктин отвернулся и снова зашагал.

— Просят! — сказал сверху старик, сказал так, как выкликают номер. Никто сразу не понял. Гласные стали осторожно подыматься по лестнице. Лакей жестом указал направо.

Растянутой группой стали гласные в зале. Три лампы в люстре слабо освещали высокие стены и военные портреты в широком золоте. Городской голова поправил на груди цепь, кашлянул, готовил голос. Скорбное, серьезное лицо голова установил в дверь; оттуда ждали выхода. Все молчали. И вдруг насторожились на легкий звон: шпоры! Звон приближался. Депутаты задвигались — смотрели на дверь. Молодой офицер сделал два легких шага по паркету и шаркнул, кивнул корпусом, улыбнулся:

— Его высокопревосходительство просил вас минутку подождать, господа. — Он обвел улыбкой гласных и прошел через залу вон. — Присядьте, — кивнул он вполоборота с порога. Никто не шевелился. Шпоры растаяли. Стал слышен за окнами простой уличный треск пролеток из-за высоких белых штор.

— Я предлагаю... — тихо, но твердо сказал Тиктин, все опасливо оглянулись в его сторону, — через пять минут всем уйти отсюда. Сейчас без пяти минут семь. — И слышно было, как брякнули ногти по стеклу циферблата.

Легкий шепот дунул среди гласных.

— Во всяком случае я ухожу отсюда ровно через пять...

Но в этот момент твердые каблуки стали слышны с тупым звяком шпор. И в тот же миг деловой походкой вошел генерал. Он смотрел с высокого роста, чуть закинув голову.

Его еще не успели рассмотреть.

— Генерал Миллер. Чем могу служить? — уж сказал, будто хлопнул ладонью, генерал. Он стоял, отставив ногу, как будто спешил дальше. — Ну-с! — и он чуть вздернул седыми усами.

Гласные молчали. Голова глядел в генеральские блеклые глаза, слегка прищуренные.

Голова сделал шаг вперед:

— Ваше высокопревосходительство!

Генерал глядел нетерпеливым лицом.

— Мы все, городская Дума, были глубоко потрясены событием, то есть случаем, имевшим место перед университетом...

— Это со студентами? — нетерпеливо перебил генерал, чуть дернул лицом вперед.

— Да! — всем воздухом выдохнул голова и поднял голову. — Мы...

— А вы бы лучше, — перебил генерал, — чем вот отнимать у меня время на представления разные, вот этак бы всей гурьбой пошли б к вашим студентам, да их бы вот убедили депутацией

вашей, — и генерал провел ладонью, как срезал всех, — депутацией вашей! Не устраивать стада на улицах и не орать всякой пошлости! А заниматься своим делом! Честь имею кланяться!

И генерал, не кивнув, повернулся и вышел, топая по паркету, и брякали шпоры, будто он шел по железу.

Геник

ВСЕВОЛОД Иванович спал в столовой. Укрылся старым халатом, уронил на пол старую газету. Снились склизкие черви, большие, толстые, саженные, в руку толщиной, с головами. Черви подползали, выискивали голое место, присасывались беззубыми челюстями к телу, у рукава, в запястье. Всеволод Иванович хватал, отрывал. Но черви рвались, а голова оставалась, чавкала и смотрела умными глазками, и больше всасывалась, и еще, еще ползло больше розовых, толстых, склизких, и они живо переглядывались и хватали, где попало, за ухом, в шею, и Всеволод Иванович рвал, и весь в головах, и головы чавкали, перехватывали все глубже, глубже, и никого нет кругом, и новые все ползут, ползут. Всеволод Иванович хочет крикнуть, но за щеку уж держит голова и жадничает, чмокает, сосет. И вдруг стук. Всеволод Иванович сразу очнулся — стучало по мосткам за окном на улице. И голоса. Всеволод Иванович сразу вскочил. Под окном топала лошадь, верховой кричал:

— Гони в кучу! — гулко у самого стекла. Загораживал, не видно улицы. Всеволод Иванович бросился к другому окну, прижался к стеклу. Толпа людей чавкала ногами по грязи, и крики:

— Куда! Куда! Пошел! Пошел!

И людской гул рокотом стоял в улице, и как с испугу вздрагивали стекла.

Всеволод Иванович бросился в сени, сунул ноги в калоши и, как был, кинулся во двор. Пес оголтело лаял на цепи — ничего не слышно, и Всеволод Иванович махал в темноте на пса, привычной рукой отдернул задвижку. Ветер дернул, распахнул калитку. Густая толпа шла серединой улицы. Городовой пробежал мимо по мосткам. С револьвером, кажется, что-то руку вперед тычет.

— В кучу, в кучу все! — кричал городовой. — На запор! — вдруг в самое ухо крикнул, и Всеволод Иванович увидал — прикладом на него занесся. — Крой на запор!

Всеволод Иванович отскочил во двор.

— Крой! Растуды твою бабушку!

Ветер резал прямо в ворота, Всеволод Иванович напирал на калитку. Вдруг кто-то мигом комком рванулся в щель, кинулся пес на цепи. Всеволод Иванович с напору хлопнул калиткой и дернул задвижку.

Кто-то схватил Всеволода Ивановича за рукав, меленько, цепко.

Всеволод Иванович вздрогнул, дернулся.

— Я, я! Тайка!

Не узнал в темноте, еле расслышал за лаем, за гомоном Всеволод Иванович.

— Накинь, накинь, — кричала Тайка и со своих плеч пялила на отца шубейку, мохнатый воротник.

— Да цыц! Цыц! — кричал Всеволод Иванович на пса. Подбежал, замахнулся. Пес залез в будку.

И уж дальше стали слышны крики.

— Эй, куда! Назад! — и глуше рокот.

— Видал, видал? — запыхавшись, шептала Тайка и тыкала белой рукой в низ калитки.

— Ну? — сказал Всеволод Иванович глухо. — Ну и что ж... кто-то...

— Боюсь! — и Тайка схватила отца за руку.

— Да нет уж его, — говорил старик, — нету, нету! Уж через забор, через зады... ушел уж... когда ему тут, — и дрожал голос, от холода, от ветра, что ли.

— Берем Полкана, посмотрим, берем, скорей, ей-богу, — торопила, дергала Тайка. Она дрожала, белая в ночной кофточке.

Во всех дворах заливались собаки. Полкан снова лаял и рвался на цепи.

— Туда, туда рвется, — Тайка махала в темноте рукой.

— Ну и ладно! — кричал ей в ухо Всеволод Иванович.

— Что? — кричала Тайка.

— Да не ори! — дернул ее за плечо Всеволод Иванович, и шубейка слетела с плеч. — Да ну тебя!

Стук раздался в калитку. Тайка больно схватила отца за локоть.

Отец ступил к воротам.

— Это я! Что у вас? Я, Израильсон.

Тайка отдернула задвижку, ее чуть не повалило калиткой. Израильсон держался за шляпу, его внесло ветром.

— Я тоже вышел. Слышу — у вас крик. В чем дело? Все в порядке? Не вижу кто? Закрывайте, какой сквозняк!

Израильсон взялся за калитку.

— Да цыц на тебя! — крикнул он собаке. — Вы же простудитесь, идите домой! Идите, — он толкал Тайку в белую спину. — Вы знаете, на Ямской весь народ арестовали. Прямо-таки весь. Это вот погнали. Очень просто.

— Сейчас кто-то, — говорила Тайка, у нее тряслись зубы и дробно выбивались слова, — к нам... в калитку...

— Тсс! — сделал Израильсон. — Тихо, тихо! — и он в темноте неловко закрыл ладонью рот Тае. — Тихо!

— Боится, дура! — сказал Всеволод Иванович.

— Я спать не буду, ей-богу! — Тайка вся дергалась от холода.

— А глупости, если он тут, так я вам его попрошу уйти, — и он зашагал в темноту. Всеволод Иванович видел, как белая Тайкина спина промаячила следом, он нагнулся, стал шарить в грязи упавшую шубку.

— Идите в комнату, — кричал против ветра Израильсон. — Вы схватите, я знаю, чего.

— Я боюсь! — и Тайка бегом нагнала Израильсона. — Боюсь, боюсь, — Тайка поймала рукав, тянула вниз, и бились от холода руки.

— Ну, идите в комнаты. — Израильсон остановился. Пальто трепало на ветру.

Тайка прижималась лбом к плечу.

— Боюсь! Боюсь!

— Ну, я вас заведу домой.

— Нет, нет! Боюсь! — и она прижалась к Израилю.

— Это же глупости, честное слово! — кричал Израиль, он прижимал к голове котелок.

— Идем, идем! — толкала Тайка. — Ой, он там, там, — и она махала в темноту белым рукавом.

Израиль шел в угол двора, в темноту, наугад. Он боялся наступить Тайке на ноги, сбивался с шагу в грязи двора.

— Сарай открытый? — спросил Израиль; он наклонился к Тайкиной голове, и ветер путал у него на лице Тайкины волосы. — Да? Так где же двери?

Тайка тряслась и молчала и тянула Израиля куда-то вправо. Пахло хлевом, теплом. И слышно было, как стонали на ветру ворота. Израиль вытянул руку вперед. Тайкины руки тряско цеплялись — вот тут проход, вот нашарил доски.

Сразу не стало ветра.

— Эй, слушайте! Товарищ! — вполголоса сказал Израиль. — Ей-богу! Я не городовой. Городовые ушли! Вы можете уходить себе спокойно! Товарищ!

Тайка совсем прижалась к Израилю. На миг затихла. Ждала. И снова задрожала, слышно было, как лязгали зубы.

— Слушайте, это же черт знает что! — Израиль выдернул руку, он возился в темноте. Тайка понимала — снимал пальто.

— Не надо, не надо, — шептала Тайка, хоть сама не слышала за погодой своих слов.

Израиль натягивал ей на плечи свое пальто.

Тайка молча отстраняла, она искала в темноте, как надеть скорей, скорей прикрыть Израиля.

— Ну что мы будем драться! — сказал громко Израиль. — Так пусть вдвоем. — Он накинул на плечи пальто и взял себе под руку Тайку. Тайка обхватила Израиля за спину, вся втиснулась ему в бок, прижалась головой к груди — перестала дрожать.

— Ну! Товарищ! Так как же будет? — крикнул Израиль в темноту сарая. — Так как же будет? Вот барышня боится, аж вся трусится, а вы нас боитесь. Что?

Слышно было, как шершаво терлась о стойло корова.

— А где еще он может быть? — наклонился Израиль к Тае.

Тайка со всей силы прижалась к Израилю, она сжимала его рукой и говорила:

— Вот, вот!

— Слушайте, бросьте! — говорил Израиль. — Идем, где еще.

— Не надо, не надо, не надо! — повторяла Тая. — Не уходи! Не надо! Хороший какой!

И вдруг Тая заплакала. Израиль слышал, как всхлипывает, дергается грудь.

— Я ведь... люблю же... тебя! Люблю!.. люблю! — и она дергала Израиля за полы пиджака, рвала как попало.

— Тихо, тихо! — говорил Израиль. Пальто сползало, падало вниз.

— Ай! Что я говорю! — вдруг крикнула Тая, она бросилась прочь, ударилась гулко о доски, зашуршала вдоль стены, и стало тихо в сарае.

Израиль слышал, как зудили железными петлями, скрипели ворота. Он двину°ся. Пальто под ногами. Израиль поднял, натянул в рукава.

— А черт знает что! Выходит глупость, — он запахнулся, поднял воротник.

Проход в ворота мутнел синим светом. Израиль досадливо шагнул наружу, и ветер как поджидал — вмиг сбил ударом котелок, и он исчез в провальной темноте двора. Израиль громко выругался по-еврейски. Он зашагал по грязи наугад к воротам. Собака лаяла, дергала цепью. Израиль видел, как открылись светлым квадратом двери, и мутный силуэт старика в дверях.

— Нашли? — кричал Всеволод Иванович через двор.

— Потерял! — крикнул Израиль, подходя. — Шляпу потерял, и черт с ней и со шляпой. Вы, пожалуйста, ничего не думайте, а я вам завтра скажу. — Израиль шел мимо собаки — значит к воротам. Он не слышал сквозь ветер, сквозь собачий лай, как Всеволод Иванович топал по ступенькам. Израиль быстро нашарил задвижку, он с силой притянул за собой калитку, спустил щеколду.

— Ей-богу, черт знает что! — говорил Израиль и шагал как попало в темноте по дырявым мосткам.

Было холодно в комнате. Израиль натянул пальто поверх одеяла, дышал во всю мочь, укрывшись с головой.

— А ну его к черту раз! — говорил Израиль. — И два! и три!.. и семь! и сто семь! — Он поджал коленки к подбородку и вдруг почувствовал, что боялся ударить коленкой голову, ее голову, что чувствовалась здесь, где она прижалась, втиралась лбом.

— А, долой, долой! — шептал под одеялом Израиль и почистил, сбил рукой у груди, как стряхивают пыль.

«Плачет теперь там! — думал Израиль. — И не надо, чтоб больше видеть». Израиль крепко закрыл глаза и вытянулся — ногами в холодную простыню, вытянулся, и сейчас же Тайка пристала во всю длину, как вжималась в сарае. Израиль перевернулся на другой бок и свернулся клубком.

Ветер свистел в чердаке над потолком. Как будто держал одну ноту, а другие ходили возле, то выше, то ниже, извивались, оплетали основной тон. Израиль засыпал, и в ровное дыхание входили звуки, и вот поднялись, стали на восьмушку и ринулись все сразу в аккорд, флейта ходит, как молния по тучам, и взнесся и затрепетал звук в выси. Израиль во сне прижал голову к подушке, и вот щека и слезы и ветер, и вот назад покатилось, и темнота снова в глухих басах, и снова, как ветром, дунуло в угли — пробежало арпеджио флейты — мелькнуло, ожгло — и новое пронеслось и взвилось, и держатся в высоте трельки, как жаворонок крылами — стало в небе — и внизу жарким полем гудит оркестр, ходит волнами, а флейта трепещет,

дрожит — белыми руками и треплет, треплет за пиджак и все ниже, ниже и плачет. И какая голова маленькая и круглая, как шарик, и волосы, как паутина.

И голова прижалась, и оборвалась музыка, и крепче, крепче жал Израиль голову к подушке.

Израиль проснулся. Проснулся вдруг — ветер жал в стекла, все без дождя, злой, обиженный. Стукал в железо на крыше. Белесый свет, казалось, вздрагивал и бился на вещах. Карманные часы стали на половине четвертого, не знали, что делать. Израиль чувствовал на щеке чужую теплоту и гладил себя по небритой скуле. Нашарил карман в пальто, коробочку, две папироски. Теплым рукавом заколыхался дым.

— Ффа! — раздул дым Израиль, левой рукой он прижимал пальто к груди и все крепче, крепче. — А! — вдруг вскочил Израиль. — Надо прямо утром, сейчас туда и найти этот котелок и шабаш! Геник! — сказал Израиль, и ноги уж на холодном полу. — А, глупости. — Израиль мельком глянул на карточку, но родители еще не проснулись. Они сонно глядели в полутьме с портрета — оба рядом.

Израиль без шапки вышел на улицу. Ветер раздувал утренний свет меж домов.

В улице было пусто, и мостки стукали ворчливо под ногами. Израиль быстро зашагал, натопорщил воротник выше ушей. Он не глядел, шел мимо окон Вавичей. И вдруг оглянулся на стук.

В окне маячило белое, и только рукав с кружевом виден был у стекла.

Израиль затряс головой.

— Долой, долой! — сказал он, и вдруг вся теплота ночи прижалась к нему, и руки и за спиной и тут на рукаве, и бортик пиджака — сто рук обцепили его — маленькие и в трепете.

«Назад!» — скомандовал в уме Израиль. Он сделал с разгона два шага, стал поворачивать, но щелкнула щеколда у ворот впереди, и Тайка в шубейке на один рукав вышагнула из калитки. Она на ходу все хотела надеть шубейку в рукава, не попадала и улыбалась полуулыбкой, подбежала, схватила за руку, как свое, как будто угадала, и все не раскрывала улыбки, она вела за руку Израиля к себе в ворота, лишь раз оглянулась, все тоже молча, будто уговорились, — вела теплой, спокойной рукой.

— Я беру мой котелок, — говорил Израиль, переступая высокий порог калитки. — Он там где-то. — Израиль не глядел на Тайку, смотрел в конец двора. — Слушайте, что вы хотите? Это

глупости, это же не надо в конце концов. Нет, я же вам говорил, ей-богу, их бин а ид. Знаете, что это? — быстро говорил Израиль, не глядя на Тайку. — Знаете, что их бин а ид? Это значит, я — еврей. Ну? Так что может быть?

Он быстро шел впереди Тайки — вон он, котелок, прижат к забору. Израиль пробежал по грязи, схватил и обтер поля рукавом. Он быстро надел котелок, повернулся и глядел сердито на Тайку. Она стояла в трех шагах, в шубке внакидку поверх ночной кофточки, белой юбки. Она держалась накрест руками за борта шубки и, задохнувшись, глядела на Израиля в котелке.

— Ну вот, — сказал Израиль, — и довольно и больше не надо. — Он затряс головой. — Не надо! — он поднял палец, подержал секунду и вдруг зашагал большими шагами прямо к воротам.

— Нашел он свою шляпу-то? — кричал Всеволод Иванович.

Тайка не отвечала. Он слышал, как она прошла в свою комнату.

— Что там? — услыхал Всеволод Иванович голос старухи.

— Ничего! — крикнул Всеволод Иванович хриплым невыспанным голосом и закашлялся. Встал, кашляя, всунул ноги в туфли и пошел отплеваться в кухню.

— Фу, дьявол! — говорил Всеволод Иванович. — Иду, иду! — крикнул он в двери, зная, что, наверно, зовет жена. — Да котелок он свой вчера... ветром сдуло, — Всеволод Иванович не мог отдышаться.

— Открой шторы! Открой, ничего, что рано, — говорила старуха. Она вглядывалась при свете в лицо мужа. — А что случилось, что? — И старуха силилась приподняться на локоть. Она мигала, морщилась на свет и здоровой рукой прикрывала глаза. — Сева, Сева, говори.

— Да не знаю, нашел он или нет, — Всеволод Иванович стал поднимать с полу бумажку у самого порога, — не знаю, Тайку спроси, черт его, — и Всеволод Иванович зашлепал из комнаты.

— Сева! — крикнула старуха.

— Ну, — остановился Всеволод Иванович в дверях, — не знаю, не знаю, — замахал рукой, сморщился.

— Тая! Тая! — кричала старуха, и казалось, вот кончится голос.

— Да иди ты, мать зовет, не слышишь, — крикнул Всеволод Иванович в Тайкину дверь.

Тайка вышла, быстро, как будто далеко еще идти, с шубейкой на плечах. Всеволод Иванович не узнал, будто не она, чужие глаза — как прохожая какая! Он глядел вслед дочери. Тай-

ка быстро прошла к старухе. Она стала посреди комнаты, держась за шубейку. Всеволод Иванович прислушивался: обе молчали. В доме стало тихо, совсем по-ночному, будто никто не вставал, и во сне стоит Тайка в шубе.

Всеволод Иванович ждал — нет, и шепота нет, и боком глаза видел, что не движется Тайка. Всеволод Иванович глянул тайком на окна: казалось, что потемнело, что назад пошел рассвет. Он снова скосил глаза на Тайку, и время как будто не шло — Тайка стояла.

Всеволоду Ивановичу не видно было жены: что она? Молчит и смотрит, Тайку разглядывает? Слов ищет? Какие же тут слова? Находят они, бабы, слова какие-то, находят!

Всеволод Иванович ждал недвижно в неловкой позе.

— Тайка! — вдруг зашептала старуха. Всеволод Иванович дышать перестал. — Помяни мое слово — придет. Сам придет. Верно!

Секунду еще стояла Тайка, как неживая, и вдруг дернулась к старухе, с шумом откатился стул. Всеволод Иванович быстро зашлепал туфлями вон — бабы, у них свое, пошли, выдохнулись слова! Всеволод Иванович возился, топтался в холодной кухне, брался за самовар, сунул полено в холодную плиту и шарил на полках. Луку — головка — подержал, повертел и сунул в карман. Поплакать, что ли, пока один?

«Реноме»

— ВИТЕНЬКА, Витенька, ты же две ночи не спал! — Груня раздувала воздух широким капотом, носилась по коридору.

Вавич мигал в прихожей набрякшими веками, вешал шашку, шаркал раззудевшими ногами.

— Покажу тебе, барин какой! — ворчал хриплым голосом Виктор. — При исполнении — болван!.. Репа с бородой!.. Стрелять такую сволочь: при военном положении...

— Ешь, ешь скорей и ложись! — кричала Груня из столовой — бойко брякали тарелки.

Вавич тяжелыми ногами, насупившись, входил и злым глазом глядел на Груню и говорил:

— Сссволочь... какая!

— Ты это на кого это? — И стала рука с ножиком у Груни, и масло с ножа ударилось о скатерть.

— А! — махнул Виктор рукой. — Дурак один с бородой.

— Обидел? — Груня подняла брови.

— Стрелять!.. — и Виктор дербанул с размаху кулаком в стол — вдруг, срыву. Ахнула посуда. — Да ну, к черту! — и Виктор сел, упер обе руки в виски и закрыл глаза над столом.

— Пей скорей и ложись, ложись ты, Витя. — Виктор мотал головой. Кофейным паром стало обвевать лицо, и сон стал греть голову.

— Ешь, ешь, — говорила Груня, трепала за плечо.

— Грунечка! — вслепую Виктор поймал Грунину руку, потащил к губам. — Грачек, знаешь, тоже... я ему: ах ты, говорю, болван! Он чуть не в драку, мерзавец... А полицмейстерша... — Вавич почувствовал, как мигнули мозги в провал... — а полицмейстерша: цыц!

— Потом, потом! — слышал сквозь сон Виктор. — Да пей же, простынет. Ой, простыни-то! — и Груня вдруг дернулась, задела стул Викторов и выбежала из комнаты.

— Фу, — набрал воздуху Виктор. Он тяжелой рукой стал мешать в стакане. Покачивал головой и шепотом твердил матерные слова как молитву. — Сохрани и помилуй! — кончил Виктор и думал о бомбе.

Он слышал, как в спальне Груня орудовала свежими простынями.

Виктор сонно жевал, хлебал горячий кофе мелкими укусами.

— Сохрани, черт возьми, и помилуй! — шептал Виктор. И вздрогнул: резанул, как хлестнул, звонок в передней. — Фу ты! Кого это черт несет? — Виктор встрепенулся, отряс голову.

— Здесь, пожалуйте! — услышал Фроськин говорок и ухом поймал, что стукнула шашка о косяк.

— Кто? — хрипло гаркнул на всю квартиру Вавич.

— Герой, герой, чего орешь? — голосок теноровый, — что за черт? Виктор встал, и на щеке все еще кофейный пар гладил.

— Зазнался, не узнал, — и Сеньковский шел прямо в столовую, отдернул стул от стола и сел.

— Витя, Витя! — звала из спальни Груня. — А это, кто это такая? — Груня держала в руке портрет, что отобрал при обыске Виктор. — А? Хорошенькая какая, страсть хорошенькая! А? — И Груня, приоткрыв рот, глядела на Виктора.

— Самая язва, — ткнул ногтем Виктор в Танино лицо, — это... это в жандармское. Жидовка одна. Положи.

Сеньковский сидел уже боком к столу, дымил толстой папиросой. Очень толстой, каких не видел Виктор.

— Это что? — и Виктор ткнул пальцем в папиросу, пепел свалился на снежную скатерть. Виктор собирал дух, чтоб дунуть, сдуть пепел, а Сеньковский уж повернулся и размазал рукавом.

— Это все у нас — «Реноме», Грачек тоже эти самые. У тебя рюмка найдется? — Сеньковский вертел головой, осматривал стол. — В буфете? Я сам достану, сиди, сиди! — Сеньковский с шумом встал, открывал одну за другой дверцы буфета. — Вот! — Он выхватил графин. Буфет стоял с разинутым ртом. — Ничего, я в стакан, не вставай, — и Сеньковский налил полстакана водки. — Да! Ты знаешь, чего я пришел?

Виктор сонно хмурился в дверцы буфета и качал головой.

— А черт тебя знает.

— Дурак! Грачек тебя к нам зовет. Чтоб переходил в Соборный участок.

Виктор перевел трудные глаза на Сеньковского, щурил тяжелые веки.

— Сукин ты сын, да ты понимаешь, что я тебе говорю? — Сеньковский дернул Виктора за обшлаг. — Да не кури ты этой дряни, — Сеньковский вырвал у Вавича из пальцев «молочную» папиросу, швырнул на лаковый пол, растер подошвой. Он совал тяжелый серебряный портсигар с толстыми папиросами. — Идиот! — чуть не кричал Сеньковский, и глаза совсем раскрылись, и будто от них и громко на всю квартиру: — Тебе же, прохвосту, прямо в пазуху счастье катит, дубина. Сейчас, знаешь, время? Где ваш пристав, борода-то ваша? К чертям! — Сеньковский отмахнул ладонью в воздухе. — Помощник теперь приставом! — Сеньковский стукнул ладонью об стол, как доской хлопнул.

Сзади в открытых дверях стояла Груня. Она с внимательным испугом глядела на стол, на спину Сеньковского. Виктор досадливо мотнул вбок головой.

— Кто там? — оглянулся Сеньковский. Груни уже не было.

— Да жена это, — сказал Вавич.

— А! — пустил дым Сеньковский. — Ну, так дурак ты будешь, если будешь преть тут в Московском да жидовок с водкой за подол хватать. С бакалейщиков живешь? Да? Ну и олух.

— Надо подумать... — и Виктор кивнул бровями.

— Подумать! — передразнил Сеньковский. — Заважничал? Балда ты! Завтра, завтра, говорю тебе, еще четыре бомбы будут, и никто тебя к чертям не вспомнит. Ты чего смотришь? Чего я хлопочу, скажешь? — Сеньковский вдруг сощурил глаза

на Виктора, замолчал. — Есть интересик! — сказал раздельно и, не отводя взгляда, допил стакан, нащупал на столе хлеб, отломил. Жевал и глядел на Виктора.

Виктор опустил глаза в скатерть и, выпятив губы, тянул из папиросы.

— Ну, идет? — через минуту сказал Сеньковский.

— А чего делать? — сказал Виктор, все глядя вниз.

— Что надо. Что все. Ты думаешь, на дожде вымок, так дело сделал? Выучим, брат.

Виктор попробовал взглянуть на Сеньковского, но обвел взглядом мимо. Буфет глядел открытым пузом, и серело прямо в глаза пятно на скатерти, ложечка с варенья упала и лежала затылком в красной лужице; толстый дым шел вверх от папиросы Сеньковского, резал лицо его пополам. Вавич молчал. Груня не шла.

— Ну, коли хочешь, так форси и дуй тут рожи всякие. — Сеньковский встал. — Да! А я б тебе еще кое-что сказал бы, штучку одну! Да! — и Сеньковский прищелкнул языком. — Так, значит, сказать, что, мол, малую цену дают и отказываешься? Так? Помощником полицмейстера, что ли?

— Да я не говорю вовсе, что цену, — и Виктор тоже встал, — и зачем цену! К чертям собачьим! Никакую цену, и я не говорю помощником.

— А что ты говоришь?

— Да мне ко всем чертям! Все равно! — Виктор уже кричал. — Я ни на что не напрашиваюсь! Да! И ни от чего не отказываюсь. Понял? Сам ты болван.

— А не отказываешься, так я так и скажу. Чего орать-то? Петух и в самом деле.

— Что? — гаркнул Виктор, и мутно стало в голове от крови. Он присунул лицо вплотную к Сеньковскому, а сжатый кулак дрожал на отлете.

И губами, одними тоненькими губами Сеньковский сказал:

— Она-то и сказала, чтоб ты приходил завтра в двенадцать ровно, — и все улыбался и чего-то кивал подбородком за спину Вавичу.

Виктор круто оглянулся. Груня стояла сзади, с белым лицом, и в самые глаза в раскрытые кинулся взглядом Виктор.

— Ну а я пошел, пошел, — и Виктор не слышал, как прошагал Сеньковский.

— Я кричу «Витя! Витя», ты не слышишь ничего. Что это ты его бить? Витенька? Что он тебе говорил это? — Груня держала Виктора за плечи.

Виктор дышал, грудь не находила ходу, сердце стукало во все тело.

— Что он это говорил? — Груня глядела Виктору в самые зрачки.

— А, не надо! — Виктор нахмурился, дернулся и заспешил к себе в комнату. Задел, опрокинул кресло.

Виктор сел на кровать, как упал. Стал стягивать сапог, тянул рукой, бил в задок ногой. Сапог чуть сполз и вихлялся, и Виктор без толку со злобой бил им об пол:

— Тоже болван! Болван! Болван!

— Витя, Витя, дай я, — Груня присела на пол. Виктор будто не замечал, а сильней еще хлопал сапогом по полу. — Фрося, Фрося! — кричала в коридор Груня.

Фроська бегом вбежала и любопытными глазами глядела то на Виктора, то на Груню.

— Чего содом поднимать? — крикнул Виктор и сморщил лицо, глядел в пол между Фроськой и Груней. — Ну? Так и оставьте в покое! Нельзя сапога снять, чтоб хай в квартире не подняли. Ну, чего стоите?

Груня тихонько вышла, прикрыла тихо дверь. Виктор, не раздеваясь, в полуснятом сапоге лег на оправленное одеяло, на отвернутый белый уголок. Горько, как от дыму, было в груди.

— К чертям собачьим! — сказал Виктор вслух. И пустым жерновом завертелась голова. — Болваны, — шептал Виктор. — «Реноме» и болваны... все.

Подушка

КОЛЯ пил чай. И когда мама отворачивалась, глядел на нее украдкой вверх и старался без шума тянуть с блюдца чай. У мамы глаза красные, и все равно, о чем ни заговори, плачет. Потом остановятся глаза, на окно глядит, как ничего не видит, рот приоткрыт, и перекрестится.

— Мне один мальчик говорил, — начал Коля и нарочно набил рот хлебом, чтоб проще вышло, — он в нашем классе. Так его папу тоже, — Коля нагнулся к блюдцу, отхлебнул, — ждали

аж два дня. Потом пришел поздно-поздно вечером. — Коля отвернулся в окно. — Заседали, говорит... Потом... — Коля взял новый кусок хлеба. — Потом, говорит, дайте мне чаю скорей, выпил аж пять стаканов и сразу спать. И как стал спать... — Коля совсем забил рот хлебом и припал к блюдцу.

Мама всхлипнула и вышла. Коля вскинулся, глядел ей вслед. Вскочил. В спальне мама плакала, вся уткнулась в подушку.

— Ей-богу! — говорил Коля. — Вот ей же богу. И чего ему врать. Охременко такой. Хороший такой. Мамочка!

Но мама не отрывала головы и вся дергалась.

— Ну мамочка! Ну милая! — Коля хотел раскопать в подушке мамино лицо, но мама утыкалась глубже и глубже, как будто хотела закопаться насовсем насмерть.

— Ну, я побегу сейчас, сейчас. Они все там заседают, и прямо я зайцем прорвусь. Ей-богу! — кричал Коля на бегу. Он сорвал с вешалки шинель, бросился вон и выбежал в ворота.

Коля не знал, где заседают. Сторож в почтамте один, Алексей, он вот говорил еще вчера, что все еще заседают. А папа не ночевал. Коля то шел, то подбегал — скорей, скорей к почтамту, к Алексею. Прохожих было мало, хорошо было бежать. Потом пошло гуще, Коля толкал сам не видя кого — больших. Он свернул за угол — вон он, почтамт с тройным крыльцом. Народ густо толпился на перекрестке, Коля юрко пробивался, запыхавшись, — мама с подушкой стояла в голове и все глубже, глубже зарывалась. И вдруг совсем свободно, пустая мостовая перед почтамтом.

Коля пустился отчаянными ногами.

— Эй! Стой! Куда! — и свисток.

Коля бежал. У тройного крыльца стояли три солдата с ружьями. Один шагнул, чтоб не дать Коле ходу, и мотал головой:

— Прочь!

А сзади коротко свистали, кто-то шел. Коля оглянулся. Полицейский, околоточный идет к нему сзади. Близко совсем. Коля стал, оглянулся, там на перекрестке, как обрубленная, стояла толпа, шевелилась, гудела, и черные шинели городовых впереди.

— Стой! Тебе чего? Чего надо? Чего бежал? — Надзиратель уцепил Колю за плечо, замял шинель в руку.

— Письмо... — сказал Коля и проглотил слюну, — сдать...

— Какое? А ну давай, — и надзиратель нахмуренно глядел сверху. Тряхнул Колю за плечо. Толпа загудела.

— Чего вы дергаете? — упирался Коля.

— Давай письмо! А? Пой-дем!! — и надзиратель потащил Колю за плечо туда, к толпе, к городовым.

— Пугачева споймал, — поверх голосов гаркнул кто-то из толпы. — У кандалы его!

— А ну разойдись! — Надзиратель обернулся к почтамту и коротко свистнул три раза. Солдат на крыльце взял свисток, что висел на груди, и тоже свистнул три раза. Коля оглядывался то на солдат, то на толпу. Надзиратель крепко держал его за шинель. И вдруг с крыльца почтамта затопали, забряцали солдаты, наспех, полубегом. Вон офицер. Коля глянул на толпу, там было свободное место, только какой-то в тужурочке, обтрепанный, уходил вдоль улицы и грозился на ходу кулаком. Солдаты на ходу строились.

— Сведи! Выяснить! — крикнул надзиратель, толкнул Колю к городовому и пошел навстречу офицеру. Городовой тоже уцепил Колю за плечо.

— Куда? Куда? — крикнул Коля. Городовой шагал и на отлете держал Колю. Коля путался ногами, спотыкался. Коля хотел плакать — теперь что же? Мама умрет совсем! В воду бросится. Коля озирался на пустые тротуары. Вон только тот, что кулаком! Чего это он кивает и показывает, что тужурку скидывает? Смеется или сумасшедший какой? И вдруг понял: скинуть шинель и ходу! Шинель — папе еще один год в кассу вычитать за нее будут. И вдруг опять мама представилась: задушится, непременно задушится подушкой. У Коли внутри холодело и билась под грудью жилка и как будто вся голова вытаращилась, а пальцы тихонько расстегивали пуговки. И вдруг у Коли на миг потерялась голова, одни руки, ноги. Он вильнул всем телом и пустился в боковую улицу. Он слышал свисток, прерывистый, он бил по ногам. Коля шагом, на дрожащих ногах, завернул за угол. Он быстро открыл двери лавочки. Тявкнул проклятый звонок на двери и бился, не мог успокоиться. Из-за прилавка, из полутьмы, подняв брови, глядел бородатый еврей в пальто.

— Колбасы... — чуть слышно сказал Коля, трясся голос. Еврей не двигался. Еврейка глядела из дверей за прилавком.

— Фюррть! пры! пры! пры! — свистело все ближе.

Коля стоял, шевелил губами без слов, без звука.

— Ой, ким, ким! — вдруг громко шепнула еврейка. Она быстро вскинула входную доску, дернула Колю в дверь. Она тол-

кала его дальше, в темноту, и Коля слышал, как плакали сзади дети, что-то кричал еврей по-еврейски. Коля кое-как щупал пол ногами. Куда-то в темноту на мешки толкнула его еврейка, и он слышал сквозь стук сердца:

— Ша! ша!

Трухляво хлопнула дверка. Коля стал карабкаться по мешкам, шарил впереди рукой, и громко звякнула жестянка. Коля замер. Было тихо, и Коля, едва шурша коленом, понемножку сел удобней. Он слушал, втягивал ушами тишину, и крупиночки звуков попадались — далекий детский плач — и он размылся. И сердце проклятое стучит, мешает слушать. Спокойный, веселый запах миндаля вошел в ноздри, мирным облаком летал тут в темноте. И вот совсем просто пахнет керосином. Коля сильней потянул носом, во всю глубь: очень просто, пахнет керосином и ничего не может быть. Коля наклонился, чтоб узнать, где сильней пахнет керосином, внюхивался в воздух. Вдруг стало сердце и оборвался керосин: уши услышали звонок, дверной звонок в лавочке. И сердце снова глушило уши, и трудно через него прослышать далекие звуки. Будто гул какой-то. И вдруг ясно расслышал Коля крик еврейки:

— Что вы пугаете детей? Какой мальчик? Вот мальчик — так никуда не выходил... Он кашляет, куда можно идти в такую...

И куда-то в густой гул пропал голос, и опять звякнул звонок, как кто палкой его ударил. Коля слышал опять детский плач, бурлили голоса в глубине. И все тише, тише. Коля замигал глазами и узнал, что полны слез глаза. Коля, сам не замечая, ковырял и ковырял мешок левой рукой, зацеплял пальцем шпагат, дергал, резало пальцы — пускай. Он сам не заметил, как в пальцы попала миндалина, и Коля сунул ее в зубы и куснул со всей силы. Он кусал, кусал миндалины. И вот шарканье — идет сюда, и вот светлыми линейками обозначились щели, и двери раскрылись. Коля морщился на керосиновую лампу, еврейка щурилась в темноту.

— Вы здесь, молодой человек? — шепотом спросила она.

Коля спустил ноги с мешка — он хотел ответить и тут только заметил, что полон рот жеваного миндаля. Коля закивал головой, заглотал наспех миндаль. Еврейка пристально всматривалась в него.

— Ты хотел миндаль? Возьми немножко.

Коля обдергивал куртку. Еврейка свободной рукой потянулась к мешку, ухватила щепотку.

— Пойдем в комнаты. Ну? Идем. Никого вже нет.

Коля краснел, глядел в пол.

— Не бойся. Городовой вже пошел спать.

Мальчик черными глазами глядел из коридора, он вытянул шею вперед, с опаской и любопытством пялился на Колю.

Еврей что-то спрашивал издали по-еврейски.

— Муж спрашивает, или вы пропали?

Коля вышел. Хозяйка несла впереди кухонную лампу, мальчик снизу старался заглянуть в лицо Коле. Коля сделал серьезный вид.

— Что это у вас вышло с городовым? — спросил хозяин, спросил полушепотом и пригнулся к Коле. — Да ша! — крикнул он на девочку.

— Я убежал. Он меня за шинель, а я из шинели, — и Коля показал, как он вывернулся, — шинель у него, а я бегом.

— Ай-ай-ай! — качал головой хозяин. — Це-це-це!

Все смотрели на Колю.

— А чего он вас схватил? Стояли? Ходили? — и хозяин делал широко рукой то вниз, чуть не до полу, то далеко вбок. — Может, просто шли себе на уроки? Что?

— Я письмо хотел бросить в почтамт, на почту, — и Коля нахмурился. Все молчали.

— Какая может быть почта? — вдруг быстро заговорил хозяин. — Почта? Почта давно бастует, в почте солдаты. Что? Так вы не знали? Образованный молодой человек. Я знаю? Гимназист. — Еврей пожал плечами. Стал к Коле боком. — Может быть, какое другое дело, — опять тихо заговорил хозяин, — так это, может быть, я не спрашиваю. А письмо? Письмо, — он снова говорил громко, — письмо — глупости. Какое может быть письмо! Вы не глядите тудой, — хозяин кивнул в темную дверь лавочки. — Уже закрыто.

Хозяйка тихонько высыпала щепотку миндаля на клеенку, смотрела в стол. Хозяин что-то быстро говорил по-еврейски, перебирал банки на подоконнике. Только мальчик от дверей лавочки глядел Коле в лицо.

— У меня папу арестовали! — вдруг на всю комнату заговорил Коля, все оглянулись, все глядели на голос. — А папа почтовый чиновник. А мама дома не знает, плачет. Я хотел узнать на почте, а надзиратель...

— Ца-ца-ца! Ммм! — закивал головой еврей. — Ай-ай! Что с людьми делают. Ой! — он выдохнул весь воздух.

— Так заходил городовой, — быстро зашептала еврейка, — так спрашивал за вас. Я ему говорю: вы с ума сошли?

— А шинель что? Пропала? Там есть что? — Хозяин сморщил брови, совсем нагнул лицо к Коле. — Вы говорите! Важное есть там?

— Так он же не имел в руках шинели! — перебила хозяйка. Мальчик влез коленями на стул и через стол тянулся, поднял брови на Колю.

— В шинели ничего...

— А где мама? — трясла за плечо Колю хозяйка. — Мамочка ваша где? Она же за вас не знает. Ой, где вы живете, где? Где? Во вунт ир? — говорила она по-еврейски.

— Здесь, сейчас, на Елизаветинской, — и Коля показывал вбок рукой.

— Что ты хотела? Что ты хотела? — вдруг набросилась хозяйка на девочку. — А! Ним! — и она скинула миндаль на пол. — Так надо иттить, надо скоро!

Она быстро заговорила с мужем.

— Я пойду! — Коля двинулся.

— Халт! Халт! — хозяйка перегородила рукой дорогу и схватила с кровати шаль, заспешила по коридору.

— Она посмотрит, или не глядит кто, — и хозяин мотнул головой вслед жене.

Все молчали, слушали. Слышно было только, как кусала миндаль девочка под столом.

— Он тебе не бил? — чуть слышно прошептал мальчик.

Коля затряс головой.

— Нет? — и мальчик сполз со стула.

Толком

САНЬКА не верил, что пустят в столовку: закроют «впредь до особого распоряжения», и взвод казаков будет мимо ездить, по мостовой шагом, взад да вперед. Столовка «Общества попечения», и губернаторша председательница. Санька спешно мылся утром — посмотреть скорее, как? закрыта? нет? казаки? Он слышал, что Андрей Степанович пьет уже чай в столовой, сморкается на всю квартиру. Не затеял бы разговаривать, рассуждать. Вопросы, паузы. Без чаю идти, что ли? Прошел мимо столовой: Андрей Степанович сидел один, как будто брошенный,

и глянул на Саньку — выходило, что если уйти без чаю, то, значит, уж нарочно, и взгляд, хоть достойный, но с надеждой. Санька с самым спешным видом влетел в столовую, за стакан, к самовару, криво сел, боком — спешу! Андрей Степанович молчал, взглядывал. Санька изо всех сил вертел ложечкой в стакане. Налил на блюдце, стал дуть.

— Куда это ты так? — осторожным голосом сказал Андрей Степанович, и укоризна в глазах: скорбная укоризна.

— В столовке... собранье, — Санька прихлебывал из горячего блюдца.

— Так! — Тиктин внимательно стал набирать на ножик масла. — Это что же? Общественный протест? — Тиктин не спеша намазывал хлеб. — Резолюции?

— Один говорить будет... — Санька не глядел на отца, налил второе блюдце.

— Вот вчера, — голос у Тиктина стал на ноту, на общественную ноту, он повернулся и говорил в буфет, — вот вчера тоже один говорил и... пятнадцать человек молчало. Пятнадцать холуев! — вдруг крикнул Тиктин, обернувшись к Саньке.

Санька от блюдца, снизу, глядел в нахмуренные брови, и усы приподнялись, ненавистная горечь здесь, у ноздрей. Санька глядел не шевелясь.

— Холуев! — крикнул на Саньку Тиктин ругательным голосом. — Честь имею представиться, — и Тиктин ткнул горстью себя в грудь и поклонился над столом.

Санька выпрямился, сделал серьезное, осторожное лицо.

— Да, да, — на всю квартиру говорил Тиктин, — в числе подлинных холуев его превосходительства.

Анна Григорьевна в капоте вошла, она глядела то на Саньку, то на Андрея Степановича, мерила глазами: кто на кого?

Горничная на цыпочках прошла по коридору.

— Fermez la porte!* — сказал Андрей Степанович, кивнул на дверь.

Санька быстро вскочил, запер дверь, сел на место.

— Ты это про вчерашнее? — тихо спросила Анна Григорьевна.

— Это сегодняшнее! — снова криком сказал Андрей Степанович. — Сегодняшнее! Вчерашнее! Трехсотлетнее! А там, — Тиктин тыкал со злобой большим пальцем за стену, — там идиоты помещичьим коровам языки режут!

* Закройте дверь! *(фр.)*

15—3207

Анна Григорьевна глядела в поднос.

— Чего глаза таращишь! — кричал Андрей Степанович. — Да, да! И жгут хлеб! Жгут дома! Красный петух. Дребезг.

Андрей Степанович обвел весь стол яростными глазами и перевел дух.

— А тут они, — Тиктин кивнул на двери, — они ведь в солдатских-то шинелях. Они тебе же башку прикладом разворотят.

— В Николаеве, говорят, не стреляли, — Санька глядел, как вдруг всем телом задохнулся отец.

— Говорят! — Тиктин весь красный спешной рукой полез в боковой карман. — А вот! Очевидцы! — И Тиктин совал через стол прямо в Саньку развернутый листок бумаги. — Пожалуйста-с!

Санька взял листок, бегал глазами по лиловым расплывчатым буквам.

— Вслух читай! — крикнул Тиктин.

«Товарищи рабочие! — прочел Санька. — Вчера 11 числа на Круглой площади...»

— Одним словом, баррикада, стрельба, и трое наповал! — перебил Тиктин. — Дай сюда! — Он потянулся, вырвал листок у Саньки. — И когда мерзавец в генеральских погонах тебя выпроваживает за уши, — Андрей Степанович с шумом переводил дух, — то действительно ты знаешь... что за спиной у тебя...

Горничная приоткрыла дверь.

— Александр Андреич, к вам это.

Все смотрели на дверь, Санька вскочил, и в это время в дверь постучали.

— Войдите! — приказательно крикнул Тиктин.

— Я же не одета! — сказала Анна Григорьевна, но Санька уж открыл дверь. Ровно посреди дверей стоял в пальто, вытянувшись во весь рост, Башкин. Он стоял колом, притиснул руки к бокам, запрокинулся весь назад. Санька держал за ручку открытую дверь, хмурился, нетерпеливо вглядывался в Башкина.

Минуту все молчали. Башкин смотрел по-солдатски прямо перед собой и не двигался.

— Что за аллюры? — наконец крикнул Тиктин и вскинул назад голову.

— Вы сами, — начал выкрикивать Башкин, — просили меня разыскать вашу дочь Надежду.

— Теперь уж... — зычно перебил Тиктин.

— Теперь уж, — еще выше крикнул Башкин, — теперь уж она не там, где вы думаете.

— Да, да! — вдруг встала Анна Григорьевна, стул откатился, стул стукнулся в буфет. Анна Григорьевна прижимала к груди недопитый стакан. — Ну! Ну! — Анна Григорьевна короткими дышками ловила воздух.

— Вы что же, — привстал Андрей Степанович, — шпионили, что ли? — он свел брови и вставил в Башкина взгляд.

— Это вы про лестницу? — Башкин все стоял в солдатской позе и рапортовал, лаял. — Я догонял ее по вашей сильной просьбе и в те двери не вхож. Если вам не угодно, — выкрикивал без остановки Башкин, — я ухожу. — И он повернулся на месте.

— Стойте, стойте! — как вспыхнул голос у Анны Григорьевны, и Санька рванулся, дернул Башкина за плечо, и он, раскидывая ногами, вкатился в комнату. Он ухватился за стол, чтоб не упасть.

— Что за гадость! — кричал Санька.

— Господи, Господи! — повторяла Анна Григорьевна, она бросилась к Башкину.

— Молчать все! — и Андрей Степанович стукнул ладонью по столу. Стало на миг тихо. Башкин выравнивался. Андрей Степанович взял его крепко за пальто за грудь.

— Без кривляний и фокусов можете вы говорить? — и он коротко тряхнул Башкина за пальто.

— Пустите, пожалуйста, — обиженным голосом заворчал Башкин. — Я никак не хочу говорить. Пустите, пожалуйста, мое пальто, я хочу отсюда уйти. Что за манеры в самом деле?

— Брось, — задохнувшимся шепотом сказала Анна Григорьевна. Она отвела руку мужа. — Идемте, идемте! — и Анна Григорьевна за рукав стремительно потащила Башкина прочь, вон из комнаты, дальше по коридору. Она втащила его в Надину комнату и на ходу захлопнула дверь.

— Ради Бога, скорей, скорей! — Анна Григорьевна обоими глазами поднялась к Башкину и старалась раньше высмотреть все, что он знает, пока не сказал. Она пробиралась дальше, дальше в глаза Башкину, и Башкин не мог поглядеть в сторону. — Ну? — выдыхала Анна Григорьевна.

— Арестована она, — обиженным голосом сказал Башкин.

— Где? — Анна Григорьевна не отцеплялась от глаз Башкина.

— Не знаю. — Башкин оторвал глаза, глянул вверх, и глянул грустно, раздумчиво.

— Где? — Анна Григорьевна держала его за лацканы пальто, тянулась вверх. — Где?

— Да серьезно же не знаю! В участке каком-нибудь, — говорил вверх Башкин, — а может быть, в тюрьму повели. Кто их знает, какой там у них порядок.

— Как узнать? Говорите! Башкин! Я вас умоляю! Ну-ну-ну!

— Ну, милая! — Башкин поднял брови, и оттопырились губы. — Ну кто же может? Товарищи ее, что ли. У них там ведь все известно... передачи там всякие... Да, у товарищей, у товарищей! — Башкин смотрел добрыми глазами и мягко кивал головой.

— Кто же, кто же! Ведь я их не знаю! — Анна Григорьевна судорожно трясла головой. — Я ничего, ничего про нее не знаю, не знаю. Говорите, говорите! — шептала она и глядела в глаза Башкину — по ним плавала, раскачивалась доброта. Сочувственная. Теплая. — Говорите, — вдруг крикнула Анна Григорьевна, сильно дернула Башкина вниз. И тяжелые шаги по коридору заспешили на крик. Башкин вывернулся. Он в дверях прошел мимо нахмуренного Андрея Степановича.

— Что такое? — раздраженно спрашивал Андрей Степанович. Легонько щелкнула входная дверь.

— Надю арестовали, Надю арестовали, — говорила Анна Григорьевна, она прорывалась в коридор мимо Андрея Степановича.

— Толком говори, толком! — удерживал ее Тиктин.

Анна Григорьевна искала глазами Башкина.

— Да говори же толком, — поворачивал ее к себе Андрей Степанович.

— Саня, Саня где? — озиралась Анна Григорьевна; она нашла глазами вешалку: ни шинели, ни Санькиной шапки не было. — Иди, иди сейчас же! — говорила Анна Григорьевна и притоптывала ногой. — Да иди же! Иди! — вдруг зло толкнула Тиктина Анна Григорьевна. — Сейчас же! Да иди же ты! — и вдруг повернулась и бросилась к вешалке. Она сорвала свое пальто. Андрей Степанович, подняв брови, топтался возле.

— Да скажи, ей-богу, толком же...

— Убирайся! — оттолкнула его Анна Григорьевна.

Разойдись!

ВИКТОР проснулся среди ночи: очень больно врезался в шею воротник, а снилось, что кто-то обнимал, давил шею, и нельзя было вырваться. Спустил впотьмах ноги с постели, и стукнул-

ся об пол полуснятый ботфорт. И Виктор нахмурился, по-деловому. Потом глядел в темноту. Зубки вспомнились, такие остренькие, ровненькие, и будто прикусила что и держит и радуется. И Виктор в темноте вдруг оскалился, стиснул прикус, и поскрипывали зубы. И головой затряс, будто рвет что. Виктор захватил на бедре кожу и сжал до боли, сколько сил, повернул. И сам не заметил, как зубами хрустнул.

— А дрянь какая! — дохнул шепотом Виктор и ткнулся головой в подушку, закинул ноги на кровать, и сразу прильнуло усталое тело к постели, и жарким кругом пошла голова, и теплой водой подмыл, закачал сон.

И вдруг звонок, настоящий звонок. Ну да! Виктор вздернул голову. Застучало в кухне, Фроська идет отворять. Виктор вскочил, дохромал до двери, нашарил выключатель. Свет мигом поставил вокруг всю комнату, стол с портфелем.

— Кто? Кто? — вполголоса спрашивала в двери Фроська. Виктор со всей силы рвал на место ботфорт. Фроська же отворяла двери. Виктор высунулся. Фроська, в пальтишке внакидку, жалась, пропускала грузного городового.

— Здравия желаю, — тихим басом сказал городовой.

— Что случилось? — шепот хрипел у Виктора.

Городовой подымал и опускал брови.

— Приказано... приказано, — шептал городовой и присунулся к самому лицу Виктора, — что всем надзирателям сейчас собраться до господина пристава.

— А что? Не слыхал? — Виктор спрашивал шепотом.

— Не могу знать, а распоряжение есть. И коло вокзала, слышно, дела, — и городовой тряхнул головой. — Дела, одним словом. А не могу знать.

И городовой отступил полшага.

— Стой, сейчас! — и Виктор стал снимать с вешалки шинель. Городовой схватил подать. Виктор видел, как из темного коридора белела Грунина голова, плечи, и слышал, как звала:

— Витя! Витя!

— Ну пошли, пошли, — громко заговорил Виктор, затоптал сапогами на месте, пока городовой заправлял ему портупею.

— Витя! — громко крикнула Груня.

— Что? Ни минуты, моментально надо, — уж повернувшись, говорил Виктор и шумно возился с замком, отворял двери. Он слышал, как сзади шлепала на бегу туфлями Груня.

Виктор чуть не бегом выскочил на улицу, заспешил ногами по тротуару. Городовой топал на полшага за плечом.

— Чего это у них спешка такая, — говорил, запыхавшись Виктор, — загорелось вдруг?

— Да пока все соберутся, поспеете, — городовой пошел рядом, — теперь пятый час, должно. К шести всех, не раньше, сберут.

— Стой! — вдруг крикнул Виктор и стал на месте. — Я ж портфель забыл — на столе. В кабинете у меня. — Виктор сделал шаг назад. — Нет, ты беги, нагонишь меня.

Городовой прихватил рукой шашку и тяжелой рысью побежал в темноту. Виктор шел спешной походкой. Улица была совсем темная. Белесым пятном маячила мостовая. И одни свои шаги слышал Виктор, и в такт позвякивала шашка.

«Теперь он там, — думал Виктор про городового, — наболтает еще, дурак. Сказать было, чтоб молчал, наглухо».

Виктор топнул ногой и стал. Слушал. Достал папиросу, шарил по карманам, не находил спичек и грыз и отрывал, выплевывал картонный мундштук папироски. Хлопнула вдали железная калитка, и зашагал, зашагал. «Не успел, не болтал», — думал Виктор.

— Ну, скорей! — крикнул Виктор в темноту; глухим камнем стукнул голос в улице. Шаги быстро затопали.

— Вот-с, — городовой подавал портфель, — и записочка от супруги. Велели вручить.

Бумажка белела в воздухе. Виктор схватил и сунул в карман шинели.

— Ты там ничего не говорил? — спросил Виктор через минуту.

— Никак нет. Чего же говорить? Нема чего говорить.

В участке желтым светом горели окна — одни во всей улице. Двое городовых ходили по панели, и слышно было, как хлопали двери вверху. Виктор остепенил походку и твердым шагом подымался на крыльцо.

На верху лестницы через двор Виктор услышал крик, обрывистый, ругательный. Виктор распахнул дверь. Пристав, прежний помощник, с черными крепкими усами, стоял среди дежурной, весь красный, а перед ним Воронин и еще какой-то новый надзиратель, в очках, замухрышка, и пристав пек их глазами.

— А по-вашему, по-дурацкому, — кричал пристав, — так значит и надо! Да? да? Я спрашиваю! — и пристав топнул но-

гой, будто гвоздь пяткой заколотил. — В шею всех тогда гнать! Всех нас к чертовой рваной бабушке. Войска! А вы кто? Бабы недомытые? Это что же, полиция, выходит, и караул кричать? — Пристав шагнул было прочь, но вдруг круто повернул назад: — Мне чтоб во! — хриплым шепотом говорил пристав. Он засучил кулак и по очереди подносил в самое лицо и Воронину, и плюгавому. — Во! Мне чтоб во как! — и красный пристав аккуратно подошел к Виктору и под самым носом с судорожной силой потряс кулаком. — Во мне как! Рви вашу тещу — бабушку. Свистоплюи! Всех на свалку! Подобрать мне слюни! — крикнул пристав. — И через пять минут чтоб готово. Марш!

Пристав повернулся и широко затопал в темную канцелярию, к себе в кабинет.

— Тьфу! — плюнул Воронин и выругался матерно.

Виктор осторожно подступил:

— А что такое?

— А идите все к чертям собачьим! Тьфу, якори ему в душу, в смерть, в гроб черта-матери... — и Воронин хлопнул за собой дверью. Плюгавый моргал под очками, шевелил губой с рыженьким волосом, он шагнул следом за Ворониным.

— Стойте, — шепотом сказал Виктор, взял его за рукав.

— Да я прикомандированный, — бабьим голосом говорил плюгавый. — Да вот не знаю, выступать, говорит, — и он обиженно кивнул на кабинет пристава, на свет за матовым стеклом. А оттуда вдруг послышалось, как вертят телефонную ручку, и плюгавый быстро распахнул дверь на лестницу.

Виктор шел за ним по лестнице и слышал на ходу:

— В депо вооружились... все с револьверами... солдат бы туда, а он — сами. Пальба там... косят, говорят, прямо.

Они уж входили во двор. В темном дворе глухо гудели люди. Слышно было, как Воронин кричал:

— С резерва всех, всех гони сюда, сукиного сына, гони! гони! всех!

Вавич протолкался через городовых, наглядел, где суетилась серая шинель Воронина, мутно летала среди черных городовых.

— Куда вести? — ловил он Воронина за рукав. — Давай, я построю.

Вдруг Воронин на миг остановился. Он в темноте приглядывался.

— А, ты! Да чего суешься, ты ж откомандирован. В Соборный же. — И Воронин махнул рукой, повернулся. — Выходи,

выходи, на мостовой рассчитаешься. Ну, ну, сукиного сына, а ну, жива! Глушков! Глушков! Где?

Плюгавый совался, не поспевал за Ворониным.

— Здесь я, здесь.

— Здесь, здесь, запел тоже рыбьим голосом, — ворчал Воронин.

На мостовой городовые молча строились в две шеренги, и рогатый штык берданки шатался возле каждой головы. С крыльца сбежали еще двое квартальных. Воронин шлепал вдоль черного фронта — глухим голосом считал ряды. Старший городовой черной горой шатался сзади.

Виктор стоял на тротуаре. Он в досаде сверлил панель каблуком. «Эх, мне бы» — и хотелось крикнуть — он даже откашлялся — «по порядку номеров рассчитайсь!.. на первый и второй рассчитайсь!»

Воронин вышел из-за фронта, он шел к крыльцу и стал, повернулся, поглядел на Вавича. Вдруг быстрым шагом подошел вплотную.

— Иди, дурак, домой, иди скорей, сукиного сына, сейчас пристав придет, — зашептал Воронин. — Иди, тут такое будет... и черт его знает.

И Воронин махнул рукой и быстрым шагом зашлепал к крыльцу.

Городовые стояли недвижно, и шепота не слышно было.

Как черный забор стояли черные спины. И стало слышно, как треск лучины: где-то загоралась и затухала стрельба. Среди темной тишины.

Виктор повел плечами. Наверху хлопнули двери, и шевельнулись черные спины. Громко было слышно, как спускались по лестнице.

«Сейчас, сейчас», — подумал Виктор и задышал часто. Шаги стали. Виктор не оборачивался. Прошла секунда.

— А это что за франт? — крепко ударил в воздух голос пристава. — Марш в строй, нечего торчать!

Виктор скачком шагнул с тротуара.

— Смирна! — скомандовал пристав. Городовые замерли, придавились друг к другу.

И тонко-тонко звенел вверху в участке в открытую форточку телефонный звонок. Прерывисто, тревожно, требовательно. Все слушали.

— Ряды! — произнес пристав.

И вдруг затопали сверху сапоги, не бежали, враскат катились вниз, и вот городовой размахом летел с крыльца.

— Что случилось? — крикнул пристав.

— Господин полицмейстер к телефону, чтоб немедленно, — запыхавшись, крикнул городовой.

Пристав злой походкой заспешил в участок. Люди зашевелились, легкий гул пошел над головами. Воронин подошел к крыльцу, стал боком, поднял ухо. Махнул серым рукавом на людей. Стало тихо.

— Слушаю. Виноват, как говорите? Только резерв? — слышно было в форточку.

Люди зашептали, загомонили глухим гамом, и только выкрики без слов долетали из форточки.

Воронин махал рукой, чтоб молчали, чтоб дослушать, но ровным гулом стоял говор.

— Смирно! — крикнул Воронин. Гул оборвался. Но сверху не слышно было слов. Воронин ждал. Люди замолкли. Опять стало слышно, как потрескивала стрельба вдалеке и где-то совсем близко прокатился воем по улице ружейный выстрел. Старший городовой подходил осторожными шагами, как по болоту, он стал в трех шагах, глядел на Воронина, на завернутое к форточке ухо. Прошло минут пять. Воронин не шевелился.

И вдруг:

— Разойдись!! — будто ахнуло что сверху и разбилось вдребезги. Люди не двинулись, замерли. Минуту молчали.

— Ну пошли! — глухо сказал Воронин. Он быстро затопал к крыльцу, приподнял спереди шинель, шагал через две ступени. Вавич спешил следом. Воронин толкнул дверь и тем же ходом зашагал к светлому матовому стеклу, к приставской двери. Он схватился за ручку и на ходу буркнул: — Разрешите?

— К чертям! — как выстрелил пристав. Воронин отдернул руку, как от горячего.

— Что за е... ерунда, — шептал Воронин и в полутьме глядел на Вавича.

Иди

САНЬКА запыхался, расстегнул шинель для ходу — вон оно, крылечко, столовка. Нет, кажется, нет городовых. Никто не идет в столовку — опоздал, или закрыта. Санька вбежал на крылечко,

еще ступеньки, еще дверь. Не поддается. Нет, вот туго пошла. Приоткрылась. Глядит в щель в папахе. Впустил. Битком. И вон по колено над всеми, оперся локтем в колонну, подпер рукой голову, в очках — Батин, наверно. Батин, насупясь, строго глядел очками — темными, может, нарочно. И волосы прямые косо висят на лбу. Вот, не спеша, говорит учительным усталым баском:

— ...завтра, может быть, товарищи, меня уж не будет меж вами, — провел по лбу, откачнул волосы и строгими очками поводил кругом, — но я прямо вам говорю, что вовсе не близок победы час, и не голыми руками берут победу. Нет победы без жертв. И боя нет без крови. Заря взошла — в крови горизонт. Самодержавие не сдается даром.

Батин встряхнул вбок нависшую желтую прядь.

— Нет, товарищи! Бастовать сложа руки и отсиживаться по домам, когда там, — Батин вытянул руку над людьми и острой ладонью потряс вперед, — там люди, которым нечего терять, кроме жизни, люди эти вышли против штыков, вышли на смерть, на погибель, вышли умереть за лучшую долю...

Батин секунду молчал.

— ...они погибнут, и мы ответственны за их гибель и смерть.

И напряженный вздох прошумел над головами и летел к Батину.

— Но уж колеблются штыки...

И холодом, стальным вороненым холодом пало слово на все головы. Батин откашлялся. И пристальными зрачками глядела на него тысяча глаз.

— Товарищи, — вдруг новым голосом сказал громко Батин, — мы вышли на революционную дорогу и отдали руку, — Батин вскинул руку, — рабочему классу!

И снова опустил брови, и одни очки блестели из лица.

— И завтра же нам придется быть в бою... ни на шаг позади, — совсем глухо сказал Батин.

Он замолчал и медленно обводил взглядом лица.

— Прощайте, товарищи, — еле слышно сказал Батин, он слез вниз, и голова его потонула в толпе. Все молчали, и тогда стало слышно возню у дверей. И вдруг загудели, заплескали голоса. Все глядели на двери, как они распахнулись, — вошло несколько человек студентов. Санька стоял на подоконнике, он глядел туда, где стоял Батин, тряс головой.

— Героем каким, — шептал Санька. — А, может быть, настоящий. — И зависть горячей кровью бросилась в грудь, в лицо. — Сделать такое что-нибудь, чтоб прямо... и язык потом ему пока-

зать. Нет! А просто не посмотреть. — Санька слезал с подоконника, среди гула голосов кто-то выкрикивал резким голосом:

— ...освобождения арестованных...

— ...до Учредительного...

Санька пробивался к двери.

Санька сбежал с крыльца, глядел под ноги, круто повернул влево и быстрым шагом заспешил прочь.

«И тужурка у него, — думал Санька, — поверх русской рубахи, волосы, очки... рисуют таких. "Ничем не жертвуете!" Наверно, чем-нибудь пожертвовал и теперь уж назидательно». — Санька греб ногами землю все жарче и жарче. — «Кого арестовали, сидят теперь героями; потом выйдут и будут по домам ходить и все с почтением. Ах, подумаешь, какой! К нам — "ах" — пришел. А он этак недоговаривает, чтоб подумали. А его в куче забрали, на углу стоял». Санька шел все дальше, куда несли ноги. И все резкий, крепкий тенор этот стоял в ушах: «бастуем до Учредительного»... — и это уж затвердил как дьячок... Санька вдруг круто повернул назад. Он почти бежал назад к столовке. Студенты сплошной струей валили с крылечка. Санька, красный, голова потная и зубы сдавлены, пробивался сбоку перил против густого хода. Еле вломился в дверь, вскочил на стул, губы дрожали чуть — черт с ними, с губами. Санька злыми глазами, запыхавшись, обвел кругом — все глянули, и видно, как тревога ударила во все лица.

— Товарищи! — крикнул Санька. Все стихли, ход в дверях застыл. — Вот вы... мы то есть, все, — выкрикивал Санька со всего голоса и видел, как все потянули головы к нему, на спешную, на орущую ноту, — все ведь подымали руки — бастовать до Учредительного собрания? Да?

Санька глядел на всех и на миг было совсем намертво тихо.

— Так почему же бумаги ваши в университете? Чего ж бумаги не взять всем! из канцелярии! Документы!

Заворошились голоса.

— А чего? — кричал Санька с силой, с злобой. — Ведь коли всерьез, а не для слов, для красных, так чего там! Коли до Учредительного собрания, так ведь оно всех обратно примет! В первую голову!

А гул уж громко пошел волнами, выше, и Санька спешил докричать:

— А если не берете бумаг, так значит ерунда одна! Хвастовство! — Санька уж рвал голос и знал, что не перекричать тол-

пы — «лазейку! да! трусы! хвастуны! тьфу!» — Санька плюнул на этом себе под ноги и соскочил на пол, его вжала в себя струя, что уж снова прожималась в двери. Санька ни на кого не глядел и знал, что сейчас такая у него рожа, что всем видно. И черт с вами, глядите — до самого Учредительного собрания. Санька вырвался из толпы, перешел сразу на другую сторону и не знал даже, шел ли он, будто без ног двигался, свернул в улицу, студентов попадалось меньше, Санька обгонял их. Городовой, отворотясь, смотрел вбок. Вон квартальный в воротах, в глубине, не высовывается, глядит, поднял брови. Санька уж шел по Дворянской. Он сбавил ходу, застегнул шинель, хоть был весь мокрый. Наладил дыхание. Он видел, что идет к Танечкиному дому, прогнал себя мимо — «Что это вдруг с бою, подумаешь» — он уже дошел почти до угла и вдруг повернул и спешным ходом пошел прямо к Таниной парадной.

— Чего лезу, спрашивается? — шепотом, задыхаясь, говорил Санька и шагал через две ступеньки. Около двери он стал. Старался надышаться. — Постою и назад! — Санька нахмурился, смотрел в порог. И вдруг легкий шум за дверью, клякнул замок, и тотчас распахнулась дверь, и Анна Григорьевна чуть ткнулась в Саньку. Она быстро шептала — назад, а сзади над ней Танины глаза, и ровно, не мигая, во весь взгляд глядит Таня, как будто знала, что он тут стоит. И лицо серьезное какое, твердое.

Анна Григорьевна повернулась.

— Ах, ты это! Как это? Да, да! Знаешь что...

Санька закивал головой, понял — случилось и с Надей. Танечка не выходила из дверей, чуть нахмурилась. Санька оттолкнул мать, он не успел покраснеть, а Таня держала в передней его за лацкан шинели, глядела в самые глаза и говорила тихо и раздельно, как человеку спросонья:

— Надю арестовали. Ничего не известно. Найди Филиппа и узнай все. Иди! — и она повернула его за лацкан к двери.

Санька прошагнул мимо матери, и ноги покатили вниз по ступенькам. Не оглянулся, знал, что смотрят в спину. И в груди высоко встал воздух, и только на улице выдохнул его Санька. Ручка осталась Танечкина на лацкане, как держала она, как зажала в кулачок. И Санька не трогал лацкан, не застегивал шинели, украдкой нагибал голову и глядел. Настоящая — без перчатки еще. Санька нес ее и обходил прохожих, чтоб не задели за то место, не обтерли, не дернули. Санька шел прямо на Слободку. Он не видел лиц прохожих, они черными теня-

ми мелькали мимо, как живые деревья в лесу, а он шел тропкой, и вилась тропка, что меж деревьев, чтоб не толкаться. И воздух, сырой и свежий, шел в лицо, шел сам, как будто первый раз заработал внимательно, ласково воздух. Вот уже деревянные мостки стучат под ногами. Санька легко спрыгивал, давал дорогу встречным. Вон церковь стоит, присела в голых тополях и длинной колокольней высматривает из веток. Какой-то человек и хмуро и пристально глядит на Саньку вон у ограды, и Санька почувствовал, будто щипнул его человек глазами, а человек уж отвернулся и полез в карман, вытянул табачницу, тихонько зашагал. Санька все смотрел на его сутулую спину и уж шел посреди мостовой через площадь, а человек скручивал на ходу папироску, медленно шагал у ограды. Санька был уже в трех шагах, человек стал, оглянулся злым, опасливым взглядом.

«Надо что-нибудь...» — и Санька быстро полез в карман брюк. Он увидал, что на мостках кое-кто стал, глядят, а человек вобрал голову в плечи, откинулся чуть назад и взглядом уперся в Саньку и чуть выставил папироску вперед. Санька вытянул из кармана портсигар, и прохожие на мостках двинулись дальше.

— Позвольте прикурить, — Санька достал папиросу. Человек не сводил глаз с Саньки, доставал спички. Лицо готовым кулаком глядело на Саньку. Он ничего не говорил и торкал спички, как отталкивая Саньку. Санька чиркнул и с папиросой в зубах через затяжки бурчал: — Шел бы домой... торчишь... как шиш... на юру... все видят. Бери спички-то, — сказал Санька громко. — Работник!

Человек молчал и короткими пальцами ловил спички, глядел куда-то Саньке через плечо. Санька оглянулся. Человек пять парней кучкой стояли сзади. Человек двинулся.

— Стой! — крикнул парнишка. — А нам закурить! Я думал, что-сь будет, — сказал он Саньке и мотнул подбородком. — Что же ты текаешь? — крикнул он человеку вдогонку.

Городовой медленно шел к ним через площадь. Парнишки пошли вбок к мосткам. Санька двинул дальше — куда же я иду? Он слышал, что городовой зашагал крепче, шире. Над головой вдруг ударил колокол, раз и еще и еще. Санька свернул в ворота ограды и быстро прошел в церковную дверь. В церкви было пусто, две нищих старухи крестились у стенки да два белых платочка. И вот один у клироса, справа. Санька сразу уз-

нал сутулую спину. Староста глядел из-за свечного прилавка. Санька крестился и серьезно глядел в иконостас. Перестали звонить. Пономарь вошел, шептался со старостой. Санька перекрестился широко три раза и тихо вышел на паперть. И вот слева дверка, должно, на колокольню. Санька оглянулся и тихонько вошел. Каменная лестница, Санька поднялся до поворота. Глядел вниз, притаившись. Он поднял руку, взялся за борт шинели.

— Да чего ж я дремлю-то! — и Санька топнул о каменную ступеньку, и гулко побежал звук по узкой лесенке, и дернулись ноги, Санька сбежал и вышел вон без оглядки прямо из ограды. — К чертям, — говорил громко Санька, — ко всем чертям!

Он вышел на площадь, городового не было. Санька свернул в улицу и, не глядя, осторожно пошарил лацкан — провел два раза: иду, иду!

Санька, не стуча, дернул дверь к Карнауху, он еще в коридоре слышал жаркий разговор. Санька распахнул дверь. Карнаух, еще двое — все дернули головами, все замолчали, глядели на Саньку.

— Черт тебя! Аж напугал, — и Карнаух улыбнулся на миг, будто светом ударило, и вдруг насупился раздраженно: — Да на чертовой матери ты в этой амуниции, сменки нема штатской, и сам ты и на нас наведешь.

— Я сейчас вон, — сказал Санька, — скажу, искал... слесаря, машинку швейную, навру! Ерунда! Говори, где Филипп, не знаешь? — Санька держался за ручку двери, стоял боком.

— Васильев? — и Карнаух прищурился. — А что? Нема? Забрали тоже? — он уж говорил полушепотом, подошел близко к Саньке. Двое других убрали лица в себя и исподнизу глядели на Саньку.

— Да нет, не знаю, — быстро говорил Санька. — Сестру мою забрали и неизвестно где. Филипп должен знать, Филиппа надо.

— Теперь вам, товарищ, — сказал солидно, назидательно мастеровой со стула, — никто не укажет, где находится вот... кого вы ищете.

— Ты иди, иди сейчас, — шептал в самое ухо Карнаух, — иди, жди где-нибудь... ну, у церкву иди, там на час еще дела хватит, жди мене. Я, черт с ним, смотаюсь. Иди веселей отседа.

— Там... — начал Санька, но Карнаух уж кивал головой и моргал нахмуренными глазами, махал спешно рукой.

— Иди, иди моментом!

Санька быстро вышел, спешно отшагал от крыльца, оглянулся. Улица была пуста. Баба с ведрами осторожно переходила через грязь.

— Ах, ерунда какая! Ерунда! — шептал Санька. — Был же там. Опять: и шпик там. Сам же, выходит, и загнал. Городовой...

«Вот чепуха какая! И чего я бегу?» — Санька сбавил ходу и неторопливо перешел площадь.

Какой-то старик шел по паперти, шаркая гулко сапогами, навстречу Саньке. Приостановился, мял ртом, шевелил бородой. Санька стоял и крестился истово в икону над дверью. Дошаркал старик и вот слышно стукнул со ступеньки. «Да шлепай ты скорей!» — Санька быстро повернулся, краем глаза видел, как старик брал вторую ступеньку, ловил ногой землю. Санька мигом вскочил в дверку направо и ветром пролетел наверх, на поворот, замер. И вдруг снова назад те же сапоги, скребут по каменным плиткам. Откупорил дверь, притворил за собой.

«Пошел глядеть, куда я делся! — думал Санька. — Ах черт какой! все в кучу сбилось».

Карнауха рано было ждать, но Санька все равно глядел на кусок пола, что виден был сверху. Прошло минут пять, и снова дверь и сапоги. Санька легко побежал вверх по темной лесенке, и вот свет, вот выход — какой огромный колокол, живым куполом висит в воздухе, будто смотрит изнутри тяжелым языком. А вон деревянная лесенка вверх и там пролаз. Санька мигом вбежал по лесенке мимо колокола. Какие-то веревки шли из потолка. Санька вышел в пролаз. Маленькие колокола висели на балке над каменной балюстрадой в окне. Голуби с шумом сорвались, и стало тихо. Санька слушал — никто не шел. Верхушки тополей тихо качались вровень окнам, веяло ровным ветром, и Саньке стало казаться, что тихо летит колокольня в воздухе, и он с ней, и вперед глядят колокола, рассекают воздух. Вон впереди далеко соборная колокольня и серебряный купол собора, и прямо к ней летит Санька с колоколами, ровным полетом. Санька присел за каменными перилами, глянул в пролет: ограда, близкая, скамейки в ограде — и сразу стал полет, и камнем уперлась на месте колокольня. Вон к воротам по дорожке везет ноги тот старик.

«Оглянется!» — Санька отсунулся от перил. Пристально глядел на площадь, чтоб не пропустить Карнауха.

Следил издали каждого человека. Все шли спешно, все шли мимо. Далекая улица загибается вниз, и видно вон, как во дво-

ре вешает женщина белье на веревку: скучными обвислыми платочками протянулось белье.

— Пшол! Пшол! Анафема! — Санька глянул вниз. Старик сидел на скамье, внизу в ограде, махал рукой на собаку. Санька видел сквозь ветки, как он нагнулся и кинул камнем и визгнула собака, и вон другой человек стал и кричит:

— Век прожил, ума не нажил. Что она тебе сделала? Бога она твоего съест? Да?

Санька узнал голос — Карнаух, Митька Карнаух — и опрометью бросился вниз. Карнаух уж схватился за ручку, за двери. Санька громко дохнул:

— Митька!

Карнаух обернулся.

— Идем.

Старик стоял у скамьи и едким глазом провожал Карнауха с Санькой.

— Рондовая! — сипло сказал старик, когда они огибали ограду, оборачивал голову следом и кивал.

— Идем скорей, — дергал Санька.

Карнаух вдруг круто повернул назад, прошел около ограды и просунул голову в решетку против старика:

— Сиди, твою тещу в гроб, пока целый, паскуда. Сиди! — и Карнаух дернулся к воротам.

Старик сел, как упал.

— А туда его в смерть, в закон, — говорил Карнаух Саньке. — «Золотой якорь» — знаешь? Трактир? Пошли в проулок, гайда! Ни черта не арестовали Надьку вашую, это она у Фильки ночевала, я сейчас слетал до него. Как? После того, говоришь? А после не знаю. Фильки нема там, дома то есть. А тут арестованных, аж совать нема кудой, — Карнаух говорил наспех и шел все быстрей, быстрей. — Тут такая этую ночь жара была коло депа, будь здоровый. Одиннадцать человек, — Карнаух стал вдруг, — одиннадцать человек убитых. Насмерть! Ну и им, сукам, тоже попало, попало, распеперви их через семь гробов в кровь доски матери, — и Карнаух тряс у пояса кулаком, судорожно тряс, весь красный и так яро глядел на Саньку, как два ножа всадил в брови. — Митинг охватили, ночью в депе, а оттеда хлопцы как двинут со шпаеров, так пока те стрелять — уж прорвали облаву ихнюю и назад хода! А тут стрельба, а им сдачи: на! на! — и Карнаух постукивал в воздухе кулаком. — Одного вашего студента тоже подранили, не слыхал?

Санька помотал головой.

— Чернявый такой, — хмурился Карнаух Саньке в глаза, — видный такой из себя, с кавказских? Фартовый парень! Не знаешь? Ну, может... Сестру ищешь? — сказал Карнаух и глядел вбок, в забор. — Ничего не можем сказать. — Он вздернул плечи. — Здесь нема. Ну, ищи! — вдруг громко сказал Карнаух и мотнул головой. Он повернулся и пошел назад, к площади. Он прошел пять шагов, стал, обернулся. — А Алешка — того: сел. В ломбарде. Если накопают дело, так... — и Карнаух чиркнул пальцем по горлу.

Он, насупясь, глядел секунду на Саньку.

— Ну, вали! — и он быстро зашагал прочь.

Режь

ВИКТОР следом за Ворониным вернулся в дежурную. Глушков и еще два надзирателя бросили шептаться, глядели на Воронина. Воронин ни на кого не глядел, прошел за стол, сел, навалился совсем в самую чернильницу козырьком, засунул в рот папиросу, перекатывал в губах и молчал. Виктор осторожно присел на подоконник. Слышно было, как вздохнул городовой у двери. Виктор украдкой наводил взгляд на Воронина. Воронин сидел, не шевелился, и папироска без огня торчала из угла рта. Вдруг все встрепенулись, дернулись: звонил телефон у пристава.

— Слушаю, Московский. Ничего! Так точно, ничего, — злым напруженным голосом сказал пристав, и слышно было — кинул трубку на крючок.

— Непонятно, — шепнул Глушков, обвел других глазами. Поглядел на Воронина.

Воронин по-прежнему глядел, насупясь, в стол.

— А я вот слышал, господа, — говорил тихонько Глушков и повернул головку к Вавичу.

Вавич небрежно бросил взглядом и снова в окошко.

— Тут прибежал один исправник из -ского уезда, прямо в свитке в мужицкой, — совсем шепотом сказал Глушков, — в шапке бараньей, такое, говорит, у них...

— Стой! — вдруг крикнул Воронин. — Герасименко, сходи, проверь у ворот и туда... на углу.

Городовой вышел.

— При ком говоришь! — повернулся Воронин к Глушкову, и Вавич увидел, что уж не мятой подушкой глядит лицо у Воронина, а булыжниками пошло, и глаза прицелились из-за серых скул. — Балда! — крикнул Воронин. Глушков вытянул всю шею из воротника, повернул голову, и вздрагивала фуражка. — С исправником с твоим, с дураком. Страхи распускать!

— Он... ей-богу... — запинался Глушков, — ей-богу, удрал. Верно: дурак.

— И кто болтает, тоже! — притопнул ногой Воронин.

— Ну, когда, — говорил Глушков и поворачивался ко всем, — когда... прямо весь народ перебунтовался, жгут и бьют. Все стражники эти... уездные... Одним словом, урядники, кто куда. А те в дреколья. И на город, говорят, пойдем. И прут, говорит, прут, прямо...

Воронин вскочил со стула и хлопнул с размаху Глушкова по лицу. Глушков повалился вместе со стулом, уцепился за барьер.

— Вон! — крикнул Воронин. — Вон, сволочь! Свистун! Паршивец!

Глушков быстро прошел в дверь.

Воронин стоял, дышал на всю дежурную, ворочал глазами по лицам. Вавич стоял, сдвинул брови — строго, серьезно глядел в лицо Воронину.

— К чертовой суке-бабушке! — Воронин всем духом плюнул перед собою и вышел в двери. Дверь с размаху хлопнула как выстрел и дрожала, тряслась.

Виктор прошел мимо барьера. Надзиратели провожали его глазами. Все молчали. Виктор ходил из канцелярии в дежурную и назад, заложил за борт руку. Часы в канцелярии пробили пять. Вернулся городовой, стал у дверей.

— Ну что? — спросил тихо Виктор.

— По местам усе... И стрельба на манер больше от Слободки... Редкая совсем.

— Редкая? — и Виктор сделал деловое лицо и дернул дверь.

— А дежурный кто же? — в голос спросили оба надзирателя.

— Я ведь уж не здешний, — сказал Виктор спокойной нотой. — Я ведь, собственно, в Соборном. — Он еще глядел, как подняли они брови, вскинули головами, и повернулся в дверь.

Виктор вышел на крыльцо, постоял — оправлял портупею и не спеша спустился со ступенек. Размеренным шагом пошел по панели в тень улицы. Отошел квартал. «В Соборный, что

ли? Сеньковского вызвать?» — помотал головой и быстро зашагал по пустой улице. Стекла мутно отсвечивали в домах и будто тайком провожали глазами Виктора.

— Наплевать! Наплевать! — шептал Виктор. Он завернул за угол, вот сейчас маленькое крылечко — номера. Виктор дробно тыкал в кнопку, в звонок. И сейчас же замелькал, зашмыгал свет стеклом двери. Заспанная рожа секунду присматривалась, и заторопился, завертелся ключ. «Пожалуйте-с!» — и глядит испуганно, ждет. Виктор выдержал секунду, обмерил взглядом.

— Швейцар?

— Так точно! — и лампа подрагивает в руке.

— Без прописки не пускаешь? Смотри! Да, «никак нет», а потом... А ну, давай номер! Без клопов мне, гляди.

Швейцар, в пальто поверх белья, схватил с доски ключ.

— Пройдемте-с.

Две свечи разгорались на крашеном трюмо. Швейцар побежал за бельем. Виктор глянул на себя в зеркало — бочком поглядел. «Недаром струсил — есть что-то», — и еще нажал глазом искоса. Подошел ближе. Попробовал рукой подбородок. Швейцар заправлял подушку в свежую наволочку.

— Разбудишь завтра в девять. Цирюльник когда открывает? В десятом? Ну, проваливай.

— Барышню не прислать? — шепотом спросил швейцар.

— С барышнями тут, дурак! Проваливай, марш!

Виктор стал раздеваться. Полез в шинель: в кармане браунинг, положить под подушку — черт ведь их знает! — и вдруг бумажка: «Ах да! Грунина».

Виктор, нахмуренный, с приоткрытым ртом подошел к свече.

«Витенька, страх боюсь, пришли весточку с городовым». Карандашом синим, наспех. Виктор скомкал в шарик бумажку, швырнул в сухую чернильницу на столе. Завернулся в одеяло, с силой дунул в свечку. Через минуту встал, нашарил спички, — и пока разгоралась свеча, подбежал к столу, достал из чернильницы комочек и босиком прошлепал к вешалке — сунул в шинель.

«И тревожить не к чему — спит уж, поди. Какие тут весточки? Шестой час! А в двенадцать быть — это все равно как приказ».

Виктор повернулся на бок, натянул на голову одеяло. «Зубки! Мало что зубки, а, может быть, просто дело. Насчет Собор-

ного и еще там черт знает чего... тайного даже...» — Виктор нахмурил брови и зажал глаза.

Вавич вышел из парикмахерской, и сырой ветер холодил свежевыбритый подбородок, повернул на ходу поясницей, ладно в талии облегал казакин. Как в дорогом футляре нес себя Виктор. Ботфорты — уж перестарался швейцар — вспыхивают на шагу. Отсыреют дорогой. «Ведь пошлет еще, того гляди, Фроську в участок справляться. Оттуда в Соборный еще эту дуру погонят. Послать, может быть!» Виктор поддал ходу — на углу против собора всегда толкутся посыльные, застать бы хоть одного дурака. Виктор зашел в ворота, быстро достал из портфеля клок бумаги.

«Жив и здоров, — писал Виктор, — жди»... Надо «Грунечка» и никак... и крупными буквами медленно вывел «Грунечка»... «к четырем».

Сложил аптекарским порошком и написал адрес. Вон торчит красная шапка. Виктор чуть бегом не побежал, чтоб не перехватил кто.

— Мигом, ответа не надо. Подал и вон, без разговорчиков. Получай! — Виктор сунул письмо и двугривенный.

К дому полицмейстера Виктор подходил с деловым, почтительным лицом. Он еще раз обдернул шинель перед дверью и нажал коротко звонок: ровно двенадцать.

Он услыхал, как легко подбежали каблучки, дверь распахнулась, сама Варвара Андреевна раскрыла дверь, в легком желто-розовом шелке, коричневый пояс на узкой талии и широкие концы еще качались с разлету.

Виктор сдвинул каблуки и козырнул, наклонившись.

Варвара Андреевна держалась за раскрытую дверь, улыбалась с лукавой радостью. Виктор краснел.

— Ну! — тряхнула головой Варвара Андреевна. — Скорей!

Виктор перешагнул порог. Она тянула его кушак.

— Сюда, сюда! Ноги вот тут покрепче, без калош ведь, франт какой.

Виктор тер ноги, краснел, улыбался. Варвара Андреевна отстранилась и сбоку яркими глазами смотрела. И вдруг на миг, как молния, оскалились зубки, она прянула к Виктору, поцеловала в губы, как грызнула на ходу, и отскочила к портьере.

— Нет, нет, не снимай здесь шинель, — шептала весело Варвара Андреевна, — идем ко мне, ко мне. — Она взяла Виктора

за руку и пошла на цыпочках впереди, высоко поднимала на ходу ноги, как дети подкрадываются, и легкий широкий шелк веял около ног и волновал складками, чуть шуршал, и чуть пахли духи. Было тихо кругом, и ковер внизу заплел все узором, и Виктор смотрел, как впереди узкая туфелька на остром каблучке ступала в один узор, в другой, и воздух шел тонкий, как ветер из неведомой страны — от духов. А она, как девочка — за ручку и ножками как! Они прошли в столовую. Варвара Андреевна остановилась на миг, огляделась, как будто кралась в чужой дом, улыбнулась воровски Виктору и тихонько ступила на глянцевый паркет, и тонкие ножки стульев длинно отражались в полу. Стулья стояли по стенам и, будто отвернув лицо, не глядели.

Она вдруг быстро засеменила ножками в полутемный коридор и в раскрытую дверку, направо, круто свернула Виктора. И в большом зеркальном шкафу увидал Виктор ее и у ней за плечом, над желтым шелковым плечом, свое лицо и полицейскую фуражку — и удивился фуражке, как будто не знал, что она на его голове. Совсем другая, думал, его голова. Варвара Андреевна секунду стояла перед зеркалом, глядела радостно на себя. Потом быстро обернулась:

— Запирай двери! На ключ. Ключ сюда дай! — она засунула ключ куда-то в платье.

Вавич стоял и обводил глазами розовую в цветах мебель и китайскую ширму с птицами.

Варвара Андреевна села с размаху на диванчик, и вздулся на платье легкий шелк, и чуть, на миг один, Виктор увидал длинные желто-розовые чулки и пряжки на шелковой ленте.

— Ну, раздевайся, — смеялась Варвара Андреевна.

Виктор снял шашку, расстегивал шинель.

— Сюда, сюда, на крючок вешай. Шашка у тебя острая? Настоящая? Вынь! Ух, какая! Дай сюда. Вытри масло это.

Виктор вынул новенький носовой платок, обтер шашку. Шашка строго блестела, как полузакрытый настороженный глаз.

— Дай, дай! — Варвара Андреевна приоткрыла зубки, и глаза напряглись над шашкой. Она пробовала пальчиком лезвие, острие конца.

— Ух, какая... — жадно шептала Варвара Андреевна.

Виктор вешал шинель и видел, как она повернула шашку концом в грудь, в самый низ треугольного выреза, и тихонько давила. Она сидела прямо и скосилась широким глазом в зеркало. Потом она встала, подняла высоко руку, и Виктор видел

в зеркало, как она дышала и вздрагивала — и медленно засовывала шашку в декольте, за платье, пока эфес не остановился у выреза, медный, блестящий.

— Что вы делаете?..

Виктор подошел сзади, вплотную и чувствовал, как вздрагивало тело и скользило под шелком.

Варвара Андреевна вдруг резко повернулась к нему.

— Режь! Режь платье! — сквозь сжатые, сквозь оскаленные зубки приказала и откинула в стороны руки и кинула вверх головку. — Режжь! — и Варвара Андреевна затрясла головой.

Виктор взялся за эфес, и теплота груди влилась в руку.

— Поверни... к платью... так! Режь!

Виктор осторожно стал двигать шашкой, слышал, как лопался шелк, отлетали кнопки. Он не мог уж удержать руки, и зубы сжались, как у Вари, и Виктор дернул под конец шашку.

— Хах! — Варя запрокинула голову, закрыла глаза. Платье распалось.

Варвара Андреевна плескала себе в лицо над мраморным умывальником, стукала ножкой педаль.

— Фу! И чего я тебя так люблю, — говорила Варвара Андреевна сквозь всплески воды, — дурак ты мой! Ведь ты дурак, — и Варвара Андреевна засмеялась, глядела веселым, мокрым лицом на Виктора. — Поверь мне, честное слово — ду-рак. А прямо, — и она снова заплескалась, — прямо замечательный... Как ты к бомбе-то! ух! и пошел, и пошел! А бомба-то, знаешь, не настоящая. То есть ужасная, ужасная! — Варвара Андреевна встряхивала мокрыми руками. — В ней масса взрыву, только она не могла взорваться, офицеры сказали — можно гвозди заколачивать... А Грачек умный... Сеньковский глупее. То есть и так и сяк. А ты... Да! А третий вовсе был дурак! Ура!

— Грачек мерзавец, — сказал Виктор, насупился.

— А ты? — и Варя вытянула к нему головку, личико смешное в мыле.

Виктор краснел, в висках стучало, и смотрел вбок, на дверь.

Варвара Андреевна была уже в коричневом бархатном платье с высокой талией, с белыми кружевами и пахла свежим душистым мылом.

— А я сейчас кофе. Кофе! Ко-фе! Ко-ко-фе! — запела Варвара Андреевна, и Виктор слышал, как она отворяла ключом дверь.

Было начало четвертого, когда Виктор уж застегнул шинель, оправил на боку шашку.

— А эту конфету съешь дома, — и Варвара Андреевна схватила из вазочки леденец, совала поглубже в карман Виктору. — Ай, ай! А это что? Шарик, бумажка!

Виктор дернулся, криво улыбнулся. Варвара Андреевна отскочила, легко приплясывала и быстрыми пальчиками разворачивала бумажку.

— Мм! — замотала она головой. — От жены, от жены.

Виктор хотел схватить бумажку, но Варвара Андреевна прижала бумажку к груди и серьезно глядела на Виктора.

— Она в положении, должно быть? — вполголоса спросила Варвара Андреевна.

— Да. — Виктор нахмурился. — И вообще... дела.

— Какие дела? Не ерунди! — Варвара Андреевна уже строго глядела на Виктора. — Какие дела? Говори! Денег нет?

— Да вот, отец у нее. Старик...

— Ну? Конечно, старик. Что ты врешь-то?

— Выгнали, был тюремным, теперь так. Ну и... дела поэтому.

— Дурак! Ерунда, устроим. Это вздор. Иди домой. Или нет: сначала в Соборный. Представься.

Виктор стоял.

— Ну? Ах да! На, на! — и Варвара Андреевна протянула Виктору смятую, как тряпочку, бумажку.

Не выставлять!

— ЧТО ж это такое? Что же в самом деле? — говорил Виктор на улице. И отряхивал голову так, что ерзала фуражка. — Черт его знает, черт его один знает. Что же это вышло? — И Виктор вдруг встал у скамейки и сел. Быстро закурил, отвернулся от прохожих — нога на ногу — и тянул со всей силы из папиросы, скорей, скорей.

«Пойду к Грунечке, все скажу! Она тяжелая, нельзя, нельзя тревожить. И без того беспокойство. Господи! Потом скажу. Или понемногу».

— Ух! — сказал вслух Виктор и отдулся дымом. И вдруг увидал красный круг от укуса на правой руке. Виктор стал тереть левой ладонью, нажимал. Укус рдел. Виктор тер со страхом, с отчаянием, и легким дымом томление плыло к груди поверх

испуга. Виктор выхватил из кармана перчатку, и вывалилась наземь конфета, легла у ноги. Виктор видел ее краем глаза, а сам старательно и плотно натягивал белую замшевую перчатку. Огляделся воровато, поднял конфету. Сунул в карман. На соборе пробило четыре.

— Как бы сделать так, — говорил полушепотом Виктор и поворачивался на скамейке, — сделать, чтоб не было. Времени этого черт его... отгородить его — вот! вот! — и Виктор ребром ладони отсекал воздух — вот и вот! — а это долой! И ничего не было. — И вспомнил укус под перчаткой.

— Ты с кем это воюешь? — Виктор вскинулся. Он не видел прохожих, что мельтешили мимо. Сеньковский стоял перед скамьей, криво улыбался. Виктор глядел, сжал брови, приоткрыл рот. — Был? Или идешь? Идем. — Сеньковский мотнул головой вбок, туда, к Соборному.

Вавич встал. Пошел рядом.

— Ну как? — Сеньковский скосил глаза на Вавича и улыбался, прищурился. — Эх, дурак ты будешь, — и Сеньковский с силой обхватил и тряс Вавича за талию, — дурачина будешь, если не сработаешь себе... Только не прохвастай где-нибудь. Ух, беда! — И Сеньковский сморщился, всю физиономию стянул к носу и тряс, тряс головой мелкой судорогой. — Ух!

Вавич толкал на ходу прохожих и то поднимал, то хмурил брови. И только, когда Сеньковский толкнул стеклянные с медными прутиками двери, тогда только Вавич вдруг вспомнил о лице и сделал серьезный и почтительный вид, степенным шагом пошел по белым ступенькам.

— Да пошли, пошли! — бежал вперед Сеньковский.

— Да, да! — вдруг стал Вавич. — Послать, надо послать. Можно там кого-нибудь? — Он тяжело дышал и глядел осторожно на Сеньковского.

— Я говорю: идем! — Сеньковский дернул за рукав, и Виктор вдруг рванул руку назад, отдернул зло.

— Оставь! — и нахмурился, остервенело лицо. — И ладно! И черт со всем! — сказал Виктор, обогнал Сеньковского и первым вошел в дежурную. Барьер был лакированный, и два шикарных портрета царя и царицы так и ударили в глаза со стены. — Как мне пройти к господину приставу? — сказал Виктор громко надзирателю за барьером.

Надзиратель вскочил, подбежал.

— Господин Вавич? — И потом тихо прибавил: — Пристав занимается с арестованным. К помощнику пройдите.

Сеньковский здоровался с дежурным через барьер.

— С этим все, — шепотом говорил дежурный Сеньковскому, — с детиной с этим.

— Ну?

— Да молчит, — и тихонько на ухо зашептал, а Сеньковский перегнулся, повис на барьере.

— Только мычит, значит? А не знаешь, пробовал он это, свое-то?

— Вот тогда и замычал.

— Пойдем, пойдем, — оживился Сеньковский, — послушаем. Да не гляди, это парадная тут у нас. — Он тащил Виктора под руку, и Виктор шел по новым комнатам, потом по длинному коридору. — Тише! — и Сеньковский пошел на цыпочках.

У двери направо стоял городовой. Он стоял спиной и весь наклонился, прижался к дверям, ухом к створу. Он осторожно оглянулся на Сеньковского и бережно отшагнул от двери. Сеньковский вопросительно дернул вверх подбородком. Городовой расставил вилкой два пальца и приткнул к глазам. Сеньковский быстро закивал головой, он поманил Виктора пальцем, прижал ухо к двери. Он поднял брови и закусил язык меж зубами. Он подтягивал Вавича к дверям, показывал прижать ухо. Вавич присунулся. Он слышал сначала только сопение. И потом вдруг он услыхал звук и вздрогнул — сорвавшийся, сдавленный, с остервенелой, звериной струной: «Ммгы-ы-а!»

Сеньковский поднял палец.

— Скажешь, скажешь, — услыхал Виктор голос Грачека. — Я подожду. Я-то не устану. Ну а так?

И опять этот звук. Виктор отдернулся от дверей. Сеньковский резко вскинул палец и высунул больше язык. Виктор отшагнул от двери. Повертел головой. И осторожно отступил шаг по коридору. Он снял и стал оглаживать рукавом фуражку. Сеньковский быстро шагнул к нему на цыпочках.

— Дурак! Он же там глаза ему давит, — зашептал Сеньковский. — Не выдержит, увидишь, заорет быком! — и Сеньковский метнулся к двери. Место Виктора уж снова занял городовой.

Виктор тихонько шаг за шагом шел вдоль коридора с фуражкой в руке. Виктор завернул уж за угол и вдруг услыхал рев, будто рев не помещался в горле и рвал его в кровавые клочья, и Вик-

тора толкнуло в спину. Он быстро пошел прямо, прямо, и вот белая дверь с воздушным блоком, и все будто тянется еще звук и через дверь, и Виктор глубоко дышал — подходил к дежурной. Какая-то дама сидела на клеенчатом диване, плачет, что ли, и толкутся у барьера какие-то, и лысенький городовой с медалью на мундире, а сверху большие, в широком золоте, над всеми — государь в красном гусарском, со шнурками, милостиво улыбается, и в белом, как невеста, государыня. И ждут все так прилично. Один только ключиком по барьеру позволяет себе — все оглядывают Виктора, и Виктор скорей, все дальше, дальше, за народ, за барьер — и вон кучка — дежурный там и еще один здешний и еще в пальто, в чиновничьей фуражке. Оглянулся на Виктора, — да-да, из канцелярии губернатора, — и опять что-то шепчут. Не соваться же? А чиновник стукал пальцем по какой-то бумажке. И вдруг дежурный поймал глазами Викторов взгляд и пригласительно мотнул головой. Виктор шаркнул, чиновник мотнул головой и все пальцем по бумажке:

— ...факт, факт! И до завтра ни гу-гу, — он оглянулся на публику за барьером. — Вот посмотрим, посмотрим, — он улыбался, щурился. И все держал палец на бумажке. На нее кивал Виктору дежурный, и Виктор не мог прочесть из-за пальца... «в форменном платье на улицах... и не выставлять наружных постов до... участковым... ко мне для распоряжений...»

— Прочел? — громко спросил дежурный.

— Пожалуйста! — чиновник обернулся, подал бумажку Вавичу.

На бумажке в разрядку было напечатано на машинке:

«Завтра, 18 октября, с утра в форменном платье не появляться и не выставлять наружных постов до моего распоряжения. Нижних чинов полиции держать в помещении участков. Всем участковым приставам явиться ко мне сегодня к 11 ч. ночи для распоряжений. Всех арестованных и задержанных при полицейских участках освободить в три часа ночи». И подписано полицмейстером.

Вавич еще раз прочел, каждое слово прочел, потом прошептал вслух еще раз:

— И... блатных?

— Тс! — чиновник приставил палец к носу. — Не поняли? — и вдруг резво наклонился к уху, загородил ручкой: — Швобода! — подмигнул всем и засеменил к выходу.

Дежурный подбежал к барьеру.

— Простите, господа! Да я ж вам объяснял: ночные пропуска ни врачам, ни кому другому — не мы, не мы! Выдается комендантом города... Успокоится брожение — пожалуйста...

Виктор остался с незнакомым надзирателем — солдатское лицо и в оспе весь, и глазки, как два таракана, шмыгали в щелках глаз.

— Что это? — Виктор осторожно приподнял бумажку.

Надзиратель дернул плечом, стоял боком, глядел в пол.

— Ну да, не знаете будто. Вы-то.

— А что он тут говорил? — Виктор кивнул на двери, куда вышел чиновник.

Надзиратель скосил глазки на Виктора.

— А говорил: молчать надо, — ровным голосом, глухим, сказал в пол надзиратель и опять глянул на Виктора.

Виктор пошел в дежурную.

— Кого, кого? — пригнул ухо дежурный. — Нет, помощник пристава уехал, опоздали... Завтра? Какое там завтра? — Оттопырил нижнюю губу, поднял брови. — Виноват! — обратился он к публике.

Виктор вышел за барьер.

— А то пройдите направо, — кричал вдогонку дежурный и отмахивал вправо рукой, где была низкая дверь, — там, может, спросите.

Виктор открыл дверь. Маленькая комнатушка без мебели, с затоптанным полом и дверь напротив с пружинным блоком. Отдернулась с визгом, и Виктор очутился на каменной лестнице с железными жидкими перилами и сразу услыхал снизу ругань и знакомое пыхтение. Виктор глянул через перила — два городовых пихали вверх человека.

— Руки! Руки! Чего руки крутите, сволочи! Я ж иду, сам же иду, дьяволы-ы! — кричал человек.

Он рвался и мотал, отбивался головой без шапки. Городовые крутили руки и молча пихали вперед. Один взглянул наверх, увидал Вавича — красный, запыхавшийся, со злобой, с укоризной глянул. И Вавич вдруг сбежал вниз и что было силы вцепился в волоса, в лохмы в самые, ух, накрутил и потянул вверх, как мешок, и все сильней до скрипу сдавливал зубы и вертел в пальцах волосы. Вавич спиной открыл дверь, куда кивали городовые. Каменный коридор и лампочки сверху. Виктор пустил волосы. Человек все еще охал одной сумасшедшей нотой, и в ответ гомон, гам поднялся во всем коридоре, воем

завертелся весь коридор, и вот бить стали в двери, и тычут лица у решеток глазков. По коридору бежал городовой, махал ключами, не слышно было, что кричал. Он протолкался мимо Виктора, побежал к выходу. Виктор бросился за ним, но он уж топал вниз по лестнице. Он быстро шел через двор, махал пожарному, что стоял у открытых ворот сарая.

— Давай, давай! — кричал городовой. — Опять!

Виктор видел, как быстро стали раскатывать шланг, туда к лестнице, тащут на лестницу. Виктор, запыхавшись, глядел, его оттеснили пожарные, толкнули в бок — Виктор огляделся, нашел ворота. Городовой с винтовкой стоял у калитки, он отодвинул засов, выпустил Виктора.

Виктор видал, как на пролетке подкатил толстый помощник пристава, как на ходу соскочил у участка и бегом перебежал панель — шинель нараспашку.

Виктор шагал во весь дух. Не знал еще куда.

Звонок

— ДА, ДА, ДА! Был, — говорил Андрей Степанович. — Был и в тюрьме, был и у полицмейстера. — Андрей Степанович повернулся в углу и опять зашагал.

Анна Григорьевна сидела в кресле, глядела, подняв брови, в темные двери. Она раскачивалась, будто ныли зубы.

— И в двух участках был, — и Тиктин повернулся в другом углу.

Санька сидел на диване, локти на коленях, глядел в пол.

— Так надо же... — хрипло вышло у Анны Григорьевны.

Санька вскинулся глазами — опять заплачет?

— Надо! — отрезал Тиктин. — Никто и не спорит.

— Семен Петрович, — голос Анны Григорьевны стал тусклый, еле царапал воздух, — пошел, обещал. Я ведь понимаю, не под своим именем.

— Говорили уже двадцать раз, — и Санька ткнул в пепельницу потухшую папироску, встал. — Половина восьмого, черт его дери. Утра половина восьмого!

— Нет, я говорю, — вдруг живей заспешила Анна Григорьевна, — только у товарищей ее можно узнать, и я вспомнила один адрес, только при обыске, попался мне там — Кладбищенская и номер, и Семен Петрович пошел, и вот ничего, ничего, значит, не вышло.

— Какой Семен Петрович? — Санька топнул ногой. — Башкин? Мерзавец... Да как же ты смела? — Санька зло перевернулся на месте. — А черт этакий, идиотство это же...

— Ну а что же делать? — Анна Григорьевна вскочила с кресла, она сцепила руки, трясла их у подбородка. — Что делать? — она подступала к Саньке.

— Башкиным адреса говорить? — орал Санька, и губы заплетались от ярости. — Да? А ну вас к черту! — Санька вышел и ударил за собой дверью. Загудел рояль.

Анна Григорьевна смотрела в двери, держала еще сплетенные пальцы перед собою. Андрей Степанович секунду стоял и вдруг топнул резким шагом к двери.

— Андрей! — и Анна Григорьевна вцепилась ему в руку, повисла и покатилась на пол. Тиктин едва успел подхватить.

— Санька! — крикнул Андрей Степанович высокой нотой.

Санька распахнул двери.

— Бери! — скомандовал Санька. Он подымал мать под руки, мотал головой, чтоб отец подхватывал под колени.

Санька тревожными руками перебирал флаконы на туалете. Андрей Степанович подсовывал жене под ноги подушки.

— Голову... возможно ниже. Возможно ниже... — повторял Андрей Степанович, запыхавшись, — и приток свежего воздуха... свежего воздуха.

— Так и открой форточку! — сердито сказал Санька.

Андрей Степанович вдруг вскинул голову.

— Довел! — и крепким пальцем показал на Анну Григорьевну.

— Не ссорьтесь! — оба вздрогнули, глядели на старуху.

Андрей Степанович слышал, как прошлепала босиком прислуга, он сказал, чтоб моментально самовар — во всяком случае горячая вода понадобится — несомненно... Бутылки к ногам... Сама уже что-то шепчет Дуняше. Андрей Степанович ушел в кабинет скрутить папиросу. Он слышал — идет Санька. Вошел. Андрей Степанович не оглянулся, крутил у стола папиросу.

— Легче ей, — устало сказал Санька, — капли там ее нашли, она там с Дуняшей. Раздевается.

— Угым... — промычал Андрей Степанович. Он слышал, как Санька сел в кресло.

— Чего ты злишься-то?

— Хорош! — обрезал Андрей Степанович. В кабинете было полутемно, только свет из гостиной тупым квадратом стоял на столе.

— Да брось! Все равно идиотство. — Санька чиркнул, закурил.

Андрей Степанович нахмурился.

— Да, — говорил Санька, глядя перед собой, — идиотство от этого хваленого материнского самозабвения. Миллион народу арестовано. Надюшу нашу вдруг, пожар какой, скажите, чтоб уж ничего...

— Пошел вон! — приготовленным голосом раздельно, внятно сказал Тиктин.

— Замечательно... благодарю. — Санька вскочил, вышел.

Андрей Степанович прошел через свет и обратно к столу. Остановился, приподнял голову.

— Совершенно правильно, — и Андрей Степанович резко кивнул головой. — Да!

Андрей Степанович нашарил туфли, отдувался, расшнуровывал ботинки. Тихо, но плотно ступал по коридору, уж совсем был у дверей Анны Григорьевны — шепчут, и Санькин голос. Андрей Степанович повернул, плотной походкой пошел назад — глядел твердо перед собой. В окне серело, и Андрей Степанович потянул за шнурок шторы и вздрогнул, — как будто потянул за звонок, — в передней звонили. Андрей Степанович выпустил штору. Вышел в коридор. Дуня с кухонной лампой шла к дверям.

— Кто? — кричала Дуня и отворила. Андрей Степанович глядел, насторожась. Дуня хлопнула дверью.

— Что такое? — крикнул Андрей Степанович. Дуня молча шла к нему. Андрей Степанович ждал, нахмурясь, весь назад.

— Газетчик вроде, — и Дуня протягивала листок. Андрей Степанович весь подался вперед.

— Что? — шепотом говорил Андрей Степанович. Он осторожно взял листок и сбивчивыми ногами вошел в гостиную — к лампе, накинул пенсне. Он слышал, как шагал Санька, быстро, громко. Андрей Степанович взял лампу, прошел в кабинет, толкнул дверь.

Он оглядел листок. «Экстренный выпуск "Новостей"», «Высочайший манифест» — крупно стояли твердые буквы. Андрей Степанович часто дышал, а в голове, как страницы под пальцем, заспешили, замелькали мысли, задыхаясь, беспокойно. Глаза шарили по бумаге — ох, что-то! И все ничего не мог сразу нашарить Тиктин и метался глазом по бумаге.

— Фу! Взять себя в руки!

Тиктин медленно посадил себя в кресло, поправил пенсне, положил ногу на ногу. Он начал читать — не забегать! Не забегать вперед! — командовал себе Тиктин и читал:

БОЖІЕЮ МИЛОСТЬЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій
и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ Имперіи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняютъ сердце Наше. Благо Россійского Государя неразрывно съ благомъ народнымъ, и печаль народная — Его печаль. Отъ волненій, нынѣ возникшихъ, можетъ явиться глубокое нестроеніе народное и угроза цѣлости и единству Державы Нашей.

Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣваетъ Намъ всѣми силами разума и власти Нашей стремиться къ скорѣйшему прекращенію столь опасной для Государства смуты. Повелѣвъ подлежащимъ властямъ принять мѣры къ устраненію прямыхъ проявленій безпорядка, безчинствъ и насилій, въ охрану людей мирныхъ, стремящихся къ спокойному выполненію лежащаго на каждомъ долга, Мы, для успѣшнѣйшаго выполненія общихъ преднамѣчаемыхъ Нами къ умиротворенію государственной жизни мѣръ, признали необходимымъ объединить дѣятельность высшаго правительства.

На обязанность правительства возлагаемъ Мы выполненіе непреклонной Нашей воли.

1. Даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновенности личности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ.

2. Не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу привлечь теперь же къ участію въ Думѣ, въ мѣрѣ возможности, соотвѣтствующей краткости остающагося до созыва Думы срока, тѣ классы населенія, которые нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, предоставивъ за симъ, дальнѣйшее развитіе начала общаго избирательного права вновь установленному законодательному порядку.

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы, и чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ Насъ властей.

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи вспомнить долгъ свой передъ Родиною, помочь прекращенію сей неслыханной смуты и вмѣстѣ съ Нами напрячь всѣ силы къ возстановленію тишины и мира на родной землѣ.

Данъ въ Петергофѣ въ 17 день октября, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятое, Царстсвованія же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано

НИКОЛАЙ.

Андрей Степанович не дочитал; он читал последние строки глазами, но уж голова не дослушала. Он часто дышал, смотрел на листок, как на чудо, может быть, и ненастоящий, и даже сжал сильней пальцы, чтоб почуять бумагу. «Конституция»! Вот в руках у него — кон-сти-ту-ция!! Ну, не может, не может быть! Так вот же, вот... и голова так сразу набилась мыслями, они лезли одна через другую, будто все хотели показаться, представиться, и столько, столько впереди — и несбыточное счастье задрожало в руках.

— Санька! — закричал Андрей Степанович, вскочил с кресла. — Александр! Да иди, черт, сюда! — и Андрей Степанович выбежал в гостиную, придерживал пенсне на носу. — Анюта! Анна! Черт возьми что!

Андрей Степанович свалил в столовой стул, напролом спешил — какие тут стулья! стулья весело отлетали, по-новому — живо, юрко.

— Да ведь ты смотри что!

Анна Григорьевна приподнялась на кровати, испуганной радостью глядели глаза, мигали — что? что? что ты?

Андрей Степанович стукал тылом руки по листку.

— Ведь конституция! — и улыбался, во всю ширь распахнул лицо, и глаза от улыбки сжались яркими щелками.

Анна Григорьевна увидала счастье и вытянула ему обе руки навстречу — как ему хорошо! И Андрей Степанович рванулся,

и Анна Григорьевна обхватила его за шею и целовала в мягкие усы, в бороду.

— Анечка, ты подумай, да вообрази ты — понимаешь, глазам не верю, — Андрей Степанович сел на постель, — нет, да ведь, ей-богу, и сейчас не верю — ну прямо, черт знает что! — Тиктин вскочил. — Да ведь как ни... Чего тебе дать? Да принесу, принесу! — Тиктин поворачивался живо, легко. — Давай принесу! Нет, ей-богу, это же черт его знает! Ты смотри, — снова сел на кровать Тиктин, — ты смотри, языком каким, как это все вывернуто! Ну, скажи, — совал Анне Григорьевне бумажку Тиктин, — воображала ты, что вот этак вот! Доживешь до конституции! В России!

Анна Григорьевна смотрела радостными глазами, как счастье играло в муже, она кивала ему головой.

— Ты вот позволь, — Тиктин стоял посреди комнаты, придерживал пенсне, — вот: Манифест! Капитуляция! Капитуляция, голубчики. Нет, ты слушай дальше...

— Надю, значит, выпустят, — закивала головой Анна Григорьевна, заулыбалась вдоль кровати, будто радостная лодка издали плывет.

— Да Господи! — замахнул назад голову Андрей Степанович. — Да тут открывается... Фу! — дохнул Андрей Степанович. — Да, да ты пойми... Боже мой! Неужели не понимаешь? — и Тиктин убедительно улыбался и развел руки — в одной пенсне, в другой листок — и глядел на Анну Григорьевну. — Невероятно!

Тиктин заходил по комнате — тряс головой, руки за спиной и листок. Он ходил от окна к двери. И вдруг стал у окна.

— Гляди, гляди! Да иди сюда, — и он, не оборачиваясь, махал что есть силы Анне Григорьевне, — да скорей, как есть!

Он глядел в окно, прижался в угол к стеклу, — вон, вон, что делается, — и он, не глядя, поймал жену за затылок и направлял голову, — вон, вон! Смотри назад, народу-то!

И загудели тонко стекла от гула, от ура.

— Смотри, гимназисты-то, гимназисты! — и Андрей Степанович вскочил на подоконник, раскрыл нетерпеливой рукой форточку.

Из форточки шум, веселый, взъерошенный, и тонкими голосами не в лад: ура-а!

— Ура! — гаркнул Андрей Степанович, на цыпочках вытянулся, весь вверх, в высокую форточку.

Анна Григорьевна вздрогнула, засмеялась, бегала глазами по улице, как вот проснулась, а за окном веселая заграница, красивей, чем мечталось.

— Санька! Да Санька же! — крикнул назад Андрей Степанович.

— Уж удрал, удрал! — и Анна Григорьевна размягченно махала рукой. — Давно-о уж!

Андрей Степанович легко, мячиком, спрыгнул с подоконника.

— Да ты понимаешь, что это можно сделать! — он за плечо повернул к себе Анну Григорьевну и смотрел секунду. Анна Григорьевна улыбалась — глаза у него, как ясные бусинки. — Ничего ты не понимаешь! — Андрей Степанович быстро поцеловал в щеку Анну Григорьевну, повернулся и в кабинет. — Сапоги! Сапоги! Куда я их бросил? Конституция! Ну не черт его подери! — спешил, приговаривал.

Ура!

САНЬКА не знал, какой день, — замечательный день, будто солнце, — гимназисты и ученицы какие-то на углу кричали ему ура, и Санька шапкой им махал на ходу, и дворник в воротах стоял, осклабился насмешливо и бородой на них поддавал — ишь, мол! А потом гурьбой чиновники почтовые с гомоном у почтамта на крыльцо всходят, говорят, руками машут, ранний час, а народу, народу! Кто-то вон уж с крыльца ораторствует, возглашает, и у крыльца куча, толпа целая, и пока дошел Санька, уж закричали ура! — и этот с крыльца с шапкой наотмашь, как в опере стоит — и рот открыт, шея надулась — ура! И все кивают и улыбаются, как знакомые, около мальчишек с листками толпятся, и все друг с другом говорят. Санька протискивался к газетчику — у него рубль в зубах и нагребает сдачу.

Какой-то еврей:

— А вам, господин студент, зачем? Не давайте, он вчера знал! А! Исторический документ — можно! Дайте ему. — Смеется. Потом наклонился к Саньке: — А что? Будут права? Да? Вам же известно.

Санька мотал головой:

— Да! да! Все будет.

Откуда-то сверху из окна слышно было, как сильно играл рояль марсельезу. Кто-то затянул, как попало, не в лад:

Allons, enfants de la-a...*

Никто не поддержал, и голоса весело бились в улице. Саньке вспомнился гимназический коридор перед роспуском, нет, бурливее взмывала нота, и все сильней, сильней. И не разгоняют! Санька вдруг вспомнил — ни одного ведь городового не встретил, и здесь, у почты, нет.

Два листка ухватил Санька, чтоб не возиться, какая тут сдача!

«Ушла или застану?» — думал Санька, размахивал на ходу листками. Санька чуть не пробежал лестницей выше, и вдруг сама открылась дверь.

— Да я с балкона видела! Бежит, как оглашенный, листками машет.

Танечка стояла, придерживала на груди черный с красным капот.

— Танечка! — Он хотел с разгону радости поцеловать Таню, но Таня отодвинулась.

— Видала? Видала? — Санька тряс листками.

— Да что? Что?

— Конституция!

— Фу, я думала, хоть царя убили, — Таня нахмурилась.

— Ни одного городового! — и Санька отмахнул рукой, как скосил.

— А что? Sergents de ville?* — И Таня прошла в гостиную.

— Ведь свобода же! — говорил Санька из прихожей и видел, как Таня отодвинула занавеску и стала что-то внимательно поправлять в цветах.

Санька не знал, что говорить, все покатилось вниз и летело быстрым вальком с горы, без шуму, и он хотел задержать, задержать скорей и не знал: чем, каким словом или сделать что? И сейчас закатится за какую-то зазубрину, и тогда надолго, навсегда.

— Таня! — сказал Санька в гостиную. Таня стояла спиной, нагнулась к цветам. «Еще хуже, — думал Санька. — Пойти? Не окликнет, наверно, не окликнет, и значит потом уж никогда. Что же я сделал такого?»

Он вдруг в отчаянии затопал ногами по паркету в шинели и в шапке, отдернул занавес.

* Идем, сыны... *(фр.)*
** Полицейские? *(фр.)*

— Таня, ну простите, ну чего ты? — и он взял ее за локоть. Таня увернула руку. Еще что-то ковырнула в цветах, вдруг выпрямилась.

— В комнату не входят в пальто и в шапке, — и глядела строго в глаза, и будто последние слова говорит при расставании, — подите снимите.

Санька пошел, и хотелось разбить каблуками паркет. Он начал стягивать шинель и вдруг быстро натянул рукав обратно, крутнул замок и выскочил на лестницу.

— Ну и к черту, и к черту, и к черту. — Санька повторял это, гвоздил слова и бежал со всех ног через две ступеньки, вон из парадной и налево — угол ближе, свернуть скорей, чтоб не оглянуться на балкон, ни за что не оглянуться. И только минуту Санька не слышал улицы, он еще не свернул за угол, как вошел в уши голос, весь город в голосе, и вот, кажется, здесь он начинается высоким холмом и растекается вдоль повсюду и опять и опять прибывает, будто прорвало землю, и бурлит взлетом голос, и всех тормошит, дергает радость. Вон у «Тихого кабака» у немецкого в дверях толчея. Санька протолпился, у стойки хозяин улыбается и, как подарок, подает каждому кружку, никто не сидит, все стоят, говорят, и вон целуются, ух, как целуются, будто помирились только что, и слезы на глазах.

— ...и мы, и мы терпели, — и кружку к бороде прижал господин какой-то, — и жертвовали, чем могли. Да ведь меня с четвертого курса поперли... и чем мог, всем, чем... — и он вдруг схватил свободной рукой почтового чиновника, потянул к себе. — Дождались! Господи!

Кто-то махал Саньке поднятой кружкой, низенький, из кучки людей — профессор, старичок мой! Санька с кружкой тискался к нему, проливал на соседей, а все только чокались по дороге, кивали мокрыми усами и все: «Дождались! Слушайте! Замечательно? Ведь это черт его теперь, что у нас будет!»

— Ну, понимаете, я дальше, — слышал Санька веселый бас, — и дальше ни одного, как вымерли городовые, глазам своим...

— Чокнуться с вами! Ах, дьявол заешь — ведь по-новому, ей-богу, как с начала жить начнем!

Санька тянул кружку старику-профессору. Старик кивал, и не слышно было, что говорил, что-то радостное, лукавое, веселое, хорошее что-нибудь очень говорит и, наверно, хитроумное. Санька не мог протиснуться, он кивал издали, смеялся и

пил из кружки как будто общее пиво, залог какой-то, черт его знает, но замечательное, замечательное пиво.

— ...и читал лекции в народной аудитории — рабочие сплошь. Хорошо — агитация. А это, знаете, тоже. Нет, нет! Не пустяк! — Седоватый, в крылатке, и шляпу сдвинул на затылок, он тыкал мохнатой папиросой, закуривал, и вдруг сверху, как глашатай:

— Ведь рано или поздно, — услышал Санька знакомый голос, — все равно должно было — безусловно!.. безусловно! капи-ту-ля-ци-я! — Башкин взмахнул шапкой надо всей публикой.

— Ура! — закричали в углу.

— Ура! — крикнул Башкин и махнул шапкой.

— Ура-а! — крикнули все; все глядели весело на Башкина, в блестящие, счастливые глаза.

Он снова махнул шапкой и как будто дернул запал — грохнуло, как выстрел, — ура! — и все ждали третьего раза, глядели на Башкина.

Санька пробирался прочь.

— Дружище, дружище! — ухватил, тряс руку Башкин. — Ох, что я тебе расскажу! Я приду, я тебе все расскажу! — голос с волнением, с радостной тревогой, до слез. Санька отвечал на пожатие, наконец, вырвал руку от Башкина. На улице чуть реял солнечный свет из-за облаков и то раздувался, то снова мерк, и Саньке казалось, что сейчас, сейчас дойдет и с радостным грохотом грянет свет, а Башкин — больной просто с зайчиком каким-то, есть вот в нем, бывает — ой, идут, идут какие-то, с флагом, толпа целая, прямо по мостовой, вон впереди! Санька прибавил шагу. Поют, кажется. Санька заспешил вслед. В это время из-за угла с грохотом веселой россыпью раскатился извозчик, Андрей Степанович молодцом нагнулся на повороте, он махал серой шляпой кому-то на тротуаре, кивал, вскинул волосами и отмашисто посадил шляпу на голову. Вон еще, еще кому-то машет, и бойко гонит извозчик. Вон поравнялся с флагом, встал на пролетке, салютует шляпой.

Санька влетел в гущу народа на Соборной площади, потерял из глаз флаг, не догнал, ничего! Все, все идут туда, к Думе. И на широкой Думской площади черно от народу.

— Го-го! — кричат, вверх смотрят все, вон над часами на гипсовом Нептуне черный человек, маленький какой, около флагштока.

— Ура-а-а! — кричат, и вон красный флаг подымает на флагшток человек. Заело. Гудит толпа — возится человек, и

вдруг сразу, рывком, дернулся флаг и завеял важно на самой вышке.

— Аа-а! — гаркнула толпа, и казалось, криком треплет флаг сильней и сильней.

Затихают, кто-то шапкой машет, будто сгоняет крик. Тихо, и слышен издали, с думского главного подъезда, голос — выкрикивает слова. Не понять, что. И руку над головой, в руке листок. И опять выкрикивает.

— ...сегодняшний день... — только и услыхал Санька. И опять ура! И вдруг вон на памятнике, на цоколе тут, против думского крыльца, снял фуражку, потряс в воздухе. Головы обернулись — как густо вокруг памятника. Человек надел фуражку — студенческая! Батин, Батин! — узнал Санька.

Батин оглядел людей, повернул два раза головой, и стало тихо на миг.

— Товарищи рабочие! — на всю площадь прокатил голосом Батин. — Всему рабочему народу я говорю! Нечего нам кричать ура и нечего радоваться. Царя! И капиталистов! Помещиков! Взяли за глотку — с перепугу царь кинул этот обглодок, — Батин швырнул сверху скомканный листок — гулом ответила толпа. — Рабочему человеку от того — шиш!

И Батин сложил кукиш и тряс им перед собою рукой с засученным рукавом.

— Помещичья! Поповская дума за нас не заступится. За что же кровь проливали! На этом станем, так, значит, продадим революцию!

Уже гул подымался в дальних рядах, и с думского крыльца выкрикивал слова новый голос.

— Ура! — кричали на другом конце площади.

И урывками бил воздух спешный голос Батина:

— Городаши притаились! Войско под ружьем!

Где-то уже пели «Отречемся от старого», и воем перекатывалось по площади ура — обрывками долетали слова сверху:

— ...насильный подарок господам... нашей шкурой заплатим... — и уж видно было, как раскрывал рот Батин, как тряс кулаком, и едва расслышал Санька — ... не кончено!..

И вдруг среди толпы поднялся флаг, все задвигались, зашатались головы, и толпа густо потекла с площади за флагом на главную улицу. Из высокого окна гостиницы сверху медным тонким звуком играл марсельезу корнет-а-пистон. Впереди толпы шел, размахивал шапкой и что-то кричал Санькин пор-

тной Соловейчик. «Пятьдесят семь рублей должен», — вспомнил Санька, — но портной так размахивал руками, — «увидит, не вспомнит», — думал Санька. С балкона какая-то барышня махала цветным шарфом, и цветистой змеей вился над самыми головами, — били в ладоши. Вон, вон штыки над толпой. Качаются, — это солдаты.

— Ура! — все кричат солдатам ура. Какой-то гимназист закинул красную ленту на штык заднему солдату. Солдаты конфузно улыбаются — это караул из банка — ура!

— Ура! — кричат кому-то. Старый квартальный в полной форме стоял у края тротуара, улыбался и кивал на «ура».

И флаг и толпа пошли вокруг Соборной площади, и на секунду как в щель проглянуло солнце, и загорелся, зардел кровью флаг над толпой и колыхался живым током. У Саньки на миг стало сердце — утверждал флаг кровь, как будто должное, неизбежное — уверенно и открыто — кровь. «И этот еще там. Батин» — и Санька сжался нутром; но вон кого-то на руках подняли, и он качается, балансирует над толпой, как пробка в кипятке — и опять ура! И вон на Садовую свернула часть народа, еще, еще, и Саньку утянул поток. Санька не узнавал улиц, не узнал университетского двора — народ валил в медицинскую аудиторию, студенты, цепью взявшись за руки, ровняли народ.

Убью!

НАДЕНЬКА сидела на своем обычном месте за обеденным столом, и Анна Григорьевна рядом — поймала под скатертью Надину руку, не выпускает из своей, жмет, переминает и вдруг сдавит до дрожи и глаза прикроет.

Андрей Степанович ходил по комнате со стаканом холодного чаю, искоса поглядывал, как Надя неловко одной рукой мажет масло на ломтик хлеба. Горничная Дуня убирала лишнюю посуду, составляла на поднос.

— Дуняша! — Андрей Степанович весело глянул Дуне в лицо. — Дуня! Вы знаете, что у вас в деревне делается?

— Кажется, звонок, — насторожилась Анна Григорьевна, — стойте, не грохайте посудой.

— Звонят! — решительно тряхнул головой Тиктин, а Дуня уж отворяет; только повернула замок, как с силой дернулась дверь наотмашь. Дуня чуть не упала. Башкин ринулся в прихо-

жую, он сорвал с себя шапку, шмякнул на столик, размашисто сорвал пальто и бросил — пальто слетело на пол, Башкин не оглянулся, саженными шагами по коридору. Анна Григорьевна стояла в дверях столовой.

— Милая, голубушка! — кричал Башкин. — Поздравляю, — Анна Григорьевна не опомнилась — Башкин уж обнимал ее, опутал руками, — и со свободой и с Надеждой вашей! Андрей Степанович! Драгоценный. — Башкин в пояс кланялся Тиктину, как в церкви; казалось, сейчас перекрестится. — Надежда Андреевна, просто Наденька! Разнаденька милая! — и Башкин громко чмокнул руку и послал Наде поцелуй. — Я! я! — он тыкал себя в грудь, и длинный палец выгибался. — Я, господа, всех радее. Вы не поймете! Я, я всех свободней! — крикнул Башкин. — Прямо на руках ходить! — и Башкин смеялся, и щурились глаза, как на солнце. — Ей-богу, на руках! — вскрикнул Башкин.

Он стал на четвереньки, поддал ногами, как теленок, и вдруг — никто не понял, что это — огромные ноги взметнулись к потолку, длинный пиджак вывернулся, и все это рухнуло на пол. Одной ногой Башкин задел стол, и стакан с блюдцем зазвенел на полу. Анна Григорьевна бросилась, Башкин уж криво приподнялся на руках.

— Ничего! Ничего! — он счастливо задыхался. — Ничего! — говорил Башкин; он встал на ноги. — Ничего, никаких городовых, никаких охранок, никаких жандармов, черт возьми, — он стукнул кулаком по столу, — и ротмистров!

— Да садитесь! — крикнула Анна Григорьевна.

— Ух, я теперь буду жить! — говорил Башкин. Он зашагал, гонко забегал по комнате. — Прямо не знаю, сказать прямо не могу, как жить теперь буду! Делать? Все буду делать! Много я могу наделать? — он вплотную подошел к Тиктину, кивал ему в лицо головой. — Правда? Много ведь могу? Ужас сколько! — снова зашагал Башкин. — А этот мальчик, Коля, замечательный, я приведу, к вам приведу, Андрей Степанович. Правда? — снова он остановился перед Андреем Степановичем, нараспашку глядел в глаза. — Ведь я ж хороший человек, — сказал Башкин, запыхавшись, вполголоса и все не отводил глаз от Тиктина.

— Ну, давайте выпьем, — сказал Андрей Степанович и отвернулся, потянулся к столу, к бутылке, — за новую жизнь и за вашу новую жизнь особенно.

Андрей Степанович искал стаканчика чистого на столе. Дуня подбирала с полу осколки разбитой посуды и вдруг вскочила — звонок. Андрей Степанович с бутылкой в руке глядел на двери — Санька в шинели, в фуражке стоял в дверях — на синем околыше мелом написано 52.

— Это что за метка? — Анна Григорьевна щурилась на фуражку.

— Городовой! — Санька хлопнул рукой по цифре и круто повернулся. Андрей Степанович улыбался и кивал головой:

— Так, так. Это мы просили, комитет общественной безопасности.

Анна Григорьевна хотела пойти за Санькой, но в дверях вдруг быстро повернула назад, подошла к Наде, она взяла у Нади руку, быстро оглянулась на Башкина. Надя тянула руку назад, Анна Григорьевна наклонилась, ловила. Надя спрятала руки. Анна Григорьевна покраснела и быстро вышла из комнаты.

Надя плотно сжала губы и то взглядывала, как отец наливал в стаканчик, то хмуро глядела в скатерть. Башкин искоса глянул. Он держал стаканчик, и Тиктин целился горлышком бутылки.

— У вас глаза потемнели! — Башкин вдруг резко повернулся к Наде. — Да, да! Потемнели глаза. В вас больше силы стало!

Андрей Степанович ждал со стаканчиком — чокнуться.

— Теперь нужна... сила, — сказала раздельно Надя и на миг из-под бровей серьезно глянула в самые глаза Башкину.

— Предстоит... — зычно начал Тиктин. Башкин резко повернулся к нему, расплескал на скатерть.

— Да-да! Случилось что-то, — говорил Башкин в сторону Тиктина, — и я вас всех страшно люблю, все равно — ужасно люблю, и вы можете меня не любить, и не надо. Не смейтесь, потому что я...

— Да пейте, все расплещете! — Андрей Степанович стукнул стаканом в стакан Башкину. — Мне сию минуту идти, — Андрей Степанович поставил стаканчик, глядел на стенные часы, — комитет дежурит всю эту ночь.

— И я пошла! — Надя встала.

— Я хотел вам сказать, — Башкин привстал со стула, он смотрел, поднял брови на Надю, — хотел сказать самое главное для меня.

— Не надо сейчас, — Надя выбиралась из-за стола. — Я даже плохо буду вас слушать сейчас. — Она сбивала крошки с платья, смотрела вниз.

— Вы уходите? — слышал Башкин голос Анны Григорьевны в коридоре. — Санька уж полетел, так ничего и... — Башкин не слышал, как говорили в прихожей. Он схватил бутылку, вылил остатки вина в стакан и опрокинул в рот. Он услышал спешные шаги Анны Григорьевны, обтер рукавом губы.

— Слушайте, вы, может быть, съели бы чего-нибудь, мы ведь пообедали только что. Послушайте! С ней уж ничего теперь не случится? Ведь свобода, не будут же хватать на улице, надеюсь. — Анна Григорьевна передернула плечами.

Башкин стоял, тряс головой.

— Нет! нет! Не может быть!

Вдруг Башкин шагнул к двери, приоткрыл, заглянул в коридор и плотно прижал, повернул ручку.

— Анна Григорьевна! — и голос у Башкина забился тревожной нотой. — Ради Бога, вы даете мне самое честное слово, что никто не узнает, что я вам скажу?

Анна Григорьевна села, она вскинула испуганный взгляд на Башкина.

— Нет, нет... зачем? Никому. Никому, если хотите. — Анна Григорьевна взглядывала на Башкина и поправляла на руке кольца. — Нет, если вам угодно...

— Анна Григорьевна! Милая! — Башкин с размаху сел на стул через угол стола. — Анна Григорьевна! — Башкин остановил пальцы Анны Григорьевны, прикрыл рукой. — Вы думаете, мерзее меня нет человека?

— Что вы?

— Нет, — громко сказал Башкин, — к черту! Прямо вам скажу — я, как мерзавец последний, делал пакости. Я, может быть, — крикнул Башкин и встал, — человека убил!

Анна Григорьевна смотрела на него, не отрывая круглых глаз, она сразу покраснела.

— Десять! Двенадцать человек! — закричал Башкин. Он весь напрягся лицом, и дрожала губа. И вдруг весь опал на стул, схватил руку Анны Григорьевны, через стол рванул к себе, прижался глазами со всей силы. Анна Григорьевна уж занесла другую руку, чтоб погладить волосы, но Башкин вдруг дернулся, вскочил. — И еще одного убью, — крикнул, — сегодня, может быть! Сейчас убью! Вот честный... честный крест! — Башкин с силой перекрестился. — У-бью! — и он опрометью бросился из комнаты, схватил свое пальто, шапку и выбежал с ними вон.

Башкин стремглав сбежал с лестницы, внизу наспех напялил шапку, взметнул пальто, совал руки, рвал подкладку. Он дернул что есть силы двери, бросился на улицу. И как хлопнула тяжелая дверь! Башкин решительными шагами зашагал по тротуару вправо. Ему казалось, что испуганное лицо Анны Григорьевны смотрит вслед. На углу, на панели, Башкин в сумерках увидел кучку народа, в середине высокий студент, ага! и вот белый номер на фуражке. Люди стояли без пальто, без шапок. Видно, из ближних дворов. Вполголоса урчал говор. Башкин услышал:

— Что вы говорите, господин студент, когда же сейчас человек оттуда пришел, сам же видел: разбивают.

— Я ж вам говорю — разбивают, — вдруг громко вскрикнул женский голос. Голос дернул Башкина, он встал в трех шагах и слышал, как все сразу заговорили громко, и беспокойная испуганная нота забилась над кучкой людей, громче, выше.

— Тсс! Тсс! — и студент махал рукой. Башкин подошел. — Вот распоряжение от комитета. — Студент поднес к глазам бумажку и, видно, читал на память — уж ничего нельзя было разобрать: — «Комитет безопасности при городской Думе взял на свою ответственность охрану порядка в городе и просит население помочь ему строгим соблюдением правил: первое, не выходить из домов с наступлением темноты во избежание эксцессов со стороны преступного элемента...» — Так, пожалуйста, господа, по домам. Комитету, уверяю вас, — студент наклонился, прижимал листок к груди, — комитету известно гораздо больше, чем этому человеку, и комитет принимает меры...

Люди медленно отходили от студента.

Только один человек — он придерживал у груди пиджак — подошел вплотную.

— Что значит меры, — он глядел вверх в лицо студенту, — когда же там разбивают, убивают, я знаю? А если там тоже студент с бумажкой, так что?

— Есть студенческая дружина, есть отряд целый, понимаете? — и студент повернулся и шагнул к Башкину.

— Слушайте, слушайте, — зашептал ему на ухо Башкин, — где это, где?

— На Слободке! — громким шепотом сказал человек в пиджаке. — На Слободке бьют еврейские лавки, — и он тряс пальцем в улицу направо. Башкин круто повернулся и быстро по-

шел направо, туда, в темноту, к Слободке. Он прошел размашистым спешным шагом уж кварталов пять по городу. Вон видно, стоит на перекрестке студент, и Башкин тем же ходом направил шаг к студенту.

— Вы знаете, что происходит? — не доходя еще, начал Башкин, и в голосе твердый упрек, возмущение. — На Слободке бьют лавки! Еврейские лавки!

— Правда? — и студент сунулся к Башкину.

— Там, там, — сердито махал Башкин пальцем в сторону Слободки. Студент глядел, куда тыкал Башкин.

— Ох! — и студент чуть присел. Башкин глянул — и легкое зарево низко перемывало по небу.

Оба с минуту глядели, как дышало зарево.

— Так что ж? Идем, или вы будете стоять, когда там...

— Да я тут обязан... — перебил студент.

— А ну вас! — Башкин шагнул прочь. — Ко всем чертям! — сказал он, шагая. — К сволочам!

Башкин свернул за угол. И вдруг тонкий рожок кареты «скорой помощи» — и холодок дунул под ложечкой — спешной дробью простукали лошади, и вон фонари кареты пересекли улицу. И опять рожок, и бедственный звук прижал под грудью. Башкин шагал слабее.

Сдачи

— ДА НИЧЕГО там не того... не разберешь. — Виктор стоял боком в дверях столовой, без сюртука, в подтяжках. Он глядел и досадливо морщился на стенные часы и переставлял карманные. — А черт! Вот замотался, часы теперь стали — дьявол их... Да вчера ж тебе говорил — вот как к свиньям все за... за... черт его знает, — и Виктор завертел в воздухе кулаком с часами и зло, без терпения, глядел на Груню. — Не знаю, одним словом, — и Виктор вышел, и Груня слышала: возился, бросал что-то и с силой пинком толкнул стул.

Крики с улицы, и не визгливые, а густо поют будто. Груня вскочила, накинула шаль, побежала. Фроська туда же.

— Тебя куда несет! — крикнул Виктор в спину, как поленом стукнул.

Фроська на месте свернулась, платком полморды закрыла и перевивается вся.

— Марш в кухню! — крикнул Виктор и пошел по коридору. — Тебе чего, дуре, надо? Тебе чего понадобилось?

Фроська дернула плечом.

— Подрыгай мне! Подрыга какая, скажите. Ее там не хватало.

Фроська повернулась к окну.

— Сапоги!.. — крикнул Виктор. — С вечера! С вечера, дура, валяются!

Фроська шагнула, подняла с полу Викторов ботфорт.

— То-то! — Виктор пошел к себе, но в это время дверь распахнулась, и Груня торопливо вбежала, красная, и лицо все в радости и головой кивает, будто с веселым сюрпризом.

— Витечка! Народу! Поют, ходят, как на Пасху прямо. Ой, один смешной, понимаешь!

И Фроська из кухни высунулась, сапог на руке надет.

Виктор стоял вполоборота.

— Мерзавцы! Орут, мерзавцы! — крикнул Виктор. Груня брови подняла. — Жидам царя продали! — крикнул во всю глотку Виктор, ушел к себе, хлопнул дверью, хоть не очень.

Виктор сел на стул среди комнаты, слушал, идет ли Груня. Не идет.

— Тьфу! — плюнул Виктор со всей силы в обои перед собой. Встал, вышел в прихожую, лазил по карманам шинели, глядел чуть вбок. Платок достал — все злой рукой — пальцы нащупали конфету, и с платком вместе пихнул в карман шаровар, в самый низ. Ушел к себе.

В квартире было тихо, и слышно было, как подымались голоса в улице.

— Уря-я! — передразнил Виктор. И вспомнил, как Сеньковский кривлялся на еврейский манер: «Долой самодержавию и черту оседлости!»

Виктор скрестил руки, вцепился пальцами, и вдруг истома выгнула спину, и Виктор вытянулся на стуле, голову за спинку, и дохнул едва слышно сквозь зубы:

— Ре-ежь!

И вдруг оглянулся на Грунины шаги за дверью. Виктор вскочил, открыл двери и сделал хмурое лицо.

— А знаешь, старика можно устроить. Я уж говорил там... Видел полицмейстершу, просил, обещала. — И Виктор смотрел в глаза Груни, трогал глазами, пробовал.

— Ага! Ага! — говорила Груня, перевешивала Викторову шашку на крайний крюк.

— Да, и скажи, чтоб шинель почистила... и карманы вытрясти... труха всякая.

Виктор еще раз глянул в Грунины глаза, а Груня смотрела на вешалку, обдергивала свое пальто.

— Я думаю, Петру Саввичу надо, — начал Виктор и глядел на папироску, закуривал. Думал, глядит теперь на него Груня или уйдет сейчас, и вдруг над самой головой затрещал звонок.

Виктор кинулся к дверям, толкнул по дороге Груню.

— Кто? Кто, спрашиваю? — и держался за ключ.

— Не отпирай, не отпирай! — шептала сзади Груня.

Но Виктор уже вертел ключом, он толчком распахнул дверь, толкнул человека.

— Да чего ты, дьявол, с ума сходишь! — какой-то штатский. Виктор нахмурился, вглядывался. Голос ведь знакомый.

— А тьфу тебя! — и Виктор пропустил мимо себя человека. Маленькая барашковая шапочка сковородочкой сидела на боку, как наклеенная.

— Да, конечно, Сеньковский, — шептал он и протискивался мимо Виктора. Он глазами уж зацепил Груню и протягивался к ней в узком месте. — А красивый, правда? — И Сеньковский состроил дурацкую рожу Груне.

Груня тихо повернулась на месте и пошла в коридор, в кухню.

— Гордая она у тебя, что ли, или не обедала? — говорил Сеньковский в прихожей.

Виктор запер дверь, оглянулся.

— Видал? — Сеньковский мотнул головой к дверям, и дрыгнула шапчонка.

— Штатское у тебя есть? — уж из гостиной говорил Сеньковский. — Нету? Ну-ну-ну, брат! — и Сеньковский размахивал пальцем перед самым носом Виктора. — У нас, брат, чтоб было! А где хочешь, там и доставай. Сейчас, брат, тебе расскажу. — Сеньковский скинул грязненькое пальтишко, кинул вместе с шапчонкой на диван, на подушку — Груня кошечку вышивала. — Водка есть? Без водки этого дела не разберешь. — И Сеньковский прошел в столовую. Там на скатерти стояли еще неубранные тарелки.

Виктор все смотрел на пиджак, на короткие рукава, на синюю рубаху под пиджаком, не мог до конца признать Сеньковского.

— Мадам Вавич, — крикнул Сеньковский в коридор, — пожалуйте непременно, я вам сюрприз принес.

— Груня, Груня! В самом деле, иди! Очень необходимо! — крикнул Вавич.

Фроська шаркала по коридору в опорках.

— А чего изволите, барыня велела спросить, — и Фроська вдруг фыркнула: узнала Сеньковского.

— Водки нам подай, — говорил Сеньковский, — не обхохочись, дура, — и сделал Фроське гримасу.

— Да, да! Водки живо, — говорил Виктор.

— И дворника позови, — Сеньковский отхлебнул из стакана. — Ну иди же, черт тебя. Дело вот какое, — Сеньковский прикрыл двери за Фроськой, — видал, какую блевотину тут жиды развели?

— Ну? — Виктор глядел, как прихлебывал водку Сеньковский.

— Ну, так сегодня же ночью сдачи! В Киеве герб сорвали, наш русский герб. Чего смотришь? — Сеньковский стукнул пустым стаканом и густо сплюнул на пол. — Да прямо сказать — трепануть жидов. Приказ тебе передаю, понял? Чей? Дурак! Чей? Мой приказ.

— Как то есть?

— А так то есть: выбить жидов так, чтоб сто лет вспоминали. Жидов... и жидовок.

Сеньковский налил второй стакан и пощелкал ногтем по пустому графину — отвечаешь?

— Жидовкам можешь пузо пороть вот от сих пор — во по сие время! — и Сеньковский чиркнул себя пальцем. — И кишки можешь на руку наматывать, — и Сеньковский завертел кулак, наматывал.

Но в это время распахнулась дверь, и Груня втолкнулась, стала и выпученными глазами глядела на Сеньковского, бледная, и двигала без слов открытым ртом.

— Что? Ты что сказал? — дохнула Груня и хрипло и на всю комнату.

— А что, под дверьми подслушивали? Больно стало? — Сеньковский держал стакан у груди, развалился на стуле, глядел снизу на Груню. — А есть и женщины, что кусаются. В кровь, как щуки. Спросите вот хоть... — и он кивнул на Виктора.

Груня вдруг зарделась, сразу. И Виктор не узнал лица — крашеное.

— Сволочь! — крикнула Груня и плюнула в лицо Сеньковскому. Он дернул рукой, расплескал стакан.

— Грунечка, Груня, — бросился к ней Вавич, — он врет, он врет, все врет.

Груня толкнула Виктора и стремглав выбежала из столовой.

— Про жидовок, говорю, врет, — бормотал Виктор в коридоре, — Грунечка!

Груня пролетела в кухню, вся красная еще, стала у плиты, снимала и хлопала крышками кастрюлек, спички схватила, опять положила.

— Груня! Аграфеночка! — говорил Виктор шепотом. — Грушенька, ты слушай, Грунюшка, я скажу что, слушай.

Груня смотрела на плиту, мигала широкими глазами.

— Да Аграфена! — дернул за плечо Груню Виктор.

Черная дверь хлопнула.

— Вот привела дворника. — Фроська вошла в кухню, а дворник топал у дверей, обтирал ноги.

— А ну сюда, сюда! — кричал Сеньковский из столовой. — Давай сюда дворника.

Виктор выскочил из кухни.

— Идем!

Дворник снял шапку, застукал сапогами по коридору.

Сеньковский закрыл за дворником дверь.

— Ты вот что, ты доставить должен сюда, вот через полчаса, чтоб было, — Сеньковский ткнул пальцем в часы, — фуражку вольную, штаны и свитку там или пальтишко, вот на господина надзирателя. Понял? — Сеньковский двинулся к дворнику. — И смотри мне, сукин сын, чтоб ни гу-гу! А то знаешь! — и Сеньковский вдруг дернул лицо вперед, и дворник шатнулся назад. — Шкуру с живого сдеру. Пшол!

Дворник пятился боком в закрытую дверь.

— Разиня! — визгнул Сеньковский, вцепился в волосы, в затылок и стукнул дворника головой о дверь. — Лбом, лбом прошиби! Слушай, доставай! — повернулся вдруг к Вавичу и заболтал в воздухе пустым графином.

— Фрося! — крикнул Вавич и сам вышел, пошел к кухне, не дошел — вернулся. — Сейчас, сейчас, — бубнил вполголоса Виктор и ходил, топтался по комнате. — Нет, ты кроме шуток — приказ? — Виктор на минуту остановился перед Сеньковским.

— А ты что, дурак, хотел? Бумагу? С печатью тебе? Да? С гербом? Три подписи? — Сеньковский выкручивал в воздухе пальцем. — С подлинным верно... Дура! Дура ты... Ну, скоро там? — Сеньковский стукал стаканом по столу. — Ты знаешь, что этой

ночью, — Сеньковский хриплым шепотом заговорил, поднял одну бровь, косо наморщился лоб, — говорил генерал Миллер — сердце русского человека не может не возмутиться... да... никак не может... кровью должно обливаться, когда жиды нашего отечества топчут права русского монарха, и кто останется смотреть на это и кто, значит, сложа руки, пускай, значит, тот, значит — стерва, и все верные сыны родины должны как один человек... и чтоб возмущенье и чтоб жидам и всякой сволочи. Жиды, говорит, кучкой, и вы, говорит, должны сплотить оплот... и вали!.. по всем по трем! — Сеньковский уж говорил громко, на всю квартиру. — В портрет чернилом! Это как?

— В государя?

— Ну да! Не знал, подумаешь! Шварк чернильницей жидера какой-то. А что, морду не набьем? Набьем, так набьем, ой! Ой, жидочки-голубчики, покойникам позавидуете. Живьем, стервецы, в могилу полезете.

Фроська с опаской боком глядела на Сеньковского и осторожно поставила на стол новый графин водки.

— Ты не думай, — говорил уже сонно Сеньковский и тяжелой рукой наливал в стакан, — не думай, что мы вдвоем. Там уж есть. Приготовлено. Блатовню-то распустили? Вот! Там я еще человечкам мигнул, как следует. Это уж у нас, — и Сеньковский пьяной рукой хлопнул через весь стол, — во! Слушай! Ты пожрать давай, — вдруг встрепенулся Сеньковский. — В семь надо на место. Э-э! Батенька, у нас не игрушки в ушки! Не-е-е! — и он мотал головой, глаза сощурил. — Ну! Давай жрать, что ли, — Сеньковский вскочил, — или в кабак посылай, пусть принесет твоя эта задрыга:

«Заснул бы, — думал Виктор, — напился б и заснул бы».

А Сеньковский хлопал ладошкой по столу:

— Давай жрать, что ли! Посылай!

Виктор нажал звонок.

Почин

— ДА НАПЯЛИВАЙ, напяливай, — дергал Сеньковский Виктора за ворот, — во, во как! И воротник, стой, ворот подыму!

И Виктор ежился, дергал локтями в черном полупальто. Луком и еще кислым чем-то пахнуло из бортов, и Виктор тряс головой.

— Ух ты! — и Сеньковский присел, ухватился за колени. — Ах, черт тебя разъешь, — хохотал, мотал головой Сеньковский. — Жене пойди покажись — фалейтор! Ей-богу, фалейтор; ну, конюх, что с барыней живет, тьфу ты, чтоб тебя, — и Сеньковский нахлопнул на Виктора картуз по самые уши. Он высунулся в переднюю, кричал через смех, через гогот: — Мамаша! На супруга полюбуйтесь. Ей-богу, он с чужой барыней живет!

Виктор дернул Сеньковского назад.

— Брось ты... не понимаю... и она тяжелая у меня, ты, брат...

— Верно, она у тебя не легкая! Да ну их в болото! Ты револьвер! Бери, дурак! Мало что там может.

Виктор скинул картуз, бросил на стол. Глядел в окно, в штору.

— Ты что? — повернул его за плечо Сеньковский. — Идешь? — и губу вперед выпятил, хмуро прищурился на Виктора. — Нет? Так, значит, и доложить? Что с жидами, значит? И пусть царю в морду плюют?

Виктор зло покосился на Сеньковского.

— Да я твою королеву — знаешь, Господь с ней, — а служить, так... Да ты револьвер на шнурок и на шею, чтоб не вырвали там. Ну, готов?

Сеньковский толкнул дверь в прихожую. Груня стояла в коридоре, глядела, рот приоткрыла. Виктор шагнул из комнаты.

— Витя! Не ходи, не смей! — крикнула Груня.

— Служба-с! — и Сеньковский назидательно тряхнул головой. — Приказ в штатском.

— Витя! — Груня шагнула и руку одну вытянула вперед.

— Да мы пройдемся, поглядим там. — И Сеньковский пихал Виктора вперед. — Мы скоро назад.

Виктор шел молча. Передергивал лопатками.

— Что, с приложением полпузанчик? — и Сеньковский захватил в кулак пальто на спине у Виктора, тер по хребту. — Почесать?

Было темно, фонарей не зажгли. Кое-где у ворот глухо гудели темные кучки народу.

— Постовой! — и Сеньковский толкнул Виктора под локоть, кивнул на студента на мостовой. — Снять, что ли, — и Сеньковский огляделся, — или рано?

Виктор молча вертел головой.

Они вышли на пустые улицы, и свет в окнах, теплый уютный свет, и где-то за окном пели хором. Виктор повернул голову на свет, на песню, погладил глазами окно.

— Вот сейчас по-другому запоют, — Сеньковский больно ткнул Виктора большим пальцем под ребра. — Ух, началось, началось! — вдруг, запыхавшись, зашептал Сеньковский. — Фу, черт, завозились с тобой, а дьявол, туды его в доски! — и Сеньковский полубегом заспешил по улице вниз. Виктор глянул: они свернули в улицу, где прямо в конце металось красное зарево, будто хотело вырваться, звало на помощь. Виктор вдохнул, как будто кусил воздуху, и бросился догонять Сеньковского.

— Господа! Господа! — голосом таким отчаянным, бабьим каким-то, кричал длинный, верста коломенская. — Господа! Вы туда? Там евреев избивают! Я тоже на помощь. — И длинный нагонял раскидистыми шагами. — Господа!

Знакомый голос. Вавич не вспомнил, откуда это. Противный.

Виктор не узнал Башкина.

Сеньковский вдруг остановился.

Башкин нагнал, запыхался.

— Господа! Спешим! Может быть, мы...

— Ишь! Полтора жида! — и Сеньковский с размаху ударил Башкина в ухо.

Башкин схватился за голову, падал на Вавича.

— Принимай! — крикнул Сеньковский, и Вавич всю досаду вправил в руку и саданул Башкина в бок. Башкин рухнул наземь, упал, раскинул руки.

— Так! — сказал Сеньковский. — Почин! Пошли, — и он дернул Виктора за рукав. Потянул. — Ходом, ходом. Смотри. Э-эх! Пошло...

В это время пламя взметнулось кустом и красным отсветом дунуло в черную улицу. Сеньковский стал на миг, и вот густым гулом ухнул взрыв и следом далекий визг толпы.

— Ходом! — крикнул Сеньковский и побежал вниз по улице.

Они бежали через пустую площадь, и уж в окнах мелькали пугливые огни и хлопали калитки, и только слышно было, как шлепали ноги, как перебегали под домами люди.

— Забегали... таракашки! — запыхавшимся голосом подкрикивал Сеньковский.

Он топал вверх в гору, и Виктор слышал, через крик и выкрики, как гудел говор во дворах за низкими заборами и, как языки пламени, женские вскрики поверх гула.

— У, сволочь закопошилася, — и Сеньковский тянул воздух со слюной и вдруг...

Дзлям! — и впереди в окне зазвенели стекла, и как сигнал ударило в душу. К чертям! Посыпалось береженое. Бей! И Виктор сжал кулак. Вон бегут, бегут с факелом — черт его — ножка от мебели и горит сверху рогожа.

— Бей жидов! Мать их в душу... — и вон с маху ломом, ух, дядя какой садит в рамы. Вывеска — «бакалейная».

И вот неистовая нота, отчаянная, острым колом впилась в воздух, и на миг стихло все, и вдруг рванул гул ревом, трещали, взвизгивали двери. Виктор видел, как подсаживали трое дверь ломом — водопроводной трубой, подбежал, рев вошел в грудь, и Виктор дернул лом — сюда, сюда! и засадил у петли. Вали, вали! Красный свет мелькал, мутил тени, едко несло керосином — ух, еще, еще!

Гу-у! — лопнуло! Дверь отскочила, повисла криво над крыльцом.

— Рви! — заорал Виктор. Он дергал дверь, не жалел рук, и вдруг женщина, старуха, кинулась из дверей и стала над ступенями, всклокоченная, рваная, глаза выпучены и руки подняла, вверх вытянула, будто в бездну бросается, рот открыла, кричит, что ли, и трясет в стороны головой.

— Не-е-е! — слышал Виктор, держал дверь, глядел, как страшно мазал свет по лицу старухи, и вдруг визгнул голос: «Бей!» — и сзади махнул лом, и старуха, как бумажная, хлопнулась ничком в ступени.

— Бей их! Га-а! — и уж мимо Виктора из окон что-то летело, и Виктор поддавал ногой какие-то банки, а там рвались, давились, топтались в дверях, и с дребезгом летело что-то из окон. И вдруг вой, в одну ноту. И вон вверх кричат:

— Давай сюдой! Разом!

Виктор глянул — факел метался по крыше, и носились тени.

— Ловят! Ловят! Держи! — всем голосом рявкнул Виктор. — А, держжи, держи!

Виктор бросился во двор.

— Гу-у! — дохнула толпа.

Виктор понял: поймали. Стукнулся в темноте на жестянку — бегом за дом, где тут на чердак, на крышу?

На улице вдруг взвился крик, завился, как хохот.

Виктор бросился назад, к воротам, задрав голову, глядел вверх на крышу. Какое-то тело держали за ноги, за руки, раскачивали у самого края, и мотались внизу фалды.

Визгнули внизу:

— И-и! Задергался, задергался ногами. Ишь, задрыгал. Держи-и!

— Кидай, кидай! — кричали за воротами. Ух, размахнули, метнули в воздухе и с разлету вниз. И на миг смолкла толпа.

— Ой, тотеле! — пронзительно крикнул сзади женский крик. Виктор дернулся, стало дыхание от этого крика, и мигом мимо мелькнула в ворота, толкнула Виктора на лету.

— Ай! ай! йя! — и вырвался голос с душой вместе.

Ревом взрыло толпу, и рев накрыл все.

Виктор выскочил за ворота. Красным светом кидало с той стороны, напротив полыхала крыша, огонь метался на ветру, взмахивали языки.

— Ой, пустите, ой, где папочка! Пустите! — рвался голос через весь рев. И вон кучей возятся. Вавич двинулся на крик, и вдруг опрометью мимо в нашлепке Сеньковский, чуть не сбил с ног, врезался в кучу. Виктора отшибло под окно, тяжелый ящик стукнул в плечо — швырнули из окна — рассыпалось.

— Костыли! Вали! туды его в веру! — Виктор едва отскочил — тяжелый мешок валили из окна.

— Давай, давай! — кричат от ворот, и только тошная женская нота висит, не падает. И опять Сеньковский. Ух, юрко сбил кого-то, хватает с земли.

— Стой, стой! — орет туда к воротам. Виктор с забившимся духом протискивался, где кричала девушка.

— Ой, сестру, ой, не убивайте, не надо, ой, не надо! Больная!

И вдруг завизжала, и голос тонким ножом вонзился в гул.

Виктор был совсем уж близко, рвался, не мог пробить гущи, не видел, что делают, и слышал стук: ухали ворота.

— Давай сюда костыль. Давай, твою в доски! — И заорали сразу, ударом рявкнули голоса — и быстрей застукало, заспешило.

— Давай костыль!.. Враздрай ее, враскоряч... — слышал Виктор.

Визгнул голос.

— Га! Гу-ух! — орали над Виктором с крыльца, глядели красными лицами туда через головы, на ворота. Пялились, тискались наперебой. Слетел один.

— Что? что? — теребил его Виктор, рвал за ворот, кричал в ухо: — Что?

— Жидовку!.. На ворота!.. Прибили! Ух, треплють!

И вдруг рожок медным голосом, и затрясся сигнал над головами. Вавич дернулся, и голова ушла в плечи.

— Фу! Это пожарные!

Вон стали и дымят факелы. Не пускают, не проехать. И с грохотом, скрежетом рухнула крыша напротив, присело пламя, и жарким духом дунули искры, и снова взлетело в небо пламя.

— Ураа! а! — гаркнула толпа.

— Жидов, туды их кровину, бей! бей! — вопил над ухом у Виктора пьяный голос. — Бее-е-ей-йя!

Виктор рванул вперед. Какой-то парнишка тискался под стенкой, две кухонных лампы в руке над головой, и вдруг толпа метнулась навстречу, дернулась. Виктор услыхал через крик сухой стук, и крик спал на миг, и ясно ударили два выстрела: серьезно, строго хлопнули выстрелы.

— Жиды стреляют! А-а! — и высокий вой ветром подул по толпе.

— Где, где? — кричал Виктор и рвался под стенкой вперед, а мимо бежали, спотыкались, и уж чисто впереди, вон огонек пыхнул и — дах! — и еще и еще, с другой стороны.

Виктор вытащил наган, крепко зажал в руке. Опять огонек впереди, и Виктор нажал курок — не нажал, рванул горячей рукой.

— А, так вашу в смерть... — шептал Виктор.

И вдруг сзади выстрел. Виктор оглянулся. Пожар пылал. Кто-то бегом топал сзади.

— За крыльцо! Дурак! — голос запыхавшийся. — Вон еще бегут. — Сеньковский и Виктор два раза подряд выстрелили вперед в темноту. И часто-часто застукали выстрелы, и отскочила щебенка от крыльца.

— А сволочь жидовская! — и зубы скрипели у Виктора. Он стоял в рост и стрелял и на ощупь перезаряжал наган.

— Назад, назад, болван! — Сеньковский дергал за спину. Еще какие-то толпились кучкой сзади. — Назад! — и Сеньковский рывком повернул Виктора за рукав.

Дап! дап-дап! — и огоньки сеяли из темноты.

— Господин надзиратель! Налево в проулок.

Виктор упирался, но уж и второй его тянул за локоть, и Сеньковский дышал перегаром в лицо — ходом!

Виктор натыкался на хлам, на ящики и вдруг глянул вбок — те ворота — и раскинула руки и ноги... висит, как чудом, как приклеенная, и увидал — черным колом торчал костыль из ладони.

— Ходом! Пошли, пошли! — и Сеньковский дернул Виктора вперед.

Будь проклят!

ТАНЕЧКА ходила по паркету от рояля к двери мимо трюмо. Из двери, из столовой, шел свет, и только ее одну видно в трюмо, когда проходит мимо. И Таня проходила и скашивала глаза в трюмо, и цвет, тот самый единственный цвет, рамкой оттенял шею и бросал на щеки отсвет — чуть страшный, неведомого огня.

— И не надо! — шептала Таня и длинными шагами скользила по паркету и вдруг остановилась, подошла вплотную к трюмо, к самому зеркалу присунула лицо и злыми, ярыми глазами глядела себе в глаза, и как воткнулся глаз в глаз и не оторваться.

— И... не... на-до! — громко сказала Таня и отвернулась. — Бабушка! — крикнула Таня, вышла в столовую. — Бабушка! Да бабушка, черт вас дери совсем!

— Чего? Упало чего? — шлепает на бегу.

— Чаю, я говорю, а никто не подал.

— Да стоит же чай, Бог ты мой, орать-то так... фу, убивают, думала. Чай-то вот. Сослепу-то орать...

— Ну, так и садитесь, пейте. Садитесь, говорю, сюда, сейчас же! Ну! Я вам наливать буду.

— Не надо, не надо крепко так, — и старуха замахала рукой.

— И варенья вот вам. В чайное блюдечко! Чепуха, сожрете. Вот полное блюдечко наложу. Вот! Куда? В рот. — И Таня села, и стул пискнул.

— Куда же столько? — и старуха закачала головой, заулыбалась губами на варенье.

— Бабушка! — Таня кричала, как глухой. Старуха глядела, мелкими складками пошел сухой лоб. — Бабушка! Что, если б муж бы ваш или жених вам на свадьбу газету принес? В подарок?

— Как это газету?

— Ешьте варенье! — крикнула Таня. — Газету, я говорю! С самыми интересными новостями! Что царя убили.

Старуха затрясла головой, и глаза в чашку.

— Ну, все равно, с картинками. Газету вот эдакую! — И Таня развела руками круг, и сзади черными крыльями махнула тень, и старуха вздрогнула. — На свадьбу? А? — и Таня встала и со всей силы глядела в старуху. — Что?

— Да не пойму... Газету? Зачем же газету?

— И мне незачем! — крикнула Таня. — И в рожу надо кинуть газету, — и Таня отшвырнула воздух рукой. — Газетчик! С душой надо, а не с... — Таня отпихнула стул назад, с громом, с рокотом, и вышла в гостиную. Села с размаху на диван. Таня бросила взгляд в трюмо. Виден был стол в столовой, старуха без шума доставала ложечкой варенье. Таня стала глядеть в угол в темноту.

— Ой, никак на черном ходу стучат! — И Таня видела в зеркало, как вскочила старуха.

«Стучат, стучат, действительно стучат», — Таня встала и пошла к кухне.

Старуха уж отпирала. Дворник шагнул через порог и стал, придерживал сзади дверь.

— Что вы там шепчетесь? — и Таня твердыми каблуками застукала по коридору. — Что такое?

— А вот говорит, — шептала старуха и наклонялась в такт, — чтоб, говорит, завтра, говорит, иконы на окно поставить, — и старуха выставила ладони, — чтоб знали, что православные, говорит, люди, — дворник глядел старухе в темя, улыбался, кивал головою, — чтоб, говорит...

— А верно, — и голос у дворника вразумительный, — ну, камнем кто. Простое дело...

— Зачем, зачем? — Таня шагнула к дворнику. Но дворник уж всунул спину в дверь, улыбался — такое уж дело... — и закрыл дверь. Таня дернулась к двери, хватилась за ручку.

— Шш! — старуха придерживала дверь. — Он говорит, барышня, говорит, — и старуха зашептала едва слышно, — забастовку завтра делают... русские делают... прямо бунтовать, говорит, все будут.

— Иконы почему? — крикнула Таня.

— Иконы...— но ничего нельзя было расслышать, бился, трепетал электрический звонок в кухне, кто-то часто, прерывисто звонил в парадную дверь. Таня бегом бросилась отворять, и тревожный воздух заходил в груди. Звонок бился, вздрагивал сзади нервной дрожью. Таня быстрой рукой открыла — дама в вязаной шали, улыбается насильно, искательно.

— Простите, одну минутку, на пару слов, — дама озиралась в передней, — я внизу живу. Лейбович. Идемте на минуту, — и она тащила Таню в гостиную, — слушайте, умоляю вас, — шептала Лейбович, — вы же интеллигентный человек.

— Да сядьте, сядьте, — говорила Таня.

— Ой, милая, я не могу. Вы знаете, — и вдруг голос осекся, охрип, Лейбович глотала сухим горлом, — дайте мне выпить глоток, — хрипло говорила Лейбович, и Танечка видела в полутьме, как трясется шаль на голове.

Танечка выпрыгнула в столовую, схватила свою неначатую чашку, и чашка дробно билась о зубы в руках у Лейбович. Она с трудом глотала, поставила чашку на рояль.

— Я вас умоляю, — свежим голосом говорила Лейбович, — дайте нам на завтра, только на завтра, пару икон, вы же понимаете? Только поставить. Вы знаете, что делается на Слободке? Ой! — и Лейбович сцепила обе руки и била ими себя в лоб. — Я не знаю, если есть Бог, то как он может смотреть на это, когда человек, человек не может... человек не может это видеть. Господи, Господи! — и Лейбович с судорогой подняла стиснутые руки. — Это христиане! Это русские! Православные убивают! Стариков убивают... женщинам... беременным... — Лейбович захлебнулась, она вдруг села на стул, вцепилась пальцами в голову. Она вскочила. — Будь проклята, проклята! Проклята эта страна! — крикнула исступленным голосом. — Тьфу, тьфу, тьфу на тебя! — и она плевала как будто в кого-то перед собой и снова бросилась на стул и вцепилась, точно хотела содрать с себя волосы, и, скорчившись, все ударяла сильней и сильней ногой об пол.

— Слушайте, слушайте, — Таня наклонилась, трепала за плечо Лейбович, — кто же это, кто?

— А! Все! Все! Негодяи! — выкрикивала Лейбович.

— Ведь не может быть! Слушайте, я вам — говорю: не дадут.

— Когда! Когда! Кто не дал? Жить не дадут! — и она вдруг остановилась и вдруг подняла на Таню лицо и большими, выпученными глазами смотрела на Таню. Она приоткрыла рот, как будто подавилась. Таня ждала — и вдруг из полуоткрытого рта вышел вой, как будто кто внутри поднялся к горлу и кричал изнутри, громко, на всю квартиру, одной волчьей нотой.

— Воды! воды! — Таня побежала за стаканом, Таня впопыхах смутно слышала, как отпирала старуха парадную. — Валерьянка, где валерьянка? — громко повторяла Таня, хватала баночки в шкапчике. Таня бежала назад, какой-то мужчина уж стоял над Лейбович, старуха с кухонной лампой в руках стояла в дверях гостиной, кисло хмурилась. Мужчина, видно, зажимал ладонью рот Лейбович, и глухо выла спертая нота.

— Простите, — говорил через плечо мужчина, — я муж, я слышал... снизу. Фанечка, тсс-тсс! Не надо. Там же Яша остался...

Но Лейбович мотала головой, и к спинке стула прижимал ее голову муж.

— Пусть выпьет, — совала стакан Таня. Но Лейбович встала.

— Что же, что же это? Что это? — повторяла Лейбович, задыхалась, поматывала головой. — Ой, что же это? Наум!

Она стояла растрепанная, озиралась.

— Ша! — и Наум махнул сердито рукой. — Тихо! — он обернулся к Танечке, он схватил ее под локоть и быстро пошел к столовой. — Понимаете, идет погром. Да, да, настоящий погром. Я зубной врач, внизу. Так я вас прошу, мы в первом этаже — Наум Миронович Лейбович... у меня дети. Сейчас, каждую минуту,— шептал Тане Наум Миронович, — они же не смотрят — дети, не дети...

— Идите сюда, сюда ко мне, сейчас. Скорей!

Таня не договорила, Наум Миронович зашагал к дверям. Но вдруг остановился, вернулся.

— А старуха? Я говорю — старуха, я вижу, чем она дышит, пойдет скажет... дворнику, я знаю... Надо запереть, на ключ надо тот ход.

Таня мотнула головой, пошла в кухню, старуха встала с табурета, глядела тревожно, сердито на Таню. Таня подошла к дверям, повернула два раза ключ и засунула себе в декольте.

— Бабушка! Ко мне в спальню, — Таня вытянула приказательно руку, — сейчас же. Если выйдете — я вас убью!

Таня пропустила старуху мимо — все не опускала руки.

— Не закрывайте дверь, — шептал в прихожей Наум Миронович, — мы по одному и тихо! Ти-хо! — он поднял к уху палец, и Танечка видела, как вздрагивал рыжеватый ус над губой и мелкой рябью трепетало пенсне.

Таня заглянула в гостиную.

— Жена уже пошла, — он осторожно вышел на темную лестницу, шагнул осторожно, как в воду.

Танечка высунула голову в двери. Лейбович шарила ногами ступеньку, и снизу Таня ясно слышала шепот:

— Яшенька, Яшенька, держись за меня, Яшенька, держись, мой мальчик. Там хорошо, хорошо будет. Хорошо, мое золотце!

— Тсс-ссс! — тонко засипел Наум Миронович. И Таня слышала, как маленькие ножки оступались на каменных ступенях.

«52»

САНЬКА Тиктин стоял на посту. На главной улице, против городского сада. Ходил мерно по асфальтовой черной мостовой. Пустые тротуары замерли по бокам, и укатывал в темноту черный асфальт. Санька вслушивался — тишина, покойницкая тишина будто выдула все звуки из темных улиц, и замерли глухие фонари. Санька ходил против высокой «Московской» гостиницы — два окна еще светились в пятом этаже. Санька глянул вверх — уж один только огонь остался.

«Ну и тухни, что, я боюсь, что ли? Пройду вот в переулок, и ничего».

Санька нахмурил брови и крепким шагом пошел в узкий, как щель, проулок. Прошел до угла. Каменно, не по-жилому, стояли дома, и злой губой выставился балкон на углу. Санька свернул по тротуару. Потухло последнее окно в гостинице, и весь темный фасад черными окнами глядел вверх, туда, за городской сад. Мелкий дождик неслышно засеял, шепотком, крадучись, мочил асфальт.

Санька глянул на большие часы, что торчали на кронштейне над часовым магазином, — половина четвертого. Санька стал читать стеклянные блестящие вывески, и тупо смотрели слова, без зазыва, как в азбуке: серебро, камни... Санька огляделся и плюнул в стеклянную вывеску.

«Тьфу! И на всякие фигели-мигели! “в шапке не входят” — да-с. И вот, в шапке выходят и в этой же шапке на посту стоят».

И Санька вышел и стал посреди мостовой... Едут! Санька услыхал далекий стук по мостовой. Вот ясно, громко — подводы, в проулке. Санька двинулся навстречу. Ломовые остановились на углу в проулке. Кто-то соскочил и дернул звонок у ворот. Санька подошел.

— Э, не беспокойтесь, господин студент, — еврейский голос, — я управляющий. Могу показать, хотите, документ — с ювелирного магазина. Да вот дворник, так пусть он скажет.

Дворник уж ворочал ключом.

— Это управляющий Брещанского? — Санька сделал твердый голос.

Дворник не отвечал, он пропускал управляющего, пропускал возчиков.

— Да я спрашиваю, — крикнул Санька, — управляющий прошел?

— Знаю, кого пускаю, — буркнул дворник и хлопнул калиткой.

Санька неистово задергал звонок.

— Сейчас сказать, кого пустил, — кричал Санька. — Сейчас же дам знать в комитет! А черт тебя! — и Санька с яростью дергал звонок.

— Тс! Тс! Не шумите! — и снова управляющий выбежал на улицу. Санька бросил звонок. — Андрей, Андрей! — звал управляющий. Дворник нехотя шагал. — Вот скажите им, кто я. Скажите! Что? Вам трудно?

— Да говорено — управляющий. А он кто здесь, нехай скажет.

— Тс! Тс! — управляющий присел, прижал ладони к уху. Он быстро взял Саньку под руку. — Слушайте, все может быть. Мне сказали, что все может быть. Одним словом, надо перевезти немного товару на склад. И не надо шуму, не надо из этого делать тарарам.

— Почему тайком? — Санька стал, они были на углу.

— Ой! — вздохнул управляющий. Он снял котелок, обтер лоб. — Ну, вы не знаете, так я удивляюсь. А я не могу говорить. Идемте, я покажу документ, и ей-богу же я не имею времени, там товар. Вы же понимаете, какой наш товар? Раз — в карман! — и я знаю? Тысяча рублей! — и он тянул Саньку назад к воротам.

Возчики уж носили забитые ящики, тихо ставили на подводы. Еще какие-то люди в шляпах суетились около подвод. Подводы отъезжали не гремя, шагом, в воротах с фонарем стоял дворник. Санька глядел с угла на работу.

«Черт его знает, а вдруг кража? Спросить, спросить документы? Непременно».

Санька сунулся в ворота.

— Куда? — и дворник взял Саньку за рукав. Санька вырвал руку.

— Да ты!..

— Тс! Ша, ради Бога, — и управляющий бегом подбежал к Саньке. — Что? Что скажете? Документ? — и он бросился рукой в карман. — Вот, вот! — и он тыкал под фонарь паспортную книжку — Гольденберг.

— Да на черта вы стараетесь, квартальный какой, самого в участок...

— Тс! — Гольденберг замахал руками.

— Пятьдесят два! — мазнул дворник фонарем у Санькиного лба. — Скольки вас на фунт? — ворчал дворник.

— Только не надо шуму! — шептал управляющий, и он побежал в глубь двора к освещенной двери.

Было уже почти светло, когда тронулась последняя подвода. Санька прислонился к стене, глядел, как дворник приподнял шапку, поклонившись управляющему. Потом обернулся к Саньке, глядел сощурясь и накосо погрозил толстым ключом, как палкой. И вдруг Гольденберг соскочил с подводы, побежал, придерживал на бегу котелок. Он схватил за руку Саньку:

— Покойной ночи! Я говорю — идите спать! Идите спать, дорогой студент. Ради Бога, идите скорей спать. Ой, честное слово вам говорю. — И он повернулся и быстро засеменил, догонял подводу.

Совсем рассвело, проснулись вывески, заговорили слова. Из большой двери, из «Московской», вышел швейцар. Глянул, сморщась, на небо и перевел глаза на Саньку.

— За городового! — крикнул швейцар через улицу и улыбался, пока Санька кивал головой, что да, да, за городового. Швейцар в пиджаке поверх ночной рубахи, с галунами на фуражке, вот идет к Саньке, стал на краю тротуара, Санька зашагал навстречу.

— А что, ночью тихо было? — швейцар ежился на холоде, совал руки все глубже в карманы. — Тихо, значит. Надрались-то за день. Иди греться, — и швейцар кивнул на дверь. — Аль проверки ждешь? Ну, посля заходи. — И швейцар бежком поспешил к дверям.

Санька бодро зашагал по мокрому асфальту, шлепал в лужи полной ногой. Вот просеменил по панели какой-то в пенсне, спешит куда-то, шеей на ходу вертит. Мальчишка вон какой-то почти бежит. Санька смотрел вслед. Мальчишка оглянулся — еврейчик — кричит что-то Саньке, завернул голову назад. Не понять. Санька улыбался ободрительно, кивал головой. Помахал рукой — вали, вали, мальчик! Мальчишка побежал, заработал локтями. Подвода с грохотом пересекла улицу, ломовой нахлестывал лошадь — та задробила мохнатыми ногами. Было восемь часов, Санька ждал смены. Вон бегут какие-то. По тротуару. Душ пять. Сюда, сюда бегут. Санька остановился, смотрел им навстречу. Они махали руками и запыхавшимися голосами кричат что-то. Сворачивают за угол, кричат что-то Саньке и машут, машут. И вдруг из дали улицы флаги, толпа

ровным строем перегородила улицу, идут, идут, все простонародье будто. Широко, спешно идут, вот уж голоса слыхать, вскрики. Санька стоял посреди улицы, не отрывая глаз, глядел на толпу. Вон впереди в бороде машет на ходу палкой, все, все с дубинами.

— Что это? Что это? — кто-то бросился вбок, бежит наискосок, а впереди маленький, как мышь, бежит — мальчик, мальчик!

Ахнула вскриком толпа — догонит, догонит! Санька бросился вперед, глядел на мальчика, видел, как оскалилось лицо, и вмиг мелькнула дубина, и мальчик с красным потоком из головы пролетел мимо Саньки, и красная полоса за ним на черном асфальте.

— Бей! Бей студа! — и сразу вырвалось много, и Санька глянул в глаза — все, все могут, и живая предударная радость.

Санька стал на бегу, и вот один уж набежал, стал в одном шагу и замахнул за спину железную полосу, глазами втянул в себя Саньку — миг — тянет назад — далеко замахнул — тяжелая, от ставней. И еще бегут. И вдруг сама нога Санькина брыкнула, ударила в живот того, что с полосой. Санька не чуял силы удара, его повернуло и понесло прочь, будто не ноги, а сам несся, ветром, духом, свистело в ушах, и страх визжал сзади.

— Бей! Бей жидов!

Санька видел только впереди швейцара у дверей, будто манит рукой — у «Московской», он влетел, внесло его в двери, он не заметил, как внесло на третий этаж. Он слышал, как страх грохотал у дверей, кто-то бежал по лестнице, и хлопали испуганные двери в коридорах. Какой-то военный бежит по коридору, застегивается.

— Туда! Туда! — машет Саньке в конец коридора, и Санька побежал по коридору, и вон дверь открыта, женщина, дама в дверях, отступила, пропускает.

— Сюда! — как издалека слышит Санька. Он сел на диванчик, глядел на даму и на все вокруг, и тер руки, и как будто сто лет уж эта дама смотрит на него, сдавила брови, рассматривает. Говорит что-то. Непонятно. Не слышно.

— Шинель, шинель скиньте! Шапку сюда! — Она сама сняла шапку, и Санька сдирал с себя шинель, как в первый раз в жизни, отдирал рукава от рук, как приросшую шкуру.

— Хорошо, что штатское на вас.

Санька вертел головой, оглядывал все, и глаза не могли остановиться.

Дама вешала пальто в шкаф.

— Мой муж сапер, подполковник, никто не посмеет! Сядьте! Сядьте же! — и она пригибала за плечо Саньку к стулу.

И вдруг с улицы крик ударил в окно. Дама проворно вертела ручку, распахнула балкон, и свист и вой полохнул в комнату.

— Прошли! Прошли! — крикнула дама Саньке и помахала рукой.

— Фу! Не могу! — вдруг крикнул Санька. Он, как был, без шапки, бросился вон из номера.

Он сбегал вниз по лестнице, — перегнувшись через перила, саперный подполковник громко говорил, отдувался:

— ...и никого не выпускай тоже!.. Вовсе... дверей не отпирай! Понял?

И он поднял голову, увидал Саньку, пошевелил бровями.

— Дай-ка лучше ключ сюда!.. Мне дай ключ! Давай!

Швейцар подымался вверх, подбирая спереди полы ливреи.

Заперли! И радость тайком пробежала под грудью, и Санька неспешно шагнул с последних ступенек в шум голосов внизу в вестибюле, люди быстро, глухо говорили все вместе, в пиджаках поверх ночных рубашек. В купальном халате, с актерским лицом, толстый тряс серыми щеками и говорил: «Погром, погром, кишиневский погром... кишиневский...»

— Где же полиция? Где полиция? — дама дергала Саньку за руку, придерживала на груди капот. — Скажите, что же смотрят?

Мужчины теснились к стеклу двери, присели, головы в плечи.

— Да не напирайтеся на дверь! — вернулся швейцар. Он отталкивал, пихал ладонью в грудь людей, а они не отрывали раскрытых глаз и пятились. — Да камнем кто шибанет, и тогда... — швейцар вдруг оглянулся на топот за окном.

— Казаки! Казаки! — крикнули сзади.

Швейцар схватился за вторую дверь, Санька помог отодвинуть людей и помог припереть дверь, хоть и не надо было. Швейцар вертел ключом, он глянул на Саньку и чуть мотнул головой, сказал тихо:

— Пятьдесят второй? — и мотнул головой, чтоб идти.

Санька шел за швейцаром, и мутный воздух бился в груди, и как будто задохнулась голова и ноги не свои, чужие пружины. Швейцар снял с доски ключ, пошел на лестницу. Санька шел рядом, и ноги поддавали на каждой ступеньке. Швейцар открыл номер, пустой, прохладный, и вот дверь, угловой балкон.

— Отсель видать, — сказал швейцар тихо.

Санька глядел из безопасности, со второго этажа, швейцар стоял рядом.

— Скамейку из сада волокут, ух ты, мать честная!

Казаки стояли в строю на той стороне у городского сада, казачий офицер переминался на лошади, а впереди густая толпа, и вон сквозь толпу колышется на руках скамейка, тяжелая, серая — вон четверо несут, к магазину, к ювелирному, Брещанского. И от крика загудели в номере стекла.

— Гляди! Гляди! — швейцар встал на цыпочки. — Ух ты! Раз!

«Грум!» — ухнула железная штора в окне магазина. Санька смотрел, как четверо размахивали скамейкой, били, как тараном, другие садили ломами под низ, видел, как стервенели, краснели лица, тискались к окну еще и еще.

— Собьют, собьют, истинный крест, собьют, — шептал швейцар, — сносчики, ей-богу, сносчики это... вот истинный Господь, собьют...

Вдруг камень ляпнул в большие часы над тротуаром, и стекло дребезгом посыпалось сверху, и пустота с палочкой оказалась в часах, как обман. И в часы полетела палка — обрезок трубы, под часами уж пусто, и еще, и еще летят камни в часы, и вдруг все сперлись, хлынули к окну.

— Говорил, собьют! — кричал швейцар. — Ух лезут!

«Что ж я мог бы сделать? Что сделать? — и Санька топнул ногой, и нога дернулась и подкинула Саньку. — Фу, черт!» — Санька отошел от окна, шагнул шаг и снова круто повернул к окну.

— Пойду, пойду! — громко заговорил Санька. — Есть ход? Есть? — дергал он швейцара за плечо.

Швейцар глядел.

— Чего это?

— Ход, ход! Ну, черный ход, есть? Есть же? Я не могу, понимаешь?

— Насчет чего идти? — Швейцар мигал глазами. — Куда же идти?

— Пошли! — Санька схватил швейцара под локоть.

— Ну-ну... чего? Не надо.

Они вышли на лестницу, снизу подымался густой говор, крик, и колкой икотой всхлипывала женщина:

— Айп!.. айп!

Санька рвался за швейцаром через людей, сквозь слова и крики, мимо этого вопля женского.

— Да здесь, здесь, в двух шагах, на Круглом базарчике убивают! — губами выпихивает слова совсем белый человек. — Пойдите, — мотнул вверх головой, — от меня видно, — и сверху втек холод в Саньку, но он рвался за швейцаром.

— Да не лезь так, — и швейцар в узком коридорчике рвал пальцем за крахмальный воротник, и Санька срывал, выпутывал воротник, галстук. Остановился, обрывал манжеты.

— Стой! Картуз, сейчас картуз! Стой тут! — и швейцар бросился бегом назад. Санька чувствовал, как руки то слабели, то рвали полотно, как бумажку; швейцар уже надевал картуз Саньке на голову.

— Ворот вздыми — так! Хорош! — Швейцар отомкнул дверку, ступенька вверх, вот дворик, и вон через забор высокий дом в проулке и люди во дворике вверху — там балкон, и люди мечутся на балконе в четвертом этаже, в высоте. Санька подошел к воротам, и вся кучка людей присунулась к нему, вцепилась глазами. И дворник, с бляхой — дворник.

— Кто есть?

— Пусти, по делу, велено! — Швейцар, должно быть, кричит. Санька смотрел только на ворота, и дух колом стоял в горле. Дворник лез ключом в замок и прицеленным взглядом держал Саньку. — Пущай смело, свой человек!

Они!

ВОРОТА чуть приоткрылись, и Санька ступил в проулок. И в ту же минуту сверху с балкона напротив:

«Дап! дап!» — стукнули револьверные выстрелы. Санька видел, как человек совсем присел к балкону и стрелял через решетку, руку вбок. Стреляли туда, где стояли у городского сада казаки. И толпа отхлынула за угол. Санька сделал несколько шагов под стенкой, и вдруг сзади громом в проулке ударили, лопались выстрелы. Санька вжался в стенку, в дом. Он видел краем глаза, как стреляли с коней казаки, в проулок, вверх, в окна, вдоль улицы. Санька видел ворота напротив. Старик-еврей, с белой бородой, белыми худыми пальцами царапал железные ворота, скреб судорожно щелку и вот затряс головой и тычет, тычет пальцем в замочную дырку и вертит, как ключом, и бьется на месте всем телом о ворота — насквозь, насквозь хочет. Заклецали подковы, казак едет, карабин в руке, увидит, сей-

17—3207

час увидит. Санька вжал затылок в камень, глядел на старика, старик замер, лицом в ворота.

— Что стоишь? Жид, что ли? Эй! — Саньке это кричит и карабин поднял. — Крестись, такая мать, коли не жид!

Санька смотрел в самые глаза казаку, за десять шагов видел, как рядом, серые глаза со смешком:

— Жид?

Санька перекрестился. И без веса рука, как воздухом обмахнул себя Санька. Казак повернул на месте, все лицом к Саньке и рысью тронул назад. Санька глянул на ворота, еле увидал недвижно черное пятно на черных воротах.

Санька глядел вслед казаку. Толпа снова стояла против проулка. Офицер торчал над толпой, избочился на коне. Вон несут, тычут что-то вверх офицеру. Санька видел, как блеснул большой будильник. Офицер взял в руки и вдруг замахнулся и с размаху шаркнул будильник.

— Го! — крикнуло, покатилось по толпе, все смотрели на офицера. Санька отстал от стены, засунул в карманы руки и пошел по проулку прочь. И спина ловила все звуки сзади — до угла бы, до поворота! — думала голова, и глаза знали, какой ногой ступит за угол.

Санька уж подходил к углу — четыре раза ступить, и не в ухо, во все тело сразу ударил крик оттуда, из-за угла, рык с кровью в глотках, и оступилась нога. И вдруг топот дробный за углом, и вылетел человек без шапки, и глаза, как вставленные, одним мигом его видел Санька, и следом вразброд, кучей топали, свистели, пронеслись. Санька отвернулся и быстро шагнул дальше, дальше, за угол. Бросают что-то с балкона, валят кучами и внизу ревут, скачут — чего это скачут на одной ноге? Это брюки валят из «готового платья» — надевают брюки, скачут. И вдруг глаза упали вбок, на край тротуара — человек лежит, тушей вмяк в камни. Искал лица — из кровавого кома торчали волосы — борода, и вон белая ладонь из лоскутьев. У Саньки глаза хотели втянуться назад, в голову, пятились и не могли отойти от крови. Идет какой-то, шатается, раскорячился, тугие ноги: штанов много, и вдруг стал над этим. Санька видел, как мигом вздернула лицо ярость.

— А, жидовская морда! Жидера, твою в кровь — веру, — и железной трубой с двух рук с размаху ударил в кровавое мясо, где была голова, и молотил, и брызгало красное, вздрагивало тело. — У! Твою в смерть...

Санька глядел, куда, куда выйти, и рука вздрагивала под подбородком, где держал воротник.

— Стой, где ты такой достал, ттвою в петуха!

Кто-то дернул сзади за локоть. Санька не оглянулся, высвободил руку и шел, шел наискосок, вон, туда, в улицу, вон с Круглого базара, и ноги спешили большими шагами. Нет! затор, не пролезть — кучей у магазина, машут, орут — ух, рев какой! — в разбитое окно прут. Санька выворачивался из толпы, горячим потом сперло вокруг, и рядом кричал хрипло в ухо:

— Уй, угара! Поклал жиденят у корыто, толчет прямо, ейбога, у капусту — двоих.

— Трох! Ой, и работа ж! Толкеть! Толкеть! — заорал впереди, и вдруг все зашатались, кричат сверху — свист, и все шарахнулись. Санька побежал, и следом за ним черное махнуло в воздухе. Санька успел увидеть пианино, и грохнуло сзади, как взрыв, и неистовый крик и свист в толпе, и сразу треск и стекольный всхлип пошел по площади.

«Не бежать, не бежать, — твердил себе Санька, — только не бежать и скорей вон», — и борода из кровавого мяса торчала и шаталась тут, как полоса через глаза, и вот в пустой, совсем пустой улице, и по свободному тротуару шагают ноги, и все быстрей и быстрей, и рука прилипла под воротом, как приклеенная. Кто это? Кто они? — из-за угла, навстречу. Студенты? Ну да! Сумасшедшие! У Саньки нога уже дернула вбок, на другую сторону. Идут быстро, гуськом, по двое, по трое. Санька стал в сторону — красные лица какие — вон впереди в расстегнутой шинели, всеми глазами смотрит вперед — и револьвер, огромный револьвер вниз опустил в руке, чуть не до пола.

И Санька крикнул:

— Рыбаков!

И студент глянул — очень похож, как будто снят с Рыбакова, но красный и глаза... И Рыбаков мотнул головой назад, а глаза все те же — выставлены вперед.

— Там казаки у городского сада, — говорил Санька и не слышал своего голоса — горло само хрипело и слова сухие чиркали по воздуху. Санька шел со студентами, все молчали, шли туда, откуда свернул Санька.

Все красные, будто не идут, а суются ногами. Свернули, и как ветром, дунуло из улицы навстречу треском кромешным, свистом, ревом, дребезгом. Рыбаков пошел, пошел, вобрал голову в поднятый ворот, через улицу, наискосок. Вон уж видно — ма-

шется все, ревет как полымя, и студенты гуськом за Рыбаковым косой линией через улицу, и вон поднял руку Рыбаков, сейчас выстрелит. Готово! Дымок дунул из револьвера — не слышно выстрела за ревом — и все, все пошли палить — прямо в толпу, в орево, в треск. И как ничего — все круче будто завертелось.

«Гух!» — с балкона грохнуло тяжелое. Еще, еще валят. Увидали! Увидали студентов — кинулось несколько, бегут. И дымки, дымки — упали двое — и вдруг другой голос пошел от толпы — бросятся? Санька стоял, как приклеился к мостовой. Часто, дробно — слышно, как щелкают выстрелы, уж покрыли рев, поверх крика бьют, и завыло, заголосило тонко, и уже нет впереди никого. Санька перевел дух — нет, бежит Рыбаков вперед, к углу, к площади, и студенты. Вон стал один — тычет рукой, заряжает, и вон Рыбаков уж за углом, и Санька двинулся и вдруг побежал туда за угол. Рыбаков под балконом, на обломках, на досках. Санька не понял, что делает он, толкнул с разбега Рыбакова, он полетел, скатился с рухляди и сзади крикнуло и разорвалось осколками зеркало. Рыбаков вскочил, озирался и вдруг крик хриплый — «казаки» — и вон по площади, из проулка, не могут по лому вскачь.

«Назад!» — Рыбаков взмахнул рукой и в тот же миг грохнули выстрелы — громом рвались, рассыпались в домах. Рыбаков махал рукой назад, — студенты бегом гнали в улицу, за угол, направо, — какие-то прохожие, ворохи шапок в руках, Санька плохо видел их. Теперь налево, — студенты прятали на ходу револьверы, — руку за борт, в пазуху. Что это? У Рыбакова, у Рыбакова! Голубой околыш черный весь сзади — кровь! Ничего — идет, широко идет впереди. Слышно сзади в той улице подковы по мостовой, — бегом! за угол — Соборная площадь — вразброд всякие ходят.

— Они! Они! — кричит кто-то. Санька оглянулся, узнал: дворник тот самый, Андрей, где товар вывозили — тычет, тычет вперед пальцем, пробивается меж людей и все оборачивается. И вдруг Рыбаков перебежал через угол на тот тротуар и за ним в гуще все, и уж на том тротуаре. Санька видел, как сбился народ сзади.

— Бей! Бей их! Жидов!

И вдруг Рыбаков выхватил из-за пазухи револьвер, махнул — все вынули, все студенты — и пятятся, все попятилось назад, и студенты отходят задом к домам. Но — что это все вбок глядят, не на них, а вбок? Санька увидал, как бежали серые шинели, сбо-

ку, с площади. Вдруг стали — шарахнулась вбок толпа. Целятся солдаты — студенты дернулись куда-то, где они, где? Санька озирался и вдруг опрометью бросился назад к дому, влетел в открытые ворота за выступ. Дверь какая-то, человек в белом, в халате каком-то, дернул Саньку за рукав, втолкнул в дверь, втащил куда-то, темно — Санька не понимал, куда его тащит человек.

— Сюда, сюда! — шептал человек.

Вот светло, комната. Женщины какие-то тоже в белом — и банки, банки по стенам — перевязывают. Всех перевязывают. Санька тяжело дышал, а его толкал человек на табурет, и вон уже быстро, быстро крутят на голову бинт, и что говорят, не понять, не по-русски, быстро, быстро — по-польски, что ли. Вон из белого глаза торчат, точно остановились, как воткнулись.

— Где это, где это? — сухим горлом говорил Санька.

— Аптека Лозиньского, здесь аптека. Ложитесь — прямо на пол под стенкой, скорее.

Саньку за руку вела к углу барышня в белом, крепкой ручкой, нахмуренная, красная.

Санька лег на белую простыню на пол, и вдруг за окном шарахнули два выстрела.

— В аптеку не стреляют! — и человек в белом помотал головой. — Не! Пугают. Они знают, где можно. Лежите! — крикнул и быстро вышел в дверь.

Рядом с Санькой лежал человек в штатском, голова как шар, в бинтах. Он хрипел, и дергалось все тело. И вдруг он вскочил, как пружина, заскакал ногами — как в мешке и — Ва! Ва! — пронзительно вскрикивал, звенело в ушах — все дернулись, из дверей выскочил фармацевт в белом, он ловил человека, а тот дергался вверх — взлетал на пол-аршина, взметывал руками. Санька бросился — человек с неимоверной силой изгибался, как огромная рыба, — его держали на воздухе, он вырывался у пятерых.

Санька отрясывал голову от крика и все сильнее, сильнее сдавливал больного отчаянными руками.

Руки

ТАЙКА шла из сарая через двор по грязи — фу! в русских сапогах, и Тайка поглядывала на калитку — не может быть, а вдруг войдет и увидит такую, и платком голова замотана — прямо узел с бельем! — и Тайка скакала, шлепала через грязь скорей к

крыльцу, а рукой глубоко в кармане сжимала рубль шесть гривен, в другой — вихлялся, визжал на ручке подойник.

Всеволод Иванович сидел перед самоваром, ждал, пусть нальет, пусть сядет напротив: с блюдечка тянет и каждый раз волосы в чай — выбьются и падают. Скажешь, и ручкой замахнет волосы назад — совсем как мать бывало, и пальчики легкие — шмыг в тонких волосах.

— Тайка, ты? Ну-ну, шевелись! — и Всеволод Иванович постукал ложечкой о блюдце. Слышал, как Тайка стягивала в прихожей сапоги, как бренчала рукомойником. — Что это? За молоком приходили?

Красная какая. Краснеет все она последнее время, сразу, как ошпарится.

— Парное, говоришь, им вот надо? А как платить, так вторая неделя ведь... Куда это ты? Да масло на столе. На столе! Здесь масло! — крикнул Всеволод Иванович в дверь, перегнулся в кресле. — Здесь, говорю. Подрала куда-то, — сказал уже вполголоса.

Тайка вошла бледная, глазами хлопает. Всеволод Иванович украдкой глянул из-под бровей — делается все с ней что-то, хоть бы уж сделалось! — и тихонько сунул свой большой стакан к самовару. Тайка глядела вниз, в посуду, и руки подрагивали, когда чай наливала. Всеволод Иванович повернулся к окну.

— Заходили чего-то. Заходили, говорю, чего-то нынче, — громче сказал Всеволод Иванович. — Вон уж который, — и он кивнул на окно.

Тайка мотнула головой в окно.

— Заходили, говорю, — повторил Всеволод Иванович и глянул на Тайку.

— Говорила... приходила... говорила, — Тайка засуетилась глазами по столу, — нынче в театре экстренный дневной вечер и читать будут... распоряжение, что свобода... и концерт, — и Тайка села и сунула в рот кусок хлеба.

— Какой вечер? Распоряженье читать? Кто это говорил-то? И концерт при чем? — Всеволод Иванович в упор смотрел Тайке в темя, а Тайка замотала над блюдцем головой, совсем к столу припала. — Свобода? Кому это вдруг свобода?

Тайка вдруг встала, и слезы на глазах, и лицо в сторону завернула, и в свою комнату, с куском непрожеванным.

— Таисенька!

Тайка дверь за собой толкнула.

Старуха заворочалась у себя.

— Дурак! Ах, дурак, Сева! — и с горем каким вздохнула!.. Всеволод Иванович хотел встать, но куда ж идти? Ни к одной.

— Уж родился дураком, — ворчал Всеволод Иванович и вертел громко ложечкой, — в сына твоего пошел, видно, в Виктора... в Виктора удался уж... таким умником.

Всеволод Иванович разом плюхнул горячий чай в блюдце, перелил на скатерть.

— Был бы умным, — тише говорил Всеволод Иванович, — не родил бы квартального... умудрил Господь... бог Саваоф... и Пресвятая Троица. Дурак и есть! — крикнул Всеволод Иванович. — И нечего с дураком разговаривать.

Всеволод Иванович встал и нарочно во всю мочь ткнул назад кресло, пошел к себе в комнату, оставил чай на блюдечке. Самовар один стоял и плевался громко сквозь дырочки.

Тайка села с размаху на стул, уперла локти в столик, в закапанное сукно, и расползлись, разрябились знакомые черные пятнышки сквозь слезы. Самые знакомые пятнышки, кляксы, и смотрели осторожно на Тайку. Обтерла слезы и пальцем стала обводить пятнышки.

— Самая, самая я несчастная, — и губы дрожали, говорила шепотом.

«И волосы, как мочало, желтые, прямые, — Тайка дернула себя за мокрую прядь, — все дуры несчастные, у кого волосы как палки». — Тайка всхлипнула, легла на стол, на руки головой. Глаза закрыла. «И вдруг пройду мимо барьера — они там внизу — шумит, шумит театр голосами, хлопают, хлопают голоса. А он там, к углу, и в ноты глядит и пробует — усами над флейтой. И вдруг пробежит, как ветер свежий поверх всех, как ветер в саду по деревьям и вдруг вверху затрепещет — и улетел ввысь» — и Тайка выпустила сбившийся воздух в груди. — «А потом говорит с товарищем, и ничего, ни словечка не услышишь, и вдруг, вдруг глянет наверх и увидит. И только б успеть головой кивнуть». — Тайка уж подняла голову, уж всеми глазами глядела в подоконник, а Израиль поворачивался, смеялся товарищу, и в ушах подъемный говор толпы. Тайка встала, переодевалась и все глядела туда, в подоконник, в угол. — «И так, так погляжу, что все, все услышит, все! Пусть скажет: Тая! на ухо шепотом».

— Та-я! — сказала вслух Тайка, испугалась, огляделась. Совсем готова. Глянула в зеркало — фу! красное лицо, будто девчонка набегалась. И глаза блестят — будто кузнечика поймала

и рада, как дура какая. Тайка тыкала пудрой в лицо, было лицо уже меловое, а Тайка все еще зло тыкала пушком нос, подбородок, и пудра сыпалась на платье. Тайка глянула на дверь и достала из домашнего платья рубль шесть гривен, осторожно, не бренча; положила в кошелечек. Стряхнула с платья пудру. Мигом вышла, мигом натянула пальто. Будто мама зовет. Тайка нарочно стукала ногами, набивала калоши и хлопнула дверью — быстрым шагом мимо собаки в калитку.

На улице верно: заходили, идут все в город, и Тайка скорее запуталась в народ — еще начнет от ворот орать на всю улицу — Таиса!

Тайка обгоняла всех, не смотрела, кто идет, не оглядывалась.

— А потом утоплюсь! — вполголоса сказала Тайка навстречу ветру.

Билась над бровью желтая прядь — пускай! все равно — веселые волосы. Тайка мотнула на ходу головой.

«Если б я была знаменитой актрисой или балериной какой-нибудь, и все б смотрели...» — Тайка храбро закинула голову чуть вбок, поправила на голове круглую шапочку, и вдруг опять слезы проклятые. Ух, проклятые, проклятые! Тайка была уж на площади, трясла головой, стряхивала слезы — скорей в городской сад, чтоб не видели. Тайка не замечала, что густо, очень густо толпился народ; она пробивалась в ворота сада, — в саду никого не бывает. А в саду народ, гимназисты какие-то — полным-полно. Нет, хоть не глядят. Все глядят вон туда. Тайка достала платок, сморкалась и слезы заодно — тайком, незаметно вытирала. Что это? Торчит какой-то. Гимназист на скамейку, что ли, встал. И все туда глядят. Скажите, каким барином стал и руками, руками-то как. Подумаешь! Но сзади напирали — о! и семинаристы. Гимназистки, хохотушки противные, и Тайке боязно было, что глядеть станут, что ревела, и пудра вся пропала. Чего это он?

— Что ж нам предлагает царское правительство? — слышала Тайка высокий голос в сыром глухом воздухе. — Оно предлагает нам не Учредительное собрание, которого...

«Да это Кузнецов, — вдруг узнала Тайка, — Сережка Кузнецов, он в эту... в Любимцеву-Райскую влюблен, букеты на сцену кидал и все в оркестр попадал. Выгоняли, говорят, из гимназии».

— Что такое, что такое? — громко говорила Тая, на нее шикнула гимназистка — ух, злая какая! Фу! злая! — и Тайка стара-

лась выбраться из толпы и осторожно сверлила плечом, как бывало в церкви.

«Началось, а вдруг началось».

Не дотискаться к воротам, и прут, прут навстречу, сбивают назад, и уж по траве, по кустам, как попало, ломят прямо. Закричали там чего-то. Тайка оглянулась: на месте Сережи уже какой-то бородатый. Фу! не узнала — доктор! доктор Селезнев, и все в ладоши забили. Тайка снова рванулась к выходу — ох, наконец! Свободней на площади. Ой, давка какая у театра. Ничего, через артистическую дверь, ничего, пожарный там, он знает, пропустит, и Тайка бегом перебежала свободный кусок площади. Дернула дверь — заперто. Тайка дернула еще раз ручку, рванула еще. Идет — вон в каске уже — пожарный, началось, значит, если в каске, а то в фуражке он с синим околышем, с кокардой — говорит за стеклом, не слышно.

— Пустите, ради Бога, на минуту! — кричала Тайка в самое стекло, стукала пальчиками. — Пожалуйста! Очень! Миленький, золотой!

«Отмыкает, отмыкает! — нет, приоткрыл только».

— Барышня, — говорит в щелку, — не надо, идите домой, домой ступайте. Нехорошее сегодня.

— Ничего, на минутку, я сейчас назад, домой, ради Бога, миленький. — И Тайка ухватилась за створку дверей, вцепилась пальчиками — пусть прищемит.

Пустил!

— На один момент, — кричит вдогонку, — эй!

А Тайка бежала уж по лестнице, и вот он, коридор, — пусто, слава Богу! — вот дверь, французский замок, а там уж за дверью гул, так и бурлит, так и барабанит в дверь — народу-то, должно, и Тайка повернула замок, с трудом пихнула дверь — и яркий плеск голосов обхватил голову. Тайка захлопнула за собой дверь. Гуща! Вот гуща — как никогда. Вяльцева приезжала, и то такого не было — и не сидят, все вплотную стоят в партере. А в ложах-то! Вывалятся сейчас через край. Тайка вспотела, раскраснелась от давки, от толчеи. В зале все в пальто, в шапках. Тайка пробивалась к барьеру оркестра. Что это? Там тоже полно и тоже в шапках, шляпы, фуражки, и все головы шевелятся, вертятся — и нет, совсем нет музыкантов. Тайку придавили к барьеру, а она все вглядывалась в головы внизу — может быть, он тоже в шляпе, как все. Тая искала котелок, тщательно просматривала по кускам, будто искала на

ковре копейку. И вдруг все захлопали. Тайка увидела, как поднялся занавес.

На сцене стол с красным сукном, и сидят вокруг, как на экзамене, — и вдруг встали все за столом, и в театре все хлопают, хлопают, и кто-то кричит за Тайкой зычно, по слогам:

— До-лой са-мо-дер-жа-ви-е! До-лой! — как стреляет.

Один за столом поднял руку — стали замолкать, тише, тише. А этот вдруг по тишине зыкнул:

— Долой са-мо-державие!

И тот с рукой со сцены улыбнулся весело и снисходительно в его сторону.

— Господа! — крикнул со сцены и опустил руку. — Господа! Первым долгом я считаю нужным огласить акт... то есть манифест, данный семнадцатого октября...

— Известно всем! — гаркнул за Тайкой опять этот зыкало, и все закричали. Ух, шум какой невообразимый. Нет, нет котелка, или не нашла. Стихли опять.

— Господа! — опять крикнул со сцены — кто это? Тайка глянула — знакомый будто? Да, да, из управских, из земской управы, как его — статистик! — вспомнила Тая. — Гос-по-да! Объявляю митинг открытым. Слово принадлежит товарищу Кунцевичу.

Вышел худой из-за стола вперед, высокий, с бородочкой. — Громче! громче! — орут все. А он краснеет. Что же это?

— ...свобода союзов!.. — услыхала Тайка. — Свобода объединяться...

«Вон! вон котелок, вон там за серой шляпой». — Тайка дернулась вправо, протискивалась вдоль барьера.

— Куда несет? Да стойте на месте! — и Тайку спирали, не пускали, и прямо уж перед нею надрывался хриплый голос Кунцевича:

— Мы требовали самодержавия народа! Народоправство!.. царь... правительство...

Тайка уж видела, что это он, он — крохотный кусочек щеки увидала меж голов — он! он! — Тайка вдавилась в толстого по дороге, его бы только перейти. Тайка не спускала глаз с Израиля.

Мигнуло электричество. Еще раз — притухло — можно было просчитать три. И что это кричит кто-то сверху? И вон со сцены все глядят вверх, на галерку, кто-то машет руками: всех как срезало голосом этим; все обернулись, и только шелест на миг — и вот крик сверху:

— ...а в городском саду конные стражники! Избивают! Нагайками детей!

Гулом дохнул театр, и крик поверх гула:

— На площади полиция! Конные жандармы! Театр хотят! под-жечь!!

Крикнул он со всей силы. И сразу вой набил весь театр, вой рвался, бился под куполом.

Тайке казалось, что сейчас не выдержит, оборвется и грохнет вниз огромная люстра под потолком, ей казалось, что свет задергался, задрожал от крика. Она видела, как дернулись все там, внизу, в оркестре, черной массой сбились вправо и в маленьких дверках вон, вон, душат, душат человека, спиной к косяку. Мотает головой, рот открыл, глаза вырвутся! Тайка заметалась глазами, где Израиль? Что это? Израиль выше всех, под стенкой, под самой рампой. Встал на что-то, на стул, что ли. Стоит и футлярчик под мышкой. Но в это время Тайку сзади прижали к барьеру, совсем сейчас перережут пополам — впились перила. Израиль смотрит прямо на нее, брови поднял и машет рукой, каким-то заворотом показывает. Тайка со всей силы старалась улыбнуться — Израиль что-то говорит — одни губы шевелятся и усы — ничего не слышно — но ей! ей! Тайке говорит, Тайке рукой показывает. Ух, какой он! Приказательный, как папа прямо. И вдруг отпустило сзади на миг, и Тайка дернулась — ноги онемевшие, как отрезанные, и все-таки ноги поддали, и Тайка боком вскарабкалась на барьер и перевалилась. И вдруг за ней следом, сбоку, справа, слева, полезли люди, бросились, будто вдруг открылось, распахнулось спасение — они бросались вниз, прямо на головы, на сбившуюся гущу людей, топтали сверху ногами, потом проваливались и руками взмахивали, как тонут в реке. Тайка держалась за барьер, ноги нащупали карниз, на той стороне — Израиль! Израиль! Израиль рукой, ладонью и футлярчиком оттирает от себя, будто прижимает ее к барьеру, притискивает через воздух, через дикий вой и говорит, говорит, широко говорит, ртом — скоро, скоро. Тайка глядела, держалась глазами за Израиля, а он выставил вперед руки, будто придерживал ее, чтоб не упала сверху. У Тайки немели руки, кто-то наступил на пальцы сапогом. Громадный мужчина ворочался внизу, он был уж без шапки и тяжелыми ручищами рвал соседей за лица, прорывался вперед к узкой дверке оркестра — красная шея, совсем красная, мясная, он вертел головой, потом вскинул руки, стал бить себя по

темени, неистово, со всей силы. И вдруг вмиг стало темно — как лопнул, не выдержал свет. Крик притих на мгновение и взорвал последним оглушительным ревом — у Тайки задрожали руки. Она смотрела в темноту, в ту самую точку, где был Израиль, смотрела со всей силы, чтоб не потерять направления. Тайка не чувствовала рук, но руки держали, как деревянные, а внизу будто кипит, ревет огонь — сорвусь — конец, как в пламя, а там, на той стороне, — Израиль, и казалось, что видит, как он руками придерживает воздух, чтоб она не упала.

Кукла

ВСЕВОЛОД Иванович не хотел выходить, не хотел сходить со своего кресла; как взбесились бабы — не повернись, все не так, все дурак выходишь. «Валяйте, валяйте сами... без дурака, без идиота старого. Пожалуйста!»

Всеволод Иванович даже ногу на ногу закинул для независимости и сгреб со стола книгу, не знал еще какая — забыл, обтер пыльный переплет об ручку кресла — поскорей бы раскрыть. Всеволод Иванович без очков, ничего не видя, смотрел в раскрытую книгу, раскрыл, где открылась, серым туманом глядела печать. Глядел, солидно хмурился в страницу. Очки в столовой оставил! Всеволод Иванович пошарил глазами по столу. Ага! Лупа, большая, чуть не в четверть аршина, лупа в оправе, с деревянной ручкой, и Всеволод Иванович рассматривал огромные буквы и мшистую бумагу: «идучи тою линией, бра́ты были перпендикуляры. Так гласит донесение первой российской землемерной партии в царствование...»

Хлопнула наружная дверь. «Ушла. Ну и уходи. Уходи от дурака. Дурак ведь», — вполголоса сказал Всеволод Иванович и положил книгу на стол, стал скручивать папиросу. Огорчительно крутил, не спеша. Заслюнил аккуратно, оправил, вкрутил в мундштук.

— Отчего ж? Можем и болваном жить. И оставьте болвана в покое... — говорил тихонько Всеволод Иванович и шарил в кармане спички. «И на столе нету. И вечно затащут последнюю коробку. Черт их совсем дери! А потом дверью хлоп — и подрала — фюить хвостом. Красавица Гренады!» — и вдруг замкнулась душа; сразу все слезы ударили в горло: ищет бедненькая! Ищет приласкаться, счастья ищет, копеечного, ситцевого...

счастья ситцевого... распинает ее всю. Маленькая была — куклу, куклу просила, с волосиками, чтоб причесывать, — куклу ей надо было, чтоб обнять, чтоб прижать, придавить к груди и лелеять до слез, и собирался, собирался — купил, и как вся покраснела, схватила, не глядя, ушла, забилась, не найти, чтоб не видели. Там и любила где-то свою куклу, пеленала, расчесывала. Всеволод Иванович с силой хватил кулаком по стулу, и прыгнули старые сургучики и циркуль без ножки. «А что, что я ей помогу! Сама теперь побежала. Фу, как дурак, на слезы слаб стал. Господи! твоя воля святая!» — вдруг за пятьдесят лет первый раз перекрестился Всеволод Иванович, один у себя в комнате.

И обступило время Всеволода Ивановича, и он раскрытыми глазами смотрел в стены, с шумом летело время мимо ушей голосами, криками. На охоте, тогда — застрелиться хотел. Осенью, на номере стоял. Заряд медвежий — в лоб хотел, и полная грудь сил и воздух сырой с листом палым, и напружились плечи у Всеволода Ивановича... И вдруг топот по мосткам — каблучищами во весь мах. Всеволод Иванович вздрогнул — отчаянный стук, и еще, еще вразнобой — эх, топот, как крик. Всеволод Иванович дернулся, рванул дверь, к окну, в столовую — ух, бегут, бегут люди — опрометью вниз мимо окон, лупят по грязи — ребята бегут, гимназистки, бегут как отчаянно — и вот на клячонке вскачь.

— Ах, сукин сын! стражник конный! и прямо на ребят, и плеткой, плеткой! Ой, девчонку по лицу.

Всеволод Иванович застучал, не жалея стекла.

— Что ты, негодяй, делаешь!! — и опрометью бросился на улицу, отмахнул калитку.

Стражник топтался среди улицы и старался садануть бегущих.

— Что ты, мерзавец, делаешь! — заорал Всеволод Иванович, бежал к стражнику, потерял туфли в грязи. — Ты что! Обалдел, прохвост! — Всеволод Иванович без шапки, с бородой на ветру, поймал клячу за повод и дернул вбок, рывом, всем стариковским грузным телом рванул вбок.

— Брось! — крикнул стражник и зубы оскалил на красном лице и нагайку замахнул. — Брось, сволочь!

— Арестант! Разбойник! Детей! — хрипел, рвал голос Всеволод Иванович, тянул клячу к воротам.

Стражник окрысил лицо, прянул вперед, достать старика, и вдруг черным ляпнуло в лицо стражнику — черной грязью, комом огромным залепило лицо, сбилась фуражка. Всеволод

Иванович глянул — парнишка в картузе уж копал живыми руками, нагребал грязь в мокрой колее, а мимо бежали, бежали всякие, кто-то ударился с разбегу о Всеволода Ивановича. Всеволод Иванович еле поднялся из грязи. И вон с криком, с воем бежит толпа сверху улицы. Всеволод Иванович бросился во двор, еле пробился в калитку, вбежал в дом — старуха стояла в рост у своего окна и дергала рукой шпингалет. Всеволод Иванович даже не удивился, что встала, будто семь лет сном отлетели назад. Всеволод Иванович скользил грязной рукой, рвал, открывал замазанные окна, и все летело под руками, будто картон отдирал. Он бросился к старухе, оттолкнул, рванул раму, ударил ногой вторую — окно распахнулось.

— Сюда! Сюда! — кричит Всеволод Иванович, машет, гребет воздух рукой из окна и бросился в Тайкину комнату — открыть, открыть, вмиг. И уж не слышно голоса — крик в улице. Лезут, лезут, двое лезут. Всеволод Иванович бросился, тянул за руки, скорей, скорей! Не видел лиц, руки ловил, дергал вверх. Что это? Назад бегут! Сбились все, и ревет, плачет куча, вон напротив на забор лезет, срывается, ох, опять слетел. Ворота заперли!

— Бей стекла! Лезь! — крикнул Всеволод Иванович. — Бей им стекла! — Но не слыхать за ревом голоса, он отскочил от окна, уж валят в окна, один через другого, навалом, кашей, и уж замешали, затолкали в комнате Всеволода Ивановича: не лица, изнанки одни, глаза на них и рты трясутся. Не разобрать кто — старые или молодые, все лица, как одно. Всеволод Иванович пробивался к окну — нет, не лезут больше — Всеволод Иванович отгребал людей назад, кричал:

— В коридор, во двор!

В улице уже мало крику, нет крику, стражник вон и машет, грозит нагайкой в окно Всеволоду Ивановичу.

— Ракалья! — крикнул Всеволод Иванович, и оборвался голос. — Мерзавец, — кричит Всеволод Иванович, и нет голоса. — Еще чего-то грозит, мерзавец. — Всеволод Иванович глотнул слюну. — Глаша! Ружье! — еле слышно. — Ружье! Дай! — огнем режет горло.

Дальше поскакал мерзавец. Всеволод Иванович кинулся к себе в комнату, сорвал со стены двухстволку, хватал из патронташа пустые медные гильзы, бросал на пол.

— Черт проклятый! — Всеволод Иванович с силой шваркал гильзы о пол.

И вдруг дверь распахнулась — урядник какой-то, ух, рожа злая, нащетиненная.

— Это ты, это ты, — и войти боится, ружья боится. И Всеволод Иванович задохнулся, застыл на миг, бросил с силой ружье об пол и кресло, свое кресло дубовое схватил, как палку, и без весу оно, как во сне бывает, и одной рукой занес и швырнул в стражника без надежды, как бумажкой. Всеволод Иванович глянул в дверь, и не было стражника.

Глаша, жена, Глафира Сергеевна, в белом, как в саване, стоит в белой рубахе, в кофточке. И Всеволод Иванович не слышит слов — кровь в голове, задавило уши, и кресло поперек коридора в дверях, а стражника нет.

И Глаша руки протягивает с мольбой. Всеволод Иванович вдруг заметил, что он все дышит, дышит, часто, воздуха побольше, скорее.

— Глаша!.. — дохнул Всеволод Иванович. — Ничего!.. Ничего! Выйди! — и Всеволод Иванович отмахнул рукой, чтоб ушла.

Всеволод Иванович отвернулся к столу, оперся кулаками, нагнулся и дышал, дышал. Не оборачивался, слышал, как жена возится, расшевеливает тяжелое кресло, силится пройти и зашлепала прочь босыми ногами. Всеволод Иванович все шире и шире качал воздух, во всю силу размахивал грудь. «Стоять, стоять так надо, быком стоять, и дышать. Шевельнусь — сдохну», — думал Всеволод Иванович и слышал, как стучит кровь во всем теле.

— Испей, испей! — и Глаша стакан тычет, белая рука какая, пальцы сухонькие.

Всеволод Иванович головой помотал. А она тыкала стаканом в губы.

Шапку долой!

ПЕТР Саввич стоял в толпе, все густо, плотно сжались, но к театру не пройти. Петр Саввич протолкался вперед — кольцом стоят... а черт их знает кто? Слободские, что ли? С дубьем все. Узнал двоих — в «пятой общей» содержались. Красные все. Свистят. И вон дым! Дым от театра. Сволочь какая! Солому жгут под стеной, под каменной, под окнами. Пожарная часть рядом. И никто ничего. Вон конные стражники торчат — чучела, и хоть бы что.

— Эй, черти! — крикнул во всю хриплую глотку Петр Саввич. И оглянулись, что с дубьем двое.

— Статистик, сукин сын? А ну давай! — и дернул один за плечо.

Петр Саввич рванулся, ткнул ладошкой в морду — отпихнулся в толпу. И тут все заорали, двое выбежали из театра, заметались в густом кругу, вон еще, еще повалило из театра, выплевывало людьми из дверей черными кучками, и кучки рассыпались.

— Бей статистиков! Жидову пархатую!

Петр Саввич сунулся снова вперед, но его чуть с ног не сбило народом; все ринулись вбок — конные стражники табуном прут.

— Что ж это! Да куда! На народ! Черти, сволочи! — кричал Петр Саввич, но ничего не слыхать — визг, орево, завертело, забило уши. И пуще крик оттуда, из круга. Петра Саввича повернуло — ух, дым столбом над театром. — Владычица, да что же это? Что же это такое, Господи? — шептал Петр Саввич. — Конец, дыбом все... Остолопы!! — еще раз крикнул Петр Саввич, и тут больно под ногу поддала тротуарная тумба, и Сорокин сел, и уж кто-то коленом с размаху протер по лицу, и Сорокин зажал голову меж локтей, обхватил пальцами затылок. — Пропадать надо! Пропала Россия! — и сквозь зажатые уши Сорокин слышал истошный вой, и в зажмуренных глазах виделось, будто небо вьюном свилось и кружит и свистит, и не уворачивался уж, когда стукали голову коленками, сапогами. Кто-то грузный свалился на Петра Саввича, придавил, и Петр Саввич так и повалился, не пускал головы из стиснутых рук. Упал как деревянный — всему, всему сейчас конец и черт с ним!.. и слава Богу!

Петр Саввич пришел в себя. Он и боли сразу не чувствовал, толчки одни. Кто-то стукал в зад. Открыл глаза — околоточный стоял и бил с размаху носком сапога. Кричал:

— Пьян ты или очумел, скотина, разорви твою мать!

Петр Саввич оглядывался, мигал. С порожней площади, с того краю чужим глядел театр — закопченный фасад. Петр Саввич глаз с него не сводил и шарил рукой фуражку. Нашел фуражку. Вот, растоптанная, его, с синими кантами, тюремная.

— Ну пошел! — крикнул квартальный и еще раз поддал носком. Петр Саввич встал, напялил фуражку, квартальный ткнул в плечо. — Пшел, пшел!

И Петр Саввич избитыми ногами ловил мостовую, стукал и все глядел на театр.

«Неужто же во всем свете такое? Такое вот пошло?»

Плелся и все оглядывался на театр и вдруг кровь увидал на мостовой — так, лужица, будто козла зарезали. И еще вон. По мертвой улице шел Петр Саввич. Души живой нет. Померли все. И Грунечка там тоже, верно... И собаки не лают. Петр Саввич шел один посреди улицы по самой грязи, не разбирал дороги. Спросить! Остался ведь кто живой. Крикнуть? И страшно крикнуть. Вон направо ворота распахнуты, раскрытый двор и пусто — как после грабежа какого. Петр Саввич стал среди грязи. И окошки в доме распахнуты.

«Ихний, ихний дом! Землемеров дом. И весь распахнутый».

Петр Саввич двинул к воротам, и пес вдруг залаял. Сорокин замигал глазами и растянул губы, обошел собаку — живы, может быть. Он осторожно тупыми грязными ногами вошел на крыльцо, толкнул дверь. Коридор, и вон стоит живой, сам землемер стоит, Вавич, старик ты мой милый. Петр Саввич просунулся в двери, ступил шаг, закивал головой молча.

А старик глядит, приглядывается и вдруг как гаркнет:

— Вон!

Петр Саввич как от удара шарахнулся назад, по ступенькам быстро, неслышно проковылял, и собака лаяла как далекая. В ворота прошел и не знал, что это от слез плохо видно стало улицу, и заплавало, затуманилось все. И дышал на ходу:

— Господи, что ж это? Что ж это, Господи?

Петр Саввич прошел немного по улице, лишь бы отойти, и вдруг голоса, будто поют. Сорокин протер глаза, глянул вверх по улице. Верно, народ. Много, толпой идут, и флаги. Петр Саввич стоял у мокрого забора, глядел, глазам не верил; ведь те самые идут, бабы две портрет царский несут, где они сняли портрет-то? Уволокли его откуда? И флаги. И поют что попало, и руками машут — вон палкой в заборы стучат. «Куда они царя-то несут, что с ним делать будут? — Петр Саввич прижался к забору. — Узнает вора эта меня, убьет за старое. И пусть убьет — все равно конец». Петр Саввич перекрестился.

— Шапку долой! — крикнул парнишка и побежал вперед толпы к Петру Саввичу. Петр Саввич не двигался. Толпа поровнялась.

— Шапку! Обалдел! — и кто-то стукнул Сорокина по затылку, сбил фуражку. Петр Саввич наклонился подымать, ловил

из-под ног. Кто-то поддал фуражку ногой, и она полетела прочь. Петр Саввич без фуражки пошел наобум. Не понял, как пришел, как сел на сундучок у сестры в коридорчике.

Тайка пальцев не чувствовала, и рук — как не было. Как будто и держаться не надо, как привязанная она стояла на приступке барьера. И времени не стало, время в рев, в гул замоталось, затопталось и билось на месте. И вдруг огонек впереди, как раз там, куда со всей силы глядела Тайка, и вон Израиль — спичка в руке и футлярчик под мышкой, и внизу пусто. Израиль позвал рукой, и сейчас же спичка потухла. Тайка хотела пустить руки, чтоб прыгнуть вниз, нет рук и не оторваться. И вдруг за ноги берет. Тайка дернулась с испугу и повалилась вниз. Схватил, схватил! Тайка уж на ногах, он толкает, тащит куда-то в темноте. Дверка узкая, и Тайка спотыкается о лесенку, о ступеньки, а он толкает, толкает, наверх тянет, и Тайка не может схватиться руками — скрючило пальцы, не разгибаются. Тайка оббила в темноте все ноги и не чуяла боли. И только меньше гул, и Тайка слышит свой голос, а говорит будто не она:

— Милый, милый, милый!

Израиль чиркнул спичку, пошел вперед — коридор, каменный коридор. Какой-то хлам по стенкам. Вернулся Израиль, и спичка дрожит меленько в руке, говорит что-то, понять нельзя, как не слышно все равно. Опять пошел, Тайка побежала за ним впотьмах. Опять зажег спичку — дверь, и он стучит ногой в дверь. Тайка бьет онемелыми руками, и вдруг закружилась темнота, и как будто свет яркий мазнул по глазам, и Тайка села на пол, как на пух, и сладкий воздух скользнул из груди и растаял в мозгу.

Мамиканян

САНЬКА забыл снять с головы повязку, так и ходил в ней, как привезли его в университет, в клинику. Санька с жаром и с болью хватался за дело — вырывал носилки, чтоб тащить раненого. В дверях операционной хмурился профессор — руки высоко держал на отлете. Саньке хотелось скорей, скорей забить, заколотить муть.

«Не бежал же я, не бежал, не бежал!» — твердил в уме Санька и все что-то хотел отработать носилками — и вдруг Рыбаков

бежит снизу по лестнице, ткнул в бок — «ты что водолазом-то все ходишь?» — и кивнул на повязку. Санька вдруг вцепился руками в бинты и рвал, драл со всей силы. На него глядели, и вдруг все бросились к дверям, к окнам, — все, кто был в вестибюле, и хозяева-медики в белых халатах. И Санька слышал:

— Оборонщики еврейские городовых повели, глядите, глядите!

Санька вбежал во второй этаж и с площадки в окно увидал: человек двадцать мужиков, бледных, и кругом — ух, какие черные, какие серьезные, с револьверами. Головами как поворачивают — будто косят направо-налево. Вон студенты с винтовками — винтовок-то пять, кажется. Повели, повели — в подвал! В мертвецкую! Пошли, гуськом пошли в ворота оборонщики. И опять екнуло в душе — не мог бы, не мог бы, ни за что не мог бы, как они. Санька пошел вниз и сжал губы — отвратительно, как вздрагивают на ходу коленки.

— Этого не будет, сейчас не будет! — и неверно топала нога о ступеньку, и Санька отмахивался головой. — Не будет, говорю! — и коленки дергались.

И вот опять острый рожок «скорой помощи».

— Я пойду! Сам пойду, — вон ведут внизу, а он отмахивается рукой, без шапки, вся голова в крови и все говорит, говорит. Санька не мог отвести глаз от этого человека: кто, кто это? Филипп! Надькин Филипп, и Санька сбежал оставшиеся ступеньки, и уж Филипп увидал, и глаза, как в лихорадке.

— А, да-да! Слышь! Как тебя! Санька, что ли. Я только, понимаешь, рванул этого, что впереди, — Филипп дернул рукой в толпе студентов, — да дай ты мне сказать! Я его раз! И тут этот справа маханул железиной, и я все равно, опять же... а он, понимаешь, я этого, да стойте, братцы, не тащите, куда идти? Куда идти-то теперь? — И Филипп оглядывал всех вокруг. — Дайте скажу!

Санька все глядел, не отрываясь, и задыхался.

— Да ведите вы его, вы! — толкал кто-то Саньку.

— Да-да! — говорил Санька. — Как, как говоришь? — и он взял Филиппа под руку.

— Да я говорю, понимаешь, этого суку, что впереди, я раз! И сюда — он брык.

Санька вел Филиппа все ближе, ближе к операционной, и Филипп не умолкал, он вошел, все глядя на Саньку, он не чувствовал, как профессор щупал голову, садился, куда толкали, не чуял, когда подбривал студент наспех волосы.

Санька зажмурил глаза, когда профессор стал долбить Филиппу череп.

— Ничего, ничего, говорите, он ничего не чувствует... без всяких... хлороформов, — стукал профессор, — к чертям тут хлороформ... шок, а вы... — и профессор стукал, — хлороформы.

Санька не мог смотреть, и его мутило, как будто от переплета Филипповых слов. Санька вышел в коридор, на лестницу, и крик, крик пронзительный ахал эхом в гулкой лестнице. В дверях столпились у носилок.

Была ночь, и в полутемном коридоре, в пустом, каменном, глухо урчали голоса в углу у окна. Студенты-армяне. И голоса то поднимались до темного потолка, то снова забивались в угол. Санька медленно подходил. Говорили непонятно, по-армянски. А за окнами улица пустая, без фонарей, и только черным поблескивала грязь против окон клиники.

— Может, еще будут, и я пойду. Непременно, может быть, пойду, — шептал Санька. — Если б видел, как уходил Рыбаков с оборонщиками, я б... Во дворе видел — мог же догнать. Бегом, на улице догнал бы. — Санька топнул ногой, затряс головой и повернул назад. И вдруг армяне всей кучей двинулись, и Саньку обогнали двое. Один шел в бурке вперед, а тот его ловил за плечо и что-то громко говорил. И вдруг из полутьмы русский голос навстречу — Рыбаков!

— Ей-богу, никуда, никуда не пройдете. Я сейчас со Слободки, честное слово: патрули, патрули, заставы солдат — и палят чуть что. Охраняют. Погром охраняют. Вот там на углу чуть не застрелили, два раза стреляли, пока сюда добежал. Никуда! Да-да! Громят у Московской заставы. Дайте покурить, у кого есть?

Санька быстро полез в карман, совал Рыбакову последнюю папиросу, боялся, что другие успеют сунуть.

— Мамиканян! Мамиканян! — двое бросились за студентом в бурке.

Рыбаков обернулся.

— У него мать в Баку татары зарезали, так он хочет идти, — студенты кивали на Мамиканяна.

— Ерунда! — кричал вслед Рыбаков. — Ни за понюх пропасть. — Пыхая папироской, Рыбаков бегом нагнал Мамиканяна, повернул к себе. — Ну зачем? Зачем?

Все замолкли.

— Не могу. Надо. Мне надо, — сдавленно сказал вполголоса и дернул чем-то под буркой.

— Карабин у него, — и студенты тыкали пальцами в бурку, взглядывали на Рыбакова.

Мамиканян отвернул плечом и быстро зашагал по каменному полу. Его отпустили и через секунду бросились за ним. Санька бежал с кучкой студентов, он слышал, как в темноте быстро шаркали ноги, а за этими ногами поспеть! поспеть! Сейчас же! — хлопнула внизу дверь, и Санька бежал следом и еще поддал перед дверью, чтоб скорей, срыву вытолкнуть себя — проклятого себя! — на улицу.

Тихой сыростью дохнул навстречу двор, а Санька не сбавил ходу, он видал при свете фонаря у ворот, как черная бурка свернула вправо. Трое студентов догнали Саньку. Они тихо шли под стенкой. Мамиканян громко шагал посреди панели. И вон на углу фонарь — мутный шар над подъездом. И вон они — солдаты. Штук пять.

Санька прижался к стене.

— Мамиканян! — хрипло позвал кто-то сзади. И стало тихо, только ровно шагал прямо на солдат Мамиканян. Санька без дыхания смотрел вперед. Вот уж солдаты смотрят, один голову пригнул.

— Кто идет!.. Обзывайся! Стой! — солдат с винтовкой наизготовку: — Стой!

Мамиканян стал.

— Оружие есть? — обступили. Тащут! Тащут из-под бурки. — Стой! Из этого самого его!

Мамиканян черной доской стоял недвижно.

«Неужели?»

— Мамиканян!!! — заорал Санька, и заорала вся глотка на всю улицу, и в тот же момент грохнул выстрел и следом второй. Санька видел, как рухнул Мамиканян, и вся кровь бросилась в глаза, и Саньку несло вперед, чтоб врезаться, разорвать! — и вдруг нога запнулась, и Санька с разлету стукнул плечом в тротуар. И темней, темней становится в голове. И отлетел свет.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Велосипеды

В ОТДЕЛЬНОМ кабинете в «Южном» — и дверь на замке, и штора спущена — Виктор сидел на диване. Расстегнул казакин, и стала видна рубашка — белая в розовую полосочку. Через стол в рубашку глянула Женя, прокусила конфету, и сироп закапал на платье.

— Ой, все через вас! — крикнула Женя и привскочила со стула. Сеньковский схватил в комок салфетку, стал тереть, больше тер по груди, нажимал с силой.

— Хы-хы! — Болотов с края стола давился куском, держал обе горсти у рта, раскачивался. — Как вы... того... с женским полом... по-военному.

— Э, а то не так бывало, — Сеньковский бросил под стол салфетку, сел, — а то... — он погрозил Жене пальцем, — мы и пришпилить умеем.

— Пришпилить! — и Болотов совсем сощурился. — Озорник, ей-богу!

— Гвоздиками! — и Сеньковский присунул лицо к Жене. Женя глянула и перевела по скатерти взгляд на Виктора. Виктор взялся за ус. — Жидовочек! — крикнул Жене Сеньковский. — И жидов тоже. Ух, погодите, мертвым позавидуете! — И Сеньковский застукал пальцем по столу.

— Я жидовка, чего с жидовкой возитесь? Шли бы себе до русских. А что? Еврейка слаще?

— Конфета, скажите! — и Вавич выпятил губу.

— Может, горчица? — и Болотов налег на стол и глядел то на Сеньковского, то на Виктора. — А? — И вдруг один зароготал, откинулся, закашлялся. — Тьфу!

— Не! — и Болотов хитро сощурил глаз. — Не! Теперь вам повадки не будет. Теперь и мы поумнели. Жиды друг за друга — во! Огнем не отожжешь. А мы теперь тоже — союз! — И Болотов вскинул сжатым кулаком и затряс в воздухе. — Союз! — Болотов встал. — Союз русского народа! Православного! — Болотов грузно поставил кулак на стол и вертел головой. И вдруг ляпнул пальцами по столу как скалкой: — Наливай! Витя! Наливай распроклятую. И ей, пусть пьет. Хочь и подавится.

Виктору пришлось полстакана.

— Требуй еще! — кричал Болотов. — А вы бы, прости вашу мать, — Болотов махал пальцем чуть не по носу Жени, — сидели бы вы смирно, ни черта бы! Целы были бы. А то забастовки! Ну? Несет он? — крикнул Болотов в двери. — А то я одного екатеринославского хохла спрашиваю, как, спрашиваю, забастовка у вас-то была? А он говорит, такую, говорит, забастовку зробили, говорит, что ни одного жида не засталося. Ни одного, говорит... Вот это молодец — сразу две приволок, — Болотов стукал ладошкой в донышко, выбивал пробку.

— Куда? Куда? Стой! — Сеньковский ловил Женю. — Ну, садись! Подругу? Пошлем. Звони! — кивнул он Виктору, а сам давил Жене пальцы. Женя рванулась, юркнула вокруг стола, села Виктору на колени, ухватила под мундиром рубашку.

— Чего он мне пальцы выкручивает? Нина, Нина! — кричала она: в дверях стояла высокая блондинка, тяжелая, с густо намазанными бровями. Брезгливо отвела вбок крашеную губу. Подняла плечо.

— За царя, отечество и веру православную! — возглашал Болотов и, стоя, глотал водку из стакана. — Тьфу! — сплюнул Болотов и помотал головой. — Бо-же, царя... — затянул Болотов. — Встать, встать, все встать! Боже, царя хра-ни! и! — и водил рукой, будто кота гладил. Оркестр за стеной сбавил голоса, Виктор тянул тенором, не попадал. — Ура! — крикнул Болотов. Он, стоя, ткнул вилкой в селедку, будто ударил острогой. — Во! И я пошел! Пошел, ребята, не могу. Дай поцелую! — и он тянул к себе через стол Вавича. — Гуляйте. А что? Дело молодое, а супружница в последнем интересе. Пошел я!

— Только ты, Сеньковский, смотри... — Виктор шатнулся и ткнул плечом Сеньковского. — Вместе гуляли и не лягавить! — Виктор остановился на мокрой панели и поднял палец. Сеньковский глядел через плечо.

— Пошли! — и он дернул Виктора за рукав. — Зюзя! Под фонарем стал.

— Ты за Женю на меня не обижайся, — Виктор икнул.

— Да с Богом, вали. Не жалко.

— Нет, не то «не жалко», — Виктор опять остановился, он толкал Сеньковского. — Нет, ты той не налягавь... — Виктор старался поймать глаза Сеньковского. — Ва-Варе... она, я говорю... не любит, чтоб с такими...

— Боится, чтоб не занес чего, — и Сеньковский мазнул глазами через Викторовы глаза. Повернулся, оставил Виктора.

Коротко позвонили четыре раза. Санька вскочил и пошел отворять. Он еще прихрамывал простреленной ногой. Больше по привычке уже, а еще больше для дорогой памяти. Но горничная уже отворила, и в двери просунулось сперва колесо велосипеда, легко вздрогнуло на пороге на упругой шине, и следом протиснулся человек с черными глазами — одни глаза эти и увидел Санька. Глаза ясно, твердо вошли в Саньку, и на миг Санька отшатнулся. Потом глаза отпустили, и Санька увидел, что человек небольшого роста и очень хорошо одет. С тоном одет, а не франтовато. А вон тоже с велосипедом, Подгорный Алешка.

— Здорово! Можно? — и Алешка двинул свой велосипед по коридору.

— Прямо, прямо! — Санька сторонился, давал дорогу. Подгорный завернул к Саньке в комнату. Санька вошел, запирал дверь за собой и все глядел на нового человека. А тот аккуратно и прочно устанавливал свой чистенький велосипед у Санькиной этажерки.

— Знакомься! — Алешка перевел дух. — Кнэк.

Кнэк быстро сдернул перчатку — какая перчатка! Как масленая, подал руку. Ручку! Но крепкая какая! И придавил по-железному.

— Садитесь! — Санька пододвигал стулья.

— Вот дело, — начал Алешка и глянул на Кнэка.

— Дело очень важное. — Санька всем ухом бросился на этот голос, скорей разгадать. С акцентом. С каким? И очень акку-

ратно выговаривает, как печатает. — Важное и спешное к тому же. — Кнэк полез в карман мягкого пиджака, вынул конверт. Санька не сводил глаз — толстый конверт. Кнэк двумя пальцами вытащил черный железный квадрат. Он был с четверть дюйма толщины. Кнэк легко, как бумажный, за кончик протянул его Саньке. — Видите, тут сверлили. — Кнэк мизинцем указал на углубление посредине — легкая щедринка. — Сверло не берет. Он гартованый, каленый значит. Возможно, его возьмет какая есть кислота? Вы химик.

Алешка поглядывал на Саньку и ловил на коленях пальцы в пальцы.

— Ну, одним словом, — гулким полуголосом договорил Алешка, — это шкап несгораемый. Нужно обвести вот такую дырку, — Алешка начертил в воздухе пальцем квадрат, — и сроку четверть часа. Вот и скажи, попробуй и скажи: можно кислотой или не возьмет она?

Санька смотрел то на стальной квадрат, то на Алешку, и каждый раз, как проволоку, пересекал взгляд Кнэка.

«Вон он Кнэк», — думал Санька и краснел. Про Кнэка давно слышал от Алешки. В первый же раз, как Алешка пришел вдруг в штатском, с русой бородкой. Теперь он Сергей Нехорошев.

Санька в ответ на свою красноту нахмурился и старался сделать солидное ученое лицо, вглядывался в щедринку на стали — пригнулся совсем.

— Хорошо. Испытаю. Есть, конечно, вероятие.

Кнэк встал.

— Вам три дня достанет? — и он тряхнул Саньке руку и держал в своей, глядел в глаза.

Санька мотнул головой.

Кнэк выпустил руку.

— Я очень рад вам, — сказал Кнэк и уж поднял на дыбы велосипед, чтоб повернуть в комнате.

Танечка поднималась по лестнице к Тиктиным. На площадке молодой человек с велосипедом дал ей дорогу, прижался к стене и легко взмахнул вверх переднее колесо.

— Merci, — сказала Танечка и глянула боком глаза — другой, большой, поднял весь велосипед, как будто замахнулся им на Таню. Таня пригнулась и сделала быстрых два шажка.

— Не от вас двое, — спросила Саньку Танечка, — с велосипедами?

— Нет... — и Санька улыбнулся конспиративно.

— От вас, — и Таня медленно кивнула головой.

— Ну от нас. Пускай от нас, а что? — Саньку забавляло, что Таня не узнавала Алешку.

— Ничего. Один, поменьше который...

— Глаза? Да? — и Санька закивал головой — угадал, дескать.

— Нет, не глаза, а просто он очень красивый. Лицо замечательное. Не видала таких.

Санька отошел, будто к пепельнице, и хромал больше, чем всегда, — увереннее.

— Нога ж у вас не болит? — и Таня обернулась навстречу Анне Григорьевне. — Понимаете, Анна Григорьевна...

— Хочу и хромаю, — говорил Санька и волок ногу в двери, чиркнул с силой спичку, закурил. — Кому какое дело?

Он прошел к себе в комнату, громко придвинул стул, сел за стол и стал держать в руке тяжелый кнэков квадрат. Щурился на него. Подул. Таня не шла. Он слышал голоса в столовой — завтракали! Санька опустил квадрат в карман тужурки и вышел в переднюю, натягивал шинель и слышал Танин голос:

— ...да нет, просто так и напечатано: для охраны городового — пять человек из жителей данного квартала. Не данного, а как-то там...

Санька надел шапку и толкнул ногой дверь.

Таня слышала, как Санька захлопнул входную дверь.

— Глупо, — тихо сказала Таня и поглядела в окно.

— Что вы говорите? — Анна Григорьевна заглядывала в лицо Тане.

— Глупо, говорю, вот сказано, — Танечка оживленно заговорила, — что вот кто же кого охраняет: городовой население или население городового?

— Неужели так и сказано?

— Да-да-да! Так и напечатано, — и Тиктин вышел из дверей кабинета.

— Мое почтенье! — он шаркнул Тане и отмахнул вбок рукой с листом. В другой сверкнуло пенсне. — Стойте, — он приподнял и тряхнул пенсне.

Таня глядела на Тиктина, и Анна Григорьевна повернула голову. Гребень выскакивал, и она подхватила рукой затылок.

Тиктин сел против Тани, разгладил перед собой лист.

— Что такое? — Анна Григорьевна тянулась, перебирая в прическе шпильки.

— Pardon! — Андрей Степанович прикрыл лист рукой и посадил пенсне на нос. — Какая б куцая ни была конституция, — строгим голосом начал Тиктин, — но она сейчас единственный несомненный факт.

— А городовые с охраной? — и Танечка прищурилась на Андрея Степановича.

— О городовых мы сейчас поговорим, — лекционным тоном произнес Андрей Степанович и отмахнул со лба волосы. — Так вот-с... — он прихлопнул по листу, — и эту конституцию надо использовать. Для этого около выборов должна быть построена организация, партии иначе говоря, избирательные партии, — нажал голосом Тиктин, — с определенной программой, принципами и так далее. Теперь прошу внимания!

Тиктин снял с листа руку и поправил пенсне.

— Это проект пока. — Глянул поверх пенсне на Таню. — Вот-с: Самодержавность народа. Нет! виноват: Правовое самодержавие народа.

Воля народа,
счастье его,
Свет и свобода
прежде всего.

Бальмонт... Когда обеспечены основные права гражданина и этим поддерживается законность в государстве, народоправство делается правовым. Самодержавие народа в издании им для себя законов, то есть во власти зако-но-дательной, — Тиктин глянул на жену, на Таню.

— Ну-ну! — и Таня стукнула каблучком под столом.

— Законы, которые определяют форму правления, права властей, учреждений, их обязанности и взаимные отношения называются основными или конституцией. Она устанавливается на долгое время, и все остальные законы должны вытекать из нее. Таким образом, всякое свободное, — громко прочел это слово Тиктин, — государство должно быть правовым, а следовательно, и кон-сти-ту-ци́онным.

И он хлопнул ладонью по листу.

— Хорошо, хорошо, а дальше! Дальше-то что?

— Свобода слова! И печати, — Тиктин ткнул Таню глазами, — является прямым следствием признания свободы совести.

— Слушайте! Перейдемте туда, — сказала Анна Григорьевна, — а то здесь сейчас накрывать будут.

— Нельзя минуточку? — досадливо сморщился Тиктин.

— Ведь смотри сколько, — Анна Григорьевна поддела пальцем листы.

— Эх! Ну ладно! — Тиктин сбросил пенсне, подобрал листы и, не глядя ни на кого, прошел в кабинет, запер за собой дверь.

— Ну, я пойду! — и Таня встала. — Спасибо, только что пила. Честное слово.

Рыбкой

ВИКТОР качнулся и толкнул Фроську.

— Спит? Свет, говоришь, горит?

Фроська сдергивала рукава шинели.

— Папаша? Какой папаша? А! Приехал?

Виктор раскидистой походкой пошел по коридору, повернул лихо ручку, распахнул дверь, шагнул и качался, держась за ручку.

Петр Саввич сидел у Груниной постели, подобрал ноги под стул и аккуратно переплел руки на груди.

Он минуту глядел на Виктора и молча, с улыбкой кивал головой.

— Здрасс-сте. — Виктор все еще боялся отпустить дверь.

Петр Саввич поднялся и протянул обе руки, зашагал к Виктору.

— Здравствуй, здравствуй! По письму по твоему прикатил! — он положил Викторову руку к себе на ладонь, а другой прихлопнул с размаху. Сунулся поцеловаться. Но Виктора качнуло назад. Поцелуй не вышел. Груня спускала ноги с кровати. В желтом капоте. Исподлобья глядела на Виктора, на отца.

— Откуда же? — и Петр Саввич выпустил Викторову руку. — Гуляли? — и шаг отступил назад.

— Чай пить будешь? — Груня смотрела в стену на ходу.

— А непременно... не... непременно. Очень рад. С начальством, — сказал Вавич, когда Груня вышла, и моргнул бровями.

— Да-да, — говорил Петр Саввич торопливым голоском, — знаю, знаю. Это уж как же. Не откажешься тут. Тут уж конечно. Куда деться?

— Хочешь служить, — вдруг громко вышло у Виктора, — и другим хочешь дать служить, — Виктор с закрытыми глазами наклонил голову, — так уж, — и он вдруг строго глянул на ста-

рика, — не отказы-вайся! — и Виктор помахал пальцем перед носом у Петра Саввича. Даже чуть хлопнул по кончику. — Служить надо уметь, — говорил Виктор в столовой, откинулся на кресле. И вдруг глянул на Груню. Груня тяжелыми глазами глядела из-за медного чайника с того конца стола. — А чего? — Виктор подкинул подбородком на Груню. — Теперь, голубушка, уметь надо. А не шляпой... какой.

Петр Саввич покачивался на стуле и тер в такт коленки. Он глядел на Виктора и мигал меленько.

— Пей да ложись, лучше будет, — сказала хмуро Груня, — наслужился. — Груня запахнула крепче желтый капот, встала, вышла из комнаты.

Петр Саввич поднял брови и чуть дернулся головой за Груней и скорей замигал на Виктора. Нагнулся.

— Женщины не понимают, — прошептал Петр Саввич.

— А чего там? — громко говорил Виктор. — Очень просто. Вон пять человек городового охраняют, а я один... один хочу. — Виктор сел в кресле боком. — А почему охрана — понятно: запросили городовых-то! Ах, грабят! Ах, режут! Ой, гевалт! — кричал Виктор. — Что? Не вкусно? Пожалуйста — вот вам городовые, так умейте беречь. А то бьют, как баранов, на каждом углу, а все смотрят. Когда вот жидов стали бить, так «ой-вей, где городовой?» Городовой пусть ото всего... ото всего народа пусть заслонит, — и Виктор растопырил руки. — А когда городовых стреляют, так это так и надо! Кто ж за городового-то! — орал Виктор.

Он встал. За спиной Фроська затворила дверь из коридора.

— Спит как бы, быть может, мешали, — сказал Сорокин шепотом.

— Спать? А сейчас спросим! — и Виктор криво застукал в дверь — к Груне.

У Груни было темно.

— Мешаем? Спать, спрашиваю, мешаем? — громко, с треском спрашивал Виктор.

Никто из темноты не ответил.

— Как угодно-с! — Виктор повернул назад, дернул дверь. Дверь отскочила назад, возился, запирал. А тут Петр Саввич все шепотком:

— Да и мне с дороги... того, ко сну, что ли, вроде.

Виктор еще раз дернул дверь:

— Как угодно-с.

Он сел на свое место. Петра Саввича не было.

— Как угодно-с, — сказал вполголоса Виктор один в столовой и вытащил толстую папиросу «Реноме». И звенело в ушах.

— А и черт с вами, — громко сказал Виктор в пустой комнате, подцепил двумя пальцами графинчик, опрокинул горчицу и пошел к себе. Свет так и оставил гореть. — Пожалуйста, не мое это дело.

Он зажег свет у себя и стал пристраивать на стол графинчик, и вдруг письмо. Нитяным незнакомым почерком адрес. А черт с ней — просительница. Виктор сел в кресло. А как она, Женято! На диване ловил, а она рыбкой — раз! раз! Наши не могут, наши коровы.

— Хоть дои! — сказал вслух Виктор. — Доить впору. — И вспомнил, каким весом прошла Груня в желтом капоте. — А ты рыбкой, — шептал Вавич. И вдруг страшно стало, что Сеньковский разболтает. А не от нее ли письмо? А вдруг? И Виктор схватил конверт и быстро вскрыл.

Ровными паутинными буквами крупно записан лист.

«Дорогой Виктор, Витя, дитя мое родное. Не удивляйся, это мама тебе пишет. У нас несчастье. Я встала, а Тая слегла. Да и не слегла даже, а хуже того, в больнице она сейчас в земской, в психиатрическом, во втором женском отделении. Я хожу каждый день — пять верст туда, знаешь. И кто говорит — нервное, кто — психическое на почве потрясений. У нас в театре избивали статистиков и даже гимназистов, безобразная у нас полиция, и Тая была в театре, чуть не сгорели все, только ее спас, помнишь, музыкант Илья Соломонович господин Израильсон. И теперь я не знаю, что будет. Отец не знает, что я тебе пишу. Ужас, что тут было. Всех воров из тюрьмы напустили на людей, и много невинных жертв. И он теперь твоего имени слышать не может. А она, говорят, все этим музыкантом бредит, а он еврей, да и кому нужно сумасшедшую и даже больную милую мою, дорогую мою, Таечку мою бедную. Он очень хороший, и я его всем русским нашим в пример, и мы должны за него век Бога молить. Один доктор, Герасимов, может, помнишь, старичок, говорил, что, может быть, все пройдет, если ей замуж выйти. Что бывало такое. У нежных людей даже просто от любви бывает такое, а потом проходит, если все хорошо. Меня к ней сейчас не пускают, я ее раз издали видала, милую мою, бедную. Ах, Витя, был бы ты с нами, может быть, всего бы этого не было. Целую тебя, родной мой, крепко. Может, ты

бросишь это и сюда куда-нибудь, хоть на почту, он простит. Он ведь какой хороший у нас.

Твоя мама.

Какое исцеление-то мое горькое».

Виктор запыхался, пока читал письмо. Он оглянулся опасливо, не видал ли кто. На цыпочках вышел в столовую, погасил свет, запер дверь на ключ и снова стал читать, чтоб лучше расслышать буквы.

Канавка

САНЬКА обгородил воском канавку на стальном квадрате. Канавку в виде буквы Т. Спросят — оригинальная доска на двери, выжигаю буквы. В канавку налил царской водки. И вздрагивала рука, когда лил, в голове виделось: ночь, потайные фонарики, шепотом, и страшно, а им все равно, и чья-то воля держит, и нельзя уйти, ноги дрожат, как тогда на лестнице в медицинском. И не уголовщина, конечно, не уголовщина, коли Алешка. Именно потому и не уголовщина, что прожигать. У воров специалисты-взломщики, отмычники. Да почему непременно меня попросят? Не решусь отказаться. Санька ясно представил, как Алешка скажет: поможешь, что ли? И непременно равнодушно придется сказать: отчего ж, можно. Ведь из трусости только можно отказать, потому что, наверное, на революционные цели.

И Санька и надеялся и боялся, что с кислотой ничего выйдет. Санька прождал пять минут и смыл кислоту. Смерить, сколько за пять минут проела. Никто не подошел к вытяжному шкафу, никто не глядел, с чем возился Санька.

Было утреннее время, никто еще не приходил, и только служитель Тадеуш полоскал новые колбы под краном и тихо пел. И веселое такое пел, короткими кусочками. Санька подошел к большому окну, разглядеть, смерить, высоко, поверх всех домов, видно и неба сколько, будто первый раз увидал. И облака клубом идут, по-весеннему, прут небом лихо, стаей. И небо за ними веселым глазом мелькнет — скроется. А Тадеуш мазурку наладил какую-то.

Мувье паненка,
Цо тераз бендзе.

И в Саньку лихой дух вошел.

Нех поховаюць,
Ксендза не тшеба!

И Санька совсем веселым разбойником глядел и щурился в канавку, будто нож отточил и пробует. И на облака глянул, как на товарищей, и подтянул Тадеушу:

Нех поховаюць,
Ксендза не тшеба!

Проело мало, на три четверти миллиметра.

Санька завернул квадрат в фильтровальную бумагу, сунул в карман, запел под Тадеуша:

С этим не вышло,
Другим пособим!

И захотелось на улицу, новым духом всех оглядеть. Стукнул дорогой Тадеуша по плечу:

Другим пособим!

— А нам кто пособлять будет? — смеялся Тадеуш, тряс мокрые руки.

Санька бежал по внутренней лестнице и стукал кулаком по перилам все под мазурку:

Нех поховаюць,
Ксендза не тшеба!

Санька круто поворачивал на последней площадке, не глядел на встречного, и тот вдруг положил ему на плечо руку. Санька с разгону пролетел две ступеньки и все еще пел в уме:

Ксендза не тшеба!

А это Кнэк.

— Я к вам.

Санька все собирал брови в серьезный вид.

— Вы начали. А не надо уже. Уж иначе и очень легко. Спасибо.

— Да я тут уж... — Санька полез в карман.

Кнэк мягко придержал Санькину руку.

— Не беспокойтесь. — Кнэк стал сходить с лестницы. Они уж были в дверях. — Скажите Башкину, — Кнэк на миг глянул

Саньке в глаза, — что я его убью, где встречу: на улице, в церкви, в театре. Скажите ему, что товарища Короткова повесили. Этой ночью.

Кнэк приподнял шляпу, очень мягкую, ласковую такую шляпу.

Санька смотрел, как Кнэк улыбался, очень вежливо и так открыто, и Санька был рад, что вот такой, и с каким доверием, с каким уважением, и в то же время понятно, что не надо вместе идти.

«Это вот настоящий, настоящий», — думал Санька и шел, как тогда из гимназии с выпускным свидетельством, и улыбался — вежливо и снисходительно всем прохожим. «А он убьет, наверно, так и трахнет на первом же углу этого Башкина... — И на миг запнулось дыхание. — Повесили одного». — Санька хотел перевести себя на давешнюю песню, не мог вспомнить.

Санька шел сбивчивыми ногами, чуть не толкнул даму. Подошел к витрине, глядел на выставленные подтяжки и хмурился, не видя. Вошел в чужой двор, отыскал уборную, оглянулся и быстро швырнул в дыру стальной квадрат.

— А нет, так займи! — кричал Наде Филипп. — У старухи поди займи. Ну чего стоишь? Что тебе трудно полтинник спросить?

Полтинник этот на водку. Филипп не допил, а еще полбутылки, даже меньше, осовеет, будет только плеваться по углам и харкать. Мычать и харкать. А потом сразу повалится спать и папироски не потушит.

— Филя! Голова болит? — Наденьке хотелось, чтоб с ласковой жалобой сказал, что болит — ведь, наверно, болит. Наденька накинула на голову шаль.

— Да иди ж ты! — Филипп обернулся, сморщился.

Надя вышла — на сырой темный двор, на веселый ветер — торопливый, замашистый. На ветру побрякивала пустая кляшка на соседских дверях. Наденька стукнула.

— Не заперто, входи! Кто? — и морщится в темноту старуха от плиты и крепко пахнет жареным луком.

— Добрый вечер, — у Нади простой ласковый голос.

— А что надо? — старуха в сковородку смотрит и мешает, скребет ножиком.

— Полтинника у вас не найдется до завтра?

Старуха и не повернулась.

— ...до утра, — прибавила Надя. — Нету, может быть, — говорит Надя сочувственным голосом и даже двинулась идти.

— Почему нема? Есть в мене полтинник. И рубль есть. — И все ковыряет ножиком. — А не дам! — и повернулась всем лицом. — Краля!

— Так и скажите, что...

— А как тебе говорить? Ты кто есть такая? Лахудра!

Наденька повернулась, не сразу открыла, возилась с щеколдой.

— Иди, иди, жалейся своему хахарю! Тьфу! Лук через тебя, шлюху...

Наденька хлопнула за собой дверью.

— Ты мне побросайся чужими дверями! Забастовщики!

Наденька, не помня ног, шла по коридору. Два голоса бубнили в комнате. Наденька с размаху распахнула дверь. Филипп на ходу обернулся:

— Ну?

Гость смотрел со стула на Надю с любопытством.

— Я не могу! — и Надя кинула срыву шаль на кровать.

— Тьфу! — Филипп с силой плюнул, как стукнул об пол.

Надя схватила шаль, бросилась вон.

— Да стой ты! — кричал вдогонку Филипп. — Чего ты?

Наденька шла все быстрей, быстрей, стала перебегать перекрестки, а ветер мотал шаль, завевал в лицо, теребил подол, а Надя будто не чуяла ветра, а только крепче била ногой, когда дуло навстречу.

— Ну вот, гляди! — говорил Филипп. — Это я ее полтинник послал спросить, — и Филипп кивнул большим пальцем за спину. — Ну не дала, к другой поди. Скажи, большое дело.

— Нервная вполне, — говорил гость и поворачивал в руках фуражку.

— Не нервная, а хочешь по-нашему, по-рабочему, так и вались уж по-пролетарски. А мы-то? Сами-то? Мы-то, я говорю, как? Понятно не дает, — через минуту говорил Филипп, — знают все тут, что я без делов.

В это время дверь входная звякнула, и шаги женские быстрые по коридору. И Филипп и гость смотрели на дверь. Дверь отпахнулась, и старуха-соседка закричала с порога:

— Дверями еще швыряются. Через вас, через вас, сволочей, Гришка мой в остроге гниеть. А через кого? Сманули черти со-

бачьи, а теперь дверями хлопать ей? Да? Ты скажи ей, скажи своей лярве, что я ей, шлюхе...

— Да я тебя, сука... — Филипп рванулся на старуху. Гость поймал за рукав, Филька вывернулся на месте. — Рухлядь твою в смерть!

— Докажу на всех, на всех, кто вы есть, сволочи! — кричала старуха из коридора и звякнула во всю мочь дверью.

Трубочка

КНЭК сидел за столом и весь присунулся к лампе. Он щурился и морщился, разглядывал на просвет трубочку: стеклянную, запаянную трубочку с жидкостью, с круглой пулей на дне.

Он привстал, взял в руки лампу и чуть не спихнул со стола маузер, что лежал на правом краю.

— Не, не годится, Анелю.

Анеля совсем низко присела и глядела снизу то в лицо мужу, то на трубочку.

— Перекалено стекло! Я пускал из рук, с высоты аршина, то не должны быть трещины. От! Смотри! — Кнэк подставлял Анеле трубку и крепким холеным ногтем показывал, где трещинка.

Анеля кивала головой.

— Нет, смотри, вот и другая! — перевел ноготь Кнэк. — Человек идет на смерть — снаряд должен быть вернее смерти. Ты как думаешь, Анелю? А с поднятых рук, пусть и без силы брошу — трубка должна вовсе разбиться. Непременно, наверно. Одна из трех наверно. Как курок. Вот это.

Кнэк положил на стол трубку и быстро взял с подоконника толстую книгу, толстую, как словарь.

— Вот это я упущу сейчас на пол из рук, и тут пять фунтов динамиту, и я не боюсь, что будет несчастье.

Кнэк шагнул на середину комнатки. Он держал снаряд за корешок на вытянутой вниз руке. Анеля шагнула к Кнэку и крепко положила ему на плечо руку, наклонилась поспешно к нему и отставила вбок легкую ногу. Зажмурила глаза.

— Вот! — сказал Кнэк, и снаряд-книга тяжело стукнул об пол. Анеля вздернула вверх руку. — А если я вот так высоко подыму, — Кнэк нагнулся, поднял снаряд над головою, — и если сейчас брошу, то наверное здесь ничего, ничего не останется.

Анеля серьезными глазами смотрела вверх на книгу, Кнэк бережно положил снаряд на место.

— А все трубки надо отпустить. Это я сам. Ставь чайник, Анелю.

Пусть убивает

БАШКИН из передней уже слышал, что много народа у Тиктиных в столовой: голоса, и поверх всех бьет бас Андрея Степановича:

— Еще раз повторяю... еще раз повторяю...

На звонок высунулись в коридор Анна Григорьевна и Санька. Санька прошел живыми шагами и, как поздоровался, так и взял за руку и повел прямо к себе в комнату. Повернул выключатель, притворил дверь.

Башкин ходил из угла в угол и кланялся туловом в такт шагу. Сморкался.

— Что за таинственности? — сказал Башкин все еще в носовой платок и боком глянул: Санька сидел на кровати, расставил колени и что-то больно уж круто упер локоть в колено и уродовал в пальцах папиросу.

— Да просто... — Санька глядел в пол. — Меня просил вам передать один человек, что он вас при первой встрече убьет. — И Санька на секунду глянул на Башкина. Башкин остановил шаги.

— Убьет? — и брови поднялись и тряхнулась губа.

— Короткова повесили, — сказал Санька, и круто в пол свернулись слова, и Санька засосал папиросу.

Башкин заходил. Заходил быстро, как будто старался дальше, дальше уйти.

— Короткова? Я-то... я-то тут... Я вообще... пусть убивает. Пусть убивает! — крикнул во все горло Башкин над Санькиной головой, крикнул, будто звал на помощь. — А почему ты мне это говоришь? — вдруг на ты заговорил Башкин и заспешил дальше, глядя по стенам. — Пусть он сам придет и убьет. Пусть сейчас придет и пусть стреляет.

Башкин на миг остановился и раздернул пиджак на груди.

— Если ему угодно! Пожалуйста! — Башкин еще скорее зашагал по комнате. — Что ж он хочет сказать? Что я предатель? — Башкин с красными пятнами на лице вдруг стал против Саньки.

Санька помаленьку исподлобья взглядывал через дым папиросы.

— Да? — Башкин шагнул к кровати. — Так почему же он передает такие... такие за... за... замахи такие? Я же, значит, могу и его предать... уж коли в таком случае. Да просто, по-уголовному: убить грозится — хорошенькие... — Башкин опять заходил. — Хорошенькие цветочки! Черт возьми... А, однако, значит, он не боится, что пойду и нафискалю.. Даже когда смертью грозятся. Так где же... логика?.. А Короткова... это еще, может быть, и неправда вовсе. Кто тебе сказал? — Башкин стоял и из угла глядел, прищурясь, на Саньку.

— Ну, одним словом так... — и Санька встал и вышел из комнаты, не взглянул на Башкина.

— Да скажите... пожалуйста... по-жа-луйста! — громко говорил Башкин, выходя в коридор. — Я сам пойду с ним объясняться!

— Здравствуйте! — Башкин кланялся, головой только встряхивал, совсем враждебно встряхивал, но в столовой было шумно, и одна Анна Григорьевна ответила на поклон Башкина.

Какой-то незнакомый Башкину бородатый господин расхаживал по столовой. Башкин нахмурился, с злым лицом пересек столовую, задел плечом незнакомого господина и сел в угол подоконника. Шевелил губами, будто жевал соломинку.

— Так вот народ! — говорил бородатый. — Вот пожалуйте: народ и сказал свое слово, — и он повернул свою бороду к Тиктину и шаркнул, кланялся, рукой отводил, — пожалуйте! Русский нар-род. Не французы. Погромщики, скажете? Специальные?

— Да! да! Специальные! — крикнул Башкин. Андрей Степанович дернулся испуганно, оглянулся за спину. Башкин уже стоял в углу у окна. Все на него глядели. — Специальные! Специальные! — и Башкин вытянул длинную руку над головой Андрея Степановича и тыкал пальцем на гостя. — Знаю, доподлинно знаю, что специально выступили! Снарядили! — выкрикивал Башкин. — Охраняли чуть не пушками! Всю уголовщину. Нечего бородой... то есть головой трясти, у меня документы есть.

— А в деревнях, а в усадьбах? В экономиях? — и гость боком сощурился через очки на Башкина. — Это тоже полиция организовала?

— Передергиваете! — крикнул Башкин. — Шулер, милостивый государь! Что? Не испугался! Стрелять будете? — и Баш-

кин сощурил глаза на гостя. — Стреляйте! Пожалуйста! — и Башкин давешним жестом растянул пиджак на груди.

Он секунду так стоял и вдруг сел на подоконник.

— Дайте мне яблоко, — сказал он пересохшим горлом. Соседка быстро передала яблоко. Башкин с хрустом куснул, встал и с яблоком в руках, ни на кого не глядя, вышел вон.

Секунду все молчали.

— Он... — хмуро начал Тиктин.

— Он больной, совсем больной, — быстро заговорила Анна Григорьевна, — вы его простите. Он совершенно...

Гость через плечо глядел молча на дверь, куда вышел Башкин.

— Оппонент скрылся. Так-с. — Гость вынул папироску. — Возражать, — говорил он, закуривая, — выходит, некому.

— Нет, есть. — Андрей Степанович громко положил вилку на стол. — То, что вы говорили...

— Я говорил про язык народа. И в деревнях и в городе — язык один. Вот, вот, — тряс он головой, — это так называемый голос народа! — И он повернулся спиной и зашагал в угол.

— А стражников в деревне разоружают, бьют! — Тиктин говорил это зычной нотой. — Это тоже голос народа? — и Тиктин дернул бородой вверх. — Так вот этот-то голос, небось, умеют заткнуть! — и Тиктин привстал со стула.

— И статистиков, земцев! — кивал головой очкастый из угла.

— Да-с! этих-то бьют. Под охраной и при содействии власти-с. Власти-с! — крикнул, уже стоя, Андрей Степанович. — А стражников, уж извините, самостоятельно-с!

— А во время холеры и врачей! Врачей! Тоже очень-с, очень-с самостоятельно-с! — и гость зло расшаркнулся и выпятил лицо на Андрея Степановича. — Врачей-с!

— Мы о разных вещах говорим! — крикнул Тиктин.

— Я о русском народе, — гость стал боком и руками в карманах подтянул брюки, — а вы о чем, я не знаю.

— А я говорю о правительстве, — Тиктин сел и прямо глянул в лицо жене, — о правительстве, которое устроило массовые убийства в городах.

— А кто в деревнях? В усадьбах? В экономиях? Это самостоятельно? Дух... народный?

— Простите! — и Тиктин строго взглянул на гостя. — Простите, Иван Кириллович, я таким способом спор продолжать не стану. Да-да! Просто не стану. — Тиктин повернулся боком к столу и завертел ложкой в чайном стакане.

В это время Анна Григорьевна вдруг обернулась к открытым в коридор дверям, закивала головой. Она налила стакан чаю, плохо цепляла щипчиками сахар.

— Виновата! — прошептала Анна Григорьевна и вышла со стаканом в коридор.

— Ничего, Дуняша, я сама, сама снесу, — говорила Анна Григорьевна горничной и поспешными шагами прошла в Наденькину комнату.

Надя сидела с ногами на кушетке, обхватила колени руками. Абажур был низко спущен, но Анна Григорьевна видела, как Надя жевала нижнюю губу. Она поставила стакан на письменный Надин стол. Теперь неживой совсем: пыльная крышка от швейной машинки стояла посреди стола.

Анна Григорьевна села рядом с Надей. Надя глядела в сторону, вверх, прикусила, терла в зубах нижнюю губу.

— Чаю-то стакан выпей, — Анна Григорьевна осторожно взялась за блюдечко.

— Ах, закрой туда двери, всю эту гадость сюда слышно. — Надя с болью отмахивалась головой.

Анна Григорьевна вышла на цыпочках, вернулась.

— Чего этот болван там орал? В кого стрелять? Ах, чушь, чушь какая! — Надя зло била кулачком по коленке.

— Да он несчастный, — шепотом говорила Анна Григорьевна.

— Да, да! Несчастный! — и Наденька прижала затылок к стене, втянула судорожно воздух. — Несчастный, несчастный, — Наденька мотала головой, глядела в темный потолок. — У него голова болит после удара этого. Он забывает... Как мыши, говорит, стали. А он только работать, работать может. — Надя порывисто всхлипывала и все глотала, глотала горлом. — А не орать пошлости! Пошлости! — громко всхлипнула Надя и в тоске метнулась вбок.

Анна Григорьевна ловила ее голову, Надя отбрасывала ее руку досадливым рывком.

— А я не могу! Я дура! Дура, дура! — вскрикивала Надя, вцепилась пальцами в виски и стукала голову о спинку кушетки.

Анна Григорьевна вскочила, бросилась по коридору.

— Дуняша, — тревожным шепотом кричала Анна Григорьевна, — воды!

А из прихожей густым голосом кто-то долбил:

— Эка — повесил! Да вы, батенька, на его месте не десять, а сто человек вздернули бы. Ей-богу! Прямо удивляюсь. Готов даже уважать. Я ж не о системе, я о человеке...

Дуня быстро топала со стаканом на блюдечке, Андрей Степанович тревожно обернулся, не видел протянутой руки гостя.

— Qu'est-ce qu'il est arrivé?* Ах, виноват, — обернулся Тиктин, впопыхах схватил руку гостя.

Не потому

ПЕТР Саввич ночевал на новом месте: в своей комнате свою икону прибил в углу. Прибил, перекрестился и уж как свои оглядел белые штукатуренные стены. Кстати и насчет тараканов. Не в общей казарме, а уважение сделали, будто семейному дали комнату. Рука у него, у зятя, видать, есть. Да и не надо бы одолжений-то уж таких-то от него. Вспомнил, как Грунечке он сказал: «Да вот вожусь с твоим стариком. Надзирателем, говорит, губернской тюрьмы, это тебе...» И Сорокин нахмурился на комнату, сморщился на лампочку под потолком. Затолкал сундучок под койку, развязал узел, постелил постель. Сел на кровать, распер руки по сторонам и стал глядеть в пол. И полетели дымом над головой воспоминания. И опять Груня — невеселая все, а тут еще корит вроде. И не надобно, не надобно мне, ничего бы не надобно, и губернской этой. В уголку бы где-нибудь, лапти бы плел или плотву где на речке удил, хоть с десяточек плотвичек, на бережку, сам бы утречком раненько, под вербочкой, и не видит тебя никто, и без греха, и водица утренняя, и рыбка чирк и круги.

Петр Саввич оторвал глаз от пола, обвел серую штукатурку. «Что ж это? Как арестант, в камере словно бы». Петр Саввич даже рот приоткрыл, ворочал головой, и плотным камнем замурована вся серая штукатурка.

Петр Саввич встал, повернул выключатель, полез впотьмах под койку, вытянул сундучок, отомкнул на ощупь, тихонько, как вор, покопал, нащупал бутылку — в числе прочего Грунюшка снарядила, — покосился на мутное окно и стал помаленьку вышибать пробку.

* Что случилось? *(фр.)*

Башкин на извозчике приехал домой. Было половина двенадцатого ночи.

— Чаю? Нет, не буду. — И через секунду крикнул в дверь: — А впрочем, дайте, пожалуйста! Непременно кофею. Очень! — И Башкин торопливо зашагал по комнате. — Не выходить из дому? Или ступать по тротуару, будто волчьи ямы кругом? Скажите, какой Ринальдо! — громко, на всю комнату, сказал Башкин.

И представлялось: шумный угол, прохожие, конки — и вдруг глаза эти, и ноги сами станут вмиг... И глаза все время совались в мозгу, как два дула.

— Марья Софроновна, вы тоже испейте со мной, это ничего, что в капоте. Вот варенье у меня, киевское! Балабуха!

Башкин кинулся к шкафу.

— Марья Софроновна! Вы завтра разбудите меня. Рано.

— Благовещенье завтра, чего это?

— Марья Софроновна! Меня хотят убить разбойники.

— Да что вы! что вы? — хозяйка бросила кофейник на поднос.

— Нет, серьезно. Вот вам крест! — Башкин перекрестился.

— Какие ж теперь разбойники? Христос с вами! Страсть какая! Вы в полицию скорей.

— А знаете вы, что полиция, эта полиция самая мне сказала? — Башкин вскочил, заходил. — Прямо сказал мне один... важный, одним словом: а нас, думаете, не хотят убить? А мы еще все в форме ходим — сами суемся: нате, бейте. А вы уезжать! Не смейте, говорят, уезжать.

— И уезжать даже... Полиция? — Хозяйка привстала.

— Да, сам... сам губернатор велел. Когда, говорит, вас убьют, мы их и поймаем. А если я сам уеду? Возьму и завтра уеду. Утром? — Башкин широко дышал и всматривался в лицо хозяйки.

Марья Софроновна опустила глаза.

— Да что уж вы, Семен Петрович, и на ночь. Да нет! Не так что-нибудь. Это по ночам, пишут, вот неизвестные молодые люди с резинками. Так вы не ходите ночью. Да нет! Нарочно это вы.

Хозяйка махнула сухарем и обмакнула в кофе.

— Разбудите меня завтра в семь... нет, в шесть утра. В шесть! — Башкин притопнул ногой. Башкин вдруг метнулся в сторону. — Марья Софроновна! Пожалуйста! — вскрикнул Башкин. — Газету! Сегодняшнюю!

Хозяйка вскочила.

— Несу, несу!

Башкин быстро прихлопнул за ней дверь, схватил трубку телефона, в горячке завертел ручку звонка:

— Раз!.. два!.. три! — задыхаясь, просчитал Башкин и с размаху повесил трубку. Он прошагал от телефона в угол. Секунду постоял и вдруг опять рванулся к телефону. Но в этот момент хозяйка распахнула дверь.

— Вот, вот, нашла! — и совала газету. Башкин держал газету в кулаке, как салфетку.

— Говорите скоро: конь или лошадь? — крикнул он хозяйке.

— Да ведь все равно, — и хозяйка глядела, подняв брови.

— Вам, конечно, все равно. Всем все равно! — крикнул Башкин. — Убирайтесь! — Он порвал сложенную газету, швырнул вслед хозяйке.

В шесть часов утра Марья Софроновна постучала в дверь. Потом приоткрыла. Башкина не было. И постель не смята.

— Не потому! Не потому! — говорил Алешка. — А ведь главное...

И Санька не расслышал, что главное-то: так треснул рядом в лузу бильярдный шар. Три бильярда работали, толпа «мазунов» охала, вскрикивала над каждым шаром, и звенела улица через открытое окно.

— ...из одного болота в другое! — слышал Санька.

Алешка пристукнул по столику, по мрамору пивной кружкой.

— Да не торопи! — Алешка совсем налег на маленький столик, Санька вытянулся, повернул ухо. — Ведь спокойствие и мирное житие — это значит кого-нибудь подмяли и он уж не пыхтит, а мирно покряхтывает.

И опять выкрики и щелк забили Алешкины слова.

— ...в рассрочку... веревку на себе натянут с пломбой, с гербом... сами себя боятся... Что? что?

Санька ничего не говорил.

— Муравейник, что ли, идеал? Песен там не поют. Катилина в муравейнике! — крикнул Алешка. — А остальное судороги страха: поют же про разбойника — и рот прикрыл и за карман свой ухватился.

Алешка постучал пустой кружкой.

— Получайте! Пошли. — Но официант не шел.

— ...и я это насквозь вижу, — говорил Алешка в стол. — Все разгорожено невидимым этим страхом, — и Алешка делил ладонью столик, — а дух этот из века идет... вспыхивает, и у всякого тайком за забором сердце ахнет... вспыхнет на миг...

«О Занд, твой век уже на плахе, но добродетели святой...» Можно дожить в фуражке с кокардой... и без кокарды...

— А Занд кто был? Занд, Занд, я спрашиваю.

— Не знаю. Все хотел у Брокгауза... А это пламя поверх всего. — И Алешка глянул на Саньку, и вдруг собралось все лицо в глаза, и никогда Санька не видел на Алешке этих глаз — совсем вплотную к сердцу и насквозь всего. — «Началось, началось у него, — думал Санька, — сам все придвинул к себе без страха. Не как я. Я все жду, что раскроется что-то. Как вот любовь находит» — и Санька смотрел Алешке в глаза, хоть растаял уж взгляд.

— Ты чего так смотришь? Кошу немного... Это он давил мне глаза... еще лучше стал видеть. — Алешка отвернулся. — Ну, получите же!

Дверь в бильярдную хлопнула, табачный дым метнулся к окну.

— Человек! — крикнул Алешка.

— Не спешите.

Санька дернулся на этот ровный голос.

Кнэк снял шляпу и без шляпы пожимал руки Саньке, Алешке.

— Я передал! — сказал Санька, стоя, и чуть покраснел.

— Очень благодарен, — и Кнэк слегка шаркнул и надел шляпу на точный блестящий пробор.

— Садитесь, садитесь!

— Нет, мне надо. Серьезно. — Санька чувствовал, что совсем покраснел. Он выдернул часы. — Правда, опоздал. — И стал протискиваться к дверям.

Веселый воздух обхватил Саньку на улице, и солнце вспышками освещало людей, и блестела мокрая панель, и мальчишки с листками по мостовой наперегонки, и вон все хватают, наспех платят.

— Экстренное приложенье! — звонкой нотой пел мальчишка.

Санька совал пятак и уж видел крупные буквы:

«ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ АЗОВСКО-ДОНСКОГО БАНКА».

И потом жирно цифра — 175 тысяч.

Санька сложил листок, страшно было читать тут, поблизости бильярдной. Санька шел, и дыхание сбивалось, и слышал сзади, сбоку: «и никого, вообразите, не поймали...» «Прожгли автогеном. Прямо американцы!» — и не мог понять: радость бьется в голосах? И все чудился за спиной этот второй этаж, и в дыму у бильярдов сидят вот эти люди. И слушают, как все го-

ворят. Наверно, сейчас в бильярдной все читают. Санька запрятал листок в карман. Дома он заперся у себя в комнате и пять раз, задыхаясь, прочел «Экстренное приложение».

За обедом отец сказал:

— Да! Несомненно, не жулики. Это бесспорно.

Потом поглядел на Саньку, на Анну Григорьевну, выпрямился на стуле:

— Теперь вот вопрос: мне! — и Тиктин ударил гулко горстью в грудь. — Мне — стрелять или не стрелять?

Анна Григорьевна смотрела во все глаза на мужа.

— Да-да! Вот явятся ко мне в банк, в масках — руки вверх! У меня револьвер на конторке. Да-да! — почти крикнул Андрей Степанович. — Это распоряжение, всем выдали! Так вот — в кого я стреляю? Может быть, в такого же вот, как он, — и Андрей Степанович, весь красный, ткнул через стол рукой на Саньку и держал так секунду.

— Да во всяком случае... — начала Анна Григорьевна.

— Нет, нет, нет! — затряс головой Андрей Степанович. — Тут абсолютно ничего знать нельзя, — и он наклонился к тарелке. — Абсолютно!.. абсолютно! — притаптывал голосом Тиктин, хотя никто не возражал. — Абсолютно!

Наденька шла, запыхавшись, по мосткам, соскочила для скорости, чтоб не мешали встречные, спотыкалась, не чуяла, как устали, как сбиваются ноги. Вот сейчас, сейчас — дома ли только. Ох, коли б дома.

— Филя, Филенька! — шептала Надя. — И пусть пьяный, пусть какой угодно, ругательный пусть, приду и сразу обойму, обойму со всей силы, — и подымались, дергались локти под шалью. — Как говорил-то: один, говорил, пойду от себя прямо к грузчикам, пусть убьют, буду говорить. — И вспоминался, как стоял боком, и голову зло завернул, и кулаком по стулу, по спинке, по ребру, больно. — Филенька! — дохнула на ходу Надя. Она от калитки перебежала двор. Дверь была не заперта. Коридор упористо заслоняла Аннушка.

— Явилася! — шепотом выцедила Аннушка. Никогда с Наденькой не говорила. — Сгубила и явилася!

У Нади колом стало дыхание и глаза похолодели. Стояла, глядела на Аннушку. Аннушка покачивала головой, руки под фартуком.

— Ступай, полюбуйся-ка! — и Аннушка отступила к кухне.

Наденька не помнила; будто одним шагом пролетела коридор. Толкнула дверь. Какой-то непонятный человек, приземистый, серый, поднимался тихо со стула, голова в плечи, и смотрит — нацеливается, — Наденька раскрытыми глазами глядела на него миг, как на Филиппа — в кого он обратился? — и вдруг дернулась назад.

— Э! Стойте, стойте! Куда? Мадамочка!

Надя рванулась в коридор. На месте Аннушки темной тушей стоял городовой.

Наденька прислонилась к стене, закрыла лицо руками.

Попахивает

БЫЛ день рождения Варвары Андреевны. Виктор в двенадцать часов позвонил у дверей. Горничная взяла визитную карточку, а Виктор стоял в прихожей, прижимал к шинели укутанную в бумаги корзинку цветов — за три дня заказал в цветочном магазине.

«Выйдет? Не выйдет?» — гадал, прислушивался Виктор.

Горничная вернулась.

— Поставьте сюда, — и указала на столик в гостиной.

Виктор на цыпочках шагнул и осторожно поставил корзинку. Старался пограциознее, а может быть, смотрит тайком. Любит это.

— Просили вечером, в девять, — сказала горничная, когда Виктор, нахмуренный, брал фуражку. Горничная как-то глазами на пол шмыгнула, и будто вроде улыбочки у подлюги. А потом набралась деревянности и прямо в лицо: — К чаю просили, — и взялась за дверь.

«Наверно, уж дошло что-нибудь», — думал Виктор, и ступеньки и ковер красный злыми глядели, проклятые.

— А я вовсе не приду, — говорил сердито Виктор и хоть не хлопнул, а со всей силы придавил за собой дверь.

«Нафискалил, прохвост», — думал про Сеньковского.

А в участке сразу насунулся Грачек, за плечо, за рукав отволок молча к окну, глухо спросил:

— Тиктину Надежду знаешь? В лицо опознаешь? — и глядит поверх головы и в сторону и скулами шевелит.

— Опознаю.

— Она тебя видела?

— Да.

Грачек мотнул шинелью на повороте.

«Да ведь это старуха, старуху Тиктину я знаю, Надежды-то не было, что ж я?» — хватился Виктор, но Грачек уж завернул в коридоре туда, в свой кабинет. Неловко бежать сзади, как мальчик, «дяденька, соврал, соврал я, похвастал», — а черт с ней! — Виктор плюнул в пол, хотел скинуть, повесить шинель — из коридора Сеньковский и уж издали тревожно, спешно рукой зовет. Виктор надуто шел — фискал, сволочь!

— Сам велел, идем. Там дырка в матовом стекле, ты гляди. Она против дырки как раз посажена. Если она, — говорил в ухо на ходу Сеньковский, — стукнешь в дверь два раза. А нет — стукни три, а он все равно крикнет: нельзя, обождите. Понял? И сейчас же уходи, чтоб она тебя не видела.

Виктор хмуро мотнул головой.

— Тихо! — шептал Сеньковский. — Вот гляди, — он направлял рукой Викторов затылок. Виктор резко отмахнулся головой. Он видел в профиль девушку какую-то, вглядывался — «первый раз вижу!» — злился Виктор.

— А вот это вам знакомо, госпожа Кудрявцева? Нет? — слышал Виктор голос Грачека и видел его рукав и картонку фотографической карточки, и девушка сейчас же повернулась на карточку и прямо en face стала видна Виктору, и вдруг Виктор узнал! — узнал старика Тиктина. Нахмурилась-то, нахмурилась на карточку! Только бороду — и он. Кричал-то: бол-ван! — и Виктор, не жалея пальца, трахнул два раза по раме.

— Обождать! — крикнул Грачек.

Виктор, топая, прошел в дежурную. Сеньковский стоял у барьера.

— Ты уходи совсем из участка на час на целый, сам велел.

Виктор сердито глядел мимо Сеньковского, будто и не слышит, однако прошел к выходу и бросил за собой дверь.

— Здесь не Московский! — крикнул сверху Сеньковский. Виктор еще крепче хлопнул наружной дверью, и задребезжали стекла, парадные, мытые.

— А к чертовой рвани матери!

В половине десятого Виктор на извозчике подкатил к полицмейстерскому дому, запыхавшись, вбежал на лестницу. Он стоял перед дверьми. Топнул по коврику и повернул назад.

Спустился до пол-лестницы, повернул, подошел с разгону к дверям и ударил пальцем в кнопку звонка.

В прихожей он уж слышал голоса, чинное звяканье посуды. Виктор вошел: полицмейстер, Грачек, Сеньковский, чиновники из управления, какие-то дамы шикарные. Виктор шел к ручке, к Варваре Андреевне.

Варвара Андреевна стояла с чайником в руках и издали замахала свободной рукой.

— Опаздывать невежливо! — и мотала назидательно головкой. — Это что? Уездная важность?

Руку дала левую, глядела в чашки.

Горничная посадила Виктора рядом с каким-то мальчиком в матросской курточке.

— Господин Вавич! Угощайте соседа, — говорила через стол Варвара Андреевна, — вы не в отдельном кабинете.

Вавич покраснел до слез. Сеньковский сощурился через стол.

— Да-с, — бубнил Грачек, — а та, вот что на похоронах была, бомба как бы, вот что вы говорите моя-то — это вестовая была. Предупредительная.

— Вот видишь, — говорила Варвара Андреевна, — Адам Францевич всегда все наперед... Колдун! — кивнула она Грачеку и улыбнулась приветливо. Грачек наклонился и весь пошел щелками.

— Так-с! — и полицмейстер откачнулся на стуле, поглядел на дам. — Значит, теперь пойдут настоящие!

— Да-с, да-с, да-с, — Грачек искал глазами по столу, соседка протянула сыр. — Да-с, скоро и образчик, Бог даст, получим.

— Ужас какой! — говорили дамы. Обводили всех глазами.

Полицмейстер довольно улыбался и улыбкой показывал дамам на Грачека. Грачек укладывал сыр на бутерброд, смотрел в стол.

— А эта, сегодняшняя? — и полицмейстер глянул на дам — слушайте мол.

— Какая? — Грачек устроил бутерброд.

— Да эта, барышня-крестьянка, как ее. В шали и в ботинках от Вейса.

— Кудрявцева? — Грачек бровями повел на Вавича. Виктор подрагивающей рукой положил в рот кекс.

— Кудрявцева ли? — спросил раскатисто полицмейстер.

— Да наверно Кудрявцева и есть. Дура, извините, она. Ей носки штопать. Выпустил. Без толку. Не богадельня.

— Ха, ха! Богадельня! — полицмейстер закинул голову, потряхивался.

Смеялись следом и чиновники, негромко, в меру.

— Да вы подливайте в чай коньяку, — говорила Варвара Андреевна. — Доня! Подлей коньяку Адам Францевичу.

Полицмейстер занес графинчик.

— Не-не! — прикрыл рукой стакан Грачек. — Никаких спиртов. Увольте.

— Ну, для новорожденной! — Варвара Андреевна наклонила головку набок.

Когда Виктор прощался, Варвара Андреевна довольно громко сказала:

— А ваш-то старичок, мне говорили, кажется того — попивает. — И она внушительно кивала головой.

Виктор смотрел, приоткрыв рот. Хотел сказать. Но чиновник подполз к ручке и оттеснил Вавича.

Виктор дома приказал Фроське:

— Собирай ужинать.

Но ужин уж стоял и ждал, прикрытый опрокинутыми тарелками. Фроська зажгла свет, ушлепала к себе в кухню. Виктор двигал с шумом стульями, уронил громко ножик. Груня не выходила.

— Аграфена Петровна, — громко сказал наконец Виктор, — на пару слов.

Виктор отпер дверь в Грунину комнату и крикнул:

— Очень важно, тут поговорить надо, а не...

Он оборвал речь, слышал, как в темноте заскрипела кровать, заворочалась Груня. Вышла, морщилась на свет, опять в этом желтом капоте, шаркала незастегнутыми ботинками, села напротив.

— Ну что?

— А вот то, — начал Виктор и подергал бровями вверх-вниз, — а вот то, что папаша-то ваш того!

И Виктор отогнул голову на плечо и щелкнул себя пальцем под скулой. Вышло хлестко, громко: шпок!

— Да-с! Говорили мне: по-па-хивает. — И Виктор несколько раз мотнул от губ и напирал глазами на Груню.

Груня хмуро поглядела себе в колени.

— А ты письмо от мамаши получил? — и Груня сонно прищурилась на Виктора.

— Да, ну да, — дёрнулся Виктор.

— Она и мне писала. Пишет, чтоб рожать к ним ехать.

— Ну? — Виктор зло глядел на Груню, на отекшее лицо, на сонные постельные волосы с пушинками.

— Что ну? — ровным голосом говорила Груня. — Тебя я спрашиваю.

— Да я?.. — и Виктору на миг страшно показалось, и вдруг ярко ударила надежда — один! и вот глаз бы этих прищуренных, на него прищуренных... иной раз так бы и трахнул тарелкой через стол. Тьфу! Еще угадает, что рад, — и Виктор нахмурился в пол и чувствовал, как смотрит ему в лоб Груня, нащупать мог бы это место. — Да как хочешь, голубушка, — сказал через минуту Виктор и из-под бровей подглянул на Груню.

Груня медленно поднялась и, откинувшись назад, прошла, шаркая каблуками, к себе. Плотно и тихо притворила дверь.

Пиф-паф!

БЫЛО совсем рано. Коля встал первый и тихонько чистил под краном зубы. И вдруг звонок. Коле показалось, что так и ждал, что сейчас позвонят. Коля положил на плиту щеточку и на цыпочках побежал отпирать.

Башкин с силой вмахнулся боком в дверь.

— Коля! — уличным голосом вскрикнул Башкин.

— Тсс! — Коля поднял мокрый палец, мотнул головой назад — спят.

Но в комнатах уже зашевелились.

— Идем, идем! — шептал Башкин и тянул Колю в кухню. — Коля! У меня к тебе просьба, величайшая просьба, — Башкин топтался от окна к плите. — Коля! Проводи меня на вокзал, сейчас. Я сейчас уезжаю. Может быть, навсегда, навеки, как покойник. Насовсем! — и Башкин, глядя в окно, притопнул ногой.

— Мне к обедне, — вполголоса говорил Коля, — записывают, кто не был. — Коля взялся за щеточку.

— Но я тебя прошу! — Башкин шагнул к Коле и с размаху прихлопнул, прижал руками плечи, потряс с судорогой. — Поспеешь, милый мальчик мой, в половине восьмого поезд. — Башкин вынул часы и совал их Коле, чуть не мочил под краном. — Мне непременно, непременно, чтоб ты!

— Мы тоже, может быть, едем. К папе. В Сибирь. И все продаем. — У Коли басовито даже вышло, и все устанавливал щетку в стаканчик, не глядел на Башкина. Не спеша, закрывал порошок. Все вниз глядел.

— Мне нельзя ни минуты оставаться, — Башкин снова затоптался у плиты. Он схватил с плиты поваренную ложку, прижал к груди и глядел в окно. — Коля! Ведь есть Бог? — вдруг повернулся Башкин. — Ну хоть еврейский, хоть какой-нибудь Бог?

Коля тер нахмуренное лицо полотенцем. Башкин все стоял, весь наклонившись вперед.

— Соломончика убили и папу его тоже. Тех, что в лавочке тогда, когда прятался. Насмерть.

И Коля кинул на плечо полотенце и вышел.

— Коля! Коля! — почти взвизгнул Башкин и бросился вслед.

— Что такое? Что такое это? — и Колина мать, полуодетая, морщилась из темной прихожей на Башкина. — Ах, — она сунулась назад в двери, — а я слышу, ничего понять не могу, с кем это он?

— Да я не хочу с ним, — слышал Башкин Колин голос из комнаты, — опять какой-нибудь. И мне в церковь все равно. Воскресенье.

— Можно? Можно? — стучался Башкин в дверь.

— Войдите.

Башкин рванулся в комнату, как был, в шапке, в пальто, в калошах.

— Коля! Мы на извозчике поедем. Никого не будет. Тот в тюрьме сидит, ей-богу, в тюрьме. Коля! Он просто сумасшедший и мерзавец, он и там про меня гадости говорит... всякие гадости. Коля! И назад поедешь на извозчике, честное слово. Колечка!

— Что такое, Семен Петрович? Что случилось? Я сейчас! — из-за двери голос Колиной мамы — булавки, должно быть, во рту, одевается.

— Дорогая моя!.. — с жаром начал Башкин и вдруг замолчал и с размаху сел на диван. — Да ничего, — вдруг веселым голосом заговорил Башкин. Он наклонился, положил локти на колени. — А я в шапке, как дурак! — и Башкин снял шапку, подержал, улыбаясь, и подбросил к потолку. Поймал неловко, захлопнул между ладошками, как моль. — Фу! — и он снова отвалился на спинку, откинул ногу.

Он улыбался толстыми губами, хмыкал смешком и вертел в носу длинным пальцем.

— Ты думаешь, — говорил, смеясь, Башкин, — что я твоего Соломончика убил?

Коля прошел к матери.

— А может быть, меня сейчас убьют. Пи-иф! Па-аф! — тянул Башкин смешливым голосом. Он услышал, что скрипнула дверная ручка, вскочил. — А впрочем, черт с вами! — Он сразу повернулся спиной, видел боком глаза, как входила Колина мать, и разваренной походкой зашаркал калошами в прихожую, толкнул плечом дверь.

— Ко чер-тям! —

пел Башкин в дверях.

Ко зеленым,
Зеленым
Чертям! —

притаптывал на ходу ногой Башкин.

За воротами Башкин огляделся. Он шел широкими шагами к извозчику, все ускорял шаг.

— Подавай, подавай! — закричал Башкин и вскочил, не рядясь.

— Да ты как хочешь, — говорил Алешка. Санька увидал, что бережно вдруг, ласково поглядел на него Алешка. — Найдем двенадцатого. Ты думай, — и опять так поглядел.

«Неужели они так все между собой, ласково, бережно, — думал Санька, — а смерть тут между ними ходит. Оттого, может, и бережно, что смерть. И все надо по-настоящему, по самому, что только знаешь, лучшему. Что, может быть, последний раз. Чтоб вместе умереть. Оттого и знают, как жить надо».

Санька перекинул руку через спинку скамейки, повернулся к Алешке.

А за скамейкой из свежих прутиков выбивала сирень листки, и свежесть стояла над сиренью. И Саньке казалось, что если умирать, то навек останется свежая веселая сирень, и вот сейчас, если так думать, — она вечная, вечная, если это мой последний взгляд. И Санька медленно, всей грудью, натянул воздуху. Вечного. И сладким и вечным миг показался. И чистую правду можно говорить. И в голове будто стало чище, спокойней.

— А как же это? — спросил Санька и сам удивился, каким ровным прозрачным голосом.

— А ты решай, тогда будем говорить. — Алешка поднял камешек с мокрой дорожки, подкидывал на ладони и все так же мягко глядел в Санькино лицо.

— Да я решил, — сказал Санька, и вздох на миг запнулся в груди, и откатом жаркое полилось внутри.

— Может, подумаешь?

— Нет-нет! — замотал головой Санька и крепко взялся за спинку скамейки.

Алешка обвел взглядом сквозные кусты. В парке было пусто.

— В двенадцать тридцать идет поезд на Киев, курьерский. В багажном вагоне будет ящик железный, там из Государственного банка триста восемьдесят тысяч.

Алешка придвинулся ближе.

— В вагоне артельщик и жандарм. Пассажирских семь вагонов. В каждом вагоне свой человек.

Санька чувствовал, как волнение подпирает грудь, и не хотел, чтоб заметил Алешка.

— Ты сядешь в поезд. Через десять с половиною минут будет мостик...

Санька уж плохо слышал, что говорил Алешка, — он видел себя, как сел в поезд и как равнодушно будто бы смотрит в окно и ждет эту последнюю минуту, и сейчас должен громыхнуть под колесами мостик...

— Как ты говоришь? — всем духом спросил Санька.

Алешка обводил глазами кругом. Санька полез за папиросой, но не стал доставать, боялся, чтоб не дрогнула рука, когда будет закуривать.

— Я говорю, сразу же повернешь тормозной кран. Их два: в вагоне и на площадке, на тамбуре. Видал?

Санька закивал головой.

— Ты оставайся в вагоне. Если какая сука сунется...

— Ну да! — сказал Санька и вышло громко, рывком дернул сам голос. — Если офицер какой-нибудь храбрость показать, Георгия или...

— Такого ему Георгия влеплю! — и Алешка тряхнул рукой, будто в ней револьвер. И глаза вдруг похолодели, брови дернулись. — Тебе, значит, — совсем тихо говорил Алешка, — дадут оружие и сади. Сунется там стрелять из окна — сади. Уйдешь с нами. Штатское я тебе дам. Пенсне и бачки наклей. Бачки никогда не видать, что наклеены.

— Пройдем немного, — сказал Санька шепотом.

Санька отвернулся, когда закуривал, будто от ветра, хоть было совсем тихо.

Будь

САНЬКА шел домой, и ему казалось, что вот звенит, гремит улица, люди на извозчиках спешат и, запыхавшись, прошагал — старик ведь! — и затылок в поту, головой вертит — воздуху ищет. Полны тротуары, и все не видят, накинуто на них что-то, бьются, как жуки под тряпкой, и небо от них закрыли — и вдруг дернет рука, сорвет — раз! и все станут на миг и увидят небо и что все ерунда, чепуха, бестолочь и суетня. И Саньке совсем стало казаться, что он отделился от всех этих людей, смотрит как иностранец на чужую беготню, как мудрый и добрый иноземец. И Санька старался удержать это чувство и эту походку — походка стала неспешная, спокойная. Саньке этим новым духом захотелось на все, на все переглядеть. На Таню... И он той же прогулочной, чуть усталой походкой пошел на Дворянскую. Тихонько, ровно поднялся на лестницу, медленно нажал звонок.

Открыла незнакомая горничная в черном платье.

— Как доложить?

— Татьяну Александровну, — начал было Санька, и вдруг из гостиной Таня — вся в черном блестящем платье: платье блестело и казалось мокрым, и будто мокрое облегает фигуру, и веселый кружевной воротник вокруг шеи. Таня смеется задорно и так приветливо, разбежалась, скользит с разгону по паркету.

— Санька!

А сзади какой-то господин. Высокий, плотный и старается замять в губах смех. Пиджак серый, мягкий, благодушный.

— Знакомься! — кричит Танечка. — Это мой папа! — и тянет Саньку прямо в шинели в гостиную навстречу господину.

— Очень рад! Ржевский. — Танин папа тряс Саньке руку. — Очень рад, потому — вы уж извините, что мы с Танькой спорим тут, деремся даже. Может быть, — говорил уже в передней Ржевский, пока Санька вешал шинель, — может быть, вы нас разнимете. Беда прямо, — и Ржевский стал рядом с Таней и обнял за талию.

Санька вдруг схватился, показалось, что дух отлетел, что некуда его сейчас присунуть.

— Да мы тут об этом ограблении спорили. Читали, что в Азовском банке? Я в вагоне еще прочел. Присаживайтесь. — Ржевский кивнул на диван.

— Нет, нет! — Таня ударяла отца кулачком по руке.

— Да не нет, а просто сознайся, голубушка, что тебе нравится смелость. Какие девицы не мечтали о разбойниках. Верно ведь? Да брось, милая моя, все турниры дамскими взорами держались. А мы, дураки, и рады: садим друг дружку железными вертелами.

— И все че-пу-ха! — говорила Таня, она отвернулась от отца, пошла к окнам, поворачиваясь в такт на каждой ноге. — Че-пу-ха!

— Не чепуха, — говорил Ржевский, — а просто половой подбор. Вы не естественник? — он подался корпусом к Саньке.

— Он не естественник! — вдруг повернула Таня. — Сейчас вот какой-то добренькой старушкой смотрит.

— Ну-ну, — весело закричал Ржевский, — конечно! А вот на коне, — Ржевский оттопнул ногой в сторону, поднял кулак, — с мечом, из глаз огонь, рожа зверская! — и Ржевский скорчил дикую морду. — Трудное наше положение, — и он легко хлопнул Саньку по плечу. — Курите? — Ржевский мягко присел рядом с Санькой, достал черепаховый портсигар.

— Че-пу-ха, — тихо напевала Таня.

— Политика одно, а турниры, милая, и гладиаторы — это altera pars*.

— Хорошо, а этот дух не политика, то есть не делает политики? — Санька сразу испугался, не глупость ли, и сейчас же решил — а все равно, так и надо, пусть хоть глупость.

И сразу увидал — Таня глядела на него от окна и руку подняла к подбородку.

— А вы знаете, — и Ржевский сморщил губы и глядел на папироску, — когда, знаете ли, читаешь «приговор приведен в исполнение», у каждого... да у меня хотя бы! — тут вот тошнота холодная... Да у большинства... Это, знаете ли, тоже — дух! И тоже свою политику делает. — И скучным вздохом Ржевский пустил дым в сторону.

— Да, — крикнула Таня, — а они переступают через это, и это четырежды! — в сто раз политику делает. Да, да! да! — и Таня стукнула рукой по роялю.

— Я ведь был прокурором, — говорил вполголоса Ржевский, — в Киевском округе. И по обязанности пришлось. Публично это устраивали. А он просил меня, чтоб я стал, чтоб ему меня видеть

* Совсем другое *(лат.)*.

и чтоб я глядел на него до последней минуты, и я обещал, разумеется. И он глядел, держался за меня глазами, не отрывал взгляда, вот как железные пруты протянуты... Прогвождено... Он не слышал, как читали, да и я ничего не слышал и только глядел. Белое лицо, борода как не своя стала, и одни глаза, и из глаз все в меня входило, что в нем делалось. Палач саван накинул. Я дышать перестал и все глядел ему в глаза, то есть туда, где должны быть глаза, и не мог отвести. А-ф-ф! — Ржевский отряхивал голову, глядел в пол.

Таня положила локти на рояль, смотрела в угол.

Ржевский встал, прошел к трюмо, бросил в пепельницу окурок.

— Ну, Господь с ним. Слушай, скажи, пусть нам чай устроят. — Ржевский прошелся по комнате.

— А мы в винт играем, — полным вздохом сказала Таня и вышла, глядела прямо в двери.

— Да, понимаете, — вполголоса говорил Ржевский, шагая по паркету, — что ж мы-то можем? Ну пусть один, два, три! Ну пусть тысяча. Пусть с дрекольем, хоть с мечами. Умеем. Гладиаторы пусть все. Ну а что, скажите... Ну, что бы вы думали, — вдруг громко заговорил Ржевский, встал перед Санькой, крепко распер в стороны ноги, — ну, явился Спартак, скажем! Пусть победил бы. Так ведь на другой же день, — Ржевский весь перегнулся к Саньке, — завтра же гладиаторы-то эти сидели бы на скамьях в цирке и смотрели бы, как господ сенаторов рвут звери. Уверяю вас! Нет — скажете? Вернейшими наследниками были бы этого порядка. Поручусь!

— Возможно, что началось бы с этого, — сказал Санька, чтобы начать говорить, потому что бледное лицо, и глаза, и борода как не своя — все стало внутри, как доска, и душно становилось молчать и думать.

— Не только что возможно, а я вам поручусь! — и Ржевский снова заходил. — Не людей убивать, а порядок, и убивать его в мозгах людей.

«Если б Танечка стояла и я б ей глядел, глядел в глаза», — думал Санька и глядел на рояль, на то место, где стояла Танечка.

— А вот каким способом, — и Ржевский развел руками, — но во всяком случае не тем, что по канату через Ниагару. Что ж она чай-то?

— Нет, простите, я пойду, — и Санька поднялся.

— Таня, Татьяна! — крикнул в двери Ржевский. — Ну, видно, запропастилась. Душевно рад, что с вами познакомился, — и Ржевский улыбался и очень сильно жал Саньке руку.

В передней сам подал пальто.

Саньке хотелось скорей к себе в комнату, он бегом слетел с лестницы.

Санька хотел скорей запереться в своей компате и наглухо, побыть одному, и оно придет, то, что было в парке и всю дорогу, и все выйдет верно, и опять будет дышаться втрое шире груди, как тогда. И Санька бегом спешил вверх по лестнице. В прихожей стал быстро срывать с себя шинель. Что-то там говорят в столовой, пускай, Бог с ними. И вдруг Саньку дернуло всего: Танечкин голос!

— ...rien qu'une provocation! — кричала Танечка. — Je suis sûre... pour les idiots que des conspirateurs, sapristi, commissaire de police lui disait*, той дуре...

И голоса заглохли и хлопнули двери.

«В гостиной теперь!» — Санька вбежал в гостиную.

Танечка стояла красная, Анна Григорьевна сидела на диване, подняла на лоб брови и снизу глядела на Танечку.

— Вот-вот! — Танечка шагнула к Саньке. — Вот только я пошла тогда, понимаешь, сказать чаю, с черного хода какая-то дура принесла записку — вот эдакий, — и Танечка размахнула руки, — рапорт. Понимаешь, — Танечка горячим шепотом обращалась только к Саньке, — Надька пошла к своему увриеру, а там все готово и засада. Уверяет, что пристав ее отпустил как Кудрявцеву — это по ее дурацкой — уверена! — фальшивке. Убеждена, что дурацкая. И теперь думает, как спасать Филиппа этого. И будет, дурища, ходить по всем своим, такие вот, может быть, корреспонденции рассылать. За ней стаей сейчас шпики. Десяток! Дюжинами послали. Дурища! Ах, дурища несчастная!

— Что же делать? Что делать? — шаталась в тоске Анна Григорьевна.

— Что делать! Теперь вот «что делать»? — Танечка обеими руками показывала Саньке на Анну Григорьевну. Показывала, как союзнику, и Санька горел всем лицом навстречу Танечке. — Да поймать и этапом куда-нибудь, да к черту на рога — «в деревню к тетке», не знаю! На необитаемый остров. А она же всех провалит, идиотка. Да-да! Идиотка! — крикнула в голос Таня прямо в лицо Анне Григорьевне.

* ...всего лишь провокация! Я уверена... для идиотов конспираторов, черт возьми, пристав ей говорил... *(фр.)*

— Знаю, знаю... — с болью шептала Анна Григорьевна. — Ну, найти, найти!

— Как ее найти? Ты можешь ее найти? — Таня глядела Саньке в лицо и так глядела, как своему совсем, как будто ближе сестры, ближе жены, все, все такой можно сказать. Саньке казалось, что душа его выступила наружу из груди, и вот тут вся перед ним, и пусть Таня возьмет, руками прямо возьмет, как пакет, пусть даже не посмотрит, а просто, не глядя, на ходу. — Найдешь ты, что ли? — крикнула Таня.

И Санька испугался, что сейчас отвернутся, и поспешил со словами:

— Башкин разве!

— Ах да! — вскинулась Анна Григорьевна. — Башкин!

— Башкины за ней и ходят! — и Санька браво глянул на Таню.

— Ходят-то, положим, не Башкины... — тихо сказала Таня и посмотрела вниз.

Вдруг оба глянули на Анну Григорьевну. Она тихо плакала, почти беззвучно, с платком у лица, сгорбилась по-старушечьи — устроилась плакать надолго.

Санька сделал шаг, не знал, как Таня, но Таня мигом стала на колени, у Анны Григорьевны поймала руки.

— Слушайте, мусенька, миленькая, мышенька моя, — и она легко обхватила старуху за шею, — честное слово, сегодня же найдем Надьку и упрячем в дебри, в деревню! Жудженька, миленькая! Я папе скажу, папа все для меня сделает! — и Таня прижала лицо и целовала седой висок, ухо, как целуют маленьких, помногу, часто. — У папы есть такие знакомые, он сделает, честное слово!

Анна Григорьевна мокрыми глазами смотрела на Танечку, смотрела, как ребенок, не знала, не решалась утешаться.

— Мусюнечка! — и Таня, смеясь, поцеловала Анну Григорьевну в нос.

Анна Григорьевна улыбалась. Санька сидел рядом, он гладил мать по спине, по затылку и встречал Танины ласковые, нежные руки — только не нарочно! ни за что! — и крал, кусочками крал нежность, и какое может быть горе, если всегда такие руки! И Санька гордился, что, может быть, мама думает, что это его Танечка. Ну, хоть немножко. Его Танечки руки.

Танечка встала. Анна Григорьевна смущенно глядела все еще с улыбкой Тане в лицо. И вдруг платком, что держала в руках, стала обмахивать Танину юбку на коленках и смеялась маленьким смешком — почти счастливым.

— А за вашей квартирой следят. Имей в виду, — сказала Таня, когда Санька подавал ей кофточку.

— Имею, — сказал Санька. Таня стояла у дверей боком к Саньке, глядела внимательно в глаза, сторожко, с думой. Протягивала медленно руку.

— Ну, будь... — порывисто сказала Таня, сильно притянула Саньку за руку, прямо в губы крепко, с порывом, поцеловала, закрыв глаза. Повернулась и вмиг толкнула дверь, захлопнула.

Был уже второй час ночи. Виктор сидел перед своим письменным столом, подпер виски руками и глядел на белый лист — как? Как его писать? — и Виктор отхлебнул из стакана холодного чаю.

— Так-с! — сказал Вавич, выпрямился, достал папироску. Курил, хмурился для мысли. Лист смирно лежал на красном кляксапапире.

«Знать бы, поедет она к нашим или не поедет? — думал Виктор про Груню. — Нарасскажет там с три короба».

— Да ну, черт! — сказал вслух Вавич и схватил перо.

«Милая и дорогая мамаша, — быстро писал Виктор, — я так занят сейчас, прямо по горло дел и всяких оказий, что даже не знаю, поедет ли Груня к вам. Может быть, поедет, а может быть, не поедет».

Вавич наклонился совсем над бумагой. — И действительно — черт его знает? А эта: вам тут не в отдельном — сволочь! — кабинете! А тот обрадовался и ну водку хлестать. Дорвался. При всех говорит. Дурак, что пошел! — и Виктор стукнул по столу и свалил пепел на лист. Мерзость какая еще, — сдувал Виктор пепел, — все равно сволочь, и теперь начнут все под бока садить и тогда... — и представилось, что снова в Московский перевели, а там уже покажут... А вот к черту!

«Я думаю, что к черту, — написал крепко Виктор, и брызнуло перо, — со всей этой службой и не только что на почту, а мне никакой чести не надо, я могу конторщиком на товарной станции, мне все равно на какой труд божий. И тебя бы посмотреть, как это чудо с тобой такое, прямо понять не могу, и с Грунечкой тогда очень просто, что все ладно будет. Она в сомнении каком-то сейчас, даже непонятно. А евреи некоторые бывают, я даже сам видел, прямо как русские, и даже не обижаются, сами говорят — я жид, и смеются. Бывают славные. И крестятся некоторые, так что совсем как русские, и

даже своих жидов ругают. И с Тайкой это все, может быть, даже к лучшему. Я приеду и решим. Поищем должность».

Виктор положил перо, чтоб передохнуть. И представлялось, как приедет, и мама на ногах, и потом старик вдруг видит в штатском... Да, потом по городу — в чуйке какой-нибудь... и все знают, что был квартальным. Выгнали, скажут. Чем больше уверять, больше смеху. А как она тогда-то, с бомбой когда: сумасшедший, что ты делаешь! Бежала́, небось, за мной. Надо сделать, сделать что-нибудь, — и Виктор заерзал на кресле и сжал рукой подлокотник. Поймать какого-нибудь, самого отчаянного. Все бегут за углы, а Вавич, вот, пожалуйте! Прет и никаких. Тот пулей ляп! — промах, а тут цап его за шиворот, раз! и об землю, как щенка, — и потрескивал под рукой подлокотник. Ах, ох! — нет-с, ни ах, ни ох — а к черту-с!

— Сумасшедший!

— Ладно-с, знаем вас, сударыня-с. Баста! Пожалуйте-ка того: ухожу. Куда? К чертям-с. — И Виктор злыми глазами обводил комнату.

— Медаль дадим.

— Благодарствуйте! — и Виктор поклонился — совершенно пронзительно.

Полицмейстер к себе на квартиру: Да что вы? Почему? И эта, конечно, тут, смотрит собачьими глазами.

— Поговоримте.

— Мы не в отдельном кабинете, о чем говорить-с, сударыня-с?

Виктор долго глядел в штору, и Варвара Андреевна плакала виновато, просительно. И головкой этак вперед.

— Надо было раньше думать! — громко сказал Виктор.

Тускло глянуло письмо со стола. Будто не он писал. Порвать? Виктор сгреб в кулак верх листа. Пустил. Расправил. Кинул в ящик стола. И быстро стал раздеваться.

Вот оно

САНЬКА в бачках, в пенсне с черной тесьмой, в черной, в шикарной черной шляпе, в штатском элегантном пальто сразу почувствовал, что он уже не он, не Санька, и что в этом надо, неутомимо теперь уж надо делать то, для чего это все. Как вот если б в солдатах и сразу одели бы в форму. И Саньке казалось, что он в чем-то сидит, вроде кареты или ящика, и смотрит оттуда

из окошечка, как из бойницы. Санька даже другим, совсем незнакомым голосом позвал извозчика. А холодок внутри как встал, так и держался крепко в одном месте, и теперь надо в этом проехать этот путь и лишь бы скорей кончилось. Он будто ехал с ледяной горы и уж оттолкнулся, и начался разгон, и шибче, шибче летит, и уж теперь не удержать, и уж только держись крепче и жди. «На крайний случай застрелюсь», — и Санька рукой потрогал карман: тяжело и твердо лежал браунинг. Серьезно. Нахмурившись.

Чемодан был небольшой, кожаный, заграничный. И Санька совсем будто и не был тут — кто-то другой за него, вот этот, с заграничными манерами, и даже говорит как-то в нос. Сам без него, без Саньки, спрашивает:

— Правэдник! Место номер одиннадцать. Это где же?

И в этом человеке в холодке где-то замер Санька и ждал, что будет с этим человеком — в пенсне, в замшевых серых перчатках.

Прошелся по коридору вагона. Осталось пять минут до отхода. Санькины часы у этого человека, как украл точно. Рядом в купе — офицер. Штабс-капитан... Пехотный. И сердце туго стукнуло. Несколько раз всего, и опять что-то прижало под ложечкой, будто корсет. Тормозной кран сразу увидел, вот он, с красным наконечником. С папироской прошел на площадку — другой. И пломбочка на шпагатике. Он третий в своем купе. Две дамы, одна с ребенком. Девочка лет шести. Девочка уселась, уютится, одевает мишку плюшевого, что-то приговаривает и взглядывает по-картиночному кокетливо на молодого человека в пенсне.

Три звонка. Вот они ударили — внутри стукнули, никогда так звука не слышал — как удар изнутри. Знал уж, не слышал, что поезд свистнул. Тронулся. Санька совсем сжался там внутри, сощурил глаза и замер. А тот, другой человек остался будто совсем пустым и один.

Пошел на площадку. Офицер курил в проходе. С площадки еще раз взглянул: да, стоит. Через десять с половиной минут мостик — осталось восемь с половиной. Фонари реяли в окне, и что за места — как чужие. Поезд шел полным ходом. Надо переложить браунинг из брюк в пальто. Осталось — и на часах, как и в уме, — ровно столько же, будто в голове часы, и стрелка стукает секунды в черепе. У молодого человека дыхание стало, и в тот же миг:

Гуррах! гуррах! — мостик.

И рука дернула ручку крана и не чуяла, как рвался шпагат.

Зашумело, завизжало под низом. Осаживало поезд. Надо в коридор. Офицер шагает к той площадке. Выскакивают из купе.

— Что такое? Что?

Уж много народу в коридоре. Надо к офицеру. Фу, дыхания мало. Ну, все равно, все взволнованы, дама в дверях купе, девочку схватила за руки. Почему-то все к той площадке — проводник вон проталкивается к этой, где кран. Успеть можно. И уж на площадке и уж быстро, молнией, рука толкнула ручку крана на место, стоя, как была. Уже толпа на площадке. Трудно выбиться туда, к офицеру. Поезд стоит, кажется.

— Господа? Пропустите, не толпитесь в тамбуре, — и проводник с фонарем над головами тискается к дверям.

И вдруг окрик, резкий, оттуда, снаружи, из темноты. И все равно слышен за говором и через дверь — командный:

— Не выходить никому. Стрелять будем. За сопротивление взорвем поезд!

И сразу все смолкли на площадке. И слышны крики за дверью, там на воле голоса:

— Пятый сюда!

И вдруг крик возник в коридоре.

— Да что за сволочь! Непременно буду стрелять!

Санька рванулся в коридор.

Офицер колотил ногой в дверь купе. Две дамы хватали его за руки.

— Умоляю! Они взорвут! У меня ребенок! — И девочкин крик поверх голосов. Какой-то мужчина кричит:

— Вы не один, вы не имеете права! Не отпирайте, не отпирайте купе.

Уже плотная толпа сперла офицера.

Офицер, красный, кричит, ревет:

— Проводник! Проводник!

«Не пустят, не пустят проводника, и все равно там защелка».

— Шинель мою подайте! — офицер локтями расталкивает пассажиров.

— У него револьвер в шинели, — кричит кто-то впереди Саньки. — Вы никакого права....

Нет проводника, не идет. Санька прошел на площадку. Проводника не было. И от дверей все отсунулись.

— О! Слыхали — два выстрела, — шепотом сказал пассажир возле Саньки и осторожно приподнял палец. — Господа, — громче сказал уже, — лучше сядем по своим местам.

Санька прошел в свое купе. Дама прижимала девочку, бледная, жала ее изо всех сил.

— Они будут ходить по вагонам. Ничего, ничего, золотце мое, они нас не тронут, они не трогают девочек, солнышко мое.

— Нет, нет, не будут, — вдруг заговорил Санька, он гладил спину девочки, — не будут, милая.

— Вот и дядя говорит — дядя не даст девочку.

Девочка всхлипывала и вздергивала плечами.

— Не дам, не дам, — и Санька боялся дальше говорить, голос сбивался, рвался, подпрыгивал, еще пустить себя прятаться за эту девочку, и тогда все, все лопнет. Санька слушал, существом ловил звуки снаружи.

Рядом с дверью толпились мужчины, и кто-то повторил хрипло:

— Мы вам не позволим... не позволим. Пожалуйста, арестуйте... Потом, пожалуйста... Пожалуйста...

Санька вышел в проход, к площадке.

Прежний пассажир перегородил рукой.

— Не ходите, — шептал он с дрожью, — ей-богу, все может быть. В уборную? Кажется, занято.

Скорей, скорей! Санька боялся, что еще минута, полторы, и не выдержит, откроет дверь и ноги унесут вон, дальше, дальше.

— Ломают, ломают. Железо, — шептал пассажир. — Дайте папироску, не знаю, не знаю, где свои дел. Ух! — перевел дух пассажир.

Вдруг Санька услыхал тонкий свист — долгий и потом отрывисто. И в вагоне погас свет.

«Уходят! Как, как теперь?» — Санька ходил на ощупь по кусочку коридора, от офицера до пожилого пассажира — он прошел одиннадцать раз.

— Да я в уборную! — и Санька прошел мимо пожилого. Уборная была заперта. Санька вышел в тамбур.

— Псс! Псс! — звал пассажир.— Не зажигайте спичек. Вы дальше от окна, — он кричал осиплым шепотом.

— А может, никого уж нет, — сказал Санька, проклятый голос становился как свой, прежний. Открыл наружную дверь. Он слышал, как завозил ногами вслед за ним пассажир. Санька спрыгнул со ступеньки. Темной стеной стоял поезд, и только впереди у паровоза краснела земля.

«Вот оно какое!» — Санька глядел, как молчал черный поезд в степи. Готово — и возврата нет. И вдруг страх ворвался сразу во все суставы. Саньку ноги дергали с места.

19—3207

— А ведь в самом деле, черт его... — Санька узнал голос офицера — он грузно прыгнул на насыпь. — Вы здесь?

— Тише, — шептал Санька. Он слышал, как над ним в дверях вполголоса говорили:

— Я все равно не поеду, я пешком назад пойду, все равно черт знает что.

— Да тише! Христа ради.

Вдоль поезда двигался фонарь.

Санька видел, как в темноте офицер нагнулся, шагнул за буфера. Наверху хлопнули дверью. Санька отошел несколько шагов под откос. Стало видно, что идет проводник с фонарем.

— Фу! Мы думали, они! — крикнул офицер.

— Мы думали — они! — говорил Санька — пусть голос дрожит, у всех дрожит.

— Проводник! — кричал офицер.

Пассажиры начали спрыгивать и сразу кучей голосов, охрипших, сбивчивых, хлынули на проводника. В других вагонах хлопали двери. Санька несколько секунд потолкался и сделал два больших шага в темноту. Он делал их легко по прелой траве и вот быстро, быстрее, и отдал ноги страху, и страх нес его по степи вдаль, все равно, дальше, дальше.

В два часа ночи Санька, уже в студенческой форме, тыкал ключом в парадную дверь, не попадал, пошатывался — очень кстати и шатает, как из кабака приплелся, — Санька оглядывал улицу, пока вертел ключом. Ночной сторож мирно шагал по пустой мостовой. Сторож поровнялся, взглянул, повернул назад.

— Что, дождя завтра не будет? — спросил, не выдержал Санька.

Сторож запрокинул голову:

— Не, не должно.

Санька пошатывался по-пьяному на пустой темной лестнице. Пошатывался и дома, один у себя в комнате. Он стал раздеваться, вдруг пошел без сапог в столовую, отпер тихонько буфет, нащупал графинчик. Рука прыгала, когда Санька пил из горлышка. Скорее, скорее. Он выпил все и не чуял водки, шло как вода. Санька лег, не снимая брюк. Потом вскочил. Вынул из брюк браунинг. Огляделся в полутьме. Подошел на цыпочках к шкафу, заложил руку с браунингом на шкаф, подержал секунду, снял. Оглядывал комнату. Сунул браунинг под подушку, разделся и лег. Он положил голову на подушку и

вдруг ясно услышал тот самый тонкий, пронзительный свист. Он отдернул ухо от подушки.

Кровать опять скрипнула.

Утром Санька, не пивши чаю, прямо из своей комнаты пошел в университет. Санька никогда так не вглядывался в лица — прямо вцеплялся глазами, и хотелось вмиг, одним рывком, ободрать физиономию, узнать — кто? Не шпик? Моментами казалось в людской густоте, что шпики, шпики, как мухи, стаей вьются уже сзади, кругом. Санька замедлял шаг, отходил к витринам. В университете Санька насвистывал повеселее в лаборатории, разговаривал, много разговаривал, и с теми, кого не любил.

«Нет, все же обыкновенно», — и Санька поддавал веселости. Но время шло толчками. Саньке казалось, что уж три, но, наверно, нет двенадцати. Санька выскочил из университета. Но в разгоне веселости прошел два квартала. «Это кажется только, что за мной идут», — но ноги поддавали быстрей, и Санька не оглядывался. На половине лестницы к Ржевским Санька остановился. Прождал минуту — никого.

Танечка завтракала с отцом. Сидела хозяйкой, и Санька не понял, отчего одно Танечкино лицо светит за столом, светит, как в сиянии. Танечка поднялась и незаметно поправила рукой воротничок — это был «цвет», и его первый раз Санька видел на Тане.

Ржевский радушно улыбался, выдернул салфетку из-за борта, здоровался:

— Вот кстати! Садитесь, — он отодвинул стул и давил грушу звонка. — Да чего ж она! Заснула? — и он быстрыми шажками вышел из комнаты.

— Танечка, — выдохнул Санька всем вздохом, — знаешь, мне надо...

Таня глядела в глаза, на секунду затаила дух и вдруг замахала рукой:

— Не говори, милый, не говори никому, и мне не говори. Слышишь?

В это время вошел Ржевский, горничная быстро топала сзади.

— Что же ты прибор-то! Хозяйка! — говорил Ржевский. — Читали нынче в «экстренном»-то! — Ржевский садился, глядел на Саньку.

— Я хозяйка, — сказала Танечка, — и не хочу ни об «экстренном», ни о какой политике, — и Таня стукнула ножом по тарелке, — о веселом, пожалуйста.

Санька заметил, как Танечка поглядывает, как он ест. Четыре надломленных куска хлеба лежали у Саньки под рукой на скатерти.

«“Экстренное”, значит, знает весь город, каждый человек», — думал Санька. И не замечал, что ел.

«287940»

— НЮХ! Ты мне не ври! Нюх! — кричал Грачек. — Нюхни — вот. — И Грачек сунул красный костлявый кулак прямо в нос Вавичу.

Вавич попятился. Они одни были в кабинете Грачека.

— Ты говори, какие у тебя нитки были? Ну? Показалось? А вот тебе небо с овчинку, может, покажется. Знаешь?

Грачек прошел к окну, не глядел на Вавича.

— А револьвер его ты зачем к полицмейстеру отнес, а не сразу сюда? Финтики? А может, ты врешь, что номер 287940.

Вавич молчал и глядел то в пол, то с темной злостью взглядывал на Грачека. Грачек смотрел в стену.

— Ну так как же?

— Шел за ним до постового... — Виктор поворачивал головой.

— Слышал. Схватил сзади за руки, ногой упер в зад. Постовой обшарил, и вот браунинг! В кармане, через шинель? — бубнил в стену Грачек. — Унюхал? Что у меня в кармане? Ну? — Грачек хлопнул рукой по шинели. — Гадалка! А кто там еще обшаривал? Никто? Врешь. Знаю. Стой здесь.

Грачек шаркал ногами, вышел. И Виктор слышал, как сказал за дверями:

— Не выпускать! Не входить!

«Пусть, сволочь! — шептал Виктор. — Я самому Миллеру скажу». — И для бодрости громко зашагал по кабинету. Вдруг дверь скрипнула, и голова Сеньковского.

— Дурак ты! — громким шепотом говорил Сеньковский, он поминутно оглядывался. — Ведь этот старик-то, староста из Петропавловской, сидит у нас в приемной, — Сеньковский оглянулся и заговорил быстрее, — говорит, видел его на Слободке, на колокольню лазал, планты, говорит, планты... а и ты! — Сеньковский высунул язык и вдруг спрятал голову, прикрыл легонько дверь. — Если номер верный, — вдруг снова всунулся Сеньковский, — ты лучше по-хорошему, — и он мигом захлопнул дверь.

Вавич услыхал, как возил по коридору ногами Грачек.

— И придешь обратно, — услыхал Виктор, это Грачек крикнул, и тяжелые шаги затопали к двери. Вошел старший городовой, саженный, на всю полицию — один такой.

— Пожалуйте, полицмейстер требует.

Распахнул дверь, стал у двери.

— Пожалуйте, — и крякнул в руку.

Вавич сердитыми шагами вышел. Сеньковский топтался у дверей.

— Петухов-то не запускай, хуже будет, — громко сказал вслед Сеньковский.

— Болван, — пробубнил Вавич. Он быстро шел, нахмурясь, глядел прямо вперед, и чужими мелькали мимо стены участка.

— Тьфу! — плюнул Вавич на лестнице.

Городовой поспевал сзади.

«Что ж это? Сопровождает? Как арестованного?» — Виктор сделал вид, что не замечает.

До дому полицмейстера было два шага. Виктор дернул наотмашь дверь на лестницу.

— В канцелярию приказано-с, — сказал сзади городовой.

— Ага! — и Вавич бросил дверь. Дверь хлопнула. Дверь в канцелярию была рядом. Вавич быстро, усиленно деловитым шагом вбегал на лестницу. Городовой пыхтел сзади.

— Прямо в кабинет, — вполголоса приговаривал по дороге городовой и сам постучал в двери.

— Войдите, — круглым голосом выкатил слово полицмейстер. — Ага! — он медленно покивал из-за стола на поклон Вавича. Городовой остался за дверьми.

— Что ж это вы, голубчик, — и полицмейстер откинулся на спинку кресла, упер перед грудью пальцы в пальцы, — что ж это вы давеча рассказывали и этак... героем этаким представились.

— Я... — начал громко Вавич, решительно крикнул: — Я!

Но полицмейстер поднял руку.

— Можно? Я тут ключи у тебя забыла, — и Вавич боялся оглянуться на голос Варвары Андреевны. Варвара Андреевна задержалась на ходу, насмешливо глянула на Вавича и сейчас же стала выдергивать ящики в высоком шкафчике колонкой. — Куда я их сунула?

— Выходит, вы все мне тут налгали, — уже покрепче голосом говорил полицмейстер, — ничего вы не унюхали! Да-с! А вас натолкнул старик, господин Фомичев! Ага, знаете!

Варвара Андреевна на миг оглянулась на Виктора.

— ...Староста Петропавловской церкви и содержатель трактира второго разряда. Помолчите! — вдруг крикнул полицмейстер. — Вот, извольте, — уже выкрикивал полицмейстер,— он тут бумагу уже подал, — и полицмейстер тряс толстым листом слоновой бумаги, — вот тут излагает и ходатайство тут, просит о награждении.

Полицмейстер стукнул листом по столу.

— Не тебя, конечно! Постовой мог задержать. Герой!

— Револьвер! однако! оказался! — лаем выкрикивал Виктор.

— Что оказался? — полицмейстер нагнулся вперед. — Что? Сороченки? Убитого? Да? Кто сказал? Номер? Это еще проверим, батенька. Может быть, конечно, — тише заговорил полицмейстер.

— Слушай, — вдруг сказала Варвара Андреевна, — скажи, чтоб поискали, где-нибудь они должны быть. Разменяй мне, пожалуйста, десять рублей, — и она рылась в портмоне.

— Да-с, — полицмейстер совал руку в карман брюк, — а зачем это в Московский понадобилось сдать — довести не мог? Тигра, подумаешь, поймал, — полицмейстер доставал деньги, глядел в кошелек, — а револьвер, видите ли, вам понадобилось сдать лично мне, — и он глянул на Вавича.— Как эти фестоны понимать прикажете? — он передавал бумажки Варваре Андреевне. Она заправила их в разрез перчатки, пошла к двери, не глядела на Вавича. — Да! Что это за финтифлюшки, — сквозь зубы заговорил полицмейстер. Он встал и стукал по столу пальцем. — Что? Боялся, что в Соборном отпустят? Что же это? Где слу-жи-те?

Виктор боялся, что могут слезы сами брызнуть, от злости слезы.

— Где служите? — шагнул из-за стола полицмейстер, сделал шаг к Вавичу. — Ступайте вон! — сказал, как проплевал, в самое лицо Виктора полицмейстер.

Вдруг Вавич ударил глазами в полицмейстера, как камнями бросил, весь наклонился боком и ногу сзади отставил, в самой вольной, в самой дерзкой позе. Полицмейстер голову назад вскинул, брови прыгнули.

— На точном основании приказа, — и голос у Вавича, как молотком по железу, — его высокопревосходительства генерал-губернатора генерала-от-кавалерии Миллера — отвести в ближайший участок! Найденное при обысках оружие сдавать в канцелярию полицмейстера или в комендантское управление.

А служу я Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Второму Александровичу. Присягал! — и Виктор круто повернулся и вышел в двери.

Виктор без дыхания прошагал всю канцелярию — к генералу и застрелюсь!

«Ваше высокопревосходительство! Приказ вашего высокопревосходительства в законной точности, и подвергаюсь», — и Виктор видел, как он стоит по-военному, — а он сразу увидит — военный, — и генерал смотрит строго и поощрительно. — И Вавич быстро стукал по ступенькам лестницы, уже взялся за дверь — и вдруг сверху:

— Надзиратель! Вавич!

Виктор хотел уж не слышать, сунулся в двери и взглянул назад: служитель канцелярский с медалями тарахтел каблуками по лестнице.

— Просят назад господин полицмейстер. Просят. — Запыхался, бежал, видно. Виктор шел назад, весь напружился.

— Вы, кажется, обиделись? — полицмейстер улыбался. — А вы садитесь. Да садитесь же, потолкуем.

Виктор сел, вертел головой по сторонам.

— Ведь мы на службе иногда и повздорим, без этого нельзя. Не надо все к сердцу. Вы наверно знаете, что этот номер? Как вы записали? — и полицмейстер шарил глазами по столу.

— 287940! — сказал Виктор.

— Да ведь этот номер был у Сороченки? Так это уж кончик. Подумать только — Тиктин и этакое уж знаете...

Вавич кивал головой, глядел мимо, в окошко.

Виктор посидел на бульваре. То сидел, ноги расставив, избочась. То крепко скрестив руки, и ноги вытягивал одна на одну. Заходил обедать в «Южный». Спрашивал самое дорогое. Вечером к одиннадцати часам — пришел домой.

— Ждут уж часов с восьми, — шептала Фроська в передней и кивала на дверь в кабинет.

Но дверь уж приотворилась. Сеньковский выглянул в просвет.

Виктор снимал шинель, будто не видел.

— Ага! Что скажешь? — Виктор, стоя, тер руки и глядел строго на Сеньковского.

— Да черт тебя! Три часа тут, чуть не заснул. А супруга твоя... Что, у вас военное положение?

— Не нравится, я ведь не звал, — и Виктор подошел к столу, открыл коробку с табаком.

— Ты не запускай! — шепотом говорил Сеньковский. — Я и не сидел бы здесь, черт с тобой совсем. — Он подошел к Виктору вплотную. — Она велела, чтоб пришел, до часу будет ждать. Слышал?

— Угум? — промычал Виктор и глядел, как набивалась папироса. Набитая папироса отскочила от машинки.

— Merci-с, — и Сеньковский подхватил папиросу.

— Положи! — крикнул Вавич.

— Пулемет какой! — и Сеньковский положил на стол папиросу. — Ты знаешь что? Черт с тобой, я пойду, а ты петухов не запускай лучше, а то — прямо тебе говорю, живо, брат, тебя, — и Сеньковский оскалился и тер в воздухе между ладонями, — фють! — дунул Сеньковский. — Фють и готово.

— Я рапорт подаю генералу Миллеру, — размеренно сказал Виктор и чиркнул спичку.

— Ну и шут с тобой! — и Сеньковский шагнул в прихожую. Виктор слышал, как он сказал: «Не нажгись» — и прихлопнул за собой дверь.

Я унесу

АННА Григорьевна сидела на Надиной кровати и раскладывала на одеяле карты: уж который раз раскладывала на червонную даму, все выходили «дороги», «дороги»... В прихожей позвонили. Анна Григорьевна пугливо дернулась и быстро накрыла карты подушкой. Выглянула в коридор: Башкин стоял, он держал шляпу на уровне лица и шепотом спрашивал Дуню:

— Никого нет? Гостей нет?

— Я одна, одна! — зашагала к нему Анна Григорьевна. — Семен Петрович.

Башкин шел, тихо стукал, озирался.

— Анна Григорьевна! Вы ничего не знаете? — Башкин говорил шепотом. — Пройдемте к вам, я с поезда, на даче живу. Идемте, идемте, — шептал Башкин.

Он взял Анну Григорьевну за руку. Рука Башкина дрожала, и он крепко зажимал руку Анны Григорьевны.

— Сядемте, — все шепотом говорил Башкин. Плотно запер дверь. — Не зажигайте, так довольно света.

Он сел против Анны Григорьевны.

— Вы знаете, ваш сын арестован.

Анна Григорьевна вся дернулась вверх и как от боли закусила губу.

— И очень скверно арестован, — Башкин не мог смотреть на это лицо, глядел вбок. — Его арестовал квартальный на улице, и у него в кармане нашли револьвер. — Башкин слышал, как мелко тряслось кресло под Анной Григорьевной. — Это ничего, ничего! — говорил умоляющим голосом Башкин. — А квартальный, Вавич, что арестовал его, говорит, что револьвер, — еле слышно шептал Башкин, — с убитого городового.

Анна Григорьевна вдруг схватилась руками за виски, пригнула голову к коленям и тыкалась головой в колени и стукала об пол ногой в отчаянном такте.

— Что ж это? Что ж это? Что ж это? — все громче и громче повторяла Анна Григорьевна.

— Анна Григорьевна! Нельзя! Нельзя! — вдруг крепко сказал Башкин, почти крикнул. Он толкнул в плечо Анну Григорьевну. — Надо сейчас же действовать, действовать!

Анна Григорьевна раскрытыми сумасшедшими глазами смотрела на Башкина.

— Ведь сейчас же, ночью, могут сделать обыск. Надо все, все в его комнате пересмотреть. Сейчас же!

Анна Григорьевна встала.

— Боже, Боже! — говорила она и быстро шла с Башкиным в Санькину комнату.

— Дуняша! — крикнул Башкин в кухню. — Никого кроме барина не впускать! Я буду просматривать, а вы складывайте обратно, — шептал Башкин.

— Боже! Боже! — повторяла Анна Григорьевна. Она стояла посреди комнаты, давила ладонями виски, расставив вбок локти.

Башкин зажег обе лампы в Санькиной комнате. Он выдергивал незапертые ящики стола, судорожно быстро перебирал, пересматривал.

— Укладывайте! — командовал шепотом Башкин. И выдергивал другой ящик.

Анна Григорьевна с раскрытыми настежь глазами укладывала аккуратно вещи — ручки, кисточки, стеклянные трубочки — и дышала все с тем же:

— Боже! Боже!

Башкин обезьяньей хваткой перекидывал книги на этажерке. Он дошел доверху: поверх книг, завернутая, толстая. Он

схватил, сунулся к столу, к лампе, быстро рвал веревочку, отрывал бумагу. Сверху переплет, от Библии, не приклеенный! И руки сразу почувствовали железо. Башкин осторожно оглядывал, приткнулся близорукими глазами.

Анна Григорьевна оставила укладку, глядела, задохнувшись.

Башкин вдруг переложил железную книгу на кровать, осторожно, бережно.

— Что это? Что? — шепотом спрашивала Анна Григорьевна.

— Я унесу! — сказал Башкин.

Анна Григорьевна глядела на него, на дверь.

— Что? Вы боитесь, что сейчас придут?

— Пусть придут! — выкрикнул Башкин. — Я скажу, что я! Я принес. Да! Вот сейчас заверну в бумагу, — Башкин сдернул синий оберточный лист с письменного стола, — вот! — Он обернул на кровати в бумагу железную книгу. — Вот! и надпишу: Семена Башкина. Прямо распишусь, подпись пусть будет!

Башкин схватил из поваленного стаканчика цветной карандаш и надписал красными буквами — С. Башкин и расчеркнулся.

— Вот, пожалуйте! — он двумя руками осторожно показывал Анне Григорьевне. — Это же бомба! — сказал в самое ухо Анне Григорьевне Башкин. — Я в прихожей положу под стол. Да! И шляпой своей собственной накрою сверху.

Анна Григорьевна молча поворачивалась за Башкиным.

Анна Григорьевна стояла, все глядела на Башкина, когда он вернулся из прихожей, и что-то шептала неслышно.

— Что? Что? — Башкин наклонил ухо.

— Это, наверно, тот оставил... сегодня один заходил без него.

— Я унесу, унесу! Дальше, дальше! — Башкин бросился к постели, отгибал матрац. — Господи! — говорил Башкин. — Господи! Почему у меня, у меня именно, нет матери. Нет, нет матери, — Башкин порывисто откидывал подушки. — На миг, на один миг чтоб была, я все бы отдал, чтоб вот теперь, теперь была б, у каждого прохвоста есть, вот сейчас бы. Нет, нет! Вы ему мать, и вам в десять тысяч раз лучше, чтоб я с десятью бомбами попался, чем он с одним револьвером. Нет, нет! Не то! Не для этого. Не для этого! — почти крикнул Башкин и бросил на кровать Санькин сюртук. — Со мной ничего, ничего бы не было. — Башкин сидел на кровати и говорил, захлебываясь. — Я бы об ней думал бы, вы знаете, мне эту ночь она снилась, как умирала, закрыла глаза и не дышала, а я бросился — мама! и она встрепенулась и схватила меня за голову и прижала губы поцелуем и — рот уже

трупный, а я пересиливаюсь и целую, а она меня зубом единственным укусила в губы. Страшно больно, — я проснулся.

Башкин поднял к губе руку.

— Кончаем, кончаем, — вскочил Башкин. Он бросился перебирать полотенца. — Все! Все! — говорил возбужденно Башкин. — А ему грозит военный суд. И он, может быть, вас тоже ночью укусит в губу.

Анна Григорьевна в столбняке глядела на Башкина.

— Анна Григорьевна! Вы, вы, вы! верите, что я ваш друг?

Анна Григорьевна медленно поднимала, протягивала руки.

Башкин взялся за ручку двери. Анна Григорьевна протягивала к нему руки — Башкин вытянул вперед голову:

— А Варька! Варька-то! полицмейстерша проклятая, знаете? Живет с Миллером, — шепотом, ясным раздельным шепотом сказал Башкин, — знайте!

Он вышел. Анна Григорьевна не могла двинуться с места.

Анна Григорьевна у себя в спальне на коленках стояла в полутемной комнате, и святой Николай-чудотворец все держал с иконы руку — будто отстранял — нет, нет, не проси! А она сплела пальцы и до боли выворачивала их друг об друга и била сплетенными руками об пол:

— Яви, яви чудо! Молю! Ну молю же! Жизнь мою возьми, возьми! возьми! — и Анна Григорьевна стукала лицом об пол.

Дуня на цыпочках вошла в столовую и, не звякнув, поставила бурлящий самовар на стол.

— Умоли! Умоли его! — шептала Анна Григорьевна, шатала в тоске головой, и скрипели сдавленные зубы. — Умоли!

Она знала, — в этот миг муж там, у генерал-губернатора.

— Умоли! — и Анне Григорьевне всей силой хотелось, чтоб вышла душа с этим вздохом, вышла бы жертвой, и опустил бы святитель неумолимую руку.

Так-с

— ЧТО же вы этим хотите сказать? — генерал Миллер глянул строгим и рассудительным взглядом на Тиктина. Глянул грудью со строгим Владимиром у воротника, аксельбантами, приличными, аккуратными, и спокойной звездой. Достойно и прямо стояли пиками две мельхиоровые крышки чернильниц по

бокам. И серьезная лампа деловым зеленым уютом поддерживала ровный уверенный голос.

Андрей Степанович набрал в грудь воздуху, глянул на громадный кабинет, и в полутьме со стены глянул в ответ большой портрет великого князя Николая Николаевича, в рост; глянул сверху, опершись белой перчаткой на палаш.

— Да я ведь не возражаю, что принципиально вы, может быть, со своей точки зрения абсолютно правы, — Андрей Степанович умно нахмурился. — но ведь вы же допускаете тысячу случайностей, — Тиктин серьезным упором глянул в голубые блестящие глаза, — случайностей, которые могут привести к роковой несправедливости.

— Простите, — прилично и твердо зазвучал в огромной комнате круглый голос, — я военный и сам тем самым ставлю себя в зависимость и постоянную — да-с! — Миллер положил руку на стол, мягкую, с крепкими ногтями, и перстень с печатью на синем камне, — постоянную подсудность военному суду. Я сам ему вверяю себя. Каким же образом я могу...

— Но ведь студент не военный! Простите! Вы скажете, что военное положение и все должны... Но ведь надо же принимать во внимание и молодость и всю ту атмосферу, — Тиктин нагнулся через стол, — из этих же людей выходят деятели, государственные...

И Тиктин увидел на себе взгляд, как с ордена, со звезды — прямой, достойный, твердый и блестящий тем же блеском, и все сразу с генерала смотрело теми же глазами. Тиктин отряхнул волосы, — ведь это же учащийся! — и Тиктин встряхнул рукой над столом, и звякнула запонка в крахмальном манжете — дерзко немного. И вдруг вспомнил, как Анна Григорьевна рыдала в прихожей — «ведь его повесят, Саню нашего повесят, задушат же! Андрюша!»

— Ведь это не военные даже суды! нет! — Тиктин поднял голос. — Это военно-полевые суды, когда все, всякая жестокость замаскирована спехом, совершенно ненужным, которому нет оправданья! Чтоб прикрыть расправу и месть, что недостойно государства. Ведь не война же на самом деле, — Тиктин встал.

— Простите, — твердо сказал Миллер, как будто крепкий, жесткий кирпич положил, и стали слова в груди у Андрея Степановича, — простите! Не война! А как вы полагаете: можете вы гарантировать мне безопасность, если я хотя бы вас сейчас решусь проводить домой. Сейчас выйдем, и я с вами пешком дойду до вашего дома? Вернусь ли?

Тиктин молчал. Он стоял все еще с прислоненной к груди горстью.

— Так-с. А что же вы требуете, чтоб мы были ангелами? Простите, еще не наступило Царство Божие, чтоб ангелы могли управлять государством, — Миллер откинулся на спинку стула, он вытягивал средний ящик стола. Тиктин глядел на ящик.

Миллер вытянул из ящика толстый трос, заделанный крепко с конца проволокой.

— Вот это вам понравится? Так вот этой штукой они — ваши дети — я боюсь верить, — расправляются с нами. И без всяких судов, — Миллер встал и крепко в кулаке держал конец троса под лампой. — Это отобрано у одного, — и Миллер назидательно кивал головой. — А то — бац — и готово! Это в каком суде я приговорен, позвольте справиться?

Миллер стоял с тросом, смотрел в глаза, молчали минуту.

— Так что вот видите, — и Миллер сел. Трос положил на письменный стол поверх аккуратных бумаг. — Я вам гарантирую все от меня зависящие меры соблюдения законности, но если судебное решение... слушайте, — и Миллер заговорил глубоким голосом, — вы же не требовать пришли, чтоб я совершил беззаконие? И если этот человек ваш сын?.. У каждого, знаете ли, есть или был отец... — Миллер отвел руку и слегка шлепнул по ляжке. — Ну, будем надеяться, что все это недоразумение, — живо заговорил Миллер, выступил из-за стола, протягивал руку.

Подумайте

ПЕТР Саввич взял тихую привычку по воскресеньям заходить в городе в чайную. И водочку малым ходом уж подавали ему по знакомству в чайничке. И чаем даже подкрашена «для блезиру». И Петр Саввич спокойно, с улыбкой, помешивал ложечкой — не в кабаке, не в кабаке, упаси Бог! Увидит кто. И без того разговор, и отламывал потихоньку бубличек, жевал, не торопясь. Людей смотрел, люди в блюдечки дуют, дуйте, дуйте, милые. Вот двое парней зашли, эти уж помоложе — и местов уж нет. — Позвольте присесть? — Ну как не позволить? — А пожалуйста, с дорогой душой. Чаю пареньки спрашивают — хватит места, да, Господи, я и пойду скоро.

И вот один говорит чего-то.

— Чего это? — и Петр Саввич улыбается, наверное по-смешному что. И тот, что пониже, чернявый:

— Слушайте. У вас сидит один политический.

Петр Саввич огребал скорей улыбку, еле собрал лицо в хмурость.

— Ну-с... не один, — сказал Петр Саввич и поскорей допил стакан.

— Так вот: нужно сделать полет. Не бойтесь, никто ничего знать не будет. Вы можете, он сидит в третьем корпусе. Скажите, сколько вы тысяч хотите.

— Это что то есть... тысяч? — и Петр Саввич уперся из-под бровей глазами в чернявого.

— Господин Сорокин, — говорил ровным голосом чернявый, — мы вам можем за это дать так, что вы вовсе можете уехать, хоть за границу, и мы даем вам паспорт, и можно жить, где хотите и как хотите. Можете в деревне себе малый маентех справить, ну, домик. Вас все равно выбросят со службы, это мы знаем, — и все говорит и наливает чай, и варенья спросил тот, что повыше, русая бородка. Петр Саввич молчал, сердито глядел в глаза чернявому.

«Черт их, кто такие», — думал Петр Саввич, вспомнил, что револьвер-то оставил, висит на гвозде на белой стенке, кобура на ремне.

— Вы будете совсем свободный человек и дочери можете помочь. Понимаете — в случае чего. У ней ребенок будет. А зять ваш...

Петр Саввич вдруг дернулся:

— Это как то есть зять!

— Не кричите, а можно тихо и весело все говорить. Зять ваш мерзавец, вы же к нему даже в гости...

Петр Саввич вдруг замотал вниз головой — хмель вышел было, а сейчас наплыл в голову, Петр Саввич покраснел, вспотел даже — шатал опущенной головой, бормотал:

— Вот и люди знают — подлец он, подлец он есть. Святое слово ваше — подлец.

— А вы ее можете к себе взять! — басовито заговорил что с бородкой. — Нет! И самому-то скоро в сторожа, что ли, ведь выкинут, через месяц, ну два, — выкинут. Вот уже в общую казарму перевели, небось?

Петр Саввич плохо слушал, что говорил с бородкой. Он глядел в сальные пятна на скатерти и думал, как бы этак, верно

ведь, пришел этак к зятю: «А ну Грунечка, может, ко мне? Погостить? А ну, собирайся-ка». Он — «что? куда?» — «К отцу! Погостить!» Почему нельзя? Очень даже просто. А потом назад — а ну-ка! Зови, зови! Беречь не умел, а ну-ка шиш, вот эдакий, — и Сорокин сложил толстыми пальцами шиш и крепко стукнул по краю стола.

— Не хотите? — спросил чернявый. — Вы испугались?

— Я испугался? — вдруг выпрямился Петр Саввич. — Это я-то? А пусть его идет ко всем шутам. Скажи, квартальный, генерал какой!

— Если согласны, то сколько? — чернявый навел глаза, и Петр Саввич заморгал бровями, чтоб собрать ум.

— Пять тысяч хотите?

Петр Саввич вдруг повернулся боком на стуле, хлопнул тяжелой ладошкой по столу.

— Десять!

Он глядел в сторону, все еще моргал бровями и выпячивал губы.

— Слушайте, ребятки, — вдруг наклонился к столу Петр Саввич, он улыбался, и глазки сощурились как на солнышке, — давайте вы мне, ребятки, одну тысячку... да нет! Просто хоть пять катерин мне дайте, и я вам что-нибудь другое. Мне много не надо, не дом строить. А? Ей-богу! Нет? Ну так я пойду!

И Сорокин хотел подняться. Чернявый прижал его руку к столу:

— Выйдете после нас. И подумайте. Завтра в шесть вы можете быть в парке. Мы вас найдем. Только ежели вы чуть что... Ну то-то, вы знаете, конечно, с кем тут есть дело.

И чернявый вдруг улыбнулся белыми зубами и так чего-то ласково.

— Подумайте, — говорит, — вы старый человек, а товарищ наш молодой, и ему, может, придется... Ну так вот, — и он трепал Петра Саввича за руку, и Петр Саввич, сам не знал с чего, все улыбался, пока они расплачивались. И муть рябила в глазах, и все люди будто на ходу через частокол — мельтешат вроде.

— Не придет он, — говорил Алешка дорогой из чайной.

— А если спросит десять тысяч, где возьмем? Ты Левку спрашивал? — Кнэк шагал аккуратно через лужи, глядел под ноги.

— Левка говорит — тысяча, пай мой, я не идейник, я говорил, что иду на дело, а заработаю — еду учиться, в Цюрих, что ли.

— Грузины уже уехали?

— Вчера уехали. Все, понимаешь, уехали домой.

— Ведь не можно, не можно, чтоб за пять этих тысяч вешали человека, — прошептал Кнэк. — Не можно, не можно! Я все одно дам ему знать, что товарищи работают для него. Завтра надо, чтоб были еще пять тысяч.

— У его отца спросить? — вдруг остановился Алешка. — А вдруг старик совсем не придет?

Кнэк дернул его за рукав.

— Не стой! А где та книга, что ему дали? То надо узнать досконале.

Варенька

АННА Григорьевна сама открыла двери, она глянула на мужа. Андрей Степанович сдержанным взглядом водил по стене, снимая крылатку.

— Ведь его же повесят! Повесят! — крикнула Анна Григорьевна и тряхнула за плечи Андрея Степановича. — Саню, Саню, моего Саню!

И вдруг она быстро стала хватать со столика шляпу, перчатки, сдернула с вешалки пальто.

Анна Григорьевна почти бежала по городу, толкалась о прохожих, сбегала на мостовую, чтоб без помехи, скорей, скорей, спотыкалась. Люди на нее оглядывались, глядели, кого она догоняет: Анне Григорьевне не приходило в ум взять извозчика. Совсем запыхавшимся голосом она кричала через стекло дверей унтер-офицеру в парадной генерал-губернатора:

— Впустите, голубчик, впустите.

Солдат шатался за стеклом, вглядывался в лицо.

— Кто такая? Кому?

— К Миллеру! Тиктина! Скорее, голубчик, — и она мелко барабанила пальцами по стеклу, как бабочка крыльями.

Солдат пошел. Анна Григорьевна видела, как седой камердинер с галунами слушал солдата, как пошел.

— Господи, помоги! Господи, помоги! — шептала громко Анна Григорьевна. Парные часовые по бокам, у будок, смотрели молча, недвижно. Анна Григорьевна в тоске вертела головой, терлась плечом о стекло. «Идет, идет! Слышно, идет». Унтер-офицер сбегал по ступенькам.

— Не приказал принимать! — крикнул солдат через двери и, сморщив брови, глядел на Анну Григорьевну.

— Пустите! Пустите! — закричала Анна Григорьевна, и она старушечьими кулачками забила в стекло.

— Держи! Держи! — крикнул унтер. Часовой шагнул и, придерживая винтовку, отгреб рукой Анну Григорьевну от дверей.

— Пустите! — вырывалась Анна Григорьевна.

Короткий свисток круто дернул сзади, и вот уж кто-то сзади обхватил за талию, тянет назад — квартальный.

— Я не уйду! Не уйду! — и Анна Григорьевна вырывалась, шляпка трепалась на голове, волосы лезли в глаза. Анна Григорьевна отбивалась, а он оттаскивал, оттаскивал.

— Сударыня, не скандальте! Ну-ну, не скандалить, ей-богу, в участке ночевать будешь, верно говорю.

— Пусти, — рванулась Анна Григорьевна. Но квартальный уж свистнул, и дворник подбегал от ворот.

— Отведи, отведи! — И дворник крепко и больно взял Анну Григорьевну за локоть, толкал плечом.

— Пошли-пошли-пошли! — приговаривал дворник.

Анна Григорьевна перестала рваться, она семенила ногами, покорно шла перед дворником, он вел ее по мостовой, вел уже второй квартал.

— Ну-ну, ступай, бабушка, а то будешь враз за решеткой. Иди! Иди! — дворник подтолкнул Анну Григорьевну и пустил. Сам стоял, смотрел, куда пойдет старуха.

Анна Григорьевна долго шла по мостовой, потом ступила на тротуар. Она на ходу прибирала волосы, заправляла их под шляпку. Зашла в какой-то подъезд, поправила на себе пальто. Вышла. Пригладила прическу перед витриной магазина. На углу села на извозчика.

— На Соборную площадь, — ровным голосом сказала Анна Григорьевна.

«Как, как ее по отчеству?» — Анна Григорьевна вдруг дернула за пояс извозчика:

— Стой!

Анна Григорьевна соскочила.

— Сейчас, я в магазин, жди! — она проюлила сквозь прохожих в книжный магазин, знакомые приказчики кланялись. — Адрес-календарь, ради Бога, скорее.

Ей совали, — сейчас закрываем, мадам Тиктина, — без пяти одиннадцать.

— Андреевна, Андреевна!! — шептала Анна Григорьевна на ходу.

Но Анна Григорьевна уж летела к выходу.

У полицмейстерского дома Анна Григорьевна остановила извозчика.

Городовой прохаживался у освещенных дверей.

Анна Григорьевна неспешной походкой шла к дверям.

— Голубчик! — окликнула самым гостиным, самым дамским голосом городового Анна Григорьевна.

Городовой бойко подшагнул.

— Голубчик! Доложи Варваре Андреевне, что госпожа Тиктина, — и Анна Григорьевна тыкала вниз серебряным рублем.

Городовой быстро спрятал рубль в руке.

— Не могу-с от дверей отлучаться, извольте сами позвонить, пройдите наверх.

«Дождь, дождь! — обрадовалась Анна Григорьевна. — Когда я шла сдавать первую часть фонетики — дождь, и как счастливо вышло», — и вспомнилась на миг мокрая панель на Десятой линии и волнение, когда не чувствуешь походки, и Анна Григорьевна поднималась по ковровой лестнице. Нажала звонок. Перекрестилась.

— Варвару Андреевну можно видеть? Доложите, Тиктина. — тихо сказала горничной Анна Григорьевна.

Горничная ушла. Анна Григорьевна огляделась и быстро перекрестилась еще раз. И в тот же миг горничная из дверей сказала:

— Просят. Пройдите за мной.

Анна Григорьевна шла по незнакомым натертым полам и по мебели, по буфету хотела скорей узнать, какая, какая она, эта полицмейстерша; она носом тянула запах этой квартиры, и беспокойный запах духов слышала Анна Григорьевна в коридорчике — горничная стукнула в дверь.

— Войдите! — здоровый, кокетливый голос, и точно то же, что говорил голос, Анна Григорьевна увидела.

Хорошенькая румяная женщина с веселым любопытством глянула с диванчика. Она даже не привстала, а снизу рассматривала Анну Григорьевну во все глаза, ждала сейчас интересного.

— Садитесь! — хлопнула Варвара Андреевна по диванчику рядом с собой. — Это вы мать того студента, что Вавич арестовал? Ну рассказывайте, рассказывайте, — и полицмейстерша усаживалась поудобней. — Слушайте, это правда, что он убил Сороченку, городового Сороченку? — и полицмейстерша вытянула вперед сложенные губки, будто сейчас скажет «у»!

Анна Григорьевна, задохнувшись, смотрела, секунду молчала и вдруг бросилась на пол на колени.

— Господи, если вы женщина, если есть у вас сердце, женское сердце... Я ведь мать, клянусь вам всем, что есть дорогого, кровью моей клянусь — он не убийца, мой сын не убийца, он никого не убивал, клянусь вам, чем хотите, — и Анна Григорьевна сдавила руки, прижала к груди, хрустнули пальцы.

Варвара Андреевна откинулась назад и блестящими любопытными глазами глядела, что будет дальше.

— Нельзя, нельзя, чтоб сына моего... — задыхалась Анна Григорьевна, — пове... повесили. Нет! Этого не может, не может быть, — и она сложенными руками ударила по коленям Варвару Андреевну. — Варя! Варенька!! — вдруг вскрикнула Анна Григорьевна, на миг испугалась: порчу, кажется, порчу, а все равно! — Никогда, никогда, — мотала головой Анна Григорьевна.

— Нет, нет, — сказала вдруг Варвара Андреевна, — садитесь, садитесь, я боюсь... вам нехорошо станет. — Она потянулась к звонку.

— Не надо! Умоляю! — схватила ее за руку Тиктина и прижала эту руку к губам, со страстью всасывалась в нее поцелуем.

— Садитесь, садитесь, — не отрывала руки Варвара Андреевна. Другой рукой она подталкивала старуху под локоть. — Ваш сын юрист? Он что же...

— Нет, нет, он естественник, он хороший, милый мальчик. Он учится, — говорила, перебивала себя Анна Григорьевна, вся в слезах.

— Мальчик? А он-то героем каким тут. Вообразите, — перебивала Варвара Андреевна, — он так тут рассказывал, будто кавказского абрека схватил. А револьвер?

— Нет... нет! — мотала головой Анна Григорьевна. — Не револьвер...

— А, может быть, он выдумал револьвер? — вдруг вскинулась всем лицом Варвара Андреевна. — Подложил! Подложил! Нет! Серье-о-озно! — пропела Варвара Андреевна. Она за плечи повернула к себе Тиктину, глядела ей в лицо. — Ведь мо-о-ог! Он наха-а-ал!

Анна Григорьевна ничего не понимала.

— Нет, нет. Он скромный...

— Да не сын, а Вавич, Вавич, квартальный! И он дурак. Ах, дурак! А я знаю, а я знаю! — вдруг вскочила с дивана полицмейстерша, она топталась, вертелась по ковру, пристукивала ногой. — Знаю! — и хлопнула в ладоши.

Анна Григорьевна следила за ней, за радостью, искала глазами помощи в вещах — они, чужие, упористо стояли на своих местах и улыбались с хозяйкой. У Анны Григорьевны бились губы и не выходили слова, она хотела снова стать на колени. А полицмейстерша вдруг схватила ее за голову, нагнулась и быстро заговорила в ухо.

— Да... есть, есть... — бормотала в ответ Анна Григорьевна, — кажется... наверно, наверно, браунинг.

— Только тсс! — подняла мизинчик полицмейстерша. — Только сегодня. Сейчас! — Она глянула на фарфоровые часики на полочке. — Ой, без четверти, после двенадцати ходить нельзя. Городового... Нет! У меня есть пропуски, Настю, моя Настя с вами пойдет. И только, — таинственным шепотом заговорила Варвара Андреевна, — только тихо, тихо и оберните, лучше в коробку. Нет! В картонку, как шляпу! и бумагами, бумагами! — она месила руками в воздухе, затыкала бумагами.

Анна Григорьевна убитыми глазами с мольбой ловила взгляд полицмейстерши, а она что-то лукаво думала и водила глазами по обоям.

— Ну, а сын мой, сын... — прошептала Анна Григорьевна.

Полицмейстерша вдруг глянула в глаза старухи и на миг остыла улыбка. Она быстро наклонилась и крепко поцеловала в щеку старуху.

— Все, все будет хорошо, честное слово, милая. Замечательно. — И Варвара Андреевна лукаво засмеялась. — Только идите, идите! — заторопила Варвара Андреевна, она подхватила под локоть Анну Григорьевну, поднимала ее с диванчика, нажимала звонок. — Настя! Настенька! Ку-ку! Ку-ку! — кричала в двери Варвара Андреевна.

На пружинах

— РУЧАЮСЬ вам,— говорил Ржевский Наденьке, — чем угодно ручаюсь, что за нами никто не следит.

Ржевский плотней уселся на сиденье пролетки и плотней взял Надю за талию. Надя повернулась к нему, мазнула перьями шляпы по лицу.

— Виновата!

— Это в порядке. Смотрите, какая вы шикарная дама. Да нет! С таким солидным кавалером! — Ржевский, смеясь, под-

кинул вверх подбородком. — А там, в пути, шляпку эту за окошко. Это в чемодан и простушкой. К доктору Кадомцеву. Там подводой двенадцать верст. Сестрой в больницу. И прошу — под своим именем. Пожалуйста. Вас все равно ни одна собака там... А потом... уляжется, знаете. И передачи и письма — не беспокойтесь.

И у Наденьки стало на минуту спокойно на душе. И все у него выходит как-то кругло, обкатано, как вот голос у него — ровный и катится спокойно, округло.

Пролетка мягко подскакивала на резиновых шинах.

— Но вы меня простите, — Ржевский чуть придвинул лицо к Надиному уху, — ну неужели вам нравятся эти люди? Нет, нет, я понимаю, даже при разности культуры — в разбойника можно влюбиться, каким-нибудь, черт возьми, пиратом увлечься, ей-богу... даже тореадором. Но ведь тут же...

Наденька резко повернулась, завернула голову, глядела в глаза:

— Разве вам противен, что ли, рабочий класс! Пролетариат?

Наденьке вдруг стало противно, что она успокоилась на тот миг, что она пользуется услугами этого адвоката с бархатами в голосе.

— Да, милая, — и Ржевский мягко и осторожно придавил талию, — ну, скажем, рабы. Класс? И есть же свои классовые рабские неприятные черты. Да-да, от рабства, мы же говорим про классовые... Ну а если б это классовое вам нравилось, — налево, извозчик! — крикнул Ржевский, — нравились бы вам рабы, так неужели вы старались бы, чтоб их не было.

— Рабства! Рабства! — крикнула Наденька.

— Ну так слушайте — ведь без рабства и рабов бы вам не найти.

— Они бы изменились.

— Так я не знаю, понравились бы они вам тогда, ведь вы же рабов любили, а от них бы ничего не осталось — классового-то, что вам было... Да-да! К вокзалу! — опять крикнул Ржевский. — Я ведь вас провожаю до Ивановки, непременно, непременно, — шептал Ржевский на перроне, и Наденьке опять стало покойно, и руке было легко и мягко под ручку с Ржевским.

В купе Ржевский постелил Наденьке плед.

— Таня вам там конфет положила, давайте угощаться. — Наденька достала конфеты.

— Пожалуйста, — Ржевский ловко держал перед Надей коробку. — Да-с, — говорил Ржевский, поглядывая на дверь, — вам, может, конечно, нравится героизм борьбы...

— Да оставьте! — Наденька раздраженно бросила коробку на столик. — Они борются, да, за дело пролетариата.

— Не так громко,— сказал вполголоса Ржевский, — да, конечно, борются за свои интересы. За свои интересы борются все — и правительство и мои клиенты. Надежда Андреевна, вы не сердитесь на меня, если я такой необразованный, — и Ржевский так искренне и прямо поглядел на Надю, что вдруг мелькнули Танины глаза, и Наденька улыбнулась, даже сконфузилась, отвернулась, раскрыла коробку, сунула в рот конфету.

Ржевский с детской гримасой глядел на Надю.

— Ну, ну! — весело сказала Надя. — А кто же не борется за свои интересы, своего класса? — Надя сама не ожидала, что выйдет с такой добродушной насмешкой.

— Да вот интеллигенция, к которой я не смею, конечно, себя причислить, — наклонился к Наде Ржевский, — умирает за интересы чужого класса.

— Она не класс! — присасывая конфету, совсем налегке говорила Надя.

— Ну и не рабочий же класс? А если никакой, так могла бы и не бороться и не лезть в петли.

Поезд тронулся.

— Мы вдвоем? — оглядывалась Надя.

— Билеты куплены, но пассажиры не поедут, — улыбнулся Ржевский. — Слушайте, в конце концов можно даже и бороться за то, чтоб класс перестал быть классом — какие же классы при...

— Слушайте, это папа вам велел агитировать меня или это Танечкина затея? — и Наденьке самой понравилось — так у ней насмешливо, по-дамски, вышло.

— Вот что, ведь мне скоро выходить. Билет у вас до самого конца, а выйдете на разъезде за Павловкой. И этот Кадомцев — чистейшей души старик. Вот интеллигенция уже коренная — тридцать пять лет в трущобах и талантливейший хирург. И жена из учительниц каких-то или фельдшериц... Ну, я собираюсь. Ну, дайте вашу ручку.

Наденька держала, тянула к себе руку, чтоб Ржевский не поцеловал. Ржевский не выпускал из своей.

— Подводу всегда достанете, торгуйтесь, это совсем придаст натуральности.

Наденька слушала, и Ржевский незаметно наклонился и поцеловал руку.

— Ну, успеха, — он помахал шляпой в дверях купе.

— Отвратительно, отвратительно, — шептала Надя, когда поезд катил дальше. Она сдернула шляпу, пыталась открыть окно, затолкала ногами под сиденье: к черту! К черту. — Котик такой, ах, скажите, — громко под шум вагона говорила со злобой Наденька и затискивала манто с черным кружевом в чемодан, — ноту в горле перекатывает: рабство! рабы-ы! — передразнивала Наденька.

Она села в угол, к стенке, плотно, гвоздем. Узлом скрестила руки, кинула ногу на ногу, нахмурилась со всей силы, чтоб избавиться от досадного чувства, что вот как барыней какой тогда на пружинах пошатывалась перед Ржевским.

«С ним там черт знает что, может быть, делают, — выговаривала Наденька в уме сердитыми словами, — а тут извольте...» Наденька выпрямилась на диване — «вернуться, к черту все!» — она вскочила на ноги. Вспомнила, товарищи, большие, главные даже, сказали: провал — вон из дела, в другой город. Наденька в тоске делала два шага к двери и назад, сильно вдавливала каблуки в линолеум.

— Вы любите рабо-очий класс? — передразнила Наденька. — Еще спорила с ним! Дура! Дура! Дура! — ударяла Наденька кулачком об столик.

Матрац

«НАДЗИРАТЕЛЬ Московского полицейского участка Александр Васильевич Воронин» — еле прочел Вавич на дверях на темной лестнице. Никогда Вавич не бывал у Воронина: лестница крутая, узенькая и перила как острожная решетка. От грязной лампочки с потолка ржавая муть — какая помощь? Вавич хотел повернуть назад. И вдруг тоска, глухая, ровная, накрыла душу, будто небо серое сверху, и сырой ветер катит навстречу, и грязная дорога под ногами и впереди, и без конца впереди, и дождик поплевывает — все равно и придешь в невеселое место.

«Позвонить, что ли?» — Виктор поднял руку, держал на кнопке.

«Еще попрекать станет», — думал Виктор и обозлился на Воронина, и звонок позвонил — сам не заметил, как ткнулся палец, со злости, что ли.

— Да не ори, Сашка! — слышал Виктор за дверьми голос Воронина. — Да тише ты.

Воронин сам приоткрыл дверь.

— А! Ну вались, вались, — и распахнул дверь. — Да тише вы, черти! — крикнул Воронин назад — детские голоса с воем унеслись вдаль с топотом, с визгом.

Вавич снял шинель, шагнул в комнату. Женщина проталкивала в дальние двери детскую коляску. Кивала, не глядя на Вавича:

— Здравствуйте, здравствуйте. Да помоги же, Саша, стал как пень, ей-богу.

— Семейство, понимаешь, — говорил Воронин, когда остались одни. — Семейство, сукиного сына, полон дом этого семейства. Чего ты утюгом таким глядишь-то?

— Я, видишь, за официальной справкой, — Вавич сел на диван; важно хотелось сесть и ногу на ногу уж положил и — что это, черт! — вынул из-под себя детскую кеглю.

— Кидай на пол, ничего, — говорил Воронин и собирал с рваного сиденья игрушки. — В чем дело-то? — Воронин сел рядом.

— Слушай, — начал Вавич, глядел в пол, морщился, — ты засвидетельствуешь на бумаге, что револьвер, что найден был у этого, — я ж к вам его привел, ты же и говорил, — и Виктор, весь сморщившись, глянул на Воронина, — ты же и говорил, что Сороченкин, так вот подпишешь ты мне, что револьвер был Сороченкин, то есть просто: удостоверяю, что номер был 287940?

— Ну да, то есть сейчас не помню, сличал тогда, где расписка-то Сороченкина, тот самый, Сороченкин. А в чем дело-то?

— Так вот больше ничего. — Виктор тряхнул в пол головою. — Вот и заверь, что револьвер, найденный при обыске... при личном обыске у студента, арестованного квартальным надзирателем Вавичем, обнаружен был, — говорил Виктор, как диктовал, — револьвер системы браунинг фирмы эф-эн, заводский номер 287940. Так вот, напиши.

— Да зачем это? — Воронин быстро достал папиросу, зачиркал спичкой, через папиросу быстро бубнил вниз: — На какой предмет это? Куда представлять? Сдал ведь ты револьвер? — сказал Воронин и выпустил дым.

— А хоть бы и сдал, так тебе-то трудно написать? Правду ведь! Трудно? Ты ж сам кричал, чтобы Сороченке не наган, а браунинг. Опасный-то пост. Помнишь? Ну?

— Кому ты револьвер сдал? Грачеку? Что, другой уж номер?

— Ты напишешь? — досадливо крикнул Виктор.

— Да что они с ума, что ли, посходили, — вскочил Воронин, пошел в двери, — да угомонитесь вы, Христа-Господа ради, ог-

лашенные какие-то. Брось ты этот колокольчик дурацкий, — и слышно было, как Воронин погнался за ребятами.

— Тоже сволочь! — шептал Виктор, переминал ногами, стукал подошвами о пол.

— Что, у тебя с Грачеком что вышло? — говорил Воронин и запирал за собой дверь. — А? Слушай, брат, я, тебя жалея, не советую, ой, не советую тебе с ним... и ни тебе и никому... Это брось, брат, — Воронин ходил по комнате, взял со стула крышку от швейной машинки, накрывал, налаживал, потащил машинку на подоконник, — нет... брат, брат ты мой! нет, дорогой, это, прямо говорю, брось, и брось, и брось. — И Воронин хлопнул машинку на подоконник. — Прямо-таки не советую, — он стоял боком против Вавича, — не рекомендую, сукиного сына, и, как друг, того.... как это? Предуведомляю.

— Значит, не напишешь? — и Виктор встал.

— Не, не, брат, — тряс головой Воронин, — и тебе говорю: брось.

Виктор зашагал в переднюю, натягивал шинель, не глядел на Воронина.

— И чего лез ты в этот в Соборный-то, — шепотом приговаривал Воронин.

Виктор шагнул на лестницу и вдруг повернулся. Воронин держался за ручку двери, глядел ему вслед опасливыми глазами.

— Ну смотри ж, твою в желчь — веру мать! — и Виктор оскалил сжатые зубы и тряс кулаком. — Попомнишь!

Воронин захлопнул дверь.

— Вот стерва, вот сука паршивая, — говорил Виктор на улице, — ты у меня, погоди, завертишься, сволочь! — и Виктор поворачивал с силой зажатый в воздухе кулак. — В ногах будешь валяться, рвань! — И Вавич шаркнул на ходу по панели, откидывал ногой Воронина. — Все уж, небось, погань вынюхала, и хвост под лавку!

У своей двери Вавич тыкал узким ключом, не попадал в щелку французского замка.

Не позвонил, а стал дубасить кулаком в дверь.

— Отворяй! — крикнул через двери Фроське.

Фроська придерживала одной рукой у живота тряпки какие-то. В коридоре валялись скомканные газеты.

— Что за кабак! — и Виктор пошел по коридору в кухню — да просто руки вымыть! — он видел свет из Груниной двери. Заглянул боком глаза. Горели обе лампы, гардероб стоял настежь.

И ветерок продул под грудью. Виктор все еще хмурился, стал мыть под краном лицо, шею. — Барыня ужинали? — спросил Виктор с зубной щеткой во рту.

— Чего-с? — подскочила Фроська.

— Барыня, — крикнул Вавич, — ужинали, я спрашиваю?

— Барыня уехали, — и Фроська вывернулась на месте.

Виктор ткнулся к крану и пустил воду вовсю.

— Часа как не с два, как уехали, — слышал Виктор сквозь шум струи, и Фроська тарелками бренчит для виду, проклятая. — На вокзал извозчика рядили.

Виктор вышел из кухни. Фроська закрыла кран — так и бросил.

И сразу показалось, что пусто стукают шаги по квартире, фу, даже жутковато будто стукают.

На Грунином зеркале не было флакончиков. Синими полосами глянул с кровати пустой матрац.

Не отрицаю

— НУ ЧТО такого, что револьвер, — кричала Таня, — ведь он же не стрелял ни в кого, это ж доказать еще надо! Да! — И Ржевский видел, что пламя, черное пламя ходит в глазах.

— Да, милая моя, ведь отлично ж ты знаешь, что запрещено при исключительных положениях и хранение и ношение.

— А у тебя? — крикнула Таня.

— Так у меня ж с разрешением, — и Ржевский вытягивал из кармана замшевую маленькую, как портмоне, кобуру, — и всегда оно тут со мной, вот изволь, — и он вытащил из кобуры из карманчика бумажку, — и вот револьвер, — он вертел в руке маленький дамский браунинг, — у меня клиентские документы, я с ними езжу — понятно. Это ж для самообороны, но им, конечно, можно убить человека наповал — и понятно, что без разрешения...

— Да, а ведь там они пытают! Они там такое делают, мерзавцы, связанному человеку...

— Ну-ну-ну! — и Ржевский приподнял руку. — Отлично они знают, с кем... — и Ржевский повернулся и старался спокойными шагами идти к этажерке, зацепил пальцем книгу.

— Да, а они там глаза давят, выдавливают глаза, свяжут и... да что ты мне говоришь, — Таня вскочила с места, — Саньке

сам товарищ рассказывал, студент, ему самому давили! Полицейский! И что угодно делают.

— Не отрицаю, — раскачивался на ноге Ржевский, глядел на корешки переплетов, — попасть, конечно, в этот застенок — тут уж власть защищает самое себя, — и он повернулся к Тане, развел руками. — Но ведь он в тюрьме, а не в участке. Вот только что мне удалось узнать. — Ржевский говорил тихим матовым голосом.

Таня насторожилась, она глядела отцу в лицо, но глаз его не видно, смотрит с серьезной печалью в угол.

— Да узнать пришлось, если это правда, конечно, — громко сказал Ржевский и твердо глянул на Таню, — что револьвер-то этот какой-то очень нехороший...

— Что? С убитого городового? — быстро сказала Таня.

Ржевский печально закивал головой, глядел из-под низу на Таню, и Таня видела, что высматривает, как она.

— Кто это говорит? — крикнула Таня, совсем подступила к отцу, и Ржевский не мог не поднять глаз — и он заволок глаза стеклом и глядел, как с фотографии.

— Да видишь ли, тут трудно знать точно что-либо. Но вот будто бы номер, оказывается, револьвера не сходится с номером, что у этого убитого, и будто бы как его? — Ржевский сморщился, чтоб опустить глаза. — Да ну? — он щелкнул пальцами. — Ну, тот, что арестовал его, околоток этот — Вавич!..

— Что? Что? — Таня уперлась коленями в коленки отца и пристально глядела ему в глаза. — Что Вавич?

Совсем как жена глядела, когда пришлось — постоянно почему-то приходится вот такие комиссии принимать! — пришлось рассказывать, как погиб ее отец в крушении в вагоне, — от старика каша одна осталась, по запонкам только и опознали, — ах, Господи!

— Ну, — вздохнул Ржевский, — ну так тот утверждает, что номер тот самый, чем-то там доказывать собирается.

— Ну и что? Что тогда?

«Ну как — спокойное лицо было у него, спокойное? — вот жена так спрашивала, а там мозги со щепками».

— Да, очевидно, суд будет, вероятней всего.

— Ну, а докажут? Докажут? — дернула Таня за пиджак.

Ржевский глядел в сторону.

— Если этот квартальный докажет?

— Да ведь почем тут, милая, гадать можно? — и в голосе у Ржевского нетерпение.

Таня отошла, с руками за спиной заходила по комнате, глядела на ноги.

«Совершенно как мать!» — и Ржевский встал, обнял Танечку за плечи.

— Танюшка, Танюшка, — повторял Ржевский и целовал Таню в висок. Таня глянула — слезы у отца в глазах.

— Нет? — вскрикнула Танечка. — Неужели нет никакого, никакого спасенья? Мы же можем, мы же двигаемся, — Таня широко замахала руками в воздухе, — а он связан там, у! — Таня подняла плечи, вздрогнула головой, как от холода. — И хоть бей, бей эти стены, — и Таня била воздух кулаком, — и потом придут. Папа! Папа же! — вдруг крикнула Таня, она трясла за рукав отца, будто с отчаяния будила мертвого от сна.

Андрей Степанович слышал возню, хождение. На кухне, что ли, или вернулась? Вышел из кабинета, глянул в коридор. В прихожей по-прежнему горел свет — нет, не она. Андрей Степанович снова сел на кожаный диван и снова — который раз! — он старался собрать эту почву под ногами — не почва, а отдельные положения, ровные и несомненные, как натертые квадраты паркета, — они расползались под ногами, и Андрей Степанович снова старался их сдвинуть вместе, а они скользили врозь, будто паркетины лежали на гладком льду, и Андрей Степанович мучился и снова вдруг выскакивала мысль: «Да-да! Андрушевич даже родственник Рейендорфам — черт! Поздно, ехать сейчас нельзя. Не забыть! Не забыть! Андрушевич» — и для памяти вслух говорил:

— Андрушевич!

«К профессорам? Господи, нелепость какая!»

И опять Андрей Степанович в двадцатый раз отвечал Миллеру то, что нужно было. Ах, дурак какой! Вот что нужно было, и виделось в уме, как Миллер озадачен. «Позвольте, ваше превосходительство, я не вижу логики! Да ведь не отказываетесь же вы признавать логику? Мы же рассуждаем в сфере...» — И Андрей Степанович бросился к письменному столу — сейчас же написать Миллеру, точно, строго, и вот именно в этих местах. Дурак я, дал ему повернуть!

«Ваше высокопревосходительство! — написал на большом листе Андрей Степанович. — Вчера, рассуждая по поводу случая с моим сыном, мы, мне кажется, допустили ряд...»

Кто это, в спальне, что ли?

Андрей Степанович положил перо, выглянул в двери.

— Я, я! я сейчас, — крикнула жена из темноты, из столовой.

Андрей Степанович сел на диван — откуда она? Значит, черным ходом, без звонка. Андрей Степанович ждал на диване, густо дышал. Анна Григорьевна не шла.

Андрей Степанович пошел по квартире. Подошел к комнате Анны Григорьевны. Попробовал двери — так! заперлась. Молится, должно быть. Андрей Степанович вздохнул и пошел в кабинет.

Он понял, что далеко в душе все надеялся, что Анна Григорьевна... да что Анна Григорьевна? — конечно, ничего абсолютно — молится, конечно...

Клетка

ВИКТОР сидел в задней комнате погребка, винная кисловатая сырость шла от земляного пола. Керосиновая лампа потрескивала, тухла, на беленых досках вздрагивал от нее свет.

Виктор сидел один, никого грек не посмеет пустить. Из цинковой квартовой кружки доливал Вавич в стакан красное вино, и плотно вино прилаживало всё тело к соломенному стулу, к черному, сырому столу. Вавич отломил еще кусочек брынзы.

— И пусть! — бормотал Вавич. — И черт с ним, что выговор по полиции... от бабы, от стервы выговор, от лахудры! От лахудры! — крикнул громко Вавич.

— Спрашивали? — отозвался из-за дощатой дверки грек.

— К чертовой матери! — крикнул, как плюнул, Виктор. — От шлюхи выговор, выходит, мочена бабушка, святой подол! — бормотал Виктор. — А я прокурору — военному прокурору и зарегистрировать! — Вавич стукнул кулаком по разлитому вину.

Лампа капнула еще раз последним светом, и огненными чертами засветились доски перегородки.

Виктор глядел пьяными глазами на огненные линейки, и вдруг показалось, что тьма, тьма уж всюду вокруг, во всем мире, а это он во тьме в огненной клетке, из огня прутья, как железные. И задвоились, гуще оплели.

— А! — заорал вдруг Виктор и застучал отчаянно кружкой по столу, бросил, выхватил из кармана револьвер, выстрелил вверх наугад.

И сразу распахнулась дверка, и свет бросился из двери, полным током, и грек тараторит:

— Сто такой мозет быть, господин надзиратель?

— Получай! — хмуро сказал Вавич, постукал браунингом о край стола и грузно поднялся. «Еще куда пойти?» — думал Виктор. У грека над стойкой на заплесневелых часах — чего там? Десять всего. И наплевать, что десять, и Виктор пробирался, задевал столы, повалил два стула — грек провожал до лестницы, помогал карабкаться по скользким ступеням.

— Ага! — сказал Виктор, постоял, пошатываясь на тротуаре.

Свежий ветер трепал полы шинели, бил их о голенища. Виктор икнул.

— Фу! Здорово как! — и он пошел против ветра, чтоб дуло в лицо, как раз выходило — домой.

Виктор стукнул ногой в дверь. Еще раз со всей силы.

— Ну! Заснула? Фроська! Удрала, сволочь, к хахалям своим, развела скачков.

Виктор тяжело отпахнул полу шинели, ловил пьяными пальцами плоский ключик, ковырял замок, попадал в дырку, — туды твою, раздолби твою в смерть, — распахнул дверь.

В прихожей горел тусклый свет, и черной дырой шел пустой коридор. Виктор отвернул голову от пустоты и быстро дернул дверь к себе в кабинет. Шарил рукой — скорей, скорей выключатель. А это что? Что это? У Виктора закружилось в мозгу — на просвете окна встала черная, женщина, что ли? Груня вдруг. Нет-нет! И Виктор глаз не спускал с силуэта, пальцы быстро, паучьими лапами шарили сзади выключатель. Без шума движется, движется на него, у Виктора сжало горло. Он схватил, зажал в кармане револьвер. Надвинулась совсем, и что-то толкнуло в грудь, и Виктор вздернул руками и сполз по стенке на пол.

Папа

ТАНЕЧКИНЫ пальцы медленно, беззвучно поворачивали французский ключ, Танечка смотрела, как они это делают, как вывязили из замка ключ, и не скрипнула дверь, и как повернули замок изнутри и заперли воздушно дверь. Таня слышала, как ходит отец по столовой, и в такт его шагов на цыпочках прокралась в свою комнату, сбросила в темноте пальто, шляпу, ощупью повесила в гардероб. Вешала под топот каблучков горничной — наверно ужин, ужинать накрывает. Таня почти не дышала. Она осторожно легла на кровать и тотчас, порывом, сунула голову меж подушек, и тут жар сорвался из

всего тела и бросился в лицо, в голову, и Танечка быстро и коротко глотала душный воздух, и вдруг зубы стали стучать неудержимой дрожью.

— Да барышнино новое-то пальто тут, — слышала Таня, как из десятой комнаты, — без пальта не пойдут. Разве вниз, к евреям. Сходить?

И щелкнул замок в дверях. И вот шаги, к комнате, папины. Таня сильней вжалась в подушку, и вот щелкнул выключатель.

— Да ты дома? — И Таня вдруг вскочила на постели, откинулась подушка.

— На, на, возьми, — Таня совала Ржевскому маленький дамский браунинг, — ну возьми же. Я убила его, этого Вавича. Сейчас.

Ржевский хотел сказать: «Что?» Но не сказал ничего. С полуоткрытым ртом быстро подошел, видел, что правда, сел на кровать, быстро спрятал в карман браунинг. Он схватил Танечкины руки, прижал дочку к себе и быстро шептал в ухо:

— Видел кто-нибудь? Видел? Где это? Скорее!

— Никто, никто, — трясла головой Таня. Она говорила сухими губами. — Я его ждала у него. Прислуга ушла, он пришел. Никого не было.

— Наповал? — едва слышно спросил Ржевский.

Таня кивала головой, и вдруг Ржевский почувствовал, как мелко задрожали Танины руки и дрожь, дрожь дергала все тело. Ржевский с силой прижал Таню и целовал в щеки, в глаза, в уши и сильней, сильней прижимал к себе. В это мгновение позвонили с парадной.

— Ты больна! — толкнул на подушки Таню Ржевский и быстро вышел на звонок.

— Да, она дома, — слышала Таня голос отца, — понятно не отзывалась, она больна, а мы тут. Сейчас десяти, пожалуй, нет. Вы застанете, бегите к Бергу, нате вам на извозчика.

Таня слышала, как пробежала одеваться горничная, как зашлепала из кухни старуха.

Как это папа сказал: «десяти, пожалуй, нет» — горячо думалось Танечке.

Теперь закрыть глаза — это старуха лоб щупает, «уксусу», говорит — и хотела заорать разрушительным визгом — вон!

— Да вы разденьте ее, бабушка. Я вам помогу.

— Папа, папа! — говорила Таня. И хорошо как он взял всю голову в свои руки и гладит и похлопывает — как он все может. И Танечка боялась, чтоб папа на миг хоть выпустил голову.

Поздно ночью Ржевский заперся у себя в кабинете. Он быстро чистил браунинг. В кассете не хватало патрона. Ржевский вставил новый. Смазал. Обтер. Кобура мятым портмонетиком оказалась на дне кармана. Ржевский аккуратно вложил браунинг, защелкнул кобуру и сунул в карман брюк.

— Я к Андрушевичу! — крикнул хриплым, потускневшим от ночи голосом Андрей Степанович. И осторожно стукнул в дверь. Послушал. — Я к Андрушевичу, — тише сказал Андрей Степанович и отшагнул от двери — кажется, слышал: «Ну хорошо, хорошо».

«Разбудил, может быть, глупо». — Андрей Степанович вдруг первый раз увидел свои руки, когда брал палку, перчатки — толстые пальцы — как ребята, дети какие-то. Милые и жалко их. И перчатки натянул грустно, бережно.

— Анна Григорьевна, тут записка, что ли, — говорила Дуня в двери, уж с вечера запертые глухие двери Анны Григорьевны. — Письмо, сказать, вроде девушка приносила, — и Дуня стукала осторожно уголком крепенького конвертика по дверям.

Двери открылись. Анна Григорьевна в неубранных седых волосах, и полутьма от спущенных штор, и только розовым цветком светит лампадка вверху угла. Дуня не знала, как смотреть в мутные напухшие глаза старухи.

— Записочка, — и Дуня опустила глаза, — передать просили.

Анна Григорьевна смотрела на Дуню, будто узнать что хотела, и мигала, не брала в руки конвертика, и Дуня держала за кончик, хотела уж повернуть назад, а барыня руку поднимает и как во сне берет в кулак — прямо, подумать, во сне, — и пошла в комнату, дверь так и оставила открывши.

Анна Григорьевна повернула выключатель, читала голубенький билетик и не могла понять.

«Админ. Вятку. Целую. В.»

Дуня слушала у дверей. Бочком стояла на случай. «Ой, идет, кажется! Туфли зашлепали». — Дуня отступила большой шаг и вроде половичок поправить — нагнулась.

— Дуняша! Дуняшенька! — слышит — с плачем старуха говорит и не понять — умер кто или уж просто зашлась, и Дуня стала опасливо разгибаться, а старуха прямо с ходу, обеими руками на шею и плачет и ну целовать, целовать. — Дуняшенька, милая, ах, родная ты моя! И Варенька, у ней Сашенька, — и прижимает, прямо, гляди, задушит.

Тычок

ПЕТР Саввич тычок получил, тычок при всех — это помощник начальника тычком повернул его, в плечо толкнул и повернул вправо, во! во! — кричит, — сюда! Сюда надо было посмотреть, — и все толкал впереди себя по коридору до самой проходной, — вот где списки повешены! Залил, кричит, глаза да и...

Петр Саввич чуть с обеда не ушел, вон вовсе, куда глаза глядят. Вот ведь мерзавец эдакой, при всех-то зачем? При людях? Жди, чтоб за ухо взял! После дежурства с обиды, с холода этого — все ж волками глядят, замараться, что ли, боятся, разве вот подковырнуть чем! — и прислонил с обиды душу к водочке, и не выдала — теплотой изнутри затеплила, и мягко наслонился на нее с горькой слезой Петр Саввич.

Не было шести, и ноги сами принесли — да не ноги, а сами сапоги топали по городу — все равно никуда ведь не придешь — и вот в парке.

«А пускай придут, почему не поговорить. Видать же, что из господ — политические. Да и за что им-то уж меня обижать», — думал Петр Саввич и ходил неспешно по вечерним сырым дорожкам.

Петр Саввич сел на скамейку, где попустее. Смотрел, как последнее солнце легло на дорожку, на лужицы — будто жмурится. А воробьи-то стараются — галдеж какой подняли. И томно глаза морились от солнца, и сидеть бы, ей-богу, так вот где-нибудь, и Петр Саввич обломил езади прутик и сосал горькую свежесть. Облокотился, отвалился, руки на спинку заправил, и воробьи в ушах, и сон стал покачивать голову.

Песок скрипит! Нет, баба какая-то с узлом, видно, стирать, что ли. А баба-то тяжелая. Эх, Груня как-то? Не сказал ей, как прощалась, что выгнал меня землемер-то. А то и сказал бы — куда ж ей ехать-то от подлеца-то своего? И вдруг горе и обида до слез замутили, зарябили в глазах. Петр Саввич повернулся боком, скусил прутик, выплюнул на дорожку. И сил нет уж поправить-то. Смотри, значит, хоть плачь, а смотри.

И вдруг сзади кто-то по плечу хлопнул. Петр Саввич обернулся, смотрел сердито — кто? Вчерашний, да-да, с бородкой. И Петр Саввич опасливо завертел головой.

— Ну ладно, старик, что пришел. Не бойсь, никого нет, ладно, что чисто пришел. — Петр Саввич все еще сердито таращил глаза.

— Только не надо уж.

Петр Саввич все глядел недвижно, со строгим испугом.

— Устроилось само! — Алешка хлопнул Сорокина по коленке. — На вот катеринку, чтоб за беспокойство, — и Алешка сунул руку в карман в шинель Сорокину. — Ну и будь здоров, старик. А из тюрьмы тебя все равно выкинут! — И Алешка встал. — Не из-за нас. Сам знаешь.

Сорокин глядел все теми же глазами на Алешку.

Алешка секунду молчал, глядел в глаза старику.

— А ей-богу, хороший ты старик, — и Алешка взял руку Сорокина с его колен и потряс.

Петр Саввич все глядел в спину Алешки. Красным дымом горели тучи сквозь ветки. И пусто и холодно сразу стало в парке. Петр Саввич встал, запахнул шинель, и ничего в голове не решалось, а остановилась голова на ходу, как жернов, и не мелет, и не свернуть. И Сорокин нес голову назад, в тюрьму, в казарму. А в казарме лег на койку в сапогах. До ужина еще старший надзиратель подошел, стал в проходе и громко на все помещение сказал:

— А тебя, Сорокин, того — приказ сейчас в канцелярии читали — на волю, значит, уволили. Так что ты, значит, того... — и рукой воздух подшлепнул.

Выходите

— НИКОГО не пускать! Еду! — крикнул Сеньковский в телефон и крепко повесил трубку. — Городовой звонил из аптеки, — Сеньковский быстро говорил, метко всаживал в руки шинель, — с Вавичем неладно, скажешь Грачеку, я поехал.

Дежурный поднял брови, провожал глазами Сеньковского.

Сеньковский с двумя городовыми мчал на извозчике. Придержал у одного дома, городовой на ходу спрыгнул.

— Так скажи следователю, чтоб сейчас. Я уж, значит, там! — Извозчик погнал дальше.

У дверей квартиры толклось человек пять, глухо говорили. Сеньковский дернул парадную дверь — все замолчали, глядели. Сеньковский подергал за ручку.

— Так! Заперто.

— Девчонка в дворницкой, — сказали из кучки.

— Стой здесь! Никого не пускать до следователя. — Он ткнул городовому: — Здесь у дверей! — и выбежал вон, дворник уж бежал навстречу.

— Ваше высокородие...

— Где она? — крикнул Сеньковский. — Веди.

Дворник побежал впереди. Фроська сидела на табурете и взывала в голос, когда шагнул за порог Сеньковский.

— Все пошли вон, — крикнул Сеньковский.

Дворничиха дернула за руку мальчонка, искала шаль.

— Ну, ну, живо, — подталкивал ее дворник, он захлопнул за собой дверь.

Фроська выла.

— Не выть! — крикнул Сеньковский.

Фроська всхлипнула и дышала, разинув рот.

— Как было? Ты где была?

Фроська рукав к глазам и начала ноту. Сеньковский отдернул руку рывком.

— Ну, говори, дура, а то плохо будет. Где была?

— Утром захожу, — всхлипывала Фроська, — а барин лежат в кабинете и руки так... Ой! — и Фроська завыла.

Сеньковский стукнул по столу:

— Ну! А пришел когда? Вчера пришел?

— Меня дома не было, ей-богу, за синькой бегала. А тут одна еще приходила, дамочка... Ждала.

— А ты ее одну оставила, ушла?

— Да я на минутку, — и Фроська решила, видно, удариться в такие слезы, чтоб никто не пробился к ней.

Сеньковский встал, глянул в занавешенное окно и ловко стукнул Фроську по затылку. Фроська оборвалась.

— Как же ты, стерва, пустила, а сама ушла? А воровка вдруг? Да тебе за это — с живой шкуру сдерут, — Сеньковский говорил шепотом, совсем нагнулся Фроське к лицу. И один раз только и глянула Фроська в глаза Сеньковскому.

— Да я... да я, — заикала Фроська.

— Ты б ее сначала выпустила, потом бы шла ко всем чертям. Не выпустила, небось? Ты мне делов тут накрутишь!

— Выпустила... ой, ей-богу, выпустила. Даже вот открыла дверь, — и Фроська сделала рукой, будто толкает дверь, — выходите, говорю, выходите! — отталкивала от себя Фроська.

— Так вперед, значит, выпустила, а потом за синькой, — громко говорил Сеньковский.

— Выходите, выходите, говорю, — шептала Фроська и толкала от себя рукой.

— А дворнику ты тут что врала? А? — Сеньковский ткнул Фроську под подбородок — дернулась вверх голова. — А что приходила, из гулящих? Из жидовок?

Фроська глядела вытаращенными глазами на Сеньковского, кивала головой. Он поглядывал в окно. Городовой со следователем дробно топали через двор. Сеньковский потянул Фроську за руку:

— Значит, ты эту жидовку гулящую, — говорил Сеньковский во дворе, — эту жидовку, еврейку, что ли, выпустила, а сама за синькой, ну а дальше?

В комнате Виктор лежал на полу у дверей, и казались наклеенными черные усы на белом лице. Следователь поднимал отброшенный в сторону браунинг.

— Выстрел был произведен... и патроны... Так, одного в обойме нет. Так и пишите: в расстоянии аршина от правой руки найден был револьвер системы браунинг...

Сеньковский долго глядел в белое лицо, левый глаз казался чуть приоткрытым. Шашка лежала наискосок, неловко, мертво, как покойник.

— Дурак! — прошептал Сеньковский и вышел в прихожую.

Образец

БАШКИН большими шагами несся вдоль улицы. Был час дня. Много прохожих. Башкин обшагивал широким шагом встречных, он не оглядывался и даже не следил по сторонам.

— Пусть, пусть! Сразу хлоп и готово, пожалуйста! Пожалуйста! — шептал на ходу Башкин и улыбался, лихо, криво, насмешливо. — Пожалуйста!

Башкин крепко жал к боку портфель, чуял все время через пальто железную книгу.

— Какой приказ, скажите! — шептал Башкин. — В сопровождении предъявителя сего немедленно явиться... Являюсь! Являюсь! — громко говорил Башкин и что есть мочи кидал вперед ноги — оглядывались прохожие. — Пусть язык хоть там высунет шпик этот. Сопровождайте, дело ваше. Ваше-с дело-с. Намекал, что «сердиты и уж, знаешь, плохо будет». А может, и не отдам «образца», а может, и не вам: «страшно стало нести и занес»... в другое место. Да что вы в конце концов... — Баш-

кин колотил тротуар ногами. — Я сказал, унесу. Милая! А почему ж ты меня не поцеловала? Сын! А сын бы висел и ножками, ножками дрыгал. Прелестный ваш сын. И может, еще подрыгает, — и Башкин тряс на ходу головой, — нет, думаете! А если я прямо к вам зайду и отнесу — пожалуйста! Серьезно, мне некуда деть, — и Башкин поднял брови и выпятил губы. — Ну и что же? — Башкин скромно похлопал, будто почавкал веками. — А потом взялся бы Грачек, не наши, а Грачек, за это дело. Самая бы сволочь эта. Это вы, Карл Федорович, меня, может быть, Грачеком тоже пугаете? Плохо-то будет? А я Грачеку и снесу, — и Башкин свернул на Соборную площадь. Он слышал сзади:

— Псст! Пссст!

— Догоняй, голубчик! — Башкин шел, расталкивал публику, ему казалось, что у него не шляпа теперь на голове, а взъерошенные волосы, а, черт с ними. И все равно, все к черту равно! И она, сволочь, мамаша эта. Все плачут, когда им на пальцы, а по чужим ходить, так, как по паркету. Все! И мальчики, и Колечки разные миленькие, и папочки сволочи!

Башкин несся.

— Стой! Обходи! — городовой толкнул Башкина в грудь. В это время дверь участка отворилась, выбежал лысый курьер, откинул фартук пролетки, и Грачек вышел из дверей, бросил двери, шел через тротуар по пустому проходу к пролетке, глядел красными веками, невидимыми глазками — ни на кого, а поверх. Башкин сунулся:

— Господин Грачек! — лающим голосом крикнул Башкин.

Грачек, не глядя, сунул рукой, и Башкин, спотыкаясь, отшатнулся назад. И вдруг бросился вперед, взмахнув вверх портфелем, и грохнул им вслед Грачеку.

— Сволочи! — успел крикнуть Башкин. Взрыва он уж не слышал.

Ахнул воздух, дома как выплюнули стекла, все повалились вокруг, и кто мог — вскочил и бежал, бежал, пока его не хватали, и не мог человек долго сказать слова, а, открыв рот, шарил круглыми глазами.

Шесть человек было убито. Обе ноги Грачека на третий день нашли на крыше собора.

Ротмистр Рейендорф отказался в кровавых кусках опознать Башкина.

Полкаша

ТОЛЬКО через три недели докопались: нашли адрес стариков. Послали пакетом опись вещей — «предлагает явиться для вручения оставшегося от покойного имущества», протокол — «Возвратясь домой вечером около 10 часов 28-го числа апреля месяца сего года к себе на квартиру дом № 28 по Николаевской улице, в отсутствие служанки, покойный, как выяснило вскрытие, в нетрезвом состоянии, по заключению следствия, покончил с собой выстрелом из револьвера в сердце, от чего и последовала моментальная смерть»... «№ 18. Письмо, найденное в столе покойного...»

Груня сидела с мальчиком у груди против Глафиры Сергеевны. Ждали Израиля — позволили уж видеться Тайке, упросить, может, пойдет. Подали пакет.

— На твое имя, Грушенька, — подала Глафира Сергеевна, взяла младенца. Груня вскрыла, стала читать и вдруг вскочила, схватила младенца, вырвала из рук Глафиры Сергеевны, прижала к груди, и старуха видела: задушит! задушит! Груня давила к себе ребенка и вскрикивала:

— Витя! Витя!

Старуха все поняла. Всеволод Иванович поднял с полу пакет, — стойте, стойте! Что же ведь? — нащупал очки — дрожала бумага, прыгали буквы проклятые, и вдруг Всеволод Иванович положил листы ничком на стол, спешно вышел, фуражку содрал с вешалки. Вышел, пошел к открытым воротам и остановился у собаки. Собака совалась мордой, махала истово хвостом.

— Полкаша! Полкаша мой, бедный ты, бедный мой! — говорил и трепал собаку по голове Всеволод Иванович. Потом вдруг махнул рукой и спешно вошел в ворота.

К девятнадцатому мая Таня была в Вятке.



ДОЛГАЯ ЗИМА В ГОРОДЕ N

(О романе Бориса Житкова «Виктор Вавич»)

Эта книга была подписана к печати 14 марта 1941 года и могла появиться на прилавках перед самой войной. Но — не появилась. Не вдаваясь в подробности частных номенклатурных решений, попробуем представить, что в ней не соответствовало сгустившемуся духу времени?

Вроде бы как раз все соответствовало, начиная с многажды испытанной советской литературой темы: роман из эпохи русской революции 1905 года. Революционное брожение, забастовочное движение, студенческие волнения, политические кружения, «разгул реакции», зверства (настоящие, без всяких кавычек) охранки и полиции, еврейские погромы, — все вдвойне почетным, ибо умершим, автором популярных детских книг рассмотрено и смешано в достаточно корректной пропорции.

Правда вот, еврейские погромы описаны не со слишком ли ужасающей экспрессией? Ну сколько об этом можно вспоминать в стране победившего социализма, в которой уже что-что, а «национальный вопрос» решен? Не в Германии ведь живем и не о ней пишем...

Ладно, всяческие погромы — это, так сказать, «объективная реальность», навсегда канувшая в Лету вместе с прочими свинцовыми мерзостями царского режима. Но к чему впле-

тать в роман прерывистым прочерком ускользающую в никуда — и не имеющую отношения к «главной» интриге — захолустную историю любви несмышленой русской барышни к еврейскому музыканту? Любовь, доведшую несчастную до психического срыва. Притом же и музыкант этот нисколько не негодяй, наоборот, вполне разумный, ничем особенно не выдающийся, кроме умения играть на флейте, человек. И выходец, опять же, не из Гаммельна... Впрочем, это, действительно, побочная ветвь романа. Не побочный вопрос — другой. Из книги непонятно, с кем мы сегодня, мастера из охранного отделения культуры?

Главный герой, брат этой милой барышни, Виктор Вавич, «вольнопер», по скудости разыгравшегося воображения поступает в полицию и становится околоточным надзирателем города N (на шестистах страницах романа так и не сказано, что это за город, равный по размаху описываемой в нем жизни хоть Петербургу, хоть Москве, но в то же время являющийся образом какой-то глухой вселенской провинции — в чем виден очевидный и эффектный умысел сочинителя). Его отец, добрый русский землемер, не в восторге от выбора сына. Да и мы, читатели, надеемся: все, что начинает твориться с героем, лишь временное наваждение: Виктор, пусть недалекий, пусть вспыльчивый, пусть взбалмошный, но в сущности славный парень. Тем более что он первый появляется на авансцене, а законы читательского восприятия просты: кто первый появился, тот и люб, тому и сопереживаешь, того и считаешь главным.

Однако по мере чтения «Виктора Вавича» начинаешь понимать: судьба главного героя романа вовсе не самая важная тайна повествования. Автор соблюдает принцип равноправия: Виктору Вавичу уделяется внимания не больше, чем некоторым другим персонажам, например, членам респектабельной семьи думского заседателя Андрея Степановича Тиктина или приблудному мещанину города Елисаветграда Семену Башкину. Роман похож на огромный куст, каждая ветвь которого подробно исследована сверху донизу. Лишь в самом конце взгляд упирается в единое корневое сплетение и обнаруживает спрятанный под ним динамитный заряд.

Главная проблема романа не безлична, она — огненна: отчужденность русского сознания от ценностей собственной жизни, отчужденность, ведущая к утопизму и в мышлении, и в мотивировках, побуждающих к действию. Утопизм — это «наше

все». Такую черту можно подвести под романом. Да она и подведена — отъездом одной из героинь в Вятку, к сосланному суженому, с которым, наконец, образуется счастливая жизнь в счастливом будущем (на протяжении всего действия эта барышня своего героя, слишком близкого и «действительного», разумеется, отвергала).

«Виктор Вавич» — это роман о *чужих интересах*. Внешним образом — по служебному положению — их блюдет главный герой. Внутренне — это проблема каждого персонажа, узел всех противоречий, всей сюжетной коллизии.

Самое любопытное — и характерное — здесь то, что прямо о сути русских вещей говорится в романе под занавес персонажем второстепенным, ведущим героям «чужим»: о том, что за «свои интересы» у нас борется в основном правительство, да люди заведомо на то обреченные, преступившие закон. Способ осознания «своих интересов» по ту сторону закона характерен в романе и для тягловой силы исторического процесса начала XX века — для пролетариата. В результате за «чужие интересы» бескорыстно бьется у нас один-единственный «доблестный орган» — интеллигенция.

Последнюю точку, основной, подразумеваемый кризисной исторической ситуацией вопрос ставит, согласно сюжетной логике романа, совсем уже «случайный», ни к какому действию не имеющий отношения бесфамильный Иван Кириллович: сам-то народ виновен или нет в том, что с ним творится? Что он сам творит? Недостойный Иван Кириллович все разглагольствует на эту тему, разглагольствует и... и никто из симпатичных присутствующих лиц вразумительным оппонентом ему выступить не в состоянии.

Здесь — мертвая точка романа, выражающая неизбывную трагедию русской литературы советского периода: обреченность уклоняться от табуированных большевистской мифологией историософских проблем. Единственное, на что можно было решиться — и на что требовалось настоящее мужество и настоящее мастерство, — это вложить все крамольные соображения в уста сомнительных персонажей из мимолетных сцен. В «Викторе Вавиче» интеллектуальные узлы повествования стягиваются к подобным черным дырам сюжета.

«Надо приучиться марксистски мыслить прежде всего», — говорит в романе увлеченная социалистическими идеями студентка. Это кредо исповедовали, или пытались исповедовать,

далеко не последние художники 1930-х годов. В том числе и автор « Виктора Вавича». Но в этом же романе на назидание студентки ее младший легкомысленный брат отвечает более чем резонно: «Я понимаю еще — логически выучиться мыслить, а как-нибудь там <...> марксологически — это уж ересь».

Конечно, зафиксировать в художественном произведении строго логическое развитие мысли — задача несколько схоластическая. Талант подчиняется мысли не марксистской и не логической, а художественной, всегда забредающей не туда куда следует и вообще раскрывающей себя исключительно в противоречиях, в далекой от логики игре переносных смыслов. Что замечательным образом и продемонстрировано в романе «Виктор Вавич» — в годы, когда «писать хорошо» уже не рекомендовалось, когда главным для художника стало «марксистски мыслить».

Роман Житкова принципиально написан хорошо, с первой строчки: «Солнечный день валил через город». Очевидным образным сдвигом, «остранением», как тогда называли способ преодоления рутинного автоматизма восприятия действительности, художественная задача писателя здесь не исчерпывается. С первой фразы смысл подчиняется тонкой игре изобразительных лейтмотивов, не менее важных, чем непосредственный рассказ о судьбах героев и описание исторических событий. Не обратив на эту систему лейтмотивов внимания, мы рискуем отвлечься от самого духа романа, не сообразим, почему через десяток страниц повествователь вздохнет: «казалось — сейчас этот свет ветром выдует из улицы». И выдует. Но не сразу, а через пятьсот страниц, в конце второй книги: «И отлетел свет».

Таким отчасти замысловатым образом получается, что роман «Виктор Вавич» написан не столько о незадачливом молодце, не столько о событиях, обозначенных 1904 и 1905 годом, сколько о «Содоме и Помпее», — воспользуемся неграмотным, но весьма точным и экспрессивным сравнением из арсенала речи главного героя.

Довлеющим себе, вписанным во все пространство романа у Житкова становится образ необъятного, заполнившего всю страну зимнего города, из которого «отлетел свет». В то время как все его жители только и заняты, что борьбой за неведомо чье «светлое будущее».

Роман этот укоренен в русской традиции и описывает последние дни излюбленного отечественными писателями «города N».

Гоголевскому «городу N» из «Мертвых душ» русская проза обязана, может быть, еще больше, чем гоголевской «Шинели». Из него вышел (и в него вернулся), например, писатель Л. Добычин, издавший в недобрый год — год, когда завершена была работа над «Виктором Вавичем», — свой роман под названием «Город Эн» — шедевр, которым его же самого немного времени спустя, в 1936 году, измордовали и довели до самоубийства.

С «Виктором Вавичем» дело обстояло и хуже и лучше: печатавшийся главами в периодике, роман как цельное явление при жизни автора официальному публичному рассмотрению не подвергся, надо полагать, к счастью. Иначе Бориса Житкова ожидала бы судьба Евгения Замятина, проклятого советской критикой 1920-х годов за роман «Мы», наиболее теперь известную русскую антиутопию. Автор «Виктора Вавича», понятно, никакой антиутопии не писал. Человеку, начавшему печататься в 1923 году, как раз тогда, когда Замятин передал свое, на родине не опубликованное, произведение за границу, это было, что называется, не с руки.

«Виктор Вавич» в непосредственном родстве не с романом «Мы», а с более ранними дореволюционными вещами Замятина о захолустной России, такими, как «Уездное» и «На куличках». Архаичные пласты русской жизни и русского сознания прямо соприкасаются с русским утопизмом, питают его — вот на что наталкивало чтение Замятина, наблюдение за его художественной эволюцией. Опыт Замятина был важен для любого масштабно мыслящего прозаика 1920-х годов, даже если он от самой художественной манеры Замятина в восторге не был (случай Житкова). В «Викторе Вавиче» описывается момент смещения утробных пластов бытия, их трения друг о друга, приводящего к пожару в крови, к взрыву.

Борис Степанович Житков (1882–1938) работал над романом больше пяти лет, завершив труд в 1934 году. Подготовленная размахом писательской судьбы мысль о создании масштабной исторической фрески, запечатлении на ней «опытов быстротекущей жизни», увлекла его неотвратимо. Для Житкова она была принципиально важна: к середине 1930-х годов он составил себе имя в литературной области, далекой от романистики, но к романистике его как раз подталкивающей. Он писал мини-романы, истории для детей. Юную аудиторию он поразил серьезным, деловым тоном своих бесед, лишенных и капли поучения и назидательности.

Помогло Житкову и то, что в советскую литературу он пришел в числе высокоодаренных авторов из «бывалых людей». По навязчивой мысли Горького, именно такие писатели должны были составлять ядро творцов нового искусства. Сначала поработай, а потом поучись — таков был постулат, обратный опыту всего цивилизованного мира. Впрочем, в нем содержались достаточные — и давно известные — резоны: внелитературный опыт беллетристу всегда кстати. Но это когда он приобретен силою вещей, а не навязан силою идеологий. Нечего говорить: Борис Житков своим житейским багажом не спекулировал, он его раздаривал.

И поэтому напоследок расскажем немного о том, с чего обычно начинают, — об основных моментах биографии писателя, о его духовном облике.

«Это был прирожденный ересиарх, который, однако, по свободолюбию своему ересь не определял, не втискивал в известные рамки, — написал о нем Евгений Шварц. — Он с восторгом лез в драку и держал людей, которых считал чужими, в страхе».

После такой характеристики понятен и отзыв Корнея Чуковского, соблазнившего Бориса Житкова на литературную деятельность: «Житков, мой кумир в детстве <...> Во всем».

Родился Борис Житков под Новгородом, в семье революционно настроенного преподавателя. Что в 1880-е годы в России было уже не новостью. Естественно, на месте Житковы долго не засиживались. Кроме Новгорода, семья жила в Петербурге, Риге, а в 1889 году переехала в Одессу — под крыло двух старших братьев отца, адмиралов, участников обороны Севастополя. В Одессе Борис был отдан во французскую школу. Самолюбие и высокие представления о чести сделали его с младенчества храбрецом — во французском, рыцарском духе. Таким его увидел Корней Чуковский — они оказались одноклассниками в гимназии, в которую после французской школы был отдан Борис Житков. В 1900 году он поступил в Новороссийский университет (в Одессе) на физмат, через год перейдя на естественный факультет. Играл на скрипке, ходил под парусом, танцевал, сдал экзамен на штурмана дальнего плавания... Однако, как писал вскоре после смерти Житкова Цезарь Вольпе, «подлинной темой разнообразных занятий Житкова был практический интерес к существу человеческой гениальности, к человеку как творческому началу в мире».

Поэтому мы не удивимся, узнав, что в 1905 году Борис Житков ринулся в революцию: участвовал во флотских бунтах, а в самой Одессе влился в ряды дружин самообороны, боровшихся с погромами. Написанное в «Викторе Вавиче» о революции ему было ведомо на собственном опыте. В ее угаре и «химические опыты» рискованного свойства, изображенные в романе, ему, несомненно, доводилось ставить самому: естественное отделение университета он закончил с дипломом химика.

После университета начались экспедиции и скитания. Сначала Житков уехал на Енисей, затем — в противоположную сторону, в Данию, где в 1910 году встретился, в частности, с Лениным... В 1912 году Житков побывал в кругосветном плавании... В годы Первой мировой войны работал на верфях Николаева, Архангельска, закончив между тем еще и Петербургский политехнический институт. В 1916 году был командирован в Англию за авиамоторами для русских самолетов.

После революции Житков снова в Одессе — инженер в гавани. Дальше — скитания, одинокая жизнь, заведование технической школой... В 1923 году Житков уехал в Петроград, где встретил Чуковского, посоветовавшего ему записать свои истории: рассказывать их он был большой мастер еще до своего вступления на профессиональную литературную стезю.

Увлеченный блестящей компанией, собравшейся в Ленинграде вокруг Маршака, Борис Житков стал автором детских книжек. Вместе с Маршаком и окружавшими его более молодыми Евгением Шварцем, Николаем Олейниковым, Даниилом Хармсом он создавал в России детскую литературу, до их поры невиданную, сильно повлиявшую в конце концов и на литературу взрослую.

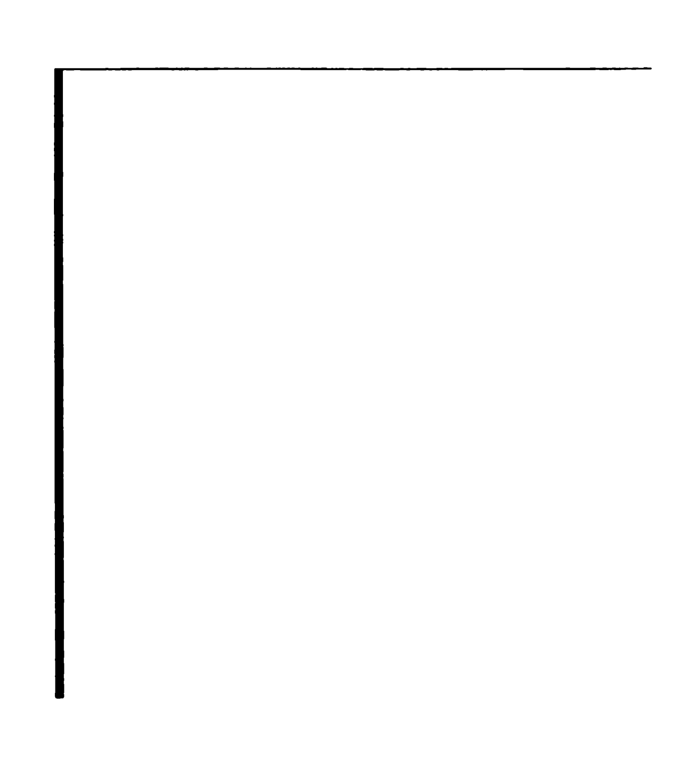
Однако темперамент Бориса Житкова был таков, что от любви до ненависти у него не оказалось и шага: нежданно-негаданно он обрушился на самого Маршака, разойдясь с ним по мотивам, с исторической точки зрения совершенно неважным. Шварц заключает по этому поводу: «...Житков, Гарин, Олейников, Хармс (отчасти) доказали мне с несомненностью, что деспотизм — неизбежная национальная особенность наших крупных людей».

В 1934 году Житков уехал из Ленинграда в Москву, уже автором «Виктора Вавича». Как он возникал и что для него значил, рассказывает Шварц: «“Вавича” Борис писал безостановочно, нетерпеливо, читал друзьям куски повести по телефону.

Однажды вызвал Олейникова к себе послушать очередную главу. Как всегда, не дождавшись, встретил Бориса Олейникова на улице, дал ему листы рукописи, сложенные пополам, и приказал: "Читай, я тебя поведу под руку". И Олейников подчинился, а потом с яростью рассказывал друзьям об этом».

После «Виктора Вавича» Житков написал еще одну детскую книжку, самую теперь известную: «Что я видел» — замечательная энциклопедия для детей. Она вышла уже после его смерти, о которой Николай Чуковский сказал: «Умер... от ненависти к Маршаку». Маршак к смерти Житкова, конечно, никакого отношения не имеет. Но фраза эта все-таки значима. Она говорит о мере охватывавших Бориса Житкова страстей, достойным памятником которым явился роман «Виктор Вавич».

Андрей Арьев



Содержание

Уже написан «Вавич». Предисловие М. Поздняева *5*

Книга первая *11*

Книга вторая *283*

Книга третья *537*

Долгая зима в городе N. Послесловие А. Арьева *615*

Борис Житков

Виктор Вавич

Директор издательства *О. Морозова*
Маркетинг *Т. Киселева*
Менеджер *Ю. Кручинова*
Техническое обеспечение *А. Полторакин*
Редакторы *Л. Романова, А. Райская*
Художник *А. Бондаренко*
Компьютерная верстка *О. Черкас*

Изд. лиц. №071895 от 09.06.99.
Подписано в печать 15.11.99. Формат 84x108/32.
Бум. офсет. №1. Гарнитура Newton.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз.
Заказ № 3207

Издательство Независимая Газета.
101000, Москва, ул. Мясницкая, 13.

ОАО Типография «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

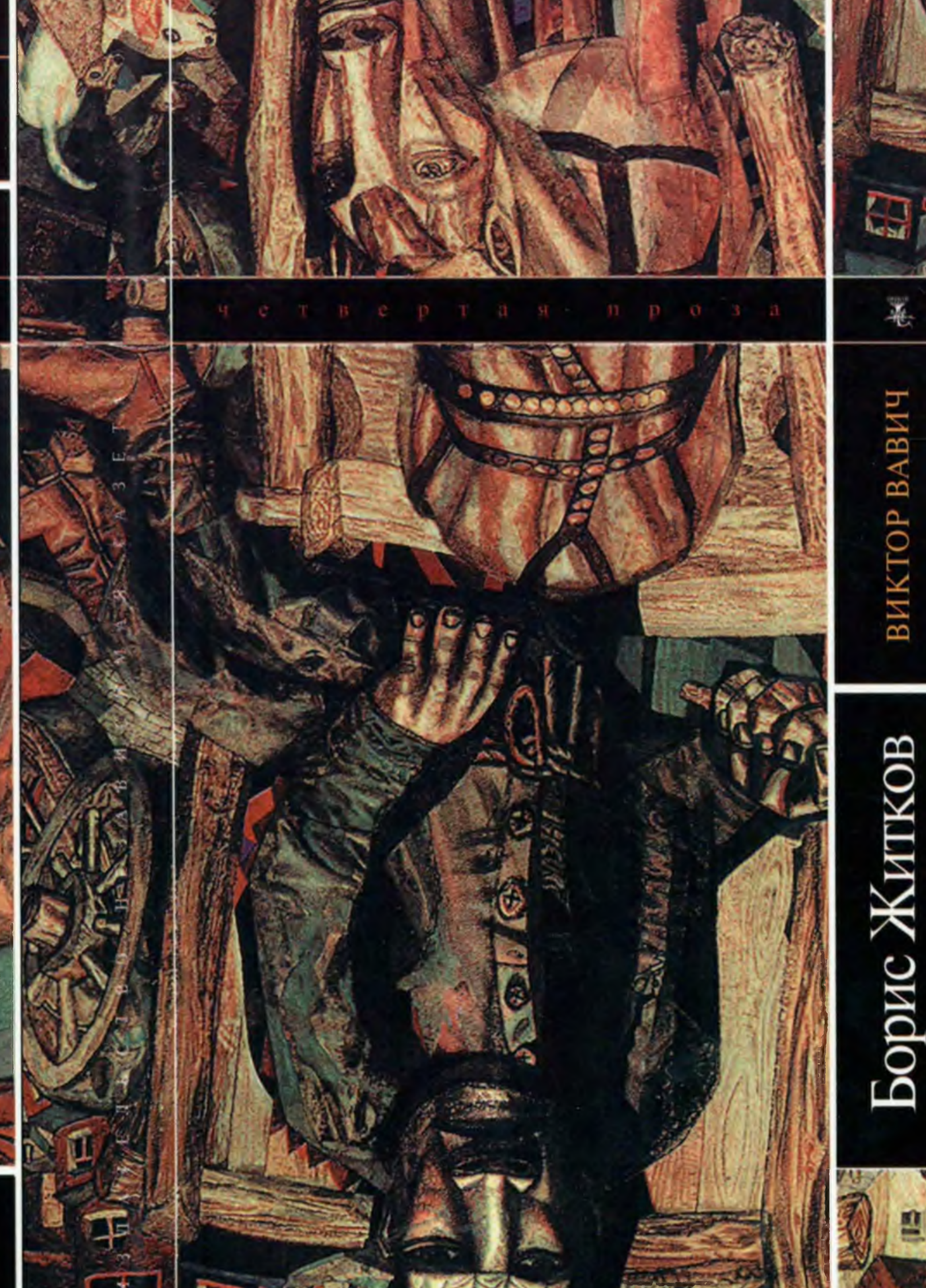


Борис Житков

ВИКТОР ВАВИЧ

четвертая проза



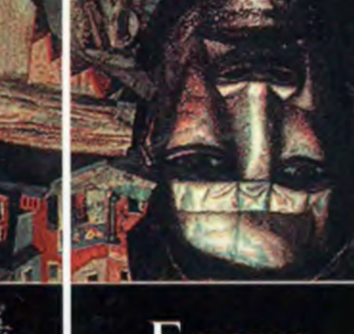


четвертая проза



ВИКТОР ВАВИЧ

Борис Житков





Борис Житков

ВИКТОР ВАВИЧ

роман



четвертая проза



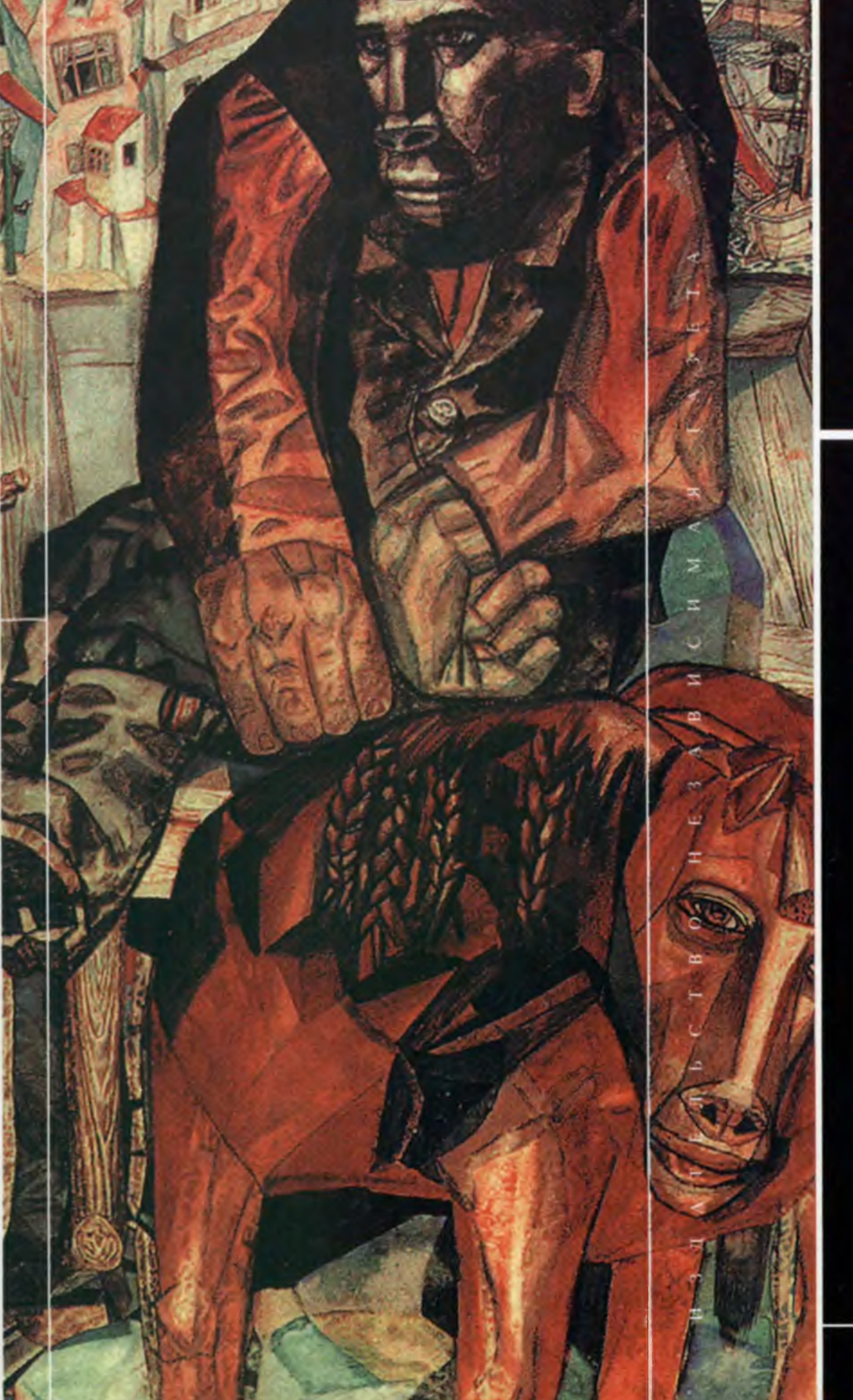
четвертая проза

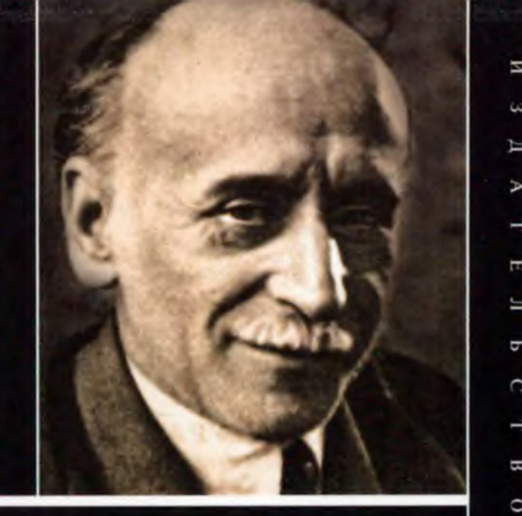
роман

ВИКТОР ВАВИЧ

Борис Житков







Борис Житков (1882–1938) традиционно считается классиком детской литературы. В романе «Виктор Вавич» происходит настоящее открытие нового писателя. Достаточно сказать, что Борис Пастернак считал «Вавича» лучшим романом о русской революции.

Житков работал над книгой в течение пятнадцати лет: с середины 20-х годов до конца своих дней. Это история нескольких молодых людей в эпоху великих катаклизмов, написанная в форме авантюрного романа.

Посмертно изданный в 1941 году, «Виктор Вавич» был запрещен по доносу А. Фадеева. Уцелевший после уничтожения тиража экземпляр был сохранен Лидией Корнеевной Чуковской и послужил основой настоящего издания.

издательство независимая газета



четвертая проза